Борис Полевой

4

БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕВЯТИ ТОМАХ

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

•

ГЛУБОКИЙ ТЫЛ

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

Р 2
П 50

Комментарии
Н. ЖЕЛЕЗНОВОЙ

Оформление художника
А. РЕМЕННИКА

Полевой Б. Н.

П 50 Собрание сочинений: В 9-ти томах.— М., Худож. лит., 1981.

Т. 4. Глубокий тыл: Роман; Вернулся: Повесть. Коммент. Н. Железновой. 1982.— 600 с.

В том вошли роман «Глубокий тыл» — о героической жизни рабочей династии ткачей Калининых в дни войны, а так же повесть «Вернулся»—о сложной судьбе фронтовика-танкиста.

П $\frac{4702010200\text{-}238}{028(01)\text{-}82}$ подписное Р2

ГЛУБОКИЙ ТЫЛ

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

В середине декабря 1941 года по дороге, что вела на областной город Верхневолжск, усталой походкой, тяжело волоча ноги, обутые в растоптанные валенки, шла женщина, закутанная в темную старушечью шаль. Дорога была одним из тех фронтовых путей, какие возникали порою за одну ночь в дни бурных наступлений. Она представляла кратчайшую линию между местом сосредоточения войск и рубежом атаки. Выбравшись из старого заснеженного бора, она бежала через перелесок, сверкающие снегами поля, спускалась в овраги, вновь поднималась наверх и, наконец, уже перед самым городом, будто по клавишам скакала, пересекая замерзшие гряды неубранных огородов. Кочны капусты, раздавленные колесами и гусеницами, скрипели под ногами пехотинцев.

Выждав минуту, когда вблизи никого не было, женщина наклонилась, подняла сохранившийся вилок, отодра́ла почерневшие листья и начала грызть белую сердцевину. Мерзлая капуста скрипела на зубах, была безвкусна и голода не утоляла. Грохоча деревянными, наскоро выбеленными известью бортами, обгоняя путницу, бежали грузовики. Сидевшие в них бойцы в новеньких полушубках, в еще не обмявшихся ушанках пребывали в самом благодушном настроении.

— Эй, тетка, чего плетешься? Садись, подкинем! — крикнули с одной из машин.

Кто-то застучал ладонью по крыше кабины. Водитель разом затормозил и, высунувшись из дверцы, тревожно уставился на малокровное, бледное зимнее небо.

— Отбой воздушной тревоги,— пояснили из кузова.— Вот мирное население подобрать надо... Тетка, давай сюда!

С помощью крепких рук женщина забралась в кузов.

— А ты, однако, грузна!

Женщина ничего не ответила. Она уселась в уголке и продолжала украдкой обгладывать кочерыжку, прикрывая рот концом платка. Бойцам, у которых обмундирование

еще пахло нафталином интендантских складов, было странно видеть, как на морозе грызут стылую капусту. Странно и немного жутко.

— Эй, ребя, пошарь по карманам, у кого что найдется пожевать...

Но часть была в наступлении, вещевые мешки находились в обозе. Кус пожелтевшего, вывалянного в махорке сала, искрошившийся сухарь да три серенький кусочка сахара — это все, что удалось отыскать.

— Спасибо,— тихо сказала женщина, и где-то меж складок шали блеснули ее глаза.

Был один из тихих, ясных зимних дней, когда при безветрии мороз обжигающе крепок, когда все кругом — каждая грань отполированного косого сугроба, каждая ветка на дереве, каждая былинка, торчащая из-под снега,— все, густо посоленное инеем, сверкает и искрится, тени кажутся синими. Снег поскрипывает под колесом, как картофельная мука. И все-таки, несмотря на мороз, на пышность инея, нет-нет да почувствуешь на щеке совсем еще робкое прикосновение солнечного луча. В такой день даже озабоченный, занятой человек вдруг остановится, вдохнет полной грудью свежий морозный воздух и улыбнется, осененный неясным предчувствием весны.

Но ни женщина, тихо сидевшая в уголке кузова военной машины, ни бойцы, сгрудившиеся у бортов, ни все те, кто спешил по этой только что возникшей, утоптанной гусеницами, утрамбованной колесами и подошвами дороге, не видели, не ощущали этой красоты. Мысли их были там, где с рассвета грохотала артиллерия, раскатывались разрывы авиационных бомб, где с высоты машины уже можно было разглядеть вдали черные трубы и контуры зданий города Верхневолжска. В дальней его части что-то горело. Волнистыми клубами дым валил вверх, пачкая светлое холодное небо, и на этом фоне город, хорошо освещенный едва еще поднявшимся солнцем, выглядел трагически.

— Тетка, ты оттуда? — поинтересовались бойцы, возбужденно прислушиваясь к выстрелам, звучавшим все отчетливее.

Женщина утвердительно кивнула головой. Клубящиеся дымы будто гипнотизировали ее. Она не отрывала от них глаз.

— Ну, и ничего городишко ваш Верхневолжск? Воевать-то за него стоит?

— Не городишко, город. Хороший город. Красивый... был.

— Да, видать, ему досталось... Ребя, смотри, смотри, вон справа домина — насквозь просвечивает... Мать честная, одни стены!

— А труба-то, труба, будто обгрызли ее! Спарядом, что ли?.. Гражданка, а что это он поджег?

— Не знаю... Там комбинат текстильный... «Большевичка».

— Это где ситцы знаменитые делали?

— Не только ситцы... Он, он и горит. Вот беда-то!

— Не горюй, обожди. Сейчас мы дадим фрицу духу.

Клубы дыма становились все темнее, все гуще. Не отрывая от них взгляда, женщина тихо вздохнула:

— Опоздали. На границе надо было духу-то давать.

Пожилой боец, большой, усатый, прочно стоявший в машине на широко расставленных ногах, да еще ухитрявшийся при этом, несмотря на тряску, держать в кулаке цигарку, единственный среди всех своих товарищей хранивший на лице тяжелый зимний фронтовой загар, хмуро посмотрел на женщину.

— Опоздали... То легко в машине гутарить,— произнес он на сочном, певучем диалекте, что звучит в городах Донбасса.— Опоздали там или не опоздали, а как весь что ни на есть фашизм, матери его черт, да разом, да сзади, да исподтишка тебя по затылку трахнет, не сразу в себя придешь... Какие Гитлер державы за неделю с ног валил... Опоздали!

Он докурил цигарку до самых пальцев, концы которых уже пожелтели, прислюнил, достал из кармана кисет и последние оставшиеся крошки ссыпал обратно. Машину встряхнуло. Все присели, иные даже попáдали на дно кузова. Усатый боец, продолжая стоять, снисходительно усмехаясь, смотрел на поднимавшихся ребят.

— Сачкú... Пальбу-то настоящую, чай, только на охоте и слыхали.

Машина обгоняла пехотинцев, двигавшихся по обочинам, опережала артиллерийские упряжки, влекомые заиндевелыми конями, над крупами которых, как над прорубью, курился парок. С трудом вытаскивая валенки из снега, обочиной бежали телефонисты, оставлявшие на сверкающем насте едва заметную нитку провода. Натруженно тарахтя мотором, ломил по целине гусеничный трактор. Он тащил сколоченные из бревен сани, на которых выри-

совывался под брезентом ворох какого-то военного добра... Несмотря на мороз, по раскрасневшимся лицам бежал пот,— казалось, все, кто спешил в этот студеный день к городу, только что вышли из бани.

Огороды кончились, путь стал ровней. По рядкам обезглавленных или обгорелых деревьев, по телеграфным столбам да по печным трубам, торчащим из снега, можно было догадаться, что машина въехала в пригород. Ни улиц, ни тротуаров не было. По тропкам, протоптанным в снегу, все гуще и гуще шли раненые. Брели они в одиночку, группами, поддерживая друг друга. Женщина привстала и каждого из них встречала и провожала тревожным взглядом.

— Шо, гражданочка, чи сынок на фронте? — участливо спросил усатый.

— Муж,— тихо ответила женщина.

— Пехота-матушка?

— Сапер.

Раненые были уже не похожи на тех, какие бывали в дни отступлений. Не чувствовалось в них ни растерянности, ни подавленности. Даже сейчас вот, ковыляя с палочкой или неся на дощечке поврежденную руку, подвязанную к шее широким бинтом, они не лишились наступательного пыла, охотно отвечали на вопросы и сами живо интересовались всем, что происходило.

— Ну, как там? — спрашивали их с машины.

— Потек, дьявол... Окружили его — так сам потек. Уходит... Уж и дали ему прикурить!

— Город сильно защищен? — интересовался усатый.

— Да уж поизмывался над ним Гитлер.

— Что ж, усё освободили?

— Не беспокойся, и тебе работы хватит... За речкой зацепился. Стреляет, собака, дыхнуть не дает.

— Эй, куда под технику прешь? С дороги! Марш, марш, марш!..

— Мне бы сойти тут,— робко сказала женщина, когда машина, выбежав на набережную Волги, свернула влево.

— Момент,— сказал усатый, стуча по кабине.

Опять пискнули тормоза, и машину поволокло юзом, опять из дверцы торопливо высунулась голова шофера и опасливо вскинулась вверх.

— Тю, друг, больно ты слабонервный,— улыбнулся усатый.— Гражданку вот приземлить надо... Счастливого пути.

Женщина вылезла из кузова и побрела вдоль берега Волги, где, позабыв о правилах противовоздушной маскировки, густо шли наступающие части. Гордость города — красавец мост был взорван. Его центральный пролет свисал вниз, как оборванное кружево. Но саперы уже наметили вехами ледовую переправу. Наступающие, изгибаясь змейкой, пересекали реку и исчезали меж окутанных дымом развалин. Чтобы сократить путь, женщина тоже перешла наискось, забралась на крутой откос берега и сразу очутилась на площади.

Здесь стоял старинный, екатерининской поры, дворец, превращенный в советское время в музей. Теперь здание напоминало театральную декорацию, небрежно вынесенную со сцены и кое-как установленную во дворе; сквозь закопченные проемы окон виднелись заиндевевшие вершины деревьев парка. Тяжело было смотреть на это. Женщина отвернулась и вскрикнула от неожиданности: по всей площади, примыкавшей к дворцу, выстроились ровные шеренги крестов, одинаковых, аккуратных сосновых крестов, на которых умелая рука тщательно вывела фамилии, имена, даты смерти, а кое-где той же черной краской изобразила железный крест, или два, или три. Площадь была безлюдна. Лишь один человек виднелся на ней. Это был пожилой боец в шинели третьего срока, рукав которой перехватывала красная повязка. Винтовка висела у него за спиной. Он держал красный флажок.

Пораженная зрелищем странного кладбища, где кресты стояли, как войска на параде, женщина бросилась к этому что-то задумчиво рассматривавшему человеку. Он поднял морщинистое, иззябшее до синевы лицо и флажком указал на развороченную снарядом могилу. Ядовито рыжел на снегу мерзлый, разбросанный взрывом песок, а на дне воронки виднелись четыре пары босых ног с пальцами и пятками, будто вырезанными из слоновой кости.

— Хитер фриц,— с зябкой хрипотцой произнес боец.— Видишь, под одним крестом четыре жильца... Довоевались.

И вдруг неожиданно отчаянным прыжком боец сбил женщину с ног и сам повалился рядом. Послышался сверлящий свист. Что-то звучно лопнуло, посыпались щепки, застучали комья мерзлой земли.

— Лежи, бабка. Головы не поднимай, еще будет,— шептал солдат побелевшими губами, прижимая женщину к земле.

В воздухе снова свистнуло. На этот раз взрывы раздались дальше, и в облаках белой и красной пыли стала оседать и, оседая, разваливаться одна из сохранившихся стен дворца.

Потом мины перестали падать. Пыль осела. Но все еще ощутительно пахло битой штукатуркой, жженой гребенкой и горькой гарью пожара. Солдат поднялся. Снял рукавицу и стал обтирать ею отсыревшую в снегу казенную часть винтовки.

— А ты, бабка, брысь отсюда, чтоб духу твово тут не было! Он переждет минут десять и опять класть будет. Пока молчит, ты аллюром три креста...

Солдат оглянулся и смолк, выпучив глаза на собеседницу. Она уже поднялась на ноги. Шаль сбилась у нее с головы. Перед изумленным регулировщиком стояла женщина в расцвете лет, с круглым лицом, с четкими полукружьями темных бровей, задорно вздернутым носом и яркими, будто припухшими губами. Волосы, завязанные сзади тяжелым полурассыпавшимся узлом, были у нее русые, а глаза карие, и они, эти глаза, хотя и взволнованные только что пережитым, явно зная свою силу, глядели на солдата смело и как будто даже насмешливо.

— Извиняюсь за «бабку», гражданочка,— сказал регулировщик, козыряя.— А между прочим, все-таки ступайте, ступайте отсюда. И быстро.

— А там как? — спросила женщина, показывая в сторону, откуда летели мины.

— Части наши еще в обед туда прорвались. Потом и танки прошли. Но вот видите...

Над головой что-то странно прошуршало. Женщина вопросительно посмотрела на собеседника.

— А это снаряд. Тяжелыми садит... Ступайте, ступайте, тут еще может такое...

И, будто в подтверждение его слов, три гулких взрыва, раздавшихся в отдалении, снова встряхнули землю.

2

Но женщина все-таки пошла за узенькую речку Тьму — туда, откуда неслись снаряды и мины. Заслышав в воздухе уже знакомый теперь свист, она бросалась в снег, пережидала взрыв, поднималась и снова шла. Что-то, что было сильнее страха, влекло ее вперед. Она почти бежала, не обращая внимания на провалы, зиявшие вместо домов, на

оборванные провода, что, скрутившись штопором, тихо позванивали у израненных осколками столбов, на пожары, полыхавшие тут и там, на потоки военных машин, вдруг хлынувшие по пустым, безлюдным улицам.

Казалось, женщина ничего не замечала. Даже труп немецкого шофера, торчавший в дверцах разбитого грузовика, не задержал ее взгляда. Но вдруг она охнула и остановилась. Сквозь провалы выгоревшего здания, черневшего в конце улицы, ее глазам, расширившимся от ужаса и недоумения, открылось огромное странное поле. Тут, где она с детства привыкла видеть улицы старой прифабричной слободки, ряды маленьких деревянных домов, притаившихся среди садиков, расстилался покрытый невысокими холмиками пустырь, и на нем — казалось, без всякого порядка — разбросанные по одному, по два домики, да телеграфные столбы, да остовы обезглавленных деревьев... Взгляд женщины беспомощно заметался меж уцелевшими зданиями, стараясь отыскать тот маленький, с синими ставнями и резными наличниками домик, из которого она совсем еще недавно бежала в страшную, искромсанную ракетами и огнями разрывов ночь.

На знакомой остановке стоял трамвайный вагон с прицепом. Стенки его были иссечены осколками, стекла вылетели, внутрь набился снег. Определив свое местонахождение, женщина по едва обозначенной на снегу стежке дошла до уцелевшего дома. Отсюда до ее жилья оставалось пройти квартал. Но квартала не было. Он лишь неясно угадывался. И дороги не было — всюду лежали сплошные, нетоптаные сугробы. Увязая местами по колено, женщина дошла до знакомых ворот. Они стояли среди снежной равнины и никуда не вели. Ветер хлопал незапертой калиткой. Звучно гремел синий жестяной ящик «Для писем и газет». Женщина погладила рукой холодную жесть, попыталась закрыть калитку и по своим же следам побрела обратно. Теперь она еле плелась, будто там, у ворот, ей на плечи положили непосильный груз.

Собственный след вернул ее к уцелевшему дому. На крыльце его теперь стояла неестественно толстая женщина с лицом странного, коричневого цвета. Настороженно, вопросительно, радостно смотрела она на приближавшуюся к ней пришелицу.

— Здравствуйте,— сказала та, останавливаясь возле крыльца.— Я Калинина, я жила вон там, в доме Узоровых, я их...

— Не признаешь, Анна? — с горечью вымолвила толстая женщина.

— Нефедова? Настя?..— не очень уверенно произнесла та, которую назвали Анной.— Настенька!

— Аннушка!

Женщины обнялись и замерли, как будто сразу обессилев.

— Вернулась?

— А ты здесь была?.. Толстая-то какая, и лицо...

— Толстая,— горько усмехнулась Нефедова.— Все, что осталось, на себя понапяливали. Холодно ж. А лицо? С месяц не умывались, воды-то нет... На питье снег топим, а много ли на таганке натопишь? Тут такое...— И она заплакала, прижавшись к Анне и страстно шепча ей в ухо:— Гады, гады... Будь они прокляты!

Потом она вытерла лицо концом платка, и там, где по щекам пробежали слезы, на коже остались светлые дорожки. Теперь уже и сама Анна удивлялась, как это она не сразу узнала давнюю свою знакомую, вместе с которой часто возвращалась после смены или с партийного собрания.

— Ты что ж, к Рагузиным в дом перебралась?

— Да разве я одна? Как он, проклятый, слободку попалил, мы все, кто на этом конце жил, сюда, в этот дом, и напихались. Нас там что семян в огурце.

— И свекровь моя с вами? — с надеждой спросила Анна и нетерпеливо шагнула на крыльцо.

— Нет ее с нами, там она.— Нефедова показала коричневой рукой туда, где посреди поля стояли одинокие ворота.

— Как там? — Сквозь недоумение в голосе Анны проступил ужас.

— Сгорела твоя свекровь.

Анна Калинина ухватилась за точеный столбик крыльца.

— Что? Настя, что ты говоришь? Как, сгорела?

— А так, в доме своем... Где вы там с ней расстались, не знаю, а только на следующий день, уже при немцах, вижу — идет с ведрами на колодец. И говорят люди: Надежда-то Узорова из эвакуации вернулась и вроде не в себе, от людей сторонится, ни с кем не говорит, заперлась в доме и сидит... Ну, а потом, в ноябре, как наши за Волгой зашевелились, Гитлер и принялся слободку палить. Доты, что ли, какие-то он тут строил для обороны... Ну, тут их-

ние солдаты всех из домов выгонять стали, и ее, тетю Надю, свекровь твою, тоже. А она выйти не пожелала — нет, да и шабаш. Они ее в охапку, силком вытащили, дом из каких-то там особых спринцовок облили, ну, и сразу его огнем опахнуло. А когда пожар разгорелся, она у них из рук и вырвись — да в дверь. Вещички у нее какие-то ценные были спрятаны, что ли, или вовсе разумом помутилась. Немцы ж за ней в пожар не полезут. Ну, и осталась там... У меня на глазах... Я с узлом да с ребятишками тут, возле, маялась.— Слезы вновь потекли по ее щекам.

— Ой, Анна, что тут людей перемерло!.. Во спальнях, говорят, по каморкам на своих кроватях так стылые покойники и лежат.

— А наша ткацкая?

— До сегодня стояла. Там чего-то этот самый инженер Владиславлев шебаршился, пускать, что ли, для немцев ее хотел.

— Как, Владиславлев? Какой? Это с прядильной, что ли? У немцев оставался?

— Да не оставался. Это бы ладно, Аннушка, мало ли народу оставалось... Он у них от бургомистрата всеми делами тут вертел, Иуда Скариотская...

— Ну, а фабрика?

И вдруг, срываясь на плач, Нефедова запричитала:

— Да видишь же — это же она горит, наша ткацкая! Ночью, как пушки загрохотали, фашист ее и зажег. Это оттуда дым валит.— Она подняла рукой горстку снега, бросила в рот.— А твой-то где, Жорка-то Узоров?

— А где ему быть? Где все, там и он. На фронте... Ой, горе какое, мать-то он как любил, уж и не знаю, Настя, как ему про это написать.— Анна вдруг заторопилась:— Ну, прощай.

— Куда ты? Заходи в дом, потеснимся, обогреешься...

— Пойду... Горит-то, горит-то как!

Теперь, когда улицы были разрушены, расстояние сразу сократилось, и фабрика, которую раньше отсюда не было даже видно, оказалась совсем близко. Клубы густого, жирного дыма окутывали ее. Сокращая путь, Анна шла прямо на этот дым по сугробам, пересекая наискось былые кварталы слободки. Высокий деревянный забор, некогда ограждавший огромный двор комбината «Большевичка», был разобран на дрова, и пожарище предстало перед Анной как-то сразу, во всей своей трагической красоте.

Бо́льшая часть фабрики, где находились основные ткацкие залы, где в новых светлых помещениях размещались столовая, Красный уголок, читальня, парткабинет, была в огне. Потолки обрушились. Но стены еще держались, и с металлических оконных переплетов капало рыжее расплавленное стекло. В пустые проемы было видно, как ленивое, сытое пламя, гудя и шипя, ворочается меж раскаленных станин.

Пожарище дышало горьким жаром. Подле стен снег расплавился, обнажив широкую полосу грунта. Виднелась примятая, но не убитая зимою зеленая травка. Анне почудилось даже, будто к чадной гари примешивается запах оттаявшей земли. Как-то сразу ослабнув, женщина опустилась в сугроб и закрыла лицо руками...

Сколько она так просидела, Анна не знала. Из тягостного полузабытья ее вывел скрип снега. Опасливо оглянулась. Рядом стоял невысокий человек, такой коренастый, широкоплечий, что в своей тужурке из телячьего меха он выглядел просто квадратным. И все на нем — и эта тужурка, и каракулевая шапка, и белые бурки, и даже полевая сумка, которую он держал в руке,— было закапано какой-то темной маслянистой жидкостью. Его грубоватого склада и тоже квадратное лицо с тяжелым подбородком было печально. Он морщился, будто отсветы пожара жгли щеки, причиняя физическую боль.

— Василий Андреевич! — радостно вскрикнула Анна, поднимаясь с сугроба.

— Калинина! А я смотрю: кто это на снегу сидит?.. Одна? А твои? А Лексевна? Отец? Дети?

— Мать тут, недалеко... Мы тогда из города ушли и осели рядом, в деревне. Мамаша и сейчас там с ребятами. А батя,— Анна вздохнула,— а он как тогда с истребителями ушел, так больше его и не видели. Убит, говорят. Много их под городом полегло. И еще горе — свекровь в доме своем сгорела. А племянница Женя, ну, Женька Мюллер, наш секретарь комсомола, она связь с подпольщиками поддерживала, так ее гитлеровцы убили еще в ноябре.

Анна торопилась выложить горькие свои новости, будто ища в этом утешение. Но у директора ее фабрики были свои думы, свои заботы, свое горе. Он рассеянно слушал, кивал головой, говорил: «Да?», «Неужели?» — и вдруг с тоской произнес:

— Ведь это подумать, до сегодняшнего утра все было

цело... И как запалили, мерзавцы, все сразу занялось! Тут уж без опытного инженера не обошлось...

— Говорят, Владиславлев при них околачивался.

— Владиславлев? Олег Игоревич?.. Не может быть...

— Настя Нефедова сказала. Она тут оставалась. Женщина серьезная, словами сорить не станет.

— Не верю... Впрочем, это не важно. Важно знаешь что? Зал автоматов-то не занялся. Цел. И приготовительные цехи целы. Понимаешь, Калинина, что это значит?.. Худо вот, что котельная взорвана. Если б еще и котельная!..

Квадратное лицо директора вновь стало задумчивым, но из узких глаз, в которых отражались багровые блики пожарища, исчезла тоска. Должно быть, он что-то уже решил, и глаза его приняли свое обычное озабоченно-деловитое выражение. Под кожей небритых щек, покрытых ржавой щетинкой, ходили скулы.

— А что ты думаешь, в самом деле выйдет,— вдруг сказал он.— Я тебе говорю, Калинина, выйдет.— И, увидев, что Анна удивленно смотрит на него, пояснил: — Фабрику пустить можно, вот что. Хоть кусочек фабрики, да пустим... Ах, прохвосты, как запалили!.. Хотя погоди, Калинина, а что, если... Нет, так это не получится...

Он говорил как в бреду, и Анне стало не по себе.

— Вы давно здесь, Василий Андреевич?

— Да с час или чуть побольше... Только вот успел вокруг корпусов обежать. Меня танкисты подбросили.

— То-то я вижу — весь в мазуте.

— Э-э-э, мазут! — отмахнулся директор.— Нет, ты, Калинина, подумай: вчера — да что там вчера! — сегодня ночью все было целехонько... Так твои-то где, говоришь?

— Я ж вам сказала.

— Ах, да, да... Женю-то как жаль! Вот комсомольцы горевать будут... И Николай Иванович Ветров погиб, слышала? Уж лучше бы мне правую руку оторвало! Всех наших коммунистов в уме перебрал — нет у нас никого, кто бы его заменил... Сызнова, все сызнова начинать надо... Как же это Женя-то? А как мне разведчики ее хвалили, говорили: «Гордитесь, ткачи...»

Анна принялась было рассказывать, как в студеную ночь ее племянница вместе с напарницей, возвращаясь с важным поручением от городских подпольщиков, переходили Волгу, как гитлеровцы заметили их на льду и обстреляли, а девушка, смертельно раненная, упав на лед, при-

казала своей напарнице бросить ее и бежать. Директор сочувственно кивал головой, но в узких, широко расставленных глазах снова было отсутствующее выражение.

— ...Тысячу двести станков я все-таки пущу... Конечно, не то, что прежде, но и не пустяк... Нет, нет, ничего, хоть маленький пай, да наш... Тысячу двести станков — это значит...

— Станки... а кто ж работать будет? — с некоторой даже обидой на такое невнимание к своему рассказу спросила Анна.

— Кто? А вот мы с тобой. И еще придут... Да вон, видишь, и идут уже...

В обход полыхавшему пожарищу, протаптывая дорогу через пухлую снежную целину, двигалась довольно большая группа женщин. С ними было и несколько мужчин. Анна не рассмотрела, кто именно шел, но ясно было — это свои, с ткацкой,— и она, увязая в снегу, бросилась к ним навстречу.

— Ро́дные!

— Калинина... Живая, здоровая?

— А фабрика-то наша горит, красавица... Ребят ты, Анна, где оставила?.. Лексевна где?

— Как вы-то тут жили?

— И не спрашивай! Разве это жизнь! Собачья смерть и та слаще... Некоторые, конечно, устраивались.

— Насчет Владиславлева-то верно?

— Гад... И еще тут были...

— Папаше твоему преподобному тоже не худо жилось,— произнесла тощенькая, желтолицая женщина неопределенных лет, Зоя Перчихина, которую Анна знала еще в детские годы.

— Как? Батя жив? — радостно вскрикнула Анна.

— А что ему сделается? Он с немцами не ссорился. У него какой-то там гитлеровский офицерчик чап-сахары разводил,— не без яда произнесла Перчихина.

— Врешь! — сразу вскипая, крикнула Анна.— Врешь, трепло худое! Не может быть! Мой батя...

— Чего мне врать... Каморки-то рядом, сама видала... Вон у людей спроси.

Анна оторопела. Обе эти новости ошеломили ее. Радость странно перепуталась с ощущением неожиданно надвинувшейся беды. Отец жив и якшался с гитлеровцами! Может ли это быть? Вопрошающим, умоляющим взглядом обводила она похудевшие, осунувшиеся лица

знакомых и убеждалась, что Перчихина, должно быть, права. В толпе она заметила Настю Нефедову и с надеждой ждала ее слов.

— Были такие разговоры,— неохотно подтвердила та, отворачивая лицо.

Анна растерянно озиралась. Подходили новые и новые люди. Здоровались, смеялись, плакали. Они бродили вокруг догоравшей фабрики, напоминая лесных пчел, что во время пожара встревоженным роем летают над своим уже охваченным пламенем дуплом. И так же, как пчелы вокруг матки, сбивались эти люди в тесную группу вокруг невысокого квадратного человека в обрызганной мазутом одежде.

— Василий Андреевич, сгорела кормилица-то наша, осиротели мы... Чем жить теперь будем?

Квадратный человек, который, видимо, сумел уже справиться со своими переживаниями, деловито пожимал подходившим руки, будто простился с ними только вчера и ничего с тех пор особенного не произошло. Он весь был погружен в свои мысли, расчеты.

— Ничего, ничего, пустим,— повторял он снова и снова, стараясь, должно быть, убедить не только собеседников, но и самого себя.— Кое-что сохранилось.

— Что? От жилетки рукава? — грустно пошутил кто-то из женщин.

— Сжечь, Василий Андреевич, легко, спичкой чиркнул — и вон она горит, фабрика. А восстановить — годы... немалые годы надо...

— Ну нет! — хмурился директор, потирая жесткую щетину на тяжелом подбородке.— Годы... Кто это нам даст годы! Завтра вот и приступим к работам.

— Завтра еще и не догорит,— вмешалась в разговор Перчихина.— Завтра тут еще горячо будет... И кому ж это, Василий Андреевич, начинать завтра?

— Как кому? Вот я, ты, они... все,— с бесстрастным спокойствием ответил директор.— И чего гадать? Решение бюро горкома обязало нас сразу же после освобождения развернуть восстановительные работы.Сразу же! Так и записано.

— Так когда же это оно успело постановить? — с сомнением произнес кто-то в толпе.— Фабрика-то — вот она только что освобождена... Горит.

Директор хмурился. Не мастер он был толковать с людьми. Казалось ему, что зря теряет он время на

пустые разговоры, разъясняя нечто само собой разумеющееся.

— Эх, присесть бы на что, сейчас бы и записал вас всех,— сказал он, озабоченно озираясь.

Кто-то прикатил и поставил на попа бочку из-под бензина. Приволокли три немецкие канистры. Уложив их одну на другую, Слесарев устроился возле бочки, извлек из полевой сумки общую тетрадь, развернул ее перед собой, надел очки. Теперь он торопливо говорил подходившим «здравствуйте, здравствуйте» и тут же заносил на разграфленный разворот тетради имя, отчество, фамилию, адрес, специальность.

Он уже работал, этот квадратный человек.

— Дела идут, контора пишет,— подмигивали в его сторону старые ткацкие подмастерья.

Эта его невозмутимая деловитость почему-то удивительно успокаивала. Люди радостно толпились вокруг «конторы», шепотом обменивались новостями. Сокрушались о секретаре парткома Ветрове, погибшем при обороне города. Гадали, далеко ли отогнали фашистов, скоро ли кончится война.

Снаряды залетали уже и сюда и рвались где-то в затухавшем пожарище, взметывая фонтаны искр. При разрывах Слесарев вздрагивал, пригибался, но сейчас же выпрямлялся и сердито поправлял очки,— ведь окружающие его женщины, столько перетерпевшие за эти месяцы, даже и не оглядывались, они знали: если грохнуло, пригибаться поздно.

Анна стояла поодаль, будто следя за тем, как в проемах окон из притихшего, неяркого уже пламени, остывая, начинали выступать темные контуры обгоревших станков. Что-то мешало ей подойти к людям, теснившимся вокруг человека, работавшего возле опрокинутой бочки. Даже когда появился маленький подвижный боец в новом, неправдоподобно светлом, не обмятом еще полушубке, в ушанке, сбитой на самый затылок, и люди вдруг узнали в нем своего возильщика основ, Анна не подошла к нему. До нее лишь издали долетели обрывки фраз:

— Как «катюши» жахнут, жахнут, как артиллерия рванет, как земля заходит, мы все и побегли: «Ура!..» Я одну гранату хлоп, другую хлоп... Ага, сукины сыны, не нравится? Давай поднимай. Хенде хох!.. Теперь сто верст лупить будет, не остановится.

На этого маленького бойца, похожего в своем новень-

ком полушубке на драчливого, вздыбившего перышки воробья, смотрели с нежностью, с гордостью, с надеждой — наш! Какая-то ткачиха ласково гладила его задубевший на морозе полушубок, другая по-матерински насунула ему на голову поглубже шапку: вспотел, простынешь.

— А Гитлер к нам не вернется? — робко спросил кто-то.

— Вернется? Ну, нет! Мы ж его во как! — Боец широко расставил руки и быстро свел их, оставив между ними лишь малое отверстие.— Он, холера, в эту щель едва-едва уполз. Да и уползать-то мало кому осталось, их на окраине видимо-невидимо навалено.

— А кто ж это из пушек-то бьет?

— А вот кто: у него манера такая — он, как отступать, солдат к пушкам да к пулеметам цепями приковывает, вот они и стреляют, пока пулей их не найдешь. Смертники. Это он завсегда так.

— Ой, страсти-то какие!

— Твои, мамаша, страсти кончились, а вот его начинаются... Мы ему покажем страсти-напасти!

Большинство толпившихся знало немцев лучше, чем этот парень, отпросившийся на часок из части, чтобы забежать на родной, только что очищенный от оккупантов фабричный двор. Еще вчера они видели, как, звонко стуча коваными сапогами, шагали тут патрули в серо-зеленых шинелях. Еще вчера полевые кухни, установленные на автомашинах, источали запах жирной пищи, от которой кружились головы голодных. Еще и нынче на рассвете видели они, как под огнем советской артиллерии немецкие части хотя и торопливо, но довольно еще организованно покидали город. Но радость освобождения кипела в людях, и все верили, что гитлеровцы бегут в панике и страхе, что город завален трупами врагов,— верили, что стреляют не артиллерийские дивизионы, прикрывающие отступление немецко-фашистской армии, а прикованные к пушкам солдаты-смертники...

Густела толпа. Подходили люди и к Анне. Она отвечала на приветствия, целовалась с женщинами, жала чьи-то руки, а из головы все не выходила жестокая мысль: отец! Как это могло случиться? И куда теперь идти ей, Анне Калининой? Дом, где она жила, сгорел. К отцу? Туда, где, по словам людей, бражничали гитлеровские офицеры? Нет, нет!.. Где же приклонить голову? Куда перевозить ребятишек?.. И еще была большая забота — мать... Каково будет

все это узнать ей, старой большевичке, которую здесь все знают, о которой сейчас спрашивает чуть ли не каждый... И вдруг охватывала женщину тоскливая безнадежность — ведь ничем теперь этой беды не поправишь! Ой, как худо...

Кто-то осторожно, но настойчиво трогал ее за плечо.

— Ты что, уснула, Анна? — произнес у самого ее уха глуховатый, знакомый голос.— Ну, здравствуй, дочка!

Анна отпрянула, чувствуя, как сразу жарко загорелись у нее уши. Перед ней стоял Степан Михайлович Калинин, ее отец, один из ветеранов комбината «Большевичка». Высокий, по-стариковски статный, с серебряными пышными усами и такой же серебряной, аккуратно подстриженной бородкой, лишь оттенявшими совсем не старческую свежесть крупного лица, он недоуменно смотрел на дочь. В пыжиковой шапке, в обычном своем полупальто с вытертым меховым воротником, он был таким, как всегда. И это выделяло его из толпы бледных, истощенных, неряшливо одетых людей с закоптелыми, темными лицами.

— Ты что, дочка, язык проглотила? Где мать? С ней что-нибудь случилось? Да ну, говори же!

3

Приземистые избы деревеньки, прятавшейся в лощине, вдалеке от больших дорог, были битком набиты беженцами из Верхневолжска.

В большинстве своем это текстильщики с фабрик «Большевичка», «Буденовка», «Красная звезда». В ночь трагического ухода из города все они бросили жилье и добро, кое-как добрались сюда с узлами, с детьми, обессилев, остановились на отдых, да так тут и застряли, поверив, что дальше гитлеровцев не пустят. Тесно, голодно, а все ближе к родному городу. Хоть издали на него посмотреть.

Колхоз, где осела Варвара Алексеевна с дочерью Анной, с ее детьми Леной и Вовкой и со старшей внучкой, семнадцатилетней Галиной, был невелик. В трудные дни колхозники отдали армии под заготовительные расписки все, что успели собрать в эту тревожную осень, и нежданным своим гостям могли предложить только кров. Жили беженцы тем, что стригли ножницами торчавшие из-под снега колосья на не убранных в суматохе отступления полях, топорами вырубали из мерзлой земли оставленную

там картошку, выкапывали из сугробов капустные кочны и тем питались, в надежде, что недалек день, когда Красная Армия освободит город и можно будет вернуться домой, к своему делу.

День этот приближался. Никто, разумеется, не говорил теснившимся по избам людям о готовившемся здесь наступлении, но по многим признакам они сами поняли, что желанный час близится. Ночами передвигались войска. Начинали рокотать моторы, лязгать гусеницы. В недалеком лесу однажды на заре оказались огромные пушки, жерлами нацеленные за Волгу... Да и сами бойцы, забегавшие иногда в избу погреться и напиться, имели какой-то особый, деятельный, веселый вид.

Мучимые нетерпением, беженцы свернули свои пожитки в узлы, да так и сидели на них, раскладывая на ночь только постели...

Желтоватые сумерки, еще отсвечивавшие морозным закатом, уже сгущались за запотевшими окошками, когда в избу вбежала внучка Варвары Алексеевны, курносая Галина, и, даже позабыв прикрыть дверь, так, стоя в клубах морозного пара, закричала:

— От Советского Информбюро: слушайте, слушайте!.. Уж такая новость!.. Сейчас проехал к фронту какой-то генералище в бекеше, шапка трубой. А за ним машины, машины — все сплошь начальство.

— Дверь, дверь закрой, Галка! Избу выстудишь! — раздавались из полутьмы раздраженные голоса.

— Уж подумаешь, дверь! — не смущаясь продолжала та.— К Верхневолжску покатили. Уж на месте мне провалиться, если не фрицо́в вышибать!

Пересыпая свою речь бесконечными «уж-уж», Галина, или Галка, как вслед за бабушкой все звали эту смуглолицую, маленькую, живую девицу, стала уверенно высказывать всяческие предположения. Как будто командующий фронтом, известный и любимый советскими людьми генерал, не только проследовал сейчас через деревню, но и успел по пути поделиться с ней стратегическими замыслами Ставки и собственными оперативными планами.

Как бы там ни было, по этой ночью в избе никто, кроме детей, спать не лег. Молча вздыхая, сидели при свете лучины, вернувшейся из старых песен в избу, где под потолком висела ослепшая в эти дни электрическая лампочка. Иногда то та, то другая женщина молча поднималась, завязывала платок, набрасывала пальто, выходила из душ-

ного тепла на улицу, на мороз, и смотрела туда, где за черным забором леса, за лиловато мерцающими снегами звездное небо склонялось к невидимому отсюда городу, к городу, по которому сейчас ходит враг. Только глухой и уже далекий, еле слышный рокот моторов да изредка тугой хлопок бревна, треснувшего на морозе, нарушали тревожную тишину. И где-то наверху, в изрешеченной звездами вышине, то затихая, то нарастая, надоедливо, как комар, зудил чей-то самолет. Но ничего особенного не происходило. И, вздохнув, озябшая женщина возвращалась в избу, где, воткнутая в щелку меж кирпичами печи, потрескивая, коптила лучина.

— Ну, что там? — спрашивали из душной полутьмы.

— Спите. Начинать — так начнут и без нас.

Но по-прежнему никто не спал. Варвара Алексеевна Калинина думала о дочери Анне — та не вытерпела, оставила детей на бабушку и, не взяв ничего из еды, ушла пешком к городу. Зачем? Бросят бомбу — и все. А дети-то — вон они. Старуха смотрела в угол избы, где среди других ребят на полосатом тюфяке, брошенном прямо на пол, ее младшая внучка, черная, смуглая, длинноногая Лена, девочка лет двенадцати, во сне обнимала уткнувшегося ей в живот носом рыженького, крепкого, как морковка, шестилетнего мальчонку... Дед погиб, отец воюет невесть где и жив ли еще, а мать лезет куда-то под бомбы. Ох, уж это всегдашнее Аннино нетерпение!

Хозяйка дома, пожилая колхозница, у которой муж и двое сыновей тоже были в действующей армии, стоя на коленях, клала поклоны перед невидимой во тьме иконой. Ее тень, огромная, рыхлая, металась по бревенчатым стенам, переламываясь на выступе печки. Губы шептали что-то невнятное. Можно было расслышать лишь особенно страстно произносимые слова: «...Осподи, пошли победу, спаси и сохрани...»

Варвара Алексеевна неприязненно следила за тем, как ползает по стенам тень, а тревожные мысли вертелись все вокруг своих. Думалось о внучке Жене, Галкиной сестре, погибшей, как говорят, где-то под городом, о сыне Николае — летчике, давно не подававшем голоса, снова и снова о муже... Сказали ей, будто видели Степана Михайловича убитым на укреплениях под городом, где погиб секретарь парткома фабрики Ветров и сложило головы немало знакомых текстильщиков из истребительного батальона. И все-таки, вопреки всему, в ней жила надежда: а может,

и не убили, может быть, он был только ранен и, очутившись в немецком тылу, подался к партизанам или так же вот где-то ждет освобождения города?

— ...Спаси и сохрани, даруй победу над окаянным антихристом Гитлером,— требовательно шептала хозяйка.

— Да оставь ты своего бога, ну его к шуту! — рассердилась наконец Варвара Алексеевна.

— Старый ты человек, Лексевна, а не дело говоришь,— осуждающе ответила хозяйка.— Без бога — ни до порога.

— А куда он, твой бог, глядел, когда вся эта нечисть до нас пошла? Кабы он верно был на этих ваших небесах, гнать бы его оттуда метлой поганой надо. Всемогущий!.. Если он все может, чего ж он на земле такие безобразия допускает?

Хозяйка, кряхтя, тяжело поднялась с пола, поправила одеяло, сползшее с чьего-то ребенка, присела к столу.

— Сердита ты больно, Лексевна, никому ничего простить не можешь... Ну, а если он зевнул маленько и в делах промашка вышла? Мало у него дел?

— Ну, так чего ж ты перед зевакой лоб об пол бьешь?

— Вот потому, что вы бога не уважаете, мы и терпим...

— Поляки вон уважают, первые на весь мир богомолы. Их первыми Гитлер и прихлопнул...

— Стой. Чуешь?

Пол ощутительно затрясся, звякнули окна. В притихшую избу властно вкатился и наполнил ее грохочущий звук, как будто в металлическую меру сыпанули из мешка картошку.

— Никак началось? — вскрикнула Варвара Алексеевна и с не соответствующим ее возрасту проворством прямо как была, простоволосая, в одной кофте, в шлепанцах, бросилась к двери. За ней двинулись остальные.

На дворе была ночь — густая, звездная. Только на востоке чуть-чуть посветлело. А там, где за черной гребенкой леса находился Верхневолжск, небо тревожно вздрагивало, разрываемое вспышками бурых прыгающих огней, пронизаемое сверкающими изгибами осветительных ракет. Грохот звучал все гуще, все мощней. Теперь в него вплетались басы дальнобойных орудий. Смерзшиеся бревна старой избы покрякивали, когда их встряхивал очередной залп. Колхозница дрожащей рукой бросала крест за крестом.

— Иди в дом, простудишься. И вы все... Не май месяц,— приказала Варвара Алексеевна.

Но женщины, выбежавшие, как и она сама, кто в чем был, стояли, прижавшись друг к другу, не в силах оторвать глаз от зарниц, ходивших по всему горизонту. Надежда, великая, жаркая надежда горела в усталых глазах. Когда Варвара Алексеевна, с трудом отлепив взгляд от беспокойно грохочущего горизонта, взялась за ручку двери, из сеней выскочила и чуть не сшибла ее с ног Галка, одетая в меховой полусачок, в валенках, с обмотанной пуховым платком головой.

— Это куда же ты, голубушка, снарядилась? — удивленно произнесла старуха.

— А уж туда уж. Что ж, думаете, я так и буду сидеть ждать, пока тетя Анна за нами на машине приедет? Уж ее уж дождешься!

Маленькая, смуглая и как-то по-особому смугло-румяная, Галка походила, пожалуй, на бабушку, только глаза у нее были серые, жадно смотрящие на мир, а у Варвары Алексеевны черные, узкие, будто всегда прицеливающиеся. И эти глаза, такие темные, что даже белки их имели кофейный оттенок, смотрели на девушку так, что та потупилась, покраснела.

— Думать не смей! Белочка — та за родину погибла, а тебя по дурости под пули несет. Пошла назад!

— Бабушка, уж я уж...— Меж длинными ресницами, заволакивая глаза, расплывались прозрачные озерца.

— Я уж, ты уж... Всё! Ступай в дом. У тебя мать воюет, и я перед ней за тебя в ответе.

За лесом протяжно зарокотало. Как будто кто-то стряхнул с кисти красные светящиеся капли и они веером взмыли в небо и понеслись за реку. Рокотало снова и снова. Вся предрассветная мгла, и проявившиеся на небе облака, и, как казалось, даже сами уже поблекшие звезды — все окрасилось в малиновые тона.

— «Катюша»! Ура! «Катюша» заиграла! — кричала Галка и прыгала по скрипучему крыльцу.

— Ну, вот видишь, кажется, и без тебя управляются,— примирительно проворчала бабушка, вталкивая внучку в полумрак сеней.

В избе стало холодно. К размаскированным, густо вспотевшим окнам липнул скудный декабрьский рассвет. В полумраке женщины поспешно укладывали, увязывали вещи. В избе была та бестолковая, нервная суета, какая возникает на вокзалах задолго до прихода неторопливого почтового поезда.

4

С тягостным чувством, в котором мешались и любовь, и стыд, и удивление, и жалость, Анна смотрела на отца. Месяцы, в которые погибло столько народу, было искалечено столько судеб, изувечен город, разрушена фабрика, будто и не задели его. Он остался прежним. И теперь вот смотрел на дочь такими же спокойными голубыми глазами, и где-то в седине пушистых усов пряталась скорее угадываемая, чем видимая, обычная его добродушная улыбка, которая как бы говорила: всех-то я вас насквозь вижу, вижу, только помалкиваю.

— Что же, Нюша, ты будто мне и не рада?

В семье Анну всегда звали «отецкая дочь». Она росла такая же видная, статная, как Степан Михайлович, с такими же волнистыми русыми волосами, какие были когда-то и у него, и только глаза у нее были карие, а у него даже и в старости обращали внимание своей веселой ситцевой голубизной. И, вероятно, потому, что своего рассудительного, всегда ровного, ласкового отца она любила больше, чем прямую, резкую на язык мать, то, что она теперь узнала, потрясло ее особенно сильно.

Улыбка постепенно исчезла с лица Степана Михайловича.

— Ты чего смотришь, как солдат на вошь? Что с маткой? Больна? Умерла?..

Он протянул к дочери руки, но та оттолкнула их.

— Уйди. Опозорил всех...

Недоумение сменилось на лице Степана Михайловича гневом, даже губы дрогнули от обиды.

— Стой! Что ты мелешь... Девчонка!

— Старый человек, столько из семьи на фронте, внучку фрицы убили, а он тут с гитлеровскими офицерами чаи-сахары разводит...

Степан Михайлович был совсем ошеломлен.

— Убили? Которую? Галку? Лену?

— При чем тут Лена! Женя погибла...

Что-то сообразив, старик даже вздохнул с облегчением.

— Да не погибла она, жива Белочка... Ранена только. Мы с ней тут вместе и бедовали... Уже поправляется, ковыляет потихонечку с клюшкой.

Новость за новостью! Среди беженцев, что ютились в пригородных деревеньках, много говорили о смерти Жени Мюллер. Рассказывали подробности, передавали ее послед-

ние слова. Сколько слез по ней пролито. И вот — жива. Жила, оказывается, у деда. Все перепуталось, перемешалось.

— Как же она к тебе попала?

— Раненую ко мне доставили.

— Кто доставил?

— Люди... Свет не без добрых людей,— уклончиво ответил Степан Михайлович и вдруг, схватив дочь за плечи, встряхнул ее.— Скажешь ты мне или нет, где мать? Что с ней?

Жгучая неприязнь к отцу уже остывала. В том, что сообщила Перчихина, было что-то не так. Но разбираться не было сил. Ощущая большую усталость, Анна монотонным голосом, будто во сне, рассказала отцу, как вчера утром рассталась она с матерью и, оставив на нее ребят, пешком двинулась к городу.

— Слава богу! Я уж было подумал...— успокоенно произнес старик.— А Женя говорила, будто бы вы все пароходом на Урал подались.

— Это Мария с ребятишками к своему Арсению поплыла. Нас с мамашей звали, это верно. Да мы уж решили: как-нибудь перезимуем тут, поближе к городу.

— Стало быть, верили?

— Мы-то верили,— ответила Анна, и карие глаза ее вновь стали отчужденными, колючими.

— И мы верили,— без всякого смущения, не опуская взгляда, произнес старик.— Мы с Белочкой и не только верили,— прибавил он многозначительно.

— А люди говорят, будто гитлеровцы к тебе хаживали, офицеры...

— Это для того, у кого глаза плохи, все кошки серы. Не всякий немец гитлеровец. Об этом, дочка, надо подробно, да и не здесь толковать... Ты лучше расскажи, как вы там жили...

Но разговор не налаживался, не было в нем родственной теплоты. Стояли, будто чужие, обмениваясь новостями. Сестра Ксения с дочкой в Иванове, работает, комнату получили. Сестра Мария с детьми, с мужем Арсением Куровым на Урале; говорят, верхневолжские, прибыв туда, свой машиностроительный уже пустили на новом месте... Брат Николай давно не писал, да и куда писать, по какому адресу? А жена его Прасковья при своем госпитале где-то в тылу обосновалась. О ней ни слуху ни духу, но эта не пропадет, не таковская...

— А твой Георгий что пишет?

— Что ж ему писать, все они одно пишут — воюет. Только что-то редки письма стали. Мы ему каждую неделю посылали, а он — в месяц одно... Что уж и думать, не знаю.

— А ничего и не думай: до писем ли? Видишь, кругом наступают... Да вот,— спохватившись, забеспокоился старик,— а Татьяна, как она? Вы ей насчет Белочки-то, упаси бог, не сообщили?

— Нет. Ждали, когда похоронная придет.

— Ну, слава богу, не заглянув в святцы, в колокола не бухнули.

Подошел директор. С озабоченным видом поздоровавшись со Степаном Михайловичем, он попросил Анну обежать вокруг ткацкой, посмотреть, не бродит ли где кто из фабричных. Если кого встретит, посылать сюда, к нему, или самой записать фамилии, адрес. Да вот еще всех, кого можно, извещать, чтобы завтра утром выходили на работу.

— На работу? — Анна невольно оглянулась на догоравшее пожарище. Среди тлевших углей кое-где виднелись остывшие, потемневшие, покривившиеся, скособочившиеся остовы станков, с кирпичных стен свисали скрученные шкивы, оплавленные железные балки.— Куда же это на работу, Василий Андреевич?

— Как куда? Сюда... Сейчас только секретарю горкома пообещал приступить завтра к восстановлению.

— Секретарю горкома?

— Ну да, вон он ходит.

И в самом деле Анна увидела невдалеке секретаря горкома. Высокий сутуловатый, в торчащей серой каракулевой шапке, он о чем-то беседовал с плотным, приземистым военным. В руках он держал пенсне и показывал им в сторону пожарища. Военный сдержанно кивал головой, и казалось, что он соглашается для вида, но сам не верит в то, о чем ему говорят.

— Счас, счас все сделаю,— торопливо ответила Анна директору, не сумев скрыть облегчения.— Пошла я, батя. Видите...

— Ночевать приходи,— грустно улыбаясь, сказал Степан Михайлович и сунул ей в руку какой-то сверток.— Возьми, захватил я на всякий случай. Голодна, наверно?

В свертке оказались ржаные лепешки, присыпанные сверху крупной солью. Соль хрустела на зубах. Лепешки казались необыкновенно вкусными. Анна поддела рукой

горсть снега и бросила его в рот. Снег был девственно чист, словно лежал он в поле, а не на фабричном дворе.

Обходя фабрику, женщина убедилась, что зал автоматов — огромный, весь как бы состоявший из окон и бетонных столбов цех, построенный уже перед самой войной и являвшийся гордостью верхневолжских текстильщиков,— действительно пощажен пожаром. Только крыша оказалась пробитой да стекла кое-где были вынесены взрывной волной. Старые приземистые корпуса приготовительных цехов, стоявшие поодаль от ткацкой и соединенные с ней лишь крытой застекленной галереей, тоже были целы. Но вот котельная издали походила на старый гриб, тяжелая шляпка которого осела на сгнившую ножку. Стены были подорваны, и крыша, не разрушившись, опустилась прямо на котлы.

Не дойдя до развалин, Анна остановилась в удивлении. Огромный человек брал по очереди на руки каких-то людей, легко, будто ребятишек, поднимал вверх, и они исчезали под нависшей крышей. Когда Анна приблизилась, человек этот был уже один. Сложив ладони рупором, он кричал кому-то в небольшой пролом стены:

— ...Флянцы как флянцы! Чего там щупать. Обстукать надо, кругом обстукать. И болты опробуйте... Ясно?

Человек показался Анне знакомым, но вспомнить, кто он, она не смогла. Спросила фамилию, адрес, место работы.

— Это зачем же? — добродушно осведомился гигант, с откровенным интересом рассматривавший ее лицо, раскрасневшееся от ходьбы и мороза.

— Завтра на работу выходить, вот зачем,— весело сказала она, ожидая, что приятно поразит собеседника.

— А мы уж вышли,— просто ответил тот, обтер о ватник большую свою руку и протянул Анне.— Лужников Гордей Павлович, механик котельной, сорока восьми лет от роду, женат, не судился, адреса не имею.— И развел большими руками.— Сгорел адрес, товарищ начальник... Все?

— Эй, ты с кем там, Гордей Павлович? — послышалось из щели под крышей.

— Да вот товарищ тут один симпатичный рабочий класс регистрирует... Ну как там? Обстучали трубы?.. Особенно на сгибах, на сгибах потщательней! — И пояснил Анне: — Самовар вот свой тут обследую, цел ли.

— Это они обследуют, а вы?

— А мне в ту щель, видите, не пролезть — мала,— ска-

зал Лужников, усмехаясь.— Вот и приходится руководить, так сказать, из кабинета...

Анна переписала немало народу, удивив всех отрадной вестью. А когда она вернулась к догоравшим развалинам, люди толпились у телеграфного столба, на котором белело рукописное, прилепленное хлебным мякишем объявление:

«К сведению рабочих, инженерно-технических работников и служащих ткацкой фабрики комбината «Большевичка».

Сим дирекция фабрики доводит до сведения, что с 17 декабря 1941 года будет производиться прием на работу. Желающие получить таковую являются в отдел кадров фабрики, временно расположенный в помещении пожарного поста. Преимущество при поступлении будет оказываться тем, кои работали на данной фабрике до ее эвакуации, и их родным, имеющим квалификацию, а также желающим получить таковую.

Директор фабрики В. Слесарев».

Почерк был четкий, круглый. Слесарев сам написал эту бумагу, и все эти женщины и редкие среди них мужчины — пожилые слесари, шлихтовальщики, помощники мастеров — читали и перечитывали ее, наслаждаясь неуклюжими, канцелярскими, зато такими с детства знакомыми, привычными словами. Были среди них и дряхлые пенсионеры, приковылявшие сюда с палочкой, и матери с детьми на руках. Они, эти люди, десятилетиями работали здесь. Вся жизнь их была связана с фабрикой. Даже во время отпуска, получив путевку в дом отдыха или санаторий, на юг, иные из них тяготились вынужденным бездельем. А тут прошли месяцы, и какие! И нет ее, фабрики. Горьким жаром дышат развалины. Но тут рядом, вот оно, объявление: «сим», «кои», «таковую»... Люди верили и не верили.

— Скор, больно скор Василий Андреевич... Куда ж тут «на работу»!

— Раз написал, стало быть, знает. Мужик деловой, не трепло какое-нибудь.

Двор комбината заметен снегом, тих, как кладбище. Саперы шарят по углам уцелевших корпусов, отыскивая мины. Бойцы в зеленых пограничных фуражках извлекают из подвалов попрятавшихся там немцев. Где-то нет-нет да и рванет снаряд, и эхо раскатится по двору, гулкое, звон-

кое, будто в горах. Оттуда, где солнце опускается за гребенку труб электростанции, слышна еще и пулеметная стрельба. А тут Слесарев, окруженный людьми, сидит у бочки, будто в кабинете, на носу очки, не хватает только черных сатиновых нарукавников, которые он надевает обычно во время работы. От всего этого на душе у Анны стало необыкновенно хорошо. Вновь возвращалась к ней жизнерадостность. Она положила на бочку список и с преувеличенной торжественностью, не без насмешки, отрапортовала в стиле объявления:

— Сим доводится до вашего сведения, Василий Андреевич, что пожелавших получить таковую, тех, кои мною записаны, у меня тридцать одна душа...

Директор сдвинул было брови, но морщины на его выпуклом упрямом лбу тут же разбежались, крупные неподвижные губы тронула скупая улыбка.

— Видали? Калинину никакая война не берет. Как была зубоскалка, так и осталась.

— А чего мне меняться? Меня и такую муж любит.

Люди улыбались. Перед ними вновь была прежняя Анна Калинина.

5

Тут же, у бочки, Слесарев провел что-то вроде совещания подошедших инженеров, техников, мастеров, определил их новые обязанности, наметил всем на завтра первоочередные дела. Перед эвакуацией Анна работала старшим мастером по ремонту. Слесарев предложил ей сейчас же подобрать людей в бригаду восстановителей. Она принялась за это дело и так увлеклась, что освободилась, только когда уже стемнело и пожарище стало бросать багровые отсветы на низко нависавшие зимние облака.

Путь к двадцать второму общежитию, где жили старики Калинины, лежал через комбинатский двор. Совсем недавно все тут в любой час ночи сияло щедрыми огнями. Теперь приходилось идти чуть не на ощупь. У Анны появилось странное ощущение, будто она вдруг ослепла, оглохла, лишилась обоняния. Двигаясь по едва различимой на снегу тропинке, она не слышала привычных шумов — ни мелодичного гула, доносившегося обычно с электростанции, ни глухого буханья большого молота на механическом заводе, ни тонкого пения веретен, всегда точно бы выте-

кавшего из окон прядильной. Только метель шелестела сухим снегом, словно торопясь затянуть и эту последнюю стежку. Никогда никто не видел раньше речку Тьму, протекавшую через фабричный двор, замерзшей, даже в самые лютые зимы вода ее чернела, курилась в лохматых, густо обросших инеем берегах, дышала на проходящих острыми запахами красильного и ситцевого производства. Теперь река совсем терялась в снежных берегах. Лишь кое-где темнели проруби. К ним вели извилистые тропинки. По одной из них, совсем как в деревне, гремя ведрами, спускалась женщина.

«...По воду ходят»,— удивилась Анна. А это помогло ей понять, как тяжко людям было в огромных общежитиях, лишенных воды, света, тепла, канализации... Все, все изменилось. И там, где ночью глаз привык видеть громаду прядильной, сверкавшую пятью поясами огней, сейчас неясно вырисовывались бесформенные руины, царапавшие рваными краями тихое звездное небо.

Анна была не робкого десятка, но возле этой мертвой каменной громады ей стало так одиноко, так тоскливо, так жутко, что она пустилась бежать и бежала, пока, споткнувшись, не свалилась в небольшую воронку, уже припудренную снегом. Поднимаясь, она увидела совсем рядом тела двух немецких солдат, лежавшие, будто тряпичные куклы. От неожиданности она вскрикнула, но потом, как-то сразу успокоившись, пошла дальше, все время слыша впереди себя необычное эхо своих шагов да грохот близкой канонады, гулко раскатывавшейся меж руин.

Двадцать второе рабочее общежитие — большинство текстильщиков именовало эти общежития по-старому «спальнями» — во времена фабрикантов Холодовых называлось семейным. Тогда это была спальня для привилегированных. В ней жили подмастерья, конторские рескontеры, текстильные художники, создавшие рисунки для знаменитых холодовских ситцев, славившихся на всем Востоке, граверы, вручную переносившие эти рисунки на медные валы, раклисты — тончайшие мастера текстильной печати, украшавшие ткань рисунками в шесть, восемь и даже десять цветов и оттенков.

Семья раклиста Степана Михайловича Калинина жила в этом общежитии со дня его заселения. Тут, в пристройке третьего этажа, или, по-местному, в «глагольчике», Калинины имели продолговатую комнату с большим окном и дверью, выходившей в полутемный, с асфальтированным

полом коридор. Здесь Анна родилась, выросла и прожила до самого замужества. В комнате этой всегда было трудно повернуться. В передней ее части к стенам жались узкие кровати старших детей. Перед подоконником, всегда заставленным цветами, стоял чисто выскобленный стол, на котором ели, занимались рукоделием, готовили уроки, читали, а по вечерам под выходной игрывали в козла, а то и в очко. Эта передняя часть была отсечена от задней розовой ситцевой занавеской. За ней стояла широкая родительская кровать, а напротив — продолговатый шкаф, служивший одновременно буфетом и комодом, и полочка с отцовскими инструментами. У стены на сундуке, в ногах у родителей, стелили маленьким. Это была обычная обстановка в семейных комнатах, которые по той же давней традиции здесь именовались каморками.

Но в комнате Калининых была своя особенность: передняя ее часть считалась «мамашиной». Тут на видном месте висел в самодельной рамке пожелтевший, водруженный еще в первые послереволюционные годы плакат с надписью: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». На нем был изображен стремительно шагавший Ленин в наброшенном на плечи пальто, развеваемом ветром. В углу раскрыл черную пасть радиорепродуктор, висевший еще в дни юности Анны. Задняя половина считалась «батиной». Тут из-под полочки с инструментами тощая черноликая богородица в потускневшей серебряной ризе грозила кому-то тонким пальчиком. Под иконой была даже лампада.

После Октябрьской революции, когда бежали за границу фабриканты Холодовы, комбинат из Товарищества Верхневолжской мануфактуры превратился в Большевистскую мануфактуру, а потом как-то само собой, без официальных переименований, в «Большевичку». Вокруг выросли большие и малые поселки — фабричные, кооперативные, коммунальные. Обитатели общежитий понемногу разъезжались по новым квартирам. Дети Калининых тоже обзавелись каждый своим жильем, но старики, люди заслуженные, на фабрике известные, которым получить новую квартиру не составило бы особого труда, так и остались в своей комнате, в «глагольчике», который издавна назывался калининским и даже в честь Варвары Алексеевны именовался соседками «тети-Вариным».

Все это огромное здание, все его лестницы, переходы, коридоры Анна помнила даже лучше, чем сгоревший домик

мужа, где прожила последние годы. Если бы не это, нипочем не добраться бы ей до тети-Вариного «глагольчика» — такая кромешная тьма и могильная сырость окутали ее, как только за спиной, взвизгнув тугим блоком, захлопнулась дверь. Казалось, здесь даже холодней, чем на дворе. Зябкая дрожь пошла по телу.

Закрыв глаза, Анна нащупала круглый металлический поручень, поднялась на третий этаж и по стенке двинулась вдоль коридора. Темно. Тихо. Лишь в отдалении плакал ребенок да еще доносился откуда-то кашель, сухой, надсадный, безнадежный. Дойдя до поворота в «глагольчик» и отсчитав четвертую с краю дверь, Анна нерешительно остановилась. А вдруг заблудилась? Вдруг это не та дверь? Ей почему-то сделалось страшно. Дрожащей рукой она дотянулась до овального металлического номерка и на рубчатой его поверхности нащупала цифры «4» и «6». Сорок шесть. Здесь. Постучала. Из открывшейся двери неожиданно пахнуло жилым теплом. В желтом свете фитилька, плававшего в жестяной плошке, вырисовалась массивная фигура отца.

— Что так поздно?

За его спиной постукивала о пол палка. Розовая, с огромными пышными пионами ситцевая занавеска отодвинулась, и из-за нее появилась тоненькая, стройная девушка с тяжелой светло-русой косой, переброшенной через плечо. Это была племянница Анны Женя Мюллер, о гибели которой было столько толков. Она похудела. Лицо, на котором раньше всегда был легкий румянец, бледно. Прямой, с маленькой горбинкой нос чуть заострился, и коса от всего этого казалась еще тяжелее. Идя сюда, Анна решила до того, как все выяснится, быть сдержанной и холодной, но, увидев Женю, все позабыв, она бросилась к ней.

— Белочка, хорошая ты моя... Бабушка-то, Галка-то как обрадуются! Уж как они по тебе плакали...

Девушка тоже разволновалась. Румянец пятнами пошел по осунувшимся щекам. Большие темно-синие глаза стали влажными, губы дрогнули. Но она все-таки нашла в себе силы сдержаться и даже чуть-чуть улыбнуться.

— Неужели и ты, тетя Анна, научилась плакать? Ты же только смеяться умела.

— А ты такая же колючка! — сказала Анна и действительно расхохоталась звонко, заразительно, как не смеялась уже давно, а потом схватила девушку за плечи, повернула ее к свету, стала рассматривать. Похудела, по-

взрослела и хорошенькая какая стала! Ребята с фронта вернутся — пропадут, как мухи!

— Да не мни ты ее, не мни! Она ж неделю всего как на ноги поднялась,— волновался дед, радуясь такой сердечной встрече.

Потом пили чай, собственно, не чай, а взвар сухого брусничного листа. Припахивавший дымком, напиток этот казался им даже лучше настоящего чая. Опять говорили о родственниках, которых война разметала по стране; печалились об Анниной свекрови, погибшей такой страшной смертью; толковали о муже Анны, от которого письма приходили так редко, и завидовали сестре Марии, забравшейся в такие далекие края.

— А и померзень же у вас во спальне, как вы тут живы остались,— сказала вдруг Анна.

— Это верно, как говорится, наша горница с богом не спорится, что на улице, то и тут,— усмехнулся Степан Михайлович.

— Совсем не топят? — как-то машинально спросила Анна.

Дед с внучкой переглянулись.

— Гитлер все никак не собрался по дрова в лес съездить,— улыбнулась Женя.

— Не топят! — горько повторил за Анной Степан Михайлович.— Тут, милая, не то что топить, мертвых из каморок вынести некому! Полазь по этажам — так и лежат окоченелые в своих постелях...

Теперь Анна разглядела в углу печь, сделанную из большой железной бочки, и на печи банный чугун. В нем что-то хлюпало, источая сытный запах пареного зерна, чуть отдававший гарью. Взгляд ее остановили две пустые консервные банки с яркими, явно заграничными этикетками. Они лезли в глаза, бередили Анне душу, мешали ей отдыхать, наслаждаться теплом и покоем родительского гнезда. Отец обещал все рассказать. Ей не хотелось его торопить. Но мысль как-то сама собой, волей-неволей снова и снова возвращалась к тому же: здесь бывали немцы. К кому они ходили? Зачем?

— ...А напарница твоя, Женя, рассказывала, будто тебя очередью из автомата чуть не пополам перерезали. И будто ты ей велела бежать и сказала: передай, что, мол, умираю за родину. Об этом и в газете написали. Только без фамилии: товарищ М.

— Неправда это. Когда меня ранили, ее рядом и не

было: туман был, мы заплутались и друг дружку потеряли.

— Ну, а кто же тебя все-таки спас, как ты здесь-то оказалась? — Анна требовательно смотрела в васильковые глаза племянницы.

— Говорил же тебе: свет не без добрых людей,— поспешно вступил в беседу старик.— Ты давай лучше нам рассказывай, как там бабка-то моя — все пылит, все хлопочет или маленько поостыла, поспустила пары в эвакуации?

Он явно уводил разговор в сторону. Но Женя, твердо смотря в лицо тетки, спокойно, даже с какой-то непонятной гордостью произнесла:

— Не люди, а один хороший человек. Немец, военный.

— Как? Гитлеровец? — почти вскрикнула Анна и даже отпрянула от девушки.

— Нет, не гитлеровец,— с тем же мучительным спокойствием ответила та.— Он хороший человек, его отец коммунист. Он сейчас сидит в концентрационном лагере. Курт тоже прежде был комсомольцем...

— Это его гостинцы? — Анна брезгливо показала на банки, не дававшие ей покоя.

Старик, согнувшись, уставился глазами в чашку. Но Женя с подчеркнутым спокойствием подтвердила:

— Да, это Курт принес. И вот это тоже,— указала она кончиком палки на два пузатых куля, торчавших из-под кровати.— Пшеница горелая с элеватора. Мы кашу варим, вон в чану кипит.

— Не много ли на двоих? — спросила Анна, чувствуя, что в ней поднимается волна неудержимого раздражения.— Животы не лопнут? Иль, может быть, вы уже тут «частную инициативу» проявили, торговлишку наладили, на немецкий манер? Гитлеровцы, говорят, это поощряли...

— Что ты, что ты, дочка, бог с тобой! — обиженно воскликнул дед.

— Этой кашей мы весь коридор кормим,— так же спокойно ответила Женя.— Всех, кто ослаб.

— Ну да, вот сейчас поспеет, и будем раздавать. Увидишь... Белочка, глянь, разварилась ли? — И снова, стремясь отдалить тягостный разговор, старик попросил: — А ты о матке-то, о матке-то... Соскучился я без нее. Знаешь, по пословице: без мужа голова не покрыта, а без жены дом не крыт.

Послышался тихий стук, и дверь отворилась.

— Здоровеньки булы, Михайлыч, здравствуйте, Женечка. Не рано я? — сказала, появляясь на пороге, невысокая худая женщина с бледным, бескровным лицом, на котором выделялись большие губы и почти круглые, обведенные темными кругами карие глаза. Эти глаза с удивлением смотрели на Анну.— Кто это у вас?.. Анна! Неужто не узнаешь?

Только по голосу, по певучим украинским интонациям, и можно было угадать в этой печальной женщине, стоявшей с кастрюлькой в руке, катушечницу Лизу Борисенко, славившуюся на все общежитие певуньей. Анна бросилась к давней подружке; крутой комок, подкатив к горлу, не давал говорить, но Лиза и так все поняла.

— Изменилась, да? Та я шо, есть тут — с постели не подымаются. Вот мы с Женечкой по каморкам им варево и разносим. А як же, раз они не ходють... Ой, Аннушка, дити ж малые, як восковые, ручки, ножки аж насквозь просвечивают. А при смерти сколько...

— Так что же вы? — с упреком сказала Анна, обращаясь неведомо к кому.— Разве тут кашей поможешь? Людей звать надо.

Она стояла уже у двери, торопливо срывая с вешалки пальто.

— Куда ты? Подожди до утра. В такую позжину разве кто к нам пойдет!

— Пойдут,— уверенно сказала Анна, обматывая голову платком.— Не могут не пойти.

По памяти, вслепую, бежала она по темным коридорам, не разбирая пути, перескакивала через ступеньки лестницы, сразу нащупала железную скобу двери, отполированную прикосновениями рук многих поколений жильцов. Взвизгнув блоком, дверь пропустила ее и тут же сердито захлопнулась. На дворе все так же сверкали звезды, все так же, шелестя, сухой снег колол ей лоб, переносицу, губы. Но после промозглого холода коридоров мороз был как-то неощутим, а воздух казался необыкновенно вкусным.

Что искать? Райком? Райсовет? Военную комендатуру? Все, что представляло здесь партию, советскую власть, армию, разместилось, вероятно, на новых местах. Как их найдешь? У кого спросишь? Кому рассказать о тех, чей слабый сухой кашель слышится в тишине коридоров? Кого позвать на помощь сейчас, ночью, в разоренном городе, где, вероятно, ничего еще не встало на свои места?

Школа! На фабрике хорошая школа, где когда-то училась и Анна. Если здание уцелело, наверное, там кто-то есть. Догадка оказалась правильной, в одном из окон нижних классов из-за неплотно подогнанной маскировочной шторы виднелась полоска света. Женщина бросилась на крыльцо и забарабанила в дверь. Что там за учреждение, ей все равно. Это свои, советские люди. Они не могут, не имеют права, не смеют не прислушаться к ее зову.

И она не ошиблась. Тут еще только развертывался военный госпиталь. Но уже через какой-нибудь час промозглый сумрак коридоров общежития вспарывали суетливые лучи карманных фонариков. По асфальту торопливо цокали подковки солдатских каблуков. Скрипели носилки. Запахло лекарствами, пищей. Женский голос требовательно звал из тьмы: «Сюда, сюда! Здесь двое больных детей». Кто-то предостерегал: «Эй, с носилками! Осторожней, не поскользнитесь на лестнице». Простуженный бас сердился: «Ну куда вы, к черту, тычете фонарь! Осветите саму больную!» Мужской голос неуверенно бубнил: «А ты, маленькая, обойми меня ручкой за шею». Плачущая женщина все повторяла: «Свои, милые вы мои! Дожила-таки, свои пришли!»

Только когда к большим, находившимся в концах коридоров окнам, которые здесь почему-то назывались «итальянскими», уже льнул серенький, худосочный рассвет, Анна, усталая, но довольная, вернулась в родительскую комнату. Едва добралась до мамашиной половины, где ей уже постелили на Галкиной кровати, грузно опустилась на нее и вдруг как-то сразу затихла. Когда Женя встала, чтобы задуть плошку, она увидела, что тетка спит не раздевшись, в жакетке и валенках, свернувшись калачиком прямо поверх одеяла.

6

Проснувшись, Анна не сразу сообразила, где она находится. Острый оранжевый луч, вырываясь откуда-то сверху, пронзал наискось полутьму. Он упирался в розовую занавеску, и в свете его полыхал красный разлапистый пион. Окончательно придя в себя, Анна сразу же была вновь озадачена: мать рассказывала что-то своим резким, без нужды громким голосом, каким часто говорят старые ткачихи, привыкшие к грохоту станков. В рассказ то и

дело встревала Галка, рассыпая свои «уж, уж, уж»... А дети?

Словно ветер сдул Анну с постели, она рывком раздвинула занавеску. Старики сидели рядышком на широченной своей кровати. Лена и Вовка дремали, уютно устроившись каждый на одном из колен деда. В темном углу, у весело потрескивавшей печки, смыкались две головы — черная, кудлатая и светлая, с толстой косой. Черная возбужденно потряхивала кудрями. Слышалось:

— ...Молодой, симпатичный, с усиками. Уж он сразу наклонился, ребят поднял, бабушке вежливо так помог, а я топчусь, как дура, в этих противных валенках с калошами, будто молочница какая. А он уж смеется. «Чего стоишь? Прыгай в машину, кнопка!» Ты понимаешь, Женечка, это мне «кнопка»... Уж я б ему кнопку показала, да, думаю, еще рассердится, не посадит, и придется мне в этих паршивых мокроступах — трюх-трюх-трюх... Села.

— Мамаша, как же вы добрались? — спросила Анна.

— Проснулась?.. Очень просто добрались. Чай, не в гитлерии, свои люди-то, не бросили, подвезли.

— Нас дяденька лейтенант подкинул на пестрой полуторке,— авторитетно подтвердил Вовка, раскрывая один глаз, но не теряя теплого местечка в ложбинке дедова плеча.— А Галку он кнопкой звал.— И для полной убедительности Вовка припечатал эту фразу словечком, должно быть только что подобранным на военной дороге: — Точно.

По такому чрезвычайному случаю дед снял со шкафа щеголеватый самовар, весь разукрашенный медалями. Вскоре он мурлыкал на столе, нахально посверкивая в сторону электрического чайника, бездейственно пылившегося на подоконнике.

— Ну вот, совсем как в мирное время,— радостно потирая руки, заявил старик.

Семья, сидя вокруг стола, довольная, благостная, как бы отходила от пережитого. Но тому, кто знал Калининых, наверное, бросилось бы в глаза, что степенный, медлительный Степан Михайлович как-то непривычно суетлив и многословен, что Варвара Алексеевна, наоборот, молчалива, часто отвечает невпопад и взгляд ее, задержавшись на лице мужа, вдруг становится беспокойным. Анна видела это, и собственный ее взор против воли снова и снова притягивали иноземные этикетки консервных банок. Ах, как было бы всем хорошо, если б не этот проклятый немец!

Взгляд Анны останавливался на Жене. Она и Галка

сидели теперь рядышком на деревянном сундуке. Галка что-то возбужденно рассказывала сестре на ухо, таращa свои серые лучистые глазищи. Женя улыбалась с ласковой насмешливостью. Тонкие ее пальцы перебирали кончик косы. Удивительно походила она на своего отца, которого Анна помнила таким же вот молодым, белолицым, синеглазым.

Рудольф Мюллер был одним из тех иностранных специалистов, которых в свое время не скупясь выписывали из-за границы промышленники Холодовы, не верившие ни в знания отечественных инженеров, ни в мастерство и смекалку русских рабочих. Тут были и немцы, и англичане, и чехи, и бельгийцы, но всех их текстильщики звали одинаково «немцами», и улица серых двухэтажных деревянных домов, где обитала иностранная колония, в просторечии именовалась «немецкой слободкой».

После революции большинство иностранных специалистов разъехались по своим странам. Мастер Мюллер, давно уже подозревавшийся администрацией в преступных связях с фабричными политиками, в Германию не вернулся. Он оказался большевиком-подпольщиком, одним из тех, кто утверждал в городе советскую власть. Потом вместе со сформированным на «Большевичке» полком Красной Армии он отправился на фронт, комиссарствовал и на войне женился на молоденькой ткачихе Татьяне Калининой, ставшей в том же полку медицинской сестрой. Вместе они вернулись в родные края, и бывший мастер-красковар привез серебряную саблю, полученную от командования за храбрость. В первую пятилетку рабочие избрали Рудольфа Мюллера красным директором ситценабивной фабрики, а в начале коллективизации горком послал его в деревню. Оттуда его привезли в красном гробу. Он погиб от кулацкой пули. Стоя с комсомольцами в почетном карауле, Анна навсегда запомнила тонкие, точеные черты его лица, пышные светлые волосы. Теперь, смотря на Женю, она думала: до чего же разительным может быть семейное сходство. Девушка, должно быть, и характером пошла в отца. Такая же прямая, непреклонная...

Но и любуясь племянницей, даже гордясь ею, Анна ни на минуту не могла отделаться от мысли о человеке, из-за которого в этой всегда такой дружной и согласной семье пошли пока еще и не очень заметные, но ощутимые трещины. Зачем сюда таскался этот немец? Почему об этом гитлеровском вояке племянница говорит как о друге? Анна

перевела беспокойный взгляд на детей. Они что-то собирались делить по справедливому солдатскому способу.

— Кому? — спрашивала Лена, поднимая зажатый кулак.

— Мне! Мне! — нетерпеливо кричал Вовка, для пущей беспристрастности крепко зажмуривавший глаза.

Девочка разжала пальцы. На ладошке оказалась шоколадка. Анна отобрала ее.

— А это откуда? — строго спросила она.

Степан Михайлович молчал, а Женя, встав с сундучка, прихрамывая, подошла к столу и спокойно пояснила:

— Это тоже принес Курт.

Вот оно! Вот что томило Анну, что не давало ей наслаждаться миром за чайным столом. Разве гитлеровцы будут даром кормить кого-нибудь шоколадом! Чем же с ним расплачивались? Чем? Почему в этот дом, где люди умирали с голоду и замерзали на своих кроватях, в одну из комнат носили шоколад?

— Стало быть, гитлеровец вам сюда еще и сласти таскал?

— Я повторяю: Курт не гитлеровец,— медленно произнесла Женя. Она так же упрямо смотрела в лицо Анны, и синие глаза ее стали похожими на льдинки.— Он рассказывал, что был юнгштурмовцем [1].

— Он расскажет! А он тебе не говорил, что он внук Карла Маркса или племянник Клары Цеткин?

— Внуком Карла Маркса он себя не называл. Но говорил, что его отец коммунист и сидит в лагере Бухенвальд. И я ему верю, слышишь?! — В голосе и глазах девушки был вызов.

— Кому ты веришь? — крикнула Анна.

Степан Михайлович поднялся, попытался встать между дочерью и внучкой.

— Анна, остынь. Успокойся.

Но было поздно. Оттолкнув старика, Анна опять оказалась лицом к лицу с девушкой.

— Ты, комсомолка, говоришь о нем, об этом... будто он твой друг?

— Да, он мой друг!

У Анны руки опустились.

— Ты, может быть, еще скажешь, что любишь его?

---

[1] Формирование коммунистической молодежи в догитлеровской Германии.

Синие глаза были все такими же твердыми, так же прямо смотрели они в лицо Анны, а побледневшие губы спокойно произнесли:

— А разве можно запретить любить?

Анна бросилась к кровати, схватила Вовку, который уже успел перепачкаться в шоколаде, стала рывками натягивать на него шубку.

— Пойдем, маленький, пойдем... Лена, одевайся. Быстро! Нам здесь не место.

— Опомнись, не дури.— Дед старался вырвать у нее из рук испуганного мальчика.

— Я дурю? — бормотала Анна.— У девки мать в Красной Армии, а она тут с гитлеровцами путается. А дедушка радуется, консервы да шоколадки принимает... Я дурю? Это вы все одурели! Да будешь ты, дрянь этакая, одеваться? Что у тебя, руки одеревенели?!

Она дала Вовке звонкий шлепок. Но мальчуган был не пуглив и не терпел несправедливости. Он не заплакал. Он только покраснел, сбычился и молча двинулся на мать, размахивая крепкими кулачками. Это еще больше взбесило Анну. Оттолкнув мальчика, она бросилась к племяннице.

— Свои пришли, да? Обрадовалась? — И вдруг, срываясь, выкрикнула: — Немецкая кровь заговорила!

Наступила тягостная тишина. Даже Вовка, почувствовавший что-то страшное, сразу стих. Тогда медленно поднялась Варвара Алексеевна. Подошла к двери. Негромко, но так, что все это отчетливо расслышали, произнесла:

— Кровь?.. Вот это уж, милая, действительно гитлеровские речи.— И, показав сухоньким пальцем на дверь, тихо сказала: — Вон!

И, может быть, оттого, что в шумном разговоре вдруг прозвучал этот спокойный, негромкий голос, Анна, точно вся обмякнув, опустила глаза и покорно пошла к двери, таща за руки затихших, присмиревших ребят. В коридоре она остановилась и, застегивая Вовкину шубку, поглядела на закрытую дверь. Втайне она ожидала, что дверь откроется, ее догонят, остановят, уговорят. Но дверь оставалась закрытой.

Только когда Анна с детьми уже спускалась по лестнице, Степан Михайлович нерешительно потянулся было за шапкой.

— Куда же она с ребятами? Ты об этом, Варьяша, подумала?

Но Варвара Алексеевна решительно остановила его.

— Не пропадет! — Потом перевела на мужа свои черные, узкие, все еще красивые глаза и грозно спросила: — Ну, други милые, рассказывайте, что вы тут без нас натворили.

7

И она услышала странную историю.

Взвод под командованием бывшего гренадера царской службы Степана Михайловича Калинина вместе со всем отрядом истребителей стойко держал укрепления, наскоро сооруженные западнее города. Артиллерии и танков не было, но несколько умно расставленных пулеметов оказалось достаточно, чтобы около суток отбивать атаки немецких пехотных авангардов, не очень активных на этом направлении. Дело доходило до ручных гранат. Обе стороны несли изрядные потери.

На вторые сутки люди, отвозившие в Верхневолжск раненых, вернувшись, доложили — город эвакуируют. Всю ночь в тылу укреплений полыхали пожары. Потом атаки прекратились, и немцы, окопавшиеся было напротив, разом куда-то исчезли. Наступила тишина, в которой отдаленная перестрелка раздавалась с особой отчетливостью. Разведчики, обследовав тылы, донесли: вражеские танки уже заняли фабричный район, бои перекинулись к волжским мостам.

Командира и начальника штаба отряда, раненных осколками снаряда еще в первые часы боя, давно эвакуировали. Комиссар Ветров, принявший обязанности их обоих, был убит при отражении одной из последних атак. Как поступать дальше, никто не знал; на танки с гранатами и винтовками не пойдешь. Попытались связаться с командованием, но штабы уже эвакуировались за реку. Тогда истребители помоложе решили с оружием пробиваться через фронт к своим. Они ушли, а старики, которых в отряде было большинство, похоронили убитых. В отдельной могилке закопали комиссара Ветрова, по старому обычаю положили в головах фуражку покойного, постояли над свежим земляным холмиком и разошлись кто куда.

Степан Михайлович решил вернуться домой. Он закопал винтовку, набрал возле укреплений вязанку дров, взвалил на плечи и с ней пришел на фабричный двор, по которому уже шныряли гитлеровские трофейщики из интен-

дантских команд. Никому из них не было дела до седого старика, тащившего дрова.

Так добрался он до своего общежития. Никого в коридорах не встретив, прошел он в «глагольчик», на тети-Варин конец. Дверь оказалась незапертой. Толкнул ее и увидел, что за столом, закутавшись в одеяло, сидит Женя. Давно уже не встречались дед и внучка. Последние месяцы Женя училась на каких-то курсах за городом, в военных лагерях. Дома появлялась изредка, загорелая, озабоченная, и ничего об учебе своей не рассказывала. Да ее и не расспрашивали, догадываясь, что девушка, для которой немецкий был вторым родным языком, готовится к какой-то особой и, вероятно, секретной работе. Найдя внучку в оккупированном городе, в почти пустом общежитии, старик обрадовался, но не удивился.

— Ты что же, осталась? — только и спросил он.

Женя молча кивнула.

— ...Мы уж, Варьяша, кое-что тут опустим, ладно? Не наш капитал, не нам его и расходовать,— сказал Степан Михайлович, прерывая повествование.

— Конспиративщики! — усмехнулась Варвара Алексеевна.— Я в чужие кастрюльки нос совать не охотница. Вы про немца про этого, он как к вам попал?

— И о Курте доложим, всему свой черед... Ты бы, Галка, пошла погуляла, ей-богу. Что ты все дома, в духоте, торчишь? — предложил было дед, но встретил такой шумный протест, что только махнул рукой...

Пришлось продолжать рассказ при младшей внучке. Женя слушала молча, опершись подбородком на свою клюшку, зажатую меж колен, неподвижная, будто бы вся оледеневшая. Напротив за столом сидела Варвара Алексеевна. Она тоже не шевелилась. Только сухие ее пальцы все время находились в движении — теребили чайное полотенце, крошили хлебную корку, собирали крошки, двигали ложкой по столу. Лишь изредка вскидывала она глаза то на деда, то на внучку, и в выражении их было что-то такое, от чего Галке, наблюдавшей всех троих со стороны, становилось тоскливо и жутко и было жаль и бабушку, и деда, и Женю.

— ...Как только немецкая комендатура объявила, что перерегистрируют всех жителей, мы с Женей первым делом туда, проштемпелевали паспорта, аусвайс получили — все честь честью,— повествовал Степан Михайлович.— Аусвайс — это вид на жительство. Он у них всё...

Степан Михайлович вел трудное хозяйство. Женя то исчезала на целый день, то, появившись, часами сидела у печки с книгой и снова исчезала. Дед не спрашивал, где она бывает, но по мере сил старался помочь ей. Раз девушка пришла в сильном возбуждении и сказала, что ей надо переходить фронт. Волновалась. Волновался и дед, но, пряча свое беспокойство, принялся сам готовить внучку к трудному и опасному делу. Это он придумал одеть ее похуже, набить мешок разным барахлом: если остановят, показывай паспорт, аусвайс и шпарь по-немецки — дескать, есть нечего. Вот, мол, собрала кое-какое барахлишко на хлеб да картошку менять в деревне... И в самом деле у линии фронта ее задержали. Спасли неподдельный аусвайс, чистый немецкий язык да синие глаза. Девушка вернулась домой и весь день молча пролежала на кровати, подавленная пережитым. Но вечером снова ушла и на этот раз в кипени метели без особых приключений перешла реку.

Снова она появилась в общежитии дня через три, уже спокойная, уверенная и даже веселая. Дед приготовил ей своеобразный подарок. В поисках пропитания и топлива сумел он высмотреть, что в хлопковых амбарах немцы открыли ремонтные мастерские, натащили туда массу машин, что такая же мастерская, но уже для танков, организована в старом трамвайном парке. Он дал внучке отклеенное от столба извещение бургомистра о наборе рабочей силы для восстановления электростанции и пуска ткацкой фабрики, «испорченных красными при отступлении». Тем, кто пойдет на работу, сулили жалованье и продуктовый паек. Подпись под бумагой была: «Заместитель обер-бургомистра города Верхневолжска по экономическим вопросам, дипломированный инженер О. И. Владиславлев...»

— Ведь это подумать, какую змею на груди пригрели... Орден кому дали,— прервала рассказ Варвара Алексеевна.

— Вот поди ж,— развел руками Степан Михайлович.— Он тут у нас все и сновал, как бес-искуситель: вот вам продуктовый паек, работайте... На пайки-то народ было клюнул — не умирать же с голоду. Потом видят — не то. Вместо пуска-то машины, что поновей, разбирать да упаковывать заставляют. А тут еще подпольщики листовочкой разъяснили: дескать, хотят они наше оборудование на свой фатерлянд тащить, а вы им помогаете... Ну, люди и поразбежались. И остался дипломированный инженер сам-друг со своим бургомистром.

— Смотри, какой гад! А на собраниях всех речистей был. Статейки пописывал...— сокрушалась Варвара Алексеевна, как будто это она прозевала предателя.— Ну, а сейчас он где? Хоть поймали?

— С собой они уволокли. Его тут кое-кто стерег с подарочком, да, видать, прозевали. Хитер он, этот Олег Игоревич.

— Не он хитер, а мы лопоухие... Ну и дела... А у нас слух ходил, будто механик Лаврентьев с электростанции к этому поганому делу приложился.

Дед и внучка оба протестующе замахали руками.

— Лаврентьев! — взволнованно сказал Степан Михайлович.— Его б по старому времени к лику святых великомучеников причислить, Лаврентьева... От электрических машин ведь он части в Тьме топил, когда отходили. Ну, на речке простыл, его болезнь к кровати и пришпилила. Даже спрятаться не успел. Так в своей квартире лежать и остался... Ну, немцы, должно быть, через кого-то про утопленные части прознали, к нему и приступили. Ходят вокруг, еду из офицерской кухни ему посылают, врач их к нему повадился: дескать, немецкое командование уважает интеллигенцию... Потом и этот иуда Владиславлев туда стопы свои направил: зря, мол, вы упорствуете. Что уж он там ему толковал, я не знаю, а только известно, что Лаврентьев слушал-слушал да как этому иуде в морду плюнет.

— Ну, а дальше?

— Дальше начали его брать измором. Поставили у порога солдата — ни ему выйти, ни к нему войти. Мол, одумаетесь — скажите часовому, все будет: и еда, и врач, и на лучший курорт в саму Германию отвезем. Не позвал. Помер — то ли от голода, то ли от болезни, то ли замерз в нетопленной квартире... Во как было. И будь я Михаил Иванычем, я б этому инженеру Лаврентьеву Звезду Героя на могилу положил...

— Сочтут нужным — положат. Это не наша забота,— прервала Варвара Алексеевна и испытующе посмотрела прямо в глаза мужа.— А ты, старый, все от немца следы отводишь.

— Эх, торопливый ты человек, Варьяша, все у тебя скорей да вприпрыжку, а от недопеченного-то брюхо пучит. Ну, коли так, слушай о немце...

...Второй переход через фронт и обратно Женя совершила благополучно. Третий ей предстояло сделать уже с напарницей. Теперь она собиралась без особых тревог, весь

день была весела, выстирала, высушила над печуркой и погладила деду белье. Читала «Последний из удэге» Фадеева. Под впечатлением прочитанного, укладывая в мешок всякую всячину, принялась горячо доказывать, что дальневосточным подпольщикам и партизанам в гражданскую войну было много трудней, чем теперешним. Перед уходом она даже осмотрела себя в зеркало...

В эту ночь Степан Михайлович, раздумывая о внучке, никак не мог уснуть. И вдруг в коридоре послышались тяжелые шаги и кто-то стал колотить сапогом в дверь. Не одеваясь, старик отпер и отпрянул. Из тьмы на него шагнул высокий худой немец в военной форме. Он держал на руках Женю. Голова ее, откинутая назад, бессильно свисала. Мгновение он постоял в дверях, потом решительно подошел к кровати и осторожно опустил свою ношу. Выпрямился, козырнул деду, щелкнул каблуками и вышел.

— Белочка! — крикнул дед, наклоняясь над кроватью. Девушка лежала неподвижно, в какой-то неестественной, неудобной позе. Глаза были закрыты.— Что с тобой, девочка, внученька?

Дед был так поражен, что не заметил, как немец в очках снова появился в комнате. В руках у него была тяжелая санитарная сумка. Он достал оттуда какой-то пузырек, поднес его к носу девушки. Та вздрогнула и медленно открыла глаза. Увидела склоненное над ней чужое лицо в очках, перевела взгляд на пилотку и что-то сказала по-немецки.

Действуя уверенно, ловко, немец снял временную повязку и наложил новую. Все это он сделал молча. Закончив, встал, вымыл у порога над ведром руки, с интересом окинул взором комнату, еще раз взглянул на раненую, на деда и, ничего не сказав, козырнул и ушел.

— Кто это, Белочка? — спросил пораженный старик; помогая перевязке, подавая воду, бинты, он действовал точно во сне и теперь как бы проснулся.

— Фельдшер... Он меня спас,— только и сказала Женя, вновь впадая в забытье.

Так в сорок шестой комнате появился ефрейтор Курт Рупперт — военный фельдшер, старший санитар батальона баварских егерей «Эдельвейс», державшего оборону у восточной окраины города. Он установил, что две пули, посланные из автомата, пробили Жене бедро навылет, к счастью не задев кость.

На другой день фельдшер появился снова. Молча пове-

сил шинель на гвоздь и, сунув пилотку под левый погон кителя, стал мыть руки. Он обследовал рану, сменил повязку. Потом опустился на стул возле Жениной кровати и некоторое время сидел, ничего не говоря, прямой, вытянутый, то и дело снимая и протирая очки. Посидел и ушел, сказав только, что через день зайдет осмотреть рану.

С тех пор Курт Руппсрт стал наведываться в сорок шестую комнату даже чаще, чем, по мнению деда, этого требовал уход за раной. Понемногу он осваивался, становился разговорчивей, откровенней. Однажды по его уходе девушка очень взволнованно сообщила деду: сейчас немец рассказал, что его отец коммунист, сидит в концентрационном лагере, называющемся Бухенвальд, что сам он был когда-то комсомольцем и поэтому его не взяли на строевую службу. Только во время войны, когда в армию брали всех под метлу, его, как студента-медика, мобилизовали и произвели в военные фельдшеры...

— Он тебе так прямо и сказал: отец — коммунист? — Варвара Алексеевна впилась взглядом в лицо внучки.

— Так и сказал,— спокойно подтвердила та.— И еще в тот вечер он сказал, что ненавидит Гитлера и что многие из солдат, особенно те, кто постарше, не любят наци, но даже с глазу на глаз об этом между собой не говорят, даже думать об этом опасаются, чтобы не проболтаться во сне. Он сказал: страх у них такой, что человек скорее умрет, чем в этом признается. Иначе погубят не только его, но и семью.

— Ой, интересно... как в кино! — выдохнула Галка, не отрывая от сестры широко раскрытых влюбленных глаз.

— Молчи! — цыкнула на нее бабушка и, все так же испытующе смотря в синие глаза старшей внучки, спросила: — А коли у них такой страх, почему же это он тут перед вами с дедом открылся? Что вы за такие за поверенные в делах?

Женя молчала. Светлые, длинные, загнутые кверху ресницы совсем закрыли ее глаза. Лицо залилось краской, но это не была краска стыда.

— Не в первый же день, не сразу он открылся,— пришел ей на помощь дед.

Женя подняла взгляд. Глаза смотрели гордо.

— Он сказал, что я первая русская девушка, с которой он познакомился, и еще сказал, что я лучшая девушка из всех, кого он знал.

— Ах, вот как! — несколько насмешливо проговорила

Варвара Алексеевна.— Ладно, он сказал тебе, будто был комсомольцем, а ты?

— А я ему сказала: «Если это так, как же у вас рука поднялась в нас стрелять?» Он ответил: «Я фельдшер, за войну я не произвел ни одного выстрела...» Мы с дедом решили его испытать, и в этот вечер дедушка повел его по спальням: вот, любуйтесь на дело своих рук. Он пришел в ужас, тут же принялся осматривать больных... На следующий день где-то добыл и принес немножко лекарств...

— Ты, Варьяша, не поверишь, эта девка над ним такой верх взяла, что ни скажет, он на все — натюрлих, натюрлих! Что ни спросит — яволь! Не веришь? Вон кули с горелым зерном, из которого кашу варим. Белочка ему — люди с голода мрут. Он с разбитого элеватора, что ли, на машине два мешка пригнал.

Теперь лицо Варвары Алексеевны стало задумчивым.

— А откуда вам, милые мои, известно, что он не из гестапо? Там ведь тоже не лопухи, уши-то развешивать не приходится.

— Постой, постой, опять у тебя, Варьяша, дровни впереди лошади бегут... Гестапо! Думаешь, об этом мы не думали? Только не может того быть. Вот смотри: попервости я сказал ему, что бывший царский гренадер, карточку ту, где при всех регалиях, ему показал. Он ухом не повел. А гестапо — оно бы тут поживу сразу почуяло: мол, царский осколок, к рукам его прибрать... Нет, этот всамделишный. Бывало, говорят они с Белкой, говорят, спорят, спорят, я иной раз задремлю... А однажды очнулся, слышу — Белка на него кричит, а он глаза в пол и пилотку в руках терзает.

— Ну, и какой такой разговор у вас был? — Варвара Алексеевна перевела на внучку строгий взгляд.

— Я тогда ему сказала: «Раз вы немецкий комсомолец, вы обязаны помогать нам бить Гитлера». Он: «Фрейлейн Женя, но как, как я могу?» — «Можете. Берите листовку-пропуск, переходите к нам». Он головой качает: «Вам меня не жалко! У вас же пленных не берут». Я рассердилась. «Вы, говорю, трус и шкурник и не прячьтесь за всякие бредни». Он вскочил, бросился к двери, потом вернулся и говорит: «Хорошо, пусть даже меня расстреляют, я перейду, чтобы доказать, что я не трус».

— Целый вечер они учили по-русски: «Товарищ», «Не стреляй», «Я не враг, я друг», «Ведите меня к командиру»... Я вот и сейчас слово в слово помню, а он туг на рус-

ский язык оказался. Никак вызубрить не мог,— добавил дед.

Варвара Алексеевна, принявшаяся уже мыть чашки, покачала головой:

— Ну и ну...

— Вот тебе и ну — баранки гну... А потом он сгинул. Что и думать, не знаем. Может, перешел, может, свои подстрелили, может, наши, а может, гестапо его расшифровало, схватили.

— Да, это свободно могло случиться,— задумчиво сказала Женя.— Последний раз он забежал на минуту и все прислушивался, не идет ли кто по коридору. А на следующий день даже не зашел, а в условном месте письмо оставил...— Лицо девушки стало грустным. Потом своевольным движением головы она перебросила косу назад и, твердо посмотрев в лицо бабушке, сказала: — Одно знаю — он не враг.

Варвара Алексеевна чувствовала некоторое облегчение. Она поверила и мужу, и внучке. Гестапо, по-видимому, тут действительно было ни при чем. Курт Рупперт исчез, не причинив никому вреда. Старая большевичка даже немножко гордилась своими. Но она понимала, как трудно будет объяснять все это людям, столько перенесшим от гитлеровского нашествия, привыкшим видеть врага в любом человеке, одетом в ненавистную серо-зеленую шинель. Она знала, какие осложнения, может быть даже беды, сулит старику и ее любимице вся эта история с немцем, необыкновенная история, в которой все приходилось брать на веру и ничего нельзя было доказать. Если родная дочь Анна бросает такие слова, что же ждать от других. Анна горячая, но умная голова. Поостынет, разберется — сама поймет. А как убедишь соседей, знакомых, товарищей? И этот Женин непреклонный характер. Разве она, чтобы оправдаться, покривит душой, принесет в жертву молве дружбу с этим Куртом? Дружбу? А может быть, любовь? И, вздохнув, бабушка говорит про себя: «Да, чего на свете не бывает,— может быть, и любовь».

8

Уже по пути на фабрику Анна раскаивалась в том, что наговорила сгоряча. Но слово не воробей, вылетело — не поймаешь. Стараясь не думать об этом, она спешила, таща Вовку, едва поспевавшего за ней.

Еще вчера ночью Анна, направляясь одна к старикам, чувствовала себя на фабричном дворе так, будто осталась последним человеком на обезлюдевшей земле. Сегодня всюду била жизнь. Не узенькая стежка, а несколько наезженных дорог пересекали двор в привычных направлениях. Обгоняя Анну, длинной чередой тянулись вереницы машин. Лязгая гусеницами, медвежьей поступью, переваливаясь с боку на бок, шли танки, дыша острым запахом солярки. Тягач, хлопотливо перебирая траки, волок огромную пушку. И опять машины с пехотой. Настеганные холодным ветром, лица бойцов были не красные, а малиновые, кудри инея свисали с козырьков шапок, бровей, ресниц. На груди у них висели странные короткие ружья с круглыми коробками под прикладом.

— Автоматы,— пояснил умудренный жизнью Вовка, с восхищением оглядывавшийся по сторонам.

На деревянном мосту через Тьму, в который ночью угодил шальной снаряд, образовалась пробка. Красноармейцы бранились, как-то по-особому растягивая слова. Уже в первый день наступления Анна слышала эту несколько необычную для ее слуха речь.

— Из каких мест? — спросила она, пробираясь с ребятишками между ревущих, рыгающих сизой гарью машин, осторожно объезжавших пробоину на мосту.

— Из долеко,— вкусно напирая на «о», ответил коренастый солдат, обдиравший сосульки с усов и бороды.

И Анна поняла: Урал. Далекий, неведомый Урал, где сейчас с мужем и ребятами в тишине и покое жила сестра Мария, могучий Урал входил в войну. Да, не худо было бы отправить ребят туда, к сестре...

Анна поднялась на крыльцо приземистого деревянного дома. В мирное время здесь находился пожарный пост. Теперь на зеленой двери кто-то уже написал мелом: «Управление ткацкой фабрики «Большевичка». Внутри было тесно, как в автобусе в часы смены; окна плакали горючими слезами, капало с потолка. Но в этой сутолоке уже чувствовался какой-то свой порядок, даже организованность. На двери, где еще висела эмалевая дощечка: «Умывальная», мелом было тщательно выведено: «Директор».

Стучала на машинке немолодая женщина в чистенькой белой блузке и стеганых ватных штанах, заправленных в валенки. Это была Клавдия Федоровна, неизменная секретарша Слесарева. И то, что она сидела на обычном месте,

у двери в директорский кабинет, тоже как будто говорило, что жизнь начинает входить в колею.

Торопливо поздоровавшись с Анной, Клавдия Федоровна деловито сообщила, что директор сейчас занят, у него секретарь райкома партии Северьянов, и тут же, заглянув в один из лежащих перед нею списков, сказала, что бригаде Калининой надо обследовать станки в первом пролете зала автоматов и к работе следует приступать немедленно: кое-кто из слесарей уже пошел туда. Выполнив эту официальную обязанность, Клавдия Федоровна уже неофициально потрепала по щеке Вовку и пояснила: директор временно занял умывальную потому, что комнату, отведенную под кабинет, пришлось отдать детям — многие, как и Анна, вышли на работу с ребятишками. Тут же Анна получила талоны на завтрак, на обед и записку, по которой у нее на время работы примут ребят «на хранение».

Затем, сказав «извините», Клавдия Федоровна вновь согнулась над машинкой и синими, негнущимися пальцами, которые, вероятно, все эти месяцы выполняли отнюдь не канцелярскую работу, принялась стучать по клавишам.

Радуясь, что все решилось как-то само собой, Анна торопливо пересекла заметенный снегом двор. Пожарище все еще курилось синим дымком, но в обход ему вилась хорошо протоптанная дорога. Она вела к свежему пролому в стене, через который люди попадали в коридор, соединявший старые, уничтоженные огнем залы с огромным цехом автоматов. Здесь было снежно, как в поле в зимний день. Белые бороды льда свисали с потолков. В уцелевшем зале снегу было по колено. Пухлыми подушками лежал он на станках, и видеть это было так же страшно и неприятно, как нетающие снежинки на лице покойника.

Анна остановилась в преддверии, тоскливо осматривалась. Здесь было не просто место ее работы. Тут прошла бóльшая часть ее жизни. Куда бы ни падал взгляд, все что-нибудь да напоминало. Вот в этом заиндевевшем углу была комната мастера, к которому мать привела ее девчонкой определяться на учение в счет учрежденной законом брони для подростков. Мастер ущипнул русоволосую девчонку за толстую, румяную щеку, назвал морковкой и милостиво разрешил пройти в оглушительно грохочущий цех, где, как показалось тогда Анне, тысячи станков дрожали и топали от нетерпения, стараясь сорваться с места и куда-то ринуться, сметая все на пути... А вот там, где и сейчас еще стены шелушатся обрывками старых плакатов,

в те давние времена был Красный уголок. Здесь, присев у столика, покрытого залосненным кумачом, Анна под диктовку матери писала в цехкомитет заявление, объявляя себя ударницей. Это было, когда само слово «ударник» не прижилось еще в языке, казалось новым, необычным. Холодовских времен подмастерья ругали ударников на чем свет стоит. Старые ткачихи, любившие во время работы поболтать в уборной или посидеть у чайника с кипятком, посмеивались: валяй-валяй, работа дураков любит. В дни получек мимо пивных, что льнули к воротам фабрики, женщинам-ударницам лучше было и не проходить... Все-все стало неузнаваемым. Тут, где обычно стояла жара, а над станками ходили влажные ветры вентиляции, где постоянно гудело и грохотало, где в каждом простенке можно было увидеть знакомое лицо, где кипели страсти, возникали и рушились авторитеты, где Анну все знали и она знала всех, сейчас было пустынно, как на кладбище.

Впрочем, нет, из дальнего конца цеха доносились разговоры. Несколько голосов надсадно кричали: «Раз, два — взяли! Раз, два — взяли!..» Кто-то выбранился. Застучал молоток. Встрепенувшись, Анна бросилась на эти голоса, на этот стук в дальний край обледеневшего цеха. Там уже шла работа. Ткачихи, катушечницы, проборщицы отгребали, отбрасывали, грузили на товарные тележки снег, отвозили его куда-то.

Тут увидела Анна и своих слесарей.

— Долго сны смотришь, товарищ начальник! — не без насмешки приветствовали они ее.

— А у меня кошмар был. Грезилось, будто опять с вами работать придется,— в тон им ответила Анна, пожимая черные, уже замасленные руки.— Ну что, как тут? Разглядели?

— Да вроде ничего... Станки-то целы и моторы тоже. Керосинцем пообтереть, перебрать — и хоть запускай. Если до того крыша на голову не сядет.

— Крыша?

— Ну да. Гитлер гостинцы оставил. Вон солдатики из-под упоров выволакивают... Мины какие-то замедленные.

В углу бродило несколько красноармейцев, водя перед собой приборами, напоминавшими ухваты. Изголодавшиеся по работе люди не обращали на них внимания, спокойно ходили мимо странных предметов, похожих на металлические шкатулки, аккуратными кучками сложенные возле стен.

— ...Похоже, Анна Степановна, что Гитлер сюда и не заходил: все как было, так на местах и осталось... Только вот гостинцы на прощание сунули.

И в самом деле — даже спецодежда еще висела в шкафах. Подобрав себе ватник и стеганые штаны и разом превратившись в толстого курносого смазливого мальчишку-подростка, неведомо зачем повязавшегося платком, Анна тут же взялась за дело. Действовала она, как всегда, деловито, точно, работала, не разгибая спины, но воспоминания, разбуженные необычным видом цеха, как бы передавали ее одно другому...

...Вот станок «1005». Памятный номер. Когда-то, комсомолкой, Анна работала на этом гнезде. Здесь, у этого станка, она познакомилась с Георгием Узоровым, с Жорой, который потом стал ее мужем. И как познакомилась! Она, бригадир молодежного комплекта, довольно известная уже на фабрике ударница, вот тут настигла застенчивого техника-хронометражиста и принялась бранить его за путаницу с нормами. Техник краснел, нетерпеливо осматривался по сторонам, стараясь поскорей отделаться от бойкой ткачихи. Потом рассердился, поднял на нее взгляд, увидел задорное, раскрасневшееся в гневе лицо и вдруг смолк, улыбаясь и, должно быть, ничего уже не слушая. Заметив, что зеленые глаза хронометражиста смотрят на нее с восхищением, девушка тоже смолкла. Неугомонный вожак непобедимого девичьего комплекта густо покраснел и опустил взор. Тихие, не понимая, что с ними случилось, разошлись молодые люди каждый по своим делам, и этот обычный, не суливший ничего интересного день стал очень важным в их жизни.

С тех пор юная ткачиха, склоняясь к станкам, частенько чувствовала на себе взгляд зеленых глаз. Она ловила его и на комсомольских собраниях, и в молодежном клубе, где проводили вечера, а иногда и где-нибудь в коридоре. Подружки заметили, что с некоторых пор веселый их бригадир, готовый всегда после смены и спеть, и сплясать где-нибудь в скверике перед фабрикой, стал задумчив, забывчив в делах. Долго обменивались молодые люди взглядами, стесняясь и сторонясь друг друга, пока однажды поток смены не стиснул их в дверях проходной и нормировщик, оберегая молоденькую ткачиху, свирепо работая локтями, не вывел ее бережно во двор. Они пошли вместе, а через год, в весеннюю ночь, Анна, вернувшись домой под утро, сообщила родителям, что выходит замуж.

Свадьбу праздновали в молодежном клубе. Это было в те дни новшеством. Вместо церковного богослужения звучали речи. Вместо всего, что извечно стоит на свадебных столах, тут был чай с печеньем да пирожные. Степан Михайлович и его сват Александр Узоров, тоже раклист, извлекшие по такому случаю из сундуков старые, еще холодовских времен, шевиотовые тройки, сидя рядом и отчаянно благоухая нафталином, брюзжали: что это за свадьба без попа, без колец, без водки и хорошего закуса? Что же, «горько» под чай кричать, что ли?

Впрочем, молодые пропагандисты нового быта поняли, что тут они перехватили. По очереди выходили они из-за строгого стола, кто за расческой, кто за носовым платком, кто просто освежиться, дохнуть воздуха, и возвращались, отирая губы, раскрасневшиеся, с оживившимися глазами. Зачем-то раз-другой вызвали и стариков. И после того, как в заключение дирекция фабрики преподнесла молодоженам электрический чайник, фабком — комплект столового белья, комсомол — чернильный прибор величиною с надгробный памятник, а клуб, учитывая любовь молодой к народной пляске,— русский вышитый костюм, после того, как все гости еще по нескольку раз выходили за носовыми платками и расческами, все встало на место: и оркестр гремел, и пели песни, и плясали до упаду, как это умеют текстильщики. Под конец, помахивая платочком и выкрикивая развеселые «страдания», пошла в круг и сама Варвара Алексеевна. Кричали «горько», молодые, краснея, целовались. Конец свадьбы кое-кто завершил под столом. Даже старики остались бы довольны, если бы молодые не отказались регистрировать брак, заявив, что главное теперь между супругами — доверие и самостоятельность, и не сохранили бы в подтверждение этого решения свои прежние фамилии: она — Калинина, он — Узоров...

Вот какие картины вызвал в памяти старшего ремонтного мастера автоматический ткацкий станок № 1005, изготовленный на ленинградском заводе имени Карла Маркса.

Теперь Анне казалось, что жить лучше, чем жили они с мужем, просто немыслимо... Нет-нет, она не забыла, что в последние годы не все шло гладко. Она так и не сделалась настоящей хозяйкой в домике Узоровых, не постигла прелести тихих вечеров в затянутой вьюнками беседке, у самовара, дышащего острым, приятным дымком сухих сосновых шишек, не полюбила грядок и клумб, на которых

все свое свободное время священнодействовала свекровь, не пристрастилась к вышиванию, не постигла тайн засолки огурцов и квашения капусты — предмет семейной гордости. Она осталась сама собой, и Георгий Узоров так и не смог смириться с тем, что, став женой и матерью, она попрежнему продолжает воспринимать фабричные дела как главное, личное, близкое сердцу. Он любил провести свободный вечерок дома, за газетой, за беседой с соседом, заглянувшим на огонек. Ее тянуло на люди — в клуб, в театр, в кино, просто прогуляться под руку с мужем... И ссорились они иногда потому, что за годы семейной жизни не научились уступать друг другу даже в мелочах, и в запале ссоры Анне не раз хотелось связать в узелок свои платья, забрать детей, уйти из домика в слободке в общежитие к своим старикам...

А вот теперь, когда испытания войны отмели все наносное, произвели строгую пробу всему, она, вспоминая об этих ссорах, думала: какая же это все чепуха! Уютным и милым казался ей домик в три окошка с резными, затейливыми наличниками. И чем бы она теперь ни пожертвовала, чтобы все пошло по-старому, стало таким, каким было до 22 июня!

Расставляя людей, давая им советы, сама при случае ловко действуя ключом, Анна вся была во власти этих мыслей. И появлялись томительные вопросы: почему муж так редко пишет? Почему письма становятся все короче, все холоднее?.. Или ей это кажется?.. Может быть, нервы шалят после всего пережитого... И почему именно тут, в цехе, все эти тревоги стали такими острыми и неотвязными, почему, работая, она все время вспоминает его голос, его каштановые волосы, его губы, от которых всегда приятно пахнет табаком, его ласковые руки?..

— Анна Степановна, эй, замечталась?

— А? Что? — не сразу сообразила она.

— Первый рядок прошли — перекур надо,— вытирая руки пучком свежих «концов», довольно говорил старый слесарь.— И ведь, скажи на милость, все сохранилось: по шейкам осей шкуркой пройтись, ржавчину обтереть — хоть сейчас запускай.

— А электричество? А котельная? Как же без парато? — торопливо произнесла Анна, стараясь поскорей отделаться от беспокойных дум.

— Были б котлы целы, а крышу подымут. Народ по работе изголодался — горы свернет. И ток будет. Шел я

на фабрику, видел — военные водолазы на Тьме под лед опускались... Части от машин достают. Спасибо Лаврентьеву Федору Петровичу, сберег, не выдал, царство ему небесное.

Все замолчали, жадно куря острую, ядовитую махорку, полученную сегодня по талонам.

— Вот, Анна Степановна, интересное дело,— снова завел старый слесарь, пуская дым струйкой к потолку,— вот Лаврентьев этот — знал я его, вместе раз в санатории были, смирный такой, нигде его, бывало, никогда и не слыхать. А пришел его час — гляди, каким себя оказал... А Владиславлев — тот, бывало, на любом собрании треплется: «Мы, прядильщики...» — и нате, пожалуйста... Я так считаю, Анна Степановна, частенько мы человека по языку, а не по делу судим. И зря.

— На войне болтун быстро линяет...

— Вот и хватит болтать, работать надо! — совсем рядом произнес сердитый голос.

Варвара Алексеевна, кругленькая в своем ватнике, надетом на несколько кофт, стояла с лопатой за спиной дочери, царапая курцов сердитым взглядом.

— Женщины, не разгибаясь, снег копают, а мужики потолок коптят, языки точат... Дело это?

— Нагоним, нагоним, Лексевна,— смущенно отвечали слесари, прислюнивая цигарки, бережно убирая недокуренное — кто в записную книжку, кто за козырек шапки, а кто и за ухо.— Ты нам такого командира вырастила — с ним только вперед, в атаку!

— Вот и ступайте вперед, не топчитесь.— Варвара Алексеевна отвела Анну в сторону.— Вот что, дочка, мы промеж себя ссоримся — это наше дело. Детям через это не за что терпеть... Ты уж не серчай, а Лену с Вовкой отец к нам повел. Понятно? Я велела.

Анна молча кивнула головой. Она чувствовала: мать ее не простила,— да и сама не собиралась просить прощения.

— А где ночуешь?

— В Ксеньину квартиру пойду... Их дом, говорили мне, будто цел.

— Твое дело. Только...— И, не договорив, старуха отошла, опираясь на лопату, как на патриарший жезл, суровая, непреклонная. Она была не из тех, кто идет на попятный.

Тут уж нашла коса на камень.

9

И все же по пути в новый, так называемый Кировский, поселок, где в одном из каменных четырехэтажных домов жила до эвакуации ее старшая сестра, Ксения Степановна Шаповалова, Анна жалела, что не помирилась с матерью. С отвычки она на фабрике устала, иззяблась, идти же надо было довольно далеко, а главное — она не знала наверное, стоит ли дом, цела ли сестрина квартира, не вселился ли в нее кто-нибудь.

Здесь, на западной окраине, гитлеровские войска уже не отступали, а бежали, стараясь вырваться из смыкавшегося полукольца наших наступающих сил, начинавших их душить. Основной проспект поселка, по которому откатила главная волна, был загроможден битой, поврежденной техникой. Машины разных марок — от огромных автобусов, пригнанных из каких-то европейских столиц, до крохотных, похожих на блошку «опельков» — вперемежку с изувеченными танками, разбитыми вездеходами, брошенными пушками в беспорядке тянулись двумя рядами, скинутые потоком отступающих с дороги в кюветы, на тротуары. Местами они образовали сплошной коридор. Трупы были уже убраны, но тут и там виднелись на снегу бурые пятна, окровавленная марля, обрывки форменной одежды. По проспекту, как бы превратившемуся теперь в выставку трофейной техники, тянулись обозы наступающих частей.

Анна, с особым интересом рассматривая вражеские машины, как злых, но уже мертвых и безвредных для человека хищников, не заметила, как дошла до переулка, где ей надо было свернуть в сторону. Жиденькая тропка вилась меж тихих, точно бы притаившихся домов. Солнце, склонившись к леску, что был слева от поселка, брызгало из-за сосен холодным золотом лучей. Тени становились пепельно-серыми. Дело шло к вечеру, и ей стало не по себе. Как она будет ночевать одна, в чужой, может быть, совершенно пустой квартире? Мелькнула мысль: не лучше ли, пока не стемнело, вернуться к старикам? Но тут же она сердито сказала вслух: «Нет» — и двинулась еще быстрее. На миг остановилась перед знакомым домом. Он показался слепым: окна заколочены щитами из досок, торчат коленца жестяных труб. Сколько окон, столько и труб, но ни одна не дымилась. На ступеньках лестницы свежий снежок лежал аккуратными ковриками. На нем ни следа.

Быстро взбежав на второй этаж, Анна, чтобы не колебаться, громко застучала в знакомую дверь. Отозвалось лишь эхо. Дверь была не заперта и легко открылась. Прихожая пуста. Звонкое эхо, казалось, вошло вместе с женщиной в квартиру и, сопровождая ее, отзывалось на каждый шаг. На дверях бумажки с аккуратно выведенными латинскими буквами «A», «B», «C», «D». В углу прихожей стопками стояли банки из-под консервов. Пахло нечистым бельем, мокрой шерстью, кожей и дезинфекцией.

— Есть кто? — спросила Анна и в страхе замерла. Квартира была пуста.

Тоскливое чувство охватило пришелицу. Последний раз она была здесь с мужем, когда Шаповаловы праздновали день рождения дочери. Это был не простой день. По здешнему обычаю, «обмывали первый паспорт». «Новорожденная» была любимицей родителей. Торжество получилось шумное. Гремел семейный оркестр Калининых: Степан Михайлович — на старом баяне, муж Марии Калининой, Арсений Куров, лихо рокотал на гитаре, младший брат Анны, летчик Николай, играл на мандолине, а отец виновницы торжества — на балалайке. Звуки наполняли квартиру, вырывались в открытые окна. Вечер был летний, теплый. Люди, стоя на улице, смотрели вверх, улыбались: Калинины гуляют! А когда под вечер, переиграв весь современный репертуар, старшие хозяева и гости принялись за старинные, издавна любимые верхневолжскими текстильщиками хороводные и подблюдные песни, когда, взявшись за руки, гости пошли вокруг стола «со вьюном», за окном тоже возник хоровод... Калинины гуляют! Каким невероятным казалось сегодня это простое, нехитрое семейное веселье...

Анна рывком открыла дверь в комнату, где у Шаповаловых была столовая. Открыла и остановилась. Ничего из знакомой обстановки. Восемь аккуратно застеленных кроватей стояли двумя рядками. Анна бросилась в «детскую», где, отгородившись друг от друга ширмой, жили дети Шаповаловых — Юнона и Марат,— кровати; в кухню —и там кровати. В каждой комнате стояла чугунная печь, и перед печами лежало по охапке дров и какие-то растерзанные книжки, предназначенные, как видно, для растопки. Из прежней обстановки в квартире уцелел лишь плечистый славянский шкаф. Заглянув в ванную комнату, Анна даже вскрикнула и замерла: над ванной возвышалась темная замерзшая пирамида с вырубленными в ней сту-

пеньками. Канализация не работала, и комната эта была превращена в уборную, из которой никто не выносил... Содрогнувшись от омерзения, женщина захлопнула дверь, заперла ее задвижкой...

Потянуло бежать отсюда, бежать без оглядки к родителям, к знакомым, просто куда глаза глядят, но она поборола это паническое чувство. Выбрав для себя маленькую «детскую», она вытащила в прихожую лишние койки, а той, что осталась, приперла дверь. Ну что ж, теперь надо позаботиться и о тепле. Открыла заслонку, протянула руку к груде дров и тотчас же отдернула: на дрова была аккуратнейшим образом распилена и нарублена чья-то мебель. Кто же тут жил? Со стен глядели длинноногие, белокурые, полунагие и вовсе нагие красотки, вырезанные из каких-то журналов. Их старательно наклеивали прямо на штукатурку. Вперемежку с красотками виднелись незнакомые пейзажи — заснеженные горы с охотничьим домиком... деревня с массивной кирхой, колокольня которой вытягивалась, как часовой... густой закат на каком-то чужом берегу.

Анна поняла: в квартире, а может быть и во всем доме, располагалась немецкая часть. От этого открытия ее всю передернуло. Появилась жуткая мысль: а если кто-то здесь прячется? Но уходить было поздно. Получше заставив дверь, она погородила в печке дрова. Сухое дерево быстро занялось, загудело пламя, стала пощелкивать накаляющаяся железная труба. Комната быстро наполнилась ядреным теплом.

Сначала пришлось сбросить платок, потом пальто, потом меховую телогрейку. Сухое дерево весело потрескивало. Анну все больше клонило ко сну. С потолка срывались и звучно шлепались об пол тяжелые капли. Пока печка не прогорела, нужно было лечь уснуть.

Брезгливо сбросив с постели чужое белье, Анна накрыла подушку своим платком и, хотя стало уже жарко, не раздеваясь, улеглась на голый тюфяк, спрятав под одеяло лишь ноги. Но теперь сон точно бежал от нее. Все, что сегодня случилось,— рассказы отца и племянницы, ссора со стариками, ткацкая, где ветер свободно носит снег, беспокойные думы о муже, это оскверненное жилище, двери с латинскими литерами,— все это не выходило из головы. И думалось: как хорошо живется сестре Марии где-то там, на Урале... Ходит по освещенным улицам, не слышит разрывов. Даже и во сне ей, наверное, не снятся сирены воздушной тревоги.

Живо представилось, как утром, когда еще не рассвело, заспанная Мария нащупывает ногами домашние туфли, тихо снует, суетится у плиты, поит своего Арсения чаем, кладет ему в карман завтрак, провожая на работу, как будит старших ребят, которым пора в школу, а проводив их, сама, уже не торопясь, пьет чай, идет на базар, варит обед, а потом, переделав все дела, включает приемник и садится у стола с вечным своим вязаньем, до которого она великая охотница. «Везет же людям»,— незло позавидовала Анна.

Ну, пусть не так. И, конечно, не так. Пусть убирает она не квартиру, а только угол: какие уж там, в эвакуации, квартиры! И суетится не у плиты, а у печки, и даже не у печки, а и вовсе, может быть, у какого-нибудь таганка... Пусть идет не на базар, а в очередь за маленьким пайчишком. Но на душе у нее покой, ей не надо посматривать на небо, не летит ли вражеский самолет, не надо на ночь маскировать окна, не надо думать с томительным страхом: а вдруг немцы контратакуют и снова займут город... Двенадцатичасовая работа? Ну и что? Разве это кому-нибудь в тягость сейчас, когда столько людей жизнь отдают, чтобы разгромить врага?

И Урал, далекий Урал, где в каком-то маленьком городишке верхневолжские машиностроители снова подняли эвакуированный завод, где семьи их снова свили гнезда, где в тишине, на мирной земле бегают их ребятишки, казался засыпающей Анне пределом мечтаний, землей обетованной: «Эх, хорошо бы отправить к Марии Вовку с Леной!»

10

Но, как видно, не было у нас в ту пору и клочка земли, которого война не касалась бы прямо или косвенно. Едва, переговорив о всех дневных новостях, за розовой занавеской уснули старики Калинины и в комнате стало тихо, как в дверь громко застучали.

Вскочив, Степан Михайлович первым делом посмотрел, хорошо ли зашторено окно. Нет, черная маскировка опущена аккуратно. А стучали все нетерпеливее.

— Не грохочите, слышу,— ворчал старик, набрасывая пальто, и зашлепал босыми ногами к двери.

Он отомкнул хитрую щеколду, какими с давних времен запирались комнаты в двадцать втором общежитии,— са-

модельное сооружение, которое снаружи надо было открывать не ключом, а по-особому загнутым металлическим стержнем,— открыл дверь и отпрянул, ослепленный острым лучом карманного фонаря.

Кто-то невидимый басовитым голосом зятя, Арсения Курова, даже не поздоровавшись, спросил:

— Мария с ребятами у вас?

Старик недоуменно глядел на ночного посетителя. Куров же на Урале, дочь Мария с детьми там... Сомнения не было, перед ним стоял именно Арсений Куров.

— Как это они могут быть у нас, бог с тобой? — тихо ответил старик, поняв, что на семью надвигается какая-то неизвестная, непонятная беда.

Ту же тревогу чувствовала и Варвара Алексеевна. Растрепанная, в одной сорочке, она стояла возле ночного гостя, нетерпеливо дергая его за рукав.

— Что ты, Арся... как это так? Они ж с твоими заводскими на теплоходе... Я ж сама их провожала. И отплыли как, видела.

Куров, массивная фигура которого едва была различима в темноте, тоскливо пояснил:

— Нету... Не прибыли... Пропали... Квартира наша сгорела, куда же им, думаю, как не к вам.

— Пропали... А?.. Как же это?.. Что же это? — повторяла Варвара Алексеевна.— А мы тут ей завидуем — в тишине живет...

Тем временем Степану Михайловичу удалось зажечь коптилку, сделанную из сплющенной гильзы мелкокалиберного снаряда. Желтое жирное пламя осветило комнату, зятя, стоявшего в пальто, в меховой шапке с длинными висячими ушами. Туго набитый охотничий рюкзак горбом поднимался у него за спиной. Рассмотрев зятя, старики поразились, как за короткое время изменился этот рослый, сильный, обычно веселый и энергичный человек. Он стоял понуря голову, с обмякшими, опущенными плечами. Густая, с заметной проседью щетина, обметав смуглое, цыгановатое лицо, состарила его на много лет.

— Болел, что ли? — невольно вырвалось у Степана Михайловича.

Сведя черные лохматые брови, Куров только махнул рукой.

— Да что вы в дверях болтаете? Раздевайся, Арся, входи. Сейчас вот печурку затопим, чай поставим,— суетилась Варвара Алексеевна, не замечая, что на ней одна

сорочка.— И ты, отец, хорош: чем пустыми вопросами человека шпынять, снял бы с него мешок, что ли.

— Оденься, мать,— шепнул Степан Михайлович.

— Ай, да что уж тут...

Сухие поленья потрескивали в печурке, протяжно запел нагревшийся чайник. Варвара Алексеевна тихо, чтобы не будить внуков, двигалась по комнате, расставляя чашки. Движения ее были неверны. Посуда не слушалась ее рук. Тесть и зять сидели на опрокинутых табуретках возле печки, и, приглушая свой густой голос, Куров рассказывал, как потерял семью.

Механический завод, где он работал, эвакуировался заблаговременно. Сам Куров, мастер-механик по сборке машин, уехал с первым эшелоном, чтобы там, в тайге, на пустом месте, возле безымянной еще железнсдорожной платформы, монтировать прибывавшее из Верхневолжска оборудование в зданиях, которые еще не имели ни окон, ни крыш. Последние станки в цехе, где точили корпуса снарядов и мин, решено было не трогать до критического часа. Их разбирали, когда враг уже приближался к городу. Железнодорожные пути находились под постоянной бомбежкой. Ящики с оборудованием пришлось грузить на баржи, чтобы тянуть водой. На этих же баржах покидали город семьи рабочих и инженеров, действовавших уже на Урале. Марию с тремя ребятами в виде особой привилегии заводские устроили на теплоход, на котором эвакуировали детские дома.

Караван медленно спускался по холодной воде, поутру уже белевшей за́берегами. Гитлеровские самолеты, бросившиеся вдогонку, пикировали на него и даже обстреляли баржи с воздуха. Но караван ушел и в срок прибыл к месту перевала. А теплоход со своими маленькими пассажирами не пришел. Территория, по которой начался его путь, была быстро оккупирована вражескими войсками. Никто ничего толком не знал, но до Урала доползли неясные слухи, будто гитлеровцы разбомбили судно с воздуха и оно потонуло где-то в Верхневолжском море, как именовалось большое искусственное водохранилище. Так исчезла Мария и с нею дети...

Голос Арсения Курова звучал монотонно, будто говорил он не о своей беде, а о печальной истории, вычитанной в какой-то книге.

Степан Михайлович, нахмурив брови, безотрывно смотрел в топку на танцующее пламя. Варвара Алексеевна

молча хлопотала у стола, и никто не видел, как вздрагивают у нее губы и как слезы падают на чашки и скатерть.

— А я Анне сегодня советовал ребят к Маше послать,— сказал Степан Михайлович.— Тихо, мол, у вас...

Помолчали.

— Чудно, батя,— наша улица вся начисто выгорела, а завод стоит как ни в чем не бывало... Шел мимо — солдат в воротах ходит,— заговорил Арсений.— Должно быть, гитлеровцев тут так пугнули, что им не до завода было... Впрочем, станки-то остались музейные, что мало-мало подходящее — все на Урале крутится.

— А нашу-то ткацкую видал? К горячим уголькам вернулись,— отозвалась Варвара Алексеевна, вытирая полотенцем чашки так, что они скрипели.

— Ну, а как вы там, на новых местах, на Урале, расположились?

— Чудно: зайдешь утром в цех, слыхать, как ели шумят. Под ногами снег хрупает, а в мороз, если зазеваешься и руку приложишь к металлу, прихватывает... Фронтовые заказы уже точим. Налейте-ка, мамаша, еще чашечку... А я все надеюсь: может, и ничего, может, найдутся... Сегодня в поезде мне одни говорили, будто рыбаки всех с парохода спасли, у себя будто приютили. Это уж там, в другой области...

— Говорили? — встрепенулся Степан Михайлович.— А что, и очень даже свободно, какое оно там море, так, название... прудок. А теплоход-то — мы его видали — домина огромный. Ему там и потонуть негде. Так ведь, Варьяша?

— Может, и так...

Истинное горе немногословно. Пили чай, перебирали родных, знакомых, толковали о делах, но образ Марии с детьми как бы молча стоял тут же, среди разговаривающих.

— Тебе, Арсений, надо туда съездить,— решительно сказала Варвара Алексеевна.

— А я все надеялся: раскрываю вашу дверь, а они все мне навстречу. И вот...

— Когда поедешь?

— Развиднеет — и тронусь... И надо же им не на баржу, а на пароход сесть... Вот ведь как бывает...

— Ты, друг милый, вот что — сядь, побрейся. Смотри, как зарос. Маша все губы переколет, дети испугаются,—

суетился Степан Михайлович, раздувая не столько в зяте, сколько в себе веру в благополучный исход.

Варвара Алексеевна была молчалива и часто уходила за занавеску.

Проснулись Вовка с Леной. Мальчик вылез из-под одеяла, сел. Морщась от света и потирая кулачонками глаза, долго смотрел на щетинистую физиономию Курова, а потом сонным, хрипловатым голосом спросил: «Ты партизан?» Лена узнала дядю, но этот старый, небритый, весь какой-то отсутствующий человек так не походил на прежнего громкоголосого, веселого, ласкового Курова, что, заговорив с ним, она даже стала обращаться к нему на «вы». Наконец и Вовка убедился, что это не кто иной, как дядя Арся, и тут же спросил:

— А Юрик и Гринька?.. А Аришка где?

Варвара Алексеевна, протягивающая в эту минуту гостю чашку, плеснула ему кипяток на колени. Степан Михайлович, расставлявший на столе бритвенный прибор, поспешно забормотал:

— Побрейся, Арся, побрейся, а то рожа на всех зверей похожа. Вот я тебе лезвие оставил — новенькое, трофейное, марки «Ротбарт». А знаешь, что такое «Ротбарт»? По-русски это значит — Красная борода...

Да, Арсений Куров был неузнаваем. И еще обратили старики внимание на одну новую, не замечавшуюся раньше у зятя черту. Перед уходом он расстегнул свой тяжелый, туго набитый рюкзак, вынул оттуда мешочек, в котором, как камешки, позвякивал колотый сахар, взял из него два куска поменьше, протянул ребятам, а остальное тщательно увязал и положил назад, меж консервных баночек и еще какой-то снеди.

— Как наших отыщешь, прямо сюда их и тащи,— напутствовал Степан Михайлович.— Тесно? Ничего. В тесноте, да не в обиде. В Древней Греции был мудрец Диоген. Так тот жил в бочке. И распрекрасно жил. Не жаловался... Привози их сюда, всем места хватит. А то Ксеньину квартиру оккупируем... Узоровский-то дом тоже сгорел, так Анна тоже туда вселилась...

Проводив зятя по лестнице, старик вернулся в комнату. Варвара Алексеевна неподвижно лежала на кровати, уткнувшись лицом в подушку. Лена растерянно смотрела на нее, а Вовка тряс бабушку за худенькое плечо и кричал со страхом в голосе:

— Ба! Ба!.. Да ба же!

11

Анна проснулась со странным ощущением, что кто-то знакомый окликнул, позвал ее. В комнате никого не было. Печка остыла. На черной трубе, острое колено которой изгибалось прямо над кроватью, высыпал иней. Дыхание вылетало седым прозрачным парко́м. Но что это?

Откуда-то лился, проникая всюду, тягучий, хрипловатый, такой знакомый и такой неожиданно милый звук. Гудок? Неужели гудок? Да, это был тот самый гудок, который будил Анну с детства. Гудела «Большевичка». Ее голос Анна отличила бы среди десятка других. Сам звук был не очень приятен для слуха, но Анну он потряс. Она застыла, обрадованная, умиленная. Вот гудок, чуть принажав на последних нотах и будто аукнув под конец, стих. Раскатилось эхо и смолкло. Анна сидела в той же позе. Потом вскочила, заторопилась. Первый гудок! Значит, до выхода смены остался час.

Тягость одиночества, тоска, страх, даже то отвратительное, что увидела она вчера в ванной комнате,— все это уже казалось теперь несущественным. Она сбежала вниз, на улицу, обтерла лицо и руки пушистым снежком, выпавшим за ночь, и, ощутив зверский аппетит, вновь поднялась в пустую квартиру. Уже ничего не опасаясь, она по-хозяйски обошла комнаты, высматривая, не осталось ли где что-нибудь съестное. Нет, ничего. Только койки да печи с кучками нарубленной мебели. А над ними длинноногие нагие красавицы и картинки чужой жизни на стенах. Брезгливо оглянувшись на закрытую дверь ванной, Анна прошла на кухню. Тут со стены смотрела пучеглазая, вздорная физиономия Гитлера, стоявшего в плаще и смешном высоком картузе. Анна сорвала портрет, хотела его уничтожить, потом, брезгливо приоткрыв дверь, бросила его в ванную и снова заперла на задвижку.

Может быть, что-нибудь найдется в сестрином шкафу? Открыв дверцы, Анна увидела аккуратные, обшитые холстиной тючки с адресами, написанными по-немецки. «Интересно, вас ист дас?» — насмешливо подумала она, рассматривая. В технической школе, где она училась, немецкий преподавался плохо. Но ей все-таки удалось разобрать — это адреса. На них значились разные города Германии. «Посылки!» — догадалась она. И, перекусывая зубами крепкие нитки, стала распарывать тючки один за другим и выбрасывать содержимое на пол. Там был аккуратно

сложенный житейский скарб — простыни, полотенца, салфетки, занавески, ножи и вилки, перевязанные бечевочками, мужские костюмы, какие-то женские вещи. В одном из тючков была кукла. Она закрыла глаза и даже жалобно пискнула, когда Анна взяла ее в руки... Коробка мужского белья, должно быть взятая прямо из магазина. Подарочный набор для грудничков: крохотные, будто игрушечные, рубашечки, чепчики, одеяльца.

Анна глядела на растущую на полу груду вещей и наливалась той неудержимой злостью, которая порой заставляла ее забывать все. И вдруг эта злость прорвалась, и она стала топтать и разбрасывать ногами все эти ни в чем не повинные вещи, очевидно собранные в оставленных квартирах, бешено выкрикивая:

— Воры, проклятые воры, мешочники, крохоборы, дрянь!..

Потом вспомнила о гудке. Покинув квартиру, она торопливо сбежала с лестницы. По проспекту к фабрике тек негустой поток людей. И люди были не те, что вчера. Не заметно уже на лицах ошеломленного, подавленного выражения. И шли они не в одиночку, а группами, как привыкли ходить текстильщики. Снег весело хрустел под торопливой ногой. Звучали громкие голоса. Впереди Анны три девчонки, толкаясь, гнали перед собой льдышку, колотя по ней ногами. Лица у них были бледные, глаза оттеняли круги, но жизнь брала свое. Почувствовав вдруг, что и ей беспричинно весело, Анна догнала девчонок и, изловчившись, поддала по льдинке так ловко, что та полетела далеко вперед и запуталась в ногах трех пожилых ткачих, что шли, взявшись под руки. Те, оглянувшись, только головами покачали: ну и ну!

Второй гудок застал Анну уже на месте. Послав одного из слесарей поискать на сохранившемся складе керосин, наждачную бумагу и карщетки, она, пожевывая бутерброд с окаменевшей колбасой, полученный по пути в буфете, стала организовывать разборку первых станков. Это была настоящая работа, и, вся уйдя в нее, Анна ни о чем уже постороннем не думала. И как это было хорошо — погрузиться в привычное дело и позабыть обо всем, будто и не было войны!

Но поработать вволю в этот день не удалось. В цехе ее отыскала секретарша директора Клавдия Федоровна и, отозвав в сторону, с многозначительным видом сообщила, что ее вызывает секретарь райкома Северьянов.

— И срочно, милая, срочно. Сейчас же.

— А что там стряслось? — грубовато спросила Анна, отводя согнутой рукой со лба нависшие пряди волос: пальцы у нее были в смазке.

— Не знаю,— еще многозначительней произнесла Клавдия Федоровна.— Могу только сказать, что с утра хозяин наш заезжал в райком и они с Северьяновым вместе побывали в горкоме.

— Подождет. Вот смену сдам и приду.— И Анна присела у станка, вал которого слесари старались повернуть вручную.

Характер Анны Калининой на фабрике был хорошо известен. Не настаивая, Клавдия Федоровна начала дипломатические переговоры:

— А вам не кажется, Аннушка, что все-таки неудобно? Руководящие товарищи ждут, время теряют... Слесари опытные, они и без вас поработают. У нас же очень толковые люди...

— Вот и все так. Все срочно, все вынь да положь,— ворчала Анна, вытирая концами руки.— Ладно, иду.

Объявив слесарям задания и передав руководство бригадиру, она, не переодеваясь, только набросив на голову платок, побежала в райком. Он помещался теперь совсем рядом, в здании чайной, каким-то чудом сохранившейся на первой, примыкавшей к комбинату улице сожженной слободы. Так, в телогрейке, в заскорузлых стеганых штанах, заправленных в валенки, она и появилась в райкоме. Чинно со всеми поздоровалась, спросила, можно ли к «первому», но, очутившись в кабинете, плотно закрыла за собой дверь и, сбив платок на затылок, воинственно подошла к столу секретаря.

— Это что ж за новая мода? Ты почему, Серега, людей от работы отрываешь?

Невысокий и начинающий уже полнеть секретарь райкома Северьянов даже как будто не очень и удивился такому «наступательному порыву» коммунистки с ткацкой. Он поднял на нее белесые близорукие глаза, хитровато щурившиеся под бесцветными ресницами, иронически осмотрел замасленную мужскую рабочую одежду, которая так не шла к красивой, пышноволосой Анне, и нижняя полная губа его еще больше оттопырилась.

— ...Сильна, ничего не скажешь,— произнес он веселым, мальчишеским голосом.— Ты, может, подумала, что я тебя в райком отопление ремонтировать зову,— так вы-

рядилась... Ни черта не выйдет, сам пробовал — не получается, все батареи полопались. А я ведь и слесарь не чета тебе... Садись, Анка, сейчас у нас с тобой серьезный разговор произойдет.

Секретарь райкома зябко потер ладони пухлых рук. В кабинете было холодно, как на улице.

— Это какой еще разговор? — настороженно спросила Анна, присаживаясь на самый кончик кресла.

Но Северьянов принялся расспрашивать: как мать, что отец, где сестры, жив ли брат, пишет ли муж, здоровы ли дети? И только прищуренные, насмешливые глаза его, словно что-то желая высмотреть, изучающе следили за ней.

Анна вскочила:

— Вот что, Серега,— когда я чайником обзаведусь, приходи ко мне в гости. Все семейные новости расскажу, а сейчас говори: зачем звал? Мне работать надо.

Рыжеватые брови Северьянова иронически нахмурились.

— Как была в девчонках бузотеркой, так и осталась. Ну ладно... Что ты скажешь, если мы тебя коммунистам ткацкой в секретари парткома рекомендуем?

Теперь Анна медленно опустилась в кресло.

— Меня? Ты что?!

Секретарь райкома опять с удовольствием потер пухлые, веснушчатые, поросшие прозрачным волосом руки и, все так же хитро посматривая на Анну, весело заговорил:

— А почему тебя не рекомендовать? Чему ты так удивилась? Подожди, подожди! Что бузотерка ты первой статьи, знаем. Что тебе больше по душе в старых станках копаться, тоже знаем. Что начальство ты не уважаешь, сейчас вот вижу. Что, став секретарем, ты мне плешь на голове выешь, и это предчувствую. И, понимаешь, сознательно иду на жертву.

В мальчишеском его голосе было столько задора, что Анна с досадой ощущала, как помимо воли начинает улыбаться. Но полное лицо Северьянова могло меняться мгновенно. Оно вдруг сразу отвердело, из светлых глаз исчезла добродушная насмешливость.

— Вот что, Калинина, мы тут всех перебрали — более подходящей кандидатуры нет. Трудно тебе после такого секретаря, как Ветров, будет, очень трудно... Это мы тоже знаем. Комплиментов тебе, когда ты и девчонкой была, я

не говорил, но могу сказать: крепкая, захочешь — выстоишь, а не захотеть ты не имеешь права.

— Нет, Сергей, нет! — почти выкрикнула Анна и даже руками замахала, как бы обороняясь.

— Да, Анка, да... Мы тут со Слесаревым прикинули: три года ты в членах бюро ходила, Ветров тебе серьезные дела поручал... Вертели и так и эдак... Да что там, я уж и с секретарем горкома о тебе толковал. Он спрашивает, хватит ли у тебя сил в такое время, и, мол, женщина все-таки. А я его заверил: Калинина женщина особенная, женщина в штанах... Нет, нет, ты на свои стеганцы не гляди, это я фигурально, в смысле характера... Сам на партсобрание сватом приду. Поладили?

— Нет,— ответила Анна.

Однако хитрый Северьянов, должно быть, уже уловил какие-то новые нотки в этом отказе. Глаза его опять озорновато сощурились, вновь зажглись в них насмешливые огоньки, и даже на подбородке обозначилась продолговатая ямка.

— У тебя муж-то где?

— Ну, на фронте.

— Брат Колька где? Сестра Татьяна?

— Ну... тоже.

— Племяш Марат, зять Филипп Иванович Шаповалов?

— Понимаю, к чему ты клонишь, но я ж тебе говорила.

— Ну, так вот, Калинина, считай, что и ты от райкома боевое задание получила. Война! Все перестраиваем на военный лад, говори: «Слушаюсь!», давай налево кругом и крой на фабрику... Не дрейфь, поможем.

— «Поможем»! До чего ж я тебя, Серега, знаю... Помню, как ты в клубе девчат умасливал: и такая, и сякая, и немазаная,— а потом, когда она к тебе потянется, ты от нее через дорогу бегал. «Поможем»... После такого человека, как Николай Иванович Ветров,— и вдруг баба... К нему ж ткачихи как к отцу родному шли.

— Вот, правильно, а к тебе должны идти как к матери. Мать ведь даже ближе отца...— И, заговорщицки снизив голос, зашептал: — Когда меня в райком выдвигали, думаешь, я обрадовался? Аж до «первого» в обкоме достучался: ну как же, в кармане новенький инженерный диплом. С таким трудом удалось на свою фабрику назначение получить... К родному делу вернулся, кругом свои, а тут пожалуйте, в райком...— Озорноватый, мальчишеский го-

лос Северьянова зазвучал вдруг лирически: — И знаешь, Анка, что я теперь тебе скажу: нет на свете интересней партийной работы. Ей-богу! — Но, должно быть поймав себя на этой непривычной для него интонации, Северьянов вновь заулыбался хитровато, насмешливо. — Вот хоть для того, чтоб такую, как ты, убедить, это ж сколько перед этим гороху съесть надо? А я убедил, и ты согласилась. Скажешь, нет? Молчи, знаю, что согласилась... А помнишь, Анка, наш клуб, помнишь лозунги: «Каждая затяжка папиросы — верный шаг к могиле», «Не чистя машину, тормозишь мировую революцию»? Или, помнишь, на Восьмое марта Пашка Тараканов в докладе брякнул: «Женщины при капитализме составляют заднюю часть пролетариата»? А забыла, как я тебе за победу на конкурсе плясунов от имени правления фунт жареных семечек вручал?.. Видишь, и тогда еще тебя руководство ценило. Фунт семечек, шутка! Нет, серьезно, не дрейфь, ты и на партийной работе всех перепляшешь. Стоит тебе захотеть!

Он стиснул руку Анны своей короткой пухлой рукой и, подмигнув по-старому, по-комсомольски, сказал:

— Ну, пока!

Анна возвращалась на фабрику в таком смятении, что позабыла даже покрыть платком голову. Так и шла по улицам, простоволосая, в засаленной стеганке, в заскорузлых ватных штанах, заправленных в подшитые валенки. У нее был странный вид. Встречные, несомненно, дивились бы, если бы в те дни люди сохраняли умение хоть чему бы то ни было удивляться.

12

Арсению Курову повезло. Еще не дойдя до городской заставы, он заметил на обочине большую военную машину. Шофер, такой черный от масла и гари, будто его вместе с шапкой, полушубком, валенками только что протянули сквозь печную трубу, с обреченным видом снова и снова крутил ручку, пытаясь завести мотор.

— Эй, дядя, будь друг, крутни разок, вовсе из сил выбился! — крикнул он Курову и, не дожидаясь, пока тот подойдет, опустился на снег. Губы и руки у него дрожали, лицо, омытое пóтом, блестело, как хорошо начищенное голенище. От него валил парок.

Арсений свернул с дороги, сбросил рюкзак. Уверенной рукой поднял капот машины, наклонился над остываю-

щим уже мотором. Опытный глаз механика быстро разгадал, в чем дело. И когда через малое время он взялся за ручку, машина сразу завелась.

— Ой, спасибо, вот спасибо-то! — зачастил шофер.— Одолжил ты меня, дядя... Я тут уж сколько время, как огурец в рассоле, в поту купаюсь, а ты разок крутанул... Высший класс!

Выяснилось, что до перекрестка, с которого дорога пойдет на водохранилище, пути их совпадают. Шофер сказал, что там, у большого села, нетрудно будет возле регулировщика подсесть на попутную машину. Он проникся к Курову таким уважением, что сам понес его рюкзак в кабину. Несколько раз ревапув мотором, машина тронулась и понеслась, взвихривая за собой снежную пыль. Шоссе тут тянулось параллельно реке. Места были Арсению знакомы. Сюда, в эти приречные поля, перемежающиеся лесами и перелесками, хаживал, бывало, механик в такие вот зимние дни на зайца. И оттого, что все это было знакомо по мирным временам, глаз так болезненно и воспринимал все очевидные раны, нанесенные им войною,— березовый лесок у дороги, выкошенный артиллерией, долговязую, теперь совершенно закопченную цитадель элеватора, сквозь могучие стены которой, пробитые тяжелыми снарядами, виднелись клочки неба, черные печи, то там, то тут поднимавшиеся из снега, церковь, глядевшую на проезжающих провалами выгоревших окон...

Куров сидел подавленный. Сидел и молчал. Давно погасшая самодельная коротенькая трубка, не без искусства вырезанная в виде кукиша из можжевелового корня, торчала у него изо рта.

— Тебе, дядя, зачем же на водохранилище-то? — спросил водитель, начиная тяготиться молчаливым спутником.

Куров, все так же смотря куда-то вперед, коротко рассказал, в чем дело.

— Слышал я намедни эту историю с теплоходом,— оживился шофер.— Вчера утром ребята из нашего автобата из Москвы санитарный порожняк гнали, так по пути к ним посадили двух женщин с того теплохода и сколько-то там детишек...

— Что? — сразу обернулся к нему пассажир.— Фамилий не знаешь? Какие из себя?

— Мне-то откуда знать... Не видел я их. Ребята говорят, из себя будто бы ничего, дамочки приглядные...

— Почему ж их только две было?

— Ребята говорят, там, у рыбаков, и еще будто живут. Я так полагаю, твои там...

— Ты так мыслишь? — Куров оживился.

— А что, очень свободно. Вода там, говорили ребята, небольшая, у рыбаков лодки... Не сидели ж они, когда люди тонули.

Нелюдимый пассажир сразу стал разговорчивым.

— Ну, а твои, парень, где? Иль ты холостой?

— Зачем холостой? Женатый. Ребята есть... Мои, дядя, в оккупации. Колхоз «Первое Мая», что под Смоленском, может, слыхал?.. Шумный у нас колхоз был. За льны все золотые медали получали. Сейчас, говорят, от него и печей не осталось... Партизаны у нас там покою немцу не дают, ну, Гитлер рассерчал, все и попалил. Живы ли уж, нет ли мои — не знаю.

Помолчали, закурили.

— Снаряды возишь? — поинтересовался Куров, вновь засипев своим кукишем и выпуская из ноздрей дым.

— Кабы снаряды, а то — тьфу! Второй день наш автобат фрицо́в возит.

— Фрицо́в?.. Это что же такое?

— Да что... немцев пленных. Посдавались они в городе, ну, и из подвалов разных их повылущили. Сначала было самоходом гнали, да, видишь, нежные, обмундированьишко ветром подбитое, обмораживаются. Вот и получили мы приказ возить.— Белые зубы шофера блестели на буром от тавота и копоти лице.— Они наши села палят, людей, как дрова, валят, а мы на них ценный бензин переводим... По мне, потравить бы их, к черту, как бешеных псов...

— Ну-ну-ну, думай, парень, что говоришь! — сердито пробормотал Куров.— Потравить, эко...

— А что? Видал, что они тут наделали! Мы ездим, глядим... Вон, вон они, печи-то, из снега торчат... Их не травить, их, как капусту, рубить надо! Такую они нам жизнь испоганили... Солдат у нас один, тоже вот нынче сидел за баранкой, так он от них из плена бежал. Ему двадцать лет, а он седой... Они наших на машинах не катают...

— Они фашисты, а мы кто? Этого не забывай, парень,— строго сказал Куров.

Машина между тем выбежала из заснеженного леса на поле. Тут беспрепятственно хозяйничали ветры. Шоссе во многих местах было заметено, завалено пухлыми сугробами. То там, то здесь женщины в оранжевых дубленых

полушубках, старики с заиндевевшими, всклокоченными ветром бородами, ребятишки с пылающими на морозе лицами сбрасывали с шоссе снег. Там, где его было столько, что сгрести было невозможно, они прокапывали как бы траншеи, и машины шли меж двух белых отвесных стен. Дорога была разбита на участки, и на границах участков стояли дощечки с названиями деревень. Колхозы как бы передавали эту фронтовую дорогу из рук в руки, и люди стремились, чтобы их участок был чище, чем у соседей.

— Эх, парень, тебе только покойников возить! — нетерпеливо вздохнул Куров.

— Глянь на спидометр. Пятьдесят километров, куда же еще!

— ...Я вот все думаю, может, и верно сидят там мои, ждут... Нет, Маша сложа руки ждать не станет. Наверное, где-нибудь так же вот с лопатой на дороге орудует. И Юрка, сынок, мужичок уж, двенадцать лет... Когда меня на вокзал провожали, говорит: «Не бойся, папа, я за старшого буду...» Вот так едем — глянь, а Маша с Юркой лопатами орудуют.

— А чего ж, и это очень даже свободно,— охотно поддержал шофер.

— И еще вот думаю: а вдруг одна из тех двух женщин, что в Верхневолжск вчера увезли,— моя... Она видная такая, и маленькая девочка у нее на руках... Не говорили ребята-то твои? Друг, а тут вроде скоростенки подбавить можно...

— Да не гляди ты на меня так, жму, видишь, жму.

Но как ни торопил Арсений Куров шофера, как тот ни старался, в село, от которого дорога свертывала в сторону и шла на водохранилище, они прибыли лишь затемно. Куров хотел было сейчас же пешком продолжать путь, но шофер уговорил его вместе заночевать у знакомой, как он выразился, кумы. Он поставил свою машину рядом с другими такими же под заиндевелой ветлой, в кроне которой при луне темнели грачиные гнезда, спустил воду, заботливо прикрыл капот мотора.

— Не соскучишься, дядя,— многозначительно подмигнул он.

Дом был полон. С потолка, как застывшая капля, свисала электрическая лампочка. Но избу освещала подслеповатая керосиновая. Сквозь густой, слоившийся махорочный дым можно было рассмотреть в углу у входа гору полушубков. На большом столе распевал ведерный само-

вар. Беспорядочной горкой вразброс лежали сухари, стояли вскрытые консервные банки, темнели куски колбасы, виднелась всяческая снедь из сухих пайков. Дюжие чумазые ребята сидели у стола вперемежку с какими-то молодайками и закусывали. Пили явно не только чай. Было шумно. Вошедшего шофера встретили дружным гомоном.

— Загорал, ребята! Кабы не этот гражданин, куковать бы мне всю ночь на морозе... Дока он по моторной части.

За столом радушно потеснились, освобождая места. К Курову придвинули еду. Пошептались с румяной хозяйкой, и перед ним возник стакан самогона. Но гость, весь как-то сразу замкнувшись, сидел нахмуренный. Потом отодвинул стакан, не прикоснувшись к нему, поднялся, поблагодарил и, несмотря на шумные протесты подвыпившей компании, полез на печку. Он улегся, подложив под голову рюкзак. Там потихоньку поужинал куском уже подсохшего хлеба, завязал под подбородком уши своей меховой шапки, чтобы ничего не слышать, и попытался уснуть. Несмотря на галдеж, это ему удалось.

Разбудила Курова струя свежего холодного воздуха. Дверь в сени была открыта. Табачный дым верхом тянулся туда, а навстречу клубящимся облаком валил морозный воздух. Арсений приподнялся на локтях и глянул вниз. Бражничающая компания исчезла. За окном на разные голоса надсадно гудели прогреваемые моторы. Где-то тут, в избе, хриплый старческий голос сердито ворчал:

— Так все сивухой протушили, что тянет огурцом закусить. Шалман какой-то... Куда только дорожный комендант смотрит... Шляпа. Сапог.

Голос этот показался Курову знакомым. Где же он слышал этот брюзгливый властный бас? Вот говоривший грузно прошелся по избе, так, что заскрипели половицы. Шаг у него был неровный: одна нога стучала об пол громче, чем другая.

— ...Калинина, я тут подремлю. Скажите этой тетере начхозу — пусть меня разбудит, когда подтянутся машины, которые он потерял... Слышите? Ну, то-то, сейчас же передайте, а то увидите какого-нибудь лейтенанта, все у вас из головы вылетит.

Тут Куров узнал голос. Это, несомненно, был Владим Владимыч, знаменитый верхневолжский врач, у которого он некогда пролежал больше месяца и который спас ему жизнь. Ну да, это он, только в военной шапке, шинели. На петлицах три шпалы. Старик стоял у стола, обрывая

сосульки с усов и бороды. Куров стал слезать с печи, и тот сейчас же направил ему в лицо луч электрического фонаря.

— Так, явление третье — те же и Мартын с балалайкой,— произнес насмешливо Владим Владимыч.— Стой-стой, братец, а ведь я тебя знаю, ты Куров с механического! Что же ты, сударь мой, делаешь в этом самодеятельном... кабаке? Ай-яй-яй! Вот я твоей бабе нашепчу, где ее муженек от войны прячется...

— Эх, Владим Владимыч, некому нашептывать,— ответил Куров, и такая тоска прозвучала в его словах, что собеседник сразу переменил тон.

— А что с ней, с женой? Я ведь ее помню... Могучая такая женщина, кровь с молоком.— И пока Куров снова рассказывал грустную повесть, врач молча слушал, уронив на грудь седую кудлатую голову. Потом вскинул ее и, явно уводя разговор в сторону, спросил: — Ну, а город как? Что-нибудь от него осталось? Больница моя стоит?

Потом со стариковской словоохотливостью сам рассказал, как он задержался, отправляя в тыл машины с тяжелобольными, как в суматохе эвакуации позабыли о нем самом, как с женой-старушкой он, хромая на своем протезе, шел в потоке беженцев и как уже в пути подобрала его колонна машин выезжавшего из города ассенизационного обоза.

— Остроумно? А? — хрипел он, похохатывая.— Знают, на чем старого пьяницу вывозить — на автобочке, шикблеск... И знаешь, брат Куров, золотари недаром на меня бензин тратили. Я в тылу такой госпиталь развернул — все виды лечения, даже пластические операции... Сейчас все домой перевожу. Уехал на бочке, а сейчас на двенадцати машинах еле-еле госпитальный шурум-бурум поднял... Не видел, домишко мой цел?.. Ах, брат, какую я там библиотеку оставил!

Пухлой старческой рукой он то и дело откидывал назад седые, нависавшие на лицо пряди — живой, подвижной, лучащийся озорной, умной энергией.

— Калинину-то, с которой вы тут разговаривали, не Прасковьей звать? — поинтересовался Куров.

Владим Владимыч удивленно посмотрел на него, и мохнатая левая бровь полезла вверх.

— Что, и тебя уж за сердце ущипнула?.. Вот баба, это ж какой-то парадокс... Только ты, брат, на нее не косись. У нее в голове одни лейтенанты, на штатских не глядит.

— Родственница она мне.

— Родственница?.. Н-да...

— Замужем за братом моей жены. О своих у ней попытать думаю,— может, что слыхала.

— Ну, валяй, валяй,— смущенно произнес Владим Владимыч.— А вон она, легка на помине... Калинина, видите, кто здесь?

Старик навел фонарик па Курова, а потом, поиграв лучом по его лицу, осветил медсестру, остановившуюся в дверях. У нее было круглое, совсем девчоночье, розоватое, как у всех рыжих, лицо, на котором темнело несколько родинок, и хорошо сложенная фигура тридцатилетней женщины. Военная шинель, легко перехватывавшая тонкую талию, не застегивалась на груди. Длинные полы не скрывали линий широких бедер. Прасковья удивленно смотрела на Курова круглыми глазами.

— Арсений Иванович! Вы как сюда попали?

— Свидетельствую, Калинина, что родич ваш в веселой компании, которую я разбомбил, не участвовал,— сказал Владим Владимыч.— Дрых на печке.

— А мне что? Арсений Иванович может меня не стесняться, я медик и умею хранить тайны...— кокетливо заворковала было медсестра, кося на Арсения зеленоватыми глазами, но, то ли заметив что-то необычайное на лице Курова, то ли уловив угрозу в шевелении кустистых бровей старого врача, сразу переменила тон: — Что-нибудь случилось?

13

Только к полудню, отшагав километров пятнадцать, Арсений Куров добрался до рыбачьего колхоза, близ которого, по рассказам людей, затонул в октябре теплоход, разбомбленный гитлеровской авиацией.

Деревня, по-видимому, была перенесена сюда с территории, оказавшейся под водой при наполнении Верхневолжского моря. Улица ее хорошо спланирована. Дома стояли двумя четкими рядками с палисадниками, где деревья уже выросли так, что загородили окна. В центре ее дома расступались, образуя маленькую площадь, обрамленную зданиями совсем уже городского типа. То были правление артели, оптовый рыбный магазин, клуб, детские ясли, медпункт. Увидев с косогора эту деревню, Куров так разволновался, что у него зарябило в глазах. Может

быть, в одном из этих домиков находятся сейчас Мария, мальчики, маленькая Иришка. Воротник давил шею, и он расстегнул его. Немного успокоившись, Куров заметил, что окна общественных зданий, похожие на глаза, затянутые бельмом, белы от инея и на многих дверях замки. Только над одним домом поднимался и, не расплываясь, уходил в небо серый султан уютного дыма. «Детский сад» — значилось на вывеске. Сквозь стены доносились голоса.

Куров нерешительно поднялся на крыльцо, взялся за ручку двери. В жарко натопленных комнатах стояли маленькие столы, скамейки, стульчики. Взрослый человек чувствовал себя тут великаном.

За старшую в детском саду оказалась девочка лет пятнадцати. Явно подражая кому-то из взрослых, она солидно сообщила, что зовут ее Глафирой Андреевной, что она заменяет несуществующую заведующую, что в деревне никого нет: часть людей с бригадиром, дедом Митей Беловым, уехала расчищать дорогу, а другие под руководством председательницы, тети Клавы Киселевой, заводят зимний невод у Заячьей косы, километрах в пяти отсюда. Историю с теплоходом Глафира Андреевна знала лишь с чужих слов. В ту пору жила она в интернате при соседней школе — в селе на большаке, где Куров ночевал. Но все ребята заявили, что из пассажиров удалось спасти только двух женщин и шестерых детей. «Мессеры» кругами ходили над тонущим теплоходом. Они стреляли по лодкам, не давали им подходить к судну. Одного рыбака при этом убили, другого ранили. Те, кого удалось спасти, жили здесь, но вчера всех их проводили домой, в Верхневолжск.

Куров как встал, войдя, возле двери, прислонившись плечом к притолоке, так и стоял, уставившись в пространство. Вопросы его звучали тускло. Смуглая кожа на скулах натянулась, и было в лице его что-то такое, отчего весь этот несколько минут назад весело гудевший дом притих. Только за печкой усердно пиликал сверчок.

Даже Глафире Андреевне стало не по себе. Срываясь со взрослого тона, она поинтересовалась:

— А вам зачем это, дяденька?

— Ты не знаешь, как звали тех... женщин? — глухо спросил пришелец.— Ну, которые... которых спасли?

— А то нет! Конечно, знаю, и все ребята знают. Тетя Лида Капустина и тетя Юля Железнова... Они и этот вот детский сад, как немцев прогнали, восстановили и работали тут.

— А ребят? — снизив голос почти до шепота, спросил Куров, цепляясь рукой за притолоку. Похоже было, он боится, что пол, как лодка в шторм, выскользнет у него из-под ног.

— Знаем, знаем! — загалдели ребята.

— Молчите, дети,— сказала Глафира Андреевна и сама перечислила: — Витя, Игорь, Бобка, Сима, Наташа... И кто еще?

— Юрка, Юрка-фриц: он в фрицевской пилотке ходил,— подсказало несколько голосов.

Куров встрепенулся:

— Юрка? Сколько лет? Какой из себя?

— Лет девять,— определила Глафира Андреевна.— Ведь так, дети?

— Он рыжий и все дрался, все маленьких колотил... Я этому Юрке раз как дам...— заявил конопатый, голубоглазый и необыкновенно солидный мужичок лет восьми.

Он, должно быть, уже намеревался сообщить подробности этой исторической схватки, но был остановлен странными звуками, раздавшимися в избе. С большим черным человеком, так внезапно появившимся в детском саду, происходило что-то неладное. Он будто подавился рыбьей костью. Отвернувшись к стене, он странно кашлял, плечи его вздрагивали, сотрясалась мощная фигура. Должно быть стараясь подавить этот приступ кашля, он скрежетал зубами. Ребята со страхом смотрели на него.

— Дяденька, что с вами? Вам худо? — с опаской дотрагиваясь до его рукава, спрашивала руководительница.— Дяденька, у нас кисель есть клюквенный... Минька, налей клюквенного киселю.

И вот уже тоненькая ручка тянула Курову кружку густой теплой жидкости.

— Испейте, он сладкий... Нам вечор военные интенданты за рыбу сахар привезли... Колхоз теперь по договору на Военторг ловит.

Куров провел рукой по лицу, словно снимая невидимую паутину, и медленно опустился на порог.

— Больше никого не спасли? — шепотом спросил он.

— Не,— уверенно сказал маленький мужичок, которого звали Минькой.

— Он знает: это его отца «мессеры» подстрелили, когда он на челне к теплоходу шел.

— Факт! — солидно подтвердил Минька.

— Их потом все волна на берег кидала, тех, кто по-

топ... Долго. По утрам подбирали... Всех вместе и похоронили. Тут недалеко, на горке... Там сейчас большой невод сохнет. Видели, наверное, как шли,— добавила Глафира Андреевна и, должно быть уже догадываясь, зачем пришел сюда этот человек, по-взрослому, по-бабьи, произнесла: — Ох, и много ж слез нынче земля принимает!

— Там они. И мой папка с ними... А которые еще в воде остались, и сейчас подо льдом...

— Подо льдом? — как-то лающе спросил Куров.

— Ну да, всех-то вынести не успело, тут кряду мороз хватил... Наши из-за этого зимний невод тут заводить боятся. Места здесь рыбные, а они на Заячью косу ездят.

Но Глафира Андреевна, перебивая деловитого Миньку, совала Курову кружку:

— Вы кушайте, кушайте киселек. Он полезный. В нем витаминов ужас сколько...

И тогда произошло нечто совсем неожиданное. Незнакомец встал, снял свой тугой зеленый рюкзак, расстегнул все его ремешки, взял за концы, встряхнул над приземистым столиком, стоявшим среди комнаты. Тяжело грохая, посыпались из него банки консервов, выпал заветный мешок с сахаром, раскатились кубики концентрата какао, шлепнулся кус сала.

— Вам это,— глухо сказал Куров ребятам, изумленно таращившим на него глаза,— вам, ешьте.

Потом повернулся и скрылся в дверях. Пораженная Глафира Андреевна выбежала за ним. Ветер, дувший с озера, подхватил ее платьишко, прижал к худеньким ногам, каленым холодом обжигая ее руки, лицо, трепал жиденькие волосы.

— Дяденька! — кричала она.— Дяденька!

Куров даже не оглянулся. Девочка видела, как он миновал деревню, поднялся на холм, где с кольев свисала обледеневшая, будто из стеклянных ниток сплетенная, сеть. Постоял на взлобке возле обелиска, грубо вытесанного из бревна, посмотрел на заснеженное озеро и разом исчез, сбежав туда, где вилась санная дорога, которую из деревни уже не было видно.

14

В те дни, окончив смену, люди не торопились уходить с фабрики, хотя в ткацких цехах бывало порою даже холоднее, чем на улице. Среди своих легче переживать беды

и тяготы. Даже бомбежки на людях казались менее страшными.

Правда, работа была необычной. Не слышно было ровного, напряженного грохота станков. Воздух непривычно сух, не пахнет хлопком, крахмалом, разогретым смазочным маслом. Целыми днями ткачихи не выпускали из рук лопат, расчищая цехи от снега. Солидные шлихтовальщики забирались под потолок, заменяя фанерой выбитые стекла. Пожилую, прославленную ткачиху можно было увидеть с носилками в паре с девчонкой из ФЗО. Инженеры, техники вместе со всеми выносили снег, помогали плотникам, слесарям, электрикам. Никто не жаловался, не ворчал. Даже старшая браковщица Любка Манина, известная на фабрике щеголиха, белоручка, покорительница нестойких сердец, покорно облекшись с утра в добытый у слесарей дырявый комбинезон, мыла и протирала станки керосином, позабыв о маникюре и красоте рук.

Директор Слесарев в эти дни так и жил при фабрике в своем кабинетике, вдоль стен которого еще стояли длинные умывальники, стыдливо прикрытые теперь газетами. Он довольно потирал свои коротконалые руки. Тяжело, невероятно тяжело было поднимать фабрику, когда каждую часть станка, каждый болт надо было искать на пожарище. Но за пятнадцать лет административной деятельности ему еще не доводилось иметь дело с таким слаженным, дружным, с таким исполнительным коллективом. А исполнительность, что там греха таить, Слесарев считал превыше всех других человеческих добродетелей. И то, что совсем еще недавно ему самому казалось почти невероятным, во что порою он просто не верил, сбывалось: фабрика понемногу оживала, оживала на глазах. Это еще больше всех сплачивало.

Анна Калинина по-женски завидовала всем этим людям, работающим порой до изнеможения, и в особенности своим товарищам — ремонтным слесарям, без которых теперь не обходилось ни одно дело. Да, они очень уставали. Некоторые, что покрепче, не выпускали инструмента из рук часов по шестнадцать. Одинокие домой и вовсе не ходили. Так и спали на фабрике, чтобы не терять времени на дорогу. Бывало, вечером нет-нет да кто-нибудь и задремлет, прикорнув у тисков или у разобранного станка. Зато каждый видел, чтó за день сделано, мог радоваться еще одной отремонтированной машине, мог уснуть с приятным сознанием, что хорошо потрудился.

Анна такого удовлетворения не испытывала. Секретарь партийного комитета, она тоже допоздна задерживалась на фабрике. Тоже уставала. Но возвращалась домой неудовлетворенная, с тягостным ощущением, что многое упущено, позабыто, недоделано. На душе было смутно, тягостно.

Но дела у Анны шли не так уж плохо. Вместе с Куровым, вселившимся в ту же квартиру, прибрали они свое жилье, вынесли в сарай кровати, очистили ванну, соскребли со стен чужие картинки. Анна с ребятами занимала теперь бывшую спальню Шаповаловых, а Куров разместился в маленькой детской. Анна кое-чем обзавелась. Теперь по пути с работы она забегала в магазин за пайком. Вечером на той же окопной немецкой чугунке, продолжавшей стоять в углу, они с Леной стряпали на целый день. За месяцы эвакуации девочка заметно повзрослела и помогала матери чем могла. Даже Вовка нашел выход своей кипучей активности. Днем он собирал в окрестности деревянный хлам — обломки ящиков из-под мин, доски от бортов разбитых грузовиков. Возня с печкой стала его обязанностью, и он выполнял ее с величайшей серьезностью. Словом, с домом Анна кое-как устроилась.

Выборы тоже прошли неплохо. Северьянову, который сам явился на партсобрание «сватом», не пришлось даже отстаивать ее кандидатуру. Кто-то из коммунистов сам назвал с места: младшая Калинина. При вопросе председателя, надо ли ее обсуждать, собрание зашумело:

— Не надо!.. Знаем!.. На глазах росла!..

— В мать — крепкая... Потянет... Ставьте на голосование!

Только Варвара Алексеевна, да и то больше в виде напутствия, поговорила о вспыльчивости дочери, о том, что она быстро загорается и быстро остывает, что советы слушать еще не приучилась, и в заключение сказала, что такого большевика, как покойный Ветров, заменить ей будет нелегко. Но то ли оттого, что люди уже устали, или потому, что Анну коммунисты любили, собрание добродушно зашумело: «Больно ты уж, Лексевна, строга!» Чье-то весьма многозначительно сформулированное требование рассказать о связях племянницы Евгении Мюллер с оккупантами отвели так сердито, что спрашивающий сам был не рад и на ответе не настаивал. Словом, прошла Анна единогласно, при одном воздержавшемся, и этим воздержавшимся была она сама.

По совету Северьянова, Анна написала речь. В ней было все, что положено: и о великой победе под Москвой, и об освобождении Верхневолжска, и об укреплении антигитлеровской коалиции, и о том, что вражеский лагерь раздирают противоречия, и о крепости советского тыла, и о героизме тружениц-женщин, и многое другое. Переписывая речь вечером в тетрадку, Анна радовалась: веско получилось, серьезно. Но когда, взволнованная оказанным ей доверием, она поднялась, чтобы уже в качестве секретаря парткома говорить с коммунистами, ей почему-то вдруг сделалось стыдно оттого, что она собирается читать по бумажке. Отодвинув тетрадку и как-то сразу почувствовав себя свободней, она улыбнулась:

— Спасибо... Спасибо вам, товарищи... Ветрова, конечно, из меня не выйдет. Он какой был, Николай-то Иванович! Разве вот с вами все вместе как-нибудь его заменим. Так?

Одинокий голос ответил из рядов: «Так!» Слесарев вопросительно смотрел на вновь избранного секретаря. Близорукие глаза Северьянова обеспокоенно щурились. Он то глядел на говорившую, то переводил взгляд на тетрадку, лежавшую в стороне. Но на лице матери Анна увидела одобрение Она улыбнулась так, что обозначился рядок белых крупных зубов и совсем уже домашним голосом продолжала:

— ...Носить партбилет в кармане — невеликая хитрость. Но вот настоящим большевиком быть нелегко. С фронта все пишут: коммунисты впереди. Это значит — впереди всех на смерть идут. У нас тут, правда, не стреляют, а ведь тоже фронт. И тоже нам всем впереди быть надо. Что же еще? — Анна задумчиво подняла глаза. Пауза получилась легкой, собрание терпеливо ждало.— Да, вот что, стараться-то я буду, но ведь неопытная еще. Медведь тоже старался дуги гнуть, а что у него получилось?.. Конечно, секретарь райкома товарищ Северьянов обещал, что будет мне помогать. Пусть-ка он это здесь перед вами подтвердит, чтобы не вышло, как в песне: «Провожала — ручку жала, проводила — все забыла...» Не хмурься, не хмурься, Сергей Никифорович, разве так не бывает?

— С чего ты взяла, что я хмурюсь,— ответил секретарь, стараясь улыбаться.

— Так вот и скажи коммунистам ткацкой: буду, мол, помогать Калининой.

— Тебя обманешь — дня не проживешь,— ответил Се-

верьянов своим обычным тоном и, посмеиваясь, обратился к собранию: — Ох, ядовитого вы себе секретаря избрали! С ней ухо востро держите.

Все засмеялись, захлопали. Анна совсем уж было пошла с трибуны, но воротилась и, взяв тетрадку, потрясла ею:

— Тут у меня речь написана. Хорошая речь, два вечера над ней прокоптела. Да вижу — устали вы после смены, чего ж тут толковать о пользе молока и вреде табака!

Люди расходились по домам, громко разговаривая, весело прощаясь с новым секретарем. Но на душе у Анны было тревожно: Слесарев ушел, ничего не сказав, Северьянов тоже как-то держался в стороне. Окруженный толпой ткачих, секретарь райкома по своему обыкновению балагурил с ними.

— Тебе что, Анна Степановна? — спросил он, заметив, что та остановилась в сторонке и смотрит на него.

— Очень плохо получилось?

Секретарь райкома отвел ее в угол комнаты. Лицо его было задумчивым. Ответил он не сразу.

— Не то чтобы плохо, а как-то чудно, а тебе, Анна, чудить нельзя... Каждую минуту помни, во сне и то помни: ты теперь не просто Анна Калинина, ты партийный работник, вожак... Каждое твое слово сто ушей слушают и над каждым люди думать будут, что сказала и что хотела сказать... Понятно?

Подошла мать:

— Проводишь меня, Нюша?

Нюша! Так Анну звали в детстве. И, быть может, поэтому молодая и сильная женщина, как маленькая девочка, прижалась к матери, когда шли они по дороге, проложенной теперь прямо через пожарище. Миновали скверик, пошли по мосту. Анна вдруг бросилась к деревянным перилам. На днях еще она видела Тьму, покрытую льдом. Лишь несколько прорубей темнело на снегу. Сейчас чернела вода, лениво вздымался над ней парок, а берега, как всегда зимой, густо покрыты всклокоченной шубкой инея.

— Мамаша, смотрите, курится!

Варвара Алексеевна покачала головой:

— Девчонка! Совсем девчонку в секретари выбрали! Электростанция воды сбрасывает, вот и парок... Чудо какое!.. Тебе громадное дело доверили, ты о нем думай, а не о речке.

— Очень оплошала я? — спросила Анна.

— Очень не очень, да прав Северьянов, чудно что-то вышло... Помню, вскорости после революции был в нашей большевистской ячейке на ткацкой секретарем Бойко — хороший парень, из подпольщиков. Вот он, бывало, откроет собрание и бухнет: «Наша важная политическая задача на данный, конкретный момент — разгрузить из барж дрова. Членам РКП быть впереди и вести за собой беспартийную массу. Ясно? Ясно! Возражений нет? Нет! Есть предложение спеть «Интернационал» и разойтись...» А сам, бывало, на субботниках такими бревнами играет, что не хочешь, да за ним потянешься.

— А разве это плохо?

— Тогда? В самый раз! Время было такое. Сейчас коммунисты культурные стали. Что ж это за разговор: «Ясно? Ясно! Разойдись...»

— А по-моему, Бойко ваш правильно поступал. Вы, мамаша, заметили: Лиза Борисенко спит, Валька Морозова спит, дядя Леша из шлихтовалки спит... По двенадцати часов каждый отработал. Зачем усталых людей попусту агитировать? Они и сами хорошо все понимают... Нет, теперь уж раз вы меня избрали, я...

— Раз тебя избрали,— с необычной для нее мягкостью прервала, не повышая голоса, Варвара Алексеевна,— раз тебя, девка, избрали, ты прежде всего это свое «я» куда-нибудь подальше спрячь. В твоем деле, как в азбуке, «я» — последняя буква. «Мы» — другое дело... Вот тут я Бойко помянула, так вот он хоть не шибко грамотен был, а это понимал.— И неожиданно перевела разговор: — Ну, а Георгий твой пишет?

Это был обычный, естественный в разговоре матери и дочери вопрос. Но он сразу насторожил молодую женщину:

— Почему вы спросили? Слышали что-нибудь?

Мать тоже испытующе посмотрела на дочь, но ничего не ответила.

— После освобождения одна коротенькая записочка была. Солдат какой-то занес. Жив-здоров, пишет. О матери своей и домике сгоревшем просил поподробнее рассказать... Ой, что уж и думать, не знаю!

— А чего тут раздумывать? Ранен бы был, часто бы писал, для раненого это самое подходящее занятие. Помню, как батя наш в первую мировую в госпиталь попал, почтарь ко мне каждый день стучался... Страда у них на фронте, не до писем.

Опять тихо шли знакомой дорогой. Бесшумно падал крупный, лохматый снег. Он приглушал шаги, располагал к беседе.

— Что у меня получится, и не знаю, больно прямая я, мамаша.

— Прямота — это партийному работнику как раз впору. Батя твой говорит: «От чистого сердца чисто очи зрят...» А вот простовата ты бываешь — это плохо. Про это у отца твоего другая поговорка, тоже подходящая: «Простота — хуже воровства».

Незаметно дошли до двадцать второго общежития. Остановились у входных дверей.

— В гости не зову, угощать нечем,— с обычной своей прямотой отрезала Варвара Алексеевна.

Не без труда призналась как-то Анна матери, что жалеет, что вгорячах наговорила тогда лишнего и зря обидела Женю. Варвара Алексеевна выслушала и ничего не ответила. Между ними восстановились добрые отношения. И все-таки Анна чувствовала, что старуха не забыла ее выходки и почему-то не хочет, чтобы она встречалась с племянницей.

— Ну, а Арсений как там устроился? Что он?

— Плохо с ним, мамаша. Придет — молчит, уходит — молчит. Окаменел... Проспиртовался весь. Пьет да на гитаре играет... Впрочем, сейчас уж и не играет. Ребята говорят, струны пооборвал. И все ладит: «Уйду на фронт!» Его уж на партсобрании прорабатывали... Ну, а у вас как?..— Анна было запнулась, но твердо закончила: — Что Женя?

Варвара Алексеевна послала дочери колючий взгляд.

— Худо. Косятся на нее люди... А есть которые и прямо шипят! Да что с посторонних спрашивать, когда родная тетка...— Но тут, может быть, к счастью для обеих, старуха заметила, что в одной из комнат общежития плохо зашторено окно и на улицу пробивается узенькая полоска света.— Ах, ротозей! У Шевёлкиных это, пойти им сказать... А о Белочке подумай, Анна. Ты ей теперь не только тетка, ты наше партийное начальство.

Так было в первый день секретарства. А уж на второй навалилось на Анну столько непривычных дел, что она растерялась, стала бросаться от одного к другому. Нечто подобное пережила она, когда из старших слесарей выдвинули ее в сменные мастера: не знала, к чему и как приступить. Но сменщиком у нее был опытный мастер. Оста-

ваясь после гудка и присматриваясь к нему, Анна обдумывала все, что видела, и с каждым днем чувствовала себя увереннее. А там уже помогли природная смекалка, энергия.

Но теперь предшественником ее был Ветров — старый коммунист, человек острого ума и большого обаяния. И поныне на фабрике то и дело можно было слышать: «Ветров говорил...», «Ветров советовал...», «Ветров наказывал...». Но когда Анна пыталась представить себе, как именно работал Ветров, как он говорил с людьми, как вел заседание, вспоминались лишь его улыбка, веселые глаза, пружинистая, энергичная походка да его умение вносить страсть в любое дело.

Часто, возвращаясь домой недовольная собой, с сознанием, что осталась масса незавершенных, требующих решения дел, она мечтала о застекленной, заваленной инструментом и образцами деталей клетушке ремонтного мастера, о стареньком, заскорузлом своем комбинезоне.

15

Никогда Женя Мюллер не задумывалась о своей национальности. То, что ее отец был немец, никого не интересовало. Лишь однажды, и это было в конце лета первого военного года, когда секретарь райкома партии Северьянов вызвал Женю к себе в кабинет, сидевший вместе с ним незнакомый высокий бледный человек в штатском, но с военной выправкой спросил, правда ли, что она немка.

— Отец был немец.

— И у него были родственники в Германии?

У спрашивающего карие глаза разной величины: один, левый, был широко открыт и смотрел весьма простодушно, другой был полуприкрыт приспущенным веком. Как казалось Жене, этот правый глаз глядел на нее испытующе. Но она спокойно сказала:

— Не знаю.

— Хорошо ли владеете немецким языком?

— Как русским.

— В самом деле? — спросили ее уже по-немецки, и хитрый полуприкрытый глаз незнакомца посмотрел на нее сквозь ресницы.

— Да, конечно,— серьезно ответила Женя, переходя на тот же язык.— Отец всегда говорил со мною по-немец-

ки. Он говорил, что в Германии будет пролетарская революция и этот язык мне обязательно пригодится.

Северьянов вопросительно смотрел на незнакомца. Тот довольно кивнул головой.

— А что ты, девушка, скажешь, если райком рекомендует тебя для работы в тылу врага? — спросил Северьянов.— Только думай хорошенько, это не путевка на курорт.

— Обязан предупредить — это опасная работа, она требует самообладания, смелости... Вы будете постоянно подвергаться риску,— снова по-немецки продолжил разговор незнакомец.— Подумайте. Только ни с кем не советуйтесь. Завтра сообщите о своем решении товарищу Северьянову.

— Я согласна,— ответила Женя.

— Тебе сказано — подумай! — даже рассердился секретарь райкома.

— Я уже подумала, Сергей Никифорович.

Потом Женя Мюллер училась с такими же, как она, юношами и девушками. Курс обучения закончить не удалось: немецкие танки приближались к Верхневолжску. И снова состоялся у нее разговор с высоким бледным разноглазым человеком. На этот раз он был в гимнастерке с двумя шпалами в петлицах, в скрипучих ремнях. Звали его майором Николаевым. Теперь, одетый в военное, он почему-то представлялся ей штатским.

— Положение серьезное,— сказал он, расхаживая по комнате.— Не сегодня-завтра танки противника могут появиться у стен города... Берем худший вариант: допустим, город придется оставить... Вы, Мюллер, согласились бы держать живую связь между теми, кто останется в подполье, и областными организациями, которые эвакуируются? Только думайте как следует!

Женя вытянулась и, по-военному щелкнув каблуками, сказала:

— Так точно, я согласна!

Курсанты школы ходили в военном без петлиц и знаков различия. Форма очень шла к худенькой, стройной девушке. Когда ей удавалось спрятать под пилотку толстую светлую косу, получался хорошенький белобрысый, голубоглазый солдатик с точеным носиком, тонко очерченным ртом и тем нежно-белым, матовым цветом лица, какой бывает только у блондинов. Майор задумчиво, даже с какой-то жалостью смотрел на этого солдатика.

— Вам придется переходить линию фронта. Тут требуется большое мужество. И учтите: вас никто не неволит. Обдумайте и завтра рапортуйте.

— Так нужно? — спросила Женя, чувствуя, что начинает волноваться, и опасаясь, как бы собеседник этого не заметил и, чего доброго, не принял бы за трусость.

— Да, очень нужно,— подтвердил майор.

— Тогда я согласна.

Майор встал, пожал маленькую, худую руку.

— Спасибо. Откровенно говоря, мне хотелось, чтобы связным стали именно вы. Вы здесь лучше всех говорите по-немецки, и ваша внешность... Словом, как говорится, с богом.

Да, это было страшно: разом самой отрезать себя от привычной жизни, сознательно выйти на дорогу, где на каждом шагу колдобины, а стоит оступиться — смерть. Страшно остаться в городе, когда в него входит враг. Страшно идти в немецкую комендатуру, регистрироваться, получать вид на жительство — аусвайс. Страшно было переходить линию фронта. И все же к этому можно привыкнуть. И Женя привыкла. Но привыкнуть к тому, что творилось вокруг нее теперь, было невозможно.

Нечто невидимое глазом, неощутимое начало отделять ее от людей, с которыми она жила под одной крышей, работала, дружила. Сначала она замечала лишь косые взгляды. Потом убедилась, что некоторые из знакомых, те, что вернулись из эвакуации и обо всем происходившем в оккупированном городе знали лишь по слухам, стали ее сторониться. Делалось это не очень заметно, но девушка почти физически ощущала все возраставший холодок. Дома ее успокаивали: выдумки, нервы играют после всего пережитого. Но она с какой-то болезненной страстью искала и находила все новые и новые доказательства недоверия людей. Ей казалось, что подружки с фабрики, забегавшие иногда навестить своего бывшего комсомольского секретаря, точно бы отбывают возле ее кровати какую-то обязанность, болтают неестественно громко, а потом, отсидев положенное, слишком уж торопливо прощаются. Ей казалось: стоит ей выйти в коридор, как тотчас же прекращаются разговоры, казалось, что те, кто с ней здоровался, провожают ее потом недобрыми взглядами.

Особенно тяжело стало девушке, когда врач, лечивший ее раненую ногу, потребовал, чтобы она ежедневно совершала, опираясь на палочку, небольшие прогулки. Был па-

ренек, который перед войной долго и безуспешно ухаживал за ней. Во время одной из таких прогулок Женя встретила его. Он был в военном. Девушка обрадовалась. Ей захотелось с ним поболтать. Но юноша вдруг, как-то жалко улыбаясь, пробормотал, что торопится.

Даже на комсомольском собрании не почувствовала Женя прежней дружеской обстановки. Все ее знали. Многие были знакомы еще по школе. Но теперь она не узнавала и их; комсомольцы здоровались подчеркнуто шумно, толковали с ней о безразличных вещах и, как казалось Жене, вели себя так, будто она была тяжелобольной. Все это она ясно видела, и это уже нельзя было объяснить никакими нервами.

Самое же страшное было в том, что Женя не могла заставить себя по-настоящему обидеться. Она понимала этих людей. Ненависть к фашизму, к оккупантам, причинившим столько бед, враждебность ко всему, что даже случайно имело какое-то отношение к гитлеровскому нашествию, казалась Жене естественной. Как-то в первые дни освобождения обитательницы двадцать второго общежития обнаружили в подвале прятавшуюся там женщину, которая пыталась во время оккупации организовать мастерскую по пошивке маскировочных халатов для немецкой армии. Разъяренная толпа валила за ней по коридорам. Женщины бранили ее, плевали в лицо. Милиционерам едва удалось предотвратить самосуд. Женя, случайно видевшая эту сцену, чувствовала, что и ей омерзительна и ненавистна эта ревущая в ужасе толстуха с дряблыми, трясущимися щеками. И вот теперь девушке иногда приходило в голову, что в глазах окружающих, знавших лишь о ее дружбе с немецким ефрейтором и не слышавших о работе, которую ей приходилось вести в тылу врага, она, может быть, выглядит похожей на ту женщину.

Женя чувствовала, что невольно бросает тень и на близких и что каждый из них втайне это переживает. Но ей этого не показывали, и даже суровая бабушка была с ней мягка и внимательна. Галка, та чуть не подралась с девчонками, позволившими себе сказать о сестре что-то обидное. Дед ласково гладил по голове: «Потерпи, Белочка, правда — она в огне не горит и в воде не тонет, все перемелется, мука будет!..» Но даже и в этом девушка чувствовала что-то обидное. Не слушала уговоров, отстранялась от ласк родных, все глубже уходила в себя. И обострялось все это тем, что из-за больной ноги она не могла работать

и целый день была одна, наедине со своими тревожными думами.

Женя знала — о ней заботятся. К ней посылали отличного врача. На комсомольское собрание ее привезли и потом отвезли. Она чувствовала в этом руку нового секретаря парткома. Но разве могла она забыть потрясшие ее слова Анны о немецкой крови? Они тоже не выходили из головы.

И в довершение всего ужасная встреча... Как-то, ковыляя с палочкой по дорожке фабричного сквера, Женя заметила человека, валявшегося возле скамьи. Пролежал он здесь, видимо, уже порядочно. Ветер успел запорошить его спину сухим снежком. Сквозь голые ветви старых тополей небо багровело морозным закатом. Было холодно. «Замерзнет еще, чудак»,— подумала девушка и начала трясти пьяного за рукав. Но голова бессильно моталась, он невнятно мычал и не приходил в себя.

Отставив палочку, Женя схватила его под мышки, кое-как подняла на скамью и, придерживая, старалась усадить прямо. Человек зашевелился, открыл глаза. Увидев рядом худенькое лицо с прямым носиком, светлые заиндевевшие пряди, выбивавшиеся из-под вязаной шапочки, синие глаза, он, улыбнувшись, пробормотал:

— Спасибо, браток!

По глубокому хрипловатому голосу Женя тотчас же узнала этого человека:

— Дядя Арсений!

Пьяный, будто сразу отрезвев, отпрянул.

— Женька Мюллер? — Черные, с покрасневшими белками глаза смотрели на Женю с ненавистью.— Катись ты... немецкая овчарка!

Женя не помнила, как дошла до дома. Всю ее трясло. Дед кричал из-за занавески:

— Белочка, пляши! От матери письмо!

Как во сне, Женя взяла конверт, вскрыла его. Первое, что бросилось в глаза, были слова: «...Дошло до меня, дочка, что у тебя там что-то неладно. Мать — самый близкий тебе человек, почему же ты мне об этом не написала?..» Письмо выскользнуло из рук и, порхая, полетело на пол. Женя добралась до узенькой своей кровати, села и, сложив ладони рук, крепко стиснула их коленями. Дед, учуявший неладное, сел рядом, привлек к себе девушку, положил ее голову себе на плечо, тихо спросил:

— Что-нибудь случилось, Белочка?

— Ничего нового.

— Встретила кого-нибудь?

— Арсения Курова.

Дед встревожился. Вся семья не могла оправиться от вести о гибели Марии и детей. Он знал состояние зятя и понимал, как тот воспринимал все, что было связано с оккупантами, и, понимая, даже угадал, что произошло.

— Несчастный человек! Ему всяко лыко в строку ставить грех.

— Я не ставлю,— тем же безразличным голосом ответила девушка, но вдруг не выдержала, зарыла лицо на широкой груди деда и чуть слышно спросила сквозь зубы: — Как же мне теперь жить?

16

Арсений Куров, деловой, споровистый, веселый механик Куров, как говорили заводские, «сошел с рельсов». Его специально вернули с Урала, с завода-двойника, в родные края восстанавливать свое предприятие, а он в цехе, что называется, отбывал часы.

Вернувшись из поездки в рыбачью деревню, Арсений первым делом бросился в военкомат. Он стал требовать, чтобы его направили в действующую армию. Ему отказали. Дошел до военкома, старого знакомого по охотничьим походам. Рассказал ему свои беды:

— Не могу я в тылу торчать, пока эти ироды по нашей земле ходят!

Военком слушал сочувственно, угостил папиросой, придвинул посетителю свой стакан чаю, но в просьбе отказал: да, положение серьезное, на фронт отправляют всех, кто может служить хотя бы в строительных войсках. Старикам, ветеранам первой мировой войны, желающим идти добровольно, и тем не отказывают. Но броня есть броня. Раз броню дали, значит, человек в тылу нужней.

— Войне, Арсений, не только солдаты, ей и снаряд необходим,— развел руками военком и посоветовал «постучаться по партийной линии»,— может быть, там учтут особые обстоятельства.

Но и тут ничего не получилось. Куров безуспешно шумел у Северьянова, ходил к заведующему военным отделом горкома партии и наконец, ничего не добившись, прорвался к первому секретарю. Время было позднее. Высокий, сутуловатый человек с запавшими щеками, с нездо-

ровым блеском в глазах, скрытых толстыми стеклами пенсне, устало слушал рассказ Арсения.

— Никак не хотят понять люди, что мочи моей нет в тылу торчать!.. Напрасно. Я пудовой гирей крещусь, а меня к бабам да к недомеркам приравняли... Броня!

Секретарь вышел из-за стола, сел в кресло против Курова, почти касаясь его острыми коленями.

— Вот вы, товарищ Куров, и меня обидели. По-вашему выходит, что и я, и все мы, ну, например, здесь, в горкоме, окопались, чтобы на передовую не идти. А я ведь еще на басмаческом фронте комиссарил, когда еще...

— Так разве ж можно равнять?! — воскликнул Куров, вскакивая.— Вас сюда партия определила, а я...— И большой этот человек вдруг закричал, сжав кулаки и потрясая ими: — Вам что же, не понятно, что не будет мне покоя, пока я за Марию да за ребят с ними не поквитаюсь?! Я человек, у меня сердце есть!

Секретарь подождал, пока Куров сядет, и продолжал тем же ровным голосом:

— Вот вы сказали, товарищ Куров, что меня партия в горком определила. А ваша броня? Партии лучше знать, где какой коммунист для войны нужнее... Вот Ленин, он молодежи завет дал: учиться подчинять, всего себя подчинять интересам классовой борьбы... Это на съезде комсомола он говорил. Я ведь был делегатом и сам эти слова слышал.

— Вы? — удивился Куров, с некоторым недоверием смотря на секретаря, у которого в темных, гладко расчесанных на пробор волосах серебрилась густая прядь.

— Не похоже? Стар? — Бледные крупные губы секретаря тронула задумчивая улыбка.— Не только комсомольцем, даже пионервожатым побыть успел...— И вдруг, подмигнув Курову, он пропел тоненьким тенорком: — «Ах, картошка объеденье-денье-денье, пионеров идеал-ал-ал...» Пел, пел, что вы думаете! Так вот, Куров, давайте и мы с вами подчинять себя интересам классовой борьбы. А интересы эти требуют, чтобы мы оставались тут, в глубоком тылу,— я занимался бы партийными делами, а вы скорее бы восстанавливали свой завод. Кстати, завод ваш военный заказ получает. Это, конечно, по секрету...

И уже в дверях, пожимая руку Курова своей худой холодной рукой, он вдруг сказал:

— А рану вашу только работой залечить можно. Других лекарств нету.

Куров посмотрел на него и криво усмехнулся:

— Эх, лучше бы вы уж, как Северьянов, накричали бы на меня, все легче бы было!

Он ушел, недовольный беседой и секретарем, не пожелавшим вникнуть в его дело. И, разумеется, он не знал и никогда не узнал, что, как только дверь за ним захлопнулась, секретарь соединился по телефону с директором механического, потолковал с ним о ходе восстановления, о подготовке к приему военного заказа и среди разговора о других текущих делах вдруг сказал:

— ...Есть у вас там коммунист Арсений Куров. Вот-вот, он самый! Так попросите от моего имени главного инженера, чтобы он его работой по самую маковку завалил. Понимаете? Пусть не жалеет...

— На фронт рвется. Я уж подумываю, не снять ли, учитывая его особое положение, с него броню,— ответил директор.

— А он вам нужен?

— Позарез! С Урала его едва выпросил, да вы ж и помогали...

— Позарез, а сами готовы так легко его отпустить! На месте работой его лечите. А условия у человека какие? Как живет? Есть все-таки около него хоть кто-нибудь?

— Да по военному времени условия вроде ничего,— задумчиво ответил директор.— Жилье его, верно, сгорело, живет у родственников. С ним в одной квартире Анна Калинина с семьей, ну, та, которую недавно избрали секретарем парткома ткацкой, дочь старой большевички Варвары Алексеевны.

— Так, так... А главное — работа, работа и работа!

Положив трубку, секретарь горкома долго сидел неподвижно. Может, и в самом деле снять с бедняги броню? Но тут же он сердито оттолкнул эту мысль, ибо сам никогда не искал легких решений в жизни. Потом усталая за день мысль перекинулась на Анну Калинину. Ее мать, Варвару Алексеевну, секретарь знал хорошо, а вот дочь представлял себе смутно. Он полистал настольный календарь, весь исчерченный памятками, подумал, вычеркнул в конце одного из дней «съездить к своим» и записал: «На семь вечера пригласить Калинину с ткацкой «Большевичка».

17

Когда Анне позвонили из горкома и сообщили, что первый секретарь просит ее прийти к нему, она поинтересовалась:

— Совещание какое-нибудь?

— Нет, вызывают лично вас.

— Что-нибудь случилось? — В голосе Анны послышалась тревога.

— У нас нет, а как у вас там, Анна Степановна, не знаем.

Анна забеспокоилась. Что б такое могло быть? Неужели это дурацкое дело с Лужниковым дошло до горкома? Она позвонила Северьянову, потолковала о том о сем. По обыкновению своему, Северьянов говорил с Анной о серьезном в шутливом тоне, спросил даже: «Ты что же это там у себя мордобойцам покровительствуешь?» — но докладывал ли он об этом в горкоме, не сказал, а спросить Анна не решилась.

«Дурацкое дело», стоившее Анне немало времени, раздумий, нервов, заключалось в следующем: от коммуниста механика котельной Зайцева в партбюро поступило заявление о том, что сменщик Лужников в присутствии рабочих избил его. Анна возмутилась, тотчас же организовала партийное расследование. Выяснилось, что при сдаче смен механики поспорили, что в пылу спора потерпевший, маленький болезненный, желчный человечек, обвинил Лужникова, что тот отсиживается в тылу, и в запале обозвал его шкурой. Как доложили партийные следователи, «шкуру» Лужников еще стерпел и даже пытался отшутиться, но когда выведенный из себя его невозмутимостью Зайцев брякнул, что, мол, и верно, это дураки на фронт стремятся, а умные рады в любую щель залезть, только бы от войны подальше, Лужников, по заявлению свидетелей, «дал раза́ совсем легонько», отчего, впрочем, Зайцев упал и, стукнувшись об угол головой, разбил ее в кровь.

Так показали все при этом присутствовавшие. Это же подтвердили вызванные на бюро потерпевший и обидчик. Комкая в больших, испещренных вытатуированными на них якорями руках шапку и глядя куда-то себе под ноги, Лужников гудел, как шмель:

— Правильно, так и было, мол, дураки на фронте, а умные по щелям... Разве тут стерпишь? Ну, и в сердцах легонечко стукнул, товарищи члены бюро. Признаюсь и не

жалею... Ведь это выходит, дураки от Гитлера Москву оборонили, дураки наш Верхневолжск освободили, дураки Ленинград теперь защищают... Да за такое, я считаю, он даже маловато получил...

— Что же, у партии других мер воспитания нет? Написал бы в партбюро заявление, разобрали бы.

— А что же, коммунист — машина бесчувственная? Он при мне, можно сказать, Красной Армии в лицо плюнул, а я побегу за бумажкой заявление на него писать? Так?

— Слышите, слышите, товарищи члены бюро, будто гитлеровец какой рассуждает!..— обиженным голосом кричал Зайцев.

Большинство членов бюро внутренне были на стороне Лужникова. Анна, которой Северьянов однажды посоветовал всяческие сложные задачи человеческих отношений решать «способом подстановки», мысленно ставила себя на место механика и чувствовала, что и сама в подобных обстоятельствах тоже, пожалуй, могла бы сорваться. И вообще этот большой, сильный, со смешной медвежеватой неуклюжинкой человек, так правдиво и прямо рассказывавший о своем поступке, вызывал невольную симпатию. Но разве члену партии можно прощать такие хулиганские действия? Обсуждали, уточняли детали, спорили и наконец, несмотря на протесты члена бюро Слесарева, требовавшего сурового наказания виновному в рукоприкладстве, большинством голосов решили: Лужникову «поставить на вид недостойные коммуниста методы полемики», Зайцеву «вынести выговор за оскорбительные выражения по адресу военнослужащих Красной Армии». Слесарев проголосовал против и записал особое мнение. Он заявил, что и на собрании, и в райкоме, а если дело дойдет до горкома, то и там будет возражать против такого «абсурдного», как он выразился, решения... Может быть, дошло до горкома и будет теперь разговор с первым секретарем?

Или о Жене Мюллер? Ведь о ней на «Большевичке» сейчас столько кривотолков. Одни недоумевают, почему ее еще терпят в комсомоле, и требуют передать материал о ней в следственные органы; другие, наоборот, удивлены, почему не Женя, так отличившаяся в дни оккупации, а тихая Феня Жукова избрана сейчас секретарем комсомольской организации. Одни с презрением отвертываются от девушки, другие, наоборот, требуют ее публичной реабилитации... Это тоже мешало Анне в ее новой работе, как гвоздь в ботинке. Но, все про себя взвесив, она пришла к

выводу, что храбрая девушка ни в чем не виновата. Если бы речь шла о постороннем человеке, Анна, сделав такой вывод, сейчас же бросилась бы в борьбу за Женю. Но тут речь шла о племяннице. Получилось бы, что она защищает родственницу, а следовательно, и свою семью, на которую пала тень, и самое себя. И она посоветовала Фене отсрочить обсуждение поступивших по этому поводу заявлений, пока, дескать, не выяснится, кто же был в конце концов этот немец — действительно ли он антифашист или ловкий гестаповец, воспользовавшийся девичьей доверчивостью... Анна была далеко не уверена, что такое решение правильно. Что ж, может быть, и об этом будет разговор в горкоме. Ну, тогда она прямо и признает, что умышленно устранилась от этого дела, как родственница, как заинтересованное лицо...

Раздумывая обо всем этом, она быстро шла вдоль трамвайной линии, постукивая по мерзлым шпалам каблуками фетровых бот. Она так углубилась в догадки и предположения, что, когда обогнавший ее вездеход, пискнув тормозами, остановился, из-под брезентового верха высунулась круглая, веселая физиономия и незнакомый военный с интендантскими петлицами предложил «подбросить» Анну, та удивилась:

— Меня?

— Да, да, именно вас! — бойко заявил молоденький офицер.— Надо иметь каменное сердце, чтобы проехать мимо, видя, что такая красавица идет пешком по морозу. В центр? Садитесь. Нам по пути.

Машина затряслась по обледеневшей дороге.

— Куда же это вы спешите? — поинтересовался офицер, оглядываясь на заднее сиденье, где Анна сидела на неудобной, жесткой скамеечке.

— Ну конечно, на свидание,— в тон ему ответила женщина.

Румяное, курносое лицо ее, исхлестанное ледяным ветром, с бровями и ресницами, густо посоленными инеем, выглядело так свежо и задорно, что не только офицер, но и мрачноватый сутулый шофер заулыбались.

— Кто же тот счастливец, к которому вы спешите?

— Один очень симпатичный человек.

Всю дорогу Анна морочила голову своим спутникам, а когда машина выскочила на большую, круглую, правильно спланированную площадь и, по ее просьбе, остановилась у подъезда, к которому была прибита вывеска «Верхне-

волжский городской комитет ВКП(б)», офицер умоляюще посмотрел на нее:

— Когда и где мы встретимся? Только, разумеется, не тут... Интересно вообще, кто это додумался назначить свидание возле горкома партии?

— А мне никто и не назначал возле,— как ни в чем не бывало ответила Анна.— Мне назначили свидание в горкоме. Я секретарь партийного бюро ткацкой фабрики.— И, не без удовольствия наблюдая, как постепенно вытягивается лицо спутника, едва удерживаясь, чтобы не расхохотаться, она в самом назидательном тоне добавила: — А вообще я очень поражена, какие легкомысленные люди, оказывается, имеются среди командиров.

18

В кабинете секретаря Анну неожиданно поразил вкусный запах. В углу на полу стояла электрическая плитка, на ней кофейник. «Кофе себе варит!» — удивилась она. В глубине комнаты из-за ширмы виднелся диван и на нем постель. На столе рядом с телефонами стоял репродуктор. Всем в те дни известный голос диктора Юрия Левитана заканчивал сводку Советского Информбюро. Секретарь сидел не за столом, а в кресле. Продолжая слушать, он указал Анне кресло напротив. Та присела и, пользуясь тем, что на нее не смотрят, с любопытством начала разглядывать начальство.

На секретаре была темная шевиотовая гимнастерка, из тех, какие тогда звали «обкомовками». Меховая душегрейка, надетая поверх нее, придавала ему домашний вид. Высокий, сутулый, с клочковатым румянцем на впалых щеках, он своею внешностью как-то разочаровал Анну. Не было в нем ни красивых, приметных черт, ни сановитости. Светлые глаза расплывались за толстыми стеклами пенсне. Он очень походил на физика из школы, где когда-то училась Анна, умершего от туберкулеза лет пятнадцать назад. Та же была у него привычка, увлекшись чем-нибудь, сгибать суставы тонких пальцев и похрустывать ими. Вот и сейчас, когда он сидел, повернувшись к репродуктору, раздавался этот сухой хруст.

— Наступаем, Анна Степановна, наступаем! — радостно произнес секретарь, как только смолк голос диктора.— Движемся вперед, уничтожая живую силу и технику

противника... Ну, а рабочий класс как? Тоже наступает?.. Рассказывайте, рассказывайте, не стесняйтесь! У меня сегодня, знаете, выдался свободный вечер.

Повествуя о чем-нибудь, Анна не любила общих слов и теперь просто перечисляла примеры один за другим: ткацкие станки подготовлены к пуску, а отопление не восстановлено... Вместо стекол фанера, холодно... С бытом кое-как устроились, разместив в браковочных и столовую и детскую комнату... Хорошие новости из котельной: военные — команда выздоравливающих — помогают строить взорванные стены, но и с их помощью раньше весны все равно не управиться. Механик Лужников предложил пустить котельную, не дожидаясь, пока возведут стены и крышу. Как? А вот: сделали шатер из брезента, подняли на шестах. Завтра попробуют прогреть.

— Значит, будете с паром?

— Попробуют,— осторожно повторила Анна.— А с котельной выйдет — попытаемся пустить ткацкие станки.

— Только попытаетесь?

— Были у нас товарищи из Москвы, из Научно-исследовательского текстильного института. Говорят, делайте сначала отопление, невозможно ткать на холоде... А наши настаивают: пускайте — и все! В парткоме от людей отбоя нет: «Чего тянете, пускайте!»

— Правильно, правильно! Чего тянете? Так что же, попытаемся или пустим?

— Пустим,— улыбнулась Анна.

— Вот это верно... Вы же отлично понимаете, что важна не только ваша продукция, но и моральный фактор! — оживился секретарь горкома.— Не вам объяснять, что это значит: в разбитом, сожженном Верхневолжске зашумела ткацкая!.. Вчера выгнали немцев, сегодня ткут бязь для фронта. Нашу «Большевичку» вся страна знает... Нет, нет, ищите там у себя еще Лужниковых, теребите их, покою им не давайте, пусть что-нибудь придумают, шевелят мозгами — и пускайте!..

Вспомнив, какое впечатление произвел на всех фабричный гудок, раздавшийся впервые после освобождения, Анна рассказала и об этом:

— Похоже было, словно мать родная позвала.

— Как это верно! — возбужденно воскликнул секретарь, извинился, набрал чей-то номер и, улыбаясь, тонким голосом закричал в трубку: — Здравствуйте, это я!.. Тут у меня Анна Степановна Калинина сидит, ну, секретарь

парткома с ткацкой, рассказывает, какое впечатление произвел первый гудок. Ага!.. Помнишь, спорили: давать или не давать?.. Так она рассказывает, старые ткачихи плакали, говорили, будто мать родная позвала. Мать позвала — хорошо, а?.. Вот вам и донкихотство!..— И, должно быть продолжая какой-то старый спор, он запальчиво добавил: — Ничего, ничего, пусть нам донкихотов пришивают, а мы еще и ткацкую пустим скоро. Сейчас вот товарищ рассказывает, что завтра котельную пробуют. Под полотняным шатром, как шемаханская царица, котельная! Поедем к ним, вместе порадуемся. Идет?.. Ладно, созвонимся.

Он положил трубку, зябко подышал в сложенные руки и вновь уселся против Анны.

— Ну, а люди что думают, что говорят? Какие у ткачей претензии к советской власти? Выкладывайте напрямик. Нам с вами процеженная, подслащенная правда вредна, у нас должность такая — партийный работник...

— Без радио тоскуют,— сказала Анна.— Сводки Совинформбюро на досках пишем. В перерывах комсомольцы читают. А это все равно что слону бублик,— ведь народу у нас уже около двух тысяч. Люди к радио привыкли. Рабочий поднимается с постели, ему — «Доброе утро!», спать ложится — «Спокойной ночи!». Пока он на фабрику сряжается, ему все новости выложат... Трудно живут, сейчас хороший разговор каждый час нужен.

— А ведь я слышал, вы против агитации? — вдруг спросил секретарь горкома, снял пенсне, и глаза его, лишенные привычной защиты, посмотрели на собеседницу с детской усмешливостью.— Это вам, кажется, принадлежит классическая фраза насчет вреда табака и пользы молока?

Анна вспыхнула:

— Это кто же вам натрепался? Серег... Я хотела сказать, секретарь райкома...

— Почему же «натрепался»? Информировали... И я очень рад, что вы изменили свое мнение. И насчет радио вы правы. Но нелегко это, Анна Степановна. Очень уж много нужно — электросеть, телефон, радиостанция. И все заново.— Он помолчал, похрустел суставами пальцев и вдруг спросил: — Ведь в одной квартире с вами живет Куров Арсений Иванович. Так? Как он сейчас?

Теперь уже, ничему не удивляясь, Анна принялась рассказывать о том, как погибла сестра Мария с детьми и как тяжко переживает это зять: сломался человек, замкнулся, как сундук. «Здравствуй» и «прощай» — весь разговор,

Пьет. Чуть не замерз однажды... Очень уж хорошо они с сестрой жили. Пушинке он на нее упасть не давал и ребят обожал, все свободное время, бывало, с ними.

— А у вас есть дети? — неожиданно спросил секретарь.

— Двое,— ответила Анна и, взглянув на часы, забеспокоилась: — Батюшки, времени-то уж сколько!

— Да, заговорились!.. А дети дома одни? И никого из взрослых? Ну, тогда поезжайте скорее, вас моя машина быстро домчит! — И, отдав в трубку распоряжение о машине, секретарь вернулся к прерванному разговору: — А насчет Курова у меня к вам просьба: попробуйте вы его со своими ребятами сблизить, а?.. Ну, спешите, спешите!

На обратном пути вышла непредвиденная задержка. Машина уже мчалась мимо «Большевички», когда вдруг разноголосо завыли сирены и почти сразу забухали зенитки. Фигура с решительно расставленными руками, возникнув из тьмы, остановила машину. Патруль потребовал спуститься в бомбоубежище. Но тут окрестности огласились длинным сверлящим свистом, все разом повалились в снег, а Анна рванулась во тьму: дети, дети одни! Будто стая гончих, травящая волка, залаяли зенитки. Шум гона то удалялся, то приближался. Белые мечи прожекторов рубились в небе. Разрывы встряхивали землю. Где-то во тьме, казалось — совсем рядом, посвистывали осколки снарядов. Они с шипением зарывались в снег.

Анна ничего не видела, не слышала, не ощущала, она бежала. Под ложечкой остро покалывало. Кровь с шумом колотилась в висках. Она думала: лишь бы хватило сил. Дом был уже недалеко, когда прозвучал отбой. И сразу черные тени возникли из подвалов бомбоубежищ. Люди быстро растекались по подъездам. Уже на лестнице Анна нагнала своих. Впереди, нащупывая во тьме рукою перила, шла Лена. За ней осторожно поднимался Арсений Куров с Вовкой на руках. Голова мальчика в меховой шапке-ушанке была бессильно откинута. Ловя ртом воздух, мать расширенными от ужаса глазами глядела на неподвижную фигурку.

— Что? Что с ним?! — выкрикнула она.

— Чшш! — тихо остановил ее Куров.— Уснул. Пригрелся и уснул.

Анна прижала к себе Лену. Так, вчетвером, вошли они в квартиру.

— Да, чуть не забыл я, тебе письмо,— сказал Куров, внося вслед за Анной мальчика в ее комнату.

Женщина сразу встрепенулась. Наконец-то, оно, долгожданное! Она нетерпеливо ощупывала в темноте конверт: не открытка, не треугольничек с запиской, а толстенное письмо, какие она получала от мужа в первые недели войны. Пока Куров укладывал мальчика, она шарила по углам, отыскивая спички, но когда спичка зажглась, нераспечатанный конверт был равнодушно брошен на стол. Он был надписан не четким, красивым почерком мужа, а неровными, угловатыми буквами. Письмо было от сестры Ксении.

Переживания, усталость, разочарование — все сразу навалилось на Анну. Вылетели из головы и беседа в горкоме, и воздушный налет, и материнские страхи. Она позабыла даже поблагодарить Курова... Жора, где ты, что с тобой? Может быть, раненый лежишь в снегу возле одного из отбитых населенных пунктов, которые называл сегодня диктор? Может быть, ты уже и не живой, завалили тебя комья мерзлой земли?..

Куров постоял у кровати, где, разметав ручонки, спал Вовка, снял с мальчика валенки, стянул шубку, прикрыл одеялом, еще раз взглянул на Анну и, ничего не сказав, вышел из комнаты.

Письмо Анна прочла уже позже. Ксения сообщала сестре, что она и дочь взяли на ивановской фабрике расчет и на днях выезжают домой.

19

Мать и дочь Шаповаловы возвращались в Верхневолжск уже поездом в разгар зимы. К этому времени железнодорожные пути были восстановлены, взамен взорванных мостов наведены временные.

Посадка в Москве была шумная. Пассажиров оказалось гораздо больше, чем мест в вагонах. Но дежурный по станции сам подвел Ксению Степановну к группе летчиков, ехавших командой, объяснил, что она депутат Верховного Совета, попросил взять над ней шефство. Неизвестно, что именно — депутатский ли мандат, доброе ли радушие, как известно, свойственное людям воздушной профессии, или на редкость красивое и правильное лицо Юноны Шаповаловой — помогло, но летчики выполнили наказ дежурного в лучшем виде. Один из них успел занять целое купе, другие, энергично действуя локтями и шутками, протолкнули

женщин к вагону, и, наконец, последний задержался на перроне и через окно подал многочисленную поклажу. И когда поезд тронулся, мать и дочь сидели одна против другой, на удобных местах у окна, а летчики, не теряя драгоценного времени, уложив меж сиденьями большой чемодан, мешали на нем костяшки домино.

Юнона тотчас же присоединилась к игре, а Ксения Степановна смотрела в окно и думала, думала, думала. Не опрометчиво ли все-таки поступает она, меняя Иваново, где тихо, где у нее работа, жилье, более или менее налаженный быт, на разрушенный, сожженный Верхневолжск? И дочку сорвала с хорошего, полезного дела. Та была инструктором в райкоме комсомола, увлеклась новой работой, обнаружила недюжинные способности.

Когда миновали подмосковные поселки, до которых фронт не доходил, и потянулись места, лишь недавно освобожденные от оккупантов, Ксения Степановна так и прилипла к окну. Каждая сожженная станция, каждый разбомбленный дом, каждое сломанное снарядом дерево, каждая изуродованная машина вызывали в ней, знавшей войну лишь по сводкам да киносборникам, болезненный отзвук. А когда поезд задержался у какого-то переезда и за полосатым шлагбаумом она увидела несколько колхозных дровней, на которых, как бревна, навалом лежали замерзшие тела солдат в чужой, незнакомой форме, полуприкрытые брезентом, Ксения Степановна побледнела и вскрикнула:

— Смотрите, смотрите!

Сидевший рядом лейтенант, привстав, глянул в окно, но тотчас же равнодушно опустился на свое место и смачно пристукнул очередной костяшкой по чемодану.

— ...Это после оттепели, должно быть, по полям собрали... Много их еще тут валяется. Колхозники на кладбище по нарядам хоронить возят,— пояснил он.

— Как вы можете так спокойно? — удивленно воскликнула Ксения Степановна.— Это же люди... были, их где-то жены, дети ждут.

Военные только посмотрели на нее и вновь углубились в игру, а Юнона, которая отлично чувствовала себя в новой компании, выглянув в окно, дернула плечиком:

— Не понимаю, чего ты, мама, волнуешься!.. Очень хорошо, что они мертвые. Ведь, может быть, кто-то из них стрелял в Марата или в папу или поджигал нашу фабрику.

Ксения Степановна растерянно посмотрела на дочь.

Юнона была не только любимицей, но и гордостью семьи. Высокая, стройная, с удлиненным, мягкого овала лицом, она и впрямь напоминала ту, чье имя дали ей родители в порыве революционного новаторства и сокрушения царской косности. Раскрасневшаяся от вагонной жары и откровенного восхищения своих партнеров, она была особенно хороша. Но и любуясь дочерью, прядильщица все же не понимала, как можно настолько увлечься игрой и не заметить того, что потрясло ее самое.

Постепенно поезд высыпал на станциях и полустанках почти всех своих пассажиров, и когда вдали за сизоватыми массивами снегов уже начали вырисовываться неясные контуры Верхневолжска, в вагоне было свободно, гулко, холодно. Позабыв обо всем остальном, Ксения Степановна старалась издали разглядеть родной город. Какой-то он? Что с ним стало?

— Юночка, да посмотри же, вон уже и трубы «Большевички» видны! — жалобно попросила она.

— Сейчас, сейчас, мама, минутку! — рассеянно ответила дочь, вглядываясь в сложное построение костяшек и шевеля губами.— Ага, я закрыла! Считайте!..

На поезд, как облако, наплывал навес старого вокзала. Перрон был необычайно пустынен и потому казался огромным. Ксения Степановна уже стучала кому-то в окно.

— Наш дед... Вон, видите, дедушка нас встречает! — обрадованно воскликнула она.

Действительно, под самой надписью «Верхневолжск», выведенной на стене закруглявшегося в этом месте здания, стоял Степан Михайлович. Здесь, на этом военном вокзале, испещренном нелепыми камуфляжными пятнами, утыканном комендантскими стрелками и указателями, он, почти не изменившийся, выглядел как осколок доброго старого времени. Возле него, прислоненные к стене, стояли большие салазки.

Старик нетерпеливо шарил глазами по вагонам и, увидев дочь и внучку, сорвался с места и бросился к ним мелкой рысцой, так не соответствовавшей его степенному виду. Мгновение он простоял возле них молча, нетерпеливо переводя взгляд с одной на другую и совершенно не замечая летчиков, которые топтались у них за спиной с чемоданами и вещами. Высокая, худощавая, сутулая, Ксения Степановна рядом с красавицей дочерью выглядела подчеркнуто буднично. Ее лицо, и до войны не блиставшее красками, еще больше осунулось и приобрело зеленоватый,

землистый оттенок. Но на этом простецком бледном лице труженицы большие черные глаза, устремленные на отца, сияли такой заботой, любовью, добротой, что летчики помоложе, быть может вспомнившие в эту минуту свой дом, своих матерей, смущенно и мечтательно заулыбались.

— Батя! — сказала наконец Ксения Степановна, пряча лицо на плече отца.

— Доченька! Вернулась-таки...— Растроганный старик прижимал ее к себе и гладил ей голову, будто это была девочка, а не пожилая уже женщина.

— Мама, дедушка! Мама же! Мы не одни,— с сердитым смущением шептала Юнона.

— Верно, внучка, верно. Нам уж и двигаться надо,— засуетился Степан Михайлович, принимаясь хлопотливо умащивать на санках и перевязывать вещи.

Простившись с попутчиками, прядильщица по привычке двинулась было к путепроводу, ведущему через рельсы на привокзальную площадь, но отец показал ей вереницу трамваев, занесенных снегом по самые окна.

— Ты, Ксения Степановна, довоенные привычки сдайка вон туда, в камеру хранения... Мы теперь по городу на собственном пару двигаем.

Они пошли не обычной дорогой через город, а прямо по железнодорожной линии, как хаживали в стародавние холодовские времена, чтобы не тратить пятак на трамвай.

— Не слушала ты меня, мама, а ведь я говорила: обождем. Зачем торопиться?.. Вон даже трамваи не ходят! — подосадовала Юнона.— И чего тебе там не хватало!

— Дома, доченька, дома! — с волнением осматриваясь, отвечала мать.— Ничего нет на свете теплее родного гнезда.

— Да, внучка, дома и стены помогают,— поддержал дед.

20

Ксения Степановна была потрясена, растрогана. Любовь и жалость к родному израненному городу так овладели ею, что она порой даже не слышала расспросов отца о жизни в эвакуации. Она сама все спрашивала, спрашивала, спрашивала, жадно оглядывалась по сторонам, впиваясь взглядом в каждую руину, в каждое пожарище, в каждый зримый след оккупации. Судьбою собственной

квартиры она поинтересовалась мельком и больше о ней не заговаривала, а вот о городе стремилась вызнать все.

— Восстанавливается, оживает?..

И отец с удовольствием, будто он сам, своими руками, все это сделал, докладывал: пустили электростанцию; над трамвайной линией тянут медные провода взамен украденных оккупантами; в ткацкой пошел цех автоматов; с вашей прядильной хуже — очень она разрушена, но и там уже добрые люди действуют вовсю... А механический завод! Ведь почти все оборудование осенью на Урал угнали, а он уже работает и что-то там на войну строгает.

— ...Ты погляди, Ксения Степановна, вон они, дымы-то! Как в старой фабричной песне: «Коптит труба, идет работа!..» — кричал старик, тыча рукой в сторону города, белесое небо над которым пятнали фабричные и заводские трубы.— Ксюша, ведь все прахом лежало, пепел по улицам летал, а сейчас встает город, как многострадальный Иов в чуде господнем!

— Сам-то ты, батя, наверное, по работе скучаешь? — спросила дочь.

— Некогда мне скучать. Пока наша ситцевая на консервации, я на ткацкой притулился по ремонтной части, какой-то с меня навар все-таки есть. Только это для раклиста не дело. Будильником тоже можно гвозди заколачивать, но этого ведь никто не делает. Верно? Ну вот. И фабрике нашей стоять без пользы тоже, я считаю, ни к чему.— И, наклонившись к уху дочери, он конфиденциально шептал: — Я уж насчет нашей ситцевой в Москву Иосифу Виссарионовичу написал... Пишу: если ситец не в спросе, можно маскхалаты пестрые для разведчиков набивать. Мы тут собрались, даже крок-образец ему послали.

От новостей городских снова перешли к семейным. Всех перебрали.

— А Женя как, зажила у нее нога? — поинтересовалась Ксения Степановна, заметив, что дед почему-то умалчивает о своей любимице.

Старик замялся. Почувствовав что-то неладное, дочь перевела было разговор на знакомых, но Юнона, до сих пор в беседе не участвовавшая, сразу оживилась:

— А что, что такое, дедушка, с Женей? Что-нибудь случилось?

Степан Михайлович нехотя стал рассказывать. Прослушав, Ксения поинтересовалась только:

— А что же немец этот, перешел он к нам или нет?

— Какие ты глупости, мама, спрашиваешь! — запальчиво сказала Юнона.— Разве не ясно, что его гестапо послало? У нас где — в Иванове, в глубоком тылу,— и то двоих расшифровали; самолеты на объекты наводили... Ай-яй-яй, ну и дела у вас, дедушка! И ведь подумать только, была комсомолка...

— Почему была? Она и сейчас комсомолка! — с обидой заявил дед.

— Как? Ее еще в комсомоле держат? — вскрикнула Юнона.— И это теперь, когда бдительность прежде всего! Да я бы с ней за то, что она якшалась с врагом... я бы ее...

Девушка не находила слов.

— Оно конечно, волкодав всегда прав, а людоед — нет,— дипломатично начал Степан Михайлович, пытаясь смягчить остроту разговора.— Только какой же он людоед? Отец — коммунист, Гитлером в лагерь посаженный, сам был комсомольцем... Нет, он не враг.

— Раз на нашу землю с оружием в руках пришел — враг... Отец коммунист! Какое наглое вранье!.. Ну, Женька, ладно, тут мне все ясно. А вот чем тебя, дедушка, на старости лет фрицы так задобрили?!

Розовое лицо Степана Михайловича потемнело.

— Молчать! — вдруг крикнул он, тяжело дыша, и голубые, ситцевого тона, глаза его посинели. С видимым усилием старик сдержался и только ускорил шаг, что-то сердито ворча себе под нос.

Ксения Степановна, привыкшая к спокойствию и уравновешенности отца, не на шутку испугалась. Но Юнона и сама уже взяла себя в руки.

— Ты, дедушка, не сердись,— ласково заговорила она.— Вспомни-ка, раньше над газетами что стояло: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» А теперь что написано? Ну-ну, вспомни! А теперь: «Смерть немецким оккупантам!» А кто этот фриц? Оккупант. Видишь!.. Но я тебя не виню, ты человек старый, беспартийный, ты мог и не разобраться, а вот Женьке скажите, чтоб она мне на глаза не попадалась!

За тягостным этим разговором они не заметили, как дошли до двора «Большевички». Собственно, двора уже не было: высокий, серый, усаженный сверху толстыми гвоздями забор, лет восемьдесят ограждавший территорию фабрики, больше не существовал, и массивные, бетонные, так называемые Хлопковые ворота, где в холодовские времена день и ночь дежурили стражники, следившие за про-

хожими,— эти ворота стояли теперь среди пустого поля, за которым поднимались огромные прямоугольники старых общежитий, а еще дальше — фабричные корпуса.

С высокой насыпи, по которой двигались путники, открывался широкий вид на всю территорию. Степан Михайлович, еще недавно видевший все это занесенным глубокими снегами, на которых редок был человеческий след, с умилением смотрел, как на голубом небе расплываются дымы, как в привычных направлениях идут машины, спешат люди, как играет и шумит детвора.

А Ксении Степановне казалось, будто пришла она в больницу навестить знакомую, которую привыкла видеть цветущей, энергичной, и увидела ее бессильно распростертой на койке, изможденной, неузнаваемо похудевшей, едва живой. Лишь эти изменения — провал на месте, где был забор, сквозная дыра в высокой трубе, осколок корпуса прядильной, напоминавший гнилой зуб, паровоз, лежавший вверх колесами и похожий на собаку, которую подстрелили хулиганы,— лишь эти зияющие раны ловил ее глаз. Горячий ком подкатывал к горлу.

— Вы посмотрите, какой ужасный урон нанесли гитлеровцы фабрике, а вы с ними чаи распивали! — с упреком произнесла Юнона, посматривая на деда.

— Пошли, батя, чего уж тут глядеть,— изменившимся, будто простуженным голосом сказала Ксения Степановна и, снова взявшись за веревку санок, прибавила ходу. Теперь она, отвернувшись от фабрики, смотрела туда, где, заиндевелые, отягощенные снежными подушками, стояли сосны так называемой Малой рощи. Они не изменились, и, глядя на эти деревья, Ксения Степановна восстанавливала в памяти картины далекого и близкого прошлого.

...Вот праздник жен-мироносиц. Получив с коровниц плату за собираемые для них в течение года помои и ополоски, на эти так называемые «помойные» деньги в складчину гуляют в этой роще обитательницы спален. Это их день. Мужчине, если он не гармонист или балалаечник, лучше туда сегодня не соваться. От опушки до опушки звучат хмельные женские голоса, надрываются гармошки. Дробят землю каблуки полусапожек. Наперебой летят частушки, одна озорнее другой. И где-то здесь с горстью семечек в платочке вертится девчонка Ксюшка и тоже пляшет на полянке, тоже пищит частушки, подражая взрослым...

...Вот идет по этой роще Ксения Калинина в облупившейся кожанке и в красной косынке с парнем в островерхой буденовке, в шинеленке с обтёрханными полами, в обмотках и больших, не по ноге, американских ботинках, снятых с какого-то беляка. Ранняя весна. Под ногой чавкает вода. Тревожным гулом шумят еще не сбросившие сонной одури сосны, и звезды будто вздрагивают на чистом голубом небе. Медленно, не следя за тропинкой, бредет пара. Оба молчат. Только руки их, грубоватые рабочие руки, разговаривают красноречиво, ласково, страстно...

И еще вечер под Первое мая, совпавшего в этот год с пасхой. С шумом, с факелами, с песнями валом валит сюда фабричная молодежь. Маевка. Комсомольская маевка. Оживший лес шумит в предвесеннем ожидании. Кое-где, как забытые влюбленными девушками платки, белеют пятна нерастаявшего снега. Пьяно пахнет отогретой землей. И когда из тьмы доносятся протяжные звуки праздничных колоколов, здесь, на площади, перед спортивным стадионом, вспыхивают костры и летят в них старые, засиженные мухами и тараканами, темные от копоти иконы, извлеченные в этот день из пропахших гарным маслом углов. А позже на дощатой, пахнущей смолой эстраде идет антирелигиозный спектакль. Ксении Калининой и Филиппу Шаповалову, как старым, сознательным комсомольцам, ввернули, конечно, самые невыгодные роли: она — темная старуха, он — хитрый сельский поп. Когда смыкается занавес, «старуха» и «поп» сладко целуются за кулисами, размазывая по лицам самодельный грим, припахивающий столярным клеем.

Тихое позвякивание над головой отвлекло Ксению Степановну от воспоминаний. Железнодорожную насыпь пересекла здесь канатная дорога, тянувшаяся от торфяных складов через реку к электростанции, стоящей на берегу Тьмы. По канату двигалась вагонетка с торфом. И выше Ксения Степановна увидела черную фигурку, покачивающуюся на огромной высоте. Степан Михайлович, вскинув бородку, тоже залюбовался верхолазом, казавшимся снизу паучком на колеблемой ветром паутине.

— Видала, Ксения? Вот если б Гитлеру на этого парня поглядеть. Он бы испугался, на каких людей руку занес...

— А ведь это, батя, не парень! Девушка, честное слово, девушка,— сказала Ксения Степановна, щуря глаза на ветру.

— Ну, пошли, пошли! — торопила Юнона.— Я совсем окоченела.— А когда им удалось спустить санки с насыпи вниз и все остановились передохнуть, она добавила с упреком: — Хоть ты, мама, и депутат Верховного Совета, в поступках твоих отсутствует логика. Ну к чему, скажи на милость, к чему мы сюда притащились?

21

У двери в известную уже нам квартиру Степан Михайлович не удержался и повторил остроту, с некоторых пор ставшую в семье Калининых, так сказать, фамильной:

— Вот, Ксюша, твой терем-теремок... Тук-тук, кто тут? Я, мышка-норушка, да я, лягушка-квакушка, а ты кто? А я заяц везде поскокишь, пустите меня жить... Видала, дым-то из трубы в столовой валит? Это, поди-ка, мышка-норушка да лягушка-квакушка, зайца ожидаючи, комнату обогревают.

Дверь открылась сама.

— Анна! Анка!

— Ксения!

Молча обнявшись, сестры прижались одна к другой, да так и остались неподвижными, пока дед и внучка вносили чемоданы. Столовая — большая, лучше других сохранившаяся комната — по решению семьи была оставлена для хозяйки. Сюда заранее внесли всю уцелевшую мебель: массивный славянский шкаф, комод, кровати, книжную полку, собственноручно сделанную когда-то Филиппом Шаповаловым, и иную мебель, которую удалось отыскать в сарае. Вымытый пол был еще влажен. Двери, подоконники — все было тщательно протерто. К горечи гари, обязательно поселявшейся в жилье, если оно отапливается времянками, примешивался домовитый запах щелока и мыла.

Перед печкой на самодельном противне лежала стопка кирпичей, стояла канистра с керосином.

— Сейчас мы тепла поддадим,— сказала Анна, и сестра с удивлением увидела, как та ловко, в особом порядке, кладет в печку кирпичи, предварительно обмакнув каждый в керосин. Потом она сунула внутрь сложенную газету и чиркнула спичкой.

— А дрова? — спросила Ксения, наблюдая за сестрой.

— Дрова в лесу.

К удивлению приезжих, газета, а за ней и кирпичи как бы вспыхнули. Над ними зашевелилось красноватое жирное пламя. Анна весело расхохоталась, как умела она это делать, когда находилась в отличном настроении,— шумно, взахлёб и так заразительно, что все невольно улыбались.

— Не видала, Ксюша? Голь на выдумки хитра... Ничего не поделаешь, дров нет, а трофейным керосином хоть залейся.

Комната быстро наполнялась густым жаром. Ксения обошла квартиру, похвалила и пожалела, что нельзя сейчас, с дороги, принять горячую ванну. Ванну! Анна только усмехнулась, вспомнив, в каком состоянии нашла она ее, когда памятным вечером пришла сюда, и сколько потом Курову пришлось вынести замерзших нечистот... А Юнона, проворно распаковавшая чемоданы и раскладывавшая белье и одежду на полках и в ящиках двуутробного славянского шкафа, вдруг спросила:

— Тетя Анна, а почему у вас везде такая грязища?

— Грязища? Мы с Леной нынче все тут чуть не вылизали.

— А вот? — Девушка провела рукой по стене, показала потемневшие пальцы.— Ведь какая была чистая квартира!

Анна с удивлением посмотрела на девушку:

— Нелегко тебе, милая, будет тут, если ты копоть от грязи не отличаешь. Стены-то ведь не вымоешь.

— Нет, нет, тут у вас чудесный терем-теремок,— вмешалась в разговор Ксения Степановна, услышав в голосе сестры сухие, холодные нотки.— Прелесть! И печка... Кто же это придумал «жечь» кирпичи?

— Да все Арсений Иванович нас тут радует,— переходя на обычный свой тон, ответила Анна.— Да Вовка — его правая рука. Он у нас старший кочегар.

— А где же сам Арсений Иванович?

— На заводе, а то где ж! — вмешался в разговор Вовка, бесстрашно грызший окаменевший пряник, преподнесенный ему тетей Ксеней.

— И все пьет?

— Кто ж его знает, не видим мы его теперь,— ответила Анна.

— Он теперь только по маленькой, с устатку,— осведомленно сообщил Вовка.— Без этого мастеровому человеку нельзя.

— А ты, пострел, откуда знаешь? — всплескивая руками, восхищенно произнес дед.

— Дядя Арсений сам говорил. Мы с ним дружки...

Следя за тем, как широкое чадное пламя лижет в печурке кирпичи, Ксения Степановна, вздохнув, сказала:

— А у меня все Мария из ума не идет. Уж очень она у нас какая-то такая была, что мертвой-то ее и не представишь. Кажется, вот распахнется дверь и — «здравствуйте, девочки». Помнишь это ее «девочки»?.. Да, такую жену Курову трудно найти будет...

— Он и искать не станет,— так же задумчиво произнесла Анна.

— Думаешь?

— Знаю. Однолюб. Ладно, вот сейчас к ребятам моим привязался, а то вовсе окаменел.— И, будто отрываясь от каких-то своих, невысказанных дум, Анна сказала: — Дед, ребята, пошли... Им с дороги отдохнуть надо.

Когда все вышли, Ксения долго сидела у печки, вытянув к теплу ноги в чулках, пошевеливая пальцами. Казалось, она дремала с открытыми глазами. Но вдруг улыбнулась и сказала:

— Нет, Юночка, ты ошиблась. Великая это для человека радость — вернуться домой.

22

В памятный день, когда гитлеровская авиация, долго не навещавшая Верхневолжск, внезапно совершила массированный налет на город, Арсений Куров лежал в своей комнате на койке в состоянии тяжелого безразличия, какое бывает в часы похмелья у пьющих людей, еще не ставших алкоголиками. Во рту было сухо, противно, в голове какая-то звенящая муть. Не только любое движение, но и любая мысль вызывала ощущение физической боли. Но мозг работал отчетливо, и омерзение к самому себе, к своей слабости, к своему бессилию терзало Арсения куда больше, чем физические страдания.

За стеной о чем-то громко спорили ребята Анны. Слышать их звонкие голоса было невыносимо, тем более что Вовка очень напоминал Курову сына Гриньку. Прикрыв ухо подушкой, Арсений попытался задремать. И вот завыли сирены, почти одновременно забили зенитки и рухнула первая очередь бомб. Бомбежка? Арсений повернул-

ся на другой бок, равнодушно закрыл глаза. Но сквозь вой и гул он все-таки услышал, как в соседней комнате испуганно заорал мальчик и как, стараясь перекричать все звуки, Лена, подражая матери, твердым голосом уговаривала его:

— Не кричи, дурачок! Разве криком чему-нибудь поможешь? Ну, возьми меня рукой за шею, вот так...

Снова послышался сверлящий свист. Глухой удар встряхнул дом. Он весь вздрогнул, будто стоял на болоте... Уже из прихожей донеслись рассудительные слова:

— Прижмись ко мне, прижмись. Вот так. Они ж уже улетели... И бомб у них больше нет, все побросали...

Словно ветер сорвал Арсения с койки, выбросил из комнаты на темную лестницу, где неясно различались две робко спускающиеся фигурки. Он подхватил обоих ребят, прижал к себе, осторожно понес вниз. Человек, мгновение назад, может быть, даже желавший, чтобы слепая бомба разом порешила все, что его мучило, теперь, прижимая к себе детей, дрожал от мысли о каком-нибудь шальном осколке. Улучив тихую минуту, он, ломя через сугробы, перешел улицу, спустился в бомбоубежище и сел на какой-то ящик. Вовка, пригревшись, сразу уснул, положив голову Арсению на плечо.

Кругом грохотало, бухало. Промозглые стены подвала дрожали. В полутьме слышались вздохи. Кто-то плакал. Материнский голос, нежный даже в испуге, баюкал раскричавшегося малыша. Куров сидел не шевелясь, прикрыв глаза, и свободной рукой гладил голову прижавшейся к нему Лены. На душе было тепло, грустно. Ему чудилось, что рядом не племянники, а его собственные дети, ищущие у него защиты. Он знал, это не так, но ему хотелось, чтобы тревога длилась как можно дольше, чтобы бесконечно тянулось это странное, пришедшее точно бы во сне ощущение.

Но и когда сирены прокричали отбой, ощущение это прошло не сразу. С ним были дети, и они требовали заботы. Умелыми руками Арсений осторожно, чтобы не разбудить малыша, завязал ему шарф, опустил уши шапки, осторожно поднял на руки, велел Лене застегнуться. Втроем они двинулись к выходу.

Толпившиеся у подъезда жильцы возбужденно обсуждали закончившийся налет. В центре их кружка стояла девушка из отряда ПВО. Она только что слезла с крыши и сообщала новости: сбито три бомбардировщика... Три, а

может быть, даже и четыре. За три она ручается, прожекторы проводили их до самой земли. Один плюхнулся прямо в Тьму недалеко от электростанции. Двое летчиков выпрыгнули из него. Она видела, как они приземлились где-то в Малой роще... Туда уже покатили машины с истребителями.

Но новости не произвели впечатления на Арсения Курова. Он был полон тем дорогим, вновь обретенным чувством, которое вернулось к нему в сыром бетонном подвале. Голова сонного Вовки лежала у него на плече. Мальчуган посапывал ему в ухо, Лена испуганно держала его за руку. Боясь оторваться от этого детского тепла, Куров пронес свой груз мимо разговаривавших жильцов, стал подниматься по лестнице, и здесь их настигла Анна...

С этого, собственно, и началось возвращение Арсения Курова к жизни. Впрочем, раздумывать было некогда, столько на него навалилось в ту пору работы.

23

Зато Анна много размышляла над этим. Тяжело давалась ей «самая интересная», по выражению Северьянова, профессия партработника. Одно дело — быть членом бюро, выполнять какие-то определенные ограниченные обязанности, другое — быть секретарем, держать в руках нити фабричных дел, постоянно иметь в виду всех коммунистов, уметь разгадать, почему загрустил один, почему нервничает другой, чем объяснить какой-нибудь неблаговидный поступок третьего, а главное — уметь так слиться с фабричным коллективом, чтобы чувствовать, как бьется его сердце, понимать, чем люди живут, улавливать малейшие изменения в настроении.

Все, что легко, естественно получалось у покойного Ветрова, Анне давалось с большим трудом.

С внешней стороны все было благополучно. Смышленая, напористая, она в положенный срок проводила собрания, несмотря на трудные времена, развернула партийную учебу, членские взносы парторганизация ткацкой сдавала среди первых, протоколы велись в порядке. Но Анне этого было мало. Она понимала, что не хватает чего-то самого важного, что позволяло ее предшественнику неназойливо, даже незаметно влиять на всю жизнь фабрики. Чего не хватает, Анна не знала и злилась на себя, на Северьянова,

убедившего ее идти на партийную работу, и даже на коммунистов, которые оказали ей доверие... Однажды, выведенная из себя этим ощущением бессилия, Анна решила идти в райком, подавать в отставку. Чтобы потом не раздумать, она позвонила секретарю и попросила принять ее.

— Что так спешно? Труба у вас, что ли, на фабрике падает? — спросил в телефон насмешливый голос.

— Измучилась, не могу! — сердито зачастила Анна.— Освобождайте, не вышло из меня партработника.

— Ух ты, ух ты! — Голос в трубке становился все насмешливее.— Вот что, Калинина, сходи в медпункт, выпей валерьянки. Слышишь? А если к вечеру не поможет, приходи — потолкуем.

В назначенный час Анна была в райкоме. Здесь тоже жили на казарменном положении. В одной из комнат на керосинке жарилась яичница. Из дверей другой пахнуло лекарством. Там, на диване, весь в поту, лежал больной человек, а возле знакомый Анне инструктор на письменном столе гладил электрическим утюгом брюки. Увидев неожиданно появившегося секретаря ткацкой, он ахнул и присел за стол. Анна, сделав вид, что ничего не заметила, прошла мимо, прямо в кабинет Северьянова.

Тот, насадив на короткий свой нос стариковские, в металлической оправе очки, старательно подписывал партийные билеты.

— А-а, брату Карамазову с ткацкой фабрики! — сказал он, показывая кончиком ручки на свободное кресло.— Ты тут попсихуй в одиночку, а я пока закончу эту стопку... Завтра утром вручать.

Ручка снова неторопливо опускалась в квадратный пузырек со специальными чернилами. Подписанные билеты перекладывались из одной стопки в другую. Так продолжалось, пока одна из стопок не растаяла. Тогда Северьянов снял очки, довольно погладил стопку.

— Сорок два, Анка, сорок два новых коммуниста.— Потом отодвинул билеты в сторону, по-мальчишески почесал затылок и вдруг сказал взволнованным и таким необычным для этого насмешливого человека голосом: — Самые трагические дни переживаем, а партия растет... Ведь как оно со всеми партиями получалось: успех, победа, власть — приток. Повернулась история к ним толстым местом — теряют членов, вовсе разваливаются. А у нас все наоборот, слышишь, Анка? Весь фашизм на нас навалился, отбиваемся так, что спина трещит, люди у станков па-

дают, пайчишко весь в горсти унесешь, а партия растет. Думала ты когда-нибудь над этим? — Он положил пухлую, веснушчатую, поросшую прозрачным волосом руку на стопку партбилетов.— Сорок два за полмесяца. Было так до войны? Разве когда Ленин умер, в ленинский призыв...

— А ко мне вчера мамаша Звягинцеву Веру Сергеевну привела — катушечница, маленькая такая, ты ее, может, помнишь, из наших, коренных... Двух сыновей убили, и муж в оккупации помер... «Хочу, говорит, в лихую годину...»

Анна так взволновалась, вспоминая этот эпизод, что сорвалась с кресла и заходила по комнате. Но Северьянов, насмешливый Северьянов, которому и горкомовские боялись попадать на зубок, сам, нагнувшись, что-то шарил рукой под столом, а когда поднялся, только спросил негромко:

— Может, разговор-то...

Анна молча пожала ему руку и ушла, раздумывая: случайно ли вышло все так или хитрый секретарь райкома нарочно подстроил?

Для того чтобы успокоиться после какой-нибудь неудачи или отдохнуть от утомительного заседания, Анна иногда шла в цех, доставала из шкафа свой еще висевший здесь комбинезон, забирала сумку с инструментом и отправлялась туда, где работала одна из ее бывших бригад. Ремонтировщики встречали ее весело. Раздавалась шутливая команда:

— Смирно! Начальство идет.

Всегда оказывалось, что пришла она вовремя, всегда находилось дело, требовался совет. Тут Анна знала все. Сразу возвращалась уверенность. Руки точно играли инструментом. Вновь становилась она прежней, быстрой, задорной, не лезущей за словом в карман. Вот тут-то, в мастерской, у тисков, с напильником в руках и нашел ее однажды Сергей Северьянов, вскоре после их вечерней беседы в райкоме. Он не смог к ней дозвониться, а так как дело было срочное и так как райком от ткацкой находился невдалеке, секретарь завернул сюда самолично.

Увидев Анну Калинину у тисков, Северьянов некоторое время молча наблюдал, как размашисто работала она. Кое-кто из слесарей уже заметил его. Оценив необычность происшествия, они переглядывались, ухмылялись, ожидая, что будет дальше. Насмешливые огоньки играли в веселых

глазах Северьянова. Толстая нижняя его губа иронически оттопырилась.

Постояв, он подошел к тискам.

— А ну, Анна Степановна, поясни, над чем ты тут трудишься? — спросил он вместо приветствия и наклонился, рассматривая близорукими глазами зажатую в тисках деталь.— Ага, ясно.— Он сбросил на верстак телячью куртку, шляпу, взял из рук оторопевшего секретаря парткома напильник, встал к тискам и точными движениями продолжил с того места, на котором остановилась Анна.

Секретарь райкома у тисков! Это уже происшествие! Слесари отставили работу. Несколько любопытствующих физиономий показалось в дверях. Северьянов продолжал действовать, будто ничего и не замечая. Анна нерешительно топталась возле в старом, лоснящемся своем комбинезоне из «чертовой кожи» с рукавами, высоко закатанными на полных руках. Физиономий в дверях появлялось все больше.

— ...Сергей Никифорович, неудобно... народ,— сквозь зубы, потихоньку говорила она.

— А чего не удобно? — громко переспросил Северьянов, удивленно поднимая короткие рыжеватые брови.— Секретарю парткома удобно, а секретарю райкома нет... У меня, Анна Степановна, диплом инженера-механика имеется... Вот что, ребята,— обратился он к слесарям, понявшим, куда клонится дело, и уже начинавшим ему подыгрывать.— Нет ли у вас лишней спецовки? Я свой кабинет на замок — и к вам. У вас как работают, аккордно? Сдельно?

Слесари посмеивались, зубы их белели на замасленных лицах.

— Приходи, Сергей Никифорович. Примем... Заработок теперь подходящий.

Даже пот пробрызнул у Анны на переносице. Карие глаза ее гневно смотрели на секретаря райкома, но тот, продолжая работать, беззаботно болтал с окружающими.

— Кончай, кончай этот спектакль,— шептала Анна.

Наконец он положил напильник и как ни в чем не бывало принялся вытирать руки концами, поданными ему кем-то из рабочих.

— Ну что ж, тоже верно,— с благодушным лукавством произнес он.— Кончать так кончать... И займемся, Анна Степановна, делами, которые нам с вами коммунисты поручили...

Через несколько минут они были в комнате парткома, отгороженной застекленными стенами от большого зала браковочной. Анна, переодевшаяся в свой обычный костюм, с потемневшей прядью волос, намокшей при умывании, ходила по кабинету, а Северьянов сидел за ее столом и преспокойно курил сигарету.

— ...Нет, это безобразие, это черт знает что... Тут не комсомольский клуб, и я не девчонка, чтоб меня так при людях разыгрывать. Посмешил народ — и доволен... Нет, Серега, я тебе этого не прощу!

— Не понимаю, чего ты сердишься,— с невинным видом говорил Северьянов.— Женский эгоизм самого скверного свойства, и только. Что ж, на фабрике еще для одного тисков не хватит?

У Анны даже слезы выступили. Северьянов знал, что это были за слезы. Он сразу подтянулся, с лица пропала усмешка. Оно стало жестким, холодным. Сразу куда-то исчез Серега Северьянов — шутник, балагур, мастер ухлестывать за девчатами, веселый товарищ комсомольских лет, и появился секретарь райкома Сергей Никифорович, которого в районе уважали и побаивались.

— Вот что, Калинина, по цеху скучаешь — это я понимаю. Работа не ладится — понимаю. Устаешь с непривычки — это естественно...

— ...Вот и освобождайте. Разве я не вижу, что решетом воду ношу? Кручусь-верчусь, семь потов сходит, а какой толк? «Самая интересная профессия». Может, она и интересная, а у меня к ней таланту нету.

— Ты, товарищ Калинина, на слесаря сколько училась?

— Ну чего спрашиваешь: вместе ФЗО кончали.

— Верно, три года мы с тобой проучились и вышли слесаря-ремонтники третьего разряда. А ты хочешь в такую профессию, как партийная работа, сразу, как в трамвай, прыгнуть. Мало того — мечтаешь сразу же стать такой, как Ветров Николай Иванович. Скажешь, не мечтаешь? Мечтаешь. А позабыла, что Ветров семь лет на партийной работе был да до этого пять лет в армии комиссарил?.. Сразу-то, Анка, и козла за бороду не дернешь.

И снова в белесых глазах Северьянова зажглись насмешливые огоньки. Анна, знавшая другой, фабричный и более озорной вариант этой верхневолжской поговорки, невольно улыбнулась.

— А чем я обязана появлению начальства?

Северьянов тем временем докурил сигарету до самого основания и, казалось, вытягивал теперь дым прямо из сложенных щепотью пальцев. Этим он тоже напоминал былого Серегу, заядлого курца, у которого всегда не хватало денег на табак.

— Ты в горкоме с «первым» насчет радиоузла говорила? — спросил он, бросив наконец остаток сигареты в пепельницу.— Ну так вот: одобрено, велено — действовать. Начали действовать. Все обшарили — аппаратуры нет, достать негде. Не производят. Одна надежда — военные. Я и туда стучался — не вышло. Сухарь там какой-то полковник: «Никак нет, не положено...», «Имеем, но дать не можем: приказ ноль-ноль...», и так далее.

— Ну, а я тут при чем?

— Как при чем? — всплеснул руками Северьянов.— А кто у нас самый симпатичный секретарь парткома в районе? Анна Калинина. Вот ей райком и поручает попытаться смягчить сердце у этого «никак нет». Сама ведь убедила начальство, что ткачихи жить не могут без радио. Ты не смейся, я всерьез.

Анна улыбалась по другому поводу. Ее просто восхитило, что предложение, мимоходом оброненное в разговоре с секретарем горкома, не забыто, взвешено, оценено. Ему дан ход. И еще больше она удивилась и обрадовалась, когда, продолжая разговор, Северьянов будто бы невзначай свернул его на Арсения Курова:

— Ну как он сейчас? Все гитару терзает?

— Да вроде нет, не видим мы его. Целые дни на заводе, иногда и ночует там.

— Вот-вот,— довольно сказал Северьянов и опять перешел на шутливый тон: — Ты, Анка, с зятем не церемонься — пусть по хозяйству помогает, с ребятами посидит, ну, а вечерком на чаек пригласи... Отогревать человеку душу надо, а чай для такого дела лучше, чем водка.

Вся настороженная, с расширившимися глазами, смотрела Анна на собеседника.

— Серега, ответь на один вопрос, только по-честному, без этих своих хаханек... О Курове это ты сам или тоже позвонили? Ну, говори же, мне это важно знать.

Северьянов нахмурился и неохотно ответил:

— Ну, не сам... «Первый» интересовался, и не по телефону, а после бюро у нас с ним была беседа.

Анна захлопала в ладоши.

— С чего бы такая милая радость? — усмехаясь, спросил Северьянов.

Но Анне трудно было объяснить. Она чувствовала, что начинает понимать, чего ей до сих пор так не хватало. Становилось ясно, что секретарь горкома, будто бы рассеянно слушавший тогда ее рассказ о фабричных делах, не пропустил ничего важного. И как он все дальновидно обдумал! Вот тогда, во время этой беседы, Анну удивило, что ее просят не потолковать с Арсением, не пристыдить человека, а сблизить его с детьми. Она уже убедилась, сколь целительным оказалось рекомендованное средство...

Да, теперь она, пожалуй, знает, чего ей недостает. Как выразилась однажды Варвара Алексеевна, ей «не хватает сердца» — внимания к людям, умения видеть в людях не просто коммуниста или беспартийного, рабочего, инженера или служащего, а прежде всего человека со своим характером, со своим строем мыслей, со своей мечтой, со своими радостями и горем, со своими, ему лишь присущими, сильными и слабыми сторонами. Ну да, сколько всего этого было у Ветрова! Не в этом ли и была его сила?

Анна решила воспитывать в себе эту черту. И вскоре многое из томившего и удручавшего ее стало понемногу проясняться. Вот это дело о рукоприкладстве. Симпатии были по-прежнему на стороне Лужникова. Но, снова все взвесив, снова по душам, неофициально беседуя с Зайцевым, Анна выясняла уже не сам факт и обстоятельства дела, а хотел ли тот, произнося свои так возмутившие Лужникова слова, оскорбить воинов Красной Армии. Сразу выяснилось, что желать этого он не мог. У него воевали два сына. Одним из них, офицером флота, механик очень гордился. Выяснилось, что Зайцев знал и о том, что Лужников участник гражданской войны, что он тяготился тем, что его не берут в армию. И тогда стало ясно, что истинной причиной ссоры были вовсе не воинские дела, а почти физиологическая зависть тщедушного, болезненного человека к здоровяку, который зимой купался в проруби и, несмотря на свои немолодые уже годы, держал под столом в котельной старинную гирю, с которой упражнялся в свободную минуту.

Обдумывая все это, Анна поняла, что оба сменщика в одинаковой степени виноваты в происшедшем. И, докладывая общему собранию решение бюро, она сама посоветовала изменить его, поставив обоим на вид: одному — за его недопустимые, но произнесенные необдуманно, вго-

рячах слова, другому — за порочащий коммуниста ответ на них.

Единодушное одобрение нового предложения и особенно то, что за него проголосовал и Слесарев, тут же снявший свое особое мнение, казалось Анне первой настоящей победой в ее новой профессии.

24

Новые обязанности уже меньше тяготили Анну. Было нелегко. Уставала. Но утром ей уже не терпелось поскорее окунуться в дела, чтобы в общении с людьми снова и снова проверять обретаемое умение. Теперь она знала, что в партийной работе большое складывается порою из незначительных, часто на первый взгляд даже смешных мелочей, и, наоборот, эти мелочи, как песчинка в глазу, могут мешать в больших делах, влиять на настроение сотен людей.

...С такими мыслями шла она однажды по ткацкому залу. У окон, вдоль стен, гудели раскаленные печки-времянки. Но на улице было морозно, и они мало помогали. Даже иней не стаивал с чугунных станин. Проходя вдоль рядка, где работали молодые, только что обученные ткачихи, Анна заметила, что племянница ее Галка Мюллер хохочет-заливается, крича что-то в ухо своей подружке, худенькой, конопатенькой Зине Кокиной. Обе они пришли на фабрику, окончив девятый класс средней школы, обе оказались девицами смышлеными. За несколько недель они так овладели делом, что их поставили к станкам.

— Вы над чем это, козы, потешаетесь? — заинтересовалась Анна.

— Тетя Настя Нефедова...— силилась выговорить Галка, давясь смехом,— тетя Настя... ф-ф-ф... кирпич... ф-ф-ф... за пазуху сунула...

— За пазуху, как кошелек,— вторила Зина, стараясь отвечать серьезно.

— Какой кирпич? Зачем?

— Греется...

Подружки снова присели от смеха.

Настасья Нефедова была та самая немолодая женщина, что в день освобождения города первой рассказала Анне о гибели свекрови. Слыла она человеком серьезным, не раз избиралась председателем профорганизации цеха ав-

томатов. Ее собирались теперь рекомендовать на должность председателя общефабричного профсоюзного комитета. Поэтому болтовня молодых ткачих особенно заинтересовала Анну. Она прошла на гнездо Нефедовой и убедилась — девчата не соврали. Настасья, как и большинство ткачих в те дни, работала в лыжных фланелевых штанах, в валенках. Но туго перепоясанный ватник как-то странно оттопыривался у нее на животе.

— Что это у тебя? — спросила Анна.

— Настрекотали сороки? — улыбнулась Нефедова.— Кирпич, Аннушка, кирпич. Малокровие мучит, зябко мне... Вот нагреваю кирпич на печке и кладу за пазуху. От него теплее.— Она заправила под косынку сбившиеся на лоб пряди и, видя, что Анна не смеется, продолжала: — Мы ж как папанинцы какие на льдине, пальцы немеют. Как присучать? За станину возьмись — прихватит. А я руку за пазуху суну, погрею — и кума королю... Девчонки, конечно, смеются, у них кровь играет, а кто постарше, те понимают.

Нефедова говорила, будто оправдываясь перед кем-то, но Анна задумалась над этим странным на первый взгляд способом греться. Многое сумели ткачи преодолеть: и котельную пустили под открытым небом, слегка лишь защитив от непогоды брезентовым шатром, и разбомбленные станки научились восстанавливать. И вот, вопреки всем до сих пор известным законам технологии, работал этот огромный зал, где по утрам ветер шевелил снежок, просочившийся за ночь меж фанерными щитами. Но одного не преодолели — холода. Восстановление сложной отопительной системы требовало кропотливого труда. Печи-времянки бессильны отразить напор мороза. Работницам выдали лыжные фланелевые костюмы. Но зябли пальцы. Тех, кто постарше, кто не мог в свободную минуту погреться гимнастикой, промозглый холод пробирал до костей.

Нет, совсем не смешной и не глупой показалась Анне странная затея с кирпичом.

— А где же ты свой кирпич греешь, Настасья Зиновьевна?

— Вот, у печки. В свободную минуту все к огоньку бегаем, вот и грею.

Анна пошла к раскаленной печи. Несколько ткачих стояли возле, вытягивая к теплу озябшие руки. Тотчас же послышались голоса:

— Ага, и начальство мороз пробрал.

— Ты, Анна Степановна, на этом леднике потанцевала б с наше, узнала б, почем сотня гребешков... Вон Настя Нефедова от холода кирпич за пазуху сует...

— А ну-ка, и я,— решила Анна.

Она положила кирпич на пышущую жаром печь, дала ему нагреться, потом завернула его в головной платок и сунула за жакет. Кирпич был тяжел, но через ткань он отдавал ровный, стойкий жар. Анна нагнулась к станку, сделала несколько привычных движений. Мешает, конечно, но работать все-таки можно. Тепло сторицей возмещало неудобство.

— Чудно́, но не глупо,— задумчиво сказала Анна, обращаясь к ткачихам, гревшимся у печки.— Чем улыбаться, попробовали бы...

И когда через полчаса каменщики, заделывавшие проем, вернулись к месту работы, кирпичей, заготовленных ими с утра, не оказалось. У печей стоял веселый шум. Под смех и шутки тут «осваивали грелку Нефедовой».

В перерыв распахнулась дверь директорского кабинета, и появилась Анна, державшая под руку смущенную ткачиху.

— Слушай, Василий Андреевич,— заговорила она прямо с порога.— Вот мы тут бьемся, как людей согреть. А она, представь себе, этот вопрос решила.— И, поднимая кирпич, завернутый в тряпку, секретарь парткома победоносно произнесла: — «Грелка Нефедовой» — техника на грани фантастики.

Только когда все находившиеся в кабинете с удивлением уставились на закоптелый кирпич, Анна заметила, что это не свой, фабричный народ, а какие-то незнакомые, даже и не местные люди.

— Познакомьтесь, это наш секретарь парткома товарищ Калинина,— сдержанно рекомендовал Слесарев, явно не одобрявший столь бесцеремонного вторжения Анны в деловой разговор.— А это вот товарищи из наркомата... Они привезли нам проект восстановления фабрики и, видишь, даже макет.

На двух чертежных столах, составленных рядом, была раскинута группа крохотных зданий. Среди них нетрудно было отличить сохранившиеся цехи. Но какими они, даже новый цех автоматов, казались незначительными рядом с комплексом будущих сооружений, который, вписав их в себя, выходил далеко за современную фабричную терри-

торию! Все они были из бетона и стекла. Рука модельера для большей наглядности обрамила здания крохотными деревцами, разбила перед ними цветники. Секретарь парткома и ткачиха, как увидели все это, так и застыли, позабыв о цели прихода.

— Хорошо? — спросил Слесарев, пощелкивая резинками своих сатиновых нарукавников. Даже он, этот уравновешенный человек, казался взволнованным.

— Это такой наша фабрика будет? — шепотом спросила Нефедова, у которой даже губы задрожали.

— Вам нравится? — поинтересовался старший из гостей — высокий, сутулый старик с клочковатой, стоявшей торчком бородкой.

Все время с опаской глядя на кирпич, который, рассматривая макет, Анна прижимала к себе, как сумочку, он явно опасался, как бы тот, выскользнув из рук, не упал на все эти с ювелирной тщательностью воспроизведенные зданьица. Потом с тем немножко сумасшедшим выражением лица, с каким старые поэты читают свои стихи, он принялся пояснять план размещения оборудования, раздевалок, умывален, Красных уголков. Все было задумано с размахом, по последнему слову техники: много солнца, воздуха, света.

— Красавица,— шептала Нефедова, глядя на макет, а Анна в свою очередь пытливо смотрела на взволнованное лицо ткачихи.

Вдруг, возбужденно взмахнув кирпичом, она воскликнула:

— Вот что, товарищи, все это надо народу показать! Давайте выставим где-нибудь на видном месте, где смена идет... Пусть люди в свой завтрашний день глядят-радуются.

— Всегда ты, Калинина, торопишься. Начальство еще не приняло, а ты — народу показать,— недовольно проворчал Слесарев, не одобрявший этой всегдашней горячности секретаря парткома.— Нарком же еще не утвердил, это, так сказать, эскиз. Еще изменения будут.

Но Анну трудно было переубедить. По тому, как сияли глаза Нефедовой, она угадывала, как радостно будет людям увидеть воочию этот кусочек будущего. Немец у Ржавы. Его бомбардировщики долетают до фабрики за двадцать минут. Совсем рядом идут бои огромного напряжения. У самого мужественного и то иной раз екает сердце: а вдруг гитлеровцы вернутся? А тут вот оно, завтра.

о нем думают, его планируют, оно уже входит в сегодняшний трудный день.

— Ну и что, что не утвержден... Мы этого и говорить не будем. Мы этот макет людям на обсуждение вынесем. Для них фабрику строят... Ведь это можно, да? — И Анна с самой очаровательной из своих улыбок подошла к проектанту с клочковатой бородкой и даже нежно разгладила ему лацкан пиджака.— Такая прелесть... Покажем народу, а?

— А почему же, почему же? Прекрасная мысль,— согласился старый архитектор, невольно улыбаясь в ответ.— Это, конечно, обычно не делается... Но, опираясь на столь авторитетное пожелание местных организаций, я попробую добыть разрешение... Это будет даже оригинально. Массовое обсуждение проекта восстановления фабрики... Это может встретить поддержку печати...

— И еще как поддержат, ручаюсь,— все больше загоралась Анна.— И какое тут «восстановление»! К пуговице штаны пришиваются. И это, подумать только, где? На неостывшем пожарище!.. Нет, нет, вы там наркома убедите. Уверена, что разрешит...

— Товарищ Калинина, торжественно обещаю. Я даже, знаете... А что, это тоже было бы оригинально, я вместе со своими сотрудниками сделаю рабочим доклад о проекте,— сам развивал идею гость. И вдруг спросил: — Только объясните, ради бога, какие таинственные свойства заключены в кирпиче, который вы держите?

Анна переглянулась с Нефедовой, и обе рассмеялись: такой чудно́й выглядела эта затея рядом с макетом фабрики, воплощавшей последние достижения техники.

— Ладно, поясню.— И Анна совершенно серьезно потребовала: — Только дайте слово, что ни там, у себя в институте, ни в наркомате об этом ни гугу... Там ведь у вас, наверное, хорошо топят, а раз людям тепло, они этого не поймут...

Через несколько дней к печам-времянкам были приделаны специальные противни для быстрого, ровного нагрева кирпичей, а в центре нового Красного уголка, оборудованного в пустовавшем помещении браковочной, на столе разместили роскошный макет новой фабрики. То и другое было осуществлено одновременно. Люди, толпившиеся вокруг макета, благоговейно, с верой, с хозяйской радостью смотрели на него, как бы заглядывая из труд-

ного сегодня, из цехов с заиндевевшими углами, где, работая, приходилось класть под ватник нагретый кирпич, в прекрасное завтра, к которому стремились сердца. Анна же из всего этого сделала для себя вывод: партийному работнику мало знать людей, нужно уметь слушать их, нужно в массе разговоров, бесед, споров, советов, начинаний, которыми у секретаря парткома богат каждый день, отбирать крупицы народной мудрости, едва порой заметные зернышки полезных начинаний, которые со временем могут дать всходы.

Словом, новое дело начинало увлекать Анну. И единственным, что мешало ей отдаться ему целиком, что постоянно отвлекало ее, была тягостная, все углублявшаяся неясность отношений с мужем.

После долгого молчания Георгий Узоров прислал наконец письмо. Анна жадно забегала глазами по строчкам, спеша схватить самое важное: «...все время в наступлении, ушли далеко на запад. Занят по горло, не до переписки...», «Почему не написала, не сохранилось ли что из нашего имущества и, если сохранилось, что именно. Мне, как ты понимаешь, все это дорого не как материальные ценности, а как память о нашем погибшем гнезде и о бедной маме, со смертью которой я никак не могу смириться...», «...рад, что вы хорошо устроились...», «...присвоено звание военного инженера второго ранга, что соответствует армейскому званию майора», «...хочется посмотреть детишек». Ага, вот оно! И со страхом Анна дважды перечла строки: «О многом мне нужно с тобой поговорить, Анна. Но это не для письма. Ожидаем, что после очередной передислокации наша часть окажется ближе к городу. Тогда я заеду и все расскажу. Ты человек разумный, мужественный, и я уверен, ты меня поймешь. А пока не волнуйся, не думай ни о чем, береги детей и себя».

Береги детей и себя! Может быть, раньше Анну и не очень огорчило бы это письмо. Но сейчас оно заставило ее насторожиться. Партийная работа делала ее чуткой, она научила, слушая, что человек говорил, угадывать, что он думает. И, перечитывая каждое письмо, Анна почувствовала: идет беда. Почему, откуда, какая беда, она еще не знала, но просто физически ощутила ее приближение.

С письмом в руке подошла к портрету мужа. Молодцеватый офицер инженерных войск, весь затянутый в походные ремни, браво смотрел с увеличенной фотографии.

Анна долго вглядывалась в это лицо, потом спросила вслух сурово и требовательно:

— О чем ты будешь со мной говорить, ну? Что там у тебя? Зачем ты меня мучаешь?

25

В один из зимних вечеров, когда, по обычаю тех дней, усталые люди рано завалились спать и коридоры двадцать второго общежития затихли, в комнате Калининых еще горел свет.

На столе, возле затененной лампочки, лежал лист бумаги, аккуратно вырванный из тетради. Вот над ним послышался вздох. Маленькая пухлая ручка разгладила его. Потом видавшее виды школьное перо окунулось в пузырек из-под лекарства, с конца его сняли приставший волосок, и оно неторопливо двинулось в путь, по-школьному приставляя одну букву к другой. Круглым, четким почерком, каким пишут заявления, оно вывело: «Дорогой защитник родины, славный боец Красной Армии, товарищ старший сержант Лебедев Илья!» Написав это, перо остановилось, споткнувшись о восклицательный знак, и, приподнявшись, застыло, будто спрашивая того, кто держал его в перепачканных чернилами пальцах: ну, а что мы будем писать дальше?

Беда была в том, что Галка Мюллер этого и сама не знала. Она никогда не писала писем представителям мужского пола, если, конечно, не считать коротких записок мальчишкам-одноклассникам с просьбой наточить коньки или поделиться опытом решения какой-нибудь каверзной задачки. А тут предстояло соорудить послание в действующую армию, некоему полковому разведчику, человеку, как в том Галка была убеждена, героическому. Письмо же, по ее замыслу, должно быть серьезным, в меру ласковым, но не содержать в себе ничего такого, что дало бы разведчику Лебедеву возможность зазнаться и вообразить невесть что.

Дело осложнялось тем, что корреспондент никогда не видел адресата и заочное знакомство их, состоявшееся совсем недавно, казалось Галке предопределенным, разумеется, не богом, какие уж теперь боги, но самой Судьбой. Судьбой с большой буквы.

Под Новый год ткачихи «Большевички» решили послать бойцам и офицерам действующей армии подарки.

Казалось, до подарков ли тут, когда большинство семей в дни оккупации растеряло пожитки и сейчас городские власти предпринимали невероятные усилия, чтобы обеспечить людей хотя бы самым необходимым! И все-таки комната с застекленными стенами, где теперь теснились партком, фабком и комитет комсомола, была вся загромождена ящичками, узелками, тючками.

Чего тут только не было: кисеты, сшитые девушками из старых шелковых кофточек с выведенными на них инициалами, узорами, пожеланиями счастья; шарфы и носки, перевязанные из платков и шалей; пухлые, на вате, варежки; папиросы, сэкономленные из пайков и в обычное время служившие у некурящих твердой валютой для обмена на рынке на молоко и картошку... Среди этих богатств лежали подарки от семьи Калининых. Каждый сделал что мог. Степан Михайлович смастерил из валявшегося всюду трофейного барахла несколько зажигалок и на всех выгравировал: «Рази врага!» Варвара Алексеевна распустила старую шерстяную кофту и, сев за спицы, связала носки. Девушки из той же шерсти связали по паре перчаток. В большой палец одной из них романтическая Галка сунула тайком коротенькую записочку, в которой поздравляла неизвестного ей советского воина с Новым годом и желала ему поскорее и начисто разбить проклятых гитлеровцев: «Пусть греют твои руки эти мои перчатки. Носи их на здоровье и вспоминай неизвестную тебе труженицу тыла Галину Мюллер».

Адреса Галка не написала. Но воин, которому достались перчатки, оказался человеком предприимчивым. И вот Нефедова, только что избранная председателем фабкома, вручила Галке ответ. Старший сержант Илья Лебедев благодарил за перчатки. Всячески превознося их достоинство, он заявлял, что для фронта сойдут и меховые рукавицы, каковые у него имеются. Перчатки же он положил на дно своего «сидора» и будет всегда хранить как дорогую память о неизвестной ему славной труженице тыла Галине. В самых энергичных выражениях старший сержант заверял эту труженицу, что вместе с доблестной Красной Армией будет он неустанно разить гитлеровцев до полного разгрома, и призывал товарища Галину столь же беззаветно отдавать свой драгоценный труд на общее дело, а также крепить связь тыла с фронтом. Он намекал, что в осуществление этой последней задачи не худо бы было, если бы товарищ Галина написала ему по прилагае-

мому адресу письмо, желательно с фотографией, сообщила бы, сколько ей лет, замужем она или нет и вообще как ей живется на белом свете.

И письмо, и автор, и сам его замысел Галке страшно понравились. Чтобы не канителиться с фотоателье, она отлепила карточку от членского билета спортивного общества «Красное знамя» и теперь уселась за ответ. Но если бы вы знали, как трудно написать достойный ответ молодому человеку! Только когда бойко щелкавшие ходики уперлись толстой стрелкой в цифру два, под столом топорщились многочисленные комки смятой бумаги, а от тетрадки осталась только обложка, с которой на Галку насмешливо посматривал толстый баснописец И. А. Крылов, был создан вариант, показавшийся взыскательному автору удовлетворительным. Все еще ощущая состояние творческого подъема, Галка соскользнула со стула и подошла к кровати сестры.

— Белка, Белка,— заговорщическим шепотом позвала девушка, мучимая желанием поскорее прочесть свое творение,— ты уже спишь?

Голос Жени, совсем не сонный, ответил:

— Нет, не сплю.

— А уж чего же ты не спишь? Сейчас же поздно! — удивилась Галка, заметив, что Женя лежит на спине, закинув за голову руки со сплетенными пальцами, а глаза ее, тонувшие в темных, запавших глазницах, широко раскрыты.— Слушай, слушай, я сейчас тебе прочту. Ну, там, «дорогой защитник родины» и прочее, это уж не важно, а вот: «...Письмо я ваше получила, чем была очень обрадована, и спасибо вам от всего моего комсомольского сердца, товарищ Лебедев Илья. Правильно пишете вы, что мы должны трудом своим крепить оборону. Я со своей стороны крепщо, и потому кончать ФЗУ я в этом году не пошла, а поступила на фабрику, и выучилась па ткачиху, и теперь самостоятельно работаю пока что на трех станках системы завода имени Карла Маркса, и нормы свои перевыполняю. В цехе у нас холодно, а по утрам даже снег, и пальцы цепенеют, но все это ничего, потому что вам там, на фронте, еще холоднее, и мы стараемся, чтобы больше наткать для вас материала и, в частности, кальсонного товару, который тку лично я для наших советских воинов».

Галка сделала паузу и вопросительно посмотрела на сестру.

— Как? Тут насчет кальсонного товару ничего? Или, может быть, «кальсонный» вычеркнуть?

Женя по-прежнему смотрела в потолок. И если бы Галка не была так поглощена своим произведением, она при всей своей наивной жизнерадостности обязательно заметила бы, как странно сверкают глаза сестры, потемневшие, округлившиеся, кажущиеся огромными. Но она была полна своим письмом и, не дождавшись ответа, решила, что сомнительное слово сестру не коробит.

— Ладно, оставим «кальсонный». Ну, тут я о том о сем. Чепуха. А вот важное: «Вы правильно пишете, что дело не в полученных вами перчатках, а в том, что нам надо крепить единство фронта и тыла. Предложение ваше переписываться я принимаю и обещаю отвечать вам аккуратно». Ничего, не навязчиво? Я тут подчеркиваю, «отвечать», чтобы он там не воображал... Ну, тут дальше я о себе, это уж чепуха, а вот о тебе, Белка: «...А сестра моя Женя во время оккупации была тоже героической разведчицей, несколько раз даже переходила фронт и была при том ранена сразу двумя фашистскими пулями в левую ногу навылет, но отважно все это перенесла и теперь поправляется». Ну, Белка, уж как? А? Что ты все молчишь?

Женя лежала в той же позе, но, взглянув ей в лицо попристальней, Галка увидела, как два прозрачных озерца образовались меж длинных пушистых ресниц. Бледные, тонко очерченные губы сестры подобрались и судорожно вздрагивали. Бросив письмо, Галка кинулась к сестре:

— Белочка, ну уж, что ты, ну скажи хоть словечко.

— Тише, не буди стариков...

Испуганная Галка теребила, тормошила сестру. Та бессильно, как тряпичная кукла, моталась в ее руках. Только губы сжимались все плотнее да прозрачная капля, пробежав по лицу, запуталась в белокурых прядях.

— Ну, скажи что-нибудь, а то я сейчас сама зареву,— пригрозила Галка.

Бледные губы, разомкнувшись, чуть слышно прошептали:

— Сил нет.— Подбородок съежился, губы продолжали кривиться, но в какое-то мгновение девушке все-таки удалось подавить рыдание.— Не могу, не хочу...

— Да что ты, что с тобой? — жарко шептала Галка, обнимая податливое, какое-то безжизненное тело сестры.

С тех пор, как мать, идя в свою больницу, отводила

Галку по пути в детские ясли, та привыкла, что всегда рядом есть люди, которые ей посочувствуют, дадут совет, помогут пережить любую напасть. Так было и когда Галка стала пионеркой, так было и теперь, когда в кармане у нее лежал комсомольский билет. Вся эта романтическая история с немцем безумно интересовала девушку. Ведь это ж подумать надо — комсомолец в гитлеровской армии! Прямо как в кино. Здравый Галкин разум с гневом отметал сплетни, кипевшие вокруг сестры. Связь с врагом в военное время! Шутка ли! Да если бы что-нибудь было, не посмотрели бы ни на революционные заслуги бабки, ни на то, что мать на фронте, посадили бы как миленькую. А нет вины, чего переживать, мучиться, копаться в себе?

Жарким, захлебывающимся шепотом обрушивала Галка на сестру все эти такие неоспоримые для нее самой доводы:

— Ну, Белочка, ну, миленькая, ты все дядю Арсю вспоминаешь. Так уж разве можно на него обижаться? Вон дед говорит: что уж с малого, то и с пьяного.

— Юнона...— сказала наконец Женя.— Я сегодня вышла погулять... И вот там, где клуб был, навстречу она с какими-то парнями. И она, она...— подбородок Жени снова начал съеживаться, губы совсем сломались,— она смотрит на меня и делает вид, что не видит. Она теперь секретарь комсомола... в прядильной... Ей... меня... стыдно...

— Ну уж, подумаешь, нашла на кого обижаться! Статуя. По материнскому хвосту уж вверх лезет... Ох, уж мне б ее увидеть! — грозно сказала Галка.

Женя не слушала. Ей снова удалось проглотить рыдание, но ноздри тонкого, с горбинкой носа так и раздувались.

— Ты вот сержанту своему про меня написала. Вычеркни. Сейчас же вычеркни... С твоей сестрой стыдятся здороваться... Ах, как противно стало жить!..

За розовой занавеской давно прервался храп Степана Михайловича и сонное дыхание Варвары Алексеевны. Оттуда доносились короткие вздохи. Но когда Женя выкрикнула эти последние слова, послышался стук босых ног об пол. В распахе занавеса возникла Варвара Алексеевна, маленькая, худенькая, с взлохмаченными со сна короткими волосами. Она подошла к внучке. Узкие глаза, глаза-угли, казалось, светились.

— Ты что это, девчонка, мелешь! Жить ей противно...

Миллионы под оккупацией живут, скольких в эту проклятую гитлерию угнали, а ей дома противно.

Степан Михайлович набросил жене на плечи пальто и хотел было легонько отодвинуть ее от внучки, но Варвара Алексеевна оттолкнула его.

— Уйди, философ... А ты, милая, не жди, что тебя жалеть будут.

Женя со страхом смотрела на бабушку.

— Мать, думай, что говоришь,— предупредил Степан Михайлович.

— Потому сейчас и говорю, что все думано-передумано: народ психов не любит. Нет за тобой вины — спорь, убеждай людей, свое отстаивай. Веришь в этого своего немца — верь и доказывай, кто он такой... Нежные больно выросли. Чуть ветерком пахнуло — сейчас же: кхе, кхе, кхе... Жить ей противно! Кормили вас с ложки манной кашей, так вот как пожестче что в рот попадает, зубы-то и крошатся.

Присев на кровать, Варвара Алексеевна положила внучке на лоб маленькую с шершавой ладонью руку.

— Знаю, каково тебе... Так ведь, внученька, слезой-то и пятнышка с кофты не смоешь. В жизни всяко бывает, но в одно ты верь: правда всегда верх возьмет. Такая у нас страна. Только бороться за нее, за правду, надо, а борясь, наперед всего самой надо верить.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Ксения Степановна Шаповалова не жалела, что вернулась на свою фабрику.

Правда, понятие «фабрика» было теперь больше географическим. Выйдя на следующий день на работу, знаменитая прядильщица увидела перед собой бесформенные руины, в которых только по закопченным осколкам стен можно было угадать былые контуры огромного корпуса, где перед войной работали тысячи людей. Чудом сохранились лишь все пять этажей боковой пристройки, или, как тут говорили, приделка. И на него, на этот уцелевший приделок, и были направлены все усилия и надежды. Об оборудовании заботиться не приходилось. Незадолго до эвакуации города новейшие машины были демонтированы и упакованы в ящики. Из-за перегрузки транспорта в те трагические дни они так и остались стоять во дворе. Оккупанты в городе обжиться не успели. Инженер Владиславлев, разумеется, указал им на эти ценности, но гитлеровцы лишь расставили возле ящиков угрожающие таблички: «Стой! Назад! Зона военных складов!», «Собственность немецкого командования. За расхищение и порчу смерть!», «Подходить запрещено!». Теперь прядильщики выкапывали из-под снега этот бесценный для них клад, по частям переносили машины в сохранившуюся часть здания, перетирали и начинали монтировать на новом месте.

Ксения Степановна пришла в разгар работы. Прядильщицы встретили именитую подругу радостно, с прежним уважением, но, кроме общего для всех дела по переноске, обтирке и монтажу машин, предложить ей было нечего. Не раздумывая, Ксения Степановна получила на складе ватник, стеганые штаны, валенки и, сдав кладовщице на хранение свою одежду, взялась за него с тем же, а может быть, даже и большим увлечением, с каким накануне расставляла дома немногие сохранившиеся вещи. Жилье, где она вчера размещалась, казалось временным: не век тесниться в одной комнате; тут же, в случайно уце-

левшем фабричном приделке, предстояло возродить фабрику, где, вероятно, и доведется проработать до пенсии, а то и до самой смерти.

Домой Ксения Степановна возвращалась затемно. Приходила усталая и, не снимая стеганки и валенок, подолгу сидела неподвижно, приходя в себя, не в силах шелохнуть ни рукой ни ногой. Но постепенно усталость сменялась удовлетворением. И тогда прядильщица с особым удовольствием плескала на себя воду из рукомойника, сооруженного Куровым из артиллерийской гильзы по принципу «здравствуй и прощай», крепко обтиралась полотенцем, подогревала заготовленный с вечера незатейливый обед и, вздремнув с часок, поднималась довольная прожитым днем, бодрая, деятельная, готовая всем помогать.

Юнона Шаповалова тоже нашла свое место. Руководящих комсомольских кадров всюду недоставало. Ей сразу же предложили выбор: или ее назначат инструктором райкома комсомола, каким она была в Иванове, или рекомендуют на пост секретаря комсомольского комитета фабрики, где перед войной работала вся их семья. Юнона предпочла, как она выразилась, «низовую работу»: там сама фамилия Шаповалова будет помогать ей. Ее избрали секретарем комитета, и она с головой ушла в комсомольские дела.

Вернувшись поздно, полная впечатлений, она усаживалась за стол и с набитым ртом советовалась с матерью о том, как ловчее, раньше других комсомольских секретарей «провернуть» какое-нибудь интересное дело, на что-нибудь откликнуться, «мобилизнуть» комсомольцев, рассказывала, как их организацию хвалили в райкоме и какую заметку собираются тиснуть о них в газете «Смена». Отдыхая, прядильщица любовалась дочкой, радовалась ее успехам, восхищалась ее энергией. То, что у Юноны так все хорошо ладилось, даже как-то смягчало постоянную тревожную озабоченность Ксении Степановны о муже и о сыне Марате, воевавших на разных фронтах.

Пусть ей, Ксении Шаповаловой, нелегко, пусть от непривычной работы пухнут ее руки, покрывшиеся ссадинами, трещинами и болячками. Пусть уж она сама не досыта пообедает или ляжет спать, выпив на ночь лишь кружку чаю с куском хлеба, но ее умная, красивая девочка, которой все любуются, должна быть сыта и хорошо одета. В своей безмерной материнской самоотверженности Ксения Степановна незаметно взвалила на себя

все домашние заботы. И она искренне не понимала сестру, которая без стеснения привлекала своих совсем еще маленьких ребят к домашним делам. Ей не нравилось, что Лена ведает у Анны карточками, следит за тем, что «выбросили» на прилавок, чем «отоваривают» тот или другой талон, и по пути из школы стоит в очередях. А то, что маленький Вовка, забрав авоську, каждый день отправляется за хлебом, а потом собирает на кладбищах трофейных машин доски и щепки на растопку печей, даже пугало добрую женщину: а вдруг попадет под машину, вдруг наткнется на неразряженную мину, вдруг... Да мало ли что может случиться с мальчиком!

И когда однажды Анна упрекнула Юнону за то, что та не помогает своей уже немолодой, усталой матери, Ксения Степановна сурово одернула сестру:

— Пусть живут, радуются, кастрюлями погреметь еще успеют.

Анна ничего не ответила. Старшая сестра пользовалась в семье Калининых уважением, и с ней обычно не спорили.

2

Утром к Анне в партком залетела Галка. На ней был все тот же старый лыжный костюм и валенки, которые выдали недавно всем, кто работал в холодных помещениях. Для нее выбрали комплект самого малого размера, но и он оказался непомерно велик, и хотя Степан Михайлович порядочно потрудился, утачивая и ушивая его, девушка выглядела в этом обмундировании как кот в сапогах.

Галка была в полнейшем смятении. Круглое, курносое лицо, отражавшее все движения ее кипучей души, на этот раз было таким тревожным и растерянным, что Анна, прервав беседу с двумя коммунистами, тотчас же вышла вслед за ней.

— Что стряслось?

— Белка пропала.

— Как пропала? Что ты мелешь?

— А уж так. Ушла вчера, когда мы на работе были, и не вернулась. Мы всю ночь свет не гасили, а она не пришла. Дед обещал уж с работы отпроситься, по Тьме походить.

Анна почувствовала, как у нее подкашиваются ноги.

— А зачем ходить по речке?

— Боится, не утопилась ли. Все говорила последнее время — жить не хочет. Бабушка уж на нее шумела, а она все свое: не могу жить — и баста.

— А бабушка где?

— Работает... Она аж почернела вся, как жук какой. Молчит, что каменная... Уж я, пожалуй, пойду.

Галка исчезла. Анна вернулась в партком, закончила беседу и принялась за свои обычные дела, но весть, сообщенная племянницей, не выходила из головы. В памяти почему-то вертелся мотив дореволюционной фабричной песни, которую в былые времена певали усталыми голосами ткачихи, расходясь после традиционного гулянья в Малой роще в праздник жен-мироносиц:

Вот вечер вечереет,
Все с фабрики идут,
Маруся отравилась,
В больницу повезут...

Песня была глупая, молодежь и тогда брезговала ею. Но теперь она с назойливостью комара жужжала в голове Анны, отвлекая от дел... Нет, при чем тут Тьма? С чего они взяли, что Женя утопилась? Ну, ушла и ушла. Может, заночевала у подруги, может быть...

Не дождавшись перерыва, Анна пошла в цех. Варвара Алексеевна с обычным своим сосредоточенным видом, разве что еще больше, чем всегда, подобранная, ходила вдоль рядка станков, на которых обучались девушки-подростки. Если Галка в перешитой дедом одежде и огромных валенках напоминала пушистого кота в сапогах, эти смахивали на неуклюжих гусят, которые с трудом поспевают за выведшей их маленькой курицей, переваливаясь с боку на бок. Сухонькая старушка напоминала такую курицу. Варвара Алексеевна как раз показывала одной из питомиц, как заводить нить. Искоса взглянув на дочь, она продолжала свое дело. Только кончив его, распрямилась, сняла очки и, не здороваясь, сказала Анне:

— Бюрократка ты, секретарь партбюро...

— Это за что же так? — тихо спросила Анна.

— А за то, что большевики фабрики тебе души человеческие вверили, а ты одну такую душу прохлопала.

— Да расскажите, мамаша, толком, как все это...

— Раньше надо было интересоваться,— прервала Анну старуха и, отворачиваясь от нее, добавила: — Фиговый из тебя секретарь...

А потом отошла к своим ученицам, всем видом показывая дочери, что не желает продолжать разговор...

Жизнь шла своим чередом. В перерыв Анна потолковала с агитаторами, проверила, как готовятся к встрече с проектировщиками новой фабрики, посидела на бюро цеховой организации приготовительного отдела. Все это она проделывала как-то машинально. Работа не радовала. В голове зудел все тот же назойливый комар:

...В больницу привозили
И клали на кровать,
Два доктора, сестрицы
Старались жизнь спасать...

Не вытерпев, Анна принялась звонить в «Скорую помощь», в фабричную амбулаторию, в милицию, даже в морг. О белокурой двадцатидвухлетней девушке по фамилии Мюллер нигде ничего не знали.

Тогда Анна позвонила в новый военный госпиталь, организованный в помещении бывшей фабричной поликлиники. Ответил ей сам начальник Владим Владимыч, с которым она была давно знакома. Узнав, по какому случаю его беспокоят, старик произнес такое, что у Анны щеки пошли румянцем. Но уж таков был Владим Владимыч. Всех на фабрике он знал, всех лечил с детства, с юности. На его глазах люди росли, становились ткачихами, прядильщицами, красковарами, раклистами, уходили учиться в техникумы и институты, возвращались на свои фабрики механиками, инженерами, технологами, колористами. Но для него они навсегда оставались Мишками, Борьками, Нюшками. Когда эти Мишки, Борьки, Нюшки выдвигались в фабричное, городское и даже областное начальство, он со всеми оставался на прежней ноге, ко всем обращался на «ты», и они по-прежнему прощали ему соленые словечки, которые в разговоре он не имел обыкновения экономить...

— ...А куда вы там глядите, начальнички, если девки у вас топиться бегают?.. Впрочем, не верю. Чушь,— гудело в трубке. И вдруг сердитый голос изменил тон: — Вот что, Анка, снаряди-ка ты своих ткачих ко мне в госпиталь, меня ранеными по самую маковку завалили. На сестру — пятьдесят душ. Помогли бы персоналу... Верно, Анка, обмозгуй-ка насчет шефства. Доброе, полезное дело, и о проруби и других глупостях некогда думать будет... Так жду, помни.

Опустив трубку, Анна задумалась. Мозг, привыкший схватывать все новое, что возникало даже случайно, тотчас подхватил оброненную старым врачом мысль. Шефство над военным госпиталем! И как это раньше не пришло ей в голову! Война никого не обошла. У каждой на фронте муж, сын, брат, о которых беспокоятся, тоскуют. Время меряют от письма до письма. То и дело слышишь: «Это когда от Феди треугольничек последний был...» Столько женской заботы, теплоты, ласки, не имеющих выхода и приложения, накопилось в сердцах! Как все откликнулись на призыв собирать новогодние подарки! На последнем кусочке пайкового комбижира коржики пекли. Собственные кофты распускали и вязали варежки, перчатки... А тут — раненые бойцы, быть может, боевые товарищи тех близких, что на фронте.

Увлеченная идеей, Анна поговорила со Слесаревым, с новым председателем фабкома Настасьей Зиновьевной Нефедовой, с комсомольцами. Все ее поддержали. Слесарев выразил, правда, опасение, не тяжело ли будет после такой напряженной работы ходить по госпиталям, не отразилось бы это на производительности, но все-таки согласился и даже подал несколько хороших мыслей,— словом, дело было на мази. Анна тут же стала набрасывать проект шефского договора.

Но Женя не выходила из головы. И тревога о племяннице как-то сама собой облеклась в слова старой шарманочной песенки:

...Спасайте не спасайте —
Мне жизнь не дорога.
Я милого любила,
Такого подлеца...

Как же так, неужели действительно прозевали? И мать, как всегда, права, именно она, Анна, за все в ответе. И не как тетка, а как секретарь парткома. «Эх, разрываешься на части и всегда что-нибудь упустишь!» — подумала было она, но тут же сама отвергла это обычное, всеобъемлющее оправдание. Наоборот, она вспомнила, что мать, сестра и даже посторонние люди не раз рассказывали ей, как страдает самолюбивая девушка, просили вмешаться, помочь. А Анна тянула, откладывала, ожидая, пока все выяснится. «Да, ты, ты в ответе,— жестко укоряла она себя,— ты боялась, что скажут: заступается за

свою, прикрывает племянницу... А что, если та действительно бросилась в воду? Нет, надо что-то предпринимать».

Анна позвонила Северьянову. Рассказывая, она видела перед собой белесые насмешливые глаза, иронически оттопыренную губу. Так и есть, вот зазвучал мальчишеский голос:

— Ты, Анна Степановна, рассказываешь мне о том, что я и без тебя знаю... Лучше скажи, почему ты об этом речь завела, когда Мюллер уже пропала?

— Делать-то, делать-то что?

Должно быть услышав настоящую тоску, Северьянов сразу переменил тон:

— О племяннице твоей наводил уже справки. Но это разговор не для телефона... Ты вот что — о стариках подумай. Им-то это как кирпич на голову... Если что узнаешь — звони, и я позвоню. Лады?

С фабрики Анна вышла вместе со сменой. Широкий людской поток, выплеснувшись в дверь проходной, делился на рукава, а те в свою очередь ручейками растекались по фабричному двору и окрестным улицам. Как раньше хорошо бывало идти вот так домой, ощущая, как на вольном воздухе, под ясными, зыбкими звездами тело постепенно освобождается от усталости; идти, мечтая о встрече с детишками, о холодной воде рукомойника, обеде, отдыхе! Морозный воздух промывал легкие, после грохота слух отдыхал в тишине.

Но увы, теперь Анна уже не ткачиха и не мастер по ремонту! Ее работа с гудком не оканчивается. Редко она возвращается одна. Вот и сейчас несколько работниц, окружив ее, наперебой толкуют о своих делах, заботах; они так и идут за ней тесной стайкой, то и дело восклицая: «Анна Степановна! Аннушка! Нюша!..», «Ребенок заболел, золотуха, определить бы на усиленное питание...», «С квартирой плохо. Домá порушили, вот и воткнулись три семьи в одну комнату, полатей понастроили, живем в три этажа — теснее, чем в вагоне, под утро в воздухе хоть топор вешай. Хозотдел спальни ремонтирует, нельзя ли слово замолвить, чтобы комнату дали?..», «Муж с фронта давно не пишет, ведь свой, фабричный, известный человек. Написала бы ты как секретарь парткома комиссару части, пусть пристыдит». Все это не партийные дела. С ними бы обращаться к директору, в фабком к Нефедовой. Нет, и все-таки это тоже дела партийные. Можно ли

мимо них проходить? Не забыть бы фамилий, а с директором, с хозотделом, с фабкомом самой надо говорить, и комиссару надо написать самой. Так делал Ветров. За то его народ любил, помнит, чтит...

— Ты принеси завтра в партком адрес полевой почты, вместе и напишем комиссару...

И опять: «Анна Степановна! Аннушка! Нюша!..», «В совинформбюровских сводках сообщают, что наши опять прорвали оборону противника, взяли трофеи. Стало быть, опять пошли вперед?..», «А немцы листовки бросают, грозят каким-то новым оружием. Правда или брехня?». И потихоньку на ухо: «Мой-то на молоденьких девчонок из ФЗО заглядывает, щиплет их, просто срамота. Седина в бороду, а бес в ребро! Урезонила бы...», «Неизвестно, что будут давать по промтоварным талонам? Или пропадут они, как в прошлом месяце?», «А как насчет второго фронта, долго будут там наши союзники зады чесать?». И на все надо ответ дать — это тоже партийные дела... А у самой детишки дома, неведомо, поели ли они, у самой в голове противный мотив песенки про отравившуюся Марусю, у самой в семье большая беда. И верно, должно быть, не ходит беда одна: сначала Мария с детишками, теперь Женя... Да нет же, нет, не может этого быть...

Так и дошла Анна до дверей общежития, толкуя с работницами. В комнате было темно. Голос отца спросил:

— Ты, Нюша?

Анна щелкнула выключателем. В шлепанцах, в расстегнутой ночной рубахе, в распахе которой виднелась старческая, но еще могучая грудь, курчавившаяся медными волосами, Степан Михайлович сидел у стола, уронив голову на руки. К столу были привернуты тисочки, в них зажата пустая гильза. Должно быть, мастерилась зажигалка. Но ни до тисков, ни до инструмента старик, по-видимому, в этот день не притронулся.

— ...Я сегодня всю Тьму, от Главных ворот до самой электростанции, по берегам обшарил... Немца убитого в снегу отыскал — осколком ему полчерепа снесло. Выволок, сообщил в милицию...

— О Жене-то что?

— Ничего... Снег ночью не шел, заметно было бы, если бы кто к прорубям или к полыньям подходил,— нигде ни следка.

— Да с чего ты взял, что она утопилась?

— Эх, Нюша, у дурных вестей ноги длинные. Вот рассуди!..

Степан Михайлович пересказал дочери разговор, подслушанный в ночь, когда писалось послание старшему сержанту Лебедеву. На следующий день Женя, ссылаясь на головную боль, отказалась завтракать. Сидела молча на кровати, не отвечала на вопросы и даже заговаривала шепотом сама с собой. А тут пришло письмо от Татьяны — та требовала, чтобы ей наконец написали откровенно, что случилось с дочерью. Женя еще больше разнервничалась и, может быть, сгоряча крикнула: «Чем ходить в предателях, лучше в Тьму головой!»

Анна сопоставляла факты.

— А что-нибудь с собой взяла?

— Глядели. Все будто на месте. Только душегрейки да рукавичек меховых не хватает, и вместо бот валенки обула. Но ведь не дивно — мороз... И еще вот это,— старик бросил на стол два письма на немецком языке,— бабка нашла. Может быть, позабыла она их, а может, нарочно оставила. А от нее ни строки... Карточка еще где-то у нее была — ту не нашли...

Анна схватила неровно исписанные листки. Почерк был четкий, но слова не дописаны, бумага кое-где закапана стеарином. Что в них? Почему Женя их оставила? Для кого? Может быть, в них объяснение всему? Но Анна не знала по-немецки и могла лишь установить даты: «8 декабря» и «11 декабря». Это были последние дни оккупации.

— А Галка разве по-немецки не читает?

— Откуда? Она крохой была, когда кулаки Рудю подстрелили.

Анна задумчиво держала в руках листки, от которых, может быть, зависели жизнь, честь и доброе имя человека. Что в них?

Вернулись Варвара Алексеевна с Галкой, облепленные густым, крупным снегом. Не раздеваясь, Галка бросилась к тетке. Варвара Алексеевна отряхивалась слишком долго, слишком тщательно, будто снимала каждую снежинку в отдельности. Старик, пуще всего не любивший в семье ссор и даже просто натянутых отношений, не вытерпел:

— Да поздоровайтесь же вы, мать с дочкой!

— Виделись,— сказала Варвара Алексеевна и тоже повертела в руках письма.— Вот тут, под сахарницей, лежали... Ну, что тут нам говорит партийный секретарь?

Здесь уже не выдержала Анна:

— Что вы, мамаша, мне секретарство в нос тычете? Просилась я на него? — Но гнева хватило ненадолго, и тут же с тоской вырвалось: — Сказали бы лучше, что вы об этом думаете.

И Варвара Алексеевна произнесла убежденно:

— Думаю — ушла она от нас... Головой в воду — это не для нее. Ушла и сама объявится. Ну, и довольно об этом, раньше думать надо было... Ты бы, старик, чай, что ли, собрал для редкой гостьи.

— Да, да, как же! — засуетился Степан Михайлович.— У меня и кипяток есть... Галка, брось на стол скатерть. Так и быть, настоящим, мирным чаем угощу.— И, разливая чай, старик не унимался: — И верно, Варьяша, что попусту гадать... У древнего царя Соломона на кольце снутри написано было: «Все проходит». И это пройдет. Лишь бы Белка жива была.

— Затрещал, старый,— усмехнулась, глядя на него, Варвара Алексеевна.— Ты, Анна, эти письма снеси куда нужно, пусть прочтут... А на мать не сердись, мать тебе добра хочет. И пейте, все пейте чай, пока горячий, стылый-то чай помои...— И сама она, осторожно налив из чашки в блюдце, откусив крепкими еще зубами крошку сахара, как-то сразу из сурового судьи превратилась в маленькую старушку, любительницу, как говаривали в общежитии, «попарить утробу».

Чаепитие в семье Калининых уважалось, за столом священнодействовали. По субботам неторопливо, под хороший разговор, осушали в былые времена семьей ведерный самовар. Только в войну, когда по общежитиям начали собирать на оборону лом цветных металлов, Степан Михайлович вспомнил, как во время оно Козьма Минин в сходных обстоятельствах предлагал нижегородцам заложить жен и детей. Он лично и отнес старого друга на пункт сдачи, предварительно изуродовав молотком, чтобы самовар не присвоили предприимчивые утильщики. И сейчас вот старик нет-нет да и вздыхал о нем, считая, что в сохранившемся маленьком самоваре кипяток уж не тот. Но выпивал он по-прежнему за один присест не меньше пяти стаканов и по обычаю перед чаепитием клал на колени полотняный рушник — вытирать пот со лба...

Едва успели они в этот раз поднести к губам чашки, как над головами что-то зашуршало, затрещало, и все, как

по команде, подняли глаза вверх: под потолком ожил репродуктор. Звуки оттуда исходили малоприятные, но все заулыбались, будто в комнату вошел хороший человек, по которому все соскучились.

Потом, будто дразня, репродуктор умолк. Все вопросительно переглядывались: померещилось? Только Анна, немало хлопотавшая о восстановлении фабричного узла, знала, что сегодня должна быть проба. Теперь она требовательно смотрела в темную пасть старинного «Рекорда», который разговаривал и пел еще в годы ее юности: что же он молчит? Неужели опять чего-нибудь не хватает? Неужели опять придется идти на поклон к непокладистому командиру связистов?.. Но репродуктор снова ожил. В нем что-то защелкало, и вдруг хриплым, надтреснутым голосом он изрек: «Говорит радиоузел клуба «Текстильщик»... Даем пробу — раз, два, три, четыре, пять, четыре, три, два, раз...»

Анна довольная наблюдала за повеселевшими лицами. «Вы нас слышите?» — спросил голос из рупора, и все, кто сидел за столом, утвердительно закивали головами, а Галка даже тихо ответила: «Слышим уж, слышим...»

В это мгновение другой, звонкий и резкий, голос произнес совсем рядом:

— Здравствуйте. Уснули вы, что ли?

У двери в шинели с зелеными медицинскими петлицами, в форменной шапке, кокетливо надетой слегка набекрень, полыхая с мороза румянцем, стояла Прасковья Калинина. На толстощеком, будто тушью обрызганном родинками лице ее было написано неистовое любопытство. Зеленоватые глаза смотрели весело и нагло.

Отряхнув с шапки снег, сняв шинель, она подошла сначала к Варваре Алексеевне, потом к Степану Михайловичу, подставляя для поцелуя щеку. Сказав: «Ах, Анночка»,— она тряхнула той руку и издали небрежно кивнула Галке.

— Что это вы сидите, будто международная конференция? — сказала она, усаживаясь за стол.— Ух ты, чай, вот это стерильно, вовремя поспела! На улице такой снежище, а тут чай. Прошу вас, мамаша, больше двух кусков сахара не кладите, ужас как не люблю лишнюю сладость... Правда, для людей умственного труда углеводы полезны и необходимы, они питают мозг... Ну, хорошо, три, но не больше.

Последнее замечание об углеводах все пропустили

мимо ушей: в сахарнице оставалось всего несколько кусочков, а до новой выдачи было больше недели.

— Как живешь, Паня? Николай пишет? — спросил дед, с беспокойством ощущая, что с появлением снохи все настрожились.

— Пишет, жив-здоров. Бомбит фашистов... А я что ж, я день и ночь на работе. Раненых так и валят, так и валят. И все тяжелые. Полостные операции, ампутации конечностей, нервные шоки... С ног сбились, Владим Владимыч говорит: «Вы, сестра Калинина, прямо перепетуум-мобиле».

— Оно и видать, какая бледная да похудевшая,— проворчала Варвара Алексеевна, отодвигая сахарницу.

Гостья, не уловив иронии, вышла из-за стола, испуганно глянула в зеркало.

— Что вы, мамаша! Разве можно так пугать... Все говорят, у меня чудесный цвет лица. У нас лежит один инженер-подполковник, немолодой, но видный такой. Он мне сказал: «Вы, сестрица, как маков цвет...» Это, вероятно, потому, что у меня, мамаша, много гемоглобина, а сосуды прилегают близко к кожным покровам.

Зеленые круглые глаза, в которых появилось коварное, как определял дед, «козье» выражение, с деланным удивлением осмотрели комнату.

— А Женечка где же?

Наступило тягостное молчание. Известно было, что рассказать что-нибудь Прасковье Калининой значило даже больше, чем выступить у микрофона по фабричному радиоузлу. О выступлении по радио узнали бы только текстильщики, то же, о чем знала Прасковья Калинина, мгновенно становилось известно всему городу.

— Ты скажи-ка лучше, когда Владим Владимыч у вас в госпитале бывает,— попробовала Анна увести разговор в сторону.— Нужно мне к нему, дело есть.

— Владим Владимыч круглые сутки в госпитале. Так и живет в своем кабинете... А насчет Жени, вы только подумайте, говорят, будто ее посадили. Нет, нет, я-то не верю, но все-таки беспокойно, родственница,— вот и зашла спросить.

Прасковья обводила присутствующих невинным взглядом. Она видела — тихо произнесенные слова ее прозвучали как гром.

Варвару Алексеевну точно молотком по голове ударили. Мгновение она растерянно смотрела вокруг, а потом

закричала тем резким бабьим голосом, каким бранились в старину ткачихи:

— Врешь! Кто это сказал?.. Паскуда он, поганый рот, провокатор!.. И ты, и ты... как ты смеешь мерзкие сплетни разносить! Трепло худое! Балаболка!..

Прасковья невозмутимо прихлебывала чай, лишь искоса и совершенно спокойно косясь глаза на горячившуюся свекровь.

— А я здесь при чем, мамаша? — пожала она плечами.— Чего вы нервничаете? Наоборот, я всем говорю: ничего подобного быть не может. Девушка, можно сказать, «из славной династии Калининых», как газеты вас называют, у нее такая знаменитая бабушка, ее тетка секретарь парткома, как она могла что-нибудь худое допустить!.. Вы уж извините, я себе еще чашечку налью... И где вы чай такой берете? — Она неторопливо нацедила чашку, бросила в нее остаток сахара.— Я-то так говорю, а ведь не слушают... Толкуют, будто она с каким-то немцем из гестапо время проводила. Вот ведь как нехорошо брешут...

Варвара Алексеевна металась по комнате, вышла за занавеску, вновь появилась. Дед сидел неподвижно. Галка, казалось, вот-вот бросится на Прасковью. Но Анна уже овладела собой.

— Пойдем-ка пожалуй, Паня,— сказала она даже ласково.— Поздно уж, мамаше с Галкой надо выспаться перед сменой, а я с тобой кое о чем по дороге посоветуюсь.

— А мне что-то и уходить не хочется,— пела Панька, допивая чай.— В кои-то веки к своим соберешься, а чай такой вкусный. Это только вы, папаша, умеете так заваривать, сплошной теин... Ну ладно, ничего не поделаешь, раз у вас, Анночка, ко мне дело... Будьте здоровы, всего хорошего! — И она опять по очереди подошла к старикам, подставляя свою тугую, круглую щеку, потом, одевшись, взяв Анну под руку, двинулась к выходу, а в дверях громко проговорила: — До чего ж я люблю Колиных родителей! Как родных маму с папой!

Радио, долгожданное радио, ожившее на стене, передавало вечернюю сводку Советского Информбюро. В коридоре у репродукторов толпились люди. Настораживая слух, боясь упустить хоть слово, они прикладывали к уху ладошку раковиной. И, может быть, лишь в одной этой комнате огромного общежития не слушали победного рас-

сказа о продолжающемся наступлении Красной Армии, об освобожденных населенных пунктах, о трофеях и пленных, захваченных у противника войсками Верхневолжского фронта.

3

Арсений Куров, можно сказать, и жил теперь на заводе.

Это предприятие до революции, да и долгое время после нее было лишь огромным механическим цехом комбината «Большевичка» и обслуживало нужды фабрик. Постепенно оно расширялось, набирало сил. Уже строили на нем ткацкие станки, машины для приготовительных отделов и даже сложные аппараты для красильной и ситцевой. Перед войной оно стало самостоятельным заводом.

Теперь, после того, как основное оборудование было вывезено и на Урале уже работал завод-двойник, горстке людей, возвращенных оттуда, предстояло в почти пустых цехах воскресить прежнее производство.

Арсению Курову, как старожилу и опытному, на все руки, мастеру-механику, поручили возглавить восстановительный ремонт, от которого в конечном счете зависело все. Он работал, не считая часов, частенько оставаясь на заводе ночевать. Так и уходил на смену, сунув в карман полотенце, бритву, кисточку и зубную щетку.

Да и что ему было делать дома? Кто его ждал? Пустая, неуютная комната. Одинокий вечер. Воспоминания о погибшей семье, о разоренном гнезде. В цехе все его знали, и он знал всех. Было с кем выкурить трубку, повздыхать о мирных временах, обсудить предполагаемые замыслы советского командования, а при случае и выслушать соленый анекдот, до которых Арсений был некогда великий охотник. Тут, в цехе, не так ныли раны, распрямлялась спина.

С некоторых пор духовному оживлению этого человека стал помогать не только всепоглощающий труд, но и другое обстоятельство. В его бригадах работала главным образом зеленая молодежь — мальчишки в черных гимнастерках, форменных ушанках и картузах, стекавшиеся на завод из школ трудовых резервов. Этому шумному народу всегда не хватало времени. Наперегонки неслись они по утрам из общежития на работу, на ходу бросали в кружку

проходной номерки и появлялись в цехе к самому началу смены. Табунками, толкаясь и галдя, скатывались в перерыве с лестниц на пути в столовую, где поднимали такой нетерпеливый стук ложками, что немногие старые кадровики только бранились да вздыхали, чувствуя, как и их начинает захлестывать эта озорная мальчишеская стихия.

Своих подопечных Арсений называл по отдельности «орлами», а в целом «дикой дивизией». Однажды «дикая дивизия» занималась во дворе завода приятной для всех работой — вынимала из ящиков, перетирала и по частям грузила на вагонетки новые станки, прибывшие откуда-то из Сибири. Погода была скверная, свистел ветер, кружила метель. Сухой снег, будто выпущенный из пескоструйного аппарата, сек руки, лица. И вот занятый своим делом Арсений заметил рядом в кипении метели невысокую щуплую фигурку. Не разглядев ее как следует и решив, что это кто-то из «орлов», он, не оборачиваясь, крикнул:

— Чего рот раскрыл? Помогай!

Фигурка оставалась неподвижной. Арсений ткнул пальцем в лежавшие на досках детали, сказал:

— Бери тряпку и стирай вазелин, да не сухо, а там, где сгустки.

Распорядился и отошел к ящикам.

Фигурка склонилась над деталями, но через некоторое время снова неясно замаячила в клубах метели.

— Ну?

— Протер, дяденька... А теперь чего делать?

— А теперь вот с этого снимай бумаги и опять протирай... Стой! Ты почему, парень, без рукавиц? Где рукавицы?

Метель свистела, шипела, кружила снег, не давая Арсению разглядеть того, с кем он говорил.

— У меня нет их... рукавиц,— робко ответили ему.

— Балда! Вот прихватит ладонь к чугунине, кожу оставишь, отвечай потом за тебя! Рабочий, как солдат, обязан все правила блюсти... Возьми мои, в цехе отдашь.— Он бросил мальчику рукавицы и сам подумал: «Ох, и взгрею же я бригадира! Легкое дело — с голыми руками на морозе мальчишка...»

Обтертые части машин погрузили на вагонетки, вкатили в цех, сложили на месте сборки. Когда ребята разошлись по обычным своим местам, кто-то робко тронул Арсения за рукав:

— Дяденька, вот рукавички ваши... Спасибо.

Оглянувшись, Куров с удивлением уставился на стоявшего перед ним незнакомого мальчика. Щуплый, лет двенадцати — тринадцати, он был в огромных немецких сапогах с голенищами-ведерками, в трофейном офицерском кителе, перепоясанном адъютантскими аксельбантами. Давно не стриженные русые прямые волосы покрывали его голову, как соломенная крыша украинскую хату. Из-под этой крыши выглядывали узенькие глазки и нос-пуговка, густо обрызганный веснушками, такими яркими, что они отдавали медной прозеленью.

— Постой, ты кто же? — удивился Куров.

— Ростислав Соколов,— отрекомендовался мальчик и даже поклонился при этом.

— А откуда взялся в цехе?

— Вы сами же велели вагонетку катить, я и покатил вместе со всеми.

— Да при чем тут вагонетка? Ты чей?

— Я ничей, я сам по себе.

И вновь проснулось и острой болью отдалось в сердце все, что эти месяцы Куров старался топить сначала в вине, потом в работе. Он смотрел на этого худенького, затейливо одетого мальчишку, и крутые желваки ходили под смуглой кожей лица. Мальчик понял это по-своему. Ему казалось, что этот большой черный человек в штанах и пиджаке, лоснящихся и коробящихся, словно сделаны они не из материи, а из жести, сердится за то, что он без пропуска проник на завод. Сейчас возьмет за шиворот своей ручищей и выкинет на улицу, да так, что все ступеньки на лестнице пересчитаешь...

— Я, дяденька, сейчас уйду,— сказал мальчик, отступая от Курова, и вдруг, преобразившись, неестественно писклывым голосом, протягивая тоненькую руку, зачастил: — Подайте сиротине бездомному, со вчерашнего дня крошки хлеба во рту не было...

— Так, так, так,— протянул Арсений дребезжаще. Просительный тон остудил ту теплую, уже тупую и потому даже сладкую боль, что вновь проснулась было в нем.— Постой тут! — приказал мастер, подошел к своему шкафчику, снял с полки двухдневный паек хлеба и баночку комбижира, подумав, банку поставил обратно, а хлеб взял весь и вернулся к мальчику. Тот все стоял у чугунной колонны и издали, как из засады, поглядывал на ремесленников, возившихся у машин.— На, ешь!

Но мальчик хлеб не взял и даже отвел руки за спину.

— Дяденька, мне бы здесь остаться.

— Как это здесь? Тут завод.

— Работать бы здесь, как вон они.

— Работать? — И опять болезненная теплота стала закипать в груди Арсения.— Мал ты... Нельзя маленьких на производство брать, да и трудно тебе будет.

— Не трудно. Это я только тощий, но сильный, вот попробуйте.— Мальчик протянул Арсению согнутую руку, предлагая пощупать мускулы. Рука была тоненькая, мускулы даже не чувствовались под рукавом огромного кителя.— Я буду хорошо работать, я научусь... Что вам стоит, возьмите, дяденька!

— Экий ты, брат, клейкий,— сказал Арсений и впервые за весь разговор улыбнулся мальчику.

Их уже обступили «орлы». Стайкой стояли они возле незнакомого паренька, бойкие, уверенные в себе, живущие на свой заработок, независимые рабочие люди, и бледный мальчуган с соломенными волосами выглядел среди них как яблонька-дичок среди ухоженных, привитых саженцев. Разглядывая диковинную его одежду, обувь, ребята переговаривались солидными, ломающимися басками:

— Откуда такой взялся?.. Ты что, гитлеровский ефрейтор?

— А знаешь, друг, что бывает, когда без пропуска лезут на военный завод? — пугал кто-то.

— Робя, я знаю, откуда он, этот ухарь! Из картины «Путевка в жизнь»... Эй, ты, беспризорные песни знаешь? «Позабыт, позаброшен с молодых юных лет...»

Мальчик смотрел диковато, с опаской, невольно жался к Арсению.

— По местам, орлы! — рявкнул мастер.— Ишь цирк себе устроили, лодыри царя небесного! А ты, как тебя, давай ко мне.

Он провел мальчика в свое маленькое, отгороженное стеклянной переборкой помещение и указал ему на черную, пропитавшуюся маслом табуретку.

Мальчик сел, положив на колени трофейную пилотку. Арсений взял ее, повертел в руках, поковырял ногтем матерчатую кокарду и бросил на стол. Извлек свою трубку-кукиш, набил, закурил. Мальчик сидел молча. В тепле его разбирал сон. Глаза слипались. Мастер придвинул к нему хлеб, достал из кармана и раскрыл острый, как бритва, нож, положил перед буханкой.

— Режь, брат Соколов, и ешь... Так, говоришь, сам по себе? Это как же понимать?

— Нет у меня никого,— ответил мальчик и с готовностью спросил: — Рассказать?

Арсений кивнул головой. И тут он услышал одну из тысяч историй, какие бывали в те тяжкие дни.

Своего отца, капитана пограничных войск Соколова, Ростислав не видел с начала войны. Тот служил в одном из тех западных укрепрайонов, по которым на заре 22 июня гитлеровская армия нанесла основной удар. Семья Соколовых жила в городке недалеко от границы. До того как немцы прорвались к городу, к матери успел забежать связной. Он рассказал — капитан Соколов тяжело ранен. Посылая связного, он просил жену немедленно уходить с детьми. Бежать пришлось пешком, в потоке людей, двигавшихся на восток.

Шли много дней. Обессилели. Однажды, когда толпы беженцев сгрудились у военных паромов в ожидании переправы, мать послала Ростислава с чайником на речку набрать воды. Из-за холма вырвалась тройка пикировщиков и, устрашая свистом сирен, сбросила бомбы прямо на переправу. Все задрожало. Мальчик упал на песок у самой воды. Когда самолеты ушли, а рыжий дым над переправой рассеялся, там, где только что теснилась толпа, курились свежие воронки. В наплывах разворошенного песка чернели какие-то лохмотья. Отовсюду неслись стоны, призывы о помощи.

Несколько часов бродил Ростислав вместе с немногими уцелевшими меж воронок, вглядываясь в изуродованные лица убитых. Одни находили и уносили своих, другим удавалось лишь опознать обезображенный труп по обрывкам одежды, ботинку или по другой знакомой примете. Ростислав не нашел никого, мать, сестра, бабушка бесследно исчезли. Дождавшись ночи, мальчик двинулся дальше в том же непрестанно расширявшемся людском потоке... Почти всегда находились люди, у чьего костра он мог погреться. Питались овощами, найденными на брошенных огородах, вытрушивали из колосьев зерно и варили кашу.

Так Ростислав добрался до Верхневолжска, где его одновременно настигли и гитлеровская армия, и зима. В дни оккупации мальчик жил в пустых квартирах, пропитание находил на помойках, куда немецкие армейские повара выбрасывали отбросы, а когда город освобождали,

остался здесь, выпрашивая подаяние и кормясь возле военных кухонь.

— ...Вот, дяденька, почему я и сказал, что сам по себе,— закончил он, собирая со стола хлебные крошки и отправляя их в рот.

— И я, выходит, сам по себе,— задумчиво произнес Арсений,— тоже вот торчу один, как труба у котельной. Так что же мы с тобой, брат, будем делать?

— Сюда бы мне, к тем мальчишкам,— сказал Ростислав.— Я б старался.

— Это, брат, не мальчишки, а рабочий класс. Они по два года в обучении были. Третий разряд. Квалификация.

— Ну, дяденька, возьмите, жалко вам?.. Что вам стоит! — снова было съехал на жалобный тон мальчик.

— Цыть, не канючить! — рассердился мастер.— Здесь не паперть, здесь завод, здесь люди положенного не просят, а требуют, а лишнего никакой слезой не выплачешь... И я тебе не дяденька, а мастер Куров Арсений Иванович... Эх, Росток, Росток, как же нам быть?

Куров чувствовал, что он не сможет так выставить на улицу этого мальца, случайно возникшего перед ним из метельной кипени. Конечно, тот не пропадет. Проще простого, сдав смену, взять парня покрепче за руку и отвести в гороно. Отослали бы поглубже в тыл, в какой-нибудь детдом или интернат, и было бы неплохо. Но тщедушный этот мальчик уже успел заполнить какие-то болезненные пустоты в душе Арсения. Мастер знал, что, если сегодня он расстанется с ним, не забыть ему ни этих соломенных волос, ни этого пестрого носа.

Смена кончилась. Ребята, как всегда после работы, тихие, степенные, тянулись в раздевалку. Проходя мимо куровского кабинетика, они с любопытством заглядывали в дверь.

— До свидания, Арсений Иванович... До завтра, товарищ механик!..

Всех их мучило любопытство: почему этот строгий, придирчивый Арсений Иванович нынче предоставил их самим себе, а сам засел в каморке с мальцом в гитлеровской форме?

— Что ж, пошли и мы,— сказал наконец Куров, приняв какое-то решение.

— Куда? — подозрительно спросил мальчик, делая шаг к двери.

— Домой пошли, понятно? Переночуешь у меня, а там видно будет. Утро вечера мудренее.

Куров привел Ростислава в свою комнату. Ножницами, которыми в былые времена холил он свои усы, подрезал ему солому на голове, отчего она перестала походить на украинскую хату с низко нахлобученной крышей, а смахивала уже на русскую избу, потом, войдя во вкус, разжился у Ксении Степановны тазом, нагрел воды, щедро плеская на кирпичи керосин, нагрел комнату и вымыл гостя с головы до ног.

Постриженный, чистый, розовый, в свежей Арсеньевой рубахе, мальчик поужинал и быстро заснул на кровати, а хозяин, критически осмотрев лежавшие на полу доспехи непобедимой гитлеровской армии, привязал к ним веревку и спустил через форточку на улицу. После этого Куров разделся и, тихо забравшись под одеяло, улегся рядом с Ростиславом. Почувствовав тепло, мальчик завозился и, не просыпаясь, инстинктивно приник своей пахнущей мылом и еще влажной головой к плечу Арсения, и тот замер в неудобной позе.

За окном, забитым досками, в которое Арсению удалось вставить лишь единственное стекло, покачивался на ветру фонарь. Белесые отсветы его бегали по потолку. Куров смотрел на них, слушал ровное детское дыхание и думал: что же делать? Работы столько, что сутками не уходишь с завода. Если взять к себе мальчишку, придется ему деньденьской быть одному, и снова потянет его к беспризорной жизни. Единственный выход — устроить на завод, учить ремеслу. Учить! Но тут-то и закавыка. Теперь уже не первые дни после освобождения, все советские законы обрели свою полную силу, а они запрещают брать на работу таких мальцов. А если обойти закон? Тогда... Арсений уже предвидел бесконечные трудности, преграды, неприятности...

Спящий мальчик почмокал губами, вздохнул, повернулся и, свернувшись калачиком, совсем вытеснил хозяина с узкой койки. Тот, улыбаясь, сел, закурил трубку. Голова свежая, на душе легко. И будто вместе с дымом трубки медленно вились мысли: «Росток, Росток, что же мы с тобой делать-то будем?»

Почти до рассвета в темной комнате, у остывшей печи просидел в эту ночь Арсений Куров.

4

Утром, еще до того, как открылись двери Верхневолжского горкома партии, Анна уже расхаживала около подъезда. Она не записывалась к секретарю на прием, а пришла первой, чтобы перехватить его, когда тот пойдет на работу.

Но ждать не пришлось. Едва она завела спор с дежурным в приемной, настаивая, чтобы ее скорее пропустили, как дверь кабинета открылась и в ней появилась знакомая высокая сутулая фигура. Секретарь был в свитере с закатанными рукавами. В одной руке он держал пенсне, в другой — мохнатое полотенце. Капельки воды блестели на волосах.

— Кто это тут шумит? — спросил он, и подчеркнутое, круглое ярославское «о» как бы выкатилось из этой фразы.— А, ткацкая «Большевички»! Ну, заговорил наконец ваш радиоузел?.. Видите, сами все и сделали, даже и помощи не потребовалось... Ну, заходите, заходите, до приема еще есть время. Только извините за беспорядок.

Он торопливо прикрыл суконным солдатским одеялом неубранную постель, загнал ногой под диван ночную туфлю, опустил рукава.

— Садитесь. Что скажете?

— Ой, такое дело, что не знаю, с чего и начать!

Уловив в этих словах нервные нотки, секретарь пристально посмотрел на Анну.

— Когда не знают, с чего начать, Анна Степановна, обычно начинают с начала.

«Ишь, ишь, имя-отчество запомнил!» — подумала она, и это, казалось бы, совсем маловажное обстоятельство почему-то сразу расковало ее. Единым духом, стараясь ничего не упустить, рассказала она историю Жени, не умолчав и о том, что вчера говорила Прасковья Калинина. Слушал или не слушал ее собеседник, Анна не знала. Мускулы худого лица оставались неподвижными. Видимо, он не успел побриться. Сероватая щетина сильно старила его.

— ...Извините, что я ворвалась, хотелось, чтобы вы все от меня и узнали,— сказала Анна под конец.

— А почему не в райком пошли? — будто невзначай спросил секретарь.

Простой и, казалось, незначительный вопрос этот по-

ставил Анну в тупик. Но она чувствовала — тут надо говорить напрямую.

— Женя Мюллер — моя племянница, а Северьянов — мой друг еще по комсомольским временам,— ответила она.

— Понятно,— кивнул головой секретарь.— Только вот плохо, что поздно вы зашли. Посидите-ка здесь.

Он вышел в соседнюю комнату, и было слышно, как он куда-то звонит по телефону и долго с кем-то беседует. Вернулся он задумчивый, похрустывая суставами пальцев.

— Ну вот, видите, Анна Степановна, проверил я... Никто, разумеется, эту девушку не арестовывал, и арестовывать ее не за что. В подполье она зарекомендовала себя с лучшей стороны, и об отце вашем, который ей помогал, товарищи очень тепло отзываются... Эти письма с вами?

— Да, у меня...

По обычаю верхневолжских ткачих Анна носила партбилет, пропуска́, а иногда и важные бумаги за пазухой. Письма еще хранили теплоту ее тела, и, передавая их секретарю, она покраснела до ушей. Тот расценил это по-своему.

— Вас за одно надо бранить, и крепко бранить,— за излишнюю щепетильность: и в дело племянницы из-за этого не вмешались, и райком сегодня обошли... Письма останутся у меня... Кстати, как этот ваш родственник? Арсений, Арсений...

— Куров... С ним-то все хорошо, работает. Недавно мальца какого-то беспризорного взял. А верно вы наказывали — через детей ведь и встал человек на ноги. Я над вашими словами много думала...

Теперь Анна готова была разговаривать о любых своих делах, заботах, нуждах — так ей сразу стало легко и просто,— но секретарь, посмотрев на часы, встал и протянул тонкую холодную руку.

— Привет товарищам! Насчет Мюллер мы тут сделаем, что сможем... Матери вашей, Лексевне, особый поклон,— говорил он, провожая Анну до двери кабинета.

То, что он сказал не «Варваре Алексеевне», даже не «Алексеевне», а по-фабричному — «Лексевне» — и что снова выкатилось из слова «товарищей» круглое, как баранка, «о», еще больше расположило Анну к этому болезненному человеку, на вид такому сухому и замкнутому. Она забежала в комнату, где сидели инструкторы, по-

просила разрешения воспользоваться телефоном, присев боком на край стола, дозвонилась до своего кабинета в ткацкой и сказала поднявшей трубку Фене Жуковой:

— Не в службу, а в дружбу, девушка,— сбегай в цех к матери, скажи, что секретарь горкома велел ей клапяться... Скажи ей, секретарь сказал: все, что набрехала Панька... Ну, Панька, имя такое... Плохо слышишь?.. Ну, Прасковья, поняла?.. Так все это брехня собачья... Что? Ладно, ладно, передам по буквам: Борис, Роман, Елена... ну, хрен... Николай, Яков... Брехня!! Поняла? Фенечка, милая, сейчас же передай, слышишь?

Инструкторы горкома, сидевшие за столиками, поставленными в виде буквы «П», сначала замкнуто и официально, потом удивленно и под конец с улыбкой слушали разговор. Краем глаза Анна следила за ними, и ей становилось все веселее. Захотелось подзадорить этих немолодых мужчин, выглядевших всегда такими занятыми и серьезными.

— Спасибочко,— протянула она, опуская трубку.— Извините, что оторвала от дела и помешала вашим занятиям.

Молодой походкой, звучно постукивая каблуками, Анна вышла из комнаты, успев, однако, услышать, когда закрывала за собой дверь, как кто-то из троих, прищелкнув языком, сказал: «Огонь-баба».

Но на улице настроение сразу упало: «Что я? Чему радуюсь? Ведь Женя не найдена. Где она? Что с ней?»

5

Солнце валило на закат, освещая все густым, тревожным багрянцем, когда у подъезда поликлиники, или, как частенько говаривали текстильщики, «полуклиники», остановился старый грузовик, на щелявых бортах, на крюках и даже на номере которого белели шматки пряжи.

Из кабины выбралась Варвара Алексеевна, чинная, в припахивающем нафталином праздничном пальто с черным каракулевым воротником, в шелковом платке, делавшем ее похожей на монахиню. Из кузова посыпались женщины и девчата, одетые тоже по-праздничному. По громким, резким голосам в них нетрудно было узнать ткачих. Старуха осмотрела всех строгим взглядом, сняла у одной с пальто обрывок пушистой ровницы, поправила другой

берет. Глаза ее на мгновение остановились на Галке: у той на голове был сегодня не обычный ее вязаный колпачок с помпончиком, а новая фетровая шляпка с каким-то безумным бантом. Все это сооружение отдаленно напоминало связной самолет У-2. Старуха покачала головой:

— Сняла бы ты свою бандуру! Выпялилась, только ткацкую срамишь...

Но в серых глазах внучки бабушка увидела непоколебимую стойкость и только вздохнула:

— Пошли!

Все двинулись за маленькой старушкой. Открыв дверь, она обратилась к девушке в белом, сидевшей у входа, уткнув нос в какой-то пухлый роман:

— Где тут нам халаты дадут?

Девушка заложила страницу кусочком марли, вопросительно осмотрела всю группу и равнодушно сообщила:

— Сегодня у нас нет посещений.

— Для кого нет, а для нас есть,— сказала Варвара Алексеевна, протягивая руку к телефону на столе.

— Это служебный аппарат, по нему нельзя разговаривать посторонним,— не без раздражения заявила сестра.

— Посторонним не разрешается, а нам можно, мы не посторонние, мы делегация... Позвони-ка, миленькая, Владим Владимычу, скажи — с «Большевички» шефы прибыли.

Всякому другому сестра задала бы за «миленькую» перцу, но в облике и в поведении маленькой, похожей на монашку старушки было что-то такое, что вызывало невольное уважение. Сестра соединилась с начальником госпиталя.

— Владим Владимыч, простите, вас беспокоит дежурная. Тут вас спрашивают какие-то шефы.

И прежде, чем Варвара Алексеевна успела обидеться на «какие-то», трубка зарычала, и по растерянному лицу сестры гости поняли, что это уже вызвало на том конце провода бурную реакцию.

В густо пропахшем карболкой, йодоформом и иными больничными запахами коридоре застучала об пол палка. Дверь распахнулась. Грузный старик в белоснежном накрахмаленном халате, в бязевой шапочке, из-под которой на лоб выбивались седые волнистые пряди, шагнул навстречу гостям.

— Лексевна, ты еще прыгаешь, старая карга! Глянька, даже вроде помолодела...

— Прыгаю, прыгаю. А ты, Владим Владимыч, такой же сквернослов! Хоть бы при девчонках выражаться постеснялся...

— А философ твой жив-здоров?

— Жив, жив, только некогда об этом... Не на больничный прием пришли, зубоскалить-то с нами нечего.

— Ух, прямо перцовка! — воскликнул старый врач.— Ну, товарищи дамы, рад вас приветствовать от лица советской медицины и прочее. Это что ж, Лексевна, дочка вас прислала? Деловая она у тебя, слышал, хвалят ее. А ведь я знаю, как женскому лицу кого-нибудь добром помянуть трудно... Ну, идите за мной, покажу дорогу, теперь вам по ней часто ходить,— шумел старик, грузно припадая на свою клюшку.— Любуйтесь, госпиталище какой отгрохали, и все сами, собственными руками! Тут ведь после освобождения торичеллиева пустота была, даже паршивые клистиры и те гитлеровцы пораскрали. Только вот это от всех наших богатств и оставили...

Он показал палкой на картину, висевшую в толстой золотой раме над площадкой, где лестница расходилась на два марша. Это было живописное полотно весьма внушительных размеров. Изображен был на нем высокий румяный красавец врач в халате, будто высеченном из мрамора. Стоя посреди цветущего сада, он говорил о чем-то столь же цветущим женщинам в пестрых платьях. У всех были улыбающиеся лица, смахивающие одно на другое и все вместе похожие на лицо врача. За садом на фоне летящих весенних облачков изображено было белое здание с таким обилием колонн, портиков, капителей, что оно напоминало одновременно и древнегреческий храм, и парадную конюшню елизаветинской эпохи. Впрочем, чтобы зритель не терял времени на догадки, предусмотрительный живописец прикрепил над фронтоном вывеску с четкой надписью: «Больница».

Женщины, и даже сама Варвара Алексеевна, заулыбались, ибо на фабриках история этой картины была давно известна. Поликлинику строили в конце тридцатых годов, строили с любовью, не жалея денег ни на само здание, ни на новейшую аппаратуру. Тут будущее должно было войти в сегодняшний день. И чтобы достойно завершить любимое детище, три фабкома сложились и заказали московскому художнику с довольно шумной репутацией полотно «на медицинскую тему». Художник оказался не чванливым и заказ принял. Так появилась картина,

которая очень порадовала заказчиков и привела в бешенство Владима Владимыча.

— Не позволю, не дам прекрасные стены портить! — шумел он.— Новейшие достижения советской медицины — и эта... это... этот... Какой это, к дьяволу, врач? Это Иисусик какой-то. Здесь не советская медицина, а «приидите ко мне, все страждущие и обремененные...». Нет, нет и нет!

Имя художника звучало солидно, выплаченные суммы были весьма внушительны. Несмотря на буйные протесты главного врача, фабкомы общими усилиями настояли на своем. Картина заняла место в оставленном для нее простенке. Здесь она, как видим, провисела и оккупацию. И вот теперь, остановив ткачих, Владим Владимыч мстительно тыкал в сторону полотна резиновым наконечником своей палки.

— Кружки Эсмарха, утки, всякую дрянь немцы с собой уволокли, а это оставили. Значит, считают, что такое искусство, кроме вреда, ничего нам не приносит... И правильно считают... Впрочем, пошли, товарищи дамы. Нам с вами все равно не постичь красот и глубин этого шедевра...

Неузнаваемо преображенные халатами, подобранными не по росту, шефы теснились вокруг Варвары Алексеевны. Каждая из этих женщин и девушек не раз была в этом здании как больная, сидела в ожидании приема на уютных белоснежных диванах либо принимала процедуры в лечебных кабинетах, где к услугам их были последние достижения медицины. От былого великолепия остались только стены, полы да роскошная эта картина. Даже окна были забиты досками. В коридорах держались густые, тяжелые запахи. Стуча костылями, бродили стриженные наголо люди. Бледность, проступавшая сквозь обветренную, загорелую кожу, придавала их лицам зеленый оттенок. С интересом смотрели они на неожиданных гостей, то и дело хлопали двери палат, и оттуда высовывались забинтованные головы. Беспроволочный госпитальный телеграф, тайны которого не объяснены еще физикой, мгновенно распространил по всему госпиталю веселую весть: прибыли шефы, все женщины, и среди них есть хорошенькие.

Но гости уже скрылись за толстой, обитой дерматином дверью, на которой висела табличка: «Начальник и главный врач В. В. Воздвиженский». Комната эта, в сущно-

сти, не была кабинетом, она представляла собой и место работы, и приемную, куда больных водили на консультацию, и спальню хозяина. Перед письменным столом, заваленным всяческими пакетами, склянками и бумагами, стояла койка, покрытая солдатским одеялом. Возле нее на тумбочке из-под чистой салфетки виднелись тарелки с несъеденным обедом. На стенах висели семейные фотографии, и среди них одна, большая, старая, пожелтевшая, изображала тесную группу врачей в халатах; в центре ее располагалось знаменитое в начале века медицинское светило, а в одном из ассистентов, сидевших рядом с ним, в дюжем человеке с пышными бакенбардами, приглядевшись, можно было узнать самого Владим Владимыча. Одну из стен сплошь занимали книги.

— Библиотеку мою за дни оккупации эти культуртрегеры всю попалили... Вот собрал по людям кое-что,— объяснил Владим Владимыч.— Рассаживайтесь, на кровати устраивайтесь, а кто помоложе, извольте на пол... Не заставляйте меня стоять.— Он строго и несколько удивленно глянул на Галкину шляпку.— Это что такое? — Снял с нее и положил на стол.— Это твоя внучка, Лексевна? Что же ты позволяешь ей себя уродовать?.. Ну-с, так, товарищи дамы, я вас слушаю... Нет, нет, погодите трещать, сначала дайте мне сказать...

Он быстро, деловито, без обычных хлестких словечек изложил свои мысли о шефстве. Персонал непосильно перегружен, няни, бывает, даже засыпают стоя. Недавно сестра в операционной хлопнулась у стола в обморок. Чтобы подбодрить себя, портят сердце кофеином. Много тяжелых случаев, требующих немедленного переливания крови. А крови не хватает, нормы давно израсходованы...

— Вот, как всегда в трудную минуту, обращаюсь за помощью к рабочему классу... Выручайте, братцы!

Быстро договорились: шефы будут присылать добровольцев из дневных смен дежурить вместе с персоналом по ночам. Комсомольские группы возьмут шефство над отдельными палатами. Будет брошен призыв — отдавать раненым кровь. Дважды в неделю в Красном уголке госпиталя будет выступать фабричная самодеятельность.

Одна из делегаток, расчувствовавшись, предложила было снова открыть сбор подарков — на этот раз для раненых,— но Владим Владимыч покачал кудлатой головой.

— Хорошие вы мои, если за сердце вас тронуть, последний кусок пополам разломите. Только, думаете, оторвался я от вас, не знаю, как вы теперь живете?..— И, должно быть, чтобы преодолеть минутную слабость, загремел по-обычному: — К черту ваши куски! Бабья улыбка дороже золота... Вот на такую мордочку поглядишь,— мигнул он Галке, сидевшей на корточках тише воды ниже травы,— поглядишь — и успокоительного тебе не надо. А самодеятельность обязательно... Что, Лексевна, Анна твоя все еще пляшет?

— Пляшет... с собрания на собрание,— нахмурившись, сказала Варвара Алексеевна, которой не нравилось, что Владим Владимыч перешел на обычный свой тон.— Ну, все сказал? Нам пора. Ступайте-ка вы, девчата, в раздевалку да подождите меня малость... Мне вот тут с глазу на глаз с Владим Владимычем парой слов обменяться надо.

Делегация на цыпочках и потому особенно громко топая и скребя по полу подметками вытекла из кабинета в коридор, а старуха подошла к столу.

— Прасковья наша у тебя работает?

— Ну как же, и сейчас на дежурстве.

— А нельзя ли мне с ней здесь вот, при тебе, Владим Владимыч, потолковать?

— Тебе, Лексевна, как старому другу, ни в чем отказать не могу.— Он позвонил и вызвал перевязочную сестру.

И когда в кабинете появилась Прасковья Калинина, особенно яркая в своем накрахмаленном халате и косынке среди белых стен и белых вещей, старуха устремила на нее такой взгляд, что та остановилась, будто натолкнувшись на незримую жесткую преграду.

— Здравствуйте, мамаша,— растерянно выговорила она.

— Мамаша!.. Ты лучше скажи вот тут, перед знаменитым нашим врачом Владим Владимычем, скажи, зачем поганые слухи по двору разносишь?

Сестра побледнела. Родинки на лице ее стали темными, как угольки.

— Право, я не понимаю, мамаша...

— Понимаешь! — будто гвоздь заколотила Варвара Алексеевна.— Все понимаешь! Ты что про Женю говорила, сорочье отродье?

— Я ж, мамаша... Разве я... Люди ж говорят, что она...

— Молчать! — Старуха стукнула по столу ладонью так, что подскочил и свалился на пол стетоскоп.— Вся ты со своим халатом мизинчика Жениного не стоишь.— И, обращаясь к врачу, изо всех сил старавшемуся сохранять приличествующую моменту серьезность, она попросила: — Владим Владимыч, будь такой добрый, окороти ты ей язык, на всех нас тень кладет.

— Да-с, диагноз поставлен точно,— ответил знаменитый врач.— Насчет языка за Прасковьей Филипповной водится. Кабы не руки ее золотые да не мой мягкий характер... Вот что, сестра Калинина, учтите критику и продолжайте службу.

Когда дверь закрылась, Варвара Алексеевна, вздохнув, покачала головой.

— Уж ты прости, Владим Владимыч, за шум,— не знаю, что с ней и делать... Свекрух-то разве слушают?.. Ну, пошла я, до свидания.

— До свидания, Лексевна, до скорого свидания. Кланяйся своему гренадеру.

И два фабричных старожила, десятки лет знавшие друг друга, вместе не один созыв заседавшие в городском Совете, оба по-своему известные и каждый по-своему знаменитый, дружески пожали друг другу руки.

6

Войдя утром в помещение партийного бюро, Анна нашла на столе письмо. На нем синел треугольник фронтового штемпеля. По почерку, ровному, округлому, точному, она сразу узнала, что оно от сестры Татьяны. Нелегко было Анне распечатывать письмо Жениной матери.

Так и есть! Кто-то уже сообщил Татьяне об исчезновении дочери. Она была в смятении, укоряла стариков, Анну, комсомольцев фабрики, требовала, чтобы ей сейчас же написали всю правду. Она собиралась с этим ответом идти к командованию и умолять об отпуске, чтобы съездить в Верхневолжск и самой во всем разобраться.

Были в письме строки, которые словно плетью ожгли:

«...А тебе, не как сестре, а как коммунисту, секретарю партийного бюро, я никогда не прощу такого отношения к моей девочке. Кричите и пишете: «Тыл —

фронту», «Поможем фронтовикам» — и не смогли проследить, чтобы с дочерью фронтовички, храброй, честной, верной девочкой, работавшей с вами, не случилось беды. Я не верю, слышишь, Анна, не верю и никогда не поверю ни одному слову этой грязной сплетни. Женя не способна ни на что дурное. Этого не могло быть. И ты это знаешь. Так почему же ты ей не помогла, почему дала ее в обиду?.. Может быть, тебе, Анна, немецкая фамилия моей девочки помешала заступиться за Женю? Ты не захотела класть тень на свой партбилет? Так вспомни, что ведь Рудя рекомендовал тебя в комсомол и в анкете твоей так и написано: «Рудольф Мюллер, член ВКП(б) с 1917 года...» Не как сестру, а как человека, которого коммунисты фабрики выбрали своим руководителем, спрашиваю я: почему ты это забыла?..»

Приходили люди. Толковали о разных делах. Спрашивали совета. Что-то согласовывали, уходили. Оставшись одна, Анна хватала письмо, снова и снова перечитывала: «Почему же ты ей не помогла, почему дала ее в обиду?..» Перебирая в памяти событие за событием, она не могла не признать, что в словах сестры немалая доля истины, и все ниже и ниже опускалась русая голова. Как же поступить? Вчерашняя беседа в горкоме опровергала все слухи. Женю ценят и верят ей. Об этом нужно написать сестре. Но где она, Женя? Прошло уже полторы недели — и ни слуху ни духу. Нет, надо взять себя в руки, работать и не думать об этом... Но не думать Анна не могла. Голова бессильно валилась на руки...

Фельдъегерь принес серый жесткий пакет. Анна расписалась в книге, сломала печать. Это были переводы писем, оставленных ею в горкоме, и коротенькая записка секретаря: он поздравлял с доброй инициативой шефства над госпиталем. Советовал, когда накопится опыт, написать об этом статью в областную газету. В конце была приписка: «Пересылаю Вам переводы писем. Судя по всему, эта девушка не ошиблась в своем знакомом. Переводила моя дочка. За точность ручаюсь: она целый вечер пропыхтела со словарем. Но немецкий у них в школе преподают неважно. Перевод слишком уж буквален, так, например, «большой отец» — это, наверное, надо читать как «дедушка».

Анна жадно схватила переводы, аккуратно выведенные ученическим почерком на четвертушках, вырванных из

тетради по арифметике. Может быть, через них заглянет она в тот уголок Жениной жизни, который пока был никому не доступен?.. И она прочла:

«Любимый товарищ Женя! Письмо это пишу в торопливости и буду класть его туда, откуда будет брать его ваш большой отец. Тот, перед которым я имел страх, подарил внимание моим посещениям вашей фамилии. За мной следят. Вы должны верить, товарищ Женя (вы всегда смеялись, когда я к вашему имени это слово прибавляю, но оно есть такое дорогое для меня — «товарищ»), я есть очень грустный, что видеть вас и вашего большого отца, уважаемого господина Степана, не смогу. Но я боюсь привести с собой в вашу фамилию несчастье и лишиться возможности показать вам мою честность...»

«Чудной у них язык, марсианский какой-то! Разве так люди говорят?» — думала Анна, читая письмо и боясь пропустить хоть какой-нибудь оттенок написанного.

«Наши военные вожди очень серьезно обеспокоены тем, что в районе Москвы случилось, хотя офицеры говорят дальше, что это большевистская пропаганда — не больше. Но я знаю, что несколько частей неотложно сняли отсюда (номера узнать не удалось) и увезли в направлении Москвы. Воскресенья отменены, обеденную еду возят в окопы. Настроение плохое, все имеют страх, что рождество, на которое все ждали выпивки и подарков, придется провести в боях в лесу. Если все хорошо будет, это произойдет сегодня, и тогда — до свиданья, дорогой и любимый русский товарищ Женя и ваш большой отец господин Степан. Я хорошо помню слова, которые для меня, может быть, сегодня пригодятся. Красный фронт!

Ваш К.»

Анна осмотрела и подлинник и перевод. Письмо было датировано восьмым декабря. Перевод другого, закапанного свечным салом, девочке удалось сделать, видимо, с еще большим трудом.

«Л. Т. Ж.! (Наверно, опять любимый товарищ Женя!) Я уже два раза произносить русские слова готовился, но луна светила, и я должен был возвратиться. Это сегодня

произойдет или никогда. Я узнал: из Верхневолжска на Москву ушли 47 т. п. 18, 38 (что это, не знаю — в словаре нет!) пехотные части. Начали госпитали эвакуировать. Всюду имеются разговоры о московском контрнаступлении. Все тревожные. Еще один раз: *сегодня или никогда*... Я ваших уроков не забыл, любимый товарищ Женя. Красный фронт! К.»

Анна несколько раз перечитала эти переводы. Она уже понимала, что странный язык — это оттого, что девочка переводила письма буквально, слово за словом. Теперь ее интересовало: почему племянница не показала эти документы раньше? Самолюбие? Гордость? Нежелание передать в чужие руки? Значит, к ней не нашли правильного подхода, значит, она нам не верила... Страшный урок! Его никогда не забудешь... Анна много бы отдала, чтобы только найти хоть какой-нибудь следок Жени, что-либо узнать о ней.

«Я промахнулась, Танюша, я позорно, тяжело промахнулась, но я ничего не забыла, я все, все помню»,— так начала она ответ сестре...

7

Настал день, когда ожила и прядильная фабрика — так в печати назвали цехи, организованные в уцелевшем приделке огромного сожженного здания. Вряд ли завертелась даже двадцатая доля веретен, которые распевали здесь всего несколько месяцев назад. Но как этого ждали! В городе не хватало рабочих рук. Многие прядильщицы уже устроились на других, менее разоренных предприятиях, нашли работу в госпиталях, в восстанавливаемой торговой сети, в столовых. Новая работа часто оплачивалась даже лучше прежней. Однако как только стало известно, что пускают прядильную «Большевички», директора завалили заявлениями, письмами, просьбами и даже требованиями вернуть их на прежнее место. Его ловили на улице, подкарауливали на квартире, часами дежурили у его кабинета, просили взять хоть обметалкой, хоть уборщицей, но только на свою фабрику.

В предпусковые дни было много суматохи: то недоделали, это позабыли, что-то соорудили не так, что-то не предусмотрели. Спорили. До хрипоты бранились по теле-

фону. В этой суете Ксения Степановна была, как всегда, ровна, спокойна, деловита, и, глядя на нее, никому и в голову не могло прийти, что она-то и волнуется больше всех. Волнуется так, что потеряла аппетит, сон. Лишь когда все было готово, когда машины, очищенные от ржавчины, обтертые, выстроились, матово поблескивая, как холеные кони, сверкая рядами веретен, и оставалось только нажать рукой пусковой механизм, чтобы веретена ожили, закружились, лишь тогда на спокойном лице знаменитой прядильщицы появилось такое выражение, будто она опасалась, что при этом может произойти взрыв. «Батюшки, что же это со мной!» — думала она, чувствуя, как отчаянно колотится сердце.

Но вот веретена, закружившись, слились в сверкающие прозрачные столбики. Ровница потекла с толстых, пушистых катушек. Привычно запахло разогретым маслом. Зашумели соседние ватерные машины. Ровный свистящий шум наполнил помещение.

В цехе стоял промозглый холод. Машины еще не разработались. Отсыревшая ровница то и дело рвалась. «Ой, как тут управишься!..» — испуганно подумала Ксения Степановна. Через полчаса и она, мастерица из мастериц, была вся в поту. И все-таки необычная, нервная, изнуряющая работа не погасила в ней доброй радости: ожила, запела родная фабрика! На бледном лице прядильщицы полыхал юношеский румянец. Темные выразительные глаза сияли.

В эту первую смену к машинам встали лучшие верхневолжские прядильщицы. Но и им было трудно в этих почти невероятных условиях. Нити плохо подчинялись даже опытным, молниеносно действующим пальцам. Они рвались, наматывались на валики, захлестывали соседние. То там, то здесь возникали этакие прозрачные вихревые смерчи бешено крутящихся обрывков. Несмотря на холод, работницы в первые же минуты поснимали платки, верхнюю одежду. От них заметно валил парок. Но, изредка бросив быстрый взгляд на соседок, Ксения Степановна неизменно видела на разгоряченных лицах какое-то особое, радостное и будто бы даже пьяное выражение. Сама она, работая так, что глазом трудно было уловить полет ее руки, все время повторяла про себя: «Шумит, идет родная» — и чувствовала, что улыбается.

Когда же, приблизившись к краю машины, довелось ей, взглянув в окно, увидеть на заснеженном дворе обруб-

ленный снарядом тополь и остатки от закопченной стены с пустыми окнами, сквозь которые сияло небо, ей вдруг подумалось: страшная война бушует совсем рядом, разрушенный город стынет в снегах, а тут вот, вопреки всему, привычно шумят веретена, текут, наматываясь на шпули, нити... Не так уж существенно, сколько пряжи отправят сегодня отсюда на ткацкую. Вероятно, все увезут на двух-трех машинах, в большом хозяйстве это пустяк. И все-таки этот день важен, очень важен. Сегодня и прядильщики показывают, что советские люди совершают невозможное. Ведь совсем недавно они и сами с трудом верили, что в этом жалком приделке можно что-нибудь создать.

Жужжали, жужжали, жужжали веретена, и Ксения Степановна никак не могла отделаться от странного ощущения: казалось, что-то подобное она уже когда-то переживала — и эту необыкновенную радость, и это ожидание радостей новых, и даже то, что от ожидания хочется не смеяться, а плакать. Но когда же это было? И она вспомнила: в двадцатых годах, в голод. Мать заболела сыпняком и лежала в старой фабричной больнице, остриженная наголо, высохшая, маленькая, почти бездыханная. Со дня на день ждали тяжелых известий, измучились... Чтобы поддержать ее, Степан Михайлович снес на толкучку свое драповое пальто и выменял на масло. Но мать уже ничего не ела. Тогда масло выменяли на компот, сварили, и Ксения в солдатском котелке понесла его в больницу. В дверях терапевтического отделения ее чуть не сшиб с ног стремительный Владим Владимыч. «Ох, и жилиста ж ваша мамка, вырвалась, кажется, у смерти из лап»,— сказал он тогда... Вот та же беспокойная радость, какую Ксения испытала, услышав это, осеняет ее сейчас. И так же, как тогда, хочется заплакать.

Девчонкой пришла сюда Ксения Шаповалова, и вся ее жизнь связана с этой фабрикой. Здесь вступала она в комсомол, когда в их ячейке было всего четверо парней. Здесь познакомилась она со своим Филей, отсюда проводила она его на гражданскую войну, и сюда вернулся он, отвоевав.

Тут, под жужжание веретен, почувствовала Ксения впервые, как что-то вдруг, вздрогнув, шевельнулось у нее под сердцем... И вся она, наполняясь тихой теплотой, поняла: это новое, неведомое, растущее в ней существо дает знать, что оно живо... Это было первым движением гвардии лейтенанта танковых войск Марата Шаповалова...

Где-то сейчас Марат, ее мальчик, который двадцать один год спустя отсюда же, с фабрики, ушел в военную школу?..

И еще вспомнилось Ксении Степановне, как однажды, когда по стране разливалось стахановское движение, и рабочие каждый день радовали народ новыми и новыми подарками, ей первой из фабричных новаторов пришла мысль создать дружный коллектив отличников всех профессий — от тех, кто в амбарах подает хлопковые кипы в бункера, до возчиков, переправлявших готовую пряжу ткачам,— создать сквозную бригаду, чтобы сырье, превращаясь в пряжу, все время переходило из хороших, надежных рук в другие хорошие и надежные руки. Вспомнилось, как, едва дождавшись смены, поспешила она к начальнику цеха инженеру Владиславлеву, а он... Нет, о том, кто продался немцам, в этот день не надо и думать. Выкинуть его из памяти.

Лучше думать о том, как пошел бережно передаваемый из рук в руки хлопок, постепенно превращаясь в холсты, в ленты, в ровницу, в пряжу. В первый же день ее бригада, названная потом сквозной стахановской, поразила фабрику, а вскоре город, область и, наконец, всю страну выработкой, какой не бывало прежде и у лучших мастеров. Какие были дни!.. Разве забудешь, как однажды под конец смены вбежал в цех сотрудник многотиражки «Голос текстильщика!» Произнес только: «Вам — орден Ленина»,— и попросил тут же сказать несколько слов для газеты, которая уже верстались. А прядильщица от волнения ничего не смогла выговорить...

Воспоминания, разбуженные гулом веретен, как-то сами собой приходили из прошлого, не мешая работе, не отвлекая. И хотя к концу смены спина не гнулась, руки дрожали, а ноги стали тяжелыми, будто каменными, Ксения Степановна, спускаясь по лестнице, все еще продолжала улыбаться.

Чувствуя потребность сейчас же, немедленно, излить свою радость, она заглянула в маленькую комнатку, где помещался комсомольский комитет. Юнона, занятая телефонным разговором, глазами указала матери на стул. Ксения Степановна уселась, вытянула ноги, закрыла глаза. Будто сквозь дрему доносился до нее звучный голос дочери:

— ...Нет, нет, мы это провернули еще до пуска фабрики. Да, молодежь охвачена на все сто... А как же, и

договора у всех... Обязательно. В этом деле никакой стихийности, все в должном русле... Да и договора на все сто. Разве прядильщики когда-нибудь отставали!

«Молодец, ничего не скажешь,— думала мать, улыбаясь сквозь усталую дрему.— А как быстро вошла в дела! И аккуратная: на столе ни пятнышка, все на месте, не то что, бывало, Марат...»

С кем-то прощаясь, Юнона солидно произнесла: «Привет товарищам!» — и положила трубку.

— Ну, мама, вот я и освободилась.— Она торопливо убирала в стол карандаши, ручку, чернильницу.— Столько дел сегодня прокрутила... Знаешь, пойдем до дома пешком...

И они пошли под руку, как две подружки. Мать довольно следила, как встречные мужчины посматривают на Юнону, провожают ее взглядами. Но та, кажется, этого даже не замечала.

— ...Он спрашивает: «Сколько комсомольцев у тебя соревнуются?» А я ему: «Сто процентов». Он удивлен: «Неужели и у всех договора?» А я ему опять: «У ста процентов». Он еще больше удивился: «И конкретные обязательства?» А я снова: «Все сто...» Понимаешь, мама, не какой-нибудь там Иванов, Петров, Сидоров, Пушкин, а все сто! — возбужденно говорила девушка.— И он говорит: «Молодцы...» Не знаю уж, мама, где, но одна знакомая девушка — она сама ничего собой не представляет, но у нее есть ухажер из горкома комсомола,— так она мне передавала, что ей тоже говорили: товарищ Шаповалова, мол, молодец, вот, мол, если бы все комсомольские секретари были, как товарищ Шаповалова...

— Ты, Юночка, похвалы-то не очень слушай. Вон дед твой говорит: от сладкого только зубы портятся...

— Нет, нет, не бойся, я не зазнаюсь... Вот в ткацкой эта рохля Фенька Жукова. Ей однажды даже протоколы вернули: будто пьяная курица по бумаге ходила, ничего не разберешь... А у меня все в ажуре.

— Ткацкой-то комсомол в шефство над госпиталем втянулся. Хорошее дело! Подумали бы и вы, стоит поддержать.

— Комсомол? Как же! Это Анна все там вертит. А Фенька так — сбоку припека... Зачем я буду другим подражать? Разве у меня своей головы нет? И подумаешь, шефство — за ранеными горшки убирать! Мы, прядильщики, должны свою инициативу проявлять. Сама-то ты

не по проторенной дорожке к славе своей пришла, новое выдумывала.

Ксения Степановна не любила, когда так вот, слишком уж рассудочно, говорили о самом для нее заветном, и постаралась перевести разговор на другое:

— Анна вчера читала письма того немца, из-за которого Белочка столько натерпелась. По письмам судить, ведь действительно хороший человек...

Юнона остановилась и даже отдернула руку, которой поддерживала мать.

— Ты понимаешь, мама, что говоришь?.. Гитлеровец — хороший человек?!

— В том-то и дело, что он не гитлеровец. По письмам ясно...

Красивое лицо девушки будто сразу стало фарфоровым.

— Ясно? Что тебе ясно? Мне, например, ясно одно: вот все это — их рук дело.— Она кивнула на разрушенный жилой дом, мимо которого они проходили.— И ясно, что с ними можно говорить только языком оружия... Недавно первый секретарь спрашивает: «Женя Мюллер твоя родственница?» Я вся вспыхнула и готова была под землю провалиться.

— Юна!

— Прекратим это. У нас об этом слишком разные мнения, мама, чтобы нам договориться.

Остаток пути они прошли молча.

8

Появление парнишки с соломенными волосами доставило немало хлопот Арсению Курову. Как говорится, одна голова не бедна, а бедна, так одна. Раньше можно было спокойно, ни о чем не заботясь, проводить весь день на заводе и дома появляться лишь для того, чтобы поспать да набить кисет самосадом, который Арсений считал единственно достойным табаком для своей трубки-кукиша.

Дел у Курова прибавилось. Завод расширялся. Он как бы числился уже в команде выздоравливающих. Ему давали кое-какие заказы для фронта. А фронт требовал снарядов, снарядов, снарядов... Работы Арсений не боялся, он любил работу. Появление Ростислава все осложнило. Поначалу дело складывалось будто и неплохо: Куров рассказал директору о мальчонке, и тот в виде исключения

распорядился принять его на завод. Зачисленный в одну из бригад подручным, Ростислав проявил такую смекалистость, что даже придирчивые ремесленники, насмешливо взиравшие на него из-под лаковых козырьков своих форменных картузов, стали относиться к нему как к равному.

Арсений звал мальчика Росток. На заводе, должно быть из-за щуплого сложения, его быстро переименовали в Ростика. То и дело раздавалось теперь:

— Ростик, большой гаечный. В момент!

— Яволь,— слышалось в ответ.

— Ростик, подсунь чурку под станину.

— Яволь.

— А ну, мотай, парень, на склад за гайками!

— Яволь.

Беды, обрушившиеся на Ростислава, не убили в нем природной жизнерадостности. У него обнаружился замечательный дар подражания. В минуты отдыха, когда ребята ожидали нового наряда, устраивались целые представления.

— Ростик, как же фашист на Москву шел?

Подвижная физиономия мальчика застывала с тупым, чванливым выражением, голова откидывалась назад, тело неестественно вытягивалось, рука с развернутой ладонью выбрасывалась вперед. Двигаясь гусиным шагом, выпучив глаза, он хрипло кричал:

— Хайль Гитлер!

— А как он из-под Москвы возвращался? Покажи, Ростик, ну, покажи!..

Мальчик мгновенно преображался, насовывал кепку на уши в виде чепца. Голова у него, как у черепахи, уходила в плечи, тело расслаблялось, начинало дрожать. Зубы действительно выстукивали дробь, и сквозь эту дробь губы испуганно цедили:

— Гитлер капут!

Бригада покатывалась со смеху. Но при этом кто-нибудь всегда стоял на страже и следил, как бы не подошел мастер-механик. Если часовой зевал, Куров сердито обрушивался на собравшихся:

— Кончать цирк! По местам, лодыри!

А Ростислава предупреждал:

— Чтобы последний раз, а то выброшу с завода, как щенка! Не смей из себя шута строить!

А потом, уже дома, поостыв, Арсений хмуро говорил мальчику:

— Кого хочешь изображай — черта, дьявола, хоть меня самого,— а этих не смей, слышишь? — И просил: — Сердце ты мне бередишь, оно подживать стало, так ты не колупай.

Мальчик отлично изображал и самого Арсения. Для этого он сбивал кепку на затылок, рассовывал по карманам разный инструмент, челюсть у него выдавалась вперед, глаза прихмуривались, и он басом, как майский жук, гудел: «Без труда, без мастерства, орлы, человек со зверями в одном стаде обитался бы»,— после чего многозначительно поднимал вверх палец. Это было любимое поучение, с которым мастер в хорошую минуту адресовался к своим питомцам. Изображал же его Ростик так смешно и похоже, что слух об этом ходил по заводу, и однажды даже директор, зашедший понаблюдать за монтажом новых станков, уговорил мальца «показать мастера Курова» и очень при этом смеялся.

На работу Куров и Ростик ходили вместе. На обратном пути один из них заглядывал в магазин, получал по карточкам, что положено, а вечером вдвоем стряпали на следующий день. Если дела заставляли Арсения оставаться до позднего вечера, он вел Ростика к слесарям, к токарям, к долбежникам, ставил его на место, где днем практиковались ремесленники, поручал нехитрую работенку и просил приятелей «присмотреть за пареньком».

— Учись, орел. Хорошая профессия — неразменный рубль. Все на свете меняется: люди стареют, деньги дешевеют, красота вянет, одно прочно — мастерство. Тесть мой Степан Михайлович, сам первый раклист, говорит: «Ремесло плеч не тянет». Ты, орел, это запомни.

Когда возвращаться домой было поздно, они оставались ночевать на заводе, пристроившись где-нибудь на брезенте у батарей парового отопления. Немало людей в ту пору ночевало в цехах. Мальчик любил эти ночи, казавшиеся ему таинственными. Смолкал шум станков, гасли огни, сквозь странную тишину слышно было, как постукивают батареи отопления, гудит мотор вентилятора, где-то вдали жужжит пламя сталеплавильной печи. И новые, непонятные звуки, будто прятавшиеся от людей днем, доносились теперь с разных концов, сливаясь с натруженным храпом спавших.

Но громче всего раздавался в этот час стрекот сверчка. Он точил и пилил, будто неутомимый маленький слесарь. Среди станков, моторов, приводов, среди груд железа и

стали тоненький, всюду слышный звук этот был так необычен, что казался мальчику голосом какого-то волшебника, который днем живет в этих станках, машинах, аппаратах, крутит колеса, а по ночам, когда люди уходят или засыпают и машины стоят, вылезает на волю и, расхаживая по цеху, тоненьким голосом разговаривает сам с собой. И мальчик, видевший на коротком своем веку немало жутких смертей, столько раз сам находившийся на волосок от гибели, пугливо прижимался к Арсению, который спал всегда на спине, богатырски раскинувшись и исторгая такой храп, что знавшие об этом его свойстве рабочие никогда не ложились рядом. Отпугивавший всех храп Арсения Курова, как и горьковатый табачный запах его прокуренных, даже пожелтевших от копоти усов были как-то особенно дороги его названому сыну.

9

Нет, нет, не сам мальчик доставил Арсению Курову хлопоты, от которых затрещала его перенесшая столько житейских тягот спина.

Однажды в цехе появился пожилой человек с портфелем под мышкой. В это время монтировали один из трофейных токарных станков, захваченных в немецкой походной мастерской. Конструкция была незнакомая, чертежей, разумеется, не было. Лучшим ребятам из «дикой дивизии» под руководством самого Арсения Курова пришлось вести монтаж «на ощупь». Увлеченные трудным делом, они не заметили, что за ними издали наблюдает посторонний.

— Ростик, малый ключ сюда,— командовал Куров.— Подержи-ка сзади... Так, так, сильнее нажимай... Ну, все вместе взяли...

Лишь когда упрямая деталь была поставлена на место и все с облегчением распрямили спины, незнакомец, улыбаясь Ростику, заметил:

— Мужичок с ноготок, а гляди-ка!

— Да, этот орел у нас от взрослых не отстанет! — с добродушным самодовольством сказал Арсений, разминая спину.

— Молодец, что и говорить... А сколько тебе, паренек, годков?

— Двенадцать.

— Двенадцать? Вот как? — будто удивившись, сказал незнакомец и вдруг спросил: — А кто здесь начальник?

— Я начальник,— отозвался Куров, чувствуя, что дело начинает принимать неприятный оборот.— А вы кто такой? Почему вы тут, в цехе?

— А я, как и вы, на работе,— ответил незнакомец.— Я инспектор охраны труда. Вот пропуск, а вот удостовереньице. И позвольте-ка, я запишу вашу фамилийку...

— Это для каких же дел?

— А для протокольчика, для протокольчика. Видите — малолетний у вас в цехе работает. А закон это запрещает...

«Пришла беда — открывай ворота»,— подумал Арсений, как-то весь сразу увянув. Сильный, не боящийся никакой работы, он трусил и совершенно терялся среди, как он говорил, «бумажных дел». Сразу люто возненавидев благообразного инспектора с его манерой противно-ласково произносить даже такие слова, как «протокол», Арсений удержал рванувшуюся на язык брань и, указав свой кабинетик, пригласил:

— Пойдем ко мне.

— Зачем? — подозрительно спросил инспектор.

— На полу, что ли, на меня протокол будете составлять?..

Плотно прикрыв дверку и усадив инспектора, Куров рассказал ему историю мальчика. Рассказывая, он наблюдал за морщинистым личиком и видел, что собеседник все понимает. Даже слезы навертываются у него на глаза.

— Хороший вы дядя,— сочувственно сказал он, когда Арсений кончил.— Мне ль вас не понять — сам в эвакуации женку похоронил... Но протокольчик на вас все-таки придется составлять. И штрафик за допущение труда малолетних вам платить придется.

— Штрафик? — переспросил Арсений с облегченным сердцем: со сверхурочными он зарабатывал много, и денежная потеря не пугала его.

— Пока что штрафик. А этого пролетария придется, понятно, из цеха убрать, тут уж ничего не поделаешь...

Тяжелая злоба горьким комом подкатила к горлу мастера. Перед этим сморчком, перед этой машинкой он изливал душу! Но, опять сдержавшись, он только хмуро ответил:

— Не уберу.

— Уберете, дорогой товарищ, уберете, в законе такая статейка есть: труд малолетних в Советском Союзе строжайше запрещен... Жаль мне вас, очень жаль, голубчик, а ничего не попишешь, закончик, закончик!.. Не я его составлял, не я его принимал, мое дело — следить, чтобы он выполнялся.

— Так нет же правил без исключения.

— А я на то и существую, чтобы исключения не делались. Исключения только через мой труп... Распишитесь здесь, на протокольчике.

Куров, не споря, уплатил штраф, но мальчик по-прежнему ходил с ним на работу. Через несколько дней появился председатель завкома, выпроводил ребят из комнатки Арсения и стал его урезонивать, заявляя, что инспектор подаст на него в суд. Куров бросился к директору. Это тоже был свой, давний заводской человек. В первую пятилетку работали они в одном цехе. Тиски их стояли рядом. Вечерами он ходил учиться сначала в школу, потом на рабфак. Уехал в Москву в институт и вернулся на завод уже инженером, а перед войной сделали его директором. По старой памяти с Куровым они были на «ты» и, оставшись наедине, звали друг друга по имени. На него, на «своего парня», была теперь вся надежда Арсения.

Директор, разумеется, знал историю Ростислава, понимал, что не по блажи, а для того, чтобы поскорее вывести мальчика в люди, из боязни на весь день оставлять его одного дома, без призора, Куров определил приемыша на работу. Оказалось даже, что директор уже пытался по собственному почину сделать все возможное, звонил Северьянову, говорил с председателем областного Совета. Но ему ответили: закон есть закон. А товарищ из областного Совета даже признался:

— Я этому Курову вот как сочувствую. Был бы другой инспектор, можно бы было с ним потолковать, а ведь этого так и зовут: «Только через мой труп».

— Так чего же вы этот «труп» на работе держите?

— А для того и держим, чтоб закон защищать. И от таких вот жалостливых хозяйственников, как ты, и от таких сговорчивых профсоюзников, как я,— ответил председатель облсовета...

Когда хмурый и злой Куров вернулся от директора, Ростислав, глотая слезы, спросил, забирать ли ему домой свою спецовку. Мастер свирепо сверкнул белками цыганских глаз.

— Еще чего... Я своего добьюсь, я им всем докажу, что у нас закон для людей, а не люди для закона! Провались они все, бюрократы!..

10

В партийный комитет ткацкой фабрики позвонил городской военный комиссар:

— Тут ко мне бумага из большого хозяйства прибыла. Вас, Анна Степановна, касается... Кто примет телефонограмму?

Технического секретаря поблизости не оказалось. В парткоме сидело несколько ткачих, и Анна спросила, нельзя ли переслать бумагу почтой.

— Никак нет, товарищ Калинина. Приказано тотчас же передать, и лично вам! — веселым голосом ответил военком.

— Кем приказано?

— Секретарем горкома. Я ему уже докладывал, и он сказал: «Передайте по телефону Анне Степановне...» — Должно быть, для убедительности, подражая секретарю, военком последнюю фразу выговорил с упором на «о».

Это был приказ по штабу фронта. В нем говорилось, что, по решению Президиума Верховного Совета СССР, за храбрость, мужество и самоотверженную отвагу, проявленные в дни оккупации города Верхневолжска в борьбе с фашистскими захватчиками, Мюллер Евгения Рудольфовна награждена орденом Красного Знамени.

Привыкший к точности военком еще передавал подписи и даты, но Анна не слушала. Вскочив, она закричала ткачихам:

— Девушки! Нашу Женю Мюллер Боевым Красным Знаменем наградили! — И тут же бросила в телефонную трубку: — За такую весть вас, товарищ военком, расцеловать мало.

— Не откажусь! Я вам, товарищ Калинина, на собрании партийного актива об этом напомню. Ладно? — И уже деловито военком добавил: — У меня всё.

— И у меня всё,— в тон ему ответила Анна, чувствуя, как что-то ширится в ее груди.— За храбрость, мужество, самоотверженную отвагу!.. И нет «посмертно». Значит, жива...

Приказ размножили на машинке. Татьяне Степановне, матери Жени, послали на фронт телеграмму. В перерыве

агитаторы зачитали приказ в столовых. Галка, отпросившаяся с работы, чтобы передать весть деду, по дороге в общежитие всем и каждому взахлёб рассказывала новость. Все радовались. Даже те, кто попортил Жене немало крови, говорили теперь: советская власть знает, кого и за что награждать... Одно оставалось неясным, одно тяготило всех, и особенно остро Анну: где Женя, куда она ушла из дома?

А судьба Жени Мюллер сложилась так. После памятного ночного разговора с сестрой и стариками она решила уехать с фабрики, где Калининых все знали. Но куда? И тут невольно вспомнилось мужественное братство разведчиков, сплоченных общей опасной работой, и как-то само собой возникло решение вернуться в армию. Немало девушек в те дни уходило добровольно на фронт. Но направить заявление обычным путем Женя не могла. Нога еще не вполне зажила. Первая же медицинская комиссия забраковала бы ее. Знала Женя и то, что после всего с ней случившегося старики добром ее не отпустят и что властная бабка, которую в городе все знают и уважают, сумеет, пожалуй, найти средство помешать ей.

И вот после той тягостной ночи девушка решила просто исчезнуть, оставив дома письма Курта Рупперта, которые гордость мешала ей до сих пор показать кому-либо в качестве оправдания.

Утром, когда все ушли на работу, Женя, сложив в узелок самое необходимое, прихрамывая и опираясь на палочку, добралась до военной комендатуры. Здесь в одной из комнат она отыскала капитана, с которым ей приходилось встречаться на общем деле во время своей подпольной работы в оккупированном городе. Слушая ее, капитан с сомнением смотрел на клюшку, покачивая головой, и намерения ее не одобрил: как бы ни тяжела была обстановка на фронте, в раненых там не нуждаются. Но Женя так горячо, так упорно убеждала, что в конце концов капитан сдался и отправился навести необходимые справки.

Вернулся он довольный и заявил, что девушке необычайно повезло. Как раз сейчас в нужном направлении уходит машина, на которой возвращаются партизанские командиры, приезжавшие в Верхневолжск получать боевые награды.

— Довезут прямо до места и скучать по дороге не дадут,— сказал капитан, все еще с сомнением посматривая на клюшку, которую Женя отставила подальше, и вздох-

нул: — Эх, подождать бы вам, пока нога окончательно заживет...

— Нет, нет, я поеду! — испуганно вскрикнула девушка.

Капитан сам представил Женю военному, сопровождавшему команду, и, должно быть, даже что-то успел рассказать о ней, так как лысый хмурый и молчаливый офицер оглядел ее с любопытством, с уважением и даже предложил ей свое место в кабине грузовика. Но Женя отказалась.

— Правильно, девушка, не отрывайся от масс! — послышалось с машины.

Какой-то дядя с густой, будто из бронзы вычеканенной бородой, перегнувшись через борт, взял ее под мышки, поднял, как ребенка, качнул раза два для острастки и бережно опустил в кузов.

Трудно представить компанию пестрее и веселее той, в которой неожиданно очутилась беглянка.

— Рады вас приветствовать на борту нашего судна, миледи, — шаркнул сапогом худенький, верткий парень в короткой куртке с бобровым воротником, явно перешитой из немецкой офицерской шинели, в смушковой кубанке, заломленной так лихо, что казалось, она вот-вот свалится с левого уха. Он хотел было по-рыцарски раскланяться перед Женей, но машину тряхнуло на сплетении трамвайных рельсов, и он, пожалуй, полетел бы через борт, если бы его не поддержали крепкие дружеские руки. На дне кузова отыскали смушковую кубанку, надели парню на голову, и он, смущенно спрятавшись за спины товарищей, бросал оттуда любопытные взгляды на неожиданную спутницу.

Пожилой усатый человек с задумчивым лицом, сидевший на запасном баллоне под защитой кабины, освободил место.

— Садись, девушка. Дорога дальняя, да и студено сегодня, сиверко, насквозь проберет.

Женя уселась, и ей вдруг стало необыкновенно покойно и уютно, как бывало в детстве, когда мать, уложив ее в кровать, делала из одеяла мешочек, подтыкая края под ноги.

Партизаны! С каким уважением и любовью произносили в те дни в тылу и на фронте это слово! Народные мстители, таинственные, отважные, независимые. И вот теперь, удобно устроившись на баллоне, глубоко засунув руки в рукава, девушка жадно рассматривала их. Какие

разные это были люди! И как бы она удивилась, узнав, что поднявший ее в машину рыжий борода, по прозвищу Батя, до войны был цирковым атлетом, что парень в кубанке — недавний студент политехнического института — уже трижды спускался на парашюте в тыл врага и налаживал для партизан оружейные мастерские, где по разработанному им способу изготовляли мины из кусков водопроводной трубы и начиняли их толом, выплавленным из неразорвавшихся снарядов, что молчаливый усач, уступивший Жене место, в прошлом механик МТС, а другой усач, широкоплечий, с лицом медного цвета, напоминавший девушке толстяка Ламме из «Тиля Уленшпигеля», оказался партийным работником.

Справа от Жени на том же баллоне сидел человек с бледным задумчивым лицом и такой заурядной внешностью, что мог затеряться в любой толпе. Он был моложе многих своих спутников. Однако все звали его Дедом, и даже бесшабашный партизан в смушковой кубанке смолкал, когда он начинал говорить.

Дед курил одну за другой вонючие трофейные сигареты и изредка с любопытством поглядывал то на Женю, то на госпитальную клюшку с резиновым наконечником, лежавшую у нее на коленях. В простом, невидном этом человеке было что-то располагающее, вызывающее доверие. И Женя, та самая скрытная, самолюбивая Женя, которая в ответ на все обвинения не произнесла ни слова в свое оправдание, сама, без всяких расспросов, поведала этому незнакомому ей партизанскому командиру свою душевную боль.

Грохоча бортами, машина неслась по накатанной дороге. Отплывали назад руины городской окраины. Перемахнув по узкому, круто выгибавшему спину путепроводу, через восстановленное железнодорожное полотно, черневшее свежим мазутом, она вылетела на шоссе. По обочинам кое-где темнели грузные корпуса сожженных и подбитых танков, увязшие в снегу пушки, остовы автомашин. Но эти уже полупогребенные в сугробах следы войны бессильны были нарушить красоту старого леса, с двух сторон надвигавшегося на шоссе. Низко опустив под тяжестью снега плечи ветвей, торжественными шеренгами стояли старые ели. Острые их вершины, таившие в пазухах золото шишек, казалось, вонзались в бледно-голубое, будто бы эмалированное небо. Под сенью ветвей, там, где на снегу лежали синие густые тени, в одиночку, группами, толпа-

ми, точно солдаты в маскировочных халатах, притаившиеся для нового броска, были рассыпаны занесенные снегом маленькие сосенки. Кромка леса розовела, подсвеченная сзади лучами низко бредущего солнца. Все кругом сверкало, искрилось. Красиво, очень красиво было в этом заиндевевшем и как бы окаменевшем лесу! Но Женя, любившая даже те скромные тополя, что росли на фабричном дворе, сегодня была слепа к этой красоте. Не слышала она и разговоров, звучавших вокруг нее, не подхватила песни, вдруг вспыхнувшей в кузове и раскатившейся в морозной тишине.

Беседуя с Дедом, девушка отводила душу, а тот лишь покачивал головой и курил. Вот пошла по рукам ёмкая, обшитая сукном фляга. Каждый пригубливал под шутки и прибаутки. Когда фляга дошла до Деда, он вытер горлышко чистым носовым платком и протянул Жене:

— Погрейтесь, ехать еще далеко.

И Женя, не терпевшая хмельного, сделала несколько глотков. Потом деловито, будто принимая лекарство, приложился к фляге Дед и передал ее соседу.

— Простите, я вас прервал... Продолжайте, пожалуйста...

— Да больше уж и не о чем... Вот еду на фронт,— просто сказала Женя.

Помолчали. Дед закурил новую сигарету.

— Такая уж это война,— сказал он, стараясь рукой отогнать от Жени дым.— У нас в отряде были и немец, и австриец — антифашисты, правильные люди. Отряд состоял из окруженцев. Ребята вдоволь побродили по вражеским тылам, фашистских художеств нагляделись, до того стали злые, что от одного слова «немец», бывало, зубами скрипят. А с этими двоими, можно сказать, сдружились. Зато те меж собой будто кошка с собакой. Как сойдутся, австриец немцу: «Ты мою страну испоганил, нацист!» А немец австрийцу: «Это твой сумасшедший землячок Адольф Шикльгрубер Германию кровью залил». До драки доходило. Умные, дисциплинированные ребята, а пришлось в разные роты разбросать...— Дед вздохнул. Облако морозного пара сорвалось с его губ.— Нет, девушка, вы на земляков своих не обижайтесь: столько перенесешь — тормоза откажут.

— Я не обижаюсь, тяжело мне...— сказала Женя и, посмотрев на спутников, добавила: — Было.

Вдруг Дед вскочил и застучал ладонью по крыше ка-

бины. Машина еще скрипела тормозами, а пассажиры ее, попрыгав за борт, бежали прочь от дороги, перемахивали через кювет и, увязая в снегу, опасливо посматривали на небо. Из шоферской кабины вышел офицер и, оглядев небосвод, спросил удивленно:

— Почему тревога?

— Не тревога, товарищ старший лейтенант,— улыбнулся Дед,— сено я заметил, вон стога... Надо в кузов набрать, путь не близкий, и чуете, сиверко как задувает?

— Дело,— согласился офицер и вместе с партизанами двинулся к стогу.

Глубокий снег хватал за валенки, будто пытаясь стащить их. Женя не захотела отставать от других и двинулась за остальными, с трудом выволакивая из сугроба раненую ногу. Добравшись до стога, она набрала охапку поухватистей. Сено дышало ароматом лета. Вспомнился пионерский лагерь, белые палатки, сверкающая на солнце Волга, загорелые тела, звон косы, доносившийся с лугов...

— Синьора, не могу допустить! — воскликнул парень в кубанке и, выхватив у Жени сено, понес его к машине.

Партизаны не могли забыть, как прыгали из кузова на дорогу. Смущенные, они старались не смотреть друг на друга.

— Учебная тревога прошла удовлетворительно,— улыбаясь, обобщил Дед.— Лихо сигаете, хлопцы.— И шепнул Жене: — Храбрейшие люди, под пистолетом не моргнут, но в отношении самолетов у нас, партизан, так сказать, первобытный инстинкт. Не привыкли...

В кузове стало тепло, удобно. От нескольких глотков водки у Жени слегка закружилась голова. Хотелось, ни о чем не думая, так вот ехать и ехать, слушая сквозь дрему неясное звучание голосов, шутки, ощущая знакомую атмосферу боевого братства. Теперь девушка не сомневалась, что поступила правильно, верила, что и на фронте ее поймут, не осудят. В душе даже затеплилась надежда, что где-то там,— она не представляла, где именно,— кто-то поможет ей напасть на след человека, столь трагически ворвавшегося в ее жизнь. С этой мыслью Женя уснула, и так крепко, как, может быть, ни разу не спала с начала войны.

Когда она открыла глаза, машина стояла. Грубо отесанная жердь, как протянутая рука, преграждала дорогу. Партизаны, разминаясь, приплясывали и топали возле шлагбаума. Начальник команды вполголоса переговаривал-

ся с часовым. Дед знаком показал Жене, что нужно выходить, а бородатый Батя легко, как ребенка, принял ее на руки и поставил на землю. Машина покатила назад, а партизаны пошли гуськом по хорошо утоптанной, удобной, по узкой тропе, ведущей к деревне, которая виднелась вдали. Мороз крепчал. Снег туго скрипел под ногой. Солнце, клонясь к закату, обагряло горизонт, окрашивая все вокруг в оранжевые тона, и в этом свете каждая ветка вырисовывалась с чеканной четкостью. У стога сена, что темнел невдалеке от тропы, Женя заметила странную собачку с красной шерсткой и пушистым хвостом. Та осторожно и, казалось, брезгливо переставляла по снегу лапы. Когда цепочка партизан поравнялась с ней, она неторопливо свернула за стог и, навострив уши, выглядывала оттуда, настороженно приподняв переднюю лапу.

— Мышкует, кумушка,— сказал Батя, усмехаясь в бронзовую бороду.

— Эх, резануть бы сейчас автоматом пару очередей, я бы, миледи, роскошный лисий воротник положил к вашим ногам,— сказал Жене парень в кубанке.

— Кабы по ней здесь очереди давали, она б так не стояла,— заметил Батя.— Лиса, брат, не мы с тобой, она животное хитрое, под пулю не лезет. А тут она знает, что штабная комендатура охраняет ее от таких вот любителей воротников.

— Хищники нынче сытые,— сказал усач.— Волки раздобрели, что твои кабаны...

Совершенно успокоенная разговором с Дедом, хорошо отдохнувшая, Женя бодро ковыляла, опираясь на палку, вместе с незнакомыми, но такими уже близкими людьми. Она не знала, куда они сейчас придут, где доведется ночевать. Ее денег вряд ли хватило бы на кринку молока да краюху хлеба. Но и это ее не заботило. Она знала, что эти случайно встреченные люди не оставят ее, поделятся последним и что в конце концов все как-то наладится...

Вечерело. Багровая полоса заката, перечеркивавшая горизонт, уплотняясь, отсвечивала перламутром. Легкие сумерки, надвигаясь с востока, растворяли голубизну снегов. Крыши изб стали золотыми, в одном из окон остро сверкал последний заблудившийся луч, и над деревней зажглась одинокая зеленая звезда.

Едва войдя в деревню, Женя сразу поняла, что тут располагается крупный штаб. Провода бежали от забора к забору. Во дворах возле изб белели притаившиеся вездехо-

ды... Под навесами крылец тихо маячили часовые. Румяная деваха в гимнастерке, темной юбке и ослепительно сверкающих сапогах выбежала из дома, к которому сходились провода, с раскаленным духовым утюгом. Она хотела было продуть утюг, но застыла на месте, удивленно уставившись на группу столь живописно одетых штатских. Глаза краснощекой девицы остановились на Жене, скользнули по шубке и вязаной шапочке с помпоном, по палке с резиновым наконечником, и вдруг, оставив утюг на перильцах крылечка, девушка бросилась назад в избу, из которой доносилось ритмичное стрекотание телеграфных аппаратов. И сразу же в окнах замелькали девичьи лица.

Женя и часу не прождала в избе, временно отведенной партизанским командирам. Раздался скрип сапог в сенях, дверь распахнулась, и на пороге в длинной шинели, в фуражке, странно выглядевшей в зимнюю стужу, в хромовых сапогах появился ее старый знакомец — худощавый, бледный майор Николаев. Как-то очень по-штатски поприветствовал он вскочившего при его появлении начальника команды и, улыбаясь, подошел к Жене.

— А, Мюллер! Вот кого не ожидал!.. Уже ходите? Отлично!.. У вас, в Верхневолжске, теперь тишина, глубокий тыл, а вы на фронт... да еще с незажившей раной...

— Ой, товарищ майор, тут такое!..— В голосе Жени послышались слезы.

Мгновение майор удивленно смотрел на нее.

— Не будем мешать товарищам отдыхать,— прервал он Женю,— идемте к нам в отдел.

Откозыряв партизанам, он увел девушку в другую избу, усадил у топящейся печки и почти приказал:

— А теперь рассказывайте!

Он не смотрел на собеседницу, он глядел на огонь в печи, но Женя чувствовала, что он не пропускает ни одного ее слова. Николаев ни разу не прервал девушку, не задал ни одного вопроса и лишь, когда она, уже успокоенная, закончила рассказ, спросил:

— Что же будем делать?

— Я не знаю... Вот пришла проситься обратно.

Майор взглянул на нее, как показалось Жене, даже обрадованно.

— А страх? Страха нет? Вы столько перенесли... Только откровенно, слышите! От этого может зависеть ваша жизнь. В трудную минуту не струсите?

Женя грустно улыбнулась.

— После того, что я пережила?.. Нет.

— Хорошо. Пока я вас устрою к переводчицам. Заночуете у них, а утром вам привезут паек и все, что положено. И думайте, Мюллер, как следует думайте! Сапер ошибается раз в жизни, разведчик не может себе позволить и этой роскоши... Я доложу о вас... А пока я вас отведу на ночлег, и высыпайтесь как следует.

В избе, где жили военные переводчицы, Женю встретили настороженно. Эти девушки из интеллигентных семей не успели, а может быть, и не хотели свыкнуться с военной обстановкой. Они жили маленьким, замкнутым девичьим мирком, как сокровища, хранили домашние халатики, туфли, платья, и когда кончалась работа, спешили сбросить форму и скорее переоблачиться в них. Изба отличалась чуть ли не хирургической чистотой. На койках поверх тощих интендантских подушек лежали думочки в домашних наволочках. На большом столе, за которым работали девушки, красовалась в банке из-под свиной тушенки душистая еловая ветвь с золотистой, пустившей смолу и вкусно пахнущей шишкой.

Хозяйские иконы были убраны с божницы, чего в обычном штабном жилище никогда не делали. Вместо них было поставлено зеркало, и под ним теснились флаконы, баночки, головные щетки и гребешки. При появлении Николаева три девушки в военном встали. Выслушав распоряжение майора о том, что Женю надо надлежащим образом устроить здесь на ночь, они переглянулись, подождали его ухода и, ни слова не говоря, стали освобождать койку у окна.

В избе стояла напряженная, недружелюбная тишина.

— Здравствуйте, девушки,— сказала Женя, с любопытством и без смущения следя за тем, как одна из них, полная, пышноволосая, с красивыми черными выпуклыми глазами, торопливо забирает подушки, сдирает с койки простыни и одеяло.

— Здравствуйте,— коротко ответили ей.

— Вы знаете немецкий? — поинтересовалась тоненькая, гибкая блондиночка с хорошеньким, кукольным личиком.

Наступило неловкое молчание, во время которого Женя тяжело опустилась на лавку, положив рядом свою клюшку.

— Знаю,— ответила Женя и, встряхнув головой, распустила свою толстую, светлую, будто из льна, косу.

— Вы переводчица?

— Нет, я ткачиха...

— Ткачиха? — Девушки многозначительно переглянулись.

— До войны была на комсомольской работе.

— Вы что же, знакомая майора Николаева? — спросила третья девушка, коренастая, широколицая, с такой же богатой, как и у Жени, косой, быть может вкладывая в эти слова особый смысл.

— Да, я знаю майора, — спокойно ответила Женя. — Если вы, девушки, не возражаете, я сейчас лягу вот тут, на скамье: я очень устала.

Она сняла шубку, положила ее в изголовье, скинула валенки и прикорнула не раздеваясь. Засыпая, она слышала шепот, обрывки фраз: «Безобразие... Так вот сунул в хату и ушел... У нас секретные документы... Знаете, девочки, завтра же надо доложить полковнику, даже комиссару штаба... Николаев не имеет никакого права. Почему мы должны тесниться из-за каких-то его знакомых?»

Женя так устала, что ей трудно было даже открыть глаза. Лишь одна фраза привлекла ее внимание: «Витязи, она сказала: «ткачиха»? Наверное, из Верхневолжска... Ты бы, Тамара, спросила: может быть, она знает твоего милейшего Жорочку». А та пышноволосая, полная, что освобождала койку, ответила: «А зачем? Если и знает, что из того!»

11

Женя проснулась. От жесткой лавки болели бока.

Косые лимонно-желтые лучи солнца пронзали комнату наискось. Острыми искрами зажигали они затейливые папоротники, нарисованные морозом на стекле, и, отражаясь в зеркале, бросали дрожащих зайчиков прямо ей в лицо. Девушек, так недружелюбно встретивших ее накануне, не было. Они, вероятно, ушли работать, а перед этим, по-видимому, сменили гнев на милость: под головой у Жени оказалась подушка. На ней крестиками была вышита кошка, подкарауливающая бабочку. Кто-то укрыл девушку одеялом из верблюжьей шерсти, а сверх того армейским полушубком, источавшим кисловатый уютный запах.

«Твоего милейшего Жорочку», — вспомнилось Жене. Гм, гм... Впрочем, подушка с кошкой и верблюжье домаш-

нее одеяло открыли Жене что-то новое, и она, расчесывая волосы, думала: «Конечно, не легко и не просто этим девчатам сразу из-под теплого маменькиного крыла перенестись на фронт, в походную обстановку, в это бивачное жилье».

На столе лежал сверток. К нему булавкой была приколота записка. Женя прочитала: «Майор Николаев прислал вам паек. Рукомойник в сенях, за дверью, чистое полотенце там же на гвозде. Чай в печке, чашки в шкафчике под зеркалом». В свертке оказались буханка хлеба, банка свиной тушенки, концентраты горохового супа, кубики кофе и пачки махорки. Все это было завернуто в один из тех немецких плакатов, какими в дни оккупации были заклеены заборы и стены Верхневолжска. Плакат изображал бравого немецкого офицера в фуражке с высокой тульей; держа в руках коробку с конфетами, он протягивал ее тощим, оборванным ребятишкам. Женщина в темной косынке, в онучах и лаптях с молитвенным изумлением взирала на этот акт милосердия. Еще дальше — бородач в посконной рубахе, шляпе-грешневике, какие Женя видела лишь на иллюстрациях в томике стихов Некрасова, снимал с покосившейся избенки советский флаг, а улыбающийся немецкий ефрейтор подавал ему трехцветный, старороссийский. Вверху было написано: «Мы принесли вам», а снизу: «свободу, благоденствие, культуру». В оккупированном Верхневолжске такие плакаты подпольщики умышленно не срывали. Обычно замазывали нижний ряд слов и взамен углем писали: «грабеж, голод, смерть». Женя брезгливо скомкала плакат, бросила его к печке.

Затем, следуя оставленной инструкции, она умылась в сенях, утерлась висевшим на гвозде полотенцем, достала из шкафика под божницей чашку, нашла кипяток и в ожидании, пока разойдется кубик кофе-концентрата, жевала хлеб... Как же теперь сложится ее жизнь? Может быть, скоро, через месяц, даже через неделю, придется снова уходить из этого трудного, измученного войной, но привычного и дорогого мира в тот чужой, звериный, где человек человеку волк, где за каждым углом подстерегает опасность, где малейшая ошибка повлечет такую расплату, перед которой и смерть может показаться избавлением. Женя снова на мгновение ощутила незабывавшуюся жуть одиночества, и ей стало страшно... Еще не поздно. Майор просил подумать. В самом деле — хватит ли сил выдержать?

— Выдержу, не струшу,— произнесла Женя вслух, и пожилой солдат, вошедший в избу с охапкой дров, удивленно взглянул на девушку, разговаривавшую сама с собой.

— Здравствуйте вам,— сказал он, бросил дрова перед печкой и неторопливо стал городить в топке звонкие березовые поленья.

Не оглядываясь на Женю, он наколол лучину, нащепал бересты, поднес к ней зажигалку и стал наблюдать, как желтые веселые языки пламени наполняли печь. Под короткими ершистыми усами засветилась улыбка.

— Хорошо, а? — спросил он, показывая на весело потрескивающие дрова.— Не какой-то там бог из глины, а огонь человека человеком сделал...— Быть может, задумчивой ласковостью речи или склонностью пофилософствовать солдат напомнил Жене деда Степана Михайловича, и это как-то сразу расположило к нему девушку. Вот он поднял и задумчиво повертел Женину палку, стоявшую возле печки.— Как же это вас, хроменькую, на фронт призвали?

— Я не хромая. Ранена была...

— Ранена? — Солдат с уважением посмотрел на тоненькую девушку с тяжелой светлой косой, переброшенной через плечо. Потом прикрыл печную дверку и, опираясь руками в колени, с трудом поднялся на ноги.— Ранена, вон оно что... В царскую войну женские батальоны были. Назывались они «батальоны смерти». Только какая уж там смерть, одно баловство было. Теперь иное, теперь война лютая: либо мы, либо они... Малые дети и те вон партизанят... Читал я «Войну и мир», произведение Льва Толстого. Тоже тогда народ на Наполеона Бонапарта поднимался. А только разве такое, как сейчас, бывало?.. Стало быть, уж и в госпитале успели полежать? Так, так...

Он достал свернутую пачечкой газету, оторвал листок, долго и старательно вытряхивал из кисета остатки табачного крошева. Женя вспомнила о своем пайке и, взяв со стола остро пахнущие пачки, протянула солдату.

— Что ж, спасибо,— сказал он, держа махорку на ладони.— А может, самой пригодится? Вон девушки-лейтенанты на молоко меняют. Возьмите-ка лучше, а?

— Менять? Что я, торговка! — даже рассердилась Женя.— Берите!

— Ну, спасибо,— сказал солдат и не спеша стал пересыпать махорку в кисет. Потом закурил, посмотрел

на валявшийся у печки скомканный плакат, покачал головой.

— «...принесли вам свободу, благоденствие, культуру»,— насмешливо произнесла Женя.— И царский флаг... Вот идиот этот Гитлер!

— Нет, девушка, не идиот он,— задумчиво сказал солдат.— Разве безумному суметь этакую нацию, как немцы, по рукам и ногам скрутить, за десять лет миллионы людей в машины превратить! Был бы идиот, разве б ему покорить Европу? Ведь это подумать, какие государства за недели брал! Да и нам чести мало, если мы аж до Москвы от идиота отступали...

И, засовывая в печь плакат, он продолжал:

— Не нашлось в мире армии, которая его остановить смогла. А вот с нами просчитался. Теперь, как мы ему под Москвой под зад дали, сидит, поди, и локти кусает, все равно что Наполеон в старой песне.— Солдат дребезжащим тенорком пропел: — «И призадумался воитель, скрестивши руки на грудях: «Зачем я шел к тебе, Россия, Европу, всю держа в руках?..»

Должно быть окончательно проникаясь расположением к тихой синеглазой девушке с толстой светлой косой, он сообщил доверительно:

— И мои годки давно отвоевались, а я вот не смог дома усидеть. Добровольцем пошел...— Он хотел еще что-то добавить, но тут заверещало в зеленом ящике, стоявшем на столе, и солдат взят трубку.— Рядовой Шевелев слушает.— Чей-то молодой энергичный голос напористо рвался из мембраны. Прикрыв ее ладонью, солдат спросил: — Вы будете Евгения Мюллер? — И снова заговорил в трубку: — Так точно, здесь она. Слушаюсь, передам... Здравия желаю!.. У меня тоже все.— Положив трубку, подошел к Жене и сказал вполголоса: — Приказано вам передать, что от майора Николаева сейчас лейтенант будет... Пойду, меня еще целая печная батарея ждет.

Солдат ушел, перебив махорочным духом въедливые ароматы военторговских духов, пропитавшие стены чистенькой избы. Женя съела еще кусок хлеба, смазанного тушенкой, допила кофе, погрызла кубик горохового концентрата, вымыла чашку и, не зная, как убить время, стала осматривать свое новое пристанище.

Теперь ей показалось трогательным, что жившие тут девушки старались внести в это бивачное военное жилье кусочек дома. И это были не только вышитые думочки,

лежавшие на блинообразных казенных подушках. Над койками были приколоты к стене фотографии. Вот пожилая пара — вероятно, родители одной из девушек,— а вот портрет старой женщины с добрым лицом — видимо, бабушка. Так и есть: «Тамарочке от бабушки»,— написано в уголке. Вот семейная группа: мать, отец, дети. В румяной курчавой девочке лет пяти, сидящей на руках отца, Женя узнала полную пышноволосую Тамару. И тут же фотография мужчины — бравый военный, весь затянутый в походные ремни. Он показался Жене знакомым. Что это? Неизвестный командир удивительно смахивал на Георгия Узорова, мужа Анны Калининой... «Чепуха, не может быть. Таких совпадений не случается даже в кино. Да и мало ли на свете похожих людей!» — успокаивала себя Женя. Но тут же вспомнила вчерашнее, сквозь сон услышанное: «...твоего милейшего Жорочку». Именно Жорочку... Как же это? Муж Анны, веселой, жизнерадостной Анны, на которую все заглядываются, отец двух ребят? Дядя Жора, такой вежливый, семейственный?.. Взволнованная Женя не могла, не хотела верить.

— Нет, чепуха, не может быть! — снова вслух проговорила она.

И, словно эхо, чей-то голос удивленно отозвался:

— Не может быть?.. Виноват, не понимаю.

В дверях стоял коренастый молодой человек в полушубке, накинутом на плечи. Шапку он держал в руках. Коротко остриженная, его голова была такой рыжей, что Жене показалось, будто в комнате посветлело.

— Разрешите представиться, старший лейтенант Куварин! — весело сказал он, протягивая руку, и так хлопнул валенком о валенок, что в солнечном столбе, пересекавшем наискось комнату, пришел в движение и закрутился рой сверкающих пылинок. Довольно бесцеремонно оглядев девушку, вошедший сказал: — Вот вы, оказывается, какая! — Разложив на столе бумагу, вынутую из планшета, покровительственно попросил: — А теперь заполним вот это. Особенно подробно напишите об отце: с какого он года в партии, когда убит кулаками; потом, пожалуйста, об этом, мм... мм... о вашем немецком друге: его имя, фамилию, номер части,— словом, все, все, что знаете.

— Но больше мне о Рупперте ничего и не известно,— тихо ответила Женя, чувствуя, как ею опять овладевает тоскливое беспокойство.

Рыжий лейтенант оказался гораздо сообразительнее,

чем можно было предположить по его простецкой внешности.

— Если он в плену, нам необходимо его отыскать,— пояснил он.— Такой человек может принести немало пользы. В большом хозяйстве, товарищ Мюллер, вон метла и та не лишняя...— Но, тут же сообразив, что сравнение это никак не к месту, густо покраснел.

Женя занялась анкетой, но фотография помимо воли притягивала ее взгляд. Будто бы невзначай, она небрежно обронила:

— Вы не знаете, кто это? Вон там, в ремнях?

— Один счастливый смертный,— неопределенно ответил лейтенант.

— Почему счастливый?

— Видите ли, вы, может, уже слышали, что этот дом именуется «высота Неприступная», или, по-другому, «Богатырская застава». Это сильно защищенный пункт. Круговая оборона: доты, дзоты, окопы полного профиля.— Он будто докладывал разведдонесение, но в лице его было что-то вызывающее невольную улыбку.— Каждый сантиметр вокруг этой высоты простреливается перекрестным огнем. Понимаете? Любая вылазка отбивается молниеносно. Когда сойдет снег, вы увидите, что вся местность вокруг покрыта окровавленными сердцами.

— А этот герой в ремнях? Прорвался? — в тон ему спросила Женя, шуткой маскируя нараставшее волнение.

— А-а, военный инженер второго ранга? О, это хитрейший человек!.. Впрочем, чтобы прорваться сюда, он предложил не только свое сердце, но и руку.

— Его фамилия Узоров? Георгий Узоров? — вдруг спросила Женя, требовательно смотря на лейтенанта.

Тот сконфуженно ворошил волосы на затылке.

— Теперь я понимаю, почему майор Николаев вас так ценит. Ловко это вы меня размотали, не заметил, как стал сплетником... С вами, товарищ Мюллер, надо держать ухо востро...

Смущенный лейтенант взял анкету, распрощался, а взволнованная Женя никак не могла прийти в себя. Она видела Анну, ее энергично закинутую назад голову, будто оттягиваемую тяжелым узлом русых волос, ее грузноватую стремительную походку, в ушах звучал грудной, глубокий голос, смех, всегда такой заразительный, что, услышав его, нельзя удержать улыбку...

Как тесен земной шар, как странно распорядилась

судьба или случай, приведя Женю именно в эту штабную деревню, именно в этот дом, именуемый «высотой Неприступной», туда, где висит на стене фотография бравого военного, затянутого в ремни!.. Тамара! Девушки, кажется, в шутку называли ее вчера Ильей Муромцем. Женя вспомнила: у нее круглое, румяное лицо, выпуклые, добрые, как она про себя даже определила, «воловьи» глаза и волосы копной. Девушка как девушка. Ничего особенно привлекательного. Неужели на нее сменял Георгий Узоров свою жену? Неужели она принесла такую непоправимую беду в семью гордой, красивой, кипучей Анны?

Еще вчера Женя сердилась на тетку. От Анны, знавшей ее с детства, от Анны, секретаря парткома своей фабрики, ждала она помощи в трудные часы жизни. Ждала, не получила и обижалась, хотя и понимала, что щепетильность именно в отношении своих — черта всех Калининых. Теперь девушка позабыла обиды. Ей было жалко тетку, детей, даже почему-то и эту волоокую Тамару, и она понимала, что ничем, никак и никому не может она здесь помочь.

Старый солдат внес еще одну койку, пристроил колючий тюфяк, топорщившийся вкусно пахнущей соломой. Он вопросительно посматривал на Женю, неподвижно, безучастно сидевшую у стола.

— Для вас это,— пояснил он наконец, намереваясь застилать постель, но девушка отняла у него простыни, одеяло, подушку и быстро устроила все сама.

Вернувшись с работы, переводчицы увидели ее на новой койке за книгой. Женя вопросительно и несколько настороженно смотрела па них.

— Уже устроились? Ну вот и славно,— сказала волоокая Тамара, окинув взглядом новую, с солдатской тщательностью постеленную и заправленную койку.

— Чаю, девочки. Полжизни, месячный доппаек за стакан чаю,— капризным голосом попросила та, что была похожа на куколку.

Пока девушки, быстро скинувшие военную форму и переодевшиеся в свои пестрые байковые халатики и домашние шлепанцы, с шумом умывались в холодных сенях, Женя, совсем уже освоившаяся на новом месте, достала из печки котелок с кипятком, заварила чай, расставила посуду.

— Ой, какая вы умница! — воскликнула девушка-куколка, звонко чмокнув ее в щеку.

Третья обитательница «высоты», кругломиная, коренастая, распускала тяжелый узел волос, освобожденных из-под шапки. Пряча улыбку в умных серых глазах, она серьезно произнесла:

— Девочки, надо же пояснить, с кем наша новая подруга имеет дело. Вы знаете, что этот дом — богатырская застава?

Она достала из-за кровати репродукцию с известной васнецовской картины «Три богатыря». Вместо живописных лиц в нее довольно ловко были вклеены фотографии, причем плотная, грузноватая Тамара оказалась, конечно, Ильей Муромцем, хорошенькая куколка Нина — Алешей Поповичем, а плотная Лариса, с трудом прятавшая свои русые косы под форменную ушанку,— Добрыней Никитичем. Было сказано, что картину эту преподнесли обитательницам «высоты» военные корреспонденты в благодарность за интересные трофейные документы, которыми девушки время от времени снабжали их. За чаем шумно подыскивали подходящее богатырское имя для новой обитательницы «высоты». Но так как самые популярные витязи были уже разобраны, пришлось в конце концов Женю оставить Женей.

А та с улыбкой слушала веселые споры, поражаясь, как со вчерашнего дня изменились все три богатыря. И ей вспомнилось, что так вот бывало и на «Большевичке», когда рабочие, спеша со смены, толкались, и галдели, и злились, штурмуя автобус, а потом, втиснувшись и рассевшись по скамьям, оказывались вдруг добродушнейшими и доброжелательнейшими людьми. Девушки поили Женю молоком, добытым у хозяев в обмен на табак, угощали шоколадом, оставшимся еще от праздничных подарков, вводили в курс штабных дел.

Женя просто приняла предложенную ей дружбу. Ей было бы совсем хорошо, если бы с фотографии, висевшей над койкой волоокого Ильи Муромца, на нее не смотрело такое знакомое ей лицо человека, которого Тамара называла своим мужем.

Тут смелая Женя терялась, не зная, как ей поступить...

12

И она поступила, как подсказала совесть. Как-то вечером, когда девушки ушли в «киносарай» смотреть очередной фронтовой сборник, а Илья Муромец, у которого бо-

лели зубы, остался с завязанной щекой переводить письма из перехваченной партизанами немецкой полевой почты, Женя стремительно проговорила:

— Тамарочка, а я знаю Узорова.

Тамара не переменила позы, только письмо, которое она переводила, задрожало у нее в руке.

— Он ваш земляк? — чуть слышно спросила она.

— Узоров — мой дядя, то есть муж моей тетки,— твердо ответила Женя.— У него двое детей.

— Я знаю,— прошептала Тамара, бледнея.— Он ничего от меня не скрывал.

За окнами под валенками часового мягко похрустывал снег. Бойко тикали золотые часики Тамары, лежавшие на столе.

— И вы все-таки решились?

— Я его люблю.

Мимо избы, рыча и завывая, прошел вездеход, таранивший сугробы, уже наметенные на деревенской улице. Рев мотора постепенно утих, и снова стало слышно тиканье.

— Я его люблю,— громко повторила девушка, поднимая на Женю черные выпуклые глаза.— Я до него всерьез никого не любила, мне не с чем сравнивать, но мне кажется, что крепче любить нельзя.

— А как же его семья?

— Семья?.. Да, конечно... Но мы любим друг друга... Все это так сложно.— И вдруг черные глаза заглянули в глаза васильковые.— Но вы же полюбили немца, и никого не побоялись, и не думали о том, чем это вам грозит... Мы тоже не боимся. Пусть меня отчислят из армии, пусть пошлют на передовую. Пусть! Разве любовь подчиняется правилам?

Девушка тяжело дышала. Вспышки храбрости хватило ненадолго. Она поникла и застыла, запустив пальцы в волосы, сжимая ладонями виски. Отчаяние и усталость выражала эта поза. И опять Женя почувствовала, что жалеет не только Анну и ее детей, но и эту мало знакомую ей девушку.

— Это нечестно, Узоров должен был хотя бы написать жене... Подло так вот, тишком...

Тамара подняла голову и думала о чем-то своем.

— Да, да, вы правы,— смущенно говорила она.— Сколько раз мы об этом толковали!.. Откровенно говоря, он трусоват. А жена его такая вздорная, грубая, она ничего не поймет.

— Откуда вы это знаете? — строго спросила Женя.

— Как откуда? Он ведь мне все рассказал. И он боится, что эта женщина может поднять страшный шум, написать комиссару части, дойдет до члена Военного совета... Вы слышали о нашем члене Военного совета? Тут один командир-оперативник, женатый правда, полюбил девушку-телефонистку. Так член Военного совета узнал и отправил его на передовую, и тот погиб при штурме Верхневолжска...

— А я бы на его месте не боялась,— так же строго сказала Женя.

— Я тоже не боюсь... Но он... Им, мужчинам, должно быть, все это сложнее. Я сама хочу написать этой женщине, а он умоляет: не надо. Думает как-нибудь сам поехать в Верхневолжск и все уладить миром... Такая тоска, даже посоветоваться не с кем!.. Я написала маме, она учительница музыки, мы после папиной смерти жили с ней вдвоем... Мама закидала меня письмами: одумайся, не разрушай семью, уйди от него... Уйти! Чудачка мама: откуда мне уходить?.. Он сюда и носа показать не смеет: девушки его не терпят. Мы видимся на улице, бог знает где и как. Уйти!.. Но я люблю его.

И вдруг, умоляюще взглянув на Женю, она спросила:

— Вы... жили... физически жили с этим вашим... другом? Это не любопытство, поверьте, мне очень, очень нужно это знать.

Женя удивленно посмотрела на собеседницу.

— Однажды, когда мы прощались, он поцеловал мне руку.

Тамара закрыла ладонями лицо. Заскрипели обледеневшие ступеньки, и девушка судорожно вытерла глаза. На пороге, зябко потирая руки, стоял майор Николаев.

— Сумерничаете? — спросил он.— Мюллер, быстренько собирайтесь, едем к командующему!

Ожидая, пока Женя оденется, он нетерпеливо расхаживал по комнате, скрипя сапогами. На улице их ждал вездеход. Рыча и фыркая, он долго мотал их по завьюженным дорогам, иногда останавливаясь перед возникавшими из метельной мглы фигурами.

— «Гжатск»,— произносили из тьмы, наклоняясь к опущенному стеклу.

— «Гашетка»,— отвечал майор, и машина, звеня цепями, двигалась дальше.

Майор молчал. Женя, сидевшая позади, держалась обе-

ими руками за стойки. Сейчас должна была решиться ее судьба. Возьмут или не возьмут в армию? Судя по тому, что майор доволен, наверное, возьмут. Но спросить его Женя не решалась. Кто их знает, этих военных, о чем у них можно спрашивать и о чем нельзя...

Машина остановилась у крыльца одной из приземистых изб, отличающейся от всего ряда разве только тем, что в форточку ее уходил не один, а целый пучок проводов и на часах стоял не старый солдат из комендантской команды, а бравый молодой парень в полушубке, перехваченном ремнем «в рюмочку». Завидев майора, он ловко отсалютовал, в два приема подняв автомат на грудь.

— Теперь, Мюллер, не дрейфить,— сказал майор, тоже заметно подтянувшийся.

Но Женя, поглощенная мыслями о своем будущем, не испытывала не только страха, но даже и смущения. Она как-то даже забыла, что сейчас вот встретится с грозным командующим, о строгости которого немало уже наслышалась от всех трех богатырей.

Белокурый подполковник, сидевший за маленьким столиком перед русской печью, завешенной двумя большими картами, сообщил майору, что у командующего член Военного совета и начальник штаба. Когда же из двери тяжелой походкой вышел толстый пожилой генерал с папкой бумаг, подполковник скрылся за занавеской и тотчас пригласил майора и Женю.

Они прошли «на чистую половину» избы, и острый Женин глаз сразу схватил все подробности полководческого кабинета: и фикусы, стоявшие на полу в кадках, и хозяйских родичей, смотрящих со стен из черных рамок, и наивные физиономии простецких деревенских святых, испуганно глядевших из риз в углу, и даже красиво раскрашенное пасхальное яйцо, привязанное за ниточку к лампадке... Все, должно быть, так и осталось, как было у хозяев, а добавилась лишь вот эта застланная серым солдатским одеялом койка, стол, накрытый, как скатертью, картой, испещренной стрелами и овалами, да бекеша с папахой, висевшие в углу.

За столом сидел высокий, плечистый человек. Держа в одной руке большую лупу, он что-то искал на карте. Против него в кителе с тремя звездами в петлицах сидел другой — маленький и немолодой, голове которого седой бобрик придавал квадратную форму. Насмешливым, задорно-мальчишеским выражением лица он напомнил Жене Се-

верьянова. Человек за столом нашел, очевидно, то, что искал. Привычным движением красного карандаша он удлинил нарисованную на карте стрелу и поднял взгляд на вошедших. Лицо у него было крестьянского склада, мягкое, округлое, но плотно сомкнутые губы и твердые серые глаза говорили о мужестве и воле, которыми славился этот генерал.

— Товарищ командующий...— начал, вытягиваясь, майор, но тот перебил:

— Вольно.— Светлые глаза не без любопытства смотрели на Женю.— Ну как, товарищ Мюллер, говорите, совсем заели вас земляки?

Голос у него был глуховатый, но не без веселинки, и, внезапно осмелев, Женя ответила:

— Я этого не говорила, товарищ генерал.

— Неважно. Мы и без того узнали. У нас разведка хорошо поставлена,— сказал командующий и совсем уже по-домашнему продолжил: — Признаюсь, мы, Мюллер, на Военном совете головы поломали, как вам помочь. Девица вы храбрая, жизнью не раз рисковали, в пасть зверю шли... Но ведь обо всем этом рассказывать рановато. А как говорится, на чужой роток не накинешь платок...

— Да, задали вы нам задачку,— поддержал командующего член Военного совета, походивший на Северьянова.— У юристов это зовется: случай, не имеющий прецедентов...

Тем временем адъютант командующего принес красную коробочку и книжку. Генералы переглянулись, член Военного совета кивнул головой. Все встали. Командующий развернул бумагу.

— «По решению Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик,— начал читать он,— за храбрость, мужество и самоотверженную отвагу, проявленные в дни оккупации города Верхневолжска в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, командование фронтом вручает Мюллер Евгении Рудольфовне орден Красного Знамени...»

Командующий опустил бумагу и, улыбаясь, смотрел на побледневшее лицо Жени, на ее расширившиеся от волнения глаза, на ее вздрагивающие губы, потом крепко тряхнул ей руку сильной сухой рукой.

— От лица командования поздравляю вас с высокой наградой!

Орден, заветный, боевой орден Красного Знамени, ка-

кой Женя видела в Мавзолее на гимнастерке у Ленина... Может ли это быть? Командующий, вынув его из коробочки, искал глазами, куда бы прикрепить, но девушка была в тесном черном свитере, и он передал награду прямо в руки. Женя чувствовала, что в ответ надо что-то сказать, поблагодарить, но растеряла все слова. С трудом, еле слышно выдавив: «Спасибо», она бросилась к двери. Позади раздался дружный смех.

18

По обычаю, издавна заведенному в общежитиях текстильщиков, в комнатах всегда была какая-нибудь растительность. У Калининых между двумя корявыми фикусами стоял на подоконнике ящик, где рос особый лучок, зимой и летом радовавший глаз сочной, бархатистой зеленью.

Лет сорок назад правление акционерного общества «Товарищество Верхневолжской мануфактуры», приняв во внимание высокую квалификацию молодого раклиста, удовлетворило прошение Степана Калинина и отвело ему «каморку» в «глагольчике» только что построенной двадцать второй «семейной спальни». Представляя в главную контору список кандидатов на жилье, смотритель, или, как их тогда называли, хожалый, промахнулся. Он не учел, что вместе с искусным раклистом, умеющим набивать ситцы не хуже лучших парижских мастеров, состоящим в фабричном обществе трезвости, певшим по праздникам в церковном хоре, сюда вселится и горластая ткачиха, подозревавшаяся в участии в забастовках. Молодая пара заняла комнату. Вот тогда-то Степан Михайлович и сколотил продолговатый ящик и посадил в него травовидный лук, полученный им в подарок на новоселье от бельгийца-красковара.

С тех пор диковинный этот лук был у Калининых неизменным украшением праздничного стола. Стригли его под Новый год, к Первому мая, в Октябрьскую годовщину и к дням семейных торжеств. В остальное время он своей пушистой изумрудной зеленью украшал подоконник. Теперь от дерна, сплошь занимавшего ящик, оставался лишь небольшой хохолок. Весь лук был недавно снят Варварой Алексеевной и в День Красной Армии отнесен в подшефный госпиталь. И вот, насадив на нос очки,

что он делал, когда предвиделась особенно тонкая работа, Степан Михайлович осторожно, чтобы не повредить маленькие луковички, ножницами состригал остатки.

Впервые после освобождения у стариков собралась вся семья: Ксения с Юноной, Анна с ребятишками, Арсений с Ростиком. Пришел даже друг Степана Михайловича сторож Ткаченко, известный на фабрике под прозвищем «Гонок-бобыль», пустослов, которого лишь фабричные старожилы помнили курчавым конторщиком, сердцеедом и гитаристом.

Калинины умели работать, но умели при случае и погулять. До войны в этой комнате накрывали такой стол, что потом у гостей на следующий день головы трещали. На этот раз каждый принес с собой, что смог. Сам Степан Михайлович сумел раздобыть лишь несколько тощих селедок, которые, вымоченные по особому, ему одному известному способу в чае, а затем в молоке, были поставлены в центре стола, да литровку спирта, добытую путями, о которых он предпочитал умалчивать. Куров принес блюдо с редькой, наструганной с помощью рубанка на тончайшие, прозрачные ломтики, Ксения — пару банок мясных консервов, а Анна — кастрюлю вареной картошки, которую доставили закутанной в головной платок. Лучок должен был оживить эти нехитрые яства военного времени.

Когда все уселись, старик, одетый в темную тройку, торжественно поднял стакан:

— За солдатика нашего, за Женю, за Белочку... Трудовые ордена в семье Калининых водились, а боевой — первый. Омоем, друзья, как следует, чтоб эмаль с него не слезла.

Серьезно, будто выполняя какой-то обряд, старик до дна осушил стопку разбавленного спирта, перевернул и для убедительности постукал ею себя по розовеющей сквозь седой волос маковке. А Юнона, не моргнув глазом, тут же добавила:

— За тех, кто воспитал такую героиню.

Если бы Женя присутствовала на этом семейном торжестве, послушала, что о ней говорили, когда хмель развязал языки, поглядела бы, с какой гордостью произносилось за столом ее имя, она, может, скорее позабыла бы то тяжкое, что довелось ей пережить под крышей этого общежития.

Не богато было торжество, но природное веселье брало свое, и понемногу отступали усталость, заботы, трево-

ги о близких, воевавших на разных фронтах. Сначала робко, потом громче зазвучали песни. Под скромной внешностью Гонка уже просыпался былой фабричный лев. Старик сторож в застиранной гимнастерке горстями сыпал старые анекдоты, болтал, острил, все чаще добавляя к словам давно всеми позабытую частицу «с», и бойким движением головы будто отбрасывал назад волосы, забывая, что на месте былых кудрей у него лишь мягкий стариковский пушок. Он выпросил у Арсения гитару и, уставив на Анну свои уже замутневшие глаза, дребезжа струнами, пел «с рыданием»:

...Осподи, хотя бы позвонили,
К телефону только б подошли.

Анна хохотала до слез, а Варвара Алексеевна, с молодых лет считавшая Гонка пустобрехом, бросала на него сердитые взгляды.

Потом дед извлек из потертого футляра свой старый баян, развернул мехи, и слегка захмелевшая Галка, дробя, пустилась вывизгивать озорные частушки. Ростик, за это время совсем обжившийся в этой большой семье, изображал по очереди и Арсения, и Анну, и деда, а потом, по настоятельной просьбе ребят, рискнул изобразить и Юнону. При этом парнишка вытянулся, как только мог, пестрая мордочка его будто окаменела, и он сквозь зубы холодно цедил:

— Мне только что звонил по аппарату третий секретарь комсомола. Он сообщил мне, что слышал от второго секретаря, как первый секретарь положительно отозвался обо мне.

Это вышло так похоже, что грохнул общий смех. Юнона, вспыхнув, бросилась к лежавшему на кровати вороху одежды и стала искать свою шубку. Но дед, широко разведя мехи, грянул «Барыню», и Анна, подхватив племянницу за талию, закружила ее, стуча каблуками и припевая:

...Нас и хают, и ругают,
А мы хаяны живем.
А мы хаяны — отчаянны,
Нигде не пропадем...

Приплясывая, Анна озорно заканчивала по-фабричному каждую частушку выкриками: «Их!», «Ох!». Она както сразу вся загорелась. Грузноватая ее фигура стала лег-

кой. Вот, оставив Юнону, она закружилась около Арсения, что сидел в сторонке, не принимая участия в общем веселье, задробила около него, округло поводя полной белой рукой, вызывая. Арсений упрямо смотрел в пол. Он точно бы боялся взглянуть на это улыбающееся, разгоряченное лицо, в эти карие, светящиеся весельем глаза. Все голосистей, все переливистей пел баян, которому Гонок уже не успевал подыгрывать на гитаре. Звучнее прихлопывали ладони. Даже Юнона, забывшись и как бы оттаяв, начинала улыбаться.

Куда смотрит наш партком,
Куда смотрит райсовет?
Сколько раз мы заявляли,
Ухажеров у нас нет...—

звучал озорной голос.

Арсений поднял наконец глаза, встретился взором с танцующей Анной, встал. И, будто разом сбросив и свой вес, и горе, да еще лет этак с двадцать, неторопливо, небрежно пошел по комнате и вдруг ударил вприсядку. На мгновение война словно бы покинула эту комнату. Будто не было двадцать второго июня, тяжелых боев, оккупации, гибели близких людей. Но только на мгновение. Стоило смолкнуть баяну, а уставшей Анне тяжело броситься поверх всей одежды на кровать, как наступила тишина, вспомнились заботы, тревоги, и всем стало не по себе.

Именно в эту минуту и появилась Прасковья Калинина. Поздоровавшись, она медленно сняла шинель, халат. Потом, развернув бумагу, поставила на стол бутылку портвейна и молча уселась с краешка. Лицо ее было необыкновенно бледно, и поэтому родинки, осыпавшие его, чернели, как брызги туши.

— Устала,— оправдывающимся тоном сказала она.— Раненых везут и везут. Только и слышишь: сестра Калинина — сюда, сестра Калинина — туда!.. Камфару! Шприц!.. Ужас!..

— Ты покушай, покушай, Паня,— засуетилась Варвара Алексеева, накладывая ей на тарелку.

— Ой, и аппетита нет! Дайте чего-нибудь выпить... Арсений Иванович, поухаживайте за дамами, раскройте портвейн. Он хороший, из праздничного пайка... Кушайте.

Все такая же необычно тихая, прихлебывая вино, как

чай, и заедая его винегретом, Прасковья взяла с тарелки щепотку зеленого лука.

— Ах, мамаша, за лучок этот вам прямо благодарность в приказе надо отдать. Уж так вы раненым День Красной Армии украсили... Витамины, тонизирующее средство.

— Что лучок, вот огородик бы весной поднять,— сказал Степан Михайлович.— Помнишь, Варьяша, в голодные-то годы все сады, все газоны перед казармами перепахали... Велико ли вот луковое перышко, а любую баланду оживит.

— Так, говоришь, везут раненых-то? — тревожно спросила Варвара Алексеевна, подумав о Николае, о Татьяне, о Марате, о муже Ксении, обо всех семейных, что были на фронте.

— Раз наступают, значит, везут. Красный уголок заняли. Мы с ног сбились. Спасибо еще, ваши девчата с ткацкой, дай бог им женихов хороших, помогают. Ведь до чего персонал дошел: вчера села чашку чаю выпить — бах, ноге горячо. Что такое? Оказывается, уснула, чашку выронила и ногу ошпарила. Вот, мамаша, гляньте.— Прасковья поставила хромовый сапожок на стул, приподняла юбку и показала на своей маленькой, полной, крепкой ноге повыше чулка красное пятно.— Видите? Ожог второй степени.

Гонок с сочувственной физиономией перегнулся через стол:

— Где, где?.. Ай-яй-яй, беда-с!

Варвара Алексеевна, метнув на гостя сердитый взгляд, одернула снохе юбку.

— Ах, какая вы, мамаша, щепетильная! — усмехнулась Прасковья.— Мы, медики, на это смотрим проще: что естественно, то не постыдно. Если б у меня ноги тощие или кривые какие-нибудь были, то, конечно, нехорошо, а у меня ножки, кажется, ничего, пусть себе смотрят на здоровье.

Прасковья уже отдышалась. Она ела с возрастающим аппетитом. Румянец снова полыхнул по щекам, родинки стали менее заметными, в зеленоватых, почти круглых глазах загорелись насмешливые огоньки.

— Николай-то чего пишет? — спросила Варвара Алексеевна.

— Третьего дня было письмо, слава богу, здоров,— небрежно ответила сноха и, совсем уже превратившись из

усталого, измученного человека в обычную Паньку, как-то по-особому многозначительно спросила у Анны: — А вас Жорочка не забывает?

Анна, говорившая в эту минуту с отцом о рабочих огородах былых времен, услышав вопрос, вздрогнула, но сдержалась и ответила с деланным равнодушием:

— Заняты они там, когда писать!

Но от Прасковьи не так-то легко было отцепиться.

— А мой не занят? У всех одна война. Мой Берлин бомбит, а Жорка где-то в штабе околачивается... Так, значит, не пишет?

— Это уж наше дело,— резко ответила Анна и, обмахиваясь платком, отошла к открытой форточке.

Уловив в словах снохи какой-то скрытый намек, старик обеспокоился: «Неужели эта сорока вызнала что-нибудь худое?» Вместе с баяном пересел он к Прасковье, доедавшей винегрет, и шепотом спросил:

— Аль ты чего знаешь про Узорова?

Та медленно допила вино, вытерла ладошкой пухлые губы и не без удовольствия громко произнесла:

— Нет уж, папаша, не спрашивайте. Мне мамаша такую терапию в госпитале устроила, что у меня лопнула чаша терпения... Раньше по-родственному могла бы, конечно, кое-что сообщить, а теперь извините, мне моя нервная система дороже.

— Ну, чего ты кричишь, не глухой я,— упавшим голосом произнес старик и широко развел мехи.— Ну, кто плясать?

Но никто не поддержал. Вспомнили, что время позднее, что скоро комендантский час, а завтра рано вставать, и, засуетившись, стали расходиться по домам. Словно и не было этих коротких минут, когда война как бы покинула комнату.

А вернувшись домой, Анна увидела на столе письмо. На нем был штемпель полевой почти со знакомым номером. Но адрес был написан не мужем, а чьей-то чужой рукой. Внизу на конверте были четко выведены имя и фамилия неизвестной женщины. Все сомнения и догадки последних месяцев, все, что Анна старалась отталкивать, подавлять в себе, вдруг ожило, нахлынуло на нее, и, держа в руках нераспечатанный конверт, она уже знала, что ей пишут и даже кто именно пишет.

14

Степан Михайлович частенько говаривал: «В каждому дому по кому».

В тот же час, в той же квартире, в маленькой комнатке, несмотря на позднее время, не ложился спать, а мерял ее по диагонали, четыре шага вперед, четыре — назад, Арсений Куров.

Своя забота грызла его. Несмотря на штраф и запрещение инспектора охраны труда, он все-таки продолжал водить Ростика на завод. Все ему сочувствовали, все, понимая его, смотрели на это сквозь пальцы, и даже председатель завкома, на которого была возложена ответственность за выполнение инспекторского протокола, с глазу на глаз сказал Арсению: «Только не попадайся. Попадешься — упекут под суд».

Обычно, когда старик инспектор или любой посторонний появлялись в цехе, кто-нибудь из «дикой дивизии» сигнализировал: «Полундра!» Ростик опрометью бросался в материальный склад, в столовую, во двор.

Но однажды, должно быть что-то уже заподозривший, инспектор зашел в цех с запасного пожарного хода, и «полундра» запоздала. Седенькая голова уже появилась между станками. Ребята успели втолкнуть мальчишку в один из шкафов для одежды, но цепкий глаз заметил этот маневр.

Подойдя к подросткам, возбужденно толпившимся возле шкафов, старик спросил не без ехидцы:

— А что у вас там, мальчики?

— Как что? Одежа.

— И какие мы вам мальчики! Какое имеешь право нас так называть? — загалдели орлы, стараясь отвлечь инспектора.— Мальчики!.. Ходят тут разные...

— Что здесь у вас, молодые люди? — уступчиво изменил обращение инспектор.

— Сказано — одежа.

— Откройте-ка вот этот шкафчик.

— А чего нам открывать? Он не наш...

Орлы стояли стеной. Спор, может быть, кончился бы худо, но появился Куров. Поняв, что сопротивление бесполезно, он отомкнул шкаф и извлек оттуда красного, испуганного Ростика.

— Вот до чего вы людей доводите! — сказал мастер, с яростью глядя на тихонького старичка.

Так возникло судебное дело. А теперь в кармане Курова лежала повестка. Он бросился было к секретарю партбюро, но тот только руками развел. Северьянов, к которому мастер пришел на другой день, по-мальчишески поскреб затылок: «Да, брат, наделал ты дел!» Он обещал позвонить куда-то, но, когда Арсений снова пришел к нему, вздохнул: «Ничего не попишешь, придется гулять в суд». Тогда-то и родилась у Арсения мысль обратиться к свояченице как к депутату Верховного Совета.

Люди частенько приходили к Ксении Степановне с разными просьбами. В иные приемные дни едва успевали открывать дверь, и сам Арсений по собственному почину соорудил деревянный диванчик, на котором посетители ожидали теперь очереди в прихожей. Но депутат приходился Арсению хотя и дальней, но все же родней, и это мешало Курову обратиться к ней за помощью. Расхаживая ночью по комнате, он решал, говорить ему с Ксенией Степановной или промолчать.

На следующее утро, дождавшись, когда Ксения Степановна пойдет на работу, он все же догнал ее на лестнице.

— Я к тебе как избиратель,— краснея, говорил он.— Ты, Степановна, советская власть, вот помогай...

Та выслушала, задумалась. Случай был редкий, осложнялся тем, что все происходило на глазах, а депутат по-женски сочувствовал и Курову, и Ростику. Ксения обещала потолковать с юристом.

— Да чего же тут толковать! — вспылил Арсений.— Сердцем, сердцем такие дела решать надо!

— Сердце, Арсений Иванович, инструмент неточный. Законы-то не царь Николай, сами мы принимали...

Вечером она зашла в комнату Курова. С тех пор, как здесь поселился Ростик, мрачное это жилище, где недавно стояли печь, койка да самодельный стол, неузнаваемо преобразилось. Арсений был мастер на все руки. Он встроил в стены нары в виде полок, которые днем были подняты, а на ночь опускались. На них клали постели. В комнате стало просторней. Появились табуретки, стол со шкафчиком для посуды, занавески на окне. Для мужского жилья в военное время было совсем неплохо.

— Недурно устроились,— похвалила Ксения Степановна и попросила Ростика сбегать за хлебом.

Как только дверь за ним хлопнула, Арсений нетерпеливо спросил:

— Посоветовалась? Что говорят?

— Подумала, Арсений Иванович, сама подумала и скажу тебе прямо: обхода этого закона искать не надо. Правильный закон. Меня девятилетней на фабрику отвели, в подвал — концы разбирать. Вспомнить страшно: сырость, духота, а мы, девчонки и мальчишки, сидим и десять часов подряд перебираем: кое в одну корзину, кое в другую, кое в третью. Всю тебя ломает, клонит в сон, а возле смотритель ходит, и в руках у него ремень: задремлешь — как он тебя жиганет по спине!..

Куров слушал, хмуро уставив взгляд в пол. Он попал на завод тринадцатилетним, когда отец его, слесарь, а за ним и мать умерли от сыпняка. Но это было уже советское время. Работали восемь часов. Обучить Арсения взялся друг отца, слесарь Иван Гурьяньев, человек легкого характера, веселый и добродушный. Учил он умело, и хоть рос Арсений сиротой, детство не оставило тяжелых воспоминаний.

А Ксения Степановна продолжала рассказывать, как лихо было им, молоденьким девчонкам, на фабрике, как охальники мастера издевались над девчушками, которым впору было в куклы играть...

— Нет, Арсений Иванович, за этот закон должны мы советской власти в пояс кланяться. Сердись не сердись, а помогать тебе его нарушать я не стану.

— Выходит, Ксения Степановна, зря я за тебя голосовал,— вспылил Куров, нетерпеливо вскакивая с табурета.

Она тоже встала и вплотную подошла к нему.

— Коли так, давай напрямки разговаривать. Не хотелось мне душу тебе бередить, да придется... Ты, мил человек, себе из мальчонки вроде пластыря на болячку сделал, таскаешь его всюду с собой, чтобы сердце у тебя не ныло... Что, не так?

Арсений стоял, сжав кулаки. Хотелось ему изо всех сил хлопнуть по столу, чтобы тот затрещал, или запрокинуть голову и завыть волком.

— Молчишь? Правильно. Говорить тебе нечего. Признайся: Ростик у тебя вроде игрушки... «А ну, покажи, как Юнона по телефону разговаривает...» А ведь это человек. Маленький человек.

— Худому я его не учу! — сквозь зубы сказал Арсений.

— А разве я говорю, что худому? А только в его годы все ребята в школу бегают. Раз ты мальчика усыновил,

дай ему, как своему сыну, все, что ему по возрасту положено. Не можешь дать — отведи в детский дом. Там о нем позаботятся.

— Так... И больше ты мне ничего не скажешь? А суд?

— И на суд я влиять не имею прав. Правильно тебя привлекают. Об одном попросила судью — свидетельницей меня вызвать.— И, совсем было уже уходя, Ксения Степановна вернулась от двери и спросила шепотом:— Что это с Анной, не знаешь? Будто слепая стала, сейчас в прихожей на меня наткнулась — чуть с ног не сшибла.

— А ну вас совсем, у меня своего горя под завяз! — сердито отмахнулся Арсений.

15

Письмо неизвестной женщины обрушилось Анне на голову внезапно. Правда, все эти месяцы она смутно предчувствовала что-то недоброе. Но того, о чем ей написали, она не ожидала. Самое обидное, казалось, даже и не в том, что Георгий ушел к другой, оставил семью, а в том, что не он, мужчина, муж, с которым она прожила столько лет, а эта неизвестная, как называла ее про себя Анна, ППЖ известила ее о случившемся. Как он смел это допустить?..

Разве она была плохой женой? Пусть у них разные характеры. Пусть он сделался инженером, а она осталась на фабрике на прежнем месте. Но кто помогал ему учиться? Кто все эти годы растил детей? Кто носил вылинявшие, вышедшие из моды платья, ходил в стоптанных туфлях, чтобы он, студент, ни в чем не нуждался и мог курить излюбленный «Казбек» и пить свое «жигулевское»?

Анна ворочалась на постели и не могла уснуть. Казалось, тело воспалено, каждая складка простыни причиняет боль. Чем покорила его та, неизвестная? Красотой? Умом? Образованием? Откуда, почему надвинулось это страшное?

Анна вскочила с кровати и босиком, в ночной сорочке стала ходить по комнате. Неужели все навсегда кончено и ничего нельзя исправить? Они, наверное, и живут уже вместе — у них общий номер полевой почты. А вот и штемпель цензора. И цензор читал это письмо, он уже знает о беде, о позоре Анны Калининой... Ах, знает или нет — какая чепуха! Но вот и Панька что-то пронюхала!.. Да не

все ли равно, если ничего уже не исправишь... Но что делать, как поступать?

И вдруг Анне пришло в голову: как было бы хорошо — воздушный налет, и бомба угодила прямо бы сюда... Бомба? А дети? «Ой, мои маленькие, ваша мать, должно быть, с ума сошла...» Анна бросилась к кроватке. Лена тихо спала, свернувшись клубочком. Вовка по обыкновению раскидался, сбросил одеяло. Анна осторожно прилегла на его кровать, прижалась к нему и замерла.

Так она и уснула, а проснувшись с головной болью, не сразу даже подумала о вчерашнем. Только когда взгляд ее упал на Вовку, она вспомнила письмо и, вспомнив, застонала, словно от физической боли: «О-о-о-о!»

— Мама, что с тобой?

Заспанная Лена стояла возле. У нее были испуганные, недоумевающие глаза.

— Ничего, ничего, деточка. О стенку я локтем ударилась, электрической косточкой. Ступай спи. Еще рано.

Так вошла в жизнь Анны мучительная ложь: будь что будет, пусть только люди не знают! Письмо разорвала и сожгла в печке. Делала вид, что ничего не случилось. Ходила на работу, выступала на собраниях. Принимала людей. Собственное несчастье сделало ее даже более чуткой. Она еще больше сблизилась с детьми, начала следить за табелем Лены, посещала родительские собрания. Как бы ни была занята, старалась теперь не оставить без ответа ни одного «что?», «почему?» и «как?» дотошного, любознательного Вовки.

В партийную работу Анна уже втянулась. К голосу ее прислушивались, на собраниях при выборе президиума дружно выкликали ее имя, и даже Слесарев, предпочитавший все важные решения принимать единолично и в первое время наведывавшийся в партком лишь в дни заседаний бюро, не предпринимал теперь ни одного важного дела, не посоветовавшись с Анной. Но особенно радостным было для нее то, что люди, как некогда к Ветрову, шли теперь к ней и с просьбой, и с сомнением, и просто за житейским советом.

Все это требовало времени, а его-то стало не хватать. Тогда, по примеру секретаря горкома, завела Анна у себя на столе перекидной календарь и каждое утро записывала в него главное, что надо сделать в этот день. Вечером, уходя домой, обводила сделанное кружочком, а неисполненное переписывала на завтра. Занося что-нибудь для памя-

ти, она тут же ставила и дату проверки. Для бесед намечала не только день, но и час, и даже минуты встречи, чтобы никто не терял времени попусту. От всего этого рабочий день ее как бы начал раздвигаться, становиться ёмче.

Словом, дела шли у нее неплохо. Понемногу Анна овладела и собой. Она осталась для всех такой же, какой была,— деятельной, боевой, внимательной, даже веселой. И никто из окружающих, даже самые близкие ей люди, даже ее проницательная мать, не догадывался о том, что творится у нее на душе, не знал, что сама она больше, чем кто-либо из приходивших к ней по личным делам, нуждается в совете, участии и поддержке.

16

И вдруг все, что Анна наглухо замкнула в себе, тщательно тая от людей, прорвалось наружу.

Утром в партком явилась взволнованная мать. Поздоровалась и молча уселась у стола. Поняв, что пришла она неспроста и ждет разговора наедине, Анна отправила комсомольского секретаря Феню Жукову, пришедшую за советом, с каким-то поручением.

— Что у вас, мамаша?

— Не у нас, а у тебя.

— Что?

— Твой Жоржик вчера к нам заявился.

Анна побледнела, но ни один мускул не дрогнул у нее на лице. Кто-то позвонил по телефону, она взяла трубку, переговорила, стала передавать в райком сводку о состоянии политучебы. Мать нетерпеливо ждала и мучилась оттого, что не успела сказать самое страшное. Наконец Анна положила трубку и холодно произнесла:

— Вы же знаете, что Георгий теперь мне чужой...

Варвара Алексеевна по-старушечьи всплеснула руками:

— Так ты знаешь?

— Знаю,— ответила Анна, катая пальцем карандаш по столу.

— Давно знаешь?

— Порядочно.

— И нам не говорила! — В голосе старухи послышалась обида.— Даже мне, матери!

— Может, мне на радиоузле выступить? Муж, мол, бросил, к другой ушел, пожалейте, люди добрые... Этого бы вы хотели? Так, значит, заявился к вам? И что же?

На лице Анны вспыхнули прежние краски, и только зоркий глаз матери мог заметить, что мелкая дрожь подергивает ей веко.

— Может, не надо рассказывать-то, а? — неуверенно промолвила сбитая с толку Варвара Алексеевна.— Коли знаешь, к чему ворошить...

— Нет, рассказывайте все.

...Георгий Узоров приехал к старикам утром. Вернувшись с фабрики, бабушка и внучка застали его со Степаном Михайловичем за столом, на котором стояли допитая поллитровка, вскрытые консервные банки. Но и гость и хозяин выглядели трезвыми. Это сразу бросилось в глаза Варваре Алексеевне.

— Что ж ты, милый, не к своим, а к нам? — с тревогой спросила старуха.

На зяте была новенькая гимнастерка, пахнущие кожей ремни и хромовые сапоги, скрипевшие при каждом движении. Форма очень шла к нему, и Галка замерла от восхищения.

— Дядя Жора, уж какой же вы красивый! Вот уж тетя Анна обрадуется!..

— Не трещи,— с неожиданной злостью остановил ее старик, и Варвара Алексеевна поняла: плохо!

К счастью, Галка торопилась в театр, и как только она умчалась, начался семейный разговор.

— Вот многоуважаемый зятек явился подавать в отставку,— сказал Степан Михайлович.

Но шутка не получилась. В Варваре Алексеевне сразу вспыхнула фамильная гордость. Уважительного Георгия, отпрыска одной из стариннейших фабричных фамилий, Калинины любили больше других зятьев, и, может быть, именно поэтому ей было сейчас особенно больно. Старуха села за стол и, отодвинув раскупоренные консервы, стала есть хлеб. Глядя в упор на зятя, она спросила:

— Так чем тебе Анна не угодила?

Узоров начал мямлить что-то о разности характеров и наклонностей, о том, что давно уже чувствовал, что жена чужая ему, но молчал ради детей. А вот теперь встретил на фронте девушку, которая будто бы создана для него: одинаковые характеры, одинаковые наклонности, стремления. Они полюбили друг друга. Нет, он не будет оби-

жать Анну, пусть все по-хорошему. С Тамарой он уже договорился, и деньги по аттестату Анна будет получать, как и прежде...

Варвара Алексеевна машинально отщипывала хлеб и так же машинально бросала кусочки в рот, по-старушечьи часто-часто жуя. Слушала она не перебивая, но Степан Михайлович видел, что надвигается гроза.

— Все это ладно: характеры, наклонности... Нет, ты скажи: чем дочка наша плоха?

И хотя вопрос этот был задан очень тихо, Степан Михайлович заволновался:

— Спокойно, спокойно, мать!

Узоров смотрел на тещу с боязливым недоумением.

— Мамаша, я же говорил...

— Я тебе не мамаша, Варварой Алексеевной называй!.. Ну, чем плоха Анна: дурна, глупа, детей плохо воспитывает, тебе изменяет? Ее вон ткачи секретарем парткома избрали. Любой человек ее на фабрике уважает. Эта твоя мокрохвостка лучше?

— Зачем так говорите, Варвара Алексеевна! Вы же Тамару не знаете. Она дочь хороших родителей, кончила институт иностранных языков. Лейтенант.

— А у Анны родители так, кое-кто, и института языков она не кончала. Это, что ли, тебя от нее отвернуло?.. Ты бы, друг мой, об этом подумал, когда студентом был, а она детишек кормила и твою мамашу содержала...

— Мать, мать! — упрашивал старик.

— Уйди ты, божья коровка! Человек нам такую обиду нанес, а он с ним водку трескает. Убирай сейчас же все эти банки-склянки! — Одним взмахом руки старуха смахнула закуски со стола на пол.— Из хорошей семьи, говоришь? Так зачем же ты сюда, в плохую, притащился? Мы тебя звали?.. Ступай к Анне, все ей и выкладывай сам, а нашу дверь забудь.

Узоров хотел было встать, но старик незаметно подавал ему сигналы: сядь, останься. И он опять присел, растерянный, жалкий, не зная, куда девать глаза.

— Ну, и зачем же пришел? — уже устало спросила старуха.

— Хочу по-хорошему, мам... Варвара Алексеевна. Случилось, что ж поделаешь, сердцу не прикажешь, бывает... Ведь мы... с Анной... мы даже и не расписаны... По закону я свободен, и дети даже в мой паспорт не записаны...

По закону я мог бы уйти — и все. И никто ничего бы мне не сказал... Но я ж хочу по-хорошему, и Тамарочка мне говорит: «Только не обижай детей...» Аттестат, все у них будет, как прежде.

— Беспокоится он, Варьяша, как бы Анна шум не подняла. Член Военного совета у них там строгий, баловства не терпит,— пояснил Степан Михайлович.— И правда, чего шуметь! Мертвых с погоста не таскают... Кому от шума польза? А улица — она смех любит...

Варвара Алексеевна криво усмехнулась.

— Столковались, голубчики... Бутылка-то недаром пустая.— Она встала, решительная и неожиданно спокойная: — Ну, вот что: поняли мы друг друга. Боишься, как бы честные люди с тебя за все не спросили? Ясно! Вот с этим всем к Анне и ступай. А теперь вот тебе бог, а вот и порог...

...Рассказывая все это, Варвара Алексеевна все с большим удивлением смотрела на дочь: почему она такая спокойная?

— Да, вот еще,— добавила она.— Жорка сказал, что нынче вечером к тебе пожалует.

— Пусть приходит... И хватит об этом! Один он, что ли, на свете...

Мать ушла, пораженная холодностью дочери. Всего ждала, но не этого. И все же старуха догадывалась, чувствовала: тут что-то не то... Но она так никогда и не узнала, что весь этот день, разговаривая по телефону с Владим Владимычем о работе шефов, делясь с инструктором райкома новостями политучебы, присутствуя на собрании коммунистов приготовительного цеха, занимаясь другими большими и малыми партийными делами, все это время с виду спокойная Анна только и думала о разговоре с матерью. Все рассказанное Варварой Алексеевной стояло перед глазами. Анна видела мужа в его новой гимнастерке и скрипучих ремнях, слышала его речь, даже представляла, как он говорил, блудливо пряча глаза: «Мы с Тамарой договорились...», «Разные наклонности...», «Дочь хороших родителей...», «Не расписаны...».

«Дрянь, мелкая дрянь, человечишка»,— твердила Анна, к ужасу своему сознавая, что еще любит Узорова, что в глубине ее души даже живет еще надежда, что все както утрясется, изменится к лучшему.

Весь день она держалась хорошо, но под конец сорвалась и накричала на механика Лужникова. Его назна-

чили агитатором в приготовительный цех, а он пришел отказываться.

— Анна Степановна,— просительно басил огромный человек, неловко комкая в руках кепку,— мне бревна ворочать, а вы меня агитатором, да в цех, где одно бабьё.

Вот тут Анну и понесло.

— Бабьё? — грозно спросила она.— Женщины — это что, люди второго сорта? А кто полвойны на себе несет? Кто о времени у станка забывает? Кто детишек растит? Кто штопает, стряпает, в очередях стоит? Бабьё! Да вы, мужики, должны этому бабью ноги мыть и ту воду пить!

— Я не про то, Анна Степановна,— испуганно бормотал Лужников, не понимая, что так разгневало секретаря парткома.

— А я про то. Про то самое. Ишь ты, как старику в морду влепить, так Лужников тут как тут, а как политработу вести, он, видите ли, к бабью идти не хочет... Врешь! — Анна с силой хлопнула ладонью по столу.— Пойдешь, как миленький пойдешь! И туда пойдешь, куда партком посылает. А не пойдешь, партбилет пощупаем... Бабьё! Слово это произносить стыдись.

— Анна Степановна!

— Всё! Не о чем мне с тобой говорить, товарищ Лужников. Можешь идти к Северьянову на меня жаловаться...

Настасья Нефедова и Феня Жукова, невольные свидетельницы этой сцены, с изумлением смотрели на Анну. Да и сама она через минуту жалела об этой вспышке. Ей хотелось догнать Лужникова, извиниться, но было уже поздно, и она, опасаясь, что Узоров явится в ее отсутствие, заторопилась домой.

17

Уже по дороге Анна обдумала, как она поступит. Вернувшись домой, отправила ребятишек к старикам, а сама повязалась косынкой, надела фартук и принялась убираться в комнате. Работала и слушала, не раздаются ли на лестнице шаги, боялась, что не она сама, а кто-нибудь из домашних откроет дверь. Когда же шаги донеслись и стихли на площадке, а затем послышался нерешительный стук, она вышла в прихожую со щеткой в руках.

— А, ты? — спокойно, без удивления, спросила Анна.— Ну что ж, входи, раз пришел.

Мучительно ожидая этой встречи, Узоров не раз пытался представить, как она произойдет. Он приготовился даже к тому, что вспыльчивая Анна, узнав все от матери, влепит ему пощечину. Но такого он не ожидал и растерянно остановился в прихожей, держа тяжелый чемодан.

— Оставь здесь,— Анна указала место.

— Тут гостинцы... ребятам. Очень хорошие вещи: шоколад, консервы, американская колбаса...

— Можешь не беспокоиться, никто тут твою американскую колбасу не съест. Оставь,— настаивала Анна, и когда, сняв шинель, Узоров входил в комнату, она равнодушно оглянулась:— Иди осторожней, не растаскивай по полу мусор.

Нет, что же с ней такое случилось? Опускаясь на стул, Узоров присел на самый кончик, как садился обычно в кабинете генерала.

— А ты хорошо выглядишь,— сказала Анна.

Она сняла фартук, косынку, повесила в угол и села за стол против мужа, сверля его взглядом настороженных карих глаз.

— А дети где? — спросил Узоров, оглядываясь.

— В гости к бабушке ушли.

— Нарочно услала?

— Нарочно. Чего их с таких лет в людях разочаровывать? У них отец командир Красной Армии, честный воин.— Она показала на увеличенную фотографию мужа. И вдруг, улыбнувшись, ткнула пальцем в свисток, притороченный к портупее: — Ты что, милиционер?

— Я?.. А... это!.. Это для управления боем во время атаки.

— И часто ты управляешь боем во время атаки?

— Я же строитель. Но так положено по форме.— Он вытянул из бумажника пачку красных тридцаток и, отсчитав двадцать штук, положил на стол.— Ты вернула аттестат, и пропущен один срок. Вот шестьсот рублей. А аттестат я возобновил. Будете получать, как раньше, а потом, может быть, даже больше... Меня представили к повышению в должности.

— Возьми назад,— сказала Анна, не прикасаясь к деньгам.— И не смей нам больше ничего посылать! Слышишь? Нам подачек не надо.

— Анна, зачем так?.. Ты, может быть, думаешь... Нет-нет, мы с Тамарой договорились, она не возражает, она са-

ма настаивает. И это, наконец, не тебе, а детям. Как отец, я обязан...

— Ты им не отец и никому ничем не обязан.

— Как?

— Очень просто. В сущности, у тебя нет детей. Чему ты удивляешься? Посмотри свои документы. Ты же сам говорил старикам, что дети зарегистрированы только в моем паспорте и ты перед законом чист.

— Я говорил об этом в другом аспекте. Но я как отец име...

— Ты им никто, понимаешь? Говорил ты, что с точки зрения закона у нас не может быть друг к другу никаких претензий? Я с тобой согласна. Говорил, что по закону ты и детям ничем не обязан? И это правильно.

Анна встала. Георгий Узоров с опаской наблюдал за женой. Но она снова надела передник, торопливо повязала косынку. Волнуясь, он не замечал, как дрожат ее руки, которые никак не могли завязать сзади тесемки, не обратил внимания на бледность щек Анны, на ее прерывистое дыхание. Он видел спокойную женщину, которая, казалось, только и думала о том, как бы ей поскорей выпроводить незваного гостя и снова приняться за уборку. Она взяла со стола деньги, сложила их трубочкой и сунула ему в карман.

— А теперь прощай, мне до прихода ребят прибраться нужно.— И погнала щеткой мусор ему под ноги.

Узоров покорно пятился к дверям, но где-то уже у порога собрался с духом и остановился.

— Анна, разве так можно? Столько лет вместе прожили... И дети... Я их люблю, и я их тебе не отдам, слышишь, не отдам!

Оставив щетку, Анна, будто вся напружиненная, вытянула руку, указывая пальцем на дверь.

— Уходи! — чуть слышно произнесла она и, уже не сдерживая ярости, повторила: — Уходи, уходи!

Оказавшись в прихожей, Узоров долго не мог нащупать рукава шинели. На цыпочках, опасливо оглядываясь, вышел он из квартиры и начал торопливо спускаться по лестнице. Тогда дверь открылась и что-то тяжелое, подскакивая, покатилось ему вслед. Он понял: это катится чемодан с продуктами, собранными им и Тамарой с таким старанием. Схватив его, он, прыгая через две ступеньки, побежал вниз.

Анна, вернувшись в комнату, на мгновение застыла,

стоя посредине, потом бросилась на кровать, уткнулась лицом в подушку и заплакала бурно, яростно, неутешно. Но никто, ни один человек на свете, даже Арсений Куров, как раз вернувшийся с работы и вешавший в прихожей свой ватник, никто не услышал ни одного звука.

18

Единственным, чего оккупация во дворе «Большевички» оказалась не в силах изменить, была природа. Там, где, построенные по-старинному, теснились мрачноватые корпуса, шеренгами тянулись огромные здания общежитий, где земля вымощена булыжником, закована в асфальт, где вкривь и вкось она опутана рельсами узкоколейки, природа продолжала жить по своим извечным законам. Ей не было дела до человеческих трагедий.

В положенный срок потеплело.

С крыш домов, с карнизов руин спустились сверкающие бороды сосулек. Снег почернел, пожух, стал крупитчатым, он оседал, и солнце вытягивало на свет все, что зима тщательно прятала под своими белыми простынями. На этот раз это были страшные сюрпризы: трупы солдат, убитых во время борьбы за город, тела женщин и детей, умерших от голода или замерзших в лихую пору оккупации... В развалинах прядильной обвалилась подмытая оттепелью стена и открыла на большой высоте тело советского летчика. Вероятно, сбитый в воздушном бою, он выбросился с парашютом, зацепился стропами за искореженный пожаром швеллер, торчавший из стены, и, замерзнув, так и провисел до самой весны.

В садике перед одним из четырехэтажных зданий, носивших старое название «служащие домá», вытаял из-под снега невысокий земляной холмик. Оказалось, неизвестные люди тайком от оккупантов похоронили инженера Лаврентьева, который, плюнув в лицо предателю Владиславлеву, умер в заточении в своей нетопленой квартире.

Инженера и летчика хоронили вместе. Было много народу. Выступавшие клялись отомстить за их смерть, обещали хоть из-под земли достать Владиславлева и поквитаться с ним. Играли два оркестра — военный и фабричный. Женщины плакали. Когда комендантская рота давала прощальный залп, вдруг, как бы пробудившись

в неурочный час, «Большевичка» отдала честь павшим длинным, протяжным гудком.

А природе не было дела ни до гудков, ни до залпов, ни до слез. По голубому небу торопливо летели весенние ситцевые облачка, сосны старого бора, под сенью которого пряталось новое, уже во время войны возникшее кладбище, наклоняя одна к другой свои вершины, звенели по-весеннему тревожно, радостно. Дорожные колеи были полны бурой, сверкавшей на солнце водой, а над хмурыми пожарищами такие неожиданные и потому особенно милые жаворонки пели свои песни, в которых не изменилась ни одна нота...

В одно такое ясное утро Галка вприскочку спешила на фабрику. Настроение у нее было преотличное. Увидела на заборе аппетитную сосульку, отломила, сунула в рот. Прокатилась с разбегу по продолговатой ледянке, отшлифованной ногами школьников. Усмотрела стайку воробьев, которые с комсомольским задором обсуждали в кроне старого тополя какие-то свои весенние дела, послушала, подмигнула птичкам, а когда некий проходивший мимо дядя, приняв это на свой счет, расплылся в улыбке, показала ему кончик языка.

Что бы ни происходило вокруг Галины Мюллер, мир, черт возьми, был все-таки прекрасен! Недавно местный очеркист, писавший о производственных победах ткачих «Большевички», упоминая молодую стахановку Мюллер, адресовал ей такую фразу: «Эта маленькая, веселая, совсем еще юная работница, внучка известной здешней революционерки, охваченная желанием соткать побольше продукции для воинов Красной Армии, день и ночь думает о совершенствовании своего труда». Он безбожно соврал, этот очеркист. Галка вовсе не думала об этом не только ночью, но даже и днем. Девушка просто работала, что было сил и умения. Думала же она днем, а иногда и ночью о некоем старшем сержанте Лебедеве Илье Селиверстовиче, о его письмах, которые приходили одно за другим. И сейчас именно одно из них озадачивало Галку.

В письмах этих, полных самых высоких патриотических чувств и веры в победу, старший сержант стал все чаще писать, что после того, как Красная Армия расправится с Гитлером, освободит родную землю и порабощенное человечество, он мечтает вернуться не к себе в тайгу, а в незнакомый ему город Верхневолжск. К одному из последних писем была приложена фотокарточка, сделан-

ная каким-то любителем. С карточки смотрел на Галку бравый, веселый парень в белоснежном полушубке и новенькой ушанке, с автоматом в руке. Лицо — мужественное, взгляд — веселый.

На девушку он произвел самое благоприятное впечатление. Но особенно потрясла ее надпись на обороте снимка: «Товарищу Г. Р. Мюллер, боевой ткачихе-патриотке. Люби меня, как я тебя» — и подпись в виде сложной завитушки, под которой для пояснения в скобках было тщательно выведено: «Старший сержант Лебедев И. С.»

Нельзя сказать, что у Галки до этого не было поклонников. Ребята из параллельной группы весьма отличали ее, а с вечеринок и танцулек провожали обычно даже стайкой. И письма от мальчишек она получала не раз, хотя, по правде сказать, ни в одном из них слово «любовь» не упоминалось. Любовь — это было что-то новое, неизведанное, заставлявшее Галку прямо-таки млеть от восторга. Однако приписка на фотографии была несколько туманной. Может, это лишь дань традиции, вроде пресловутого «жду ответа, как соловей лета»?.. Чтобы не мучиться догадками, Галка, всегда предпочитавшая действовать напрямки, так и написала: не знаю, мол, как понимать вашу надпись... Заодно она выразила полнейшее одобрение личности, обмундированию и вооружению своего адресата.

И вот вчера пришел ответ на ее вопрос: «...Дорогая Галина, мы сейчас в блиндаже на передовой. Мои верные боевые товарищи в настоящее время спят, а я в данный момент сижу на ящике и при освещении трофейной плошки пишу Вам... Вы находите, что внешний вид мой кажется Вам соответствующим, и хвалите мой полушубок, мои валенки и мое лицо. Так должен Вас честно известить, что полушубок, шапка и валенки не мои, их фотограф носит с собой. В такой амуниции на передовой в первый же день подстрелят, как дятла. Мы здесь, извиняюсь за нецензурное слово, ползаем на брюхе, дымом греемся, так что мое обмундирование в данный момент имеет плачевный вид, будто я уголь тут выжигаю. Что же касается лица, то лицо доподлинно мое, однако опять должен Вас честно предупредить, что я рыжий и немножко конопатый, что по понятной причине на карточке не вышло. Все это необходимым считаю Вам сообщить перед тем, как ответить на Ваш третий, волнующий меня вопрос: о надписи на карточке. Писал я ее, честно говоря, по обычаю, но

если Вы сами того хотите, скажу, что полюбил я Вас, дорогая Галина, крепче не может быть и готов с Вами идти в загс, как только разобьем проклятых гитлеровцев и изопьем воды из немецкой реки под названием Шпрея...»

Дальше следовали очень интересные для Галки, но совершенно несущественные для повествования уточнения, которые мы сейчас опускаем, но которые Галка вспоминала снова и снова и каждый раз находила в них что-то ранее не замеченное, интересное.

Но как ей теперь поступить? Что ей ответить старшему сержанту? Стоило ли ему в самом деле, испив воды в Шпрее, ехать в Верхневолжск? Как быть тогда с ее мечтой после войны поступить в текстильный техникум? И можно ли вообще полюбить человека заочно, ни разу его не видев, даже если на карточке он до невозможности симпатичный?

Все эти мысли, роившиеся у Галки в голове, были бесконечно далеки от денных и нощных производственных дум, приписанных ей очеркистом. Мальчишки-ремесленники, у которых на верхней губе уже проклевывался пушок будущих усиков, нагло ухмылялись, стоя у дверей завода, мимо которого шла Галка. Брошенный кем-то из них снежок угодил девушке за шиворот. Учтя явное превосходство сил, Галка в бой не вступила, но, обернувшись, пустила по ним словесную очередь из освещенного временем лексикона верхневолжских ткачих, всегда умевших поставить на место слишком проворных ухажеров, и двинулась дальше.

На дамбе, ограждавшей фабрику от реки, толпились люди. Там происходило что-то интересное. Что? Добежав туда, Галка зажмурилась — такое неожиданное зрелище открылось перед ней. Лед еще прочно сковывал реку. Но он уже пожух, стал грязновато-голубым. Пешая дорога, кратчайший путь от фабрик за реку, как бы вспухла и лежала на нем черным шрамом. У берегов темнели промоины, вода в них клубилась, как в закипавшем котле. По-весеннему вкусно пахло талым снегом, водорослями, просыпающейся землей.

Галку совсем не тянуло в цех, в грохот, к станкам, которые, по утверждению очеркиста, были для юной стахановки «дороги, как живые и близкие существа». Но, разумеется, она пошла на фабрику, заняла свое обычное место и отлично проработала до конца смены.

19

Не одна только Галка, а многие ее подруги — ткачихи, сновальщицы, мотальщицы, ее товарищи — шлихтовальщики, помощники мастеров, ремонтные слесаря,— словом, все рабочие люди находились в эти дни в состоянии особой, радостной приподнятости. Причины у каждого были свои, и у большинства более серьезные, чем у Галки. Но среди этих причин была и общая — все, привыкшие за зиму работать в нечеловечески трудных условиях, в холодных залах, теперь вновь оказались в привычной атмосфере: днем опускались фрамуги окон, цехи нормально вентилировались, уто́к стал эластичнее, основы реже рвались. Это само собой подняло выработку. Произошел естественный рывок, который заставил всех поверить в свои силы. Эта вера была закреплена обязательством ткачей в предмайском соревновании: «Изготовим сверх плана ткани на белье десяти тысячам воинов».

С этим призывом поначалу вышло негладко. Любящий точность директор Слесарев и рассудительная председательница фабкома Настасья Зиновьевна Нефедова, не любившая новых, непроторенных дорог, были против такой необыкновенной формы лозунга.

— Ну чего ты все умничаешь, Анна? — возражал Слесарев, подняв свои широкие брови.— К чему это? Перевыполним на десять процентов — это ясно, это легко проверяется, и люди к таким обязательствам привыкли. А что такое белье для десяти тысяч солдат? Слова — и только. Солдаты бывают большие и маленькие. Белье шьют пехоте одно, летчикам другое. Как же мы итоги подсчитаем? В Иванове, в Серпухове, в Шуе, в Вичуге — везде на проценты считают, а мы на исподнее... Чепуха... Я против, категорически против.

Нефедова, обычно во всем поддерживавшая Анну, на этот раз с нею не согласилась.

— Василий Андреевич прав, сколько себя помню, всегда на проценты меряли.

Анна настаивала на своем. Спор перенесли в райком. В кабинете Северьянова Анна, что называется, пошла в лобовую атаку:

— До каких это пор люди должны проценты жевать? Тошнит от них, как от каши «блондинки» в столовых. Вы подумайте: что, если на фронте командир крикнет вместо «За родину!», например: «Вперед, за столько-то миллио-

нов километров земной поверхности!» Поднял бы он людей? Пошли бы они за ним? Как же!.. «За нашу советскую родину!» — совсем иное... А на фабрике разве не те же люди? Мы их, несытых, усталых, зовем еще поднажать и при этом бубним, как конторщики: столько-то целых и столько-то десятых... Тронет это сердца? Зажжет кого-нибудь?..

Северьянов ухмылялся. Он еще не был уверен, что Анна права, но любил такие вот горячие, страстные споры, из которых всегда рождалось что-нибудь интересное.

— Так, поддай, поддай парку, Анна Степановна,— говорил он, посмеиваясь и довольно потирая свои пухлые, осыпанные веснушками руки.— Предположим, доказано, что от каши «блондинки» в агитации надо отказаться. Ну, а какое меню предлагает секретарь парткома?

— Не перебивай, Сергей Никифорович, я еще не все сказала. Не только в этих процентах дело! Мы вообще, я считаю, плохие агитаторы: вот я, ты, все мы... Облепим все плакатами и радуемся — стен не видно. От бумаг фабричные коридоры шелушатся, как спина после кори, а мы довольны: ну как же, все в них отражено! И в райком докладываем: товарищ Северьянов, столько-то лозунгов, столько-то плакатов вывешено... А читают ли их? Об этом нас не спрашивают. Вот ты, секретарь райкома, хоть раз этим поинтересовался?

Северьянов развел руками.

— Вот видишь, Сергей Никифорович, Калинина и наглядную агитацию отвергает,— хмуро произнес Слесарев.

— Нет, наоборот. Я только против того, чтобы мы стены вместо обоев плакатами оклеивали. А то идешь по коридору — мать честная: и заем, и сберкассы, и ПВХО, и утиль собирайте, и осторожно обращайтесь с огнем, и «Я ем джем», которого в лавках наших с начала войны никто не видел, и витамины, и несите металлолом, и будьте бдительны, и бей врага насмерть, и звони о пожаре по такому-то телефону... Да ведь это же как на толкучке: один кричит в левое ухо, другой — в правое, третий за руку тянет, четвертый что-то в нос тебе тычет, и ничего не разберешь!.. Вот ты, Сергей Никифорович, посмеиваешься, а скажи-ка, только честно: сам-то ты хоть раз все эти плакаты прочел? Ну? — Анна требовательно смотрела на секретаря райкома.— Только не криви душой.

— А ты? — спросил Северьянов.

— Все? Конечно, не читала!

— Ну, вот видите! — торжествующе воскликнул Слесарев.

Но секретарь райкома перевел на него насмешливый взгляд.

— А ты, Василий Андреевич, будто так все подряд и читаешь?

— Сколько бумаги, краски, труда на это уходит,— настойчиво продолжала Анна,— и, главное, теперь, когда каждая школьная тетрадка — ценность!

— Ну ладно, с учетом соревнования ясно,— обобщил Северьянов, уже сдаваясь.— Попробуйте подсчитывать на солдатские невыразимые... Ну, а по части наглядной агитации какие у тебя, Анна Степановна, предложения?

И как что-то обдуманное, уже заранее для себя решенное, Анна высказала, что отныне берет на себя контроль за расклейкой плакатов, будет следить, чтобы их часто меняли, чтобы их было вообще не много. А лозунг должен быть и вовсе один. Пусть он висит на самом видном месте — например, при входе в фабрику, чтобы рабочий по пути в цех знал, к чему его *сегодня* зовет партия.

При всей необычности этого предложения Северьянов почувствовал в нем здоровое зерно. Он сказал, что не возражает. Пусть на ткацкой все эти предложения осуществят, и если получится хорошо, он будет рекомендовать их опыт на другие фабрики.

— Эх, Анна, запутаемся мы все в твоих выдумках,— махнула рукой Нефедова.

— Не запутаемся, Настя, простое это дело,— уверенно ответила Анна.— Ты мужу на пару белья сколько, шесть с половиной метров берешь? Так? Слесаревские бухгалтеры арифмометры крутнут — процент разом в солдатское белье превратится. Зато каждый будет знать, сколько он солдат одел. Разве худо?

— Демагогия,— не сдавался Слесарев.— Обычная демагогия. Кто о чем думает, а ты, Анна, только о том, чтобы по-своему сделать.

— А ты, Василий Андреевич, когда в баню будешь собираться, попроси жену, чтобы она тебе в чемоданчик вместо белья проценты уложила,— отпарировала Анна.

Все заулыбались. Слесарев взбычил свою квадратную голову, заиграл скулами.

— Разве вас, женщин, когда вы упретесь, переубедишь! Вот потому-то от вас и мужья бегают.

— Мужья? — на лице Анны появилось не свойственное ей болезненно растерянное выражение. Но только на мгновение. И прежде, чем кто-нибудь смог заметить эту перемену, она снова стала прежней.— Если ты меня, Василий Андреевич, имеешь в виду, то я своего сама выгнала. Не нужен мне такой. А вот твою жену, верно, пожалеть надо. Ты ее, наверное, не любишь, а выполняешь с ней план на сколько-то там целых и десятых...

Анна настояла на своем. Со стен коридоров, с заборов и афишных тумб содрали многолетние наслоения плакатов. Новые наклеивали теперь лишь с ведома парткома, на определенных местах и через некоторое время обязательно заменяли другими.

Лозунг же вывешивали один. Броско написанный, он вытягивался над входными дверями. Его часто меняли. Можно было ручаться, что прочтен он каждым рабочим. И вот уже несколько дней лозунг этот призывал изготовить сверх плана тканей на пошивку десяти тысяч пар солдатского белья.

Даже сама Анна не предполагала, какая большая сила таилась в такой, казалось бы, несложной мере, как конкретизация показателей соревнования. Теперь, когда каждая ткачиха, принимая предпраздничное обязательство, знала, сколько она должна одеть советских воинов и сколько одевает каждый день, фабрика как-то сразу оживилась. Повысился интерес к результатам работы. В конце смен целые толпы стояли у досок с показателями, на которые недавно мало кто и взглядывал. Возродился индивидуальный учет. Появились листовки-«молнии». Началась ежедневная перекличка цехов.

Выработка фабрики круто полезла вверх. И вот когда ценою стольких усилий дело, казалось бы, наладилось и люди радовались, предвкушая победу в предмайском соревновании, на ткацкую фабрику «Большевичка» надвинулась новая и совсем уж неожиданная беда.

По обыкновению заскочив перед сменой на реку, Галка вбежала на вал и замерла от изумления; лед еще стоял, но вода подняла его так высоко, что казалось, он был уже на уровне фундаментов фабрики.

Как всегда в эту пору, на берегу возбужденно гомонили мальчишки. Несколько рыболовов, забросив с берега подъемки, дремали над ними. Очнувшись, садились на конец шеста, медленно выволакивали сеть. И если в ней трепетала хотя бы одна крохотная, похожая на перочинный

ложик плотвичка, принимались наперебой вспоминать какой-то счастливый год, когда река вот тут, возле фабрики, была так щедра, что рыбу уносили ведрами.

Все было как всегда, но на гребне вала Галка заметила группу озабоченных людей. Они что-то встревоженно обсуждали, показывали то в сторону реки, то на вал, то на фабрику. Среди них были Северьянов, Слесарев и Анна. Галка, разумеется, сочла долгом подойти послушать, о чем это так оживленно разговаривает начальство.

— ...Я же сказал: порядка двухсот сорока сантиметров за сутки — это очень большой подъем,— докладывал незнакомый Галке тощий человек в жестком брезентовом плаще с капюшоном и широкой шляпе с опущенными полями, делавшей его похожим на гриб поганку, каких немало росло в укромных уголках фабричного двора.— Редкое, весьма редкое явление. Лишь в тысяча девятьсот восьмом году...

— Постойте, постойте, историю пока оставим,— нетерпеливо перебил Северьянов.— По вашим данным подъем воды продолжается?

— Два метра сорок в сутки — это десять сантиметров в час,— считал вслух Слесарев. Без пальто и без шляпы, он прибежал, должно быть, прямо из кабинета, не успел даже снять сатиновые нарукавники.— А сейчас как?

Гремя своим плащом, незнакомец спустился к воде, где стояла полосатая рейка.

— Сейчас порядка девятнадцати сантиметров в час.

Северьянов и Слесарев переглянулись.

— Так что ж, к ночи река может перекатить через вал? — испуганно вскрикнула Анна.— Так? Да?

— Без паники, без паники! — оборвал ее Северьянов.— Послушаем, что нам наука скажет... Вы полагаете, что фабрика в опасности? Если так, надо сейчас же демонтировать моторы!

«Демонтировать моторы? Как это можно?» — подумала Галка. Работа отлично наладилась в эти последние дни. И Валька, и Женька, и даже тетя Клава — все уже позади. Еще немножко нажать — и Галка со сменщицей Зиной Кокиной опередят лучших ткачих. И, не выдержав, девушка бесстрашно встряла в разговор:

— Как это так — демонтировать!.. Хорошенькое дело! И уж, главное, зачем?

Все были так озабочены, что даже не удивились появлению новой собеседницы.

— Вот именно: зачем? — поддержала Анна. И, обращаясь к человеку в плаще, с надеждой, даже с мольбой спросила: — Ведь фабрике река пока не угрожает? Нет? Ведь нет?

— Ничего точно не могу сказать вам, товарищ Калинина. Я гидролог, а не господь бог. Вы же знаете, нам ничего не известно о состоянии льдов и снегов на верховьях. Там еще немцы... Могу только заявить, что старожилы не упомнят такого наводнения.

— Э-э-э, эти старожилы только для того и существуют, чтобы чего-нибудь да не упомнить! — махнул рукой Северьянов.— Вы специалист, и люди ждут от вас совета, как быть: останавливать фабрику или продолжать работу?

— Повторяю: я не бог, я обыкновенный человек. Нет-нет, решайте сами, а я могу только сказать: надо быть ко всему готовым...

Весь этот день фабрика была в большой тревоге. В перерыве многие бегали на реку. Лед еще стоял, но уровень воды продолжал повышаться. Теперь нетрудно было заметить, что она действительно уже намного выше уровня берега. Лишь полоса старого вала защищала фабрику от воды.

Ткачихи опасливо косились в сторону реки: а вдруг прорвет, вдруг, выдавив рамы, потоками хлынет в цех... На валу уже работали люди, штатские и военные. Они носили, укладывали, трамбовали землю, забивали колья...

Смену дотянули кое-как. Перед дверью, ведущей в цех, посреди коридора стоял стол. И как только отгудел гудок, стол этот сразу оказался окруженным большой тревожно гомонившей толпой.

Вскарабкавшись на стол, Слесарев подал руку Анне. Он был озабочен, хмур, скулы на его лице так и ходили. Но говорил он, как всегда, неторопливо, деловито. Ходят слухи, что станки будут демонтировать и переносить на верхний этаж. Нет, это не вызывается необходимостью. Пока этого не будут делать. Пока решено наращивать земляной вал. Хозотдел и воинские части уже взялись за дело. Но вода все прибывает, и дирекция просит рабочих, техников, инженеров, служащих сразу же после смены идти на вал. У кого дома маленькие дети, пусть сбегают к ним и возвращаются поскорее. Ясли и детские сады получили распоряжение работать круглые сутки. Фабричная столовая обеспечит всех питанием.

Пока Слесарев тяжело слезал со стола, Северьянов успел шепнуть Анне:

— Горячéй, горячéй! Зови, как в атаку.

И вот звонкий голос секретаря партбюро, прорезав шум толпы, понесся по коридору:

— Ткачи «Большевички»! Опасность! Спасайте свою фабрику! Коммунисты и комсомольцы, вперед!

Вокруг стола все пришло в движение. Слушать Анну любили, ждали, что она скажет. Но она добавила только:

— Каждая секунда дорога. На реку! — И, соскочив со стола, стала пробиваться к выходу.— Откройте обе двери! — приказала она вахтерам.

Густая волна людей катилась вслед за Анной и, уплотняясь в проходе, туго выплескивалась на улицу.

20

Галка была, разумеется, среди тех, кто явился на реку, не заходя домой, прямо с работы. Вместо солнечного весеннего приволья увидела она под хмурым, вылинявшим небом массу людей и грузовых машин, сделавших вал похожим на огромный растревоженный муравейник. Все суетились, все двигались, и трудно было ей даже понять, кто и что делает. Все заняты, да так, что к ним и подступиться страшно. Знакомых, как на грех, никого. Только вдали, возвышаясь над всеми, маячила круглая голова механика Лужникова.

Галка направилась было к нему. Четыре женщины, подбадривая себя криками: «Дружно!», «Взяли!», рывком поднимали мешок с песком и взваливали механику на спину. Лужников перехватывал груз, подсаживал его повыше и, перегнувшись, тащил наверх, будто мешок был набит не песком, а сеном. Девушка попробовала присоединиться к этим женщинам, но пятой не требовалось, она только мешала. Ее прогнали.

Очень на это рассердившись, она принялась искать тетку. Анна, как всегда, оказалась где-то в центре человеческого водоворота. Уже переодетая в старый ватник, в косынке, перехватившей волосы и сбившейся на затылок, она нагружала песок на носилки. Осторожно зайдя сзади, Галка тронула ее за локоть.

— Ну, что тебе? — сердито спросила Анна, отводя рукавом пряди взмокших волос, сбившиеся на лоб.

— Что бы уж мне поделать?

— Работы ей не хватает! — рассердилась Анна.— Коль ты такая разиня, другим не мешай. Уйди из-под руки!

Носилки унесли, поднесли другие. Анна выпрямилась, чтобы перевести дух. Обиженная Галка все еще стояла у нее за спиной.

— У всех дело, а мы ползаем, как тараканы какие...

— Кто это мы?

— Да мы, наша смена. Пришли, а тут уже и без нас тесно. И никому дела нет, что усталые люди попусту зябнут.

— Ух, организаторы! — В сердцах Анна добавила к этому несколько приличествующих случаю эпитетов и сунула Галке свою лопату.— На, будешь землю насыпать.

И вот уже у самого вала послышался ее резкий, звучный голос. Яростно, но не умело тыча лопатой в песок, Галка еле поспевала. Несколько пустых носилок задержалось возле нее. Люди, может быть, и рады были невольной передышке, но с дамбы сердито торопили:

— Землю!.. Эй, носилки!.. Чего рты поразевали? Давай землю!

Тогда один из носильщиков, пожилой, обросший щетиной человек в ватнике, сердито сказал Галке:

— Эх ты, зюзя! Разве так нагружают? — И, отобрав лопату, неторопливо, но умело наполняя носилки за носилками, ворчал: — И начальнички хороши, дают инструмент ребенку!

Очередь быстро продвигалась, а Галка стояла возле, и большие серые глаза ее заплывали слезами. «Зюзя... ребенок!.. Ну, нет уж!» Красная от злости, она вырвала лопату, стиснула зубы, вся напряглась и стала быстро-быстро бросать песок. Дело пошло. Но когда унесены были последние носилки, девушка почувствовала, что ей трудно дышать. Но нет, она не сдастся. Зюзя! Вот посмотрите, какая она зюзя! И, действуя изо всех сил, все в том же судорожном и потому изнуряющем темпе, она нагрузила еще несколько носилок.

Тут опять подошла очередь давешнего небритого человека в ватнике. Понаблюдав за Галкой, он только покачал головой:

— Этак-то надолго ли тебя хватит, милая? Без сноровки и вшу не убьешь. Дай-ка я побросаю, а ты гляди. Вот так ставь, потом толкни ногой — и на себя, теперь

левую пониже по черенку — и поднимай. Не бойся! Так и мозолей не набьешь.

Учиться Галка умела. Наблюдательная, переимчивая, она, быстро сообразив, в чем дело, стала подражать. И вскоре уже чувствовала, как с каждыми вновь наполненными носилками работается легче. Когда, совершив несколько маршрутов, ее учитель снова вернулся, он похвалил:

— Молодец, козявка!

За «козявку» Галка уже не обиделась. Она подмигнула и весело отбрехнулась одной из дедовых поговорок:

— Не в бороде честь, она и у козла есть!

Людей становилось все больше. Подходили рабочие других смен, добровольцы с соседних фабрик. У вала кружилось уже несколько живых конвейеров. Насыпь росла на глазах.

Капитан с темными петлицами сапера, которому было поручено руководить всем этим делом, едва успевал отдавать распоряжения. Был он маленький, невидный, рябоватый. Плохо пригнанная шинель болталась на нем балахоном, фуражку, чтобы ее не сдуло ветром, он надвигал на уши. Но невидный человек этот сразу проявил такую спокойную уверенность, оказался таким решительным, быстрым, что бестолковщина первых часов начала быстро рассасываться. Каждый знал свое место. Одни разгружали машины, другие носили песок. Женщины набивали его в мешки. Люди посильнее таскали их на вал, загоняли в свеженасыпанные откосы колья, оплетали их лозняком. Почувствовав, что все наладилось и вожжи в опытных руках, Анна снова взялась за лопату...

Сгустились сумерки. Совсем стемнело. Военные засветили прожектора. Работа продолжалась, и вся эта человеческая кипень вырисовывалась теперь в их свете с подчеркнутой отчетливостью, будто на киноэкране.

К ночи положение оставалось по-прежнему острым. Дамбу к тому времени удалось нарастить больше чем на метр, но и река прибыла. Местами волна уже касалась уровня прежнего вала и теперь начала подбираться к той его части, которая была недавно насыпана и не успела слежаться, затвердеть. Люди на дамбе как бы соревновались с взбесившейся рекой. Рос вал, и поднималась вода. Кто победит? Теперь работали молча. И Анна слышала лишь стук топоров, звон лопат да собственное тяжелое дыхание...

— А, вот где она! — произнес у нее за спиной знакомый голос секретаря горкома.

Анна вздрогнула, потом, сильным движением воткнув лопату в грунт и поправляя сбившиеся на лоб волосы, обернулась и весело ответила:

— Где и положено,— с массами.

— А положено, Анна Степановна, секретарю парткома быть с массами и во главе масс,— серьезно и даже не без упрека сказал ей собеседник.— Вы землю бросаете, а сейчас надо решать, останавливать фабрику или нет, и брать ответственность за это решение.

Анна провела ладонью по вспотевшему лицу, будто снимая с него паутину. Что это — выговор? Вся усталость, что накопилась за день, нахлынула на нее. Когда втроем они поднимались на дамбу, она с трудом переставляла ноги.

В свете прожекторов вода казалась густой, темной, как нефть. Напирая друг на друга, то целыми полями, то тесной массой, то бурым месивом снежной крошки шел лед. Человек в брезентовом дождевике опять стоял внизу, у кромки воды, возле полосатой рейки.

— Прибывает. За последний час подъем порядка четырех сантиметров,— донесся с реки деревянный голос.

Четыре сантиметра! Никогда не думала Анна, что такая маленькая мера — сантиметр — может вдруг оказаться столь грозной. В эту минуту она боялась гидролога, который спокойно и, как ей казалось, равнодушно вещал о надвигавшемся несчастье. Она просто ненавидела его, как будто именно он со своими «порядка столько-то» был виновником этого страшного половодья.

Меж штабелей дров маленький капитан-сапер организовал что-то вроде своего штаба. На поленнице висела карта — схема участка, испещренная его пометками. Все расселись на толстых березовых плашках перед картой. Тут и решалась судьба фабрики.

Слесарев предлагал сейчас же, не теряя времени, отделять моторы станков от пола и поднимать их на второй этаж. Даже если фабрику и зальет, моторы уцелеют. Откачав воду, их можно будет целехонькими ставить на место. На это уйдет не больше недели.

«Неделя! Сколько бязи и миткаля для воинов можно наткать за это время! — тревожно думала Анна.— И потом — прервать предпраздничное соревнование сейчас, когда оно в самом зените... Как это подрежет крылья всем, кто снова набрал высоту! Как размагнитит людей!» Но и

в доводах Слесарева был резон: если вода зальет станки и моторы, понадобятся месяцы для того, чтобы снова все запускать.

— Мы ж не в очко играем. Мне рисковать нельзя,— говорил директор. Даже тут, на дровах, он сидел словно у себя в кабинете, как бы олицетворяя собой практический, спокойный разум.— Не вижу, зачем мне идти на риск?

— Да так ли и велик этот риск? А я за то, чтобы станков не трогать,— сказала Анна.— Василий Андреевич, ты погляди: вон как люди работают. Неужели не отстоим? — И она страстно, с фанатической уверенностью произнесла: — Отстоим!

— А вы, капитан, что думаете? — спросил секретарь горкома.

— Технически удержать воды возможно,— спокойно ответил тот,— но, конечно, есть риск; ведь неизвестно, сколько все это продолжится — день, два? Но все зависит от людей — как будут работать. Пока дело идет как надо, но надолго ли хватит пороху?.. Как говорится, все в руках человеческих.

— А определенней? — настаивал секретарь горкома.

— За своих, за военных, я ручаюсь, я их знаю, и знаю, что они выдержат и день и два, а если надо, и пять. Бывало.

И тогда Анна твердо сказала:

— А я знаю своих и ручаюсь за ткацкую.

— Вот это говорит партработник! — с удовольствием произнес секретарь.— Я к вам, Анна Степановна, присоединяюсь.

Все же приняли компромиссное решение: станки и моторы от пола отделить, но с места не трогать; бороться с водой и быть готовыми в случае чего быстро эвакуировать оборудование на верхний этаж, бросив на это всех, кто работает на валу.

21

Ночь выдалась для этой поры необыкновенно теплая. Сначала все заволокла белая пелена. Густой, будто банный, туман, называемый в этих краях снегоедом, жадно пожирал последние грязные сугробы, что лежали у стен фабрики, под заборами, возле домов... Он продержался не-

долго. Порывистый ветер быстро размел потускневшие было ночные пейзажи, и над рекой, над валом, где работали люди, в почерневшем небе пробрызнули звезды. Все вокруг: земля, вода, лед — синевато засветилось, как бы излучая собственное мерцание.

Но воздух по-прежнему был влажен. Пахло отогретой за день землей, водой и еще чем-то неуловимым, не имеющим названия.

Волшебный запах этот вдруг воскресил в памяти Анны давнюю, полузабытую картину. Вот здесь, где сейчас люди борются с рекой, на вершине вала стояли двое. Не разговаривали, не шевелились, просто стояли, тесно прижавшись, сунув руки друг другу в рукава. Такие же сверкали над ними яркие, будто перемытые и начищенные мелом, звезды, так же все кругом источало голубоватый свет, бесшумно плыл лед по черной воде... Пахло так же чем-то волнующим, неясным, отчего кружило голову, замирало сердце. И ничего не надо было этим двоим — только стоять вот так, рядом... Вдруг оттуда, из-за реки, где выглядывали из-за деревьев белые толстощекие купола церкви, понеслось протяжное: блям-блям-блям...— и весь берег засверкал слабенькими движущимися огоньками. Молодые люди вопросительно взглянули друг на друга: что такое? Почему?.. Вспомнили, что завтра пасха и это, вероятно, крестный ход. Оба они были комсомольцы и, разумеется, безбожники. Обряд, предписывающий людям всерьез ходить со свечами за длинноволосым мужчиной, известным на фабриках выпивохой, подпевать ему, производить при этом сложенными щепотью пальцами правой руки движения от лба к животу и от плеча к плечу,— все это казалось странным и смешным. Но ночь была так хороша, двухголосый звон так мягко разносился над рекой, а сгустки огней, движущихся на том берегу, были так таинственно красивы, что на душе стало еще счастливее и еще больше потянуло их друг к другу.

Домой Анна вернулась под утро. На столе на блюде рядышком стояли цилиндрообразный, помазанный сверху глазурью хлеб — кулич — и пирамидальная горка сладкого творога — пасха. Отец в своем «кобеднешнем» костюме и косоворотке из голубого сатина, каких и в ту пору уже не носили, стоял возле стола; между ним и матерью, которая демонстративно не хотела подниматься с постели, шли знакомые всем домашним прения.

— Дикий ты человек, Степан,— слышалось из-за ро-

зовой занавески.— Какой-то долгогривый пьяный мужик побрызгал водицей по хлебу и по творогу — и все свято стало. Ох, верно, и впрямь этот ваш бог тебя, темного, из куска грязи вылепил.

— Ну, а ты, Варьяша, произошла от обезьяны, я согласен. Видишь, не спорю. Вот и садись за стол — хлеб да творог есть. И ты давай, Анка,— такую вкусноту и комсомол одобрит.

Вот в эту-то минуту Анна и сказала:

— Я, товарищи родители, замуж вышла...

...Это было давно, но как все помнится!.. Ночь такая же, и произошло это здесь, где кипит сейчас человеческий муравейник. Анна все время среди людей. Беседовала с теми, с другими, кого-то уговаривала, с кем-то спорила, иных похваливала, сама таскала носилки с землей. Дела по горло, но давняя история, разбуженная мерцанием ночи, все время жила в ней, и невозможно от нее отделаться, и ничем ее не заглушить. Работала, а в мозгу против воли один за другим рождались вопросы: «Зачем ты так поступил, Жора?.. Разве плохо мы жили, разве плохой женой я была тебе? Разве плохие у нас ребята? Зачем?» И самый мучительный, адресованный уже себе: «Неужели ты еще любишь этого человека?..»

Да, все в руках человеческих! И где-то близко к полуночи тот же самый гидролог в брезентовом дождевике произнес наконец тем же бесстрастным голосом:

— Уровень воды пошел на снижение. За последние полчаса падение порядка четырех сантиметров и продолжается по нарастающей.

— Сколько, сколько? — нетерпеливо переспросила Анна.

— Четыре с десятыми...

Наконец-то! Движимая желанием поскорее поделиться радостью со всеми этими уставшими людьми, Анна схватила гидролога за рукав жесткого дождевика, поволокла к ближайшей машине, сама, будто ребенка, подсадила, а вернее — перевалила его через борт, встав на колесо, вскочила за ним в кузов и, сложив ладони рупором, закричала что было мочи:

— Эй, все! Слышите? Вода идет на убыль! Убывает! Мы побеждаем!.. Вот этот самый человек — профессор, он говорит: мы побеждаем, река отступает!..

В свете прожекторов вырисовывалась фигура женщины с выброшенной вперед рукой. К грузовику бежали люди с

лопатами, с кирками. Косой луч освещал сотни поднятых вверх лиц.

— Что вы, какой я профессор, с чего вы взяли? — сердито шептал гидролог.— Я говорю только, что вода убыла за последние полчаса на четыре сантиметра с лишним.

— Профессор говорит, что за последние полчаса убыль — четыре сантиметра с лишним. Товарищи, борьба не кончена, борьба продолжается! Мы побеждаем, но надо всем быть начеку...

Когда Анна слезала с грузовика, капитан саперов подал ей руки и помог сойти на землю. Она виновато посмотрела на него.

— Сердитесь? Не посоветовалась?.. Знаете, ну, не утерпела, честное слово! Так захотелось людей порадовать!

Рябоватое лицо капитана осветилось конфузливой улыбкой.

— Что вы, что вы! За что же тут сердиться? Люди подвыдохлись, их надо подбодрить.— И вдруг ни с того ни с сего добавил: — Мне бы в батальон такого, как вы, комиссара!

Вода продолжала заметно падать. Она опустилась на полметра от наивысшего уровня, четко прочерченного по откосу вала полоской желтой пены. Решено было, не распуская людей, вести их на фабрику сушиться, греться, отдыхать. На дамбе же на всякий случай выставить надежные посты.

У той же поленницы дров намечали караульных. Анна называла людей, капитан записывал.

— А меня! — послышался вдруг голос.

Перед усталыми членами штаба по борьбе с наводнением предстала Галка. Но в каком виде! Кокетливый кротовый жакет ее был будто облизан, косынку она где-то потеряла, и волосы, обычно пышные, волнистые, свисали на лицо сосульками. И только непобедимый румянец попрежнему полыхал на смуглых щеках.

— Девица эта сегодня изрядно потрудилась,— улыбаясь, сказал капитан.— Ну что, доверим ей пост? А?

Анна, знавшая ветреный характер племянницы, с сомнением подняла было бровь, но возражать не стала.

После полуночи, когда вал совсем обезлюдел, Галка заступила на дежурство.

Весь вал, отгораживающий фабрику от реки и как бы охватывавший ее полукольцом, капитан разбил на участки. Галкин участок был тихий, за поворотом реки, за старым бревенчатым ледоломом, как раз там, где корпус ткацкой ближе, чем в других местах, подступал к берегу. Соседом слева на острие мыса, на ответственном месте ледолома, оказался Лужников, а справа — пожилая ткачиха тетя Поля.

Дежурным было вменено в обязанность в случае опасности поднимать тревогу. Для этого им вручили милицейские свистки. Получив свой, Галка тут же его испытала, издав длинную переливчатую трель, и, убедившись, что свисток голосистый, спрятала в карман.

В сущности, она уже бранила себя за то, что напросилась на дежурство. Подумаешь, дело — торчать на валу одной, как пугало огородное! Да еще ночью, да еще когда каждая косточка от усталости ноет! На фабрике сейчас тепло, много девчат, и саперы, наверное, там, есть с кем поболтать, попеть и сплясать. А тут... Хоть бы соседи интересные были, а то старушенция тетя Поля, бабушкина подружка, да этот Лужников — дядя Пуд, как его прозвали фабзайцы... Вот и кукуй одна целых три часа.

Впрочем, понемногу ночь взяла девушку в свой колдовской плен. С наступлением тишины все стало обнаруживать свои особые голоса. С мелодичным бульканьем клубилась темная вода. Тихо позванивала льдина, выпертая другими на гребень вала и теперь на теплом ветру распадавшаяся на продолговатые сверкающие иглы. С протяжным вздохом опускался жухлый снег. И только лед двигался совсем бесшумно, как в кино, когда вдруг пропадает звук. Галка смотрела на него, и ей казалось, что не лед идет вниз по реке, а она сама вместе с валом, с фабрикой плывет ему навстречу, влекомая неведомой силой. От этого чуть-чуть кружило голову.

Подложив под себя деревянную лопату, девушка уселась на льдину и от нечего делать стала следить за рекой. Проплыл кусок проселочной дороги с сосновой вешкой. Что это темное? Ага, стог сена. Проворонили колхознички! А может быть, и не колхозники, лед-то идет верховой. Говорят, там еще фашисты. Ну что ж, плыви, сено, лучше тебе в реке быть, чем попасть в брюхо немецких коней! А вон еще кусок дороги, и что-то на нем темнеет. Ага, ука-

затель — желтенькая дощечка на палке и по-немецки: «Minen». Значит, мины. Гм... Где ж они были, эти мины? В воде? Чудно́... Доска проплывет, и опять лед, только лед, какой плыл по реке и до войны, и сто, и двести, и многие тысячи лет назад, когда не было вовсе никаких войн.

С войны Галкина мысль сворачивает на сержанта Лебедева. Что же ему ответить: любит она его или нет? И вообще — что такое любовь? Ну, в романах, там ясно: «Он притянул ее к себе и прижался губами к ее ослабевшим теплым губам». Это понятно: целуются. Но ведь нельзя целоваться по почте: «Я вас мысленно целую». Смешно!.. А чувство? Что, собственно, она чувствует? Ну, ждет писем. И что? Просто любопытно узнать, как он живет, как его товарищи, как они там все лупят этих проклятых оккупантов... Ой, какой чудак этот Лебедев! О его товарищах Галка знает даже больше, чем о нем самом. А о себе пишет только: «Поймали «языка», был на вылазке в тылу врага, перехватил немецких лазутчиков...» И все. Это можно и в газете прочитать... А все-таки, граждане, она, должно быть, его любит! Как свободная минута, так думает о нем: где-то он, цел ли, не ранен ли?.. И на сердце беспокойно: а вдруг убили?.. Но, может, и это ничего не говорит? Ведь и за Марата Шаповалова беспокойно, и за дядю Филиппа беспокойно, и за дядю Колю... И еще хочется Галке, чтобы сержант Лебедев приехал в Верхневолжск. Пройтись бы с ним под ручку по фабричному двору навстречу возвращающейся смене: вот вам, смотрите на *моего*. Ах, если бы сейчас он был тут! Пусть бы, как в романе, его руки притянули ее к себе и к ее ослабевшим теплым губам прижались губы... старшего сержанта Лебедева И. С.

«Ой, хоть бы с кем-нибудь потолковать, посоветоваться, что ли!» — томится Галка, вздыхая... И никого кругом, ни души...

Что это темнеет на льду? Батюшки, человеческое тело! Ну да, старик в полушубке. Лежит навзничь, бородой вверх. Мертвый, в льдину вмерз. «Кто же это тебя, бедный дедушка, так?» Да, война, война... Может быть, в эту минуту и сержант Лебедев лежит, запрокинув голову, где-нибудь на льдине и какая-нибудь река несет его тело невесть куда...

Но льдина со стариком прошла, а о грустном Галка долго думать еще не умеет. Ага, кто-то шагает по валу. Наконец-то! Вот уж сейчас-то наговорюсь всласть! Нет, это старый усатый сапер проверяет посты. Вот ведь на-

чальство, не могли кого-нибудь помоложе на это определить.

— У тебя как, красавица, тихо тут?

Галка вскакивает, бросает руку к воображаемому козырьку.

— Так точно, товарищ начальник, происшествий нет.

Сапер смотрит на реку, удовлетворенно улыбается.

— Спадает, заметно спадает. Похоже, одолели-таки мы ее, бесстыдницу. Закурить нет? Хотя что я, какой ты, к шуту, курец!.. Ну, курносая, смотри в оба.

Чавкает под подошвой грязь, и сапер, удаляясь, как бы медленно растворяется в весенней, темно-синей, густо обрызганной звездами мгле... Да и что с него толку! Разве с ним посоветуешься о таком важном деле, как любовь?

И опять только приглушенный клекот воды, шорох проплывающих льдин, осторожно толкающих друг друга талыми, жухлыми боками. Галка зевает и с хрустом потягивается, потом настораживается.

Чу! Откуда-то, кажется от фабрики, доносятся звуки баяна. Ведь вот как везет людям! Тепло... Музыка.. Поют... И конечно же этот всем надоевший «Шумел камыш», без которого не обходится ни одна вечеринка, где собираются старые работницы. Ага, а вот уже и «Барыню» завели, и слышно, как кто-то затопотал каблуками. Даже стекла звенят.

Не стерпев, Галка соскальзывает вниз и начинает пританцовывать на сухом утоптанном местечке. Но что за радость танцевать, когда никто на тебя не смотрит? Ах, дернуло же ее напроситься на стариковское караульное дело! Потом, когда кто-то грудным голосом запевает старую фабричную песню, Галка замирает. Знакомый голос. Неужели тетка Анна?

Девушке так интересно, что она привстает на карниз, подтягивается на руках к окну, к тому месту, где маскировочная штора прилегла неплотно и пропускает косой луч. Виден лишь кусок потолка, шевелящиеся на нем тени. Но поет конечно же Анна Калинина. Вот новости!..

Сгорая от любопытства, Галка привстает на цыпочки, приникает к стеклу. Но прежде чем ей удается что-нибудь рассмотреть, новый звук привлекает ее внимание: блю-блю-блю...

Девушка спрыгнула с карниза. Тревожно оглянулась. Откуда это? Вбежала на дамбу. Ничего. Обошла участок — лед идет, все в порядке. Но тут она приметила, что там,

откуда слышится странный звук, у подножия вала, расплывается мутная лужа. При свете звезд отчетливо видно, как на черной ее поверхности быстро крутятся щепки, стружки, мусор.

— Просос? — произносит Галка вслух слово, которое много раз слышала сегодня, но смысл его уразумела только сейчас.

Ну да, ясно, что где-то вода уже просочилась сквозь промерзлую толщу вала. Девушка растерялась. Все наставления разом вылетели из головы. Впрочем, может быть, не так уж это и страшно. Надо запломбировать эту маленькую дырку, из которой как бы забил ключ, завалить это место. И все.

Не долго думая она подбежала к мешкам с песком, предусмотрительно заготовленным саперами. Аккуратным штабелем лежали они шагах в двадцати от прососа. Девушка схватилась за один мешок, за другой, за третий — все они, несмотря на небольшие размеры, были так тяжелы, что ей не удалось их даже сдвинуть с места. А мутная лужа, на поверхности которой кружились щепки и стружки, все продолжала расползаться. «Батюшки-матушки, прозевала! Прохлопала! Доверили дуре серьезное дело! Что же теперь? Нужно свистать тревогу». Галка вбежала на вал. Выхватила свисток, но он выскользнул из ее занемевших пальцев и упал в реку. Маленький всплеск — и все.

Будто электрический ток перебрал волосы у Галки на голове. Теперь и помощь не вызвать. Она снова бросилась к мешкам, вцепилась в один из них, рванула и поставила на попа.

Отчаяние, что ли, придало ей силу. Она рывком взвалила мешок на спину, но закачалась и села прямо в лужу, уронив груз возле себя. Но тут же повторила все снова. На этот раз ей удалось устоять. Перед глазами расплывались разноцветные круги. Ее качало. «Упаду, ой, мамочки, сейчас упаду и умру!» — думала она. Но не упала и не умерла. Медленно переставляя дрожащие ноги, она пошла прямо по луже и, дойдя до места, вокруг которого крутились щепки, сбросила туда тяжелую тушку. Второй мешок дался ей легче, но третий она не донесла и, оскользнувшись, упала вместе с ним, задыхаясь, обливаясь слезами.

Блю-блю-блю... Зловещее бульканье звучало отчетливей. А оттуда, с фабрики, теперь доносилось пение, и от

этого пения Галке стало страшно. Люди доверились ей. Они спокойно отдыхают, не чуя беды, а она... Вскочив, девушка схватила лопату, бросилась к окну и, размахнувшись, ударила по раме раз, другой, третий. Посыпались стекла. Над рекой разнесся отчаянный вопль:

— На помощь! Вода... Помогите!..

Действительно, в одном месте неслежавшийся песок на дамбе осел, на гребне образовалась как бы трещина, и через нее сочился, расширяясь прямо на глазах, ручеек, сбегавший вниз. «Уже и через дамбу...» — с ужасом догадалась Галка. Чувствуя, как в горле у нее сразу пересохло, она представила себе, как вот сейчас вода раздвинет промоину и, сшибая все на своем пути, ринется на фабрику...

— А-а-а! — завопила девушка и, сбежав с откоса в воду, бросилась грудью на насыпь, телом своим загораживая размытое место. Она уже никого не звала, только кричала.

23

Когда стало ясно, что наводнение пошло на спад, все, кто работал на валу, собрались на фабрике. Людям раздали пакеты с едой, чай, в коридорах запахло жареной бараниной, густо поперченным борщом, составлявшим коронный номер шеф-повара ткацкой «Большевичка». Столовая в этот день получила от директора приказ: что есть в печи, все на стол мечи. Стряпухи постарались. Но первые ложки знаменитого борща с трудом проходили в горло. Только потом уже у усталых людей пробуждался такой аппетит, что отовсюду стали требовать добавки.

Лишь к концу трапезы люди по-настоящему начали приходить в себя. Стало шумно, зазвучал смех, там и здесь послышались песни. Опасались, что после еды все разойдутся по домам. Но то, что сплачивало людей там, на валу, было живо. Они понимали: опасность не миновала. Те, кто постарше, укладывались на составленных стульях, на скамейках и просто на полу, поближе к батареям парового отопления. Молодежь о сне и думать не хотела. Кто-то съездил на полуторке в общежитие, привез поднятого с постели баяниста. Начались танцы. Девчата, которым теперь частенько приходилось танцевать друг с дружкой, упиваясь обилием армейских кавалеров, не выходили из круга.

Анна Калинина влюбленными глазами смотрела на всех этих давно знакомых ей людей, в которых этот день открыл ей столько нового: чудесный, двужильный и поистине непобедимый народ! И как-то особенно тепло вспоминался ей рябоватый капитан саперов. Все дело рук человеческих! Не божьих, как иногда говаривал отец, а человеческих! В самом деле, до чего жалко выглядели все эти божьи фокусы — исцеление какого-то психа, хождение по водам и даже самое воскресение из мертвых — в сравнении с человеческой победой над разбушевавшейся рекой. Анна не без гордости вспоминала свои слова: «А я верю в своих ткачей!» Ах, как все хорошо! А главное — теперь ничто уже больше их не испугает, да и ее самое тоже.

Счастливая, возбужденная, полная радостных мыслей, Анна ходила по фабрике, прибиваясь то к одной, то к другой группе. И всюду ей были рады. Вот старики подмастерья сидят на корточках, привалившись к радиатору отопления. Толкуют о политике. Будет или нет второй фронт? Не начинает ли разваливаться гитлерия? Не завершится ли война мировой революцией?

— Поскучай с нами, Степановна...

Посмеиваются в уголке ткачихи, обмениваясь своими женскими секретами.

— Анна Степановна, иди к нам, послушай, как Любка Манина тут отличилась...

Стоило Анне подойти к молодежи, как из круга танцующих этаким чертом вырвался лейтенант, щелкнул каблуками.

— Разрешите обратиться, товарищ начальник. Позвольте пригласить вас на вальс...

— Что ж, вальс так вальс... Жаль, что ботинки не высохли.

Секретарь парткома кружится в вальсе с веселым лейтенантом. Танцевать, смеяться, шутить, балагурить, но только не думать о том, что разбудили в памяти весенние звезды, о том давнем ледоходе и о том незабываемом, что произошло однажды над разлившейся рекой! Прочь, прочь эти мысли!.. В обличии Георгия Узорова живет теперь не тот ласковый, робкий парень, а другой, мелкий, эгоистичный, трусоватый, чужой человек.

Но, даже танцуя, Анна не в силах отогнать воспоминание. И она выходит из круга и тихо бредет по коридору в тот конец, откуда доносятся звуки тихой песни. Здесь на

валах основ расположились ткачихи постарше. Резкими голосами ведут они в унисон старую-престарую песню:

Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка темная была...

Незаметно зайдя сзади, Анна начала было подтягивать, но вдруг прервала:

— Чего панихиду завели... Давай что-нибудь повеселее.

Женщины оживились:

— Степановна, к нам, к нам! Вот садись в середку.

— Попой с народом...

— Мы уж накричались, охрипли, спой ты...

— «Валенки»! Давай нашу старинную казарменную. Мы же помним — она у тебя ух как выходит!

Всех их Анна знает — кого с детства, кого с юности. С одними бегала в школу, с другими девчонкой пришла на фабрику, третьим ей доводилось ремонтировать станки... Многие приходили к ней в партком за советом, а то и просто поделиться горем или радостью. Это была ее семья, и сегодня Анна чувствовала к ней особую нежность. Разве могла она им отказать?..

— Только чтобы всем подпевать. Слышите?

И вот низкий голос ее заводит песню, что, бывало, в прежние дни частенько звучала в коридорах холодовских казарм:

...Ой ты, Коля, Коля, Николай,
Сиди дома, дома, не гуляй.
Не ходи на тот конец,
Не носи девкам колец.

Она озорно встряхнула головой, но и без этого десятки голосов рубили припев:

Валенки, валенки,
Не подшиты, стареньки...

Слова были смешные, наивные. Сколько хороших песен родилось теперь! Но текстильщики любили свою старую, как дети любят затрепанных, давно потерявших свой первоначальный облик кукол.

Чем подарочки носить,
Лучше валенки подшить...

В первый раз задумалась Анна над словами, и песня эта, всегда полная озорной лихости, вдруг приобрела но-

вое, грустное звучание. Хор, почувствовав это, вторил уже не резко, а задумчиво:

Суди, люди, суди, бог,
Как же я любила:
По морозу босиком
К милому ходила.

Что это? Анна вдруг поняла, что в забытую и смешную песню эту она вкладывает свою боль, поняла, покраснела и, боясь, что кто-нибудь об этом догадается, оборвала, не допев, и скомандовала баянисту:

— «Барыню»!

И пошла плясать, размахивая платочком. Множество глаз следило за ней, руки прихлопывали в такт ее движениям. И вдруг раздались удары по раме — один, другой, третий. Куски разбитого стекла посыпались на пол. Баян смолк. Все повернулись к окну.

24

Первым на крик Галки прибежал Гордей Лужников. Он увидел расплывающееся под дамбой озерцо, увидел промоину и уже после всего этого разглядел темную жалкую фигурку, преграждающую своим телом путь к ручью.

Механик рванулся к девушке, чтобы вытащить ее, но Галка, онемев от холода и страха, яростно замотала головой. Она что-то зло кричала. Это можно было угадать по движению ее губ. Оставив Галку, Лужников бросился вниз, принес куль песку и, осторожно опустив его перед Галкиным носом, закрыл им зловещий ручеек. Потом вытащил Галку из воды.

— Марш на фабрику, в медпункт! Пусть ототрут спиртом.

Сам же он, бегом нося мешки, расчетливо, быстро укладывал их. Заложив русло ручейка и спустившись вниз, он принялся закладывать мешками просос.

Ну, а Галка? Едва оправившись после ледяной ванны, она уже орудовала лопатой, прикапывая приносимые Лужниковым мешки, и так при этом старалась, что холодная дрожь прошла. Стало даже жарко.

— Вот сюда, сюда мешочек и уж сюда,— показывала она, и огромный человек не споря подчинялся ее команде.

Когда наконец подоспела подмога, маленькая девушка как-то незаметно ухитрилась сделаться вожаком тех, кто действовал теперь на участке, который она мысленно называла «своим». Она так толково, так властно указывала, куда забивать колья, куда валить камень, куда нести хворост, что никому и в голову не приходило оспаривать это ее будто бы обретенное в страшные минуты право.

Но то, что случилось на Галкином участке, оказалось лишь началом новой атаки. Ниже фабрики, у поворота, получился затор. Огромное ледяное поле, приплывшее сверху, стало поперек русла. Застряв, мелкие льдины, теснимые напором воды, стали карабкаться на него, нырять под него. Так постепенно создалась плотина, преграждавшая русло от берега до берега. Лед остановился. Слышался скрежет и треск, похожий на орудийную пальбу. Вода опять начала прибывать.

Зажгли прожекторы. Стало видно, как река, вспухая, быстро поднималась к давешней отметке.

Гидролог, снова появившийся у полосатой рейки, с бесстрастностью судьбы сообщал наверх:

— Подъем порядка десяти сантиметров в час.

Десять сантиметров! Но люди закалились, поверили в силу своих рук. Они были совсем уже не те, что прибежали сюда утром. С баграми бросались они на напиравшие на вал льдины, отталкивали, отворачивали, кололи их пешнями. Саперы у поворота взрывали толовые шашки. Это напоминало рукопашный бой, в котором смешались свои и чужие и слышно только тяжелое дыхание, крякáнье, крик боли и брань.

В этой борьбе было даже что-то захватывающее. Одолев, оттолкнув баграми какую-нибудь ледяную махину, разметав ее взрывом или заставив тихо вползти на вал, не повредив откоса, люди радостно кричали и даже приплясывали.

Анна никогда не забудет, как одна не очень большая, но подпираемая сзади другими льдина пошла на таран, острым углом нацелясь на откос. Три багра, упиравшиеся в нее, сломались один за другим. Тол было закладывать поздно. Несчастье казалось неизбежным. Острие льдины было уже в метре от берега, когда Гордей Лужников бросился в воду, уперся в льдину плечом, а ногами в вал и стал медленно ее отворачивать.

Анна зажмурилась. Не было сил смотреть на это пали-

тое кровью, багровое лицо, на эти яростные глаза, на эти синие вены, вспухшие на висках и на лбу, на эти закушенные губы. Открыв через мгновение глаза, она увидела, что огромный человек, дрожа от напряжения, как канат, который вот-вот лопнет, все еще держится в той же невероятной позе и даже, кажется, сумел остановить роковое приближение льдины. Охваченная страхом и восхищением, Анна крикнула тем, кто застыл на валу, тоже будто парализованный зрелищем этого страшного единоборства:

— Ну что же вы, мужчины, стоите!

Она сама стала спускаться к реке, но несколько бойцов, уже успевших снять шинели и сапоги, обогнав ее, лезли в воду.

И вот уже как бы стена человеческих тел загородила вал живой броней. Побежденная льдина, медленно поворачиваясь, стала отступать под дружным напором и отошла, не причинив вреда дамбе.

На валу радостно закричали, зааплодировали вылезавшим из воды бойцам. Но шум этот вдруг стих: двое — пожилой сапер и механик Лужников — оставались наполовину в воде, бессильно прикорнув на скате дамбы. Их тотчас же выволокли. Сапер был без сознания. Лужников лежал на спине, большой, неподвижный. Уставившись взглядом в посветлевшее, начинавшее розоветь небо, он скрипел зубами, видимо сдерживая боль.

— Что с вами? — спрашивала Анна, склоняясь к нему.

— Там... внутри что-то... Чепуха... Водички бы...

Когда механика поднимали в грузовик, он тоже потерял сознание. Машина увезла обоих — Лужникова и сапера; борьба продолжалась, а перед Анной все время маячило это багровое, со вздувшимися венами лицо, и она удивлялась, как до сих пор не замечала этого удивительного человека.

Но в этот день секретарю парткома довелось получить еще один наглядный урок. Когда уже совсем развиднелось, пронесся слух, что где-то ниже река прорвала дальний обвод дамбы, вода хлынула на улицы и, разливаясь, затопляет поселок. Анна тотчас же соединилась по телефону с постом воздушного наблюдения этого участка. Ей ответили: ничего подобного. Но разъяснения не помогли. Слух полз от одной группы к другой и, как всегда в таких случаях, обрастал подробностями. У многих дома оставались дети.

Люди стали исчезать — по два, по три. На это сначала не обратили внимания: пусть, народу хватит. Убедятся и сами вернутся. Вот это-то и было ошибкой. Тревога перерастала в панику. Кто-то уже утверждал: залило подвалы, развалился размытый дом. Народу убыло заметно. Бежали толпами. Вот одна из них атаковала грузовик. Забили кузов и грозили шоферу лопатами: быстро в поселок, если хочешь быть живым!

Анна, Слесарев, капитан перебегали от одной группы к другой, заверяли, что никакого прорыва нет, что и в случае прорыва массивным каменным зданиям не угрожает никакая опасность, советовали послать в поселок делегатов, убедиться, что это так. Их уже не слушали. Анну, пытавшуюся задержать машину, просто оттерли в сторону, и грузовик, набитый женщинами, зарычав, двинулся вперед.

Вот в эту минуту и появилась Варвара Алексеевна. Расставив руки, старая большевичка преградила машине дорогу:

— Не пущу!

Старуха была без платка. Перед этим она, должно быть, долго бежала. Лицо ее было мокро, ветер трепал седые стриженые волосы. Губы не слушались, и только черные глаза горели гневом.

— Не пущу!

Машина легонько напирала на нее радиатором, а она, отступая перед механической силой, упрямо продолжала повторять те же два слова. Потом вдруг легла на дорогу.

Все оцепенели. Машина остановилась. Женщины стали вылезать из кузова и, будто трезвея, старались затеряться в толпе. Варвара Алексеевна, вскочив, схватила одну из них за рукав.

— Нет, стой, голубушка...

И самое удивительное было то, что эта рослая, крупная женщина, мгновение назад бешено грозившая шоферу лопатой, обмякла и покорно стояла, опустив глаза.

— Дети ж,— виновато бормотала она.— Дети ж, Лексевна, там...

— А что дети есть будут, если фабрику затопит? Вы все, слышите, что?

— Страшно ведь. Ребята одни...

— Да чей поганый рот этот слух пустил? Язык тому вырвать! Я сейчас там бежала: никакой там воды нет. Ну, кто про потоп рассказывал, выходи вперед!

Никто не вышел. Все стояли потупя глаза. Заметив, что наступил перелом, что теперь подействуют и разумные доводы, Анна бросилась на подмогу к матери.

— Раньше, раньше надо было,— сердито сказала ей старуха и, переходя на миролюбивый тон, продолжала, обращаясь к работницам: — Вы подумали, как это можно фабрику воде отдавать? Из пепла подняли, и нá тебе — воде... Ну, кто трус, кто собачьему брёху верит, кому на фабрику наплевать — ступайте. Вези их, парень, в поселок, пусть в своей дурости сами убедятся. Ну, садитесь, кто?

Но никто не сел в машину.

Потом, когда все кругом еще было окутано предутренней мглой и только вершины фабричных труб розовели в солнечных лучах, налетели самолеты. Сначала на них не обратили внимания — мало ли ходило в те дни по воздушным дорогам своих и вражеских! Но когда пикировщики сделали круг и, зайдя по солнцу, приглушили моторы, людей точно сдуло с дамбы. Все бросились на землю, кто где был: грязь — так в грязь, лужа — так в лужу...

Но кто-то уже успел разглядеть на крыльях звезды.

— Свои!.. Это ж свои!

Басовито рванулся залп. Реку будто встряхнуло. Густой рокот прокатился над стеснившимися льдинами. Острые зеленые фонтаны воды возникли над бурыми клубами. И когда самолеты, словно грачи над пашней, сверкая крыльями в лучах восходящего солнца, уже уходили, масса льда шевельнулась, робко тронулась и, рассредоточиваясь, стала приходить в движение.

Давно уже стих гул моторов. Тихо шелестел идущий лед, да вода чавкала, обсасывая берега. А люди, усталые и торжествующие, смотрели вслед улетевшим пикировщикам, и не уста, а взор их говорил: спасибо.

Вода снова заметно спадала. Гидролог в брезентовом плаще сообщал:

— Идет на убыль.

— Быстро?

— Понижение уровня порядка двадцати сантиметров в час, с нарастанием порядка двух сантиметров.

И никому уже этот человек не казался ни зловещим, ни неприятным. Все находили, что он хороший, симпатичный и знающий дело специалист. Все с удовольствием слушали

его излюбленное: порядка стольких-то целых и стольких-то десятых...

В это утро в госпитале, не приходя в себя, скончался старый сапер. Льдина раздавила ему грудную клетку.

В это утро на механика Лужникова был наложен гипсовый корсет. У него были сломаны ребра.

В это утро Северьянов, возвращаясь, по пути завез домой Галку. Тело ее горело в жару. Термометр показал 39,5°. И все же девушка не унывала: бабушка передала ей три письма — от матери, от сестры и, конечно же, от сержанта Лебедева И. С.

В это утро, обдумывая по пути домой все совершившееся, Анна Калинина впервые в полную меру почувствовала, как же она интересна — партийная работа. И, почувствовав это, поняла, как мало она еще знает это новое для нее, сложное и важное дело.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Вернувшись домой уже под утро, Анна с трудом поднялась по лестнице. Она так устала, что едва нашла ключом замочную скважину. Ноги будто свинцом налиты. Суставы ломит. И все-таки на душе хорошо. Чтобы не будить ребят, она, не зажигая света, на ощупь двигалась к кровати. Но едва сделала несколько шагов, как послышался стук босых ног и маленькие руки охватили ее шею.

— Мамочка, хорошая, миленькая,— жарко шептал в ухо, повисая на ней, Вовка.

— Мы так за тебя боялись, мы на реку хотели бежать, да дядя Арсений не велел, говорит: «Мешаться будете»,— сообщила Лена.

Оказывается, среди ночи ребята проснулись и, лежа в постели, не зажигая света, ожидали ее. Вовка усадил мать на стул, пыхтя от усердия, стащил с ее ног мокрые, раскисшие ботинки. Лена придвинула тарелку щей, открыла котелок с кашей. Все это, еще с вечера завернутое в газету, в одеяло, прикрытое сверху подушкой, было теплым.

— Заботушки вы мои! — растроганно проговорила Анна.

Но есть она не могла. С трудом добралась до кровати, повалилась на нее и, чувствуя, как гудят все мускулы, ощутила блаженный покой.

Переживания этой ночи бродили в ней, отгоняя сон. «Засни, ну, засни же,— убеждала она себя, крепко смежая веки и стараясь лежать смирно.— Ну, усни хоть немного, а то хороша ты будешь на работе». Но настоящего сна не было. Сквозь полудрему слышала она, как уходила на фабрику Ксения, как вставали, завтракали ребята, как в прихожей приглушенным шепотом спорили Лена и Ростик и, будто майский жук, гудел Арсений: бу-бу-бу. Слышался голос Лены: «Дядя Арся, давайте так: вы отведете Вовку в сад, а мы с Ростиком пойдем в школу. Идет?» Ростик поддержал: «Верно, папка, так будет законно: мы с Леной, а ты с Вовкой». Они ушли, стараясь ступать как можно тише и потому производя невероятный шум, милые чудаки.

Анна открыла глаза и улыбнулась. Приятные новости: Ростик определился в школу. Он называет Арсения папкой.

— А ну его, этот сон, не идет — и не надо,— вслух произнесла Анна, ощущая прилив сил, соскочила с кровати.

После весеннего речного простора, где она провела последние сутки, в комнате ей показалось темно и душно. Не одеваясь, она подняла маскировочную штору, а потом, вскочив на подоконник, рванула форточку. Весна дохнула в лицо ароматом талого снега. Донеслись звонкие, торопливые шаги прохожего, вероятно, боявшегося опоздать к гудку. Грузовик, разбрасывая колесами воду, с шипением проехал мимо. Солнечный луч лег на босую ногу. Даже сквозь прохладу, рвавшуюся в форточку, стало ощутимо его ласковое тепло.

Апрель был любимым месяцем Анны, даже тот скромный, тихий апрель, который, на цыпочках зайдя на фабричный двор, бродил по закопченному снегу, еще лежавшему в тени корпусов, позванивал в ручьях, сверкавших вдоль тротуаров, звучал в песнях жаворонков, мешавшихся с грохотом станков, вырывавшимся на улицу в открытые фрамуги окон. Этот вездесущий апрель проник и сюда, в комнату с забитым досками окном, и Анне вдруг стало беспричинно весело. Как в детстве, попробовала она прикоснуться рукой к солнечному лучу и почувствовала робкое тепло. Вот она, весна!

Накинув халат, Анна побежала на кухню и, умываясь, фыркала и брызгалась над раковиной, как мальчишка. Потом, размотав шали, достала вчерашние щи и кашу и с аппетитом доела их, хотя то и другое уже остыло и было невкусно. Свежий воздух, звонкий шум улицы, холодная вода и даже то, что изрядно ломило натруженные руки и ноги,— все веселило ее. И вдруг захотелось снова пережить радость победы, потянуло на фабрику. Костюм, в котором она обычно ходила на работу, был влажен и весь измят. Ботинки тоже никуда не годились. Пришлось надеть выходное платье из голубой шерсти, туфли-лодочки на высоких каблуках. У зеркала и застала ее Юнона. В шубке, в меховой шапочке, она заглянула в комнату, держа какую-то бумагу.

— Ой, куда это ты, тетя Анна, разрядилась? А как тебе идет! Только вот в груди тесновато да бедра слишком уж выпирают.

— Подумаешь! — беззаботно отозвалась Анна, проводя руками по высокой груди и бедрам.— Гардероб мой весь — фью! — Она даже свистнула, сложив губы трубочкой.— В одном этом и в пир, и в мир, и в добрые люди... Сойдет... Садись, чего стоишь?

— Некогда, я ведь по делу.— И Юнона рассказала, что собирается мобилизовать комсомольцев-прядильщиков на помощь ткачам, пострадавшим от наводнения.— Вот тут я и план набросала. Посмотри, как?

План был продуманный и даже тщательно переписанный. Он предусматривал посылку молодых слесарей для восстановительного ремонта, участие комсомольцев-прядильщиков в массовом субботнике по укреплению вала и, что было в нем главным, обязательство улучшить качество пряжи, посылаемой ткачам. Анна с удивлением посмотрела на племянницу.

— Здорово! И когда же ты это только успела!

— А вчера вечером... Сейчас вот встала — переписала.— Юнона улыбнулась.— Руководить — это значит предвидеть.

— То есть как это вчера? Вчера же там, на реке...— Анна сразу представила себе тревожный свет прожекторов, мечущиеся фигуры людей, льдины, таранившие неслежавшуюся землю, мужественное, непреклонное лицо Лужникова, исступленные глаза матери.— Так с нами ваших прядильщиков немало было. Еще как работали-то!

— Были,— спокойно подтвердила Юнона.— Так то по линии фабкома, а я тут задумала чисто комсомольское мероприятие... Ну как?

— Что ж, будем приветствовать,— вяло отозвалась Анна, возвращая бумагу и сама еще не понимая, почему у нее вдруг погас интерес к хорошему делу, затеянному племянницей.

Юнона, довольно улыбаясь, бережно свертывала план.

— Вот если бы наш партсекретарь умел, как ты, ценить интересную инициативу... Ну, я побежала. Надо людей в райкоме захватить... Так я скажу «первому», что ты одобрила. Можно?

Легкие шаги девушки уже звучали на лестнице, когда у Анны вдруг почему-то возник вопрос: план, инициатива — это хорошо, а вот Николай Иванович Ветров мог бы в то время, как люди боролись с рекой, так вот хладнокровно обдумывать: чем завтра можно будет помочь по-

страдавшим соседям? Сама эта мысль возмутила ее: какая чушь!.. И вдруг подумалось, что Ветров, как бы он ни устал накануне, сейчас был бы, конечно, там, на фабрике, с народом.

2

Когда самолеты разбомбили затор и вода разом спала, работавших на валу известили: следующий день на ткацкой объявляется выходным, чтобы все могли выспаться, отдохнуть, просушить одежду. Это было встречено ликованием. И все-таки большинство пришли на фабрику. Их привели радость победы, ощущение собственных сил и этот разбуженный вчера энтузиазм, который не смогли погасить ни усталость, ни бессонная ночь.

В коридорах, в красных уголках — всюду людно, как бывало в дни революционных праздников, когда ткачи собирались здесь на демонстрацию. Анна сразу же окунулась в эту веселую атмосферу и, стряхнув остатки усталости, почувствовала себя необыкновенно легко.

В цехах повсюду уже началась работа. Слесари прикрепляли к полу станки и моторы, подготовленные вчера к эвакуации. Но большинству людей делать было нечего, и они ходили с места на место, живя вчерашними неперекипевшими страстями. Собирались кучками тут и там. Каждому казалось, что именно он был на самом ответственном участке. Каждый стремился рассказать свой, особенно интересный случай. Охотников слушать было меньше, все перебивали друг друга. Стоял веселый шум.

Анна чувствовала, что сейчас всех этих людей легко поднять на любое, самое трудное дело, и понимала, как они будут огорчены, если этот добрый запал пропадет даром. У слесарей оказалось столько добровольных помощников, что те даже сердились:

— Ребята, найдите себе какое-нибудь дело, не вертитесь под руками!

В дальнем углу ткацкого зала виднелись черные картузы. Где-то среди них Анна увидела кудлатую и почти совсем уже седую голову Арсения Курова. Он был со своими «орлами». Мастер вытер «концами» широкую жесткую ладонь и осторожно пожал руку Анны.

— Вот партком к вам на подмогу прислал, а у вас свои без дела тоскуют,— сказал он, раскуривая трубочку-ку-

киш. Потом, окинув взглядом закопченные зимою стены и потолки, тусклые стекла окон, скупо цедившие свет, вздохнул.— С мирного времени у вас не был. Что твоя конфетка фабрика была, а теперь будто дом после оккупации... Дала бы ты, Анна, людям тряпки в руки — пусть прибираются. И нам бы, глядишь, не мешали.

— Говоришь, прибираются? — задумчиво переспросила Анна. И вдруг вскрикнула: — Арсений Иванович, миленький, вот спасибо! — И, ничего ему не пояснив, заспешила из цеха.

Уборка фабрики... Золотая мысль! Как же это ей самой не пришло в голову? Ведь вчерашняя самозабвенная работа сотен людей очень напоминала многолюдные субботники тридцатых годов, когда текстильщики «Большевички» так же вот сообща, цехами, целыми фабричными коллективами, выходили на прокладку трамвайных путей в свои новые поселки, засыпали вековечные болота, с незапамятных времен служившие свалкой, ровняли почву, разбивали аллеи, клумбы, сажали тоненькие тополя вдоль новых, еще лысоватых улиц, когда обитатели общежитий со швабрами, с тазами, тряпками выходили в коридоры, в кухни и под песни, под баян скребли, терли, мыли, сдирая в углах и под потолками напластования грязи, скопившиеся еще с холодовских времен.

Сколько было так вот, сообща, сделано хороших дел! И разве не та же веселая, не знающая устали и предела коллективная энергия принесла вчера победу над взбесившейся рекой? Действуя излюбленным ею теперь «способом подстановки», Анна поставила себя на место любой из этих женщин, что, скучая без дела, бродили по коридору, и поняла, как плохо будет, если они разойдутся. Этого нельзя допускать.

А через несколько минут, успев заразить своей идеей Настасью Зиновьевну Нефедову и Феню Жукову, заручившись поддержкой фабкома и комитета комсомола, Анна убеждала Слесарева объявить массовый субботник по уборке фабрики — большой субботник, какими на всю страну славился когда-то Верхневолжск.

— Но ведь я же сказал всем: будет заслуженный отдых. Хорошо ли проявлять непоследовательность? — нерешительно возражал Слесарев.

— Но это же и будет отдых! Я вот как на фабрике устану, приду домой и сразу берусь за иглу или за щетку,— настаивала Нефедова.

— А мои девчата уже за швабрами побежали,— призналась Феня Жукова.— Я им только сказала: «Может, уберемся на комсомольских участках?» — а они...

Слесарев поднял вверх руки.

— Восемь девок, один я, разве вас переспоришь! Вот только кто отвечать будет, если завтра производительность ухнет?

И вот в цехах началась шумная суета. Сотни добровольцев мели, скребли, чистили. Копоть сбегала со стен в потоках мыльной воды. Стекла скрипели, промытые с мелом. В ткацкий зал приволокли легкие лебедки. С помощью их к потолкам были подняты длинные люльки. Ткачихи помоложе, пересмеиваясь, перешучиваясь, протирали мелом горбы стеклянных крыш, протирали и радовались, что подслеповатые рамы точно бы прозревали, в цехе становилось светлее.

Как хороша ты, общая, добровольная, бескорыстная работа, великую силу которой заметил и раскрыл еще Ленин, когда вместе с кремлевскими курсантами таскал во дворе бревна на первом субботнике! Как можешь ты захватить человека, заставить его почувствовать себя владельцем всего, что его окружает, хозяином своей фабрики, своего города, всей своей необозримой земли! Ты будишь силы необычайные, и все лучшее в человеке начинает расти и расцветать... Тут и там возникли песни. Сначала робкие, еле слышные, они звучат все громче, ширятся, и вот уже задорные хоры работающих, как бы соревнуясь между собой, набирают силу. Никого не надо торопить. Мощный, бодрящий дух соревнования захватил людей. Даже самых ленивых и нерадивых встряхнул и несет его могучий поток. Как все это напоминает Анне молодость, субботники ее юношеских лет! Растроганная, обводит она глазами фронт работ и думает: «Ишь, будто свою квартиру к празднику убираете, милые вы мои!»

Со знаменем, с баянистами пришли молодые прядильщики. Сияющая Юнона, отыскав Анну, представляет ей своих ребят.

— Ты посмотри, посмотри, мои, как всегда, откликнулись на все сто. Прямо со смены сюда. Ну, найдется для нас дело?.. Нет, ты посчитай, сколько наших!

Анна обняла племянницу.

— Молодец, Юнонка... А насчет работы — хоть двести

процентов приводи, всем хватит дела.— И, обращаясь к гостям, которые грудой складывали пальто на столы, говорила растроганно: — Уж такое вам спасибо, что и слов не найду! Вы такие... такие,— словом, ну, настоящие...

Юнона с удивлением смотрела на тетку. Что с ней? Оделась будто на праздник. На щеках румянец, глаза сверкают, речь взволнованная, бессвязная. Разве так должен разговаривать секретарь партийной организации? Выпила она, что ли? И все-таки девушке немножко завидно: ее ребята непринужденно разговаривают с Анной, точно век с ней знакомы, дружно подхватывают ее шутки и разом стихают, когда та начинает говорить. А секретарь парткома действительно чувствует себя в этот день необычно, будто и впрямь легкий хмель шумит в голове. Все так отлично удается.

Когда все наладилось и субботник, как говорят текстильщики, «пошел мотать на полную катушку», она все же не стерпела и, раздобыв у кого-то халат, косынку, шлепанцы, оказалась среди молоденьких ткачих, что, поднявшись в одной из дощатых люлек под потолок, протирали и мыли стеклянную крышу. Девчата были веселые. Проворно действуя щетками и тряпками, они перешучивались с куровскими «орлами», работавшими внизу, и заводили одну песню за другой. Анна пела вместе с ними, и мнилось ей, что она комсомолка, что вся жизнь еще впереди, и было ей так хорошо, что время летело незаметно. Она даже удивилась, когда увидела, что в стеклах, которые они промыли, зарозовели отблески заката. Вот в это-то время одна из девушек и показала Анне вниз:

— Глядите-ка, вас хозяин кличет... Сердитый.

Внизу в пальто, в шапке стоял Слесарев. Он что-то кричал, сложив руки рупором. Люльку опустили, и Анна узнала, что два, а может быть, даже уже и три часа назад в горкоме срочно вызывали руководителей ткацкой. Их сообщение о борьбе с наводнением стояло на бюро первым в повестке дня. Но время шло, бюро, вероятно, давно уже открылось, а секретаря парткома только сейчас удалось обнаружить под потолком, с тряпкой в руках. Директор был явно рассержен: сами свой авторитет понижаем и топчем.

— Ну, заслушают не первым, а пятым вопросом — какая разница? Важно дело сделать, а отчитаться никогда не поздно,— не без смущения оправдывалась Анна, втискиваясь вместе со Слесаревым в шоферскую кабину фабричного грузовичка.

Директор недовольно молчал. Он только бросил на свою спутницу уничтожающий взгляд. Так они и промолчали всю дорогу. Один упрямо смотрел в окно, другая зевала, прикрывая рот ладонью, с трудом борясь со сном.

Впрочем, мрачные ожидания Слесарева не оправдались. Никто и не думал упрекать за опоздание. Наоборот, при их появлении все оживились. Секретарь горкома вышел из-за стола, и Анна не без удивления заметила, как весело умел улыбаться этот сдержанный, замкнутый человек.

— Поприветствуем, товарищи члены бюро, покорителей стихии... Рассказывайте, как вы воевали с богом Посейдоном. Думаю, время ограничивать не станем? Ну, кто из вас начнет? Товарищ Слесарев? Просим, Василий Андреевич.

Ободренный таким приемом, директор разложил на столе заметки, достал очки и, как всегда, неторопливо начал сообщение. Устроившись в уголке дивана, Анна стала наблюдать за лицами членов бюро, по-детски морща лоб, чтоб не дать сомкнуться векам. Но в комнате было так тепло, а в уголке дивана так уютно, что веки все-таки сомкнулись — сомкнулись, казалось, лишь на мгновение. Но когда Анна раскрыла глаза, Слесарев уже собирал свои листки, все члены бюро смотрели на нее, а начальник гарнизона, молодой коренастый генерал, даже посмеивался, прикрывая рот большой волосатой рукой. «Батюшки мои, никак уснула!» — подумала Анна, чувствуя, как лицо ее заливается горячим багрянцем. Только секретарь горкома сохранял серьезность, но даже толстые стекла его пенсне не могли скрыть смешинок, которые он прятал в глубине голубых глаз.

— Может быть, партком что-нибудь добавит к докладу директора?

— Что же тут добавлять? — совсем растерявшись, ответила Анна.— Тут Василий Андреевич все хорошо рассказал.— Но, увидев, что улыбки на лицах окружающих приобретают лукавое выражение, нерешительно добавила: — Наверное...

Это «наверное» окончательно погубило ее. Грянул смех... Генерал, сочно отчеканивая каждый слог, исторг утробное «хо-хо-хо». Не выдержал и секретарь горкома. Он засмеялся, да так звучно, весело, заразительно, что в конце концов расхохоталась и сама Анна. Только Слесарев стоял обиженный, озабоченный, явно опасаясь, как бы в

неожиданном этом веселье не утонуло впечатление от его сообщения.

— Так, значит, «наверное»? Замечательно! — сказал секретарь горкома, снимая пенсне и вытирая повлажневшие глаза.— Нет, нет, вы правы, доклад был действительно обстоятельный. Но... Вы о людях, о людях нам расскажите. Помните ваше: «Я за своих ткачей ручаюсь!..» Очень это у нее, товарищи, хорошо вчера получилось. А главное — оправдалось: фабрику-то отстояли... И о тех расскажите, кто пострадал, как их устроили, как их обеспечили медициной... Кстати, Лужников — это не тот, о котором не так давно вы приняли, как вон Северьянов говорит, решение, достойное библейского царя Соломона?

Общий добродушный смех успокоил Анну. Ей стало совсем просто, будто была она не на бюро горкома, а среди своих ткачей.

— Тот, тот Лужников... Эх, видели бы вы, товарищи, как он вчера бросился в воду! Верите ли, я сама глаза зажмурила, думаю: вот его раздавит... И кабы не этот человек да не саперы, плавать бы нам сегодня. А вообще, товарищи, скажу я вам...— Загораясь, Анна начала говорить о том, как удивительно держались во время этих трагических суток люди, как обрадовались, когда сегодняшний день объявили выходным, и какой, несмотря на все это, славный получился сегодня субботник.

— Фабрику, словно собственную комнату, охорашивают.

— А я слышал, будто ткачи народ инертный,— лукаво блеснув карими глазами, произнес басовитый генерал.

— Что? Ткачи? Ткачи инертны? — грозно переспросила Анна.— Да кто же это вам такую... такое... так...— Но, почувствовав шутку, сама засмеялась.— Да с таким народом, как наши ткачи, земной шар перевернуть можно!

— Если их хорошо организовать и умело вести,— уточнил секретарь горкома и вдруг спросил: — А этот Лужников, он ведь, кажется, из старых балтийских матросов, Зимний брал? Так ведь, товарищ Калинина?

Анна молчала. Лужникова, этого большого, молчаливого и будто всегда поглощенного какой-то заботой человека, она изредка встречала на собраниях актива и знала о нем лишь по различным невероятным историям о его физической силе, каких немало ходило по фабрике. То будто бы, крепко гульнув на какой-то свадьбе, он ночью нес на руках, как ребенка, через весь фабричный двор свою

уснувшую жену. То однажды, тоже под хмельком, остановленный где-то на окраине слободки двумя грабителями, сгреб их за шиворот, стукнул лбами, разоружил, а потом, заставив снять брюки, закинул эту необходимую принадлежность мужского костюма на крышу какого-то сарая. То... Но ведь не эти анекдоты интересовали секретаря горкома. А ничего другого про человека, который теперь вот так и стоял у нее перед глазами, Анна не знала.

— Вы совершенно правы,— поднялся Слесарев.— Гордей Павлович Лужников член партии с ноября тысяча девятьсот семнадцатого года,— сказал он и, как бы сводя с Анной счеты и за опоздание, и за сон во время доклада, назидательно добавил: — Вот, товарищ Калинина, видите, тут лучше знают наши кадры, чем в собственном партийном комитете.

Анна же, уходя с заседания, думала: «Уж такая, должно быть, это штука партийная работа, что никогда до дна ее не вычерпаешь».

3

Вечерело. На город, маскируя его раны, опускались весенние зыбкие, лиловатые сумерки. Анну еще больше тянуло ко сну, но надо было навестить еще тех, кто вчера пострадал.

За эти месяцы ткачихи стали в госпитале своими. В раздевалке их уже ожидали собственные халаты и косынки. Секретарю парткома тотчас же дали подкрахмаленный докторский халат, а на голову — белую шапочку и немедленно провели в кабинет к начальнику.

Старик встретил Анну на пороге. Он стоял, опираясь на палку, грузный, оплывший больше, чем всегда. Но шапочка по-прежнему лихо сидела на затылке и на лоб свисал курчавый седой чуб.

— Входи, входи, бабий командир,— хрипел он, тиская пальцы Анны в пухлой подушке своей старческой руки.— Дай-ка я погляжу, какая ты теперь стала. Хороша, ничего не скажешь, кругом хороша. Дурак этот твой Узоров, такую красу черт-те на что променял.

Кто посмел бы говорить с Анной в таком тоне! Но ведь это Владим Владимыч. Девчонкой привозили ее к нему в больницу в тягчайшем тифу. Ночью, в часы кризиса, врач не отходил от ее койки, а потом чуть не запустил клюшкой

в Степана Михайловича, когда тот вздумал сунуть ему в руку «благодарность». Ни матери, ни отцу не позволила бы Анна таких слов, а тут только опустила глаза.

— Я ж сама его выгнала.

Но старик был беспощаден.

— Врешь! Все фабричные сплетницы ко мне на прием бегают, все знаю. И про эти иностранные языки знаю... Черт с ним, слизняк, дерьмо, недостоин он твоего мизинца...— Но, взглянув в лицо Анны, врач спохватился и круто повернул разговор: — А за шефство спасибо, уж как твои ткачихи нам помогают... сильнейшее медицинское средство. Да, да, что ты думаешь, это ведь и по науке, по Павлову, психологический фактор: они и подушку поправят, и белье переменят, и ногти тяжелым подстригут, и письмо напишут... Домом от них на человека веет... Психологический фактор — это ведь сила... А ты, Анна, садись, я тебя скоро не выпущу.

Анна сняла со стула стопку книг и села. В ней еще жили остатки той детской робости, с которой она когда-то, лежа в палате, слушала приближающееся по коридору постукивание клюшки.

— Вина хочешь? — спросил вдруг Владим Владимыч.— А что, для такой гостьи дирекция на затраты не скупится. Генерал один от щедрот своих прислал. Довоенный мускат. Налить? Да уж выпей, мне и самому хочется, да без повода боюсь. Сам себе запретил, машинка,— он постучал себя по левой стороне груди,— машинка тут что-то поскрипывать стала...

Он наполнил два стакана и тотчас же с удовольствием окунул в один из них свои пушистые усы.

— Неплохо, а? Пей, пей, коммунистам твоим не скажу... Так вот, о психологическом факторе. Думаешь, в первую мировую войну этого не было? Ого! Санитарные поезда, отряды милосердия... Было. Всякие там княгини да баронессы-патронессы косынки надевали... как же... Не ново. Но вот когда не баронессы-патронессы от скуки, а твои ткачихи сюда приходят, целую смену у станка отстояв, когда какая-нибудь там фабричная девчонка сама бледненькая, под глазами круги, руку подставляет: «Берите у меня кровь»,— вот этого, милая, не было во веки веков... «Берите кровь»,— а у самой губешки белые, ноги дрожат... Знаешь, Анна, мне, старому дураку, хочется иной раз этим твоим ткачихам шершавую их руку поцеловать... Ей-богу... А ну вас совсем!

Врач достал большой носовой платок и долго сморкался, исторгая трубные звуки, потом залпом допил вино и молодцевато расправил усы.

— Ты слушай, слушай: партийному начальству все знать положено... Вошел я раз ночью в палату, вижу: сидит одна из твоих, пожилая, лет пятидесяти, и раненый ее обеими руками за руку держит. Прижал к груди и застыл. Я-то сразу понял: умер уж, и лицо у него хорошее, покойное. А она вся окаменела от напряжения, а руку отнять боится, чтобы не разбудить, не потревожить. Только слезы по щекам текут...

Налив еще вина и быстро его допив, он поставил стакан на стол, подальше от себя, расправил усы и шагнул к Анне.

— Дай я тебя, секретарь партбюро, за всех за них расцелую.— И, целуя Анну то в левую, то в правую щеку, приговаривал: — Это тебе от Красной Армии, это от советской власти, а это от меня, старого пьяницы, черт меня подери!

Он сам повел Анну в палату, где устроили пострадавших на реке. Война в эти дни ушла на юг, на Верхневолжском фронте было затишье. Госпиталь наполовину пустовал, и Владим Владимыч отвел для земляков большую светлую палату. У койки красноармейца, неподвижно лежавшего на спине, сидела бледная, большеглазая девушка, вся утонувшая в огромном, не по росту, халате. Возле кровати пожилого подмастерья, будто изваяние, застыла его жена. Лужникова поместили у окна. Он был так велик, что казалось, будто его уложили в детскую кроватку. Маленькая, худенькая женщина с недурненьким, но вялым, исчерченным морщинами личиком, вся какая-то встопорщенная, должно быть, за что-то отчитывала его и смолкла, лишь когда в дверях появился Владим Владимыч. В палате стояла напряженная, неловкая тишина.

— Вот, землячки́, командира вашего привел,— сказал Владим Владимыч, пропуская Анну, и по тому, как все заулыбались, как дружно ответили на ее «здравствуйте», старый врач понял, что секретарь парткома на фабрике любим и уважаем. Лужников даже попытался привстать, но сморщился и бессильно повалился на спину.

— Лежи, лежи, коли бог разума лишил,— негромко произнесла худенькая женщина.

— Видите, жена стружку сгоняет,— конфузливо улыбнулся большой человек.

— А как же с тобой, милый мой, поступать? — вдруг перешла на крик женщина.— Всюду ему, дураку, надо соваться! Ростом в фабричную трубу вымахал, а в голове во! — Она постучала косточкой пальца по тумбочке.— Никто не полез, а он полез. Ему, видите ли, больше всех надо.

— Ваш муж фабрику спасал,— сказала Анна, переводя удивленный взгляд с нее на него.— Вы им должны гордиться.

— Есть чем... Вон он, как бревно гнилое, валяется. Дома бы героизм проявлял, а то...

— Лиза! — конфузливо перебил ее Лужников.— Лиза... Тут же...

— А что тут же, что тут же? Чего мне таить, пусть добрые люди послушают. Видите ли, он недоволен... Нет уж, пускай все знают, какой я на шее камень несу!

Этот резкий, дребезжащий голос вызывал у Анны невольную дрожь, какая бывает, если ногтем провести по стеклу.

— Милая, это уж вы потом, дома, здесь госпиталь,— стараясь говорить добродушно, попробовал остановить Владим Владимыч.— У вашего супруга травма нелегкая, его нельзя волновать.

Но, как видно, любой разумный довод действовал на маленькую женщину как вода на горящий бензин.

— «Нельзя волновать»... Нежное существо! А меня волновать можно? Я вся насквозь больная, у меня ни одного нерва здорового нет, а этот идиот все делает, чтобы меня из себя вывести.

Просторная палата, казалось, до краев наполнилась резким, дребезжащим голосом. Анна смотрела на Лужникова, и образ этого человека как-то странно двоился: сквозь крупное, измученное болью, встревоженное, просительно и жалко улыбавшееся лицо она видела другое — мужественное, прекрасное в своей самоотверженной непреклонности.

— Как вы тут, товарищи, как чувствуете? — громко, стараясь сделать вид, что ничего не замечает, сказала она.— Может быть, у вас есть какие-нибудь просьбы, чего-нибудь вам не хватает?

— Селедочки вот мой просит с лучком,— опустив глаза, сказала жена помощника мастера.

— А вот этот товарищ — книжку... Скучает без книг,— еле слышно прошептала девушка, сидевшая возле бойца,

с опаской косясь на Лужникову.— Я могла бы принести, у меня есть очень интересные книжки, но я не знаю, можно ли ему читать...

— А у вас? — обратилась Анна к Лужникову.

— Да мне вроде ничего и не надо... Спасибо. Вы вот скажите, Анна Степановна, как у нас там, на фаб...

— Слышите, слышите,— перебила его жена,— ему надо знать, как на фабрике, а что жена сидит возле этого истукана, последние нервы на него переводит, это ему нипочем, до этого ему...

— Вон! — тонким фальцетом выкрикнул вдруг Владим Владимыч. Ткнув палкой, он открыл дверь.— Уходите! Сейчас же уходите!

И тут произошло удивительное превращение: дребезжащий поток злых, бессмысленных слов сразу иссяк. Женщина растерянно оглянулась, потом покорно встала, погладила мужа по руке и тихонько пошла к двери, с опаской оглядываясь на врача. Лужников лежал с закрытыми глазами. Широкое лицо его мучительно морщилось, будто бы он испытывал физическую боль.

— Извини, брат, не стерпел,— сказал Владим Владимыч и, все еще тяжело дыша, стуча палкой громче, чем обычно, вышел в коридор.

Наступила тягостная тишина. Анна с невольной жалостью смотрела на большого беспомощного человека. И в то же время в ней закипала досада: как он такое позволяет, неужели не может себя защитить?

— Есть у меня к вам, Анна Степановна, просьба,— тихо заговорил наконец Лужников, открывая глаза.— Жена... Одна ведь теперь осталась — ни знакомых, ни друзей. Характер-то видели, избегают нас люди. Скажите там — пусть ее кто хоть изредка навестит... Это не со зла, это она за меня волнуется.— И, будто речь шла о ребенке, добавил с неожиданной лаской: — Мы ведь не всегда такие...

С тяжелым сердцем, с какой-то большой и непонятной тревогой вышла Анна из госпиталя. А тут еще невестка навязалась в попутчицы. Прасковья Калинина недавно выкрасила свои волосы в ядовито-апельсиновый цвет, и от этого розовое лицо стало еще ярче, а темные родинки на нем так и лезли в глаза. Бойко стуча каблуками хромовых сапожек о подсохший на солнечных сторонах улицы асфальт, она сыпала слова, точно пригоршнями горох разбрасывала. Но до Анны, погруженной в свои мысли, до-

летали лишь фамилии каких-то военных, которые будто бы все были без ума от симпатичной сестры и безуспешно, что особенно подчеркивалось, добивались ее благосклонности.

Не слушая, Анна рассеянно произносила: «Неужели?», «Да что ты говоришь?» — и все думала о том, что так неожиданно открылось перед ней. Дело Лужникова дважды слушалось на бюро, обсуждалось на партсобрании, а уж, кажется, кого-кого, а его-то партком знал. И вот, пожалуйста, в один день два открытия: человек, оказывается, штурмовал когда-то Зимний, а теперь вот живет в эдаком домашнем аду... Да, мало, мало еще знает она людей... Что, в сущности, известно Анне вот об этой молоденькой женщине — об ее невестке?

— Паня,— сказала вдруг Анна задушевным голосом,— вот ты мне тут о своих симпатиях рассказываешь, а Николай? Ты что ж, о нем вовсе и не вспоминаешь?

— Николай? А чего его вспоминать...— начала было Прасковья в обычном своем тоне и вдруг осеклась. Они молча прошли целый квартал. Потом молодая женщина заговорила задумчиво и каким-то новым, еще не слышанным Анной голосом: — Анночка, вам, может быть, это странно, но я же его почти не знаю, Колю... Мы ж месяца не прожили — и война. Вот во сне его вижу — шутит, смеется. Смех, голос слышу, а лицо забыла. Закрою глаза и не могу вспомнить, какое у него лицо...

Анна удивленно глядела на собеседницу. Действительно, рядом шла незнакомая, задумчивая, грустная и очень простенькая женщина, к которой как-то особенно теперь не шли ее неестественного цвета волосы.

— Еще помню, как он танцевал. Сильный. Кружишься с ним, а он от пола оторвет, и ты летишь... У нас на аэродроме в клубе большой танцевальный зал был. Все расступятся и на нас смотрят... Коля ведь другой, чем вы все, Калинины... Только месяц и жили... А молодость — она ведь проходит, Анночка. Вот глушу себя работой, сутками из госпиталя не выхожу... А жить-то хочется...

Полные, ярко подкрашенные губы кривились, дрожали.

— Паня...— ласково начала Анна.

Но этого сочувственного тона было достаточно, чтобы та, как улитка, исчезла в своей привычной раковине.

— А в общем, Анночка, ну их к чертям свинячьим, мужчин! Не стоят они того, чтобы две такие интересные женщины, как мы, о них говорили... А вы заметили, как

этот, большой-то, которого льдиной помяло, ну, вот у которого-то жена-то ведьма, как он на вас смотрел?

— Глупости! — резко оборвала Анна, смотря на невестку и думая: полно, прозвучали ли только что задумчивые, тоскливые слова?

— Да уж какая там глупость, диагноз точный. И я вам скажу — вы на него напрасно не обратили внимания. Он вполне вирулентный мужчина и собой недурен.

На остановке, когда Анна втиснулась в переполненный, присевший на задние колеса автобус, та, другая, неизвестная ей Прасковья, еще раз на мгновение высунулась из раковины:

— Увидите, Анночка, мамашу, скажите — совестно мне, что я тогда насчет Жени-то... Ведь вот бывает, и не хочешь, а как-то само сорвется... А как сейчас Женя, что пишет?

Но автобус тронулся, и Анна не успела ответить, что о старшей племяннице ей мало что известно. Из письма, полученного стариками, семья узнала только, что Женя добровольно поступила в армию. Подробностей она не сообщила.

4

А жизнь Жени Мюллер входила в новую колею. Просьбу ее удовлетворили, она была зачислена в армию. Ей присвоили звание младшего лейтенанта и прикомандировали к тому отделу штаба, где работал майор Николаев. В будущем Жене предстояло снова действовать во вражеском тылу, на оккупированной территории. А пока что ее поселили на «высоте Неприступной», в обществе «трех богатырей», и, дожидаясь задания, она вместе с ними переводила допросы военнопленных, трофейные документы вражеских штабов, письма немецких солдат и офицеров, сумки с которыми поступали иной раз от партизан, перехватывавших машины неприятельской полевой почты.

Допросы и документы чисто военного значения девушку интересовали мало. То и другое она переводила добросовестно, но и только. А вот письма, обычные солдатские письма, адресованные родным и знакомым, очень ее занимали. Наедине с письмом человек, хочет он того или нет, всегда остается самим собой. И Женя сквозь барабанные фразы о преданности фюреру, о верности третьему рейху,

об уверенности в скорой победе старалась разглядеть истинный облик немецких солдат, охваченных страхом внезапного поражения, сбитых с толку этим первым отступлением, уже начинающих задумываться о будущем. Девушка быстро научилась угадывать, что написано для военных цензоров и что отражает действительные чувства и мысли.

Каждое новое письмо, в котором ей удавалось подслушать нотки тоски, раздумья, страха перед этими «непонятными советскими дьяволами», которые воюют не по правилам, которые не складывают оружия, а продолжают борьбу на уже завоеванной у них территории и остаются опасными, даже когда взяты в плен, каждый намек на то, что немецкая армия не едина, что там не сплошь гитлеровцы, что среди тех, кто с оружием в руках дошел почти до стен Москвы, есть люди, не только не верящие в нацизм, но и ненавидящие его,— каждое такое письмо было для девушки маленьким торжеством. Ведь это говорил и Курт Рупперт. Ведь таким был он сам. Ей радостно было снова и снова убеждаться в правоте его слов.

Вынув из конверта листки бумаги, закапанные свечным салом, запачканные окопной глиной, гарью костров, она жадно пробегала их. Потом принималась читать, стараясь представить себе облик автора и даже условия, в которых он писал. Все больше попадалось свидетельств, что не только в рассказах о немецкой армии, но и в оценке того, что в ней происходит, Курт был прав. Теперь она не сомневалась и в том, что он сдержал слово и где-нибудь сказал те русские фразы, которые они вместе разучили: «Не стреляйте... Я друг... Ведите меня к командиру. Вот листовка-пропуск». Сказал или готов был сказать, но его выследили и схватили. А может быть, он погиб при переходе линии фронта или был подстрелен бойцами наших секретов, прежде чем успел раскрыть рот...

Наткнувшись на такое письмо, Женя торжественно потрясала им:

— Витязи, слушайте!

Девушки поднимали глаза и настораживались. Для них, как и для многих в те дни, все оккупанты были сплошь гитлеровцы, бессовестные бандиты, кровожадные звери. Девушки люто ненавидели их. Однако они нисколько не возмущались тем, что их синеглазая подружка, про храбрость которой в штабе уже все знали, подружилась с каким-то немцем; это они понимали и невольно уважали

ее за то, как она отважно защищала право на эту дружбу. Но почему Женя так радуется, отыскав в каком-нибудь замусоленном письме нотки раздумья, тоски, страха за семью,— словом, отражение человеческих чувств, было им непонятно, и это, что там греха таить, они склонны были порой объяснять тем, что Женя сама наполовину немка.

Зато майор Николаев сразу оценил способность новой переводчицы угадывать в письмах, подмечать на допросах проявление этого, пока еще едва заметного процесса расслоения, начавшегося в немецко-фашистской армии. Сводки, составленные Женей, он читал с особым интересом и всячески поощрял стремление девушки проследить изменение психологии неприятеля.

Майор пришел в армейскую разведку с партийной работы. Моральный фактор он считал на войне одним из важнейших слагаемых, и для него было особенно ценно получать новые и новые доказательства того, что гитлеризм, сломивший волю немецкой нации, сколотивший гитлеровскую военную машину, все же не сумел парализовать человеческий мозг.

Даже в тяжелые дни, когда бои шли под Москвой, майор не забывал, что когда-то пять миллионов немцев проголосовали за Тельмана. Вот почему Николаеву было дорого умение новой переводчицы видеть в неприятеле не просто гитлеровцев, а Куртов, Вилли, Отто, Артуров, Клаусов, Густавов, Эрнстов, которые под влиянием побед Красной Армии уже начинают производить мучительную переоценку того, что столько лет вдалбливали им в головы гитлеровские пропагандисты.

Вот он начинается, неизбежный процесс отрезвления, о котором мечтал, в который неколебимо верил этот офицер-коммунист в самые трагические дни войны!

— Евгения Рудольфовна, умница, воспитывайте в себе этот нюх... Выиграть сражение — это не только отбросить врага от столицы, очистить столько-то населенных пунктов. Это больше, гораздо больше,— говорил майор, расхаживая взад и вперед по избе.— Немец задумался — это же страшно важно! Мы с вами не просто военные, мы советские военные, и для нас важно следить за тем новым, что сейчас зарождается... Вот увидите, как оно будет развиваться, в какой могучий фактор вырастет, когда мы перейдем в наступление по всему фронту. А ведь такой момент наступит!

Все три богатыря немножко завидовали Жене, немножко сплетничали о тайной симпатии майора к их белокурой подружке, немножко были склонны объяснять служебные успехи новой переводчицы орденом, каким награждались лишь люди, совершившие особо выдающиеся и обязательно боевые подвиги. Но в общем-то на «высоте Неприступной» Женю Мюллер не только признали, но и полюбили.

Помогло этому и то, что одна Женя умела из пшенных, люто ненавидимых всем штабом концентратов сварить вкусный домашний кулеш, могла истопить печь не хуже старого солдата, ловко вырезала из канцелярской бумаги узорчатые занавески, которые выглядели как настоящие тюлевые, всегда ухитрялась сохранить для застрявшей на работе подружки теплый ужин и умела так разобрать очередную сводку Советского Информбюро, что у всех ее слушательниц становилось веселей на душе. И конечно же никто лучше ее не мог отбить атаку молоденьких лейтенантов, пытавшихся иной раз проникнуть на «высоту Неприступную».

Впрочем, Женя сама же и изменила систему коллективной обороны, о которой ей рассказал в первый день пребывания на фронте приходивший с анкетой лейтенант Куварин. Не освоившись с военной жизнью, девушки установили у себя статус закрытого пансиона, куда никто, кроме старого солдата, приходившего топить печи, не допускался. Подчеркнутая отчужденность лишь возбуждала особый интерес.

Женя высмеяла эту тактику. Чепуха! Тут такие же советские парни, как и везде. Зачем их избегать? Почему в дружбе видеть обязательно какие-то нечистые намерения? Иногда, правда редко, потому что не часто выпадали свободные вечера, на «высоту» стали приглашаться офицеры-сослуживцы. Приходил золотистый лейтенант с гитарой, играл, пел, закатывая белесые глаза. Толковали о письмах, полученных из дома, о мирных, казавшихся такими далекими делах. Гадали, когда и где окончится война, кто что будет делать, вернувшись после победы. И опять пели, уже хором, и старый солдат, обязательный посетитель таких вечеринок, сидя на порожке, дымил ядовитой махоркой, улыбаясь своим думам. С легкой руки Жени все называли его теперь «папаша». Молчаливое присутствие пожилого человека с грубоватым, морщинистым лицом придавало вечерам на «высоте» оттенок семейного

уюта, по которому на фронте скучают даже самые боевые и бывалые люди.

Эти вечера как-то сразу упростили отношения гарнизона «высоты» с внешним миром. Передав «наверх» сводки, развед- и политдонесения, офицеры стали забегать сюда и попросту на огонек. Только одному из них был закрыт сюда доступ. Как раз тому, кто, казалось бы, имел все права на беспрепятственное там пребывание,— инженер-майору Георгию Узорову. Женя прямо заявила Тамаре, что выбор ее не одобряет, а самого избранника во всеуслышание обозвала мокрицей и просила предупредить, что, если он осмелится появиться в избе военных переводчиц, его ждут неприятности. Она не уточнила, какие, но и этого оказалось вполне достаточным.

Впрочем, Узоров, все еще опасавшийся, что Анна может пожаловаться начальству, боялся даже напоминать о себе. Если к телефону подходила не Тамара, а кто-нибудь из девушек, он просто опускал трубку. Самое большое, на что он решался,— это робко постучать в оконницу.

Иногда Жене даже хотелось встретить его, чтобы напрямки высказать все, что она о нем думала. Но ее-то Узоров особенно избегал.

С Тамарой у Жени установились своеобразные отношения. Презрение к Узорову на подругу не распространялось. Порой Тамаре даже казалось, что синие строгие глаза смотрят на нее сочувственно, как на больную. Изредка Тамара решалась заговорить об Узорове, о том, какой он ласковый, внимательный, как заживут они после войны. Женя слушала не прерывая, но взгляд ее глаз становился таким ироническим, что девушка смолкала, начиная осознавать всю зыбкость этого беспокойного счастья, неожиданно найденного на войне.

— Женечка, вы меня осуждаете, да? — спросила она однажды упавшим голосом.— Я не обижаюсь, я понимаю: вы должны меня осуждать.

— А я не осуждаю,— послышался задумчивый ответ.— Я так не поступила бы, но я не осуждаю... Знаете, мне вас жалко.

Женя ничего не пояснила. Но после этого разговора Тамаре вдруг начало казаться, что все, что произошло, случилось лишь потому, что гитлеровское нашествие сломало обычную жизнь, разбросало людей в разные стороны. Но вот кончится война, все встанет на место, придет эта неизвестная ей Анна Калинина с детьми, войдет к ним в дом,

скажет «уйди» — и сразу же исчезнет навсегда ее маленькое, так дорого купленное счастье. Девушка стала ревновать Узорова к его прошлому, к жене, к детям. Ей мучительно хотелось теперь узнать, услышать что-нибудь порочащее, унижающее ту, другую.

— Какая она, какая? — снова и снова допрашивала она Узорова, в словах ее слышались злость, тревога, тоска.

Узоров терялся, робел, невразумительно мямлил:

— Обыкновенная, ну, как все... женщины.

— Так почему же ты ушел от нее? Она тебе опротивела?

— Нет, нет,— не очень решительно возражал Узоров.— Просто мы с ней разные люди, а теперь я встретил такую, о которой мечтал всю свою жизнь.

— А ей ты это сказал? Сказал, да? Георгий, ты, наверное, лжешь. Ты все еще ее любишь. Я для тебя просто ППЖ, забава, развлечение. Да, да, я это знаю. А ты лгун... Да-да, лгун!

И Тамара заливалась злыми слезами, чувствуя, что изнемогает в этой борьбе с призраком незнакомой ей женщины, который, как и все призраки, был неуязвим. А тут еще эти синие, спокойные, суровые глаза, эта девушка, которая не говорит ей ни о комсомольской этике, ни об аморальности ее поступка, но не скрывает своего презрения к ее избраннику и жалости к ней самой.

Эти мысли, как любая боль, были особенно тягостны ночью, когда в темноте пиликал сверчок и слышалось ровное, здоровое дыхание спящих подруг. Зарывшись лицом в подушку, Тамара плакала сердитыми, беспомощными слезами.

Как-то после одной из таких ночей Тамара вдруг заявила Жене, что вечером она пойдет в село, где живет Узоров, и потребует, чтобы он отсылал «той женщине» все свое жалованье. Расходы на фронте небольшие, мама Тамары снова стала работать. Пусть все деньги Узорова идут его детям. Сказав это, девушка с надеждой посмотрела на Женю: оценит ли та ее великодушие?

Обе они в этот момент стояли в холодных сенях перед рукомойником. Утреннее розовое солнце просовывало в узкие, пробитые осколками мины щели драночной крыши холодные лучи. Они пронзали полумрак двора. Мирно пахло сеном, навозом. С улицы доносились удары колуна и смачное: хеп-хеп-хеп-хеп. Это старый солдат колол дрова.

— Что же вы молчите, Женя?

Девушка спокойно глядела в упор в выпуклые глаза Тамары, суховато ответила:

— Я бы на вашем месте этого не делала.

— Почему?

— Потому что эти деньги вам бросят в физиономию.— Длинные светлые ресницы слегка сощурились, синие глаза потемнели.— Деньги! Эх вы... Не знаете вы Анну Калинину!

— Разве она не такая, как все?

— Не такая, как вы, вы оба.

И, отвернувшись, Женя сбросила гимнастерку и начала с шумом плескать воду себе на лицо, на шею, на руки. Корочка льда, образовавшаяся за ночь, позванивала в глиняном рукомойнике, который она наклоняла. Когда, растершись полотенцем, посвежевшая, раскрасневшаяся, она оглянулась, Тамара стояла все в той же позе. Слезы светились в ее выпуклых темных глазах.

— За что вы меня, Женя? Ведь я только хотела...

— Успокоить свою совесть, да? — безжалостно усмехнулась девушка.— И чтобы я при этом умилилась и сказала: какие вы оба великодушные, благородные,— и чтобы все тихо, мирно обошлось. Так? И чтобы эта ваша мокрица не дрожала от страха? Этого вы хотели?

Женя перебросила полотенце через плечо и, не ожидая ответа, ушла...

Так вот и шла жизнь на «высоте Неприступной», пока однажды, когда девушки сидели над ворохом только что переброшенных через фронт трофейных писем, в избу не влетел лейтенант Куварин. Вскинув руку к шапке, пристукнув валенками так, что по комнате пыль пошла, он обронил обычное воинское «здравия желаю». Но на круглом лице его было выражение такой значительности, что девушки разом бросили работу.

— Что-нибудь случилось? Да? Выкладывайте, чего вы тянете?

— Младший лейтенант Мюллер, прошу вас на два слова.

Почувствовав что-то необычное, близко ее касающееся и даже смутно уже угадывая, о чем будет речь, Женя, побледнев, вышла в переднюю комнату. Все три богатыря застыли, как на картине Васнецова. Хорошенький Алеша Попович даже прикусил от волнения губку, когда из-за перегородки донесся голос Жени:

— Что-нибудь стало известно про Курта Рупперта?

— Точно,— заговорщицким шепотом ответствовал, торжествуя, лейтенант Куварин.— Абсолютно все известно.

— Он жив?

— Точно.

— Где же он? — едва слышно спросила Женя. Девушки не узнали голоса своей подружки.

5

Ефрейтор вермахта Курт Рупперт, по воинской специальности военный фельдшер, прикомандированный к батальону альпийских егерей, стал первым перебежчиком у города Верхневолжска.

Нелегко дался ему переход через фронт. Была морозная пора, снег звучно скрипел под ногой, над полями и лесами, где проходил фронт, вовсю сияла, как говорят солдаты, «луна в рукавичках», окруженная белесым ореолом. Сугробы голубовато мерцали. Ночью легко было издали заметить не только человека, но даже и зайца. Дважды зайдя в район передовых, Курт вынужден был возвратиться.

Полнолуние продолжалось. Ночь, которую Курт наметил для третьей попытки перейти фронт, тоже обещала быть морозной и светлой, но откладывать дальше было нельзя. Не только маленький санитар Вилли, этот яростный наци, всегда старавшийся высмотреть и вынюхать все, что происходило в санчасти, но и сам капитан Шмитке, старший врач, подозрительно косился на ефрейтора Рупперта. Что-то слишком уж частыми становятся его отлучки. В этом проклятом городе так неспокойно! Стреляют по ночам. То там, то здесь поджигают воинские машины. Эта противотанковая граната, угодившая в офицерское казино, как раз когда там было полно военных из только что прибывшей части, эти авиационые бомбы, упавшие на трамвайный парк именно в тот день, когда там было тесно от военных машин... Ясно, кто-то снабжал иванов точнейшими сведениями обо всем, что происходит в городе, кто-то наводил их самолеты, кто-то заранее указывал, куда и когда надо бросить гранату. Осторожность, осторожность и еще раз осторожность — звучит во всех приказах, а военному фельдшеру Рупперту будто и нет до

этого дела. Шляется неизвестно где, пропадает вместе с санитарной машиной.

Курт чувствовал: за ним стали следить. И, конечно, не случайно этот Вилли насмешливо спросил вчера, где именно, в Бухенвальде или Дахау, сидит его уважаемый папаша. Появилось даже подозрение: может быть, его потому и не хватают, что хотят узнать, куда он ходит. И Курт, боясь навести ищеек на след, не решился даже зайти попрощаться с Женей. Он написал одно, потом другое письмо и положил их в условленное место — в зев водосточной трубы.

Для перехода он облюбовал себе место заранее. Здесь, недалеко от фабрик, линия фронта шла по сосновому лесу, пересеченному глубоким оврагом. Одна из рот батальона егерей держала тут оборону, и санитарам, которым частенько доводилось выносить отсюда жертвы перестрелок, здесь было знакомо каждое дерево. Знал Курт и о том, что по оврагу ветер тянет всегда, как в печной трубе. В мороз здесь нестерпимо холодно. Накидки-одеяла и огромные соломенные боты, которые недавно стали выдавать уходящим в секрет, служили мишенями для невеселых острот, но от пронизывающего ледяного ветра не спасали. И солдаты потихоньку от унтер-офицеров ночью обычно выбирались из оврага наверх, под защиту сосен.

Курт решил: тут больше шансов пробраться незамеченным. Дождавшись, когда стемнело, он направился в расположение роты егерей. Шел прямо по знакомой промерзшей траншее, мимо блиндажа, куда солдат отводили отдыхать и отсыпаться. Порыв ветра бросил ему в лицо вкусный запах дыма. Из-под брезентовой полости, прикрывавшей вход, донесся писк губной гармошки и хриплый голос, певший без всякого выражения:

Ах, как прохладен ветерок
В прекрасном Вестервальде!

Странно, до нелепости странно звучали слова старой немецкой песни здесь, в заснеженном русском лесу, где трещали от холода стволы деревьев и ветер больно, будто песок, бросал в лицо сухую снежную крупку. Эти звуки гармошки, эта песня были своим, немецким, а там, за линией фронта, Курта ждало что-то чужое, неведомое. Он заколебался и даже замедлил шаги. В это мгновение брезентовая полость откинулась, в темноте ходка вырисовалась физиономия солдата, распаренная печным жаром. На

миг она настороженно застыла. Потом солдат, должно быть, узнал фельдшера.

— Что, иваны опять кого-нибудь подстрелили?

— Да, с передовой присылали вестового.

— Какой морозище! А им, дьяволам, должно быть, хоть бы что. Стреляют.— Солдат отвернулся в угол траншеи. Зажурчало.

Курт двинулся дальше, а в ушах все звучали слова: «Ах, как прохладен ветерок...»

Преследуемый этой навязчивой фразой, он выбрался из траншеи, крадучись миновал открытое место и по крутому откосу почти скатился в овраг. Тут он достал из кармана листовку-пропуск и дальше двинулся уже на четвереньках, мысленно повторяя по-русски: «Не стреляйте... Я друг... Ведите меня к командиру». Наверху тревожно шумели деревья, снежная крупа с шелестом летела вниз, а оврагу все не было конца.

Странный звук заставил Курта прилечь, замереть. В кустах на самом дне оврага что-то шелестело. Вода? В такой мороз вода? И в самом деле это была живая, незамерзшая вода тихонько бившего из-под земли ключа. Все вокруг него было точно бы меховое. Каждая былинка белела, пушистая, как лисий хвост. Отягощенные инеем ветви никли долу, и кусты, обступившие незамерзающий источник, походили на гигантские кристаллы. Рождественская открытка, да и только!.. Рождество, Санта-Клаус... Мой бог, было ли когда-нибудь все это на белом свете?! Ползти все труднее. Руки проваливались в снег. Но Курт знал, что сверху, с гребня откоса, где притаились секреты, его при свете этой огромной луны, похожей на медузу, легко заметить. Жарко. Сердце билось так, точно стремилось выскочить через горло. На миг он прилег — не было сил шевельнуть ни рукой, ни ногой. Можно замерзнуть? Что ж, пусть. Разве погибнуть от пули лучше? Но тут как бы вставала перед ним эта удивительная синеглазая русская девушка, несколько раз так же вот пересекавшая линию фронта. Девушка! А он мужчина. Ну, нет, вперед, Курт Рупперт, вперед!

За те мгновения, пока он лежал на снегу, взмокший от пота ворот шинели замерз, стал жестким и больно врезался в шею. Вперед! «Ах, как прохладен ветерок...»

Голоса! Двое полушепотом обменялись по-немецки короткими фразами. Это ветер донес уже откуда-то сзади. Ну, будь что будет! Курт вскакивает и, пригибаясь, бежит

по дну оврага. Только бы не наткнуться на мину. Ноги проваливаются, приходится с усилием вырывать их из снега. Звук одиночного винтовочного выстрела громом раскатывается по оврагу, по заиндевелому лесу. Сердитый визг, щелчок. Пухлый иней с шелестом течет с ветвей ближайшей сосны.

Курт собирает последние силы. Вслед ему упрямо, очередь за очередью, бьют теперь автоматы. Бьют так, что отдельных выстрелов уже и не различишь. Но пули посвистывают над головой, а на беглеца вместе со снегом падают лишь ветки и кусочки коры. Зарокотали пулеметы. Это где-то впереди. Это уже русские. И вдруг неведомо откуда слышится возбужденный голос, хрипло приказывающий что-то на немецком языке. Курт привстает и поднимает руки.

— Я есть... Командиру... Не стреляй...— бессвязно повторяет он сразу перепутавшиеся слова.

Невдалеке шевелится сугроб. Оказывается, это солдат в бесформенном белом балахоне. Он навел на Курта винтовку. Они напряженно вглядываются друг в друга. Новая очередь пуль проходит совсем близко, скашивая верхушки сосенок совсем рядом. Солдат издает предостерегающий возглас и сам падает в снег. Но поздно, что-то уже ожгло Курта поперек спины, толкнуло вперед. Он упал ничком в сугроб. Тело его, будто вмиг лишившись костей, стало ватным, но сознание работает ясно. Собираясь с силами, он тянет русскому руку, разжимает пальцы. На ладони комочек бумаги, мокрый и смятый. Солдат в балахоне, не опуская наведенной на Курта винтовки, берет его, расправляет. И вдруг немец слышит знакомые слова:

— Гитлер капут?

— Капут, капут! — несколько раз повторяет Курт, радуясь, что они начинают понимать друг друга.

Но сознание мутнеет. Не одна, не две, а целых три луны, покачиваясь, сияют в темно-синем небе. Опять этот голос поет: «Ах, как прохладен ветерок...» Все — сосны, сугробы, солдат в белом — тоже покачивается, и сам Курт как бы начинает растворяться в этом голубоватом свете... И что это? Вокруг никого. Только снег. Кажется, сами сугробы переговариваются между собой сдавленными голосами.

— Конопля? Что там у тебя?

— Та фриц же подстреленный лежит. Вот он.

— Откуда взялся?

— Та сам прибёг. Листовка у его тут. Пропуск... Кричал: «Гитлер капут!»

— По ком огонь?

— Та по нем же... Я ему, дурню, командую: «Ложись!» — так он не понял. Вот и подбили, як куропатку.

— Ползи с ним сюда.

— Та не можу, он ранетый.

— Ну, так я к вам.

— Ни, бог с тобой, не вылазь: тут они автоматами, як граблями, все прогребають. Бросьте плащ-палатку та ремень.

Солдат перекатывает Курта на плащ-палатку, потом, выждав, когда стрельба стихает, ползет, продвигаясь волнообразными движениями гусеницы, не отрывая от снега головы, таща за собой по снегу тяжелый груз.

...Что было дальше, Курт уже не слышал. Он очнулся на операционном столе, при ослепительном свете, в котором с неестественной четкостью он видит перед собой грубо отесанное бревно, как бы вспотевшее золотыми каплями душистой смолы, ноги каких-то людей в этой странной, похожей на чулки обуви, какую русские носят зимой. Он лежит ничком. Жгучая боль, зарождаясь у левой лопатки, разбегается по телу. Все качается... Три луны вновь плывут в небе над мохнатыми белыми деревьями... Нацист Вилли бежит за Куртом по оврагу, крича: «Почему ты не поешь песенку о Вестервальде?» Милый русский товарищ Женя предостерегающе машет рукой... Сугробы шевелятся, будто живые, выставляя навстречу винтовки.

— Не стреляй... Их бин... Комрад Женя... Ленин... Тельман...— бормочет Курт.

— Слышите? Странно,— произносит густой мужской голос.

Врач в халате, надетом прямо на шинель, распрямил спину, устало сдвигает с лица марлевую маску.

— Плохо. Оба легких навылет.

— И нельзя допросить? Ну хотя бы несколько самых простых вопросов.

— Невозможно. Не могу допустить.

Сестра и санитар, забинтовав Курта, осторожно надевают на него рубашку. Врач моет руки. Офицер в наброшенном на шинель халате сидит в углу блиндажа, рассматривает солдатскую книжку, снятый с браслета жетон с воинским номером. Особенно долго глядит он на извлеченную из книжки фотографию. На ней изображена ху-

денькая белокурая девушка с тяжелой косой, переброшенной через плечо. О раненом немце известно лишь, как его зовут, его звание, его должность. И еще известно, что он добровольно перешел на сторону советских войск — первый перебежчик на этом участке фронта.

6

Похоронную принесли, когда Ксения Степановна была на фабрике. Дома оказался только Арсений Куров. Он жестоко гриппoвал, вторую неделю «сидел» на бюллетене и по такому случаю пребывал в состоянии сердитой меланхолии. Чтобы хоть как-нибудь скоротать вынужденное безделье, он затеял белить квартиру. Так, в колпаке, сложенном из газеты, с кистью в руках, с лицом, обрызганным краской, и застал его посыльный.

Куров принял два пакета, адресованные Ксении Степановне Шаповаловой. Расписался, отнес их в ее комнату, положил на стол и снова принялся было за работу, но какая-то неосознанная тревога заставила его опустить кисть в ведро. Как депутат Ксения Степановна получала много писем. Но тут оба пакета были из военкомата. Да и посыльный вел себя как-то странно. Он торопливо принял разносную книгу, не глядя на Курова, быстро вышел. А что, если...

Предчувствие беды не давало Арсению покоя. Он вернулся в комнату Ксении, вынул из жесткого незапечатанного конверта сложенный лист и, развертывая его, почувствовал, как противно задрожали руки. Сразу будто вцепились в глаза слова: «...пал смертью храбрых». И тут же увидел он тщательно выписанное: «...гвардии старший лейтенант Марат Филиппович Шаповалов».

Вернувшаяся домой Юнона застала Курова в своей комнате. Он стоял у стола, держа в руках какую-то бумагу. Девушка не обратила внимания на его странный вид.

— Сейчас у нас красить будете, да? — спросила она.— Дядя Арсений, вы уж потщательней. К маме избиратели ходят, а у нас теперь одна комната, и та закоптелая, как кузница...

— Прочти,— хрипло сказал Арсений, протягивая бумагу.

Юнона быстро пробежала глазами по строчкам, потом начала читать снова. Красивые губы ее вздрогнули.

— Марат...— шепотом сказала она и, уронив голову на комод, заплакала навзрыд.

Арсений на цыпочках подошел к ней, положил на плечо руку, погладил.

— Полно, полно, что ж тут плакать... Не поможет... Давай думать, как матери сообщим.

Юнона подняла голову, машинально скользнула взглядом по своему изображению в зеркале, заметила меловые пятна, оставленные на свитере рукою Арсения, машинально попыталась их отряхнуть. Но взгляд ее снова упал на прямоугольник жесткой бумаги, поднялся к фотографии Марата, висевшей над комодом, и она снова заплакала, закрыв лицо руками.

Арсений не пытался ее утешать. Он думал, как лучше подготовить мать к страшной вести. Но все произошло само собой. Ксения Степановна, незаметно войдя в комнату, увидела рыдающую дочь, растерянного соседа, бумагу на столе и как была, в пальто, в платке, опустилась на стул. На бледных щеках пробрызнул пятнистый румянец, губы побелели, высохли. Облизнув их, она тихо спросила:

— Кто?.. Отец? Сын?

Ей не ответили, но она, как-то угадав, пронзительно вскрикнула:

— Марат!

Привлекла дочку, прижала к себе, как бы желая ее защитить от какой-то опасности, и застыла, закрыв глаза.

— Юночка, как же это?.. Маратик... Третьего дня письмо: «...не беспокойтесь, мама, я, как всегда, здоров» — и...— Схватила бумагу, снова пробежала ее глазами, для чего-то потрогала вписанное чернилами имя. Руки упали на колени. Бумага, порхая, полетела на пол.

Так и сидела она, глядя в пространство, и ни одной слезинки не вытекло из ее сухих, окруженных усталой синевой глаз. Юнона все еще плакала, теперь лежа на кровати. Ксения Степановна не двинулась, не издала ни звука, и Арсению было жутко смотреть на ее окаменевшую фигуру, на руки, бессильно свисавшие вниз, на ее странно блестевшие глаза с застывшими зрачками.

— Тут, Степановна, тебе еще письмо какое-то,— выговорил он наконец, показывая второй конверт.

— Дай.— Она как-то механически протянула за письмом руку, неторопливо отщипнула от конверта полоску

бумаги, пробежала написанное.— Это комиссар части... Пишет: погиб геройской смертью... Будто матери легче!

Она положила письмо на стол и снова застыла в неподвижности. Юнона встала с постели и подняла второе письмо.

— Как же так, мама, все равно? — Вытирая уголком одеяла глаза, она торопливо читала послание комиссара.— Видишь, Марат и его товарищи представлены к самой высокой правительственной награде. Дай я тебе прочту.

— Потом, потом...

Ксения Степановна встала, неверным шагом подошла к фотографии, сняла ее со стены и долго разглядывала, что-то шепча.

— Ступай, Арсений Иванович, и ты, Юна, ступай. Одна побыть хочу,— тихо сказала она.

7

Устроившись на табурете посреди пестрой, недобеленной кухни, Юнона прочла Курову письмо командира. Гвардии старший лейтенант бронетанковых войск Марат Шаповалов погиб так.

Юго-западнее Верхневолжска, у истока реки, части наши предприняли местную попытку прорвать укрепленный пояс, сооруженный здесь противником. После артиллерийской подготовки пехота ворвалась в узкий прорыв. Ей в поддержку, для развития успеха, были брошены три тяжелых танка под командованием Шаповалова. Машинам удалось благополучно миновать перепаханную снарядами полосу, но тут вражеская артиллерия открыла беглый отсечный огонь. Два танка были вынуждены повернуть, и лишь один командирский, маневрируя, продолжал двигаться вперед, выполняя свою задачу. Шаповалов уже заметил, что на флангах прорыва ожили смолкшие было во время артиллерийской подготовки дзоты. Сменив сектор обстрела, они держали теперь под пулеметным огнем весь узкий коридор и его предполье. Вливавшаяся в прорыв пехота залегла. В смотровую щель старший лейтенант видел, как заметны на снежной равнине темные фигурки бойцов. Из дзотов их можно было расстреливать одну за другой. Люди не имели даже возможности отойти.

— Подавить огонь! Заставить замолчать пулеметы! — прошелестел в наушниках Шаповалова переданный по радио приказ.

Ствол танковой пушки был уже перебит немецким снарядом, но, видя, как гибнут люди, Марат Шаповалов принял решение, опрокидывающее все, чему учили его на уроках танковой тактики.

Он развернул машину и повел ее прямо через вражеские окопы на земляные холмики, исторгавшие огонь. Налетев на первый из дзотов с тыла, машина грудью сбила бревна наката, потом вскарабкалась на самый дзот и, развернувшись, гусеницами растоптала его. Привлекая на себя все усиливающийся артиллерийский огонь, танк продолжал двигаться ко второму дзоту. Тем же маневром он растоптал и его. Похоронив под землей его защитников, рванулся к третьему, но тут новый снаряд угодил ему в борт. Броня выдержала, но заклиненная башня лишилась возможности поворачиваться. И все-таки окутанная дымом машина появилась на холме и обрушилась на третий дзот. Он тоже был раздавлен. Но с танком случилась беда — третий снаряд перебил ему гусеницу, и он, фыркая, окутываясь сизым дымом, бессильно завертелся на месте.

Необычный маневр танкистов позволил пехоте отойти и вынести раненых. Но экипаж подбитой машины оказался в критическом положении. Танк стоял на холме, изрезанном вражескими окопами, хорошо видный со всех сторон. Это была мощная машина новой модели, только что принятой на вооружение. Противник, как видно, мечтал захватить ее целой. Артиллерия смолкла. И наблюдатели заметили, как по извилистым траншеям солдаты врага, перебегая, движутся к раненой машине. Танкистов по радио предостерегали об этой новой опасности. Те ответили: «Видим». Танк молчал, пока неприятель не подошел вплотную. Тут заработали его пулеметы. Атакующие отхлынули, унося своих убитых и раненых.

Так повторялось несколько раз, пока немцы не прекратили эти попытки захватить машину. Они, видимо, рассудили, что уйти ей некуда, и решили взять экипаж измором. Прошли сутки, шли другие. Рация танка периодически передавала: «Держимся... Кончилась вода, плавим снег», «Держимся, доели неприкосновенный запас», «Кончились пулеметные ленты. Сохранились гранаты и личное оружие, будем держаться до конца».

Наши наблюдатели со своих постов хорошо видели в бинокли и стереотрубы черное пятно, темневшее на далеком пригорке. Маленькая стальная крепостца, блокирован-

ная со всех сторон, еще продолжала держаться посреди вражеских укреплений. К передовой подтягивались свежие роты, подвозились боеприпасы. Утром на третий день осады части должны были рвануться на выручку осажденным. Но за несколько часов до этого, еще до рассвета, над вражескими позициями вспыхнул огромный костер. Ожившая рация танка передала слабый голос. Гвардии старший лейтенант Шаповалов докладывал: «Они облили машину бензином и подожгли. Они рядом, кричат по-русски: «Сдавайтесь, пока мы вас не поджарили...» Мы задраили люки. Броня накаляется... Невозможно дышать...»

Трагедия танка происходила на виду у всех.

Множество глаз, приникнув к биноклям, к окулярам труб, мучительно, с напряжением следили за тем, как на холме полыхает страшный костер. Радист дрожащей рукой прижимал наушники, боясь пропустить хотя бы шорох. Вот вновь ожила рация: «Нечем дышать... Горит одежда. Советские гвардейцы умирают, но не сдаются! Да здравствует родина!.. Мстите...» Фраза оборвалась грохотом, раскатившимся над заиндевевшими лесами. Костер взметнулся вверх...

— «Ваш сын сражался, как настоящий коммунист, и погиб смертью героя,— читала Юнона, впиваясь в строки повлажневшими глазами.— Каждая мать может гордиться таким сыном; все мы, его боевые товарищи, делим с вами горесть тяжелой утраты и даем вам, уважаемая Ксения Степановна, наше честное гвардейское слово жестоко отомстить за него».

Девушка опустила бумагу.

— Вот это смерть!..— Потом подняла письмо, пошарила по нему глазами и вновь перечитала уже прочитанное раньше место: — «Командование представило вашего сына и весь его экипаж к высшей правительственной награде...» Арсений Иванович, а ведь могут посмертно Героя дать, а? Хотя нет, на Героя он, пожалуй, не вытянет, а вот орден Ленина наверняка... Как вы думаете?

Арсений недоуменно взглянул на девушку и, ничего не сказав, тяжело поднялся и вышел. В прихожей он снова взялся за кисть и принялся белить стену, что была поближе к двери Шаповаловых. Белил, а сам прислушивался, что происходит в комнате. Но там было тихо.

Осторожно ступая меж пятен краски, распластавшихся по полу, Юнона прошла к себе, но сейчас же выбежала в прихожую.

— А где мать?

Комната была пуста. Исчезло и похоронное извещение. На полу лежал лишь пустой конверт.

— Может, к деду с бабкой побежала? — предположила девушка.

Арсений задумался, вспомнил что-то свое, вздохнул и глухо сказал:

— Нет, я так думаю — не иначе как на фабрику.

8

Оставшись одна, Ксения Степановна долго держала в руках фотографию сына. Всматриваясь в остроскулое, цыгановатое мальчишеское лицо, в колючие глаза, задиристо смотревшие из-под ребристого кожаного шлема, она никак не могла себе представить, что ее мальчика уже нет в живых, что никогда больше не вбежит он в комнату, непричесанный, вихрастый, шумный, не отщипнет на ходу от целого пирога, не опрокинет залпом, не садясь за стол, чашку чая, не поддразнит свою спокойную красавицу сестру.

Офицером танковых войск она сына не помнила. В этом тяжелом шлеме он казался ей ряженым. А вот фабзайцем, а потом быстрым, сноровистым помощником мастера он вставал перед ней как живой. Стоило зажмурить глаза — и он был уже тут, усмехался, быстро выбрасывал в пространство кулаки, прыгая и ловко изгибаясь, как это постоянно бывало в последние годы, когда он вдруг увлекся боксом. Никто не видел его тихим, спокойным, и, может быть, еще и поэтому торжественные слова «погиб смертью храбрых» как-то совершенно не шли к нему. А ведь мать никогда его больше не увидит ни живым, ни даже мертвым...

От жестокой этой мысли Ксения Степановна застонала. Потом, движимая каким-то порывом, почти бессознательно схватила письмо и бросилась вон из комнаты. Она не помнила, как спустилась с лестницы, как очутилась на улице; она не чувствовала ни теплого весеннего ветра, ни влажного дыхания отогретой за день земли. С непокрытой головой, с разметанными ветром прядями волос, она бежала куда-то, а ноги сами несли ее знакомой дорогой, по которой она ежедневно ходила уже много лет.

— Аль забыла что, Степановна? — спросила удивлен-

ная вахтерша, снова увидев знаменитую прядильщицу в дверях фабрики.

Ксения Степановна не ответила. По чугунным узорчатым, отполированным подошвами многих поколений рабочих ступенькам она поднималась все выше и выше. Как лунатик, остановилась на одной из лестничных площадок. Удивленно огляделась: где она? Перед ней была застекленная дверь с табличкой: «Медпункт». Механически толкнула ее, но дверь оказалась запертой. Из цехов на лестницу тек густой, однотонный гул веретен. Смена в разгаре. Кругом ни души. Почувствовав, как ноги подкашиваются, прядильщица присела на холодные ступени.

— Погиб смертью храбрых... смертью храбрых... погиб...— шептали бледные губы.

Не раз открывалась дверь из цеха, пропуская тележки, нагруженные в несколько этажей ящиками с пряжей. Гул веретен разом вырывался на лестничные площадки, оглушал, дверь хлопала, и он вновь становился ровным, убаюкивающим. Но, толкая свои тележки, возильщицы успели рассмотреть темную фигуру женщины, сидевшей на ступеньках. И вот от машины к машине, из цеха в цех бежал смутный, тревожный слух, что у Ксении Шаповаловой какая-то беда, что сидит она на лестнице одна-одинешенька и вид у нее — краше в гроб кладут.

Озабоченные люди стали появляться со всех концов, спускались сверху, поднимались снизу. Молчаливая толпа женщин обступала прядильщицу. Они ни о чем не спрашивали, эти женщины, девушки, прибежавшие сюда прямо от своих машин, в фартуках, в тапках на босу ногу. Они просто стояли и сочувственно смотрели на нее. Но когда Ксения Степановна подняла голову, она увидела кругом знакомые и незнакомые лица и на них тревогу, заботу, молчаливый вопрос. Его так никто и не задал, этот вопрос, но она угадала его по взглядам и сама пояснила:

— Сын погиб... Убили.— И, сказав это, прильнула к груди той из работниц, что стояла поближе, и тихо заплакала.

Сбегали за ключом, отомкнули дверь медпункта, засветили лампу. Кто-то приволок из конторы мягкое кресло. Его поставили у двери.

— Ксения Степановна, присядь.

— Верно, что ж тут, на ходу-то, еще ветром прохватит. Кругом сквозняки...

— Ты поплачь, поплачь, милая, легче будет, слезой любое горе исходит.

— Женатый он был, сын-то?

— И чего глупость спрашивать, женатый или холостой! Будто матери не все равно?

— Степановна, не забывай, у тебя дочь осталась, вон какая краля... Внуков нянчить будешь.

Веретена жужжали глухо, напряженно. Машинам не было дела ни до чьего горя. Работницы прибегали, торопливо говорили что-то ласковое и снова убегали в цех. Но вокруг кресла, в котором сидела Ксения Степановна, все время было тесно. Не замечая, как меняются вокруг нее люди, прядильщица все время говорила:

— А вы ступайте, ступайте, работайте, я тут одна посижу.

Но одной остаться ей не дали. В перерыв принесли чаю. Кто-то положил Ксении Степановне на колени пару черных лепешек. Она машинально попила, поела. Смотря на окружавших, она как-то помимо воли думала. Разве она одна? Сколько матерей осиротело только на этой фабрике... Вот утешают, плачут по чужому горю, а наверное, не у одной муж убит, сын ранен, жених без вести пропал. У каждой своя боль...

— Ступайте, милые, работайте.

— И верно, машина не ждет. Дай я тебя обниму на прощание.

— Не вешай голову, Ксения Степановна.

— Что ж поделаешь, вся земля нынче кровью умыта.

И вдруг женщины расступились, и перед прядильщицей, запыхавшаяся, раскрасневшаяся, с бисеринками пота на переносице, надсадно дыша, стояла Анна.

— Ксенечка!

— Нюша!

Все потихоньку разошлись, оставив сестер наедине в пустой комнате. Те стояли, обнявшись.

— Ты знаешь?

— Знаю... Пойдем к мамаше... Я — за тобой на фабрику, а Юнона — туда. Так и уговорились: не знали, где тебя захватить... Пошли...

Ксения покорно двинулась за сестрой. Ей хотелось теперь, чтобы кто-то за нее думал, говорил, что́ нужно делать, чтобы кто-то вел ее. Возле деятельной Анны ей стало как будто легче.

Ошеломленные старики понуро сидели у стола по обе стороны от Юноны.

Из-за занавески доносились всхлипывание и посапывание. Там в одиночестве шумно переживала горе Галка. Ксения вошла прямая и будто бы подтянутая, но тут же, у двери, споткнулась о стул и чуть не упала.

— Горе-то какое! — только и сказал Степан Михайлович.

— И ведь как погиб, это ж подумать! — тихо произнесла Варвара Алексеевна и вдруг вскрикнула: — Проклятущая война!

— Мать, мать, договорились же,— пробормотал старик, торопливо входя за занавеску.

— Ты еще не читала письмо комиссара? — с неестественным оживлением спрашивала Юнона, подходя к матери.— Мы можем гордиться Маркой.

Ксения Степановна повертела знакомый конверт.

— Прочти.

Девушка развернула письмо. Она уже знала текст почти наизусть, читала хорошо, с выражением. Старики, вновь появившись в комнате, слушали, прижавшись друг к другу. Стоя в тени занавески, Анна с тревогой посматривала то на сестру, то на родителей. Кажется, самое острое уже миновало, и в мозгу Анны, привыкавшем думать и заботиться прежде всего о других, уже родилось решение: нужно сейчас навалить на Ксению, как в свое время на Арсения, побольше дел, не давать ей оставаться наедине со своими мыслями... А Юнона! Ведь послушать только, прирожденный агитатор, как читает...

— «...С коммунистическим приветом комиссар гвардейской бронетанковой части старший батальонный комиссар А. Орахелашвили»,— закончила та письмо, свернула лист и даже аккуратно провела ногтем по сгибу.

Галка шумно потянула носом, всхлипнула и опять убежала за занавеску. Юнона осуждающе посмотрела ей вслед.

— Наши комсомольцы могут гордиться Маратом. Мама, ты позволишь мне снять с письма копию? Пусть завтра почитают у меня в комсомольских группах... А может, стоит опубликовать в многотиражке? Или в областной? Как ты думаешь, тетя Анна, а?

Анна не знала, что ответить. Племянница говорила совершенно правильные вещи. На чем же, как не на таких примерах, воспитывать молодежь? И в то же время в этом

разумном предложении было что-то, что вызывало у нее неясный протест.

— Письмо матери адресовано, ей и решать.

— Ах, какая разница! — устало отозвалась Ксения, снова погружаясь в какое-то самоуглубленное забытье.

Стук в дверь заставил всех вздрогнуть. Из коридора просунулась женская голова.

— Здравствуйте! Ух, сколько людей!.. Мне бы Степана Михайловича на одно слово.

Старик тяжело встал, грузно подволакивая ноги, направился к двери. Сразу же послышался страстный шепот, убеждающий, укоряющий.

— Лучок! Кто о чем, а шелудивый о бане! — раздраженно прервал Степан Михайлович.— Внука у меня убили, понимаешь, внука, а ты с лучком тут каким-то!

— Внука! — вскрикнула женщина.— Ой, беда какая! Это которого же, Михалыч?

— Марата.

— Ксении Степановниного? Боже мой... Вы извините, я разве знала...

Голова скрылась.

— Что такое? — с преувеличенным интересом спросила Анна, стараясь хоть как-то разрядить атмосферу тоскливой сосредоточенности.

— Да Зойка Перчихина из сто второй каморки. Лучок ей подавай.

— Какой лучок?

— Да тот самый, что у нас в ящике на окне. Совсем с ума посходили: той дай отводок, этой дай отводок... Вон он, ящик-то, гол, как колено.— Степан Михайлович вздохнул.— Эх, Нюша, от горя да бед человека всегда к земле тянет! А тут хоть в горшке, да земля. Вот вам, партийному начальству, самая пора об этом подумать.

— О чем, о чем, батя? — заинтересованно спросила Анна, видя, как отец начал отвлекаться от дум о погибшем.

— Да о земле, об огородах.— Старик вздохнул.— Помнишь, Варьяша, как после революции, в голодуху, все фабрики за огороды взялись? Ты, Нюша, маленькая была, а вон Ксения — той и покопать довелось... Не забыла?

— Да, да, конечно,— рассеянно подтвердила Ксения Степановна, поднимаясь.

Анна видела, что она вся погружена в свою думу и вовсе утратила способность воспринимать окружающее. Ка-

кими-то механическими движениями она сняла с вешалки пальто, оделась, заправила под платок волосы.

— Я пошла.— Это прозвучало почти спокойно, и всем, кроме Анны, стало легче. Однако та и виду не подала, что не верит в это внешнее спокойствие, и только рукопожатие, которым обменялись сестры, было крепче и продолжительнее, чем обычно.

9

Через день Анне вновь удалось вырваться к старикам. Не хотелось оставлять их в такие дни наедине со страшной новостью. Да и случайно оброненные Степаном Михайловичем слова о тяге людей к земле не на шутку заинтересовали ее.

Лишь смутно помнила она, как когда-то люди толпами ходили далеко за город, копали гряды, растили овощи, картофель, капусту. Кто и как все это тогда организовал, девочке не было, разумеется, интересно. Но в памяти сохранились и веселый дух этой необычной для фабричных людей работы, и вкусный запах земли, дышавшей совсем по-иному, чем на фабричном дворе. Помнилось, и как осенью на вагонетках узкоколейки в кулях привозили урожай, и какой веселый шум и галдеж стояли возле общежитий во время дележа. А как хорошо было на общей кухне печь в золе картошку, как аппетитно она парила, когда ее, зарумянившуюся сверху, ударом кулака разбивали на ладони и она как бы раскрывалась, вывертывая наружу крахмалистую мякоть!

Общественное огородничество! Ведь это же чудесная мысль! Нет, прав, прав отец. Самая пора подумать о земле. В трудный военный год это может стать делом прямо-таки политическим.

Конечно, любители покопаться на грядках огородничали и до войны. По заявкам фабкомов горсовет охотно отводил им участки на пустырях. Но то было ничтожное дело, любительство. Анна же мечтала теперь поднять всю фабрику, дать всем возможность и повод побыть на воздухе. Да разве только это? А зелень, овощи, два-три, а то и четыре мешка картошки, разве это не подспорье в тяжелую военную пору?

Так из слов, мимоходом оброненных отцом, у нее вырастала большая и, как она в этом все больше убеждалась,

полезная затея. Войдя в комнату стариков, Анна услышала за занавеской женские голоса. Несколько соседок сидели на «мамашиной половине» и о чем-то оживленно толковали, не зажигая света. Увидев пришелицу, они тотчас же поднялись и стали торопливо прощаться.

— Сумерничаете? — спросила Анна, включив свет.

— Да вот,— грустно улыбнулась Варвара Алексеевна,— так вот теперь и живем: одни уходят, другие приходят. Нешто ты наших не знаешь,— в радости-то всяко бывает, а в горе человека одного не оставят...

— Как на вокзале живем. Штаны вон и то переодевать в уборную хожу,— заворчал за занавеской Степан Михайлович.

Анна улыбалась. Она знала эту традицию здешних общежитий, когда в беде разом забывались старые ссоры и почти незнакомые соседи готовы были ночь напролет просидеть у кроватки чужого заболевшего ребенка, если мать его была занята, или, отложив свои дела, по очереди развлекать человека, которого постигло несчастье.

— А я к вам за делом, товарищи родители,— как можно беззаботней произнесла Анна.

И она рассказала свои мысли насчет общественных огородов. Старики сразу заинтересовались. Завязался оживленный разговор, и тень Марата Шаповалова на время покинула комнату, уступив место житейским делам.

— Хоть теперь человек среди железа и камня живет, душа его к земле еще крепко привязана,— рассуждал Степан Михайлович.— У земли над ним большая власть. Был в древности у греков философ такой Платон...

— Про своего Платона потом доскажешь,— нетерпеливо перебила его Варвара Алексеевна.— Тут, Нюша, и толковать не о чем. Раскачивай Настюшку Нефедову, обмозгуйте вместе — и за дело. Объяви завтра: на огороды запись — вся фабрика в очередь станет. Уж я ткачей знаю...

Но тут же у стариков возник спор: как лучше вести огороды?

— У нас страна какая? Социалистическая. Так и нечего рассуждать, коллективно хозяйничать надо: все за одного, а один за всех,— категорически заявила Варвара Алексеевна.

— А я бы, Варьяша, не так поступил,— осторожно опроверг Степан Михайлович.— Землю надо на всех получить, это верно. Но каждому свое нарезать. Можно даже по едокам. Тут как? Хоть грядка, да моя. Хочу — картош-

ку ращу, хочу — укроп сею... Дело фабкома — семена достать, лопаты там, вилы, помочь землю поделить — и в сторону: хозяйничайте, как знаете... Вот тогда, верно, будет у людей не только картошка, а и отдых.

Услышав все это, Варвара Алексеевна даже руками всплеснула:

— До чего ж ненавижу я это в тебе: мой, моя, мое!.. Мужики вместе хозяйничают, а рабочему классу подай свою полосу, отсталый ты человек! Жена у него большевичка, дети — коммунисты, внуки — комсомольцы. А этот как был старорежимный, так и остался... Ведь уж социализм построен, проснись!

Сколько Анна себя помнила, родители ее, прожившие в мире и согласии долгую жизнь, по таким вопросам никогда не могли сговориться. Обычно старик, любивший, чтобы все было тихо-мирно, от подобных споров хитро уклонялся. Но уж если они завязывались, твердо стоял на своем. Теперь, когда мать резанула его по больному, он вскочил и так грохнул кулаком по столу, что со звоном подпрыгнули чашки.

— Старорежимный!.. Ты что ж это мне социализмом в нос тычешь? Ты что, его одна, как пирог воскресный, испекла? Моей доли в нем нет? Ты, милая, передо мной партбилетом своим не тряси! Его не только в кармане, его и здесь,— старик хлопнул себя кулаком по широкой груди,— и здесь вот носить можно.

Анна положила руку отцу на плечо, но тот гневно оттолкнул ее.

— Больно у матери твоей все легко получается: книжку прочел, лекцию прослушал, в какой-то там кружок годок-другой побегал — и готово: здравствуйте, я новый человек.

Варвара Алексеевна не без опаски смотрела на расходившегося мужа. Но была она не из тех, кого можно испугать.

— Как это так — кружок, как это — книжка?.. А кого мы двадцать пять лет жить по-новому учили? Для кого всю страну заново переделали? Кто с тебя, со старого, всю жизнь эти самые родимые пятна капитализма соскребает?

— Легко, легко у тебя все, Варьяша, получается,— успокаиваясь, продолжал старик.— Новый человек! Это ведь не на плакате нарисовать. Вон Галка перед первой пятилеткой родилась, а думаешь, в ней этого нет? Идет она мимо магазина, туфли на витрине — они для нее одно,

а купила, домой принесла, под кровать поставила — другое, свое, она с них каждую соринку снимет. Ну, скажешь, нет?

— И скажу — нет! Ты знаешь, когда я в кооперативной комиссии от горсовета работала, как мы все страдали и злились, если товар в магазинах не берегли? Бывало, нагляжусь безобразий, больная стану. Из-за своего добра никогда так не расстраивалась.

— Ты, Варьяша, у меня особенная,— не без гордости произнес Степан Михайлович.— Но всех по себе не равняй. Не забывай, что человек с тех пор, как себя помнит, говорил: «Своя рубаха ближе к телу», «Мышка и та в свою нору тянет», «Своя рука к себе гребет», «Пальцы-то внутрь ладони гнутся...» Скажешь, не слышала?

— И одиннадцатая заповедь: не зевай. Так? — ядовито добавила Варвара Алексеевна.

— Что ж, и не зевай! С тем человек рождался, с тем помирал... «Полюби ближнего, как самого себя»,— это двадцать веков попы твердили... А ведь не полюбили. Себе-то каждый всегда всех ближе... Эх, Варьяша, Варьяша, разве так, сразу, из людей все это вытравить! И забывать этого нельзя.— Степан Михайлович теперь сам привлек к себе дочь.— А ты, Нюша, если хочешь, чтоб народ тебя уважал, по земле обеими ногами ходи, на бумажных-то крылышках на небо не упархивай.

— А кто это упархивает? У кого ж это бумажные крылья, уж не у меня ли? — грозно спросила Варвара Алексеевна.

Спор снова разгорелся, обычный, знакомый, немножко смешной, и Анна радовалась, что старики, увлеченные полемикой, отвлеклись от тяжелых дум. А сама она, рассеянно следя за перепалкой, живо рисовала себе свежевспаханную, дышащую весенней влагой землю, множество людей с лопатами, тяпками, граблями...

— Галка, народ на кухнях по-прежнему собирается? — неожиданно спросила она у племянницы, смуглая физиономия которой, осунувшаяся, побледневшая за время болезни, виднелась из-за приподнятой занавески.

— Да уж как же ж, обязательно! Топят уж теперь.

— Схожу-ка я на кухню,— сказала вдруг Анна, направляясь к двери.

Опасливо оглядываясь на стариков, Галка накинула пестрый халатик, сунула ноги в тапки и тихонько выскользнула в коридор вслед за теткой.

Единственным, что сохранилось в быту верхневолжских текстильщиц от прошлого, были кухни в старых общежитиях комбината «Большевичка». Эти огромные, расположенные в центре коридоров полутемные, мрачноватые помещения существовали с холодовских времен. По стенам их окаймляли бесконечные столы-лари, над которыми помещались узенькие шкафчики. Каждая семья имела такой шкафчик, и запирался он собственным, хитрого устройства замком. Хозяйки хранили здесь сковороды, кастрюли, чайники. В центре кухни возвышалась длинная двухэтажная печь, расчлененная на ячейки, с плиткой внизу и духовкой сверху. С другого боку в ее кирпичную тушу был вмазан вместительный куб с рядком кранов. В часы чаепитий там глухо клокотал крутой кипяток.

Революция глубоко перепахала быт фабрики. Вторые и даже третьи семьи, порою делившие в старые времена с основными хозяевами единственную комнату, давно уже уехали на собственные квартиры, полученные в новых поселках. Сияние электрических ламп разогнало вечный полумрак коридоров. Вентиляторы вынесли из них былой застоявшийся, густой смрад. Давно уже в центре фабричного двора сверкал огнями огромный рабочий клуб. Имелся театр, вмещавший не меньше зрителей, чем городской, имелся большой кинозал. Да и в общежитиях на каждом этаже был теперь Красный уголок. Только общие кухни оставались незапаханным куском целины, и мало кто из старожилов отказывал себе в удовольствии после смены посидеть на корточках, привалившись спиной к печи, неторопливо выкурить здесь на сон грядущий папиросу, перекинуться с соседями фабричными новостями и, конечно, поспорить о политике, ибо политиков в каждом таком общежитии было не меньше, чем в Женеве в дни сессий Лиги Наций.

Сюда-то и вышла Анна посоветоваться, потолковать о заинтересовавшем ее деле. Атмосфера детства сразу охватила ее. Ну конечно же в полумраке у печки краснели огоньки папирос. Не в пример прошлому, их было не много — четыре или пять. Но на противоположной, «бабьей» стороне печи, у гудящего куба, как и в былые времена, густо толпились обитательницы общежития. Они обступили пожилую женщину в очках, читавшую вслух газету. Галка хотела было громогласно поприветствовать компа-

нию, но Анна ласково закрыла ей рот ладонью. Обе тихо присоединились к кружку. Читалась корреспонденция о том, как группа артиллеристов во главе со своим раненым командиром, стойко сражаясь у переправы, не допустила противника.

Все это произошло далеко, где-то в предгорьях Кавказа. И чтица была не очень умелая. Но как ее слушали! Будто читался не обыкновенный газетный материал, а письмо с фронта, от мужа или от сына. «А у нас в перерывах агитаторы только сводки Совинформбюро пересказывают... Надо такие читки организовать»,— подумала Анна, глядя на эти взволнованные лица. И еще подумалось ей почему-то, что Юнона, наверное, была права, когда говорила, что нужно опубликовать письмо, описывающее гибель Марата и его товарищей.

Когда женщина опустила газету, Анну сразу заметили, окружили.

— Своих навестить пришла, Степановна?

— Горе-то у вас какое! Слышали, слышали... Как они, старики-то? Убиваются?..

— Хорошо, что вы тут,— перебила их та, что читала.— Вот вы, как руководящий товарищ, растолкуйте нам, почему это Совинформбюро который уже день все сообщает про наш фронт: «...вели затяжные бои на прежних рубежах, успешно отражая атаки превосходящих сил противника и нанося ему существенный урон в живой силе и технике»? Людям эта формулировка не нравится. Вот они все меня спрашивают, не перешел ли, мол, он опять в наступление.

Женщина в очках вопросительно смотрела на Анну.

— Верно, растолкуй-ка, Степановна. Да ты присаживайся, поговори с народом.

Те, кто сидел спиною к кубу, потеснились, освободили место у теплой стенки. Кипящий куб урчал, исторгая сквозь кирпичную толщу ласковое тепло. И Анне вдруг с беспощадной отчетливостью вспомнилось, как, простояв всю весеннюю ночь над рекой с Жорой Узоровым, продрогнув до костей, вернулась она в общежитие и, прежде чем явиться к своим, забежала сюда, на кухню. Общежитие не спало. Те немногие, кто ходил в церковь, возвращались от заутрени, неся в салфетках пасхи, куличи, украшенные бумажными цветами. Те, кто в церковь не ходил, встречали их добродушными шутками. Впрочем, разговеться, хотя бы у соседа, все были не прочь. Из комнат доносился

звон посуды, громкие голоса. Но девушка всего этого как бы не замечала. В ту ночь она слышала только самое себя, только то, что звучало и пело у нее в душе...

Кто-то тряс ее за руку:

— Анна Степановна, Анна Степановна, ты чего? Нехорошо тебе, что ли?

— Нет, нет, что вы, пригрелась вот и задремала. Не высыпаюсь.

— Известно... За всех теперь думать приходится...

— А я к вам за советом,— торопливо заговорила Анна, отгоняя непрошеные воспоминания.— Вот тут кое у кого думка есть — в эту весну общие огороды организовать... Стоит? Как вы мыслите?

Она предполагала, что все сразу за это ухватятся, и удивилась, увидев, что собеседницы медлят с ответом. Неужели она обманулась? Здесь была и тощая Зоя Перчихина, та самая, что третьего дня наведывалась к деду за лучком. На нее Анна почему-то смотрела с особой надеждой. Но та молчала, отвела бесцветные глаза.

— Так как же, товарищи, насчет огородов? Нужны они?

Отозвалась лишь женщина в очках, та, что давеча читала газету:

— Да что там, Анна Степановна, дело доброе, будет еще одной важной мерой по улучшению жизни трудящихся в тяжелых военных условиях.

— Мера-то мера, а вот что в эту меру сыпать?

— Устаем, Степановна,— призналась пожилая работница.— Иной раз до кровати дойдешь, ткнешься — и не было бы ничего вокруг.

— Ну, а ты как, Зоя, думаешь? — настойчивей спросила Анна Перчихину, зная, что эта горластая бабенка умеет исподволь организовать общественное мнение в фабричных уборных, в коридорах общежитий.

— А я как все,— ответила та.— Первой не пойду и от людей не отстану...— И вдруг спросила: — А о семенах начальнички думали? Картошка-то — она на рынке кусается. А без семян, без рассады какие мы огородники?

— А я все мечтаю: как это здорово — после смены пойти на часок за город, на вольный воздух, на солнышко! — вздохнула Анна, пока что дипломатично обходя вопрос о семенах.

— Солнышко солнышком, да еще хоть мешков по пять картошечки в балаган ссыпали бы,— неожиданно ответила

сидевшая с ней рядом молчаливая женщина.— А может, и не только картошечки, а и свеколки, редечки и капустки порубили бы... Ой, до чего же приятно — своя капустка!

— Да с постным маслицем,— поддержала ее другая и даже с шумом подобрала слюну, а потом спокойно, с убеждением, добавила: — А что, Степановна, хорошее дело. Я первая хоть сейчас запишусь.

— Вот видите, товарищ Калинина, наши люди всегда готовы поддержать любой ценный почин...— начала было женщина в очках.

Но Анна, не дав ей кончить, обратилась к той, что завела разговор про овощи:

— Как же, а?

— Я «за».

— А еще кто? — уже задорно улыбаясь, спросила Анна.

Те, кто грелся у куба, будто на собрании, стали неторопливо поднимать руки. Когда рук поднялось уже много, Перчихина сказала:

— Ну, куда люди, туда и я,— и подняла свою.

— Так, может, не будем откладывать, составим инициативную группу? — говорила Анна, а сама думала: «Что я, с ума сошла? Речь идет об огромном деле. Надо все обсудить в райкоме. Что, если понапрасну поднимешь народ, взбаламутишь фабрику?» Но затея с огородами казалась ей такой привлекательной, сулила такие очевидные блага, что она верила: почин будет поддержан, с помощью городских организаций как-нибудь решится и нелегкий вопрос о тягле, о семенах. Укрепляя в самой себе эту надежду, Анна торопила собеседниц: — Ну как насчет инициативной группы?.. Галка, тащи бумагу и перо.

На возбужденные голоса, доносившиеся из кухни, подходили новые и новые люди. Интересовались, почему шум. Узнавали об огородах, выражали сомнение. Но уже те, что недавно сами недоверчиво слушали Анну, теперь страстно убеждали других.

Галку усадили к окну. Высунув от старания кончик языка, она едва успевала записывать, а женщины, обступавшие ее, подсказывали фразу за фразой. Тут же обсуждали эти фразы, браковали одни, заменяли другими. Можно было уже не сомневаться, что письмо выйдет энергичное и аргументы в нем будут убедительные.

— Только ошибок меньше сажай, переписывать неко-

гда! — крикнула Анна Галке через головы обступивших ее женщин.

— На четверку уж гарантирую,— отвечала та.

Чувствуя, что костер разгорелся и не потухнет, Анна незаметно ушла из кухни. В комнате родителей она не застала и следов спора. Старики сидели рядышком, тихие, понурые. На столе были разложены фотографии внука: Марат — толстенький голыш с будто перевязанными ниточками запястьями рук; Марат в матроске у трехколесного велосипеда; Марат в новенькой фуражке ФЗУ, величественный и важный; Марат, скачущий на лихом коне, в роскошной черкеске с газырями, на фоне кипарисов, гор и озера, по глади которого написано: «Привет из Крыма»; Марат в трусах, в боксерских перчатках, сухой, подтянутый, мускулистый; Марат в военном — в темном комбинезоне, в большом танкистском шлеме.

На эту последнюю карточку и смотрели бабушка и дед.

11

После того, как в блиндаже перевязочного пункта врач осмотрел Курта Рупперта и наложил временные повязки, перебежчика подняли на носилках в кузов машины.

Это был обычный, наскоро побеленный известью фронтовой грузовик. Курта уложили на ветках хвои, покрытых брезентом и застланных простыней. Рядом поместился немолодой солдат в шапке с опущенными ушами и в полушубке, поверх которого он с трудом напялил халат, уже треснувший на спине по шву. Солдат был хмур. От него пахло табаком, хлебом, карболкой. Но руки у него были сильные, опытные. Когда машину, пробиравшуюся без фар по дороге, такой узкой, что ветви сосен, сгибавшихся над ней, то и дело скребли ее по бортам, начинало подбрасывать на корневищах, солдат поднимал Курта за плечи, держал на весу и, не меняя хмурого выражения лица, приговаривал что-то успокаивающее.

Курт не чувствовал особой боли. Только обессиливающая слабость разливалась по телу. Он лежал неподвижно. Вершины заснеженных сосен бесшумно проплывали, как темные облака. Колюче сверкали звезды. Сознание то приходило, то исчезало. Казалось, кто-то раз или два останавливал машину. Казалось, кто-то, поднявшись над бортом, удивленно рассматривает Курта. Словно сквозь стену, не-

ясно доносились обрывки непонятных разговоров. Казалось, идет снег. Единственное, что было твердой, не вызывающей сомнения реальностью,— это грубоватое, хмурое лицо, все время маячившее рядом, это запах табака, хлеба и карболового раствора, это сильные руки, осторожно приподнимавшие раненого, когда машину начинало качать на ухабах.

Потом была операция. В этом Курт уверился позже. Память сохранила только матерчатый колеблющийся потолок, ослепительный свет свисавшей сверху лампы, сладковатый усыпляющий запах и странное ощущение, будто какие-то большие жуки, не причиняя особой боли, бродят в одеревеневших, бесчувственных внутренностях. И опять его везли, теперь уже в санитарной карете. И не хмурый солдат, а девушка сидела рядом — высокая, румяная, грузноватая девушка с крупным, мужского склада лицом.

Уже под утро машина остановилась у длинного деревянного здания. Носилки вынесли, стали поднимать на крыльцо. От ритмичного раскачивания вновь закружилась голова. Снова увидел Курт в светлеющем небе не одну, а три луны. Они будто скользили куда-то вниз, увлекая за собой раненого. Потом невесть откуда совсем рядом возникло на миг тонкое, бледное девичье лицо — короткий прямой нос, приподнятые золотистые брови и синие глаза,— но и оно стерлось и будто растворилось в стремительном вихре, уносившем Курта. «Ах, как прохладен ветерок...»

Наконец сознание вернулось прочно. Открыв глаза, Курт увидел себя на хирургическом столе. Рослая девушка, которая привезла его сюда, стояла рядом. На ней был халат, шапка курчавых волос перехвачена марлевой косынкой, румяное лицо выглядело утомленным. Один из рукавов был у нее закатан к плечу. Ватным тампоном она зажимала свою руку на самом сгибе. Женщина постарше, лицо которой было закрыто марлевой повязкой, свертывала резиновую трубку. Курт понял: ему перелили кровь. И донором, несомненно, была эта курчавая девушка с мужским лицом. Обе, смеясь, о чем-то разговаривали. Потом курчавая неожиданно сказала Курту на плохом немецком языке:

— Коллега говорит, что теперь вам капут... Нет, нет, не пугайтесь, операция прошла удачно. Но вы теперь не чистый ариец. Вам только что перелили кровь, и дала ее вам еврейка. Понимаете, какой ужас!

Курт вспыхнул. Нет, лицо его по-прежнему бело как подушка. Но эту красноту он ощутил, как раненый ощущает боль ампутированной ноги.

— Я не наци,— прошептал он,— я презираю расовую теорию и ненавижу Гитлера.

Рослая девушка перевела его слова, и уже в самом тоне перевода прозвучало насмешливое сомнение. Но в щели марлевой повязки глаза подобрели, от них разбежались веселые морщины, один глаз хитровато прищурился.

— Гитлер капут?

— Капут,— серьезно, будто уже знакомый пароль, произнес Курт...

В госпитале, развернутом в помещении сельской больницы, Курт Рупперт оказался в странном положении. Из маленькой комнатки, служившей дежуркой для сестер, вынесли их пожитки, поставили туда койку и тумбочку. Утром по коридору разнесся невероятный слух: появилась новая палата без номера, и в ней лежит немец, настоящий немец, который перебежал фронт. Проснувшись, Курт услышал за дверью возбужденные голоса, стук костылей, шепот, сердитое увещевание сестер. Ему стало не по себе. Когда рывком открылась дверь и в нее просунулась чья-то забинтованная голова, он даже зажмурился. Но голова убралась, а шум в коридоре стал еще возбужденней.

Курт лежал на спине, весь скованный жесткой повязкой. Замышляя свой переход, он больше всего боялся встречи с советскими солдатами на передовой. Теперь он не знал, как примут его здесь, в тылу, и боялся этого. В «русские зверства», которыми постоянно пугали газеты доктора Геббельса, он не верил: фотографии, изображавшие немецких солдат распятыми на воротах, головы, нанизанные на частоколы, лица с отрезанными носами и ушами — все эти фальшивки, какими в месяцы отступления буквально наводнялись роты, были слишком грубой стряпней. Но, двигаясь по этой земле, Курт собственными глазами видел, сколько горя принесли они сюда: пылающие города, печные трубы, стоящие, как кресты на кладбище, там, где на картах обозначались села и деревни, распухшие трупы мирных людей, смердящие в кюветах вдоль военных дорог... А гестаповские оргии, а истребление евреев и цыган, глухие слухи о котором доходили и до действующих частей, а этот Верхневолжск, дома, где обессилевшие от голода люди замерзали в собственных

кроватях... Все это не выходило у Курта из головы, и вот теперь, лежа после операции в маленькой бревенчатой комнатке, он боялся русских раненых, шумевших в коридоре, и опасался, что кровь, пролитая в этой стране гитлеровцами, падет на него, солдата вермахта.

Нет, кто-то все-таки сумел убедить их, и они ушли. В коридоре стихло. А после обеда в комнату постучали. Вошел пожилой офицер, почему-то показавшийся Курту знакомым. Он по-немецки осведомился, как раненый себя чувствует, может ли разговаривать. Потом достал из подсумка блокнот и попросил рассказать о себе. Он не торопил, не понукал, лишь изредка задавал вопросы. И Курт рассказал все, умолчав лишь об одном — о белокурой девушке с текстильной фабрики. Он боялся запятнать ее репутацию перед соотечественниками.

...Декабрьский день короток. Темнело рано. Госпитальный движок был слаб, и потому огня в палатах не зажигали. Курт лежал в темноте и думал, думал, думал. В сущности, кто же он такой? Отец у него коммунист. Старый Рупперт не сменил кожи, не перекрасился, когда Гитлер пришел к власти, как это сделали многие другие. И когда его ночью увозили, он сказал: «Сынок, не забывай меня»,— вложив в эти слова большой, лишь им двоим понятный смысл. Курт тоже был некогда комсомольцем, ходил в юнгштурмовке, расклеивал коммунистические листовки, дрался с ребятами из «гитлерюгенда» и однажды даже явился домой с рассеченной губой. Но наци, придя к власти, захватили все. Отец был в заточении. Мать бледнела от любого стука в дверь и все твердила:

— Куртхен, ты теперь глава семьи, ты наша копилка, мы вкладываем в тебя все, что можем. Учись, чтобы растить братьев, сестер, кормить меня в старости. И остерегайся. Ради бога, ради меня, ради своего и нашего будущего остерегайся!

Переменил ли он взгляды? Отрекся ли от отца? Объявил ли прошлое мальчишеской глупостью? Нет. Но он и не протестовал против всего страшного, что творили наци. Он, как и многие немцы в те дни, как бы погружался в состояние анализа. Делал свое дело, и только свое дело, говорил лишь то, что было необходимо, и предпочитал молчать. Надеялся ли он, что кончится наконец этот нацистский кошмар? Иногда — да, иногда — нет. Вот кем был Курт Рупперт, когда началась война.

Он учился на четвертом курсе. Из-за отца, нераскаяв-

шегося коммуниста, сидевшего в Бухенвальде, в строевую часть его не взяли. Но он сдал экзамен на военного фельдшера, и его направили в медицинскую часть егерского батальона, того самого сформированного в Баварии батальона, который отличился при обходе линии Мажино и с тех пор получил право в качестве особого отличия изображать на бортах своих машин невянущий цветок немецких гор — эдельвейс.

Париж, Брюссель, Копенгаген... «Эдельвейсы» победно двигались на отличных машинах по отличным дорогам. Это была неутомительная и поистине молниеносная война. Перед Куртом, сидевшим в удобной кабине санитарного автомобиля, как на киноэкране, развертывалась Западная Европа. Разрушений было не так уж много. Лишь иногда встречался сгоревший дом или приходилось полем объезжать взорванный мост. Четко работала комендантская служба. Откормленные патрульные в начищенных сапогах парами шагали по улицам оккупированных селений. Военным медикам приходилось лечить лишь простуды да промывать испорченные желудки. За всю кампанию Курт перевязал пятерых раненых: двух сшиб пьяный шофер из другой части; один, уснув, свалился на ходу с грузовика; двух при таинственных обстоятельствах подстрелили французские крестьяне. В это дело оказалась замешанной молоденькая девушка. Ее расстреляли. Может быть, поэтому память о происшествии прочно жила в батальоне.

А «эдельвейсы» все мчались вперед. Следя из кабины санитарной машины за тем, как у дорог, обсаженных фруктовыми деревьями, на указателях мелькают названия новых и новых селений, ефрейтор Рупперт тоскливо думал: это уже все. Великая Франция лежала перед ним, растерзанная на куски. Газеты рассказывали взахлеб, как англичане дрожат на своих островах под градом немецких бомб, ожидая часа решающего штурма. Всюду — во Франции, в Бельгии, в Дании — Курт видел неприязненные, ненавидящие взгляды. Но взгляды не поражают и не выигрывают битв. И казалось Курту, что нет уже на земле силы, которая могла бы если не разбить, то хотя бы остановить страшную военную машину, одной из крохотных частиц которой был он сам. И думалось: Гитлер изверг, но он все-таки побеждает. Он установит в Европе свой «новый порядок», а отец Курта и такие, как он, безвестно умрут или будут застрелены в бесчисленных концентрационных ла-

герях. Надо ли, можно ли хотя бы внутренне упорствовать? Упорствовать без надежд? Не разумней ли начать приспосабливаться к этому «новому порядку», как это сделали некоторые из друзей юности Курта?..

...Слушая могучий храп русских солдат, доносящийся через бревенчатую стену госпиталя, немец со стыдом вспоминает свои мысли. Но как все сразу перевернулось в тот памятный день!.. Впрочем, нет, даже раньше. Курт вспоминал, как однажды «эдельвейсов», размещенных в добротно построенных казармах одного из зеленокудрых датских городков, вдруг подняли по тревоге. Ничего не объясняя, их погрузили в эшелон и повезли. Даже офицеры не знали окончательного маршрута. Рождались странные слухи... Восстали французы, и их решено наказать... Готовится грандиозный десант на Британские острова, лучшие части концентрируются на берегу Ла-Манша. Говорили даже, что формируются мощные соединения морской пехоты для нападения на Америку.

Но эшелон шел на восток. Замелькали разрушенные станции и сожженные полустанки с польскими названиями. Всюду было много солдат, все в шлемах, при оружии. Запахло настоящей войной. По вагонам пополз новый слух: поднялись поляки, и по приказу фюрера Польша должна быть сметена с лица земли.

Наконец ночью эшелон остановился на маленьком полустанке. Была дана команда разгрузиться. До того, как поднялось солнце, батальон егерей вместе со своими бронетранспортерами и машинами был отведен в лес и начал маскироваться. Тут же теснились ранее прибывшие части; артиллерийские батареи, прикрытые маскировочными сетками, танкисты, мотоциклисты. Утро занялось ясное, пели птицы, в молодой траве наперебой звенели кузнечики. Нигде не слышно ни одного выстрела, но маскировка соблюдалась даже более тщательно, чем на фронте: за папиросу — арест, за непотушенную фару — арест, за выход из укрытия — арест. Запрещено было разговаривать с солдатами из других частей. И офицеры, сами взволнованные всей необычностью обстановки, свирепо наказывали за любое нарушение.

Зачем сюда привезли? Это мучило всех. И вот пошел из уст в уста кем-то пущенный слух: Советы. Они готовятся нарушить договор и напасть на Германию. «Эдельвейсы» между собой храбрились: пусть только попробуют эти красные, они узнают, что такое немецкий кулак. Но в этих

таких знакомых словах Курт уже не слышал недавнего энтузиазма. И он задумался. Советы... Когда отец, бывало, говорил о Красной Армии, у него горели глаза. За кружкой пива он любил петь красноармейские песни. Советы! Неужели же Красная Армия стоит где-то тут, рядом?

Курт волновался. Он не мог спать. В час, когда розовое утро говорило «здравствуй» зеленой прозрачной июньской ночи, Курт стоял у входа в санитарную палатку, пряча в рукаве огонек папиросы. Он видел, как высоко в небе с запада на восток прошли эскадры бомбардировщиков. Он слышал, как по лесу зазвучала торопливая команда. «Эдельвейсы», возбужденные, выскакивали из палаток. Но прежде чем они успели разобрать оружие, где-то рядом загудела артиллерия. Вместе со всеми Курт вопросительно смотрел на восток. Нет, били немецкие орудия. Их было много. Казалось, весь лес изрыгает огонь. Вскоре выстрелы слились в сплошной грохочущий рев. Лишь некоторое время спустя ответные снаряды стали рваться в лесу, где части спешно развертывались для атаки. За каких-нибудь полчаса пустовавший всю дорогу санитарный автомобиль, рассчитанный на шесть носилок, оказался битком набитым ранеными...

Теперь, перебирая по ночам свою жизнь, Курт мысленно спрашивал себя, когда же начала проходить апатия и появилась ненависть, и ему неизменно вспоминалось это ясное, прохладное, пахнущее полевыми цветами, молодой хвоей утро. Тут он узнал, что такое война!

Да разве он один? То же недоумение, тот же страх видел он на лицах солдат, которых тогда перевязывал. Особенно запомнился один из них — рослый парень, попавший в руки Курта с развороченным животом. Он был так силен, что наркоз не брал его. Операцию начали, не дожидаясь, пока он впадет в забытье. То ли очумев от боли, то ли повредившись в уме, он вырвался из рук санитаров и с развороченным животом, исторгая ругательства, уселся. Потом притих, обвел всех невидящим взглядом выпуклых рачьих глаз, тихо произнес какое-то женское имя и вдруг завыл мучительно и тоскливо, как воют смертельно раненые звери. Он умер тут же, на операционном столе.

А потом, когда в потоке других частей батальон егерей, заметно тая на каждом промежуточном рубеже, рвался в глубь России, Курту часто мерещился этот парень. Образ его превращался в символ, преследовавший военного фельдшера.

В этой стране фронт был везде. Читались новые и новые приказы командования: «Запрещается ездить по дорогам на одиночных машинах...», «Запретить солдатам без необходимости выходить с наступлением темноты на улицу...», «Категорически воспретить рядовому и начальствующему составу употреблять в пищу какие-либо местные продукты, не подвергнутые химическому анализу...». Приказы эти, как и все, что исходило из немецких штабов, были деловиты, лаконичны. И все же сквозь казенные фразы просвечивал страх. Когда их читали, Курт, как и другие, слушал, сохраняя на лице безразличное выражение. Но внутренне он ликовал. Отец прав! Эта страна небывалая, этот народ удивительный. Тут не рай, нет; видно, что людям здесь нелегко живется. Но они выше всего ценят эту свою жизнь и не хотят никакой другой. И интерес к этим людям, к их образу мыслей, к их законам, к их государственной системе, которую они так яростно и самозабвенно защищали, рос в душе Курта.

В застегнутом на все пуговицы, аккуратном, дисциплинированном солдате как бы оживал юнец с закопченной окраины, который носил форму юнгштурма, самозабвенно пел в рабочем хоре «Заводы, вставайте», расклеивал коммунистические листовки, дрался с мальчишками из гитлерюгенда. Мысль при первом удобном случае перейти на сторону Красной Армии, впервые мелькнувшая у него в то страшное июньское утро, все крепла...

...На ночь дверь в палату без номера теперь не закрывают. Через коридор доносится до Курта шум ночного госпиталя — сопение спящих, сонные вскрики, чьи-то протяжные стоны... Слышно, как бормочет, борясь со сном, дежурная сестра.

«Все-таки удивительные в этой стране люди,— думает Курт, прислушиваясь к невнятным звукам,— такая ненависть и такая человечность!» Вот уже около месяца он среди них. Немец. Солдат армии, которую здесь ненавидит каждый ребенок. Рядом с ним лежат люди, раненные его соотечественниками, раненные тут, у себя дома, в центре России. Но даже и тени зла, причиненного этой армией, не падает на Курта Рупперта. Любопытство? Да. Ирония? Сколько угодно. Изредка какая-то инстинктивная неприязнь, как у той высокой черноволосой девушки, что дала ему кровь. А ненависть? Нет... Странно, удивительно...

Персонал и раненые давно уже свыклись с необыкновенным обитателем палаты без номера. Вновь прибывших

первым делом ошарашивают новостью: «У нас тут один немчура лежит». Утром, разнося градусники, сестра говорит ему: «Гутен морген». Нет-нет да и забредет в палату кто-нибудь из выздоравливающих, принесет под полой строжайше запрещенные папиросы, откроет фортку, даст прикурить. И, выдувая дым в рукав халата, заведет разговор:

— Ну как, криг не гут?

— Я, я! Война нет карашо. Война есть плохо,— кивает головой Курт, уже усвоивший кое-что по-русски.

— Гитлер капут?

— Я, я! Хитлер пусть подыхайт. Хитлер — собак. Хитлер — сволотшь.

Обе стороны, вполне поняв друг друга, улыбаются, пока не появится дежурная сестра и не разгонит этот антифашистский митинг.

И по мере того, как Курт вживался в тот новый, необычайный для него мир, он все чаще думал о белокурой девушке, заставившей его принять решение. Она властно вошла в его жизнь. Думать о ней, вспоминать ее облик, ее голос, снова и снова перебирать в памяти ее слова стало для него радостью. Иногда она снилась ему. Он просыпался, полный взволнованного ожидания. А порой вдруг появлялась мысль: уж не пригрезилось ли ему вообще это бледное смелое лицо, эти непреклонные синие глаза? Не во сне ли он слышал и этот тихий и твердый голос? Девушка как бы превращалась для него в живое воплощение ее мужественного, храброго, но еще не вполне понятного Курту народа. Когда же, когда заживут наконец проклятые раны и можно будет показать им всем, что он, Курт Рупперт, не просто бежал от войны, что он не пацифист, а антифашист и хочет вместе с ними сражаться с общим врагом?

12

И вот по фронтовым дорогам, прокопанным в снегах, как траншеи, тарахтя старенькими бортами, движется странная машина. В кузов ее встроен фанерный домик с дверью, с двумя маленькими окошками. Над крышей возвышается железная труба. Внутри домика стол. Перед ним диван, обычный, видавший виды старый диван, обивка которого почернела там, где к ней прикасались головы и спи-

ны сидевших. У противоположной стены к полу привинчена железная окопная печь. В углу у двери под брезентом вырисовываются большой, похожий на трубу старого граммофона репродуктор и какие-то ящики, закрытые брезентом. К стенке кнопками прикреплен портрет Тельмана в синей суконной фуражке, какие носят гамбургские докеры.

Переваливаясь с борта на борт, машина бежит по дороге, и мотор ее надсадно воет, когда она буксует, преодолевая сугробы. Печка продолжает топиться и отлично греет.

На диване с папиросой в зубах сидит Курт Рупперт. Он в ушанке военного образца, в овчинном полушубке, в стеганых шароварах, заправленных в валенки. На веревочках, продернутых сквозь рукава, как у маленького, висят меховые рукавицы. Раскачиваясь в такт машине, он задумчиво смотрит на огненные языки, ворочающиеся в прорезях чугунной дверцы. Рядом с Куртом, утонув в непомерно большой шинели, немолодой человечек с трубкой, крепко зажатой в редких желтых зубах. Он без шапки. Седые волосы взъерошены. Клочковатые брови нависают на глаза. Длинный хрящеватый нос как бы опустил свой конец на толстые губы. В этом человеке все напоминает старую нахохлившуюся птицу. Все, кроме глаз. Сердитые, быстрые, они очень подвижны. Взгляд их колюч и цепок. Не выпуская изо рта трубки и не прикасаясь к ней руками, старик то и дело затягивается, и в уголке рта, через который он выпускает дым, на губах коричневое пятно.

Это бывший механик одного из знаменитых заводов берлинского пригорода, истинный сын Красного Вединга, один из тех забияк, спорщиков и полемистов, что через всяческие социал-демократические «ферейны» нелегким путем приходили в германскую Коммунистическую партию. Вступив в нее, он так проникся ее идеями, что сам воздух Третьей империи стал для него невыносимым. Зовут его Густав Гофман. Он политический эмигрант.

Втроем — старый немецкий коммунист, Курт Рупперт и маленький, круглоликий, веселый лейтенант Илья Бромберг, сидящий сейчас в кузове машины,— они представляют собой экипаж МПГУ — малой подвижной говорящей установки, кочующей по заснеженному фронту. Машина останавливается на ночь то там, то здесь. И тогда по ночам немецкие солдаты, зябнущие в окопах и секретах, вдруг слышат во тьме, среди сугробов, два голоса, говоря-

щих по-немецки,— старческий, резкий, брюзгливый и молодой, звонкий, грубоватый.

Старческий голос говорит им то, что́ каждый из них, в сущности, знает, но о чем боится даже думать,— о кровавой нацистской клике, довлеющей над залитой кровью Германией, о безнадежности этой затеянной Гитлером войны, о тоске и тревоге немецкого тыла, о матерях, женах, детях. Он ругает их, этот резкий, сердитый голос, называет их болванами, тупицами, овечьим стадом. Солдатам, слушающим колючие, произносимые на чистом берлинском диалекте слова, становится жутко в этих русских лесах, где деревья трещат от мороза и волки воют по ночам, будто собаки по покойнику.

Потом в окопную тишину врывается молодой, напористый голос, говорящий с тягучим баварским акцентом:

— Ребята, я ефрейтор батальона егерей «Эдельвейс». Слышите меня? Я по горло обожрался этой войной, и мне вдруг пришла в голову неплохая идейка: стоит ли допускать, чтобы моя старая мать лишилась сына, стоит ли, чтобы еще миллионы немецких матерей лишились своих сыновей ради того, чтобы господин Гитлер еще раз мог попозировать перед фотографом? Я сказал себе: нет, к черту, хватит, надо выпрыгнуть из этой машины до того, пока она не полетела под откос. Я поднял руки и не ошибся. Слышите, ребята, я говорю с вами из русских окопов. Я жив, здоров, на мне теплый полушубок, не то что наши подбитые ветром халаты. На мне сапоги из шерсти (они называют их валенки) и шапка с ушами. Я здесь сыт и в тепле. Слышите меня, ребята? Вам, наверное, господа офицеры твердят, что военнопленных здесь убивают и мучают? Ведь твердят? Ну вот, а я скажу вам, что это вранье и к нам очень человеческое отношение...

Сапоги, полушубок, сытость — об этом Курту противно говорить. Все это придумал старый Гофман. Он рассуждает так: разве до этих там дойдут сейчас хорошие слова о мире, о социализме, о свободном труде? Сюда, в леса, на активный участок огромного фронта, немецкое командование поставило эсэсовские дивизии. Для эсэсовцев Карл Маркс — бородатый старик, написавший какие-то запрещенные книги. Роза Люксембург — еврейка, которую за что-то не то повесили, не то потопили арийские ребята. Коммунизм? Запрещенное слово, и за него можно в два счета попасть в штрафбат... Нет, нет, этих надо трясти за шкуру, оглушать правдой о немецких потерях, о военных

резервах русских, о безнадежности этой войны. Надо взывать не только к голове, но и к брюху.

Батальон «эдельвейсов», в котором служил Курт, был такой же отборной частью. Фельдшер припоминал однополчан. Он легко представлял себе, что это они слушают его там, в ночи, и приходил к выводу, что прокуренный человечек, похожий на старого дрозда, прав. Скажи им Курт, что отец его, потомственный рабочий, томится в Бухенвальде, что сам он был юнгштурмовцем,— и слова его сразу потеряют для них всякую убедительность: свой за своих и агитирует. И Курт, хотя это ему противно, надевает на себя маску этакого циничного парня, который в общем-то и не прочь был повоевать, когда гремели марши и домой посылались реляции о победах и заодно тугие тючки посылок с трофейным добром, но который задумался, когда тут, на бесконечных просторах России, изрядно помятая военная машина была отброшена и дала задний ход,— задумался и сделал разумный вывод, который любой из «эдельвейсов», за исключением, пожалуй, таких, как санитар Вилли, легко бы понял.

Курт кричал в микрофон:

— Земляки, подняв руки, я, может быть, поступил нехорошо, согласен. Зато моя мать не получит похоронную и моя девушка не сядет на колени к другому. Гитлер выпустил из немцев немало крови. Зачем вам подносить этому обжоре еще стаканчик своей? Вспомните о своих старых родителях, о женах, о детях. Много ли им будет проку, если ваши портреты будут торчать перед ними с креповым бантом на раме? Не лучше ли, если вы обнимете их после войны живые и здоровые?

В перерывах между такими разговорами запускались пластинки. В русском лесу гремели мелодии тирольских, баварских, саксонских танцев, звучали популярные песенки из кинофильмов.

Драгуны скачут в голубом,
Гарцуя у ворот,
Фанфары им поют вослед,
И к морю путь зовет,—

раскатывалось под деревьями, притаившимися в предвесеннем ожидании.

Редко удавалось экипажу МПГУ довести до конца свою программу. Молча слушали ее пять, десять минут — столько, сколько требовалось, чтобы офицерам проснуться, одеться и добежать по ходам сообщения из блиндажей в

окопы. Тогда начиналась стрельба. Она звучала все гуще, гуще, переходила порою в сплошной огонь. Над лесами взмывали белесые ракеты и повисали в воздухе. Их мертвые огни мерцали в небе, обливая судорожным ледяным светом уже подтаивающую снежную целину ничейной полосы. Иногда в ход включались минометы и даже пушки. Сидя в безопасном укрытии, экипаж МПГУ ликовал: «Ага, проняло!» Старый Гофман, срываясь с обычной программы, кричал в микрофон:

— Коллеги, вы посмотрите на этот роскошный фейерверк! Ваши офицеры испугались, что вы сейчас ринетесь к нам с листовками-пропусками... Не будьте дурнями, не рискуйте, берегите свою жизнь. Выбирайте для перехода ночь потемнее. Здесь вас примут в любое время.

Утром машина с домиком останавливалась на дневку возле какой-нибудь избы. Вносили патефон, и в русской деревне раздавался мужественный голос Эрнста Буша. В сопровождении рабочего хора пел он, отчеканивая слова, «Красный Ведииг», «Марш болотных солдат», боевые песни прошлого. Густаф Гофман замирал с трубкой в зубах. Лицо у него становилось торжественным, как у верующего на богослужении. Старому немцу казалось, что сюда, в верхневолжские леса, доносится до него голос Германии, настоящей Германии, а не той, что, проклятая всеми, дрогла сейчас в окопах, вырытых в чужой мерзлой земле. У Курта за стеклами очков загорались глаза. Юность его, полная волнений и надежд, вставала перед ним. Старый немец смотрел на молодого, который совсем недавно тоже был солдатом, смотрел и радовался: нет, не все убил, не все человеческое вытравил Гитлер! Длинная трубка астматически хрипела, клубы дыма наполняли избу. Гофман ворчал на русскую фронтовую махорку, кашлял, сопел, вытирал глаза. Он по-детски был привязан к этим старым, заигранным пластинкам с революционными немецкими песнями, но считал, что гитлеровские солдаты недостойны слушать их.

— Перед быком нельзя махать красным лоскутом. Ему надо показывать охапку сена,— говорил он, убеждая лейтенанта Бромберга исключить эти пластинки из программы передач. Эти песни экипаж сохранял и возил для личного потребления.

Сначала МПГУ вела свои передачи почти беспрепятственно. Командиры немецких частей, державших здесь оборону, видимо, не придавали им значения. Но когда уча-

стились случаи перехода солдат с листовками-пропусками и в особенности после того, как однажды на сторону русских перешел целый взвод, уведя с собой связанного лейтенанта, на передачи стали отвечать огнем. Огонь был иногда такой, что становилось ясно: им не только хотят разгромить установку, но стремятся заглушать сами слова. Однажды во время передачи пуля обожгла плечо старого Гофмана. В другой раз осколок мины сбил новенькую меховую шапку лейтенанта Бромберга, которой тот очень гордился.

Примеряясь к новым условиям, экипаж МПГУ вынужден был разработать новую тактику. Прибыв на место в сумеречный час, он заблаговременно размещал рупор где-нибудь в леске под защитой холмика или даже в окопе, тянул от него длинный провод, а сам с микрофоном устраивался поодаль и в стороне, в блиндаже или в глубокой траншее. Теперь передача шла под аккомпанемент густой пальбы, и ее можно было продолжать, покуда не перебьют провод. Потом, на досуге, пока в русской избе распевал Эрнст Буш, папаша Гофман, мастер на все руки, проверял провод и заклеивал медицинским пластырем пробоины на рупоре.

На одной из таких стоянок, когда над фронтом бродила совсем еще молодая весна, в дверь домика решительно постучали. Вошел невысокий плотный лейтенант с круглым лицом. Откозыряв, он снял шапку, поершил свои рыжие, коротко остриженные волосы и спросил, кто будет начальник установки. Потолковав о чем-то по-русски с лейтенантом Бромбергом, он подошел к Курту и на слишком чистом и правильном для настоящего немца языке спросил:

— Вы господин Рупперт? Ефрейтор егерского батальона альпийских стрелков «Эдельвейс»? Вы перешли на сторону Красной Армии одиннадцатого декабря минувшего года в районе деревни Малые Броды, недалеко от города Верхневолжска?

Курт, уже привыкший к дружеской простоте обращения, сразу насторожился: наверное, этот рыжий приехал неспроста. Вытянувшись, он ответил по-военному коротко:

— Так точно.

— В Верхневолжске вы были знакомы с советской гражданкой Евгенией Мюллер?

Так вот что их интересует! За всю свою работу на говорящей установке Курт никому, кроме папаши Гофма-

на, не рассказывал об этом знакомстве. Густав Гофман подтвердил: да, здесь очень обозлены против немцев и никому не прощают общения с солдатами противника. У девушки могут быть крупные неприятности. И Курт молчал. Но этот рыжий офицер задал вопрос в упор. Молчать было нельзя.

— С товарищем Женей? — переспросил Курт, бледнея. За стеклами очков часто-часто мигали его глаза.

— Возможно, вы называли ее и так... Она была ранена в ночь на шестое ноября. По нашим сведениям, вы оказали ей медицинскую помощь и доставили в санитарной машине на западную окраину города, в рабочее общежитие номер двадцать два.

«Как отвратителен этот его правильный немецкий язык! — думал Курт.— Слушать его так же противно, как пить дистиллированную воду...»

— Да, так было...

— Тогда, господин Рупперт, я прошу вас одеться, захватить личные вещи и следовать за мной.

«Господин»! Здесь никто к нему так не обращался. Это слово, как он знал, имеет тут враждебный или иронический оттенок. Курт растерянно посмотрел на лейтенанта Бромберга. Жизнерадостный начальник МПГУ был необычно серьезен и, казалось, даже встревожен.

— Да, да, поезжайте, товарищ Рупперт,— сказал он, напирая на слово «товарищ»,— я получил приказ.

И когда, уже одевшись, перекинув за плечо солдатский мешок со своими пожитками, Курт медленно проходил мимо своего начальника, тот незаметно пожал ему руку.

— Выше голову, старик, все идет правильно.

13

Была в характере Анны Калининой черта, которая не помогала, а скорее даже мешала ей в новой работе. Это способность самозабвенно увлечься каким-нибудь делом. Услышит она интересную мысль, сразу зажжется, тут же, на фабрике, подхватит под руку работниц — и ну расспрашивать: как, мол, вы насчет того-то и этого? Выслушает доводы «за» и «против», взвесит, посоветуется с тем, с другим из партийных активистов, потолкует со специалистами, и если уверится, что идея хорошая, дело стóящее, тут уж с ней лучше не спорь. Бесполезно. Пойдет напролом.

Так вышло и с огородами. Поддерживая энтузиазм, охвативший людей в горячий час борьбы с наводнением, Анна старалась ставить перед ними новые и новые цели. Сколько хороших дел сделано уже общими силами! Выскребли, вымыли, вычистили ткацкую. Фабричный двор вышли убирать не одни ткачи, а и ситцевики, прядильщики, машиностроители. Да как убрали-то! Весна, согнав снег, обнаружила страшную картину: ведь всю зиму не работала канализация. Надвинулась угроза эпидемий. А теперь вон он, двор, не хуже, чем до войны. Даже старый парк «залатали», посадив в нем новые, молоденькие деревца взамен повыломанных канонадой.

Наблюдая, как весело собираются, как дружно работают люди на субботниках, Анна радовалась особой, большой, творческой радостью. Теперь она мечтала бросить эту окрыляющую людей активность в дело, которое принесло бы пользу каждому.

По традиции бытовыми делами занимались профсоюзы. Председатель фабкома Настасья Нефедова организовывала запись желающих, строчила послания в Иваново, Серпухов, Шую, Орехово-Зуево на текстильные фабрики, не пострадавшие от оккупации, с просьбой помочь семенами, инструментом. И все-таки по размаху, который приобретала огородная кампания, по тому, сколько людей вокруг было приведено в движение, все угадывали, что за спиной неторопливой, рассудительной Нефедовой стоит страстный, нетерпеливый, деятельный секретарь парткома.

Но вышло так, что организационное собрание актива огородников, созванное фабкомом в помещении театра, пришлось открывать без Анны. В этот день она по путевке городского комитета уехала делать доклад в одну из военных частей, размещенных под городом. Первое слово Нефедова предоставила директору фабрики, и спокойный, любящий действовать осторожно Слесарев деликатно отверг самую идею вовлечь в огородное дело весь фабричный коллектив. Чего ради так широко размахиваться? Новая мысль? Нет. До войны тоже помаленьку огородничали. Сразу втянуть всю фабрику — это ведь легко сказать. А инструменты? А инвентарь? А семена? Для ограниченного количества огородников, вот хотя бы для тех, кто сидит в этом зале, все это можно наскрести. А если за лопаты возьмется весь коллектив? И, наконец, деньги. Для активистов и энтузиастов, которые уже записались, дирек-

ция деньги найдет. А для всех где взять? Директор не Иисус Христос, чтобы накормить толпу пятью хлебами.

Слесарев говорил убедительно, и председательница фабкома все время с тревогой смотрела в зал. Ей становилось ясно, что спокойные слова директора подействовали на многих.

Первые же выступления подтвердили это. Вопреки всему, о чем мечтали раньше, люди осторожно говорили: лучше начать с малого. Пошли в ход пословицы: «Семь раз отмерь — один отрежь», «По одежке протягивай ножки». Нефедова попробовала было повернуть ход прений, напомнив призыв инициативной группы «Все на огороды!», но Слесарев бросил с места:

— Не мешай, пусть говорят, что думают.— И прения потекли по проложенному им руслу.

Особенно плохо чувствовала себя председательница фабкома потому, что на собрании появился Северьянов. Он уселся меж кулис и, невидимый из зала, молча слушал. Нефедовой казалось, что она все время чувствует на себе его иронический взгляд. Ведь как они с Анной агитировали его поддержать широкий размах огородничества! Упрашивали подписывать письма насчет земли и семян, уверяли, что ткачи все до одного мечтают о грядках. Наверное, он и пришел, чтобы взвесить возможности этого дела, послушать, что будут говорить люди. И вот такой поворот.

Острого языка секретаря райкома в районе побаивались не меньше, чем партийных взысканий. Правда, механик Лужников довольно резко раскритиковал осторожную позицию директора, и кое-кто из выступавших поддержал первоначальный план. Но близорукие глаза Северьянова насмешливо щурились, и у председательницы собрания все беспокойнее становилось на душе.

Наконец все записавшиеся выступили. Участники собрания явно поустали. В зале слышался шумок. Над рядами поднимались паруса газет, когда Нефедова спросила, есть ли еще желающие говорить. В рядах дружно зашумели:

— Хватит! Довольно!

Но откуда-то из амфитеатра, терявшегося в полутьме, послышалось:

— Прошу слова.

Все оглянулись. Зал загудел. Одни кричали: «Все ясно, хватит!», другие: «Дайте, пусть человек скажет!» Нефедова решила, что таких больше.

— Что же, раз такова воля собрания, прошу товарища на трибуну. Как ваша фамилия?

— Калинина! — выкрикнул через зал женский голос.

Сразу наступила тишина. И вот уже, выйдя из полутьмы, Анна решительно шагала через зал по проходу. Подошла к барьеру, мгновение поколебавшись, подобрала юбку и вскочила на сцену. Ее встретил дружный, веселый шум. Кто-то попробовал зааплодировать, но она сердито отмахнулась рукой. Остановившись у рампы, она заговорила, будто продолжая уже начатую беседу:

— Вот тут говорил директор нашей фабрики Слесарев Василий Андреевич. Хороший он хозяйственник, и все мы его за это уважаем.— В зале стало так тихо, что слышалось, как кто-то уснувший похрапывает на галерке. Северьянов торопливо надевал очки, на лице председательницы появилось выражение облегчения. Сам Слесарев настороженно улыбался. А Анна подошла прямо к его стулу и, будто толкуя с ним один на один, продолжала: — Хороший ты мужик, Василий Андреевич, но есть у тебя недостаток. Знаешь, какой? Мой батя про таких людей говорит, что готовы они за пятачок в церкви... ну, скажем вежливо, воздух испортить.

На мгновение в большом зале настала неестественная тишина, потом весь он взорвался хохотом.

— Что? Что это значит? — крикнул Слесарев.

— А то значит, что больно уж ты, Василий Андреевич, скуп,— со спокойным доброжелательством пояснила Анна и, уставившись прямо в квадратное, вспыхнувшее краской лицо Слесарева, продолжала: — Значит это, что иной раз готов ты рублем поступиться, чтобы гривенник сэкономить...

— Это надо доказать.— Широко расставленные глаза Слесарева стали у́же, большие губы обиженно вздрагивали.

— Докажу,— продолжая улыбаться, сказала Анна.— Вот ты только что призывал тут огородное дело свернуть: помаленьку, потихоньку, попробуем, накопим опыт... Так? А из-за чего? Вот скажи людям начистоту. Ведь денег жалко? Так?

— Так у меня и нет столько денег! Военное время. Мы обязаны экономить каждую копейку.

— Хорошо,— доброжелательно согласилась Анна.— Ну, сэкономишь ты в директорском фонде столько-то там десятков тысяч. Отчитаешься. Финотдельцы тебя похвалят, где-нибудь в докладе в пример приведут... А подумал ты,

сколько государство на этом потеряет? У него обе руки войной заняты, у нашего государства. Не может оно сейчас народ досыта накормить. А огороды разве не подспорье к тощим нашим пайкам? Близорук ты, Василий Андреевич, становишься, дальше своей фабрики глаз твой перестает видеть.

— Так ведь я же не против огородов. Все здесь слыхали...

— И я слыхала. Ты говорил: для тех, кто здесь сидит, будет огород и денег у тебя хватит... А остальных, кого здесь нет, этих мы за что накажем? Как мы их заявления будем возвращать? С какими глазами?

— Так ведь они еще и не подавали эти заявления, товарищ Калинина,— прервал Слесарев, вставая и нервно одергивая пиджак.

— Подадут,— спокойно глядя на него, ответила Анна и спросила собрание: — Как вы думаете, товарищи?

Из зала донесся шум. Нефедова как встала, предоставляя Калининой слово, так и осталась стоять, с опаской посматривая то на улыбающегося секретаря парткома, то на директора, что теперь, сбычившись, сердито глядел на Анну.

— Подадут! Непременно! — кричали из зала.— А как же иначе, всем овощи нужны! Кто ж откажется!

— Ну, вот видишь, Василий Андреевич, оказывается, всем овощи нужны. И солнышко всем нужно, и свежий воздух... Ну, так как же, даешь ты денег?

Мгновение они смотрели друг другу в глаза. Потом Слесарев сердито схватил со стола свой портфель, стал торопливо вытряхивать оттуда какие-то бумаги.

— Вот он, наш баланс, в министерстве утвержденный, партией одобренный. Он вам, товарищ Калинина, известен, вы его видели... Вот, вот они, графы. Где я денег возьму? Ну?

Нефедова с опаской косилась на Анну. Нет, несмотря на сверкавшие глаза, на полыхавшие румянцем щеки, та отлично владела собой. Вот она улыбнулась, да так, что влажно сверкнули два ряда ровных белых зубов.

— Василий Андреевич, мы ж к тебе в сейф с отмычками не лезем, мы ж тебя просим: сам пошарь по разным там статьям, пусть твои бухгалтера по ним полазают... Сколько вот эти люди одним первомайским соревнованием в этот сейф положили! А субботниками! А походом за экономию! А рационализаторскими предложениями!

А сколько мы еще до конца года положим?.. Ведь положим, товарищи?

— Положим! За ткачами спасибо не пропадет.

И вдруг из-за кулис раздался голос Северьянова:

— А что, Василий Андреевич, такому народу можно, пожалуй, и на́ слово поверить. А? Как думаешь?

Собрание зашумело еще веселее. Слесарев некоторое время смотрел в зал, и видно было, как на острых его скулах шевелятся желваки.

— Да что вы меня, товарищи, тут уговариваете, будто я Кощей Бессмертный,— сказал он наконец, убирая в портфель бумаги, стараясь улыбнуться.— Я разве против? Я только...

— Деньги найдешь? — упрямо перебила его Анна.

Директор махнул рукой и все-таки выдавил на лице кривую улыбку.

— Поищем... Ну, найду, найду...

После такого заявления предложение инициативной группы приняли единогласно. Хотели было уже расходиться, но Анна опять шагнула к рампе, подняв руку:

— Стойте, минуточку... Фактическая справка.

Пришедший было в движение человеческий поток застыл между рядами, в проходах, в выходных дверях. Головы повернулись к сцене.

— Справка такого рода,— улыбаясь, кричала Анна.— Я должна заявить, что батина поговорка к Василию Андреевичу не подходит. Он это сейчас доказал, и я при всех при вас перед ним извиняюсь.

Дружный хохот прокатился по залу.

— Стойте, стойте, еще не все!.. И все мы теперь давайте ему скажем, что он совсем не Кощей Бессмертный, как он тут нам заявил, а хороший советский хозяйственник.

Она звонко захлопала в ладоши, и разом грохнули аплодисменты. Они были, как это принято писать в отчетах, «бурные, долго не смолкающие», и к этому можно еще, как это не принято отмечать, добавить — веселые и сердечные. Слесарев старался сохранить обиженный вид, но это ему не удалось. В конце концов он махнул рукой и засмеялся вместе со всеми.

— И демагог же ты, Анна! Ох, демагог! — ворчал он, когда они вместе выходили из президиума, и, обращаясь к Северьянову, развел руками: — А главное — рассер-

диться на нее как следует нельзя: хитрущая. Видал, как повернула?

— А тут и сердиться не на что,— ответил секретарь райкома, с трудом сдерживая улыбку.— Когда тебя в парикмахерской подстригут и освежат, разве ты, Василий Андреевич, сердишься? Ты ж спасибо говоришь.— И, обращаясь к Анне, он посоветовал: — Мотайте на всю катушку, вызывайте другие фабрики. Пойдет...

А потом, когда они в потоке людей, выливавшемся из дверей, вышли на улицу и после духоты зала окунулись в прохладу парка, где в темных кронах старых тополей взволнованно гомонили грачи, секретарь райкома взял секретаря парткома под руку.

— Помнишь, Анка, как мы тут комсой гуляли? — И запел дребезжащим своим тенорком: — «Под частым разрывом гремучих гранат отряд коммунаров сражался, под натиском белых наемных солдат...» — Но вдруг прервал песню и сказал тем деловым тоном, каким обычно говорил на бюро: — А знаешь, почему у вас сегодня чуть все под откос не полетело? Потому, что ты все сама стараешься сделать, никому не доверяешь, людей не растишь. Нет тебя — все теряются. Нефедова умная женщина и организатор неплохой, но вот привыкла твоей тенью быть. И видишь, к чему это чуть было не привело...

Ветка тополя низко нависла над полутемной аллеей, по которой они шли. Северьянов вдруг подпрыгнул, сорвал желтую клейкую почку, понюхал сам, дал понюхать Анне.

— Чуешь, как весна пахнет? — Но вдруг задумался. Две резкие вертикальные складки разом обозначились на его широком лбу.— Весна! Что-то она сулит?.. Опять он на юге наступает, и, видать, жарко там. Очень уж много похоронных последнее время пошло... Ах, Анна, до чего ж тяжко сейчас людям, и огороды-то ваши уж как кстати!

Но, как всегда, человек этот приоткрывал свою душу лишь на мгновение. Оглянувшись, Анна увидела уже на полном лице спутника насмешливое, мальчишеское выражение.

— Ну, Анка, нá пять и давай скорей прощаться, а то ведь у нас быстро смастерят версию, что Северьянов с красивенькими бабешками по паркам разгуливает. — И, уже пожав Анне руку, он серьезно добавил: — А ты все-таки подумай, верхом на своем «я» на партийной работе далеко не ускачешь. Учти.

14

В один из тех теплых, погожих апрельских вечеров, когда закат на горизонте полыхает так, что все вокруг приобретает пестрые тона, по лестнице, ведущей в «терем-теремок», поднимался Степан Михайлович Калинин. Был он одет по-летнему, в кепке да в пиджаке, но двигался медленно, будто бы на нем была тяжелая шуба. Подойдя к знакомой, обитой дерматином двери, остановился, постоял, вздохнул и только после этого постучал.

Дверь отпер Вовка. Раздался радостный визг, и вот уже, вися на шее у него, мальчонка торжественно выкрикнул во весь свой щербатый рот:

— Дедушка! Дедушка пришел!

Так с внуком на шее, еще более смущенный, Степан Михайлович и вошел в прихожую, где тотчас же к нему прильнули еще две головы — черненькая — Лены и соломенная — Ростика.

— Калым, давай калым! — шумели все трое.

— Руки-то вы мне опростайте! Как же я вам гостинцы достану? — посмеивался старик. Но ребята сами шарили по его карманам и извлекали из них три толстенькие розовые морковки с мышиными хвостиками на конце.

— Вкуснота! — заявил Вовка, стараясь за отсутствием передних зубов укусить добычу боковыми.

— Эх, ребята, ребята, разве это гостинцы? То ли дед вам перед войной-то нáшивал! — улыбался старик.

Но ядреная морковка так вкусно хрустела на зубах, что ясно было, что нехитрый этот дар, который он выменял на базаре на спички, принят с энтузиазмом и, пожалуй, даже плитка лучшего довоенного шоколада или кулек с апельсинами не доставили бы бóльшего удовольствия. И все-таки светло-голубые глаза старика глядели беспокойно, и чуткий Вовка, не без основания считавший себя первым приятелем деда, тотчас же спросил с безжалостной детской прямотой:

— Дедушка, ты чего сегодня какой-то не такой?

— Вот тебе и раз, не такой! Самый что ни на есть такой,— ответил дед, не сумев спрятать смущения.— Ты лучше скажи: мать-то дома?

— На собрании. Они все о коллективных огородах там спорятся. Задержусь, сказала. И велела мне ужин приготовить и этого спать положить,— пояснила Лена.

— Очень надо меня положить! Что я, сам не лягу? обиделся Вовка.

— А твой батя тут? — спросил старик Ростика.

— В магазин потопал — сегодня его очередь.

Степану Михайловичу нравились отношения Арсения с названым сыном: я работаю, ты учишься — каждый делает свое дело. Комнату убирать, в магазин, на рынок ходить — по очереди. А такие трудные для мужчин дела, как стирка или воскресное печение пирогов в случае, если на карточки вместо хлеба удавалось получить мучки,— это уже делалось сообща. Как раз в этот момент в замке заскрежетал ключ и вошел Куров. Под мышлой он держал буханку хлеба и победно поднимал в руке банку свиной тушенки.

— Ну, Росток, куда тебе до меня! Гляди, что по комбижировским талонам получил... Здорово, Михалыч. Что давно не видно? Совсем внуков позабыл.

— Э, внуков... Я и свою старуху-то теперь редко вижу. Втравили меня наши ситцевики в эти огороды, во все языками и треплем: индивидуально — коллективно, стрижено — брито... А время уходит. Все хозяйство дома запустил.

— Да ты входи, входи к нам, что тут, в коридоре-то! — Арсений пропустил старика в свою комнату.— Ну, доспорились?

— Доспорились,— ответил Степан Михайлович, вешая кепку на гвоздь.— Спасибо Серега Северьянов поддержал. «Наше, говорит, дело — дать ситцевикам землю, а пусть хозяйничают как знают». Секретарь райкома поддержал, а домашнее-то мое начальство грызет: и родимое-то я пятно, и пережиток, и какой-то там еще хвостист... Ей ведь, матке-то нашей, не овощи, ей принципы нужны.

Старик с интересом оглядывал комнату.

— А у тебя тут полная реконструкция.

Тесное жилье Арсения Курова неузнаваемо преобразилось. Что-то было вынесено, в углу у окна появился маленький, ловко сделанный из серых, оторванных, по-видимому, от кузова какой-то трофейной машины досок верстачок с тисками и наковаленкой, с инструментальными полочками, в гнездах которых в величайшем порядке выстроились по ранжиру напильники, зубила, сверла, бородки и прочий слесарный инструмент.

— Э, брат Арсений, и ты за зажигалки взялся! — сказал старик, с некоторой даже завистью оглядывая его

хозяйство.— Ох, матку вашу бы сюда, она б с тебя сняла стружку! Я было тут маленько зимой попробовал по вечерам зажигальничать — на рынке на мясо, на масло, на хлеб менял,— так моя меня так разбомбила: «Жить с тобой не буду, к дочерям уйду» — и инструмент куда-то засовала.

— Строга, строга мамаша... Только меня-то бомбить ей не за что. Мальчонке это я, очень способный до ремесла мальчонка, просто талант. Сам требует, чтоб я его после школы слесарному делу учил.— Арсений набил свою трубочку-кукиш, закурил и, попыхивая, включил электрочайник, поставил на стол две большие чашки, сахарницу, нарезал хлеб.— Выговор я за него на заводе схлопотал. Может, и поделом. В школу теперь вместе с Ленкой бегает, учится, а к металлу его все тянет. И смышленый: раз скажешь, другой покажешь — он уже и делает. Вот и соорудил для него гигант индустрии да, как сеттер щенка, и натаскиваю... Ксения не одобряет. Не старое, мол, время, ребенок детство иметь должен, вырастет — наработается.

— Ксения-то скоро придет?

— Не знаю. Редко мы ее видим. Она теперь с работы прямо в госпиталь. Возвращается, а у нас уж сонное царство. Юнона ворчит: в комнате не прибрано, каша пригорела, постирать некому.— И, подняв чайник, он спросил, явно чтобы кончить этот разговор: — Тебе покрепче?

— Да уж давай самый черный, за цвет лица не боюсь,— попросил Степан Михайлович и разложил на коленях рушник, поданный ему Арсением.— Ты вот с детства натаскиваешь, и правильно. Вон Холодов Савва Лукич, фабрикант бывший наш, большой миллионщик был, а как единственного сына воспитывал? Послал его в ремесленную школу, потом в институт, а потом оттуда прямо на фабрику, да не на свою, а к Хлудову, к свату своему. И, думаешь, в начальство? Нет, в ткацкую за подмастерья — лбом себе дорогу пробивай. Мало того, наказал свату, чтобы поблажек от него сыну не было, чтобы с него, как с прочих, спрашивали. Вот и вкалывал фабрикантов сынок... Налей-ка еще, ох, хорош чай!.. Ты запомни, Куров: чай — он только со второй заварки в силу входит... Да, через все трубы этот Холодов своего сына протянул. И когда только тот, по-теперешнему говоря, в начальники цеха выскребся, он его по праву руку от себя

посадил... Кровосос был, сквернослов, бабник, а в уме ему не откажешь. А Ксения сама труженица из тружениц, а девка у нее рубахи себе не постирает, чулок не заштопает. Не одобряю... Марат — тот не такой был... Эх, Марат, Марат, из головы он у меня не идет... Ну, а Ксения как, заживает у нее?

Арсений будто не расслышал вопроса, только трубка его засипела чаще. Встал, налил старику еще чашку, долил чайник, включил его в сеть, прислушался. В прихожей возились, шумели ребятишки. Вовка, захлебываясь, кричал: «Отдай, отдай!» — «Ты допрыгни. Трусишь? А еще парашютистом хочешь быть!» — подзадоривал Ростик. Лена солидно выговаривала: «Ты маленького не дразни, незачем ему нервы портить». Будто музыку слушал Арсений этот шум.

— Нет, Михалыч, такие раны быстро не подживают,— сказал он наконец.— Все ничего, ничего, а потом как замозжит, точно ревматизм к погоде.

На минутку в комнату забежал Ростик, схватил что-то и было выбежал в коридор, но сильная рука Арсения перехватила его.

— Чаю попей, сынок.

— Не, папа, потом. Мы играем. Ленка водит.

— А уроки? — Голос Арсения зазвучал строго.

— Сегодня мало задали, успею.

— А что я тебе всегда говорю?

Подвижное, пестрое, как кукушкино яйцо, личико мальчика каким-то непостижимым образом вдруг стало неподвижным, в фигуре появилась добродушная тяжелина, он поднес к губам сложенные в горсть пальцы, зачмокал, будто куря трубку, и вдруг, несмотря на полнейшее внешнее различие, стал удивительно похожим на своего названого отца. Медлительно, ворочая слова, как куски чугуна, он сказал:

— Дело прежде всего.— И, засмеявшись, исчез.

Мгновенное преображение было таким неожиданным, что у Степана Михайловича от смеха выступили слезы.

— Вот клоун, будь тебе пусто! Не слесарем, артистом он у тебя вырастет, Арсений Иванович.

Сохраняя неподвижное выражение лица, только что так ловко изображенное мальчиком, Арсений посасывал трубку. Лишь черные глаза его довольно светились из-под кустистых седеющих бровей.

— А по мне все едино — слесарем так слесарем, артистом так артистом,— лишь бы мастером своего дела... Дай я тебе свеженького налью.

— Да вроде хватит, шестая уж чашка,— заявил Степан Михайлович, вытирая рушником вспотевшую шею.

— А кто за тобой считает? Пей. Мы с Ростиком плохие чаепивцы. Вон две восьмушки еще с прошлого пайка лежат непочатые.

Степан Михайлович пил, наслаждаясь, как пивали в старые времена по праздникам, когда чай был роскошью, обитатели холодовских общежитий. Он наливал в блюдечко и неторопливо, с шумом схлебывал, откусывая маленькие крошки сахара своими еще крепкими зубами. Даже перед войной, когда магазины были полны и у Калининых не было никаких причин наводить экономию, одного куска хватало ему на несколько чашек. Пить внакладку, как пили остальные домашние, он считал поруганием самого процесса чаепития. «Все равно что воду дуть из крана»,— говаривал он.

Но едва на этот раз старик наполнил блюдце из шестой по счету чашки, в прихожей послышалось скрежетание ключа, хлопнула дверь и прозвучали чьи-то шаги. Старик поставил блюдце и положил возле изгрызенный кусочек сахара.

— Анна? — шепотом спросил он, как-то разом потеряв свою неторопливую осанистость.

— Юнона. А ты, Михалыч, что-то вроде испугался.

Арсений уже догадывался, что старик пришел неспроста: слишком уж он сегодня разговорчив, да и чай пил, будто бы желая оттянуть какое-то неприятное дело.

— Да знаешь ты... Понимаешь, дело какое,— мучительно замямлил Степан Михайлович и вдруг отчаянно, как когда-то в давние, дореволюционные годы прыгал на крещенских водосвятьях в прорубь — иордань, бухнул: — Жорка Аннин снова заявился. У нас сидит. Понимаешь, положение...

Арсений пыхал трубкой. Пуще всего не любил он лезть в чужие дела, особенно в такие щекотливые. Старик это знал, но, начав томительный разговор, уже не мог остановиться.

— Завалился вчера: «Здравствуйте, батя». Время вечернее, ему деваться некуда, на улицу не выгонишь. Я ему: ладно, мол, пришел, так ночуй. Матка за весь вечер слова ему не сказала, будто его и не было совсем. А сегодня

пошла с Галкой на фабрику и даже мне «прощай» не вымолвила... Понимаешь, Арся, насчет детей он. Анна ведь как ему определила: «Нет у тебя детей, забудь о них, и видеться тебе с ними незачем...» А ведь его тоже понять надо — отец. У коршуна за коршуненка и то сердце болит... Что, не так?

Арсений молчал. Трубка сопела часто-часто. По комнате задумчивым хороводом ходили облака сизого дыма.

— Да не копти ты, бога ради, у меня аж глаза слезят!.. Вот и прибыл я, Арся, сюда, как дипломат Чичерин, переговоры вести.— И, заискивающе смотря на собеседника, старик спросил:— Ну что ты молчишь, Арся, а?

Арсений вынул изо рта трубку, взял ее за чубук и поднес к носу старика. Кукиш был вырезан довольно отчетливо и даже не без изящества, но смущенный Степан Михайлович не сразу понял значение этого жеста.

— Ты что мне топку свою в нос тычешь?

— Не тебе, а ему, Жорке... Вот это самое ему показать надо. Я б на месте мамаши не только б с ним не разговаривал, я б его метлой поганой по бесстыжей роже, сукиного сына.

— Уж больно ты строг, Арсений Иванович,— тоскливо вздохнул старик.

— А я на то право имею. Я по две смены вкалываю, я досыта не ем, мне не из чего вот мальчишке пальто справить... И это не для того, чтоб он, паразит, там в штабе бабничал. На гребешке таких давить надо! Анна ему плоха... Анна!.. Да Анна... Э, да что там!..

Арсений вскочил с табурета и зашагал по комнате, как-то очень ловко пронося свое большое тело в узком прогалке между столом и верстачком. Странно, даже жутко было видеть метание этого грузного человека.

— Так Анна ж говорит, что она сама его выгнала. Даже чемодан вон выбросила... Ну разве так можно? Больше десяти лет прожили, могли и по-хорошему потолковать. Может, все и умялось бы. Дети же, хоть ради б детей!.. Беда — маткин у нее характер.

— Ничего ты, Михалыч, не понимаешь...— с досадой начал было Арсений, но покраснел, смолк и лишь добавил угрюмо: — Семейные это ваши дела, сами в них и разбирайтесь.

— Что ж, оно так,— сказал старик, поднимаясь.— Хотя будто и ты нам не чужой. Ну, да уж что там... За чай, за сахар спасибо. Пойду. Злые вы какие-то все стали.

— Да добрым-то вроде и не с чего быть,— сказал Арсений, беря себя в руки.— Ты уж прости, Михалыч, что против шерсти погладил. Что-то не по себе сегодня.

Вдруг он насторожился. Из прихожей снова донесся скрежет ключа. Послышались стремительные, упругие шаги, потом детская возня. Хмурое лицо Арсения смягчилось, от глаз разбежались лучики морщин.

— Вот это Анна,— сказал он, пряча в пышных седеющих усах конфузливую улыбку.— У нее походка-то как у Марии покойной, ни с кем не спутаешь...

И действительно, звучный голос выговаривал сквозь смех:

— Вовка, безобразник, всю щеку облизал... Ну как вы тут без меня? Ученики, как уроки? Не садились.... Ай-яй-яй!

Вовкин голос спросил:

— А как у тебя вышли там твои огороды?

— Ух ты мой хороший! Огороды... Все мамкины заботы помнит, мужичок ты мой единственный! Вышли, вышли, еще как вышли-то, с барабанным боем! Ну, кормите маму, а то я вас самих съем.

— Я уж щей тебе налила. У нас сегодня свежие, из кислицы,— донесся издалека, из кухни, голос Лены.

— Пришла,— сказал Арсений и, повернувшись к растерянно стоявшему у двери старику, насмешливо добавил: — Ну, ступай, начинай мирные переговоры.

15

Как и всегда, Галка отправилась на работу вместе с бабушкой. Но когда та задержалась на минуточку с кем-то из бесчисленных своих знакомых, молодая ткачиха, воровато оглянувшись, быстренько скрылась в проулке. Что там греха таить, девица эта, весьма ценившая свою самостоятельность, еще побаивалась строгой бабушки. А сегодня Варвара Алексеевна была «злая, как черт». Она простить себе не могла, что, поддавшись на уговоры мужа, оставила ночевать в своем жилье человека, которого не уважала и которого не за что было уважать.

Хотя стены в старых общежитиях массивные, есть у них особое, давно известное старожилам свойство: они словно просвечивают, и соседи быстро узнают любое происшествие, случившееся в той или другой комнате, как

бы обитатели ни старались его скрыть. И Варвара Алексеевна живо представляла, как вечером на кухне будет обсуждаться актуальный вопрос: не хотят ли старики Калинины снова привадить своего беглого зятя? Теперь, когда у большинства обитательниц общежития мужья на фронте, а некоторые стали вдовами, когда всем приходится нести тяготы нелегкого одинокого существования и жить от письма к письму, в постоянной тревоге за близких, все стали особенно щепетильны в вопросах морали. «Баловства» по амурной части тут вообще не прощали, а уж поступка Георгия Узорова не забудут во веки веков.

Вот почему Варвара Алексеевна шла на работу в скверном настроении, отвечая на поклоны встречных коротким словом «здравствуйте».

Галка смотрела на дело проще: тетя Анна выставила дядю Жору, и правильно поступила. Так ему, бесстыднику, и надо. И чего тут переживать? Разумеется, сформулировать этот вывод перед бабушкой внучка не посмела, и чтобы лишнее слово случайно не сорвалось с языка, что, увы, частенько случалось, она почла за благо удрать и продолжать путь одна.

Были и еще два существенных повода для размышлений. Одним из них было, разумеется, очередное письмо старшего сержанта Лебедева. Над ним надо было хорошенько подумать. Ведь все-таки оказалось, можно влюбиться, так сказать, по почте, зная человека лишь по фотографии. Получилась, как говорила Галка, «сложная ситуация». Как быть?.. Иные из девчат, что работают с Галкой на молодежном участке, ходят на танцы в «огрызок», как называется в просторечье единственный зал, что чудом уцелел от анфилады больших и малых комнат сожженного клуба «Текстильщик». По будним дням здесь вечером крутится радиола. По праздникам играет оркестр. Девчата самозабвенно танцуют. Потом кавалеры из стоявшего неподалеку запасного полка провожают своих дам домой, говорят им всякие хорошие слова, мечтают о том, как встретятся после войны, и, как это точно известно Галке, целуются, стоя в тени полуразрушенных стен. Что ж, неплохо, когда любимый налицо, даже в том случае, если у него увольнительная только до девяти вечера. Но их пример не годился. Сержант Лебедев на фронте.

Бывало и по-другому. У Галкиной подружки Зины Кокиной роман был иного рода. Эта умная, работящая, но

некрасивая девушка полюбила мастера молодежного участка Хасбулатова. Любила тихо, про себя, больше всего, кажется, боясь, чтобы кто-нибудь из посторонних, и особенно сам мастер, не догадался об этом. Тут уж вовсе нечему было учиться. Любовь, состоящую из сплошной жертвы, Галка не понимала.

Попробовала Галка обратиться за советом к любимым героям художественной литературы. Но и тут ничего не вышло: никто из них не любил заочно. Наташа Ростова не хуже Галкиных подружек с ткацкой танцевала с Борисом Друбецким и Андреем Болконским, Татьяна Ларина, прежде чем обратиться к переписке, имела полную возможность налюбоваться своим Онегиным. Даже романтическая Джемма из «Овода», которая очень нравилась Галке, и та хоть изредка встречала своего беспокойного, мятущегося Артура. Любила через письма лишь юная героиня «Бедных людей» своего несчастного Макара Девушкина. Но печальная их любовь для активной, предприимчивой ткачихи совершенно не подходила: вздыхать, жаловаться на злодейку судьбу, тихо проливать слезы... Нет уж, извините-подвиньтесь...

И вот теперь в кармане кротового полусачка похрустывает новое, только что полученное письмо, в котором, как говорится, сержант Лебедев ставит вопрос на попа: «Согласна ли ты, милая Галка, после того, как мы разгромим проклятых гитлеровских оккупантов, очистим от них нашу священную землю и возьмем фашистскую столицу Берлин, стать моей возлюбленной женой?» Женой! От этого слова у Галки пересыхало во рту. Дед, которому она обычно читает письма, определил, что, судя по всему, храбрый сержант воюет где-то недалеко, на Верхневолжском фронте. У старика была старая карта, на которой он со старательностью начальника штаба отмечал по сводкам Совинформбюро линию фронта. По карте выходило — от Москвы до сержанта Лебедева рукой подать, а от сержанта Лебедева до Берлина далековато.

Дед обратил на это внимание внучки, но разъяснил, что, по старым обычаям, после такого письма, пока сержант Лебедев будет с боем пробиваться к немецкой столице, Галка, если хочет, может называть себя его невестой. Это-то ее и смутило. Ждать взятия Берлина она была, разумеется, согласна. А вот можно ли числиться невестой человека, которого она в глаза не видела? Такова была «сложная ситуация», над которой раздумывала де-

вушка, торопливо шагая в потоке смены, густевшем и уплотнявшемся по мере приближения к фабрике.

Была у нее и еще забота. Вчера на красном полотнище, висевшем над входом на фабрику, с которого теперь на ткачей всегда смотрело самое важное, она прочла: «Экономя сырье, помогай фронту!» Из домашних разговоров девушка знала, что, досрочно выполнив предмайские обязательства, наткав много сверхпланового материала, ткачи в некотором роде сели на мель. Хлопок распределялся между фабриками строго в обрез. Развив темпы, ткачи пустили в дело запасы, отпущенные на следующий квартал. Теперь по коридорам, по раздевалкам, в курилке только и разговоров было: сырья не хватит, или фабрику приостановят, или кое-кого временно выведут с основного производства на подсобные работы.

Галка всполошилась: этого только не хватало! За себя она не боялась. Она знала: ткачиха она хорошая, и после того, как отличилась во время наводнения, вряд ли решатся ее тронуть. Но вот девчата из ее молодежной фронтовой бригады — другое дело. В случае чего кому, как не этим одиноким девушкам, к тому же лишь недавно ставшим к станкам, «гудеть с фабрики». Мучимая этой мыслью, Галка вчера, улучив время, заскочила в кабинетик невольного покорителя сердец мастера Хасбулатова и принялась терзать его вопросами.

— Дорогой товарищ Мюллер,— вежливо ответил мастер, втайне слегка побаивавшийся этой хорошенькой шумной ткачихи, находившейся в родстве с секретарем партбюро и доводившейся внучкой самой Варваре Алексеевне,— делается все возможное, чтобы этого не произошло. Но хлопок, как вам известно, дефицитное сырье, использующееся и в оборонной промышленности. Понимаете? Это сырье на полу не валяется, а сейчас война.

Черные брови мастера многозначительно шевельнулись и сошлись у переносицы.

— Хотя надо признать, что у многих девочек из вашей бригады это сырье еще валяется и под ногами,— сказал мастер назидательно, но спохватился: — Нет, нет, я не говорю лично о вас, товарищ Мюллер. Но согласитесь, что некоторые ленятся нагнуться и затаптывают срыв в угар. Кажется, мелочь, а если посчитать в масштабе фабрики, сколько это будет? — Черные брови вновь многозначительно зашевелились.— Кипы... Десятки, может быть, сотни кип...

— Сотни кип? — вдруг радостно переспросила Галка, хотя, как справедливо полагал серьезный мастер, радоваться тут было вовсе нечему.— Сотни кип? Нет, вы серьезно? Сотни? Уж честное комсомольское?.. Вот здорово-то!

И Галка исчезла из застекленного кабинетика, ослепив мастера сверканием своих тугих икр. Хасбулатов, вздохнув, покачал головой. Он недавно прибыл из института и, хотя успел зарекомендовать себя неплохим специалистом, в людях разбираться еще не умел. А ткачиха Мюллер, очень нравившаяся ему, так сказать, в личном плане, была слишком известна бойким нравом и язычком, острым, как нож, которым срезают основы. «И почему она так обрадовалась? Странная, очень странная девушка».

Загадочное поведение бригадира комсомольской фронтовой бригады Галины Мюллер объяснялось вот чем. Вернувшись на производство после освобождения города, Варвара Алексеевна, обучая молодежь, стремилась передать ученицам не только свое действительно редкое мастерство, но и приобщить их к традициям своей фабрики. А это было посложнее, чем научить их делать у станка то-то и так-то. Девушкам предписывалось, например, строжайше следить за чистотой не только станков, рабочего места, но и собственной одежды, собственных рук. Старуха хотела, чтобы, по примеру коренных ткачей, девушки завели по шесть ситцевых кофт и косынок и каждый день надевали на работу свежие. В военное время требовать этого от всех было нельзя, и она заставляла девушек стирать кофты каждый день, строго выговаривала за каждое пятнышко. Но особенно старалась старая ткачиха внушить ученицам, что фабрика их собственная, что работают они на самих себя, что любое фабричное достижение — их прибыль, любой ущерб — их убыток. «Вы, козы, думайте не только о своих станочках. Все вокруг ваше, вы хозяйки, и до всего вам дело, всюду свой нос суйте».

Галка жадно впитывала эти бабкины поучения, и вот теперь, узнав из случайного разговора, сколько хлопка гибнет в угарах, она поразилась. В неугомонной ее голове, как написал о ней когда-то очеркист, «бурно забил ключ инициативы». Сотни кип — ведь это подумать! И по одной их фабрике. А по трем фабрикам города? А по стране? Да из того, что безвозвратно гибнет в рвани и угарах, можно столько наткать — целую армию оденешь! Вот сговориться бы с девчонками из непобедимой гвардейской

фронтовой бригады каждую ниточку подбирать. Подбирать день, другой, третий. Потом все сложить вместе и взвесить. Вычислить, сколько сэкономили, сколько можно сэкономить в месяц, в год, и трахнуть обязательство: мол, всей бригадой сэкономим столько, что целый полк оденем. И письмо в областную газету или нет, лучше в «Комсомольскую правду», чтоб Юнонка позеленела от зависти.

Чем больше Галка думала, тем больше утверждалась в мысли, что это, как любила говаривать по такому поводу бабушка, государственное дело. Она так увлеклась, что даже роман «Анна Каренина», из которого она несколько дней с увлечением вычитывала все любовные места, потерял для нее известную долю притягательности, и страдания красавицы Карениной, в которую Галка влюбилась с первых страниц, и блистательный Вронский, и этот сухарь Алексей Александрович, напоминавший ей чем-то директора фабрики Слесарева,— все они в этот вечер были оттеснены на второй план кипами хлопка, которые можно сэкономить простейшим способом, не требовавшим никаких затрат.

И вот теперь, удрав от Варвары Алексеевны, Галка обдумала план действий. Ни слова никому не говоря, она подобьет на это дело Зину Кокину. Вдвоем они будут собирать каждую ниточку, каждую пушинку и после смены складывать в одно место. Явившись на фабрику, подвязав поверх пестрого платьица фартук с большим карманом, упрятав свои кудри под свежей косынкой, она в раздевалке страстно пошепталась с верной подружкой Зиной. В цех она явилась серьезная, значительная, каким, по ее мнению, и полагалось быть человеку, обдумывающему государственные дела, церемонно поклонилась мастеру Хасбулатову и прошла мимо, даже не сделав ему глазки. Но как только один за другим загрохотали ее станки, Галка позабыла обо всем. Родная стихия захватила девушку, и когда через час Хасбулатов, обходя комплект, спросил, наклоняясь: «Как сегодня идут дела, товарищ Мюллер?» — она только показала ему на свои станки, но все-таки, не вытерпев, подмигнула, и стройные ножки ее отстукали по асфальтовому полу лихое чечеточное коленце.

Теперь она верила, что новая затея, несомненно, удастся. Единственное, чего ей хотелось в эту минуту,— это чтобы какая-нибудь добрая сила принесла сюда с далекого фронта сержанта Лебедева И. С. и чтобы он хоть краем глаза увидел бы здесь, на фабрике, свою невесту.

16

Исстари повелось, что люди, желая сообщить поделикатнее что-нибудь тяжелое, всегда причиняют лишнюю боль тем, кого они хотят уберечь. Так вышло и с миссией Степана Михайловича.

Он вошел в кухню, когда Анна, уставившись в газету, торопливо доедала щи.

— Хлеб да соль,— сказал старик, останавливаясь в дверях.

Анна, вздрогнув, подняла на него обрадованные глаза.

— Батя! Ты здесь?

— Да уж давно. С Арсением вот чаи гоняли. Неужто тебе они не сказали?

Ребята, все трое, стояли у плиты, неловко переглядываясь.

— Мы хотели, чтоб мама сперва поела, тут только ее доля осталась,— пояснил Вовка и сейчас же получил гневный взгляд от матери и «дурака» от сестры.

— Садись, садись, батя, картошки целый котелок. Обоим хватит.

«Не целый, а только на донышке»,— подумал Вовка, но от уточнения воздержался. Дед поспешил заявить, что сыт, и для убедительности показал рукой, что именно сыт по горло.

— Эх вы, болтушки! — сказала Анна ребятам. Потом по-братски разделила картошку, сдобрила постным маслом и заставила старика сесть за стол.— Вот бы сюда, батя, твоего лучку, царская получилась бы еда... Лучок! А какое дело с него началось, а? Северьянов уж на что насмешник, а и тот намедни сказал: «Двенадцать — ноль в пользу ткацкой...» Машиностроители вчера подхватили. Им хорошо, мужчин много. Кругом завода пустыри, свои тракторы имеются... Ну ничего, пойду завтра к военным, посмеюсь, поплачу, и нам помогут... Вот, батя, с посевным материалом плохо, особенно с картошкой. Семена орехово-зуевцы обещали прислать, а картошки нет нигде, и никто не обещает. В госпиталях, Владим Владимыч говорил, и то сушеную варить начали.

Вся увлеченная заботами, Анна машинально очистила тарелку. Степан Михайлович, наоборот, ел со вкусом: подденет на вилку кусок рассыпчатой, крупитчато поблескивающей картошки, чуть-чуть макнет в масло, в соль, отправит в рот и только слушает. Анна с детства знала эту его

привычку есть молча и помнила все пословицы, которые он приводил в поучение детям. Рассказывая о своем, она не требовала мнения собеседника. Только когда Степан Михайлович доел, вытер куском хлеба масло с тарелки и, слегка посолив, отправил в рот и его, она спросила:

— А вы, ситцевики, как решили? Все вместе или порознь?

— Уж узнала... Выходит по пословице: «Хорошая слава в коробочке лежит, а дурная по дорожке бежит»,— усмехаясь, сказал старик.— Наверное, мать намолола, старая мельница... Так вот я тебе наперед скажу; что бы там твоя мать ни говорила, на огородах мы вас побьем. Урожай урожаем, а дело не только в нем. Дело в отдыхе, а отдыхать человеку на своем кусочке земли, будь он и вовсе в ладонь, все получше.

Анна любила отца за его житейскую мудрость. Но сегодня она была согласна с матерью. Вместе радовались они, что ткачи почти без споров решили хозяйничать сообща. Что-то вспомнив, она вдруг рассмеялась.

— Ты что? — настороженно спросил старик.

— Да вот мамаша говорит, что одна нога у тебя, батя, в социализм шагнула, а другая еще в капитализме завязла.

— Во-во, и ты за ней. Яблочко от яблони далеко не укатится... А я вот вас сейчас обеих одним примером прихлопну. Ты говоришь, картошки у вас на посев нет? Так? А у ситцевиков будет. Слыхала? И Москву пустяками беспокоить не станем. Не до картошки ей сейчас, Москве.

— Как же вы так устроились? — заинтересовалась Анна.— Кто ж вам дает?

— А мы ни у кого не просим, а вот... Сейчас я тебе покажу.— Старик полез во внутренний карман пиджака, достал оттуда пухлую записную книжку, которую Анна помнила еще с детских лет, вынул оттуда сложенный вдвое листок отрывного календаря и, протянув его дочери, победно погладил усы.

Это была крохотная статейка «Совет огородникам», который давал известный ученый. В эту трудную военную весну он рекомендовал, используя клубни в пищу, срезать для посадки картофельные очистки с глазками. Давался совет, как срезать, как эти глазки хранить, как прорастить их еще до посева.

— Видишь? — Дед приподнял пустой котелок.— Вот, выходит, мы сейчас кустов десять картошки съели. Я глазки подсчитал.

— Да-а-а! — задумчиво сказала Анна.— А почему мы это не можем? Знаешь, завтра же дадим девчатам в столовую команду.

— Они тебе к севу помои и соберут. Где же это видано — в столовых очистки хранить? Да такую уйму... Вот свое я для себя сохраню: каждую штучку перебирать стану, на окошке разложу прорастать... Словом, посмотрим, дочка, цыплят по осени считают...

Заметочка в календаре подсказывала выход. Имя автора известно, ему нельзя не верить. Однако в словах старика была своя логика. Как накопишь и сохранишь такую массу нежнейших глазков? Но Анна с тех пор, как носила красный галстук и пела пионерские песни, познала могучую силу коллективизма. Нет, черт возьми, они докажут этому старому упрямцу, что и в таком тонком и сложном деле коллектив может победить!

— Дайте мне на денек этот листок. Мы в многотиражке перепечатаем.

— Дать-то я тебе дам, только в случае неудачи мать на меня не натравливать.

— Честное пионерское...

— Нет, нет, всерьез. Она мне и так огородной дискуссией плешь проела.

Анна развеселилась. С довольным видом покосилась на себя в зеркало, поправила узел волос и, лукаво посматривая в сторону отца, замурлыкала себе под нос: «Эх, валенки, валенки, да не подшиты, стареньки...» Давняя фабричная эта песня почему-то напомнила Степану Михайловичу про тягостную миссию, которую он совсем было забыл за разговором. Старик стих, погрустнел и вдруг с тем же отчаянным выражением, как давеча Арсению, бухнул:

— А у нас знаешь кто сидит?

Анна сразу догадалась. Она вздрогнула, глаза ее расширились, и на лице появилось на мгновение мучительное выражение, какое бывает у бегунов, вынужденных внезапно остановиться на середине дистанции. Она оглянулась на Лену, принявшуюся мыть посуду, на Ростика и Вовку, помогавших ей.

— Марш отсюда, потом доделаете!

Но ребята и сами уже поняли, о ком речь, и, как-то сразу присмирев, вышли из кухни и даже плотно закрыли

за собой дверь. От этой ребячьей чуткости Анне стало еще тяжелее.

— Ну? — спросила она, и глаза ее еще больше расширились.

— С ребятами повидаться хочет,— с трудом выговорил Степан Михайлович.— Верно, Анна, муж и жена — одна сатана, а дети при чем? Отец он им или не отец?

— Все сказал?

— Да чего же тут еще?

— Так вот, слушай,— будто диктуя, медленно заговорила Анна, и старик поразился, как голос ее вдруг стал похожим на голос матери.— Он им был отец. Был, понимаешь, был? У ребят это ведь и до сих пор кровоточит. Так неужели для того, чтобы ему часок себя потешить, я позволю снова бередить их раны? — Но вдруг, передумав, закончила: — Впрочем, пусть сами решат. Ясно?

— Ты им все рассказала?

Анна тяжело дышала. Высокая грудь ее так и вздымалась под тесной вязаной кофточкой. Даже ноздри вздрагивали.

— Как же я могла не рассказать? Они сами его портрет со стены сняли. Вовка вон даже денежный перевод разорвал.

— Мать, вылитая мать... протопоп Аввакум,— сокрушенно проговорил старик.

— Что ж, и этим горжусь... А детей сам спрашивай. Неволить их не буду: захотят — пойдут, не захотят — не пойдут... Елена, Владимир, сюда!

Оглушенный этой спокойной безжалостностью дочери, старик даже не удивился, когда в дверях сразу появились внуки. Лицо Анны, только что пылавшее гневом, сразу изменилось, стало почти безмятежным, разгладились на лбу суровые морщины.

— Вот, ребятки,— сказала она ровным, ласковым голосом,— дедушку прислал сюда ваш отец. Он хочет вас повидать.

Степан Михайлович сидел у стола, закрыв глаза ладонью.

— А зачем нам к нему идти? — так же, как мать, спокойно спросила Лена.— Он же от нас ушел. Не пойду.

«Эта тоже в мать, в бабку»,— с тоской подумал дед и бросил умоляющий взгляд на Вовку.

— Владимир, пойдем хоть ты. Ведь отец же он вам, как вы не понимаете?

— Не пойду! — закричал, топая ногой, мальчик, готовый вот-вот разреветься.

— Ну, успокойся, успокойся, маленький, никто тебя насильно не поведет. Дедушка так ему и скажет: вы не хотите... А может быть, все-таки сходите?

— Я твой и больше ничей,— страстно выдохнул Вовка.

— Ну вот, батя, слышал? — сказала Анна, теперь уже и не пытаясь скрыть своего волнения.

Степан Михайлович тяжело поднялся. Глядя в сторону, сунул дочери безжизненную, обмякшую руку, машинально чмокнул внука куда-то в затылок и, направляясь к двери, задел за стул.

На улице у подъезда стоял с трубкой в руке Арсений Куров. Похоже было, нарочно поджидал здесь.

— Ну, дипломат Чичерин, как миссия? — иронически спросил он старика.

Степан Михайлович только махнул рукой и побрел к остановке трамвая, весело звеневшего в душистых весенних сумерках.

17

Коренастый, плотный лейтенант Куварин, мягко ступая короткими, обутыми в валенки ногами, осторожно двигался оттаявшей уже местами тропой по улице штабной деревни, пружинисто, не без удовольствия козыряя часовым, внезапно возникавшим то из полутьмы сеней, то из-под кровли крестьянского двора. Женя Мюллер едва поспевала за ним. Военная форма — серая шапка, ловко пригнанная в походной мастерской военная шинелька, хромовые сапожки, которые с большим трудом специально для нее отыскал, перерыв ворох обмундирования, «сидевший на вещах» писарь АХО,— все это ей необыкновенно шло. И если лейтенант Куварин, стараясь ступать по-военному мужественно, шлепал валенками по лужицам, его спутница шла осторожно, как котенок, переходящий грязный двор.

Но все это получалось невольно. Голова девушки была занята совсем другим. Жив Курт Рупперт! Он уже нашел свое место в борьбе с гитлеризмом, и самое главное, почти невероятное, во что даже трудно было поверить, он где-то тут, близко, в этой штабной деревне. Девушка скоро его увидит.

Вчерашний вечер был праздничным на «высоте Неприступной». Подружки, взволнованные, потрясенные, шумно поздравляли Женю. Добродушная, обладающая юмором Лариса извлекла со дна чемодана заветную бутылку портвейна из тех, что были выданы офицерам еще после освобождения Верхневолжска.

— Берегла ее до какой-нибудь новой большой победы над немцами. Твоя победа, Женечка, колоссальна... Считаю, что мы, девчата, имеем право по такому случаю бутылку распить.

И портвейн распили, а потом, придя в отличное настроение, до поздней ночи дурили и пели.

Разошлись поздно. Девушки, как расшалившиеся не ко времени школьницы, юркнули под одеяла и тотчас же добросовестно уснули. Женя же, лежа на спине, закинув за голову тонкие руки, гадала, каков-то стал Курт, как он ее встретит, а главное — как с ним держаться. Ведь он теперь советский офицер... Все это казалось очень сложным, и в раздумьях этих радость смешивалась с тревогой, нетерпеливое ожидание — с какой-то боязнью предстоящей встречи.

Так, не сомкнув глаз, девушка и пролежала до рассвета, а теперь вот, идя вслед за лейтенантом Кувариным по знакомой деревеньке, думала все о том же, не замечая ни снегов, набухавших влагой и источающих аромат первозданной свежести, ни того, как сочно потемнели бревна и доски с южной стороны изб, ни сверкающих ледяных сосулек, свисавших с карнизов, ни тяжелых капель, пробивших дырочки в крупитчатом снегу, ни даже того, как масленисто поблескивает обнаженная земля завалинок, где уже распрямлялись редкие прошлогодние, уцелевшие под снегом травинки.

Девушка была так поглощена своими мыслями, что не заметила, как весна, сломав в это утро жесткую зимнюю оборону, ворвалась в штабную деревню и овладела ею. И все же сердце билось по-весеннему взволнованно, в неясном предчувствии чего-то небывалого.

Вот лейтенант Куварин, перемахнув большую лужу, вскочил на крыльцо одной из изб, оставляя за собой сочные, темные следы, вошел в сени и, открыв дверь в дом, остановился, уступая Жене дорогу. Это была изба, где обычно размещались приезжавшие из частей офицеры связи. Знакомый девушке солдат растапливал печку. Добродушно ухмыляясь, он кивнул Жене, но та ему даже не

ответила. В глубине комнаты с табурета быстро вскочил и вытянулся человек в военном, но без знаков различия. Он был худощав, бледен, прядь светлых волос падала ему на лоб. Большие губы неуверенно улыбались.

— Курт?! — воскликнула она, делая к нему нерешительный шаг.

— Яволь, герр лейтенант,— отрапортовал Рупперт, щелкая каблуками.

Женя смущенно обернулась к Куварину. Тот пожал плечами: дескать, что поделаешь, немецкая выучка, он ефрейтор, вы лейтенант.

— Это вы, товарищ Рупперт? Вас просто не узнаешь в этом обмундировании,— сказала Женя, переходя на немецкий и сжимая своими худенькими руками большую, холодную, нерешительно протянутую ей руку.

— Вас тоже не узнаешь, товарищ... Женя,— сказал Курт, видимо не без труда освобождаясь из жестких оков субординации.— Как ваша нога? Вы без палочки? И, кажется, совсем даже не хромаете?

Тут лейтенант Куварин, с живейшим интересом наблюдавший всю эту сцену, озабоченно взглянул на часы.

— Простите, лейтенант Мюллер, мне пора. Майор Николаев просил предупредить, что он сюда заглянет.— И, тщательно откозыряв, скрылся за дверью.

— Да вы шинельку-то снимите, товарищ лейтенант. Разгорелись дровишки, сейчас тепло будет,— сказал солдат, принимая у Жени шинель и шапку.— Может, уйти? Трубу-то вы и без меня закроете.

— Нет, нет, чего вы? — испуганно произнесла Женя.— Уж вы сами, я вас очень прошу.

Она одернула гимнастерку чисто военным движением, засунув пальцы под ремень, раздвинула складки, села напротив Курта.

— А вы похудели... И вообще какой-то... другой.

— Да, я стал другой, господин лейтенант.

— Товарищ лейтенант,— поправила девушка.— Впрочем, к чему это? Зовите меня по-прежнему. Мы же друзья? Правда?

— Я стал немножко другой, товарищ Женя... Я хочу быть совсем другим, я хочу стать как мой отец. Я убедился: он был во всем прав, мой отец... О-о, товарищ Женя, я вижу у вас орден — и такой важный.

— Да, да, орден... Но рассказывайте о себе. Я так мно-

го о вас...— Она запнулась, бледное лицо ее полыхнуло румянцем. Но, преодолев смущение, она просто закончила: — Я много думала о вас все эти месяцы.

Курт так просиял, что Женя даже улыбнулась.

— О-о-о, не может быть!.. Но я тоже время-время думал о вас, товарищ Женя...

— Но об этом потом. Рассказывайте, рассказывайте!

И с немецкой обстоятельностью, точно на допросе, Курт Рупперт начал свою одиссею с того момента, когда он вложил свое последнее письмо в зев водосточной трубы. Впрочем, глаза его были более красноречивы, чем язык. А девушка смотрела на него и думала: неужели же это тот самый розовощекий немецкий ефрейтор, что когда-то, краснея, как девица, перевязывал ей бедро, человек, из-за которого она бросила вызов землякам?

И вдруг у нее возник вопрос: любит ли она его? Ведь они ни разу не сказали друг другу этого слова «люблю». И не потому, что в первый раз его одинаково трудно выговорить и по-русски, и по-немецки. Нет, просто их отношения, вероятно, и не были еще любовью. Да, ей хотелось его видеть. Да, она нетерпеливо ждала его прихода. Да, она все это время думала о нем. Но разве так встретились бы они, если бы любили друг друга? От всех этих мыслей Жене становится вдруг так грустно, что у нее вырывается невольный вздох.

А Курт между тем рассказывает, как еврейская девушка, сестра милосердия, дала ему, немцу, свою кровь. Он волнуется. Женю же совсем не беспокоит, что где-то на пути в новую жизнь Курту встретилась еще какая-то девушка. Ее интересует другое.

— Эта медицинская сестра могла быть русской, узбечкой, украинкой... Это просто девушка. Почему вас так поражает, что она еврейка?

— Товарищ Женя,— улыбается Курт,— вы что же, забыли, откуда, а главное, в качестве кого я попал в вашу страну?.. Мой начальник сейчас старший лейтенант Илья Бромберг. Мы ненавидим фашизм и делаем общее дело. Он, кажется, тоже еврей, но меня это совсем не интересует. А та отдала мне кровь. Кровь, понимаете?

— Нет, не понимаю. Вы ранены, в госпитале, наверное, не оказалось консервированной крови, и медицинская сестра отдала свою. Что вас так поражает?

— Но ведь я немец, а она еврейка!

Внутренне вся насторожившись, Женя спросила:

— Вас что же, беспокоит, что в ваш арийский организм попал стакан еврейской крови?

В госпитале солдат немецко-фашистской армии этот вопрос стерпел. Ведь он, Курт Рупперт, был всего лишь одним из тех, кто с оружием ворвался в чужую страну, принеся ей столько бед. Теперь перед девушкой был другой Курт Рупперт, антифашист, борющийся с общим врагом. Он вспыхнул, будто его ударили по лицу. Бесцветные волосы, брови, ресницы стали на потемневшей коже почти белыми.

— Зачем вы пришли сюда, товарищ лейтенант? Если вы считаете, что вы вправе говорить мне такие вещи, вам не следовало сюда приходить.

Эти слова были произнесены с плохо скрытым гневом, и гнев этот обрадовал Женю. Чтобы скрыть это, она вскочила, скрипя сапожками, прошлась по комнате, остановившись возле старого солдата, все еще сидевшего на корточках у печки, не без гордости подмигнула ему: видите, мол, папаша, какой у меня знакомый!

— А с чего это он так встопорщился?

— Я случайно обозвала его фашистом,— ответила Женя, упрощая ход беседы.

— Обиделся?.. Стало быть, человек,— сказал солдат. Он кряхтя выпрямился, вынул из кармана кисет, размотал веревочку и поднес Курту.— Битте дритте — угощайтесь...

Курт улыбнулся, оторвал от газеты прямоугольничек, отогнул краешек, положил щепоть махорки, свернул и, прислюнив, сунул цигарку в рот.

— Ишь, научился по-нашему цигарки крутить,— усмехнулся солдат, давая ему прикурить.— Ничего, они и не тому научатся... Фашизм — он как парша заразная. А свели ее с кожи — человек как человек.

— Что говорит товарищ солдат? — спросил Курт, которого заинтересовал этот морщинистый, пожилой солдат. Такими обычно изображали русских на гитлеровских плакатах.

— Он говорит, что фашизм должен быть уничтожен человечеством, как заразная болезнь,— вольно перевела Женя.

— Да, да, да,— закивал головой Курт.— Уничтожен...

— Ну вот, вроде бы и договорились...— благодушно заговорил было солдат, но смолк, оборвав фразу, и вытянулся, щелкая каблуками, ибо в дверях появилась высокая

фигура майора Николаева. Женя, еще не привыкшая к своему военному положению, тоже вытянулась, и с несколько даже преувеличенным усердием.

— Здравствуйте, товарищи! — совсем по-штатски сказал майор.— Вы свободны,— кивнул он солдату, а сам уселся на скамье у печки, подогнув под себя ногу.— Ну, встретились старые друзья? — спросил он, переходя на добротный немецкий язык.— Как вам, товарищ Рупперт, работается на МПГУ? Кстати, у вас там известно, что наши разведчики добыли приказ по немецким частям, требующий, чтобы как только установка произнесет первую фразу, немедленно открывали огонь... Неплохая оценка вашей деятельности, а?

С момента появления майора Курт стоял навытяжку. Это был не тот Курт, которого Женя знала в Верхневолжске, и не тот, который только что разговаривал с ней. Это был совсем незнакомый человек. Из формы советского покроя снова выглянул вышколенный прусский солдат. Девушку это не только огорчило, но даже и обозлило. В правом, полуприкрытом глазу майора брезжила едва заметная усмешка. Расспрашивая Курта о том о сем, он, казалось, был совершенно удовлетворен отрывистыми «так точно, господин майор», «никак нет, господин майор», «не могу знать, господин майор». Потом Николаев встал, походил по комнате, заглянул в печку и подложил пару поленьев. Вдруг, резко повернувшись, он, пристально глядя на обоих молодых людей, сказал:

— Командование предполагает дать вам одно поручение. Обоим... Сложное и важное. Возможно, вам предложат проникнуть в один оккупированный город, где неприятель сосредоточил сейчас значительные силы. Вы, товарищ Рупперт, будете офицером войск СС, вернувшимся из тылового госпиталя после тяжелого ранения на фронт, в одну из действующих частей. Вы, лейтенант,— девкой из фольксдойчей, бежавшей из советской тюрьмы. О том, как все это организовать и что нужно будет делать, поговорим потом, пока что обязан предупредить вас: поручение ответственное и опасное. Разумеется, никто, кроме нас троих, не должен знать об этом разговоре.

Прищуренный глаз майора так и сверлил лица молодых людей. Он, конечно, заметил, как Курт радостно взглянул на девушку и тут же, вытянувшись, отчеканил:

— Яволь.

У Жени сердце забилось так, что она побоялась, как

бы майор этого не заметил. Сжав до боли кулаки и побледнев, она тихо сказала:

— Хорошо, если это необходимо, я пойду.— Последние слова она произнесла едва слышно.

— Нет, так важные вопросы не решают,— заявил майор.— Подумайте, оба хорошенько подумайте. Слышите? Завтра в одиннадцать ноль-ноль встретимся здесь, и тогда вы дадите ответ.— Он встал.— Лейтенант Мюллер, попрошу за мной. До свидания, товарищ Рупперт.

Пожав руку Курту, майор первым вышел из избы. Он не видел или сделал вид, что не заметил, как Женя и Курт обменялись несколько затянувшимся рукопожатием.

18

День, когда было получено известие о гибели сына, стал переломным в жизни Ксении Степановны. До тех пор она как-то не замечала возраста. Еще живо помнились молодость, красный платочек, старая, вся вытертая кожанка, школа ликбеза, где она, молоденькая катушечница, сидела за одним столом с пожилыми ватерщицами и мюльщиками. Очутившись на какой-нибудь вечеринке в компании сверстников, она, старый член партии, депутат, обращалась к ним по-прежнему «ребята», «девчата», не задумываясь над своими годами.

А тут она, сразу ощутив груз своих немолодых уже лет, как-то вся съежилась, увяла. На работе это было не так заметно. Там она по-прежнему, без особого напряжения, обслуживала вчетверо больше веретен, чем когда-то молодая девушка Ксюша Калинина, слывшая и в юности проворной мастерицей. Но вот, перекрывая фабричные шумы, вплывал в цех гудок, останавливались машины, расходились по домам знакомые люди, у какого-нибудь перекрестка она прощалась с последней из попутчиц и оставалась одна. Тут-то на нее и наваливалась тягучая, томящая усталость. Не хотелось ни есть, ни спать. Думать она просто боялась, ибо любая мысль, помимо воли, приводила ее к сыну.

Она не могла пожаловаться на одиночество. Наоборот, люди были необыкновенно чутки. После того, как местные газеты обнародовали письмо комиссара части и появился

Указ о посмертном присвоении старшему лейтенанту Шаповалову Марату Филипповичу звания Героя Советского Союза, отбоя не стало от приглашений на всяческие торжественные заседания, встречи, молодежные вечера. С маленькой фотографии Марата были сделаны огромные портреты, на которых он в своем танкистском шлеме выглядел прямо-таки русским богатырем. Один из таких портретов висел в Красном уголке фабрики, другой — в цехе, где когда-то работал ее мальчик. Комсомольцы назвали лучший участок именем Марата Шаповалова. Каждую неделю они посылали ей, матери, трогательные рапорты, в которых сообщали о том, как соблюдаются «шаповаловские традиции».

И все-таки для матери Марат оставался не кем иным, как озорноватым, веселым пареньком, боксером, острословом, причиняющим родителям немало беспокойств. Он оставался для нее сыном. Выбранная в президиум какого-нибудь заседания, как мать героя, прядильщица усаживалась за стол с тяжелым сердцем, стараясь не смотреть на портрет Марата. Рапорты, так искренне написанные, читала с чувством неловкости, будто все это могло помешать ее мальчику спать где-то там, в невиданной ею солдатской могиле.

В жизни образовалась тягостная пустота, которая не ощущалась лишь в те редкие дни, когда от мужа приходило письмо. Фронтовик отнесся к страшной вести с солдатской стойкостью. Он так ничего и не написал о своем горе и все успокаивал жену и дочь. Вообще Филипп Шаповалов, опытный мастер участка мюлей, не был мастером писания писем. Но неуклюжие солдатские строки, согретые скупо выраженной заботой о домашних, письма, на одну треть состоявшие из поклонов родственникам и бесчисленным друзьям с прядильной, успокаивали ее. Когда приходило такое письмо, вечер ей был уже не страшен, она не боялась остаться одна со своими думами. Но бывало, что письма не приходили подолгу, и тогда Ксения Степановна не знала, куда деваться. Так продолжалось до того вечера, когда, возвращаясь со смены, она, дожидаясь трамвая, столкнулась лицом к лицу с матерью и Галкой.

Варвара Алексеевна, пригибая голову дочери и целуя ее в лоб, попеняла:

— Что глаз не кажешь?

Ксения только махнула рукой.

— А вы куда?

— Да в этот самый наш госпиталь. Сегодня мы с Галкой дежурные... Затеял партком это шефство на нашу голову — ни тебе постирать, ни тебе чулки поштопать. Целая куча белья вторую неделю корыта ждет.

— Можно мне с вами? — неожиданно для себя спросила Ксения Степановна.

— Ой, тетечка, миленькая, поедем! Какой уж там в отдыхающей палате капитан лежит... Ну прямо народный артист Борис Ливанов. Песни какие знает! — затараторила Галка, ластясь к тетке.

— Вот-вот, видишь, что у шефов на уме,— заворчала старуха, и все трое полезли в вагон с иссеченными осколками снарядов и кое-как залатанными бортами.

Шефов заметили уже на пороге госпиталя. Какой-то молодой, наголо остриженный парень с забинтованной ногой, замахав костылем, крикнул в полутьму коридора:

— Ребята, Галка прилетела, ура!

Девушка нахмурилась. Пуще всего не любила она, когда малознакомые люди звали ее Галкой. Ну, если Галина Рудольфовна длинно, звали бы Галина или Галя, а то птичья кличка... Но увы, в госпитале ее звали именно Галкой, и в этом качестве она завела здесь столько друзей, что две палаты однажды чуть не поссорились из-за того, которой из них первой залучить к себе маленького веселого шефа.

Ксения Степановна с ее скромной внешностью, с ее спокойной мудростью и внимательностью к людям, с ее маленькими познаниями в области первой помощи, почерпнутыми еще в мирные дни на курсах РОКК, как-то сразу, за один вечер, вросла в госпитальный мир. Ловкие, умелые, ласковые, осторожные руки матери очень помогли в этот день медицинской сестре Прасковье Калининой менять повязки. Прядильщица не боялась крови. Жалость к людским страданиям не нарушала ее спокойной деловитости, и медсестра, сразу оценив способности новой помощницы, даже с некоторым удивлением посматривала на нее.

— Ксеночка, вы же прирожденный медик.

В свою очередь, знаменитая прядильщица, привыкшая ценить любое, даже вовсе не знакомое ей мастерство, тоже заметила, что жена брата, слывшая в семье Калининых пустельгой, за работой совсем другой человек. Толстенькие, шелушащиеся от бесконечных дезинфекций руки ее с коротко обрезанными, будто обгрызенными, ногтями чутки, быстры и точны. Самые трудные повязки она снимает с

осторожностью и терпением, обнаруживающими в ней не только профессиональное умение, но и добрую человечность.

Правда, во всей ее маленькой, крепко сбитой фигурке, в обрызганном родинками лице, на котором короткий нос просто кричал, сдавленный с двух сторон круглыми щеками, было что-то такое, что излишне притягивало взгляды мужчин. И Прасковье это нравилось. Она явно не прочь была повертеть хвостом. Но, покоренная ее мастерством, Ксения старалась этого не замечать.

Когда обе женщины, обессилев, опустились рядом на белую скамью, невестка вдруг взяла руку Ксении Степановны, худую, рабочую руку, с загрубевшими мозолями на ладонях и на кончиках пальцев.

— Знаете, Ксенечка, у вас прямо-таки хирургические пальцы.

Прядильщица, не терпевшая лести, отняла руку и даже спрятала под халат.

— Ты уж, Паня, скажешь...

— Нет, правда.— Невестка растопырила пальцы своей пухлой ручки-подушечки.— Хирургам на красоту тьфу! Хирургия требует, чтобы пальцы были умными. Голова может быть пустой, а пальцы обязательно умными. Это Владим Владимыч всегда говорит.

— Тебе, что ли? — спросила Ксения, едва сдерживая улыбку.

— Всем... ну, и мне. Впрочем, с другими сестрами он только бранится, а со мной разговаривает... А вы, Ксенечка, знаете, что с ним недавно произошло? — И, вдруг превратившись из сестры, мастерицы своего дела, в обычную, в домашнюю Паньку, она многозначительно затараторила: — Не слыхали?.. Тут в поселке какая-то дуреха сама себе вздумала аборт делать. Ну, известно, маточное кровотечение и все такое. Соседи перепугались. Куда стучаться? Ну, конечно, к Владим Владимычу. Ну, и он действительно сейчас же поднялся с постели, оделся и, перебирая вслух всю свою «рецептуру»,— он ведь знаете как ругается,— полез в свою таратайку. Машины не признает — это его пунктик. У него «автомобиль с хвостом». Ну, и едет ночью куда-то за Буденовку, в дальний поселок... И тут, вы понимаете, Ксенечка,— из-за кустов на него бандиты с наганами. Трое. Руки вверх, давай деньги!.. Сложный случай, правда? Кучер с облучка скатился — и дёру. А Владим Владимыч, думаете, он руки поднял?

Рассказчица делает паузу, бисеринки пота выступили на лбу, где из-под волос роскошного апельсинового цвета уже виднелись естественные, каштановые.

— Вы, Ксеничка, жестоко ошибаетесь, если так думаете. Он на них клюшкой и опять по всей «рецептуре» прошелся. «Все, говорит, мужики родину защищают, а вы, такие-сякие, вот чем занимаетесь?» И опять... По этой словесности они его сразу узнали: «Господи боже, Владим Владимыч!» А тот: «Я, я, сукины дети! Попадите только ко мне в больницу, я вам припомню «давай деньги», я такое сделаю, что бабы весь век вам в морды плевать будут...» Те смутились: «Извините, поезжайте». А он: «Как я поеду? Где кучер, сукины сыны? Чтоб найти мне сейчас же кучера! Я к больной спешу...» И ведь нашли кучера и не знали, как с глаз скрыться... Ну, может быть, отдохнули?

И женщины опять принялись за дело. Когда, собираясь домой, Варвара Алексеевна зашла за Ксенией, та сидела у кровати обгоревшего летчика, походившего на забинтованную куклу. Из-за белой марли глядели измученные, лихорадочно блестевшие глаза. После перевязки Ксения задержалась у его койки.

— Вы идите, мамаша, я посижу, мне с ним хорошо,— ответила она.

Летчик, в обычное время неохотно отвечавший даже на вопросы врачей, в присутствии этой пожилой, ни о чем не спрашивающей его женщины неожиданно разговорился. Рассказывая свою историю, он заметил в коридоре необычную суету. Торопливо пробежали несколько санитаров, мимо двери мелькнул врач, застегивающий на ходу халат. По всему зданию нетерпеливо дребезжали телефоны. Чувствуя что-то неладное, раненые, улегшиеся было уже спать, проснулись, стали нервничать. Отовсюду слышались нетерпеливые возгласы: «Няня... Сестра...»

Ксения Степановна вышла в коридор узнать, в чем дело.

— Владим Владимыча инфаркт хватил,— сказал пожилой санитар, остановившийся у окна, чтобы передохнуть.— Смотрел больного — и возле него бряк.— И побежал дальше, туда же, куда спешили другие люди.

Звонки из палат раздавались все резче. Сестры метались из одной в другую. В тягостной суматохе Ксения Степановна почувствовала себя лишней. В госпитале, тревожно гудевшем, как пчелиный улей, теряющий матку, у нее

не было еще ни своего места, ни своих обязанностей. Она тихо пошла к выходу. Уже в раздевалке ее догнала невестка.

— Ксеничка, какое несчастье! — Не договорив, она всхлипнула, махнула рукой и выбежала из двери.

19

— Что такое тюря?

Это спросила Галка, когда однажды вместе с дедом они шли на работу.

— Тюря? — Дед уже привык, что в курчавой голове внучки всегда роятся самые неожиданные мысли, и терпеливо принялся объяснять, что в царское время так называлось у верхневолжских текстильщиков весьма распространенное в те дни кушанье. Собственно, их было два — тюря и мурцовка. Мурцовку готовили так: в блюдо бросали зеленый лук, растирали его с солью, потом крошили туда залежавшийся, подсохший хлеб, какой всегда можно было купить по удешевленной цене в хозяйской харчевой лавке. Все это заливали квасом, смешивали и ели. Ну, а зимой, когда зеленого луку не было, а репчатый был не по карману, просто мешали хлеб да квас и иногда заправляли для вкуса кислым молоком. Вот это называлось «тюря».

— А она вкусная была, тюря? — снова спросила Галка, погруженная в какие-то свои мысли, ход которых был недоступен никому из смертных.

— Да ведь как сказать... Есть можно... Когда другого ничего нет, и вовсе слава богу. Как говорят: цыгану весной и жук мясо... А тебе на что?

— А у нас секретаря комсомольского, Феню Жукову, так зовут — Тюря.

Дед только руками развел: с чего бы это?

— Ох, внучка, ты, как бабка твоя, в чужом глазу сучок видишь, а в своем бревна не замечаешь... Чем же ваш комсомол так тебе не угодил?

— А уж тем, что я к ней несколько раз насчет экономических дел стучалась — и все как в крышку гроба... Ты понимаешь, дедушка, мы с Зиной потихоньку пробу провели — сырье экономим. Уж чтоб ни такой вот малюсенькой ниточки на пол не ронять. Знаешь, сколько за пять дней насобирали? Двенадцать килограммов! Это тебе что,

жук на палочке? Хлопку! Дефицитного сырья! А сколько из него наткать можно? Сколько из этой ткани для бойцов белья сшить? Ты это, дедушка, можешь себе представить? А?.. Ну вот, ты представляешь, а Тюря нет. И не хочет... Ну и пусть, пусть, наплевать! Думаешь, мы не знаем, что нам делать?

Что делать, Галка и Зина знали. Вместе с мастером Хасбулатовым они подсчитали, сколько можно сэкономить за оставшиеся месяцы по комплекту, по участку, по цеху, по всей ткацкой, по комбинату и даже в городском масштабе. Получалось, что за счет экономии сырья можно дополнительно выпустить сотни тысяч метров. Память у Галки была цепкая, и теперь она прямо-таки забросала деда цифрами.

— Ну и что ж, двигайте! — Дед даже взволновался. Рабочим чутьем угадал он во внучкиной болтовне большое, может быть, действительно государственное дело.— И времени не теряйте: быстрому бог помогает.

— Бог — он, может быть, и помогает, а вот Тюря — нет. Уж мы с Зиной как вчера ее трясли, а она нам только: «Девочки, дайте с огородами справиться. За огороды нам Анна Степановна все суставы пересчитает. Вот отсадимся, тогда давайте ваш экономический вопрос».

— Ну, а ты к Нюше, она баба огневая.

— Ну да... Нет уж, это извини-подвинься.— И, уставив руки в боки, Галка заявила: — Это чтоб потом вся фабрика гудела, что я, как поросенок из басни, за хвостик тетенькин держусь?

— Ну, в фабком иди, Нефедова тоже женщина серьезная.

— Ходили. Гриппует наш фабком, по бюллетеню гуляет, жди, пока он прочихается.

— Фу ты, нелегкая!.. Ведь время-то идет. К Анне, к Анне ступайте! Не ордер на костюм просить будете, какое кому дело до вашего родства!

— И нипочем не пойду. Весной, после большой воды, уж сколько на ткацкой болтали, будто тетка меня «поднимает», точно это она мной тогда на валу дыру заткнула... Нет уж, дедушка, раз Тюря к нам спиной, мы с Зиной сами найдем ходы...

И действительно, ходы они нашли. Под вечер пришли в райком партии. К Северьянову их не пустили — он вел бюро. Когда оно кончилось и участники заседания расходились, еще горя́ неперекипевшими страстями, они увиде-

ли две маленькие фигурки, сидевшие на ступеньках подъезда.

— Это что же за народ? — спросил Северьянов, останавливаясь.

— А это уж с ткацкой народ, Сергей Никифорович. Это ж я, а это моя коллега Зина Кокина. Мы уж к вам с важным государственным делом.

— Ну, государственные дела в подъезде решать не полагается,— усмехнулся Северьянов, припоминая, что эту чернявую девчонку он больную отвозил в половодье домой.— Государственные дела, братцы девушки, решают в кабинетах. Пошли назад.

Сам инженер по образованию, секретарь райкома с полуслова понял все значение этого нехитрого и позарез нужного теперь дела.

— Эх, милые вы мои, был бы я помоложе, я б вас расцеловал! — сказал он и тут же стал звонить в партийный комитет ткацкой.— Анна Степановна? Здравствуй, это Северьянов... Что ж это ты, милая моя, зеваешь? Вот сейчас у меня две твои козы сидят и на тебя жалуются... На что? А вот чудесное дело придумали, а партком не поддерживает... Фамилии?

— Сергей Никифорович, уж вы не шутите, она ж нас съест.

— Ну вот и фамилий просят не называть, говорят, ты их съешь... Серьезно? Ну, давай говорить серьезно... Завтра с утра я к тебе зайду. Это на участке у Хасбулатова происходит. Все вместе посмотрим, проверим, обсудим. На девиц не серчай, они не жалуются. Пришли не к тебе, а ко мне из щепетильности, которая, должно быть, у вас, Калининых, фамильный недуг... Одна из них — твоя племянница.

На следующий день Галка и Зина сидели в паркоме и писали письмо всем ткачам, прядильщикам и ситцевикам «Большевички», всем текстильщикам Верхневолжска. Северьянов был прав, сразу заинтересовавшись затеей комсомолок. Письмо сразу напечатала «Комсомольская правда». Оно попало в цель и немедленно получило отклик молодежи во всех концах страны. Что может в трудное военное время быть более важным, чем строжайшая экономия! И так как сэкономленное тут же могло быть превращено в пряжу, в ткань, в обувь, в машины и труженик мог сразу увидеть величину своего вклада в военные усилия страны, почин разрастался необыкновенно быстро.

Портреты Галки и Зины замелькали в газетах и журналах. Они как бы бросили в озеро первый камень, и уже без их участия от него расходились все более широкие круги. Газетные шапки менялись:

«Распространим ценный почин ткачих-комсомолок Мюллер и Кокиной!»

«Соткать миллионы метров из сэкономленного сырья!»

«Перенесем опыт ткачих «Большевички» во все отрасли промышленности!»

И по мере того как эти круги становились шире, а скромная выдумка девушек превращалась в большое и действительно государственное дело, газеты снова и снова возвращались к их именам.

Ежедневно почтальонша приносила теперь на фабрику пачки конвертов. Незнакомые люди, живущие в разных концах страны, в городах, о которых девушки и понятия не имели, поздравляли их, рассказывали, как тут и там удается применить их начинание, а какой-то бойкий доцент извещал, что он на основе изучения их почина уже начал писать кандидатскую диссертацию. Он умолял девушек, учитывая его исключительный к их делу интерес, не давать материал другим доцентам, ежели те возымеют то же намерение.

Но особенно много было писем без марок, с треугольными штемпелями полевых почт Действующей армии. Писали в одиночку, целыми подразделениями, писали солдаты и офицеры. Поздравляли, приветствовали, заявляли, что не прочь завязать переписку со столь знаменитыми девушками, а один кавалерист без долгих разговоров предлагал руку и сердце. Которой из девушек, он даже второпях и не написал.

Некрасивая Зина, выходившая почему-то на отретушированных газетных снимках необыкновенно интересной, просто упивалась этой почтой и все свободное время писала ответы. Галка оставалась холодной как лед: невеста не имеет права быть легкомысленной. Впрочем, от сержанта Лебедева тоже, разумеется, пришло письмо. Он рассказал, что разведчики вырезали из журнала портрет подружек и повесили в своем блиндаже. Сержант выражал надежду, что, став столь знаменитой, Галя не забудет его верную любовь. Девушка рассердилась. Забыть — вот уж вздумал! Что она, Эмма Бовари какая-нибудь, чтобы бросаться своими симпатиями? В ответном письме она задала

жениху такую трепку, какую редко кому доводится получать и от жены.

И еще пришли с фронта два послания, взволновавшие знаменитую отныне молодую ткачиху, от матери и от сестры.

«...Если бы твой отец был жив, как бы порадовались мы вместе с ним, что у нас растет такая умная и хорошая доченька,— писала Татьяна Степановна.— Но он умер за то, чтобы всем нам, советским людям, хорошо жилось, и я радуюсь, что наша маленькая Галка оказалась достойной своего отца, старого большевика... Сейчас на фронте опять большие дела. У нас, врачей, много работы. Бывает, по несколько часов не отхожу от операционного стола. И когда мне совсем невмоготу, я вспоминаю о том, что далеко, в глубоком тылу, живет моя Галя, что она там не покладая рук, не зная устали, трудится для нашей общей победы. Я вспоминаю о тебе, дочка, и усталость проходит, становится легче, и опять можно браться за дела».

Письмо и все вокруг туманится и расплывается. Слезы ползут по смуглым щекам, падают на бумагу, вспухают на ней чернильными кляксами. Галка сердито трясет головой: вот уж новости, реветь как какой-нибудь дуре,— и, протерев кулаком глаза, продолжает читать: «...Я вспоминаю, что когда тебя и Женю я отдала в наше ФЗО, в больнице все удивлялись: зачем? И говорили, что вы девочки способные, вас надо готовить в вуз. Я тогда подумала, как бы поступил ваш отец, и решила, что он захотел бы видеть вас там, где работают бабушка и дедушка, где работал он сам. Узнаете труд, наберетесь упорства, и, если будет желание и хватит ума, перед вами советская власть все двери открыла: учитесь дальше. Вы обе доказали, как я была права, и я горжусь моими умными, моими хорошими дочками».

«Да, да, уж конечно, она была права»,— вздыхает Галка, задумываясь. Она видит полное лицо матери в белом докторском колпачке, и ей хочется оказаться с нею рядом, броситься к ней на шею, поцеловать ее в усталые глаза, прижать к щеке ее руку, которая всегда так шершава и от которой всегда пахнет аптекой.

Чувствуя, как в груди опять накипают слезы, Галка встряхивает кудрями и принимается за второе письмо, написанное четким, ровным почерком ее сестры. В переписке своей Женя необыкновенно аккуратна. Каждую неделю то Галка, то старики получают от нее маленькое письмецо.

Из них они неизменно узнают, что Женя здорова, чувствует себя хорошо, скучает по своим. И все. Никаких подробностей. На этот раз письмо длиннее обычного. Женя тоже поздравляет, пишет, как ей приятно быть сестрой такой знаменитой ткачихи, советует не задирать нос, не зазнаваться, работать еще лучше. Одна фраза письма особенно привлекает внимание Галки: «...Возможно, в ближайшее время мне придется выполнять особое боевое задание. Тогда от меня некоторое время не будет писем. Скажи всем, чтобы не беспокоились. Не забывайте, продолжайте писать на прежнюю полевую почту и знайте, что ваши письма я потом получу...»

...Особое боевое задание, боже ж мой! Есть же на свете счастливцы, которые получают особые задания. А тут вставай чуть свет на работу, слушай бабкину воркотню, сражайся с Тюрей, которая считает, что девушки ее нарочно обошли, дуется и придирается... Конечно, статьи, портреты, письма... Но разве все, что происходит здесь, в глубоком тылу, может сравниться с одним-единственным, хотя бы маленьким, особым боевым заданием командования?

20

Тяжелой была эта первая военная весна. Надежды на скорую победу, вызванные разгромом немецко-фашистских армий под Москвой и в районе Верхневолжска, к тому времени уже иссякли. Второй фронт все не открывался. Пользуясь тем, что на европейском театре военных действий его не беспокоят, Гитлер снова собрал отборные дивизии в кулак и на этот раз обрушил его на юге. Красная Армия продолжала один на один сражаться с объединенными силами фашизма. Напряжение сражений нарастало, масштаб увеличивался. Сводки день ото дня становились тревожней. В них снова появлялись названия городов и поселков, оставленных после тяжелых боев. И хотя на этот раз борьба шла далеко и названия эти были большинству верхневолжцев мало знакомы, все тягостней, все тревожней становилось у людей на душе.

Паек уменьшался. Бледнее становились лица. Новые и новые морщинки бороздили их. Среди косынок, которые по традиции у верхневолжских текстильщиц бывали всегда цветастыми, пестрыми, все больше можно было видеть в потоке смены темных вдовьих платков.

И все-таки жизнь шла своим чередом. Все три фабрики комбината даже перевыполняли план, а огородная кампания развертывалась в эту весну с небывалым размахом. Фабричные грузовички носились по городу, собирая где можно огородный инвентарь. Специальные делегации отправились к текстильщикам Вышнего Волочка, Орехова, Иванова, Шуи, Вычуги — в далекие города, не пострадавшие от гитлеровского нашествия, и там с ними по-братски делились скудными запасами посевного материала. Но с картофелем было по-прежнему туго. Каждый клубень на счету.

Уполномоченные огородных комиссий следили на фабричных кухнях, чтобы, чистя его, стряпухи не губили глазки. Вероятно, впервые с тех пор, как испанские конкистадоры завезли из Южной Америки в Европу первые клубни этого нехитрого корнеплода, ростки его удостоились такого бережного хранения, какое было организовано для них на ткацкой фабрике.

Горком партии, поддержав «огородную инициативу ткачей» специальным решением, придал этому делу общегородской размах. Когда решение было принято, секретарь пошутил:

— Из урожая Анне Степановне самая большая, самая вкусная морковка.

— А если урожай не вырастет, самая толстая палка? — поинтересовалась Анна.

Секретарь горкома был весел.

— Разве вас, ткачей, переспоришь! Вон Северьянов жалуется, что у вас на каждое его слово два запасено... Завтра первый массовый воскресник, так где же, Анна Степановна, должен быть командир?

— Впереди, на лихом коне! Только завтра в роли Чапаева у нас будет вон она, Настя Нефедова,— ее, профсоюзное дело.

...На этот первый массовый выход на поля возлагались большие надежды: почин дороже денег. На полотнище, висевшем над входом на фабрику, появилось: «Все на огороды, все на воскресник!» В субботу профорганизаторы подходили к каждой работнице и напоминали: не забудь, завтра в семь! Впрочем, можно было и не напоминать. Вокруг этого дела создалась уже такая атмосфера, что об этой в общем-то нелегкой работе люди мечтали, как о празднике. Нефедова, почувствовав себя ответственной, и сама по-настоящему развернулась. Анна просто не узна-

вала ее. Куда девались нерешительность, уступчивость! Даже голос окреп у Насти в эти дни. Делалось все, чтобы воскресник стал праздником. Разыскали фабричных баянистов. Под конец фабком добыл в клубе духовой оркестр — странный духовой оркестр военного времени, в котором единственным мужчиной был старичок дирижер.

И вот утром все собрались в садике, под тополями, возле закопченных развалин старой фабрики. Баяны перекликались, как петухи в летний жаркий день. Там и тут вспыхивали песни. На площадке, окруженной молодыми деревцами, на которых уже лопались душистые клейкие почки, молодежь образовывала круг, и конечно же в центре его перед смущенным мастером Хасбулатовым, отчаянно дробя каблуками, носилась Галка Мюллер и, размахивая пестрой косынкой, звонким голосом выкрикивала:

Эх, залетка мой милой,
Скажи мне окончательно:
Если любишь — хорошо,
Не любишь — замечательно.

И, еще пуще дробанув напоследок, вывизгивала в конце частушки на фабричный манер: «Их! Ах!»

Поддерживая общее настроение, Анна явилась на воскресник в праздничном платье, в туфлях-лодочках и сейчас же замешалась в толпе. Но остаться незаметной, как она того хотела, не удалось: везде, где она появлялась, сразу же окружали ее.

— Ты, Степановна, будто в клуб на бал... Смотри, в земле каблуки оставишь.

— А это что? — И Анна многозначительно стучала по свертку, который держала под мышкой.— Я запасливая.

В последний момент Нефедова распорядилась даже вынести фабричные знамена, заслуженные ткачами в разные годы за всякие хорошие дела. Их вынули из чехлов, развернули. Оркестр не очень стройно и благозвучно, но зато громко грянул марш. Вскинув на плечи тяпки, лопаты, грабли, ткачи пестрой колонной двинулись в путь. Впрочем, не только ткачи. У ворот они встретили колонну прядильщиков, шедших, правда, без знамен и без оркестра; и когда эти два густых человеческих потока разными путями потекли к месту работы, было замечено, что по тротуарам в одиночку, семьями туда же, за город, тянутся ситцевики с инструментами и кулечками с завтраком.

— Эй, индивидуалы! — шутливо кричали из колонны.

— Ладно, идите да помалкивайте, осенью цыплят посчитаем,— благодушно отбрехивались с тротуара.

Настроение было отличное. Даже то, что оркестр, выйдя за город, стал подвирать и огромный генерал-бас, в который дула бледная девица с землистого цвета лицом, то и дело невпопад исторгал свои утробные звуки, не сбивало с шага. Шли дружно, как на первомайской демонстрации.

А над пригорком стояло ясное прохладное утро. По обочинам канавы, отделявшей шоссе от тротуара, пробивались ослепительно зеленые стрелки травы. Ветер бросал в лицо густую влагу просыпающейся земли. Всех так тянуло на вольный воздух, на солнышко, что люди почти бежали, хотя никто их не торопил.

Земля, земля! Где бы ни вырос человек, как бы ни прятался он от лесов и полей в камни и асфальт городов, каким бы делом он ни занимался, ты сохраняешь над ним свою неизменную власть! Не думает о тебе ткачиха, проводящая день в грохоте станков. Но вот утром, когда она спешит на работу, дохнешь ты ей в лицо животворным ароматом, и встревоженно забьется ее сердце ожиданием чего-то неясного, волнующего. Не думает о тебе старый раклист, стоя у печатной машины. Густо пахнет острыми красками. Течет, бесконечной лентой течет, уходя в отверстие в потолке, ткань, которую он заставляет расцветать невиданно яркими цветами. Все внимание его сосредоточено на этих цветах, и нет у него времени даже подумать о чем-нибудь постороннем. Но вот весенний ветер бросил в открытую фрамугу окна горсть капель с крыши, аромат молодой травы, ожившей в скверике перед фабрикой, и заблестели глаза у раклиста, и вспомнил он детство, ледоход, и, улучив минуту, сладко потягивается, вдыхая свежий воздух, и думает о том, как бы это ему следующий выходной провести с внуками за городом, в поле, посмотреть настоящие, живые цветы...

В это теплое воскресенье вся свободная земля, что пустовала вокруг фабрики, да и сам двор комбината, все лужайки, газоны, любой маленький клочок, достаточный, чтобы вскопать на нем хотя бы одну-единственную грядку,— все это подверглось штурму.

Ткачам отвели под огороды огромный, граничащий с рекой пустырь, где когда-то были дровяные склады, заброшенные после того, как фабрики перешли на торфяное топливо. Здесь их ожидал приятный сюрприз: три серых военных трактора, похожих издали на майских жуков,

проворно перебирая гусеницами, один за другим ходили по кругу, волоча плуги. Изрядная часть пустыря оказалась уже вспаханной. Это был дар подшефной воинской части. Он еще больше подогрел людей.

И вот просторное поле, над которым колебалось прозрачное, студенистое марево, ожило, запестрело цветными косынками. Убедившись, что все идет хорошо и что Нефедова со своими профактивистами отлично дирижирует делом, Анна в кабине грузовой машины переоделась в свой старый рабочий комбинезон, в резиновые сапоги, подобрала получше лопату и, замешавшись в ряды сажальщиков, потерялась среди них. Сегодня она могла позволить себе отдохнуть, насладиться необычной работой, воздухом, солнцем, свежим ветром...

Старенькая «эмка» Северьянова остановилась на границе поля, где девушки в белых пиджачках, как в доброе довоенное время, выносили из машин корзинки с бутербродами, перетирали стаканы, готовили завтрак. Секретарь райкома, загородившись ладонью от солнца, долго смотрел на работавших, продвинувшихся уже к середине поля.

— Куда начальство спрятали? — спросил он наконец старика, выдававшего лопаты.

— Начальство? А вам какое надо? Сегодня у нас Настасья Зиновьевна начальство. Вон она там, с трактористами объясняется.

В самом деле, вдали виднелась Нефедова в высоких резиновых сапогах, в перехваченном ремнем ватнике, с головой, обмотанной платком.

— А Калинина?

— Анна Степановна? Ее что-то и не видать. Гляди, где людей погуще,— там она и есть. Сегодня она рабочая сила.

Анна работала в паре с матерью. Ступая вдоль натянутой веревки, она коротким движением лопаты делала ямку, а мать, идя за ней с корзиной, бережно, как что-то очень ценное, что может разбиться, опускала в землю картофельную очистку. Положив вверх розоватым проклюнувшимся глазком, она рукой присыпала ее, после чего Анна покрывала росток землей с лопаты. Работала старуха с величайшей тщательностью. Десятилетиями воспитанную добросовестность старой труженицы сегодня усиливали обстоятельства личного свойства.

— Этот старый индивидуй, он ведь знаешь, что мне вчера сказал? — жаловалась она дочери, не переставая

осторожно опускать в землю очистки.— «Пока, говорит, вы там речи да оркестры слушаете, мы уж наработаемся вволю». С вечера лопату с тяпкой в газету укутал, семян в кошелку положил, а сегодня я проснулась чем свет — его уж и след простыл. Нет, ты скажи, каков?

— Ну, а чего вы, мамаша, волнуетесь? Пусть,— пряча улыбку, отвечала Анна.

— Как это пусть? Этот хуторянин так мне и заявил: давай, мол, осенью считаться, у кого картошка круппее, у кого морковка сочнее, тот и прав.

— Ну, а если у ситцевиков и лучше урожай будет, какая беда? Свои ж люди.

Варвара Алексеевна, прищурив черные глаза, сердито посмотрела на дочь.

— Так, по-твоему, не беда, если эти лоскутники больше соберут, чем мы, на общем поле? А по-моему, всем нам грош цена, если мы им нос не утрем. Вот. И прежде всего — коммунистам!

— Бог на помощь! — донесся сзади знакомый насмешливый голос.

Анна вздрогнула. Рядом, вытирая платком свое раскрасневшееся лицо, стоял Северьянов.

— Спасибо, коли не смеешься.

— Бог-то бог, а и сам не будь плох! — ворчливо отозвалась Варвара Алексеевна и тут же, без всяких предисловий, набросилась на секретаря райкома: — Ты лучше скажи, Серега, зачем вы ситцевикам землю кромсать разрешили? Сделают из участка лоскутное одеяло, какие раньше у нас в казармах старухи из клинышков набивали. Хорошо это?

— Они ж так решили,— оторопел Северьянов, но тут же нашелся: — Твой благоверный, Варвара Алексеевна, у них там закоперщик, с него и спрашивай по семейной линии. А райком, что он сделает, если им всем так больше нравится?

— А им еще и водку дуть и сквернословить нравится — что ж, и с этим мириться? И до этого райкому нет дела?

Варвара Алексеевна воинственно поддернула под подбородком концы черного платочка и царапнула секретаря райкома сердитым взглядом. Северьянов вспомнил, как кто-то сказал про нее однажды — боярыня Морозова. Вспомнил и не смог подавить улыбки.

— Смейся, смейся, а я на тебя в горком партии напишу, пусть нас там разберут.— Она наклонилась было к

ямке, выкопанной Анной, но выпрямилась и озабоченно спросила: — У всех уж, наверное, побывал. Как мы, от других не отстали?

— Да с такими, как ты, Варвара Алексеевна, разве отстанешь? Только отчего это вы, ткачи, такие сердитые?

— От шума. Шумная у нас работа,— серьезно пояснила Варвара Алексеевна, плохо понимавшая шутки.

К закату, усталые, обожженные солнцем, с обветренными, шелушащимися губами, огородники удовлетворенно оглядывали ровное, аккуратно засаженное картофельное поле. Лишь в центре его чернел пустой еще кусок земли, который оставили под капусту, морковь, редьку и другие овощи. Все устали, но усталость была особенная, сладкая: хотелось посидеть неподвижно, есть, спать.

Анна, у которой воркотня матери не шла из головы, сбегала все-таки на участок ситцевиков. Он действительно напоминал набранное из ситцевых клиньев одеяло, какими еще на ее памяти укрывались обитатели общежитий, когда резать на чехлы целую материю считалось недопустимой роскошью. Поле оказалось таким же пестрым, но лоскутки эти, хотя не все еще поднятые и засаженные, были обработаны так тщательно, словно это были не клочья пустыря, по которому в прошлом году мальчишки гоняли мяч, а та земля, которую домовитые текстильщики заготавливают в ящиках для своих фикусов, рододендронов и «ванек мокрых».

Ситцевики пришли на огороды каждый со своей семьей. Только Степан Михайлович, успевший поднять и засадить лишь часть участка, сидел один, и возле него лежали аккуратно перевязанные бечевкой инструменты. Довольный, жмурясь на солнце, он неторопливо жевал хлеб, сдабривая его перед тем, как откусить, щепотью соли. Увидев дочь, он обрадовался, торопливо стряхнул крошки с усов и с бороды в горсть, отправил их в рот и спросил:

— Что, лазутчиком от матки пришла? Поглядеть, как копошится отсталый элемент? Ну что ж, полюбуйся...

На делянку ткачей Анна вернулась, когда все почти уже разошлись. Лишь трактора запахивали последние полоски целины да работники столовой грузили в машины свое имущество. Анна опять забралась в кабину грузовика, переоделась в платье, стащила резиновые сапоги. Натруженные ноги гудели и ныли. Не хотелось обуваться. До дома можно было дойти боковыми улочками, и она

решила отправиться босиком. И как приятно было, будто в детстве, ощущать ногой прохладную мякоть еще влажной земли! Тропка вела через небольшую березовую рощицу, клином врезавшуюся в распаханное и засаженное теперь поле. Воздух был насыщен солоноватым запахом распускавшихся почек, влажного мха, грибной прели, какой дышат весной даже самые маленькие лески.

До чего же здесь было хорошо! Анна не утерпела, постелила на траву комбинезон и прилегла на нем под сенью большой березы. Ветер перебирал тонкие ветки, и было видно, как сквозь смолистый лак, покрывавший почки, уже проклевываются крохотные, сложенные в щепоть листочки. Выше было синее небо, и по нему, предвещая ясную погоду, вкривь и вкось с писком носились стрижи. Тело ныло, как избитое. И все-таки было легко, не хотелось ни думать, ни шевелиться, а только вдыхать этот березовый настой, принимать ласку теплого ветра. Понемножку все начало расплываться, терять четкость очертаний. Оставалось лишь ощущение бодрящей свежести.

— Анна Степановна,— громко сказал кто-то рядом.— Земля-то сырая, разве можно на ней теперь спать?

Анна вздрогнула, открыла глаза и даже вскрикнула от неожиданности. Небо потемнело настолько, что ветви на его фоне уже трудно было различить. Над ней склонилось круглое, с расплывчатыми, детскими чертами лицо механика Лужникова.

— А? Что? — спросила она, еще плохо соображая спросонок, и, увидев свои голые ноги, быстро одернула приподнявшееся во сне платье.— Фу ты, как вы меня испугали! Я тут, кажется, маленько уснула.

— А я иду рощицей — кто это лежит? Батюшки, Анна Степановна! Разметалась вся... А вы вставайте, вставайте, сейчас самая радикулитная пора.

Каким-то бессознательным, но точным женским движением Анна прибрала волосы, еще раз обдернула платье, отослала Лужникова в сторонку, надела чулки, обулась и, когда повернулась к нему, успела перехватить его ласковый и смущенный взгляд.

— Вы чего на меня так уставились?

— Кто, я? — растерялся собеседник и вдруг густо, совсем по-детски покраснел.— Я разве смотрел? Ох, как вас сегодня солнышко нажарило! Придете домой, ноги, плечи, шею — все смажьте маслом, в особенности ноги. А то кожа слезать будет.

Он протянул было руку, чтобы помочь Анне подняться, но та сама легко вскочила и заторопилась:

— Пошли, поздно уж. Я ведь на Кировском живу, нам разве по пути?

Оказалось, что по пути. Ступая по-медвежьи, тяжело и мягко, с развальцем, механик едва поспевал за своей спутницей. В каком-то месте тропку преграждала большая лужа. Анна остановилась, осматриваясь, где бы лучше ей перейти; механик протягивал ей с той стороны свою лапищу, но она почему-то не приняла ее, предпочла, разбежавшись, перепрыгнуть. Это и самое ее удивило. С дней комсомольской юности у нее всегда складывались самые лучшие, товарищеские отношения с парнями. Почему она стесняется этого Лужникова? И вдруг пришло на ум: не потому ли, что тогда, по пути из госпиталя, Панька Калинина говорила, будто он как-то там по-особенному на нее смотрел? «Фу, какая чушь!» — подумала Анна и почувствовала, что краснеет.

— Все Лужников да Лужников, а как вас звать-то, я все забываю.

— Гордеем звать, Гордей Павлович... А за вами не угонишься. Плохой я ходок после больницы...

— А вы, Гордей Павлович, говорят, моряком были?

— Был и моряком. Канонир второй статьи эсминца «Сокрушительный».

— И Зимний штурмовали?

— И Зимний штурмовал.— Голос Лужникова стал теплее.— Я ведь, Анна Степановна, и Ильича видел, ей-ей!

— Ленина? — изумилась Анна. Ей показалось почему-то невероятным, что так вот просто можно встретить человека, который видел живого Ленина.— Ну что же вы об этом молчите?

— А что же мне говорить? Тогда в Питере многие его встречали: он от народа не прятался. Я-то случайно его и увидел. Мы, матросня, возле Смольного из грузовиков вылезали, а он мимо проходил, в пальто, с кепкой в руке. Остановился, рукой помахал: здравствуйте, товарищи моряки...

— Ну, а какой он был?

— Обыкновенный. Невысокий, плотный, рыжеватый...

— Ленин рыжеватый? — недоверчиво спросила Анна.— Врете!

— Зачем мне врать? Я помню. Его раз увидишь — до смерти не забудешь. Такой человек.

Теперь Анна смотрела на спутника с особым интересом и думала про себя: рядом работает человек, видевший Ленина, а ты узнаешь об этом случайно. И вовсе он не смешной, этот Лужников, и лицо хорошее, и глаза умные, и, если приглядеться, совсем не мешковат, а для грузной своей фигуры даже ловок.

— А вас, Гордей Павлович, тоже солнышком хватило, не иначе, у нас у обоих носы лупиться будут.

Лужников промолчал. Он шел задумчивый. Может быть, проснулись воспоминания о далекой юности, когда он, революционный матрос, в бушлате с оттопыренными от гранат карманами, с коротким карабином за плечами, ходил по улицам революционного Питера, ненавидимый одними, приветствуемый другими, жадно глядя кругом, сам еще мало разбираясь в той буре, которая, подхватив, уже несла его. Анна же все с большим интересом присматривалась к нему и, в свою очередь, думала о его судьбе, о том, почему этот сильный, бесстрашный человек, имеющий такую славную биографию, ушел из активной жизни, затерялся в толпе, стал мишенью для фабричных острословов. Она пыталась представить его в бескозырке, перепоясанным пулеметными лентами, и вдруг поймала себя на том, что любуется им.

— Как же это вы, балтийский матрос, Зимний штурмовали — и позволяете себя при людях лицом по полу возить? — спросила она с грубоватой прямотой.

Лужников остановился.

— Это вы про Лизу, про жену, что ли? — Голос его сразу стал резким.— Этого, секретарь парткома, давайте не касаться, это только мое.

— А при чем тут секретарь парткома? Я так, по-человечески...

Наступило молчание. Анна слышала, как, тяжело ступая, вздыхал ее спутник, и ей стало жаль этого могучего и слабого человека. Живо вспомнилось худое, увядшее лицо его жены, возбужденно-колючий взгляд ее глаз, дребезжащий голос.

— Я по-человечески, Гордей Павлович. И мой вам совет: пока не поздно, возьмитесь вы за свои семейные дела.

— А коли по-человечески, так слушайте, Анна Степановна. Никому я о том не говорю, а вам вот сегодня,— он почему-то подчеркнул слово «сегодня», и от этого Анна опять почувствовала легкое смущение,— вам, может быть,

последней скажу: я из-за Лизы уже не с первой фабрики съезжаю. Вот какие дела.

И рассказал он свою печальную историю. Жила-была в Вичуге банкаборщица, девушка хорошенькая, умелая, певунья и хохотушка. Понравилась она ремонтному мастеру. Поженились. Стала она ласковой, заботливой женой. Жили хорошо, ладно. Одна беда — не было у них детей. Лиза без конца ходила по врачам, советовалась со всякими специалистами, пока ей не сказали наконец, что детей у них быть не может. И вот с того дня ее словно подменили. Раздражалась без повода, стала мрачной, по целым дням угрюмо молчала. Уж чего только не предпринимал Лужников, каким врачам ее не показывал, на какие только курорты не отправлял! А она становилась все нервнее, все раздражительней. Жизнь стала нестерпимой. Лиза при людях издевалась над мужем, ссорилась с соседями, вступала в магазинах в перепалки с незнакомыми. Болезнь прогрессировала. Она не позволяла ей работать, и это окончательно выводило женщину из равновесия. Порою вокруг Лужниковых создавалась такая атмосфера, что хоть беги. И приходилось менять место жительства. Таким образом, они приехали сюда, уже на четвертую по счету фабрику. Здесь, слава богу, получили отдельную квартиру, и женщина немного успокоилась. А тут война...

Анна слушала грустный рассказ, и крупный этот человек казался ей маленьким, обиженным, беспомощным. Хотелось погладить его по голове, сказать что-то такое, чтобы он хотя бы улыбнулся.

— Помните, тогда, в госпитале, до того дошумелась, что Владим Владимыч ее об выходе попросил? Так она возьми да грохни на него жалобу. Да кому! Самому Михаилу Ивановичу Калинину. Просто беда!

— Любите вы ее, Гордей Павлович?

Лужников, не ответив, вдруг остановился посреди дороги.

— Любите? — настойчиво повторила Анна, сама еще не понимая, почему это кажется ей таким важным.

— Ну, люблю... Нет, не то это слово. С ней мне тяжко, но и без нее не жизнь. Бывает вот так. Понятно? — резко сказал Лужников, но взял себя в руки и добавил другим тоном: — Ну, прощайте. Уж пойду от греха, а то неравно на нее наткнешься или болтнет кто, что меня с женщиной видели... А за человеческий разговор спасибо. Трудно у

меня душа открывается, а тут — вот видите... Извините уж...

— Прощайте,— сказала Анна и, крепко тряхнув его большую мясистую руку, прибавила: — Лихо станет — заходите в партком. Буду рада.

— Зачем уж... Дел у вас и кроме моих, что ли, нет, а польза — какая уж тут польза!

И он пошел в противоположную сторону. Сворачивая на проспект, Анна оглянулась и увидела, что механик стоит на тротуаре и смотрит ей вслед.

21

Должно быть, справедлива старая солдатская пословица: пуля не убила, так рана заживет. Жизнь Арсения Курова понемножку начинала налаживаться. Как и до войны, поднимался он чуть свет. Мальчик вставал с ним. Они убирали комнату, завтракали и вместе уходили: Арсений на работу, а Ростик в школу.

Теперь, когда выросший на Урале завод-двойник зажил своей жизнью, в Верхневолжск вернулось немало квалифицированных мастеров, не было надобности работать по две смены. По вечерам отец с сыном оба садились за уроки: сын — за школьные, отец — за политучебу, к которой он, как и ко всякому делу, относился весьма серьезно. По воскресеньям вместе ходили в кино, а иногда и в городской театр. Но как бы ни был загружен их день, всегда находилась минутка, когда оба подходили к маленькому верстачку, и Арсений учил названого сына слесарничать. С каждым разом усложнял он уроки и, сидя рядом, требовательно следил за тем, как маленькие, еще слабые, но уже набирающие ловкость руки режут, пилят, шлифуют металл.

Жизнь Арсения Курова находила новое русло. Даже сны, в которых ему являлись то Мария, то ребятишки, сны, мучившие, растравлявшие душу, стали реже навещать его. К мастеру возвращалась прежняя общительность. «Орлы» замечали, что их хмурый, суровый начальник иногда, забывшись на работе, мурлыкает песенки. Заводские дружки радовались: оттаивает человек.

Но вот случилось событие, которое сразу разбередило начавшие поджививать раны Арсения Курова: на механическом появились немцы.

Собственно, это не было новостью. Пленные давно уже расчищали двор «Большевички» от завалов, разбирали руины, пожарища. Каждое утро целые колонны в шинелях грязно-зеленого цвета тянулись под конвоем к месту работы. Сначала их провожали настороженные, неприязненные взгляды, но понемногу к ним привыкли, стали смотреть с любопытством, а потом и вовсе перестали обращать на них внимание. А кое-кто из молоденьких работниц, возвращаясь со смены, не прочь был даже пококетничать с чужеземными парнями. И это бесило Арсения.

Однажды, натолкнувшись на подобную сцену, он, не стерпев, обругал девушек такими словами, что те подали на него заявление в партийную организацию. Коммунисты знали трагедию Курова. Его нетерпимость была понятна. Дело замяли. Но теперь немцы появились в цехах, и все сразу осложнилось.

Большинство их работало на строительстве приделка к механическому корпусу, но некоторые — механики по гражданской профессии — были допущены и к станкам. Одного из немцев — долговязого, сутулого, с лысоватой лобастой головой — определили в ремонтно-сборочный цех, под начало Арсения Курова. Звали его Гуго Эбберт, и, как сообщила появившаяся вместе с ним девушка-переводчица, до войны он был механиком на знаменитых заводах фирмы «Вомаг».

Арсений Куров почувствовал себя оскорбленным. Он тут же покинул цех, явился в кабинет директора завода и заявил:

— К черту! Или я, или он,— двоим нам в цеху места нету!

Директор в этом деле проявил твердость. Завод остро нуждался в квалифицированных кадрах, а ремонтно-сборочный цех особенно — одни подростки. Все труднее поспевать за расширяющейся из месяца в месяц программой. И вообще Куров должен понять, что в цех пришел не гитлеровский солдат, а немецкий рабочий. Квалифицированный рабочий, каких так не хватает заводу.

— Значит, не уберете его?

— Нет.

— Ну, так провалитесь вы все вместе с этим фашистским огрызком! — сказал Арсений, багровея. Повернулся и, не попрощавшись, вышел из кабинета.

На следующий день директору доложили: мастер Куров на работу не вышел. Тотчас же послали к нему домой ку-

рьера. Тот вернулся смущенный. Бюллетеня мастер не показывает, лежит на откидной своей койке сильно выпивший, терзает гитару и поет «Последний нонешний денечек». Тут же вертится этот белобрысый мальчонка, что работал когда-то у Курова. Курьера мастер послал ко всем чертям, а когда тот сказал, по чьему приказу прибыл, то и директор был послан по тому же адресу.

По строгим законам военного времени прогул, да еще осложненный такими обстоятельствами, мог иметь серьезные последствия. Но Курова на заводе ценили, любили, а главное — знали. Курьеру намекнули, чтобы он забыл обо всем, что видел, а вечером у подъезда терема-теремка остановилась директорская машина, собранная заводскими умельцами из нескольких трофейных и потому прозванная «автомобиль десяти лучших марок». Директор сам поднялся на третий этаж и был встречен знакомым уже ему мальчуганом.

— Ну, орел, как там? — спросил он, вытащив мальчика на лестничную площадку.— Только не врать, я ему добра желаю.

Ростик и тут не удержался от привычки всех изображать. Пестрое лицо его мгновенно стало неподвижным, челюсть выдвинулась, он провел ладонью, будто расправлял усы, и просипел: «Легше под молот головой, чем с этим гитлеровцем рядом стоять». Видя, что гость даже не улыбнулся, мальчик укоризненно, с умудренностью взрослого, прошептал:

— Ну как вы там все не понимаете, что нельзя его рядом с немцами ставить!

Директор ничего не ответил, отстранил Ростика, открыл дверь в комнату, и оттуда в лицо ему шибануло кислой прелью дрянного самогона.

— Здорово, Арсений!

— Здравствуй, Константин.

— Вот что, Куров, под суд я тебя пока еще не отдал.

— Это почему же такая волокита? — В красных, набрякших глазах Курова засветилась недобрая усмешка.— Раз Куров дезорганизатор производства, отдавай. Мы с тобой рядом на тисках стояли, и не нуждается Куров в твоей, Костька, жалости... Нет... Да мне в тюрьме и легче будет, чем рядом с этим... Не теряй времени, судите! На работу я все равно не выйду.

Директор задумчиво стоял у окна, рассматривая ме-

таллический шестигранник, поднятый с верстачка. Он явно им любовался.

— Это что ж, неужели мальчонкина работа?

— Его.

— Способный, чертенок!.. В школу бегает?

— Бегает.

— И хорошо учится?

— Плохо. Трудно ему: столько пропустил... А это вот слесарит помаленьку.

— Его куда денешь, как в тюрьму пойдешь? Думал?

— Тебе не подкину, не беспокойся. Больше месяца отсидки по первости не дадут — перебьется. Самостоятельный.

Все у Курова оказалось обдуманным. Должно быть, решил он, как говорится, стоять насмерть. Директор положил шестигранник на ладонь, поднес к окну, стальной линеечкой померил.

— А вот тут он маленько соврал. Ей-богу! Чуть-чуть плоскость скошена.

— Где? Не может того быть!

Арсений взял пробу, повертел в пальцах, тоже посмотрел на свет и смущенно признался:

— А ведь верно... Расстроился я вчера с этим фрицем, просмотрел... А у тебя, Константин, глаз еще жиром не заплыл!

Директор ничего не ответил. Он зажал шестигранник в тисочки, выбрал на стене подходящий подпилок, как бы прицелился. Движения были точны. Арсений достал из кармана трубку, но не закурил.

— Не забыл тиски-то?

— На шестой разряд еще вытяну.— Директор бережно прошелся железной щеткой по подпилку, повесил его на место.— А может, все-таки перестанешь дурака-то валять? Мы с тобой старые коммунисты, в один день в партию подавали, помнишь, в ленинский набор?.. Кончай, а?

Арсений молча ткнул в сторону директора трубку, которую частенько показывал в таких случаях.

— Чего ты?

— Там изображено.

Директор, покачав головой, взял со стола свою мохнатую, из коричневого пыжикового меха ушанку.

— Вместе мы с тобой в партию подавали, и тяжело мне будет, Арсений, за исключение твое голосовать.

Куров встрепенулся:

— Это почему ж за исключение?

— А ты что ж, с партбилетом в тюрьму собрался?

Это был последний козырь. Бросив его, директор пошел к двери, но задержался. Поднял стоявшую у койки массивную, из-под шампанского бутылку, заткнутую еловой шишкой, откупорил, понюхал, брезгливо сморщился, поставил на прежнее место.

— Экую дрянь пьешь! Слепнут с нее, говорят.

И ушел, не попрощавшись.

Утром Арсений все-таки появился в цехе. Он прошел в свой кабинетик и сидел там, небритый, взлохмаченный, вопреки обыкновению вызывал людей к себе и тут же, за столом, давал задания. Уже перед обедом вызвал девушку-переводчицу. Заявил ей, что с немцем он не только разговаривать, но и молча стоять рядом не желает. С утра он будет передавать ей для немца задания на целый день, а если тот чего не поймет, пусть объясняется через нее, а к нему не подходит во избежание недоразумений.

С того дня и началась для Арсения неудобная жизнь. Рядом работал этот высокий, сутулый, лобастый человек. Работал по-своему — неторопливо, но с умом. Задания выполнял с примерной тщательностью, и как ни придирчиво следил за ним Арсений, приходилось признавать, что делается все хорошо. Но сам немец для него не существовал. Мастер старался даже не глядеть на него. И если по ходу работы у них должен был произойти обмен мнениями, переводчица носила реплики от одного к другому, чаще всего когда они находились в разных концах цеха.

Это было нелепо, даже смешно. Но никто не смеялся. Уж на что любила позубоскалить «дикая дивизия», но, будто по уговору, и «орлы» не касались этой деликатной темы. Не все заводские люди разделяли чувства Арсения Курова, но все понимали их, и многие сочувствовали ему.

22

А в дом Шаповаловых тем временем постучалась новая беда. Собственно, беда ли, Ксения Степановна точно еще не знала. Вот уже полтора месяца, как от мужа перестали приходить письма. Сама она писала ему аккуратно каждую неделю. Если особо писать было не о чем, посылала открытку: «Жива, здорова, Юнона кланяется». Свои письма она нумеровала, и вот уже на шесть из них не было ответа.

Окружающие, как могли, успокаивали ее: фронт, может быть, почта застряла в весенней грязи. Бои идут, не до писем... Перебросили человека куда-нибудь к черту на кулички. Обживется на новом месте — напишет... Мало ли таких объяснений рождается в отзывчивом сердце, когда рядом мать, недавно потерявшая сына и, может быть, уже ставшая вдовой! Слова эти сначала утешали. Но повторялись они слишком часто и понемногу перестали действовать, как иногда не действует лекарство, когда к нему привыкает организм.

— Мама, ну как ты не понимаешь? Идут бои невиданного масштаба. Разве нашим воинам сейчас до писем? — убеждала Юнона.— И раздумывать об этом нечего. Кто же работать станет, если мы все в глубоком тылу будем в истерику впадать по всяким личным поводам?.. Выше голову, мама! На нас с тобой теперь вся фабрика смотрит.

Как всегда, она была права, эта спокойная, рассудительная Юнона, но ее такие логичные доводы совсем не утешали и не успокаивали мать. Теперь Ксения то и дело ловила себя на том, что дома она все время прислушивается. Шаркающие шаги старика почтальона она отличила бы среди сотен других. Ага, вот внизу хлопнула дверь! Почтарь? Женщина замерла. Шаги все выше, выше. Остановились, стучится к нижним... Вот счастливцы — кому-то письмо!.. Опять поднимается, слышен шорох. Это старик на ходу опирается о стену рукой. Ксения готова выскочить за дверь по малейшему стуку. Нет, миновал площадку, поднимается выше. Она тяжело вздыхает: опять мимо. Ну хотя бы словечко, хоть какая-нибудь устная весточка!

Теперь частенько прямо с работы, не заходя домой, она идет в госпиталь. Здесь ее уже полюбили за тихий нрав, за то, что умеет она терпеливо, с искренним интересом выслушивать бесконечно повторяющиеся рассказы о «чертовой этой ране», потолковать о новостях, необидно пожурить выздоравливающую молодежь за ночные исчезновения через окошко, за алкогольный дух, которым нет-нет да и пахнёт в той или другой палате с тех пор, как слег строгий Владим Владимыч.

Попробовал бы кто-нибудь из посторонних читать такие нотации! А Ксению Степановну даже госпитальные забияки, с какими, по словам сестер, «сладу нет», слушают, опустив глаза, конфузливо бормоча: «Виноват, исправлюсь, мамаша». «Мамаша» — это утвердилось за ней в

госпитале. Зовут ее так все, даже те, кто постарше ее возрастом.

Вот тут-то, в этой большой, томящейся вынужденным бездельем, занятой своими недугами и потому порою весьма раздражительной семье, в заботах о чужих сыновьях и чужих мужьях, Ксения Степановна глушила тоску по собственному сыну и беспокойство за собственного мужа. Именно здесь, где всем было понятно, что неспроста солдат Шаповалов так упрямо «играет в молчанку», находила она наиболее убедительные утешения: «Мамаша, другой раз по месяцу, по полтора в баню сходить некогда, где уж тут письма писать!.. Может, из одной части в другую его перекантовали. Потерпите, мамаша. Вот помяните слово — почтарь сразу пачку целую приволочет!»

Но, утешая ее, опытные воины понимали: дело плохо. Один офицер будто бы невзначай узнал у Ксении Степановны номер полевой почты мужа. Раненые тотчас же коллективно написали комиссару части. И вот пришел ответ. Комиссар извещал коллектив раненых, что в момент сильной вражеской контратаки пулеметчик Шаповалов Ф. вместе со своим вторым номером остался в окопе прикрывать отход. Потом пулемет его смолк. А когда часть нанесла контрудар и вернула позицию, ни пулеметчика Шаповалова, ни его второго номера в развороченном снарядом окопчике-дворике обнаружено не было. Под песком, выброшенным из воронки, отыскали лишь искореженный разрывом пулемет. Оба, Шаповалов Ф. и его напарник, зачислены в список без вести пропавших.

Большинство палат было посвящено в историю запроса. Страшный для «мамаши» ответ подействовал на всех угнетающе. Кто решится сообщить его Ксении Степановне? Были в госпитале воины разных родов оружия, были пехотинцы и танкисты, артиллеристы и летчики, были саперы и разведчики — люди, в силу своей воинской специальности умевшие рисковать жизнью. А вот сообщить Ксении Степановне полученный ответ храбреца не нашлось. Все посматривали друг на друга. И когда высокая, худая, выглядевшая еще более бледной от белизны косынки женщина появилась в коридоре, палаты точно вымерли, никто не позвал ее, как обычно: «Мамаша, к нам».

Ксения Степановна заметила это и вся сжалась от тяжелого предчувствия. Тогда, гремя костылями, подошел к ней маленький пожилой солдатик, самый тихий, самый

незаметный. Он просто отдал ей письмо, легонько пожал руку у локтя и сказал шепотом:

— Держись, мамаша!

Ксения Степановна шарила по карманам и никак не могла найти очки.

— Ну, прочтите же кто-нибудь! — со стоном вымолвила она, не обращаясь ни к кому в отдельности.

Ей прочли. Наступила тишина. Ксения Степановна сидела на табурете, не различая коек. Все плыло по кругу.

— Нашла о чем горевать! — раздался наконец чей-то голос.— Без вести пропал! Это ж бывалому солдату тьфу! Сколько таких случаев! Отрапортуют: пропал, не вернулся с задания. А завтра является: подай мою пайку табаку.

— Это ж не в Германии, на родной, чай, земле. Я сам в окружении два месяца пробродил. Окружение — та же война. Всего и беды, что махорки нет да стеклом бриться приходится.

— Нет, нет, вы не волнуйтесь, мамаша, мы сейчас запросим у комиссара подробности,— слышалось со всех сторон.

— Точно еще ничего толком и не известно... Вот «смертью храбрых» — это плохо, ранен — тоже не баско, а «без вести» — ничего, целее будет. Кабы сачок какой неопытный, ну, тут еще можно поволноваться — и в лесу заблудится,— а тут бывалый солдат, фронтовик...

Ксения Степановна не различала, кто это говорил, но голоса были полны такой заботы, что она не выдержала.

— Милые вы мои! — как-то по-старушечьи всхлипнула она и закрыла лицо руками.

Вот в эту-то минуту и вбежала в палату сестра Калинина. В госпитале у нее была своя, особая известность. Обычно появление ее в неурочный час весело приветствовалось. Но тут никто даже и не взглянул на нее. Круглое, обрызганное родинками лицо приняло недоуменное выражение: что означает такое невнимание? Но тут она увидела плачущую Ксению, и та, другая Прасковья Калинина, что ухитрялась уживаться в ней с легкомысленной, языкастой Панькой, разом вышла на белый свет.

— Ксенечка, родная, чего вы?

Палата, привыкшая видеть сестру Калинину в ином обличье, наперебой принялась объяснять:

— Вот мы ей, сестрица, толкуем: целые дивизии без вести пропадали. Побродят в окружении, а потом через

фронт пробьются, даже с артиллерией... А тут один человек!

— Паня, они меня не обманывают? — спросила Ксения Степановна, вытирая кончиком косынки глаза.

— Ну что вы, Ксенечка! Кто ж это посмеет? Это ж фронтовики!

И, хлопнув вдруг себя ладошкою по лбу, сестра Калинина вскрикнула:

— Батюшки, у меня, наверно, начинается склероз сосудов, все-все стала забывать! Ведь я же за вами, Ксенечка. Владим Владимыч вас к себе просит.

23

Инфаркт случился у Владим Владимыча так. Утром в город прибыл санитарный поезд. В госпитале и без того было тесно. Пришлось вносить новые койки, размещать их в читальнях, занимать под палаты красные уголки. Старик командовал, хрипло бранился, очень устал. Вечером прилег раньше обыкновенного и попросил его не беспокоить. Но срочно потребовалось проконсультировать какой-то сложный случай. К нему постучали. Возле носилок с раненым врач покачнулся и, опираясь о стену, медленно опустился на пол.

Он сам поставил себе диагноз: инфаркт миокарда,— сам отдал соответственные распоряжения. Со всеми предосторожностями его подняли, перенесли в кабинет, уложили на койку. В этот же вечер опытнейшие врачи города устроили консилиум. Старик не терпел медицинских мудрствований. Совещались заочно, а потом самый уважаемый из них пришел к больному сообщить назначение консилиума. Владим Владимыч лежал под одеялом, грузный, неподвижный, весь как-то сразу оплывший. Только черные глаза с белками кофейного оттенка, казалось, одни и жили на восковом, одутловатом лице. Но как они жили, эти глаза! Они встретили посланца консилиума озорным, насмешливым блеском. Они сделали ему знак: наклонись!

— Покой, да? — хрипло, как бы спотыкаясь посредине слов, зашептали толстые, потрескавшиеся губы.— Никаких волнений? Ничего, что может встревожить? Так?.. Полная изоляция от любых раздражителей?

— Да, так, и нечего тут иронизировать, неистовый ты человек,— ответил посланец консилиума, поеживаясь под насмешливым взглядом больного.

Черные глаза опять сделали знак наклониться.

— К чертовой матери, слышишь? Унесете отсюда — подохну. Сразу подохну. Так и знайте, назло вам, колдунам.

Его оставили лежать тут же, в кабинете. По утрам ему по-прежнему докладывали о госпитальных делах. Иногда знаками, иногда шепотом он отдавал распоряжения.

Ксения Степановна, разумеется, обо всем этом уже знала. Знала и о том, что в той части коридора, куда выходила дверь из кабинета Владим Владимыча, сам собой установился особый режим. Даже наиболее яростные бунтовщики против госпитальных порядков здесь говорили шепотом. Раненые, которым приходилось ходить мимо кабинета на электризацию, обматывали марлей концы костылей. Удивительно ли, что, открывая обитую дерматином дверь, прядильщица волновалась!

Кабинет был освещен затененной лампой, и ей сразу бросились в глаза пухлые, все в темных конопушках старческие руки, лежавшие поверх одеяла, и лишь потом — восковое лицо.

— Здравствуй... советская власть,— тихо произнес хрипловатый голос.

— Не шевелитесь, не шевелитесь! — с ужасом вскрикнула Ксения Степановна, видя, что Владим Владимыч делает попытку подняться на локте.

На неподвижном лице появилась тень самодовольной улыбки.

— Ничего, теперь... можно. Даже Володька Шмелев... известный перестраховщик и трус... разрешил... «ограниченные движения»... Ограниченные движения! Ты слыхала... как надо мной... издеваются! Я его из паршивых практикантишек в какие врачи... вытащил. В светила, подлец, лезет, а мне — «ограниченные движения».

Владим Владимыч оставался самим собой. Это, разумеется, порадовало бы Ксению Степановну, если бы новое горе, свалившееся на нее, не поглощало сейчас всех ее мыслей.

— Что нос... повесила? — хрипел Владим Владимыч.— Говорят, мужик... без вести... пропал? Кабы он у тебя вертопрах какой был, тогда... худо, осел бы возле какой-нибудь бабенки... и сидел в зятьях. А твоего Филиппа... я знаю... Он к тебе из преисподней... пробьется... Без вести!.. У меня тут один... сейчас еще лежит... пехота... три раза...

без вести... пропадал... Ей-ей!.. Мужчина геройский... А рана... черт-те что... сидеть... не может. На судно его, как шкаф... вчетвером подымают... Так вот спроси его... трижды без вести... пропадавшего...

Он был такой же, этот неугомонный Владим Владимыч, только голос его во время беседы становился все тише, тише и как бы угасал. Последние слова Ксения Степановна не столько услышала, сколько угадала по движению вспухших, потрескавшихся губ. Жалость к человеку, что лежал сейчас перед ней, грузный, неподвижный, как-то отодвигала личное горе. Вот голос угас. Восковые веки устало прикрыли глаза. Но когда прядильщица поднялась, чтобы выйти, глаза сразу открылись.

— Куда... бежишь? Было время... бабы... глаз не сводили: «Владим Владимыч...» А ты поскучать со мной... не хочешь.

— Да что, я только боюсь...

— Ладно, ладно... Поверни-ка... меня на бок.

Ксения Степановна, с трудом приподняв больного, помогла ему повернуться. Пружины больничной койки стонали, потрескивали — так он был тяжел.

— Спасибо... Я думал, мои тут тебя... за чины... хвалят... Как же, по царской мерке ты вроде... сенатор. А ты и в самом деле ловкая... сиделка. Сядь-ка, чтоб я тебя видел, а то будто с потолком... говоришь... Вот все лежу... думаю. Знаешь, о чем? Испохабил Гитлер приличную... нацию. Каких людей миру... дали: Рентген, Кох, Вирхов... А сейчас: матка, яйка, матка, курка... И этот... свиной хрюк — хайль... Библиотека у меня... была... терапевтическая. На трех языках... Всю жизнь собирал. На русском... на немецком... на французском. Огромная! Три комнаты... занимала... Как начался из города... исход, бросил я у порога связку ключей и записку на дверь... прибил... «Господа гитлеровцы, прошу, когда... будете грабить квартиру... не трогайте книг». Что же? Вернулся — пусто. И книги, и полки — все... сожгли. Лень было в сарай... за дровами ходить... Вот как... А за Филиппа не бойся... мастеровой... золотые руки... Мастеровой везде нужен... не пропадет!..

— Ох, не станет он, Владим Владимыч, на них работать, тихий он, а в таких делах кремень!

— Ну, бог даст, к ним и... не попадет. Выйдет, как тот, который в это самое... ранен.

Опять устало закрылись глаза, живость которых все

время как бы спорила с неподвижностью оплывшего лица. Это противоречие между неукротимым духом, светившимся в них, и немощным, неподвижным телом было так мучительно видеть, что Ксения Степановна, не боявшаяся зрелища самых страшных ран, старалась смотреть в сторону.

— Отдохнуть бы вам, Владим Владимыч, в покое,— тихо сказала она.— Разве вам тут, в госпитале, дадут?

— Что? — Глаза опять раскрылись и сверкнули сердито.— Кто научил? Володька Шмелев? Его песня. И кто мне это... советует? Ты ж сама вся... в работе. Выколупни меня... отсюда, завтра... околею: улитка... без раковины... Нам с тобой тишина... противопоказана. Тишина хороша... на кладбище. Только на... кладбище.

Это вырвалось как стон. Потом тяжелая, будто водой налитая, рука отделилась от одеяла, помаячила в воздухе, протянулась к собеседнице и легонько пожала худую, жесткую руку работницы.

— Я тебе вот что... назначаю: на людях будь... Хочешь — ночуй тут, в дежурке, я прикажу... устроят. А теперь... ступай.

Ксения поднялась, бесшумно шла к дверям, а сзади слышался хриплый шепот:

— Ничего... найдется... не вешай голову.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

День с утра завязался ясный — один из тех летних дней, когда даже тут, на старой промышленной окраине Верхневолжска, земля дышит ласковым теплом и сквозь торфяную гарь, сквозь острый дух химических смесей, что гонят вентиляторы из красильной и ситцепечатной, сквозь затхлые запахи стоящей воды, густо испаряемые в жаркую пору речкой Тьмой, нет-нет и пахнет сеном, разогретой сосновой смолой, ароматом цветущего луга. Легкий ветерок носит по размякшему асфальту бумажки и окурки. Ослепительно сверкают потолочные перекрытия ткацкого корпуса. Дым труб, как бы растворяется в небесной голубизне, не пачкая ее. И над фабриками, где тысячи людей прядут, ткут, белят, красят и набивают ткани, над печальными, уже зарастающими травой руинами резко попискивают, предвещая хорошую погоду, быстрокрылые, едва различимые в полете стрижи.

Собираясь на работу, Анна Калинина дала себе слово управиться с делами пораньше, чтобы во второй половине дня сходить с ребятами в лес. В семье это была давняя мечта. Но у секретаря парткома всегда возникают дела, которые трудно заранее предусмотреть. Поход переносился с недели на неделю. Самолюбивая Лена перестала о нем даже и заговаривать, и лишь Вовка, все еще не потерявший веры, каждое утро начинал с фразы:

— Мама, а в лес?

Сегодня Анна дала слово не только ему, но и себе. Утром она пересмотрела свой день, кое от чего отказалась, кое-что перенесла на завтра. Чтобы окончательно отрезать пути к отступлению, она с фабрики позвонила домой, и когда в трубке солидный Вовкин басок произнес: «Владимир Калинин слушает»,— попросила ребят уложить в корзинку что-нибудь из еды и ждать ее. Сегодня-то уж они пойдут обязательно!

Но тут случилось происшествие, над которым потом долго смеялись все три фабрики «Большевички» и механический завод в придачу. И косвенной виновницей оказалась Анна Калинина, которую с некоторых пор Северья-

нов ставил иногда даже в пример как секретаря парткома, творчески относящегося к работе, как чуткого к людям массовика.

Теперь, когда гитлеровские войска развертывали на юге большое наступление и обстановка на фронтах с каждым днем осложнялась, на фабриках много разговоров было о втором фронте. Сначала с ним связывалась большая мечта о быстром совместном ударе по Гитлеру, ударе, который сразу решил бы судьбу войны. Потом надеялись, что союзники, развернув активные действия, хотя бы оттянут на себя часть неприятельских сил. Наконец, когда и этого не произошло, стали ожидать, что союзнические войска скуют противника, отвлекут его, дадут Красной Армии подготовить новый удар. Но о втором фронте попрежнему не было ни слуху ни духу, а между тем сводки Совинформбюро становились все тревожнее: немецко-фашистские войска, поддержанные итальянскими, венгерскими, словацкими и даже испанской дивизиями, продолжали широкое наступление в донецких степях, возобновили яростный штурм Ленинграда, развертывали уже активные операции и тут, в верховьях Волги.

По вечерам, собравшись на кухнях общежитий, местные стратеги строили всякие, главным образом нерадостные, догадки: нарочно затягивают, пусть, мол, советский народ кашу сварит, а потом и мы с ложками подойдем. Жди от них помощи: ворон ворону глаз не выклюет! Разговоры эти влияли на настроения людей, и, чтобы их нейтрализовать, решено было провести в цехах беседы о втором фронте.

Проинструктировавшись в городском парткабинете, подобрав газеты, кое-что подчитав, Анна сама собрала у себя фабричных агитаторов. Лужникову предстояло проводить беседу в приготовительных цехах, где работали почти исключительно женщины и где, как это Анне точно было известно, насчет второго фронта особенно много судачили и невесело острили. После инструктажа она задержала механика:

— Вы старый коммунист, заслуженный человек, Гордей Павлович, и всегда помалкиваете, обмякли, жирком обросли. Встряхнитесь, пора! Я вас нарочно на самый трудный участок направляю. Вот сегодня себя и покажите.

Лужников сидел, расставив колени, тщательно рассматривая кепку, которую крутил в своих больших руках,

Изредка он бросал на секретаря партбюро быстрые взгляды, но тотчас же опускал глаза.

— Это вам вроде экзамена будет, не подведете?

— Постараюсь, Анна Степановна. Только тема-то для меня... Ну, попробую!..

Анна побывала на двух таких беседах и, довольная, возвращалась в партком, когда ее догнала взволнованная Феня Жукова.

— Ну? — встревоженно спросила Анна, поняв, что случилось что-то скверное, и уже догадываясь, что это как-то связано с новым агитатором.

Так и оказалось. Лужников аккуратнейшим образом подготовился, явился в цех с пачкой газет, подошел к покрытой кумачом трибуне, подождал, пока все угомонятся, и начал доклад. Он веско, со знанием дела, рассказал о значении антигитлеровской коалиции свободолюбивых народов, об Англии и Америке, вступивших в войну, о будущих возможностях Франции. Лестно отозвался он о храбрости английских солдат, зарекомендовавших себя еще в первой мировой войне, и о могуществе американской промышленности. Но когда он перешел к разъяснению важности переговоров, проведенных между главами союзных правительств, резкий женский голос нетерпеливо перебил его:

— А второй фронт будет?

Прерывая сообщение, докладчик ответил:

— Разумеется. Раз есть коалиция и есть внутри нее соглашение, должен быть и второй фронт.

— А когда? — требовательно спросил другой голос.

— Когда рак на горе свистнет,— отозвался первый в самой иронической интонации, и слова эти были покрыты еще не громким, но довольно дружным смехом.

— Товарищи, товарищи, так у нас ничего не выйдет! — стуча по графину ключами, останавливала смешки пожилая мотальщица, секретарь цехового партийного бюро.— Как же товарищ Лужников будет нам рассказывать о втором фронте, если вы его с мест клюете?

Докладчик перебирал свои листки, а слушатели шумели все напористее.

— Ты бумажками не шурши! Ты скажи нам, когда он откроется, второй фронт! Ответь, и мы домой пойдем, нас дети ждут!..

— Ну, я же говорю, что должен открыться. Для чего ж приезжал британский премьер-министр господин Уин-

стон Черчилль и этот специальный уполномоченный американского президента господин... ну, как его?..— Лужников морщил лоб, стараясь вспомнить позабытую в волнении фамилию, и, не вспомнив, сказал: — Ну, имя неважно... Словом, второй фронт должен открыться. Ясно?

— Это когда мы кровью изойдем, да?

— А может, они там с Гитлером снюхались. Через этого, ну как его, который в Англию на самолете-то улетел? Или думают: пускай, мол, воюют между собой немец с русским, а мы филонить будем!.. И так и так выигрыш к нам в карман!

— Стойте, стойте... Да замолчите ж вы наконец! — отчаянно крикнул Гордей и этим на мгновение заставил притихнуть расшумевшееся собрание.— Как это можно так о союзниках? Они в порядке помощи нам боевую технику поставляют, продовольствие...

— Колбасу «второй фронт»! — звучно донеслось из зала.

— Яичный порошок «улыбка Черчилля»!

— Слушайте, да вы что? Премьер-министр Великобритании господин Уинстон Черчилль...

Тут из рядов выскочила худая, желтолицая Зоя Перчихина, подбежала к трибуне, схватила механика за лацкан пиджака и пронзительно закричала:

— Моего Митю убили!.. Спроси их, всех спроси, у кого кто есть на фронте... Эй, у кого на фронте сын, муж, брат, милый, поднимай руку!

Все собрание ощетинилось дружно поднятыми руками. Председательница с трясущимися губами колотила по графину, но звук этот не был даже и слышен в сплошном гуле. Графин разбился, вода хлынула по кумачу, застилавшему стол. Но и этого никто не заметил.

— У нас люди воюют, а у них свиная тушенка?!

И опять Перчихина, пронзительный голос которой перекрывал шум, трясла за лацкан злополучного агитатора:

— Может, он весь наш народ перевести задумал, Черчилль, а тут ты про него — премьер-министр, премьер-министр!.. Нашел дружка... Защищает!

Тут не вытерпел Лужников. Будто девочку, поднял он Перчихину за локти и отставил в сторону.

— Это мне Черчилль друг? — спросил он, шагая прямо в ряды.— Да я этого Черчилля с восемнадцатого года знаю, вот, глядите! — Он рванул на себе рубаху так, что

галстук отлетел прочь и пуговицы посыпались на пол. На груди механика, чуть ниже вытатуированного якоря, виднелся звездчатый рубец.— Его памятка — английская пуля на два пальца от сердца прошла и сейчас там катается... Вот какой он мне друг.

Аудитория удовлетворенно зашумела:

— Верно... Это разговор!

Лужников был вне себя. Он позабыл про инструктаж, про обещание, данное Анне. Это был снова матрос-братишка, что ходил когда-то по революционному Питеру, перепоясанный пулеметной лентой, с красным бантом и карманами, оттопыренными гранатами.

— Да я с этим другом, если прямо говорить, под один куст... папиросу выкурить не сяду... Друг...

— Так чего же ты тут за него распинаешься?

Но вспышка проходила. Лужников брал себя в руки. Все еще тяжело дыша, он пытался дрожащими руками застегнуть рубашку.

— Я разве его защищаю? — говорил он уже другим голосом.— Но вы вот тут подумайте... Мы сейчас со всей гитлеровской шатией один на один воюем. Весь фашизм на нас походом пошел. Вся промышленная Европа его вооружает. Так вот спасибо союзникам хоть за то, что они нас за ляжки не хватают, торгуют с нами, оружием, продовольствием нам помогают.

— Вот это еще резон,— послышалось из зала.

Собрание угомонялось и заметно добрело.

— А свиная тушенка что же, неплохой продукт, ложки две в щи положишь — и уже не пустые.

— Две мало, три надо.

Несколько успокоившись, председательница собрания, с сокрушением поглядывая на разбитый графин, ладонью осторожно сгоняла со стола воду.

— А что касается союзников,— продолжал Лужников, стараясь поправить дело,— мы им так и скажем: не хотите открывать второй фронт — не надо. Не откроете — один на один всех гитлеровцев разобьем, потому что война эта для нас народная, отечественная, и есть у нас наша славная большевистская партия. А партия — это победа... Словом, как раньше говорили: братишки, даешь Берлин!

Все это вырвавшееся из глубины души Лужников произнес с таким подъемом, что собрание проводило его аплодисментами. Сам же агитатор вдруг почувствовал такую

усталость, будто все кости его превратились в вату. В партком он шел, мучительно обдумывая совершившееся. Осрамился, опозорился... Послали человека укреплять веру во второй фронт, в прочность антигитлеровской коалиции, а он... Дернул же черт сорваться с этим Черчиллем!.. Тихо раскрыв дверь, он увидел Анну, нетерпеливо шагавшую по комнате, и застыл на пороге. Анна остановилась, смерила Лужникова насмешливым взглядом.

— Эх ты, матрос... с разбитого корабля... Хватим мы теперь с вами горя... Улица смех любит...

Лужников ушел, ни слова не вымолвив в свое оправдание. Анна принялась обдумывать, как ей информировать райком об этом происшествии так, чтобы не привлечь к нему особого внимания. Впрочем, она не сомневалась, что слух уже разлетелся по комбинату. Значит, теперь в любом докладе, посвященном агитационной работе, партком ткацкой будет фигурировать, как говорится, «со знаком минус», а фабричные остряки сложат о Лужникове еще одну веселенькую историйку, где, чего доброго, будет в качестве действующего лица и она, Анна Калинина. Но еще больше Анна опасалась языка Северьянова: уж он-то при случае поязвит... И все-таки рассердиться по-настоящему на незадачливого агитатора она не могла, ибо и сама в глубине души испытывала по отношению к союзникам те же чувства, те же подозрения и опасения.

Пока звонили в райком, в горком, пока писалась докладная, время шло. Когда Анна выходила с фабрики, солнце уже валило на закат и золотило дымы, танцевавшие по гребешкам труб теплоэлектростанции. С одной из скамей в сквере перед фабрикой ей навстречу поднялась грузная, медвежеватая фигура.

— Анна Степановна, два слова,— застенчиво произнес Лужников.

Вид у него был такой виноватый, что Анна вдруг рассмеялась, да так, что на глазах выступили слезы.

— Пламенный агитатор! — с трудом выговаривала она сквозь смех.— Сеятель разумного, доброго, вечного...

Лужников переминался с ноги на ногу.

— Мне надо с вами поговорить, я объясню...

— Ладно, по дороге расскажете... друг Уинстона Черчилля.

Они пошли рядом. Был предсумеречный час, когда фабричный двор обычно бывает малолюдным. Но на перекопанных пустырях, лужайках, газонах, меж асфальтиро-

ванными проездами и мостовыми — всюду были видны женщины в майках, в лыжных штанах. Они возились на грядах, рыхлили землю, пололи, поливали...

Анна по обыкновению шла быстро. Лужников едва поспевал за ней. Он принялся было оправдываться, но она остановила — хватит. Он стал доказывать, что хорошо подготовился, собрал большой материал. Она ответила: «Знаю». Стал просить другую партийную нагрузку, куда угодно, на любое дело, только не агитатором. Анна засмеялась:

— Ну что ж, заявляйте парткому, поддержу...

Как-то не заметив, прошли они остановку, где Анне надобно было садиться на трамвай, и пешком двинулись вдоль рельсов. Анне казалось, что, беседуя с коммунистами, она только выполняет долг секретаря парткома. Но дело было не в этом. Летний вечер был так хорош, так тепел, с грядок, что лежали справа и слева от тротуаров, так приятно тянуло запахами политой земли, что хотелось пройтись и чтобы рядом был человек, пусть даже не собеседник или слушатель, а просто симпатичный человек, с которым можно хотя бы помолчать.

Так и шли они, обмениваясь редкими, ленивыми фразами. Незаметно разговор свернул на партийные дела, оживился. Лужников, всегда такой незаметный на собраниях, вдруг оказался довольно сведущим во всех этих вопросах. Выяснилось, что до того, как заболела его жена, он не один срок был секретарем партийного бюро на небольшой фабрике под Ивановом. Да и по всем событиям сегодняшнего дня он, оказывается, имел свои твердые, обдуманные суждения. А Анне так часто недоставало спокойного мужского совета, не с кем было в дружеской беседе обсудить тот или иной замысел.

Сами не замечая того, они двигались все медленнее и медленнее. Так, за беседой, незаметно дошли до дома Анны. Остановились у крыльца, о чем-то доспоривая, и вдруг до них донесся полный обиды, плаксивый голосок:

— Мама, а лес? Ты же звонила...

Это Вовка. В курточке и длинных штанишках, в башмаках на толстой подошве, он явно собрался в поход. Заплаканные, опухшие глаза сердито смотрели на смущенную мать. Поодаль в тени крыльца стояла Лена. В руках она держала корзиночку, обвязанную салфеткой. И где-то в подъезде угадывался Ростик... Разом обо всем вспомнив,

Анна даже вскрикнула. Потом бросила на механика сердитый, раздраженный взгляд.

— А все из-за вас... Златоуст!

2

Когда Галка принималась мыть полы, это для всей семьи становилось событием. В нехитрое дело она вносила столько страсти, что стоило внучке взяться за тряпку, как бабушка, уважавшая всякий труд, обычно забирала с собой очки, газету и немедленно покидала комнату. Деда же, если тот пытался, например, дослушать радиопередачу, загоняли на кровать или на сундук и заставляли покорно сидеть там, пока процесс поломытия не завершался.

Вот и в эту субботу, выставив стариков из комнаты, Галка притащила ведро теплой воды, вооружилась тряпкой, карщеткой, а чтобы не было скучно, включила репродуктор на полную силу и принялась за дело. Радио передавало старинные вальсы. А в какой же из девушек, даже если ей едва минуло семнадцать лет, эти мелодии не будили приятные воспоминания и еще более приятные мечты! Проворно действуя тряпкой, плеща, собирая воду, оттирая карщеткой малейшие пятнышки, Галка ухитрялась отдавать дань и музыке, и ее маленькие, розовые от воды ножки, совершая короткий путь до ведра, успевали произвести одно, два и даже три па.

Она так увлеклась всем этим, что когда чей-то голос весело произнес вдруг: «Браво, великолепно!» — он произвел на нее впечатление грома, грянувшего среди зимы. Галка обернулась и издала тоненькое «ай». У двери стоял, улыбаясь, среднего роста человек в складно сшитой военной форме без знаков различия. Фуражку он держал в руках. Голова у него была седая, а худощавое лицо с прямым, с небольшой горбинкой носом выглядело совсем молодым. Карие глаза смотрели куда-то вниз, на голые коленки девушки, и откровенно посмеивались.

— Восхитительная сцена из балетной сюиты «мытье полов»,— проговорил он, шагая через лужи на полу и оглядываясь, куда бы ему положить фуражку и полевую сумку.

Галка сердито одернула юбку, отвела согнутой рукой пряди волос, спадавших на покрытую бисеринками пота переносицу, и, не выпуская из рук тряпки, с которой текла грязная вода, шагнула прямо к незнакомцу.

— Вам что здесь надо?

— Мне? Знатную ткачиху Галину Мюллер,— ответил гость.— Если фотографии, публиковавшиеся в журналах, не обманывают, она передо мной. Ведь так?

Он пожал Галке руку повыше локтя и отрекомендовался:

— Режиссер-оператор студии документальных фильмов Красницкий Руслан Лаврентьевич.

Галка опустила тряпку в ведро, вытерла руку о юбку и не без достоинства протянула ее.

— Галя,— представилась она и учтиво добавила: — Будем знакомы.

Тут же выяснилась потрясающая новость. Оказалось, что режиссер-оператор имеет от своей студии поручение создать короткометражный документальный фильм о почине молодых ткачих «Большевички» и что героинями этого фильма должны стать Галина Мюллер и ее соратница Зинаида Кокина. Идея — показать всему миру, как советские люди в дни войны тут, в глубоком тылу, куют оружие победы.

— Но ведь мы не куем оружие победы, мы ткем бязь кальсонную,— сочла долгом уточнить Галка.

Но Красницкий пояснил, что выражение это он употребил фигурально. Он заявил, что фильм должен быть снят срочно, потому что вскоре его группе предстоит лететь через фронт снимать документальную киноповесть о верхневолжских партизанах, и попросил девушку сейчас же ознакомиться с планом сценария.

Голова у Галки пошла кругом. Сниматься для кино — это же потрясающе интересно! Оставив посреди комнаты ведро и тряпку, она упорхнула за занавеску, сбросила юбчонку, майку, переоделась в пестрое крепдешиновое платье, шелковые чулки, туфельки и, взбив, елико возможно, и без того пышные волосы, уже в новом виде предстала перед представителем могущественнейшего из искусств.

Обладатель серебристой седины оказался человеком подвижным, деятельным, бывалым. Пока Галка переоблачалась, он успел выставить в коридор ведро и тряпку. Появившись из-за занавески, девушка застала его сидящим за столом и перебирающим какие-то свои, извлеченные из сумки бумаги.

Сценарий был не слишком замысловат. Подружки, весело переговариваясь, спешат на работу — массовая сцена.

Они же сидят в клубе, обдумывая свою затею,— крупный план. Девушки у станков начинают борьбу за экономию сырья — массовая сцена. Молодые друзья и комитет комсомола поздравляют их с первыми успехами. Им подносят цветы — массовая сцена.

— Никакой комитет нас не приветствовал, и цветов нам не подносили. Тюря даже об этом и не знала.

— Простите, кто не знал?

—Секретарь комитета комсомола. И цветы... Откуда ж в ту пору цветы?

— Это не ваша забота, цветы за мной... А без приветствий — нет, это нельзя.— Режиссер-оператор даже засмеялся, показав два ряда белых ровных зубов.— Нет, нет, Галя, приветствие и цветы, все, что положено, будет... Потом эпизод в клубе. Вы с вашей подругой танцуете, и все вам аплодируют — массовая сцена.

— Но ведь клуб наш сгорел! Нет его. А «огрызок» — разве его можно людям показывать?

— Ничего, ничего, клуб — это не ваша забота... Впрочем, вы правы, раз сгорел, пожалуй, неудобно. Тогда парк. У вас тут я видел чудесный, тенистый парк... Играет музыка, вы носитесь в вихре вальса... Вы ведь любите танцевать, да? Я же по глазам вижу. Ну, давайте попробуем. Ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля!..

И, подхватив Галку за талию, общительный режиссер-оператор, подпевая, сделал с ней несколько кругов по комнате. Танцевать Галка любила. Серые глаза ее, совсем округлившись, сияли.

— Да, вы здорово танцуете! Принято, пойдет. А петь? Ведь фильм будет озвучен. Вы поете?

— А то нет! — заявила Галка.

— Да вы просто золото! Ну, спойте что-нибудь... Ну, не стесняйтесь, начали.

Галка на мгновение задумалась и вдруг, вся озорно просияв, пританцовывая, пошла по комнате, выкрикивая резким своим голоском:

Говорят, что я мала,
Я не отпираюся,
Но куда я ни пойду,
Нигде не затеряюся!

Столько задора было в этой маленькой, ладной, озорной девушке, что режиссер-оператор даже зааплодировал. Потом он вздохнул:

— Блестяще... но не годится. Частушка — это, знаете ли, не дойдет... Не современно. А что-нибудь классическое, ну, там какой-нибудь романс или арию из оперы?

Романсов и арий Галка не знала.

— Ну, ничего не поделаешь. Пошли дальше. Письма... Вы с подружкой, наверно, получаете уйму писем?

Что говорить, к созданию столь ответственного фильма знаменитая ткачиха отнеслась с энтузиазмом, но без должной серьезности. Красницкий со своей седой головой, разделенной ровным пробором, сам казался ей героем из какого-то фильма, шагнувшим прямо с экрана сюда, в общежитие, в «глагольчик», на «тети-Варин» конец. И этот человек приехал из Москвы с какой-то там группой и сложной аппаратурой только для того, чтобы снимать ее с Зиной! Не сон ли? Может ли это быть?.. Галка уже рисовала себе фильм. Вот его смотрят комсомольцы ткацкой... мама на фронте... Женя, вернувшаяся с выполнения особого задания... старший сержант Лебедев с его разведчиками в каком-то там блиндаже... Это же черт знает как здорово! И Юнона... Вот уж кто, наверное, лопнет от зависти!..

План сценария был утрясен за несколько минут. Девушка сама торопила режиссера-оператора и вызвалась даже показать ему засветло места будущих съемок.

Но Красницкий не спешил. Он посмотрел на свои золотые, на витом металлическом браслете часы, заявил, что времени хватит, и даже принялся рассказывать историю этих необыкновенных, уникальных часов с вечным заводом. Он купил их в Швейцарии, когда летел в Париж снимать павильоны Всемирной выставки. Диковинка успеха не имела — мысль о фильме целиком захватила Галку. И когда дед, которому надоело на кухне вычитывать из потрепанной книжки поучения какого-то древнего мудреца, пошел поинтересоваться, почему это обычно такая проворная внучка сегодня застряла с мытьем полов, он столкнулся в коридоре с незнакомым человеком и с сияющей Галкой, облаченной в самое любимое из своих платьев.

— Познакомься, дедушка, это режиссер-оператор товарищ Красницкий. Он будет снимать о нас фильм.— И, потихоньку подталкивая оторопевшего старика к незнакомцу, пояснила: — А это мой дедушка. Он лучший раклист, он сейчас единственный, кто умеет здесь печатать ситец в десять красок.

И она исчезла вместе с Красницким в полусумраке коридора, пахнув на деда ароматом духов «Жди меня», флакон которых она получила Первого мая на молодежном вечере как приз за лучшее исполнение стихотворения Константина Симонова того же названия. Посмотрев вслед уходящим, старик покачал головой: «Кино! Этого еще не хватало!» Он боялся, как бы у внучки не закружилась голова от шума, поднятого в связи с их начинанием, и как бы в конце концов она не оказалась пустоцветом.

Вымытая половина пола, темнея, резко контрастировала с недомытой. Старик сменил воду и принялся домывать. Он опасался, что раньше времени нагрянет строгая бабка и тогда уже всем достанется на орехи...

Девушка вернулась поздно, праздничная, возбужденная. Серые глаза ее неистово сияли.

— Ну, сняли тебя, чудачку? — спросила Варвара Алексеевна, невольно любуясь внучкой.

— Бабушка, уж что такое сексопил? — спросила Галка вместо ответа, вертясь перед зеркалом, принимая различные позы.

— Сексопил? Не знаю, не слыхала... А тебе на что? — настороженно спросила Варвара Алексеевна.

— Руслан Лаврентьевич несколько раз это слово повторял, а я уж не знаю. Вот «фотогеничная» — это ясно, это значит — здорово на кино выходишь. А сексопил... Так уж и тянуло спросить, да неудобно серость свою показывать... У него машина-вездеход, какой-то приятель-генерал ему подарил. Он сам водит. Только не удобная, того и гляди вылетишь из нее.

— Ну, а как он там вас снимать-то будет, рассказывай,— торопливо встрял в разговор дед, заметив, что жена поджала губы и настороженно поглядывает на внучку.

— Ой, мы еще только наметили план съемок! Вы знаете, он в скольких странах был, Руслан Лаврентьевич! Он уж даже в Монголии жил! А часы у него с вечным заводом. И слушайте, слушайте, он говорил, что меня будет снимать в фас, крупным планом, а Зинку только в три четверти. У нее уж, оказывается, фаса нет... Ведь это только подумать — нет фаса!

Галка была в упоении; пританцовывая, она сновала по комнате, рылась в своих вещах, примеряла то одно, то другое, то третье платье, неустанно тараторила, и все время слышно было: «Руслан Лаврентьевич... Руслан Лав-

рентьевич... Руслан Лаврентьевич...» Бабушка хмурилась все больше.

— Вот что, Галина,— сказала она наконец, сердито постукивая по столу пальцами.— Кино — это дело великое. Только вы с Зиной не воображайте, что вы какие-то там фотогеничные. Ничего в вас такого нет, обычные фабричные девчонки... Заметила вас партия, подняла, знают вас люди. Но помни, девка,— не для вас это, для народа, для страны вас подняли. И смотри у меня, нос не задирай... А этот, как его, сексопил-то, если что, я и тебя не пожалею, к ним в студию прямо в партком напишу, что он, вместо того чтобы дело делать, глупым девчонкам головы кружит...

Галка даже руками всплеснула.

— Что ты, бабушка! — с ужасом вскрикнула она.— У него жена красавица! Он мне карточку показывал: глазищи — во, брови — во! Из-за нее какой-то генерал даже стреляться хотел, но раздумал и запил. А я... Да он на меня и не смотрит, я ему для фильма только и нужна...

В дверь постучали.

— Кто? — спросил дед.

— Это я,— ответил женский голос.

— Никак, Татьяна?! — с сомнением и радостью воскликнул Степан Михайлович, вскакивая, чтобы открыть дверь.

Но, опередив его, со страшным визгом к двери неслась Галка.

— Мама!

На пороге стояла рослая, круглолицая, лет сорока женщина в форме майора медицинской службы. Не было в ее облике ничего военного: вместо кителя или гимнастерки — платье защитного цвета, пилотка надета как чепец. Повиснув на шее у матери, Галка целовала ее в губы, в щеки, в глаза.

— Мамочка, мама, мамуля! — твердила она, обливаясь теплыми слезами и прижимаясь к матери, будто боясь, что та возьмет да вдруг и растает или уйдет так же неожиданно, как пришла.

3

Военнопленные постепенно становились на механическом заводе в некотором роде своими людьми. На них попросту перестали обращать внимание. А так как некото-

рые из них обнаружили высокую квалификацию, что в рабочей среде всегда служит лучшей рекомендацией, стали смягчаться и официальные границы отношений между пленными и рабочими. Даже лягушачьего цвета форма, которую население видеть не могло, перестала их так раздражать. Выработался даже своеобразный язык общения, состоявший из выразительных жестов, подкрепленных двумя-тремя русскими или немецкими словами.

Пальцы, одинаково перепачканные в машинном масле, лезли в один кисет. Сизоватый махорочный дым поднимался к потолку.

— Вот я,— говорил один из собеседников, тыча пальцем себя в грудь.— Я штадт Верхневолжск, понимаешь, город, штадт Верхневолжск. А ты? — Палец направлялся в грудь собеседника.

— Я есть город Гамбург.

— Выходит, товарищу Тельману земляк?

— Я, я, Эрнст Тельман... Эрнст Тельман...

А когда после такой беседы житель штадта Верхневолжска у точильного колеса показывал уроженцу города Гамбурга, как заточить резец под отрицательным углом, что было для немца новинкой, или, наоборот, гамбуржец показывал верхневолжцу какой-нибудь особый способ закалки инструментов, знакомство закреплялось.

Разумеется, пленных по-прежнему приводили и уводили под конвоем. Но понемногу и конвоиры, чувствуя, что как-то неудобно торчать с винтовкой среди работающих людей, упрощали свои обязанности. Один из них, пожилой, в прошлом слесарь из МТС, человек пытливый и наблюдательный, был не прочь кое-чему подучиться у квалифицированных рабочих этого старого завода; другой, совсем еще молодой парнишка, присаживался к столику и, отставив винтовку, принимался за письма. Здесь, среди токарных, фрезерных, карусельных, долбежных и иных станков, среди грохота и визга железа, непримиримый лозунг «Смерть немецким оккупантам!» как-то сам собой сменялся прежним, с детства дорогим каждому советскому рабочему «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Только в цехе ремонта и сборки положение оставалось напряженным. Ерофей Кочетков — правая рука Арсения, свалился в брюшном тифе. Бригады по-прежнему в основном состояли из юнцов, донашивавших форменные фуражки училища трудовых резервов. Волей-неволей пришлось мастеру на место заболевшего определять Гуго Эбберта.

Мастер нехотя, но уже признавал, что фриц, как он по-прежнему именовал немца, попался толковый, дело знал и, видимо, не только по незнакомству с русским языком, а от природы был молчалив. С «орлами» у него установились недурные отношения. Те так и звали его — дядя Гуга. Арсений же по-прежнему избегал с ним разговаривать. Если крайняя надобность требовала что-нибудь обсудить, говорил отвернувшись или смотрел, но не в лицо, а на руки, на то, что они делали.

Переводчица больше всех тяготилась нелепостью таких отношений. Как-то, не выдержав, она рассказала Эбберту о трагедии Арсения Курова. Тот выслушал ее молча и только вздохнул. После этого он и сам стал избегать мастера. Обычно спокойный, державшийся с достоинством, в присутствии Курова он стал теряться, втягивать голову в плечи.

Но оба эти пожилых человека, силою обстоятельств вынужденные работать рядом, начали постепенно привыкать друг к другу и даже к форме отношений, сложившейся между ними. Но однажды, по обыкновению подробно растолковав переводчице дневное задание для немца, Арсений отправился во двор, где предстояло принять партию новых станков, прибывших из Сибири. В цех вернулся уже перед гудком, и тут Куров увидел: «орлы» собирают сложный станок не так и не по тому плану, какой он им оставил. В центре группы виднелся Эбберт. Засучив рукава, он уверенно действовал своими жилистыми руками. Было ясно, что это он изменил предложенный Куровым план.

— Стой! — закричал мастер, останавливая работу.— Что тут без меня напутали, черти чумазые?.. Все разобрать, завтра начнете снова! И всем брак запишу.

Он зло посмотрел на немца.

— Эх ты, васисдас, тьфу! — И в сердцах даже плюнул себе под ноги.

К ним уже спешила переводчица, которую кто-то успел известить о происшедшем.

— Скажи ты ему, все это мартышкина работа. Все заново будут переделывать, как я говорил.

Девушка быстро перевела. Долговязый немец спокойно слушал, и только бесцветные его брови поднимались все выше и выше на выпуклый лоб. Потом он спокойно произнес одно только слово.

— Почему? — перевела девушка.

— А потому, что потому, здесь ему не гитлерия. Тут мы командуем, а его дело — работать и не рассуждать.

В ответ на это Эбберт повторил то же слово и добавил длинную фразу. Он говорил, что уважает технический ум мастера Курова и потому просит его посмотреть повнимательнее: разве так, как они делают, не проще и не лучше? Ребята плотным кольцом обступили спорящих. Все они немало потрудились. Очень не хотелось делать все сызнова. Они понимали, что план немца лучше, и тоже с удивлением смотрели на Курова.

— К чертям мне нужны его советы! — ворчал тот.

И опять немец произнес все то же свое «почему», которое ребята поняли уже и без перевода.

— Товарищ механик, а вы посмотрите...— несмело произнес один из «орлов».

Но Арсению Курову нечего было смотреть. Опытный производственник, он отлично видел теперь, что все шло правильно, а организовано, может быть, даже и поразумней, чем задумал он сам. Но как признать перед мальчишками, что прав не он, Арсений, лучший сборщик завода, а тот долговязый, лобастый немец? Это казалось просто невозможным. Между тем, убеждаясь в преимуществах предложенного немцем варианта, он понял уже, что именно это и позволило «орлам» завести сборку значительно дальше, чем мастер рассчитывал. «А и башковитый же фриц попался на мою голову!» — уже не без смущения думал он. И рабочая совесть, совесть советского человека, не позволила ему настаивать на своем указании, которое, как он в этом уже вполне отдавал себе отчет, было менее целесообразным. Не кривить же душой из-за этого немецкого черта...

— Ну, раз так начали, продолжайте по-своему. Может, как-нибудь и вытянете,— сказал мастер и, сев на табурет, полез за трубкой.

Теперь он не вмешивался в работу. Немец продолжал копаться у станка. Он молча указывал сборщикам, что делать, иногда отодвигал то одного, то другого в сторону, вставал на его место. Посасывая незажженную трубку, Арсений следил за ходом дела. В первый раз он так вот, в упор, смотрел в лицо немцу и с удивлением замечал, что у него обычное, некрасивое, но в общем симпатичное лицо, что глаза смотрят устало, но смышлено и нет в них ничего разбойничьего, отталкивающего. Худые, должно быть, сильные руки ловки, и нельзя не признать, что ему,

Арсению Курову, старому производственнику, даже приятно видеть, как умело они двигаются.

И еще обратил он внимание, что, задумавшись, немец как-то машинально начинает трогать свои зубы, и когда он однажды сплюнул в клочок бумаги, слюна оказалась густо-красного цвета.

Когда над фабриками «Большевички» засипел гудок и ребята, которые мгновение назад трудились сосредоточенно, старательно, вдруг, точно бы разом размагнитившись, с шумом и гамом бросились в душевую, а у собираемой машины остались лишь Куров да Эбберт, мастер ткнул в сторону машины трубкой, сказал «гут» и торопливо ушел в свою каморку.

4

В пожилом возрасте человеку частенько снится детство. Он видит себя бегающим босиком, в одних штанишках или юбчонке, до синевы губ, до гусиной кожи купающимся в речке, носящимся по школьному коридору. Он снова переживает тягчайший страх перед экзаменами по какому-нибудь ядовитому предмету. С давно забытой робостью пишет он во сне роковую, долженствующую «разрубить все узлы» записку, адресованную столь же юному существу противоположного пола. И просыпается он после такого сна со странным ощущением, будто зимой пахнуло на него ароматом березовых почек. А потом будет он весь день ощущать беспокойную истому и ожидать ночи с надеждой, что, может быть, снова придет к нему этот милый и странный сон.

Нечто подобное переживала Татьяна Степановна Мюллер, очутившись на фабричном дворе, где прошла ее юность и началась молодость. На «Большевичке» она не была давно. Став военным врачом еще в дни событий на Халхин-Голе, она участвовала потом и в тяжелой зимней войне на Карельском перешейке, и в освободительном походе на земле Западной Белоруссии. В одном из пограничных городов приняла она на хирургический стол первых раненых в начале Отечественной войны. Но на дворе комбината ей по-прежнему все было знакомо, и даже то, что неприятно поражает здесь свежего человека: острые запахи, которыми дышат окна ситцевой, радужные круги на поверхности речушки, даже крошки обугленного торфа,

попадающие в глаза, если при порыве ветра не успеть вовремя прищуриться,— все было ей дорого, все волновало, будило воспоминания.

Полная женщина в форменном платье, в пилотке с красной звездой и маленькая смуглая девушка с большими серыми глазами медленно бродили по огромному фабричному двору, плававшему в знойной дымке. Весь он в эти жаркие часы как бы замирал. Огромные кирпичные, широко расползшиеся по берегам Тьмы корпуса фабрик, бесформенные массивы развалин, уже порастающие травой,— все это будто дремало. Окна распахнуты. Грохот ткацких станков, пение прядильных машин, журчание двигающейся по транспортерам ткани в отделочной — все это доносилось смутно, как во сне. Размягченный асфальт глушил шаги. Звонко раздавались лишь голоса ребят. Они плыли на зыбком, сколоченном из нескольких досок плоту за кувшинками, золотые головки которых лежали тут и там на отливающей радугой водной глади речушки Тьмы.

— Смотри, Галочка, смотри — тополя! Ведь как удочки были, когда мы их сажали на комсомольском субботнике. А сейчас? Боже ж мой, прекрасные тенистые деревья! Как идет время!..

— Ты, мамочка, не шуми, на нас уж смотрят,— отвечала дочь, оглядываясь по сторонам и дергая спутницу за рукав.

Галка никак не могла понять, почему ее мать такими восторженными глазами смотрит на самые обыкновенные вещи. И все, о чем она так взволнованно говорила, казалось просто неправдоподобным. Ну как поверить, например, что эти деревья, бросающие на асфальт широкие узорчатые тени, походили на удочки или что ее мама, которая, по совести говоря, представлялась дочке чуть ли не старушкой, успела побывать комсомолкой, носила какую-то там юнгштурмовку и значок КИМ?

Очутившись в родных краях, Татьяна Степановна переживала и еще одно странное чувство. Ей казалось, что масштабы всего видимого сузились, все стало меньше, ниже. Даже труба у прядильной, которая, как казалось ей, когда-то цеплялась коготком громоотвода за облака, теперь выглядела совсем невысокой. Все уменьшилось. Выросли только эти деревья и ее Галка, которая из смешной толстой крохи с большими серыми глазами превратилась в стройное, быстрое и милое существо.

— Какая же ты большущая стала, доченька! Совсем

ведь невеста,— сказала Татьяна Степановна, привлекая девушку к себе.

— А как же ж? Я уж и есть невеста,— ответила Галка, смущенно отстраняясь от матери.

— Что ты говоришь! — испуганно воскликнула та.— И вы это от меня утаили?

— А чего тут таить?

Девушка смотрела на мать с укоризной. Всегда эти взрослые вмешиваются в жизнь молодежи, ничегошеньки в ней не понимая. Отцы и дети — вечная проблема. Сама небось в восемнадцать лет Женьку родила, а ты не имеешь права быть в эту пору даже невестой.

— Почему же ты мне об этом не написала?

— А уж потому, что нечего писать.

— Доченька, зачем ты шутишь над мамой?

У Галки на лице появилось удивленное выражение.

— Очень уж мне надо шутить! Я даже и не видела жениха, он на фронте. Мы только переписываемся. Вот кончится война, возьмут Берлин, тогда увидимся, и я все тебе расскажу. А пока он мне каждую неделю по письму присылает... И все.

— Ах, вот что! — с облегчением произнесла Татьяна Степановна, сразу успокаиваясь.

Бывалый фронтовик, она знала, что никогда еще не приходилось почте носить столько писем, сколько теперь, в эту тяжелую пору; она знала и силу этих треугольничков без марок со всеобъемлющим штампом «Действующая армия», знала, что в госпиталях эти письма одно из полезнейших лекарств. Знает она и случаи, когда из переписки незнакомых людей, разделенных многими сотнями километров, зарождалась бескорыстная, чистая любовь.

— Ты, Галочка, надеюсь, покажешь мне письма своего жениха? — попросила мать, с трудом подавляя улыбку и желание погладить дочь по лохматой голове.

— Конечно, покажу: ты мать... А вот когда вчера Руслан Лаврентьевич снимал мою и Зинину переписку на кино, я Илюшины письма ему не дала. Общественные снимай, сколько хочешь, это для людей,— сказала она голосом бабушки и своим, обычным добавила: — А личные — фиг с маслом... Кстати, мама, может быть, хоть ты знаешь, что такое сексопил?

— Сексопил?.. Постой, я что-то такое слыхала... Вероятно, лекарство какое-то новое. Но в наш медсанбат такого еще не присылали.

— Лекарство? Вот уж нет! Говорят, у меня сексопильная внешность, понимаешь? Разве может быть лекарственная внешность? Какая чушь!

— Какой же чудак тебе это сказал? Твой жених?

— Лебедев? Ну, он и слова такого не знает. Это же режиссер-оператор Руслан Лаврентьевич, он о нас с Зиной фильм делает... Мамочка, только не удивляйся: мне кажется, он в меня случайно немножко влюбился и...

Но после «и» Галка поставила точку. Она не решилась сказать матери, что этот выдающийся человек, с которым все, даже тетя Анна, разговаривают с почтением, сегодня, снимая девушек, улучил минутку и несколько смущенно, что глазастая Галка, разумеется, заметила, признался ей, что ему, после жены конечно, никто так не нравится, как она. И еще более смущенно и таинственно пригласил ее вечером на берег Волги, туда, где вчера снимали, как подружки катаются в лодке.

Ведь это подумать только — ей назначили свидание! И кто?! Тот самый милый, умный, веселый Руслан Лаврентьевич, у которого такая красавица жена. Чем старательней Галка смотрела на него во время съемок, тем больше он ей нравился: весь какой-то особенный, седой и с молодым, розовым лицом, говорящий так, как никто из знакомых не говорил, державшийся так, как никто из окружающих не держался. Он стремительно ворвался в Галкину душу и сразу заслонил собой скромного Илюшу Лебедева, друзей, подружек — все, что обычно занимало и волновало девушку. Все эти дни она думала о Красницком, а сегодня видела его даже во сне.

Свидание! Это слово так и рвалось у нее с языка. Но она знала, что если с мамой, пожалуй, еще можно поговорить, как женщина с женщиной, то с бабушкой такой разговор не выйдет. Та, чего доброго, возьмет да и запрет Галку в комнате или, и еще того хуже, осуществит свою угрозу и пожалуется в парторганизацию кинофабрики. Выйдет страшный скандал.

И так как о предстоящем никому не было сказано ни слова, девушка была до краев переполнена ожиданием. Рассказы матери о ее юности она слушала рассеянно. Вот когда бабушка начинает вспоминать — другое дело. «В пятом году мы баррикадами все фабричные дворы загородили и этих кровососов Холодовых со двора по шее. Своя власть — Совет рабочих депутатов...», «Они железнодорожное полотно у переезда разобрали и ждут... А рельсы уже

гудут, и виден он, этот проклятый поезд с карателями...», «Казаки пронеслись мимо, аж пóтом конским пахнуло, а я лежу в траве ни жива ни мертва...» — и прочее такое. Это да! Слушаешь — будто книгу читаешь. И даже как-то жалко, что ты не сможешь стать старой большевичкой. А вот почему мама с такой светлой радостью вспоминает свои комсомольские годы, Галке понять еще трудно. Подумаешь, дело: пели песни, читали «Азбуку коммунизма», разгружали дрова, ходили на маевки, учились на рабфаках. А «комса», «шамовка», «бузотер» и иные подобные словечки, появлявшиеся на языке у матери, когда та углублялась в воспоминания, Галку только удивляли: разве так говорят?..

Теперь, возвращаясь домой, они шли мимо развалин прядильной, мимо сгоревшего клуба «Текстильщик». Тут даже и в жару людно. Иные из встречных останавливались, оглядывались. Может быть, облик этой полной, немолодой женщины в военной форме будил какие-то давние, полузабытые воспоминания. Но майор медицинской службы так мало походил на стройную ткачиху Татьяну Калинину, что прохожий, посмотрев им вслед, так ничего и не припомнив, шел себе дальше.

— Я вот, доченька, все думаю, как хорошо, что мне удалось тебя и всех вас повидать. В разгар войны это такое счастье!.. Если бы еще хоть на минутку взглянуть на нашу Белочку. Как-то она там, что-то поделывает, моя хорошая?

— Как же? Мы ж тебе с дедом весь вечер про нее рассказывали. Ты уж знашь: теперь она выполняет важное боевое задание.— И без всякого перехода Галка вдруг спрашивает: — Мама, ты изучила весь мой гардероб, какое платье мне больше к лицу? Фисташковое, крепдешиновое или то простенькое, шерстяное?

— Тебе, Галочка, все к лицу,— улыбнулась мать и вздохнула.— Ах, как хотелось бы мне погулять с вами обеими! Я бы спокойная уехала на новый фронт, под эту самую Ржаву.

5

Под утро, когда над развалинами старинного русского города Ржавы, который год назад был одним из красивейших в верховьях Волги, еще только занималась заря, к

зданию немецкой военной комендатуры подкатил военный мотоцикл с прицепом. С седла соскочил высокий белокурый обер-лейтенант в очках, в черном клеенчатом плаще. Из железной калоши машины вылезла худенькая белокурая девушка в старом, заношенном ватнике. Ее утомленный вид, запыленная одежда, резиновые сапоги, перепачканные в глине,— все это говорило, что она проделала длинный и нелегкий путь. Приказав часовому у входа приглядеть за машиной, офицер довольно бесцеремонно скомандовал девушке идти вперед и сам, шурша плащом, вошел вслед за ней в приемную комендатуры.

Дежурный, в этот ранний час дремавший у стола в большой пустой комнате, увидев вошедшего, вскочил, вытянулся, стукнул каблуками.

— Господин обер-лейтенант...

— Вольно. Когда будет господин военный комендант? — спросил офицер.

— Подполковник придет...— дежурный посмотрел на круглые конторские часы, висевшие на стене,— придет через двадцать пять минут. Он всегда точен, господин обер-лейтенант.

— Садитесь! — сурово приказал офицер девушке, указывая на жесткий дубовый диван для посетителей, видимо попавший в комендатуру из какого-нибудь вокзального зала ожидания.

Девушка села, устало прислонилась к спинке, закрыла глаза. Белокурая голова ее сразу опустилась, длинная коса свесилась на грудь, бледные, запыленные губы приоткрылись, обнажив рядок мелких белых зубов. Она уснула.

Офицер потребовал бумагу, присел к столу, принялся писать. Потом он сложил написанное, достал из подсумка конверт со штампом, запечатал и протянул дежурному.

— Передадите коменданту. Эту девицу мы задержали вчера в леске в районе бывшего аэродрома. Она немка, бежала из Верхневолжска, долго бродила по болотам, прежде чем ей удалось перейти к нам... Подробности изложены в рапорте. Она отлично говорит по-немецки, и командир приказал мне лично доставить ее к вам. Прошу также: передайте подполковнику просьбу моего шефа прислать ему еще ящик этого трофейного грузинского вина. Я позабыл его название, как-то на букву «ц». Ну, то, которое вы нам уже посылали. Очень хорошее вино!.. К сожалению, лишен возможности лично засвидетельствовать уважение

господину коменданту. Мне приказано к восьми быть в части.

— А как у вас там сейчас, в районе аэродрома?

— Успешно отбиваем атаки. Русские несут колоссальные потери, но...— Офицер снизил голос: — Вы сами уже ощущаете...

— М-да, не прошлый год. Авиация еще терпима, но артиллерия... Этот вчерашний огневой налет, знаете, тут...

— Тшш, не забывайте: она отлично понимает по-немецки и, кто знает, может быть, не так уж крепко уснула...

— О, будьте покойны, господин обер-лейтенант, школа господина коменданта... Я никогда, даже при своих, не скажу ничего лишнего... А хорошенькая, между прочим, девчонка.

— Да, кажется, ничего... Много работы?

— Ужас! Прибывают новые части, и всех их приходится расселять в этой каменоломне... Это как, помните, в той старой сказочке, забыл, чья она, кажется, братьев Гримм, когда надо было перевезти через реку на другой берег волка, козла и капусту.

— Извините, я тороплюсь. Хайль Гитлер!

— Хайль!

И вот уже взревел и стих на улице мотоцикл. Слышны только звуки отдельных выстрелов да сонное дыхание девушки. Дежурный долго смотрит на нее. Спит она крепко, но беспокойно и иногда тихонько вскрикивает. А вот сонные губы ее что-то зашептали. Дежурный настораживается и слышит: «Мейн гот, мейн гот!..» «Ишь,— размышляет он,— родилась в этой безбожной стране, где много церквей переделали в клубы, где в деревнях в них хранят зерно, а вот уснула и на родном языке поминает бога!» Ясно, она где-то долго скиталась. Лицо у нее белое, а уши, шея коричневые, должно быть, позабыли о мыле... Вот она во сне почмокала губами. Может быть, хочет есть?

Дежурный поднимает с пола двухэтажную свою манерку. В ней осталось немножко остывшего бобового супа и рисовая каша на донышке.

Солдат подходит к девушке, ставит все это возле нее на диван, кладет сверху ложку, а сам садится на место. Девушка открывает глаза. Она приятно изумлена.

— Ах, данке шен! — произносит она слабым голосом и принимается за еду с такой жадностью, что сразу видно, как она голодна.

— Это верно, что русские там у себя умирают с голода? — спрашивает дежурный, вспомнив статейку, недавно прочитанную в какой-то военной газете.— Едят людей?

Продолжая посылать в рот ложку за ложкой, девушка слегка улыбается.

— Да, фрейлейн, им долго не выдержать,— продолжает дежурный.— Но все-таки упрямая нация.

Девушка потягивается, судорожно зевает.

— Вы простите меня, я не спала несколько ночей,— говорит она, и глаза ее начинают закрываться.

Она спит и не слышит, как понемногу комендатура наполняется военными, не слышит, как, скрипя начищенными сапогами, появляется высокий пожилой офицер в фуражке с приподнятой тульей, такой прямой, негнущийся, что кажется, будто бы в него вогнана палка.

Все сразу вскакивают, он небрежно козыряет, скользит вопросительным взглядом по спящей и не задерживаясь проходит дальше, в кабинет коменданта.

Через мгновение дежурный, стоя навытяжку, рапортует ему, что ночь прошла относительно спокойно. Русский снаряд попал в грузовую машину, перевозившую солдат с вокзала: убито девять человек, в госпиталь отправлено одиннадцать. По товарной станции ночью нанесен удар с воздуха: разбито несколько вагонов с грузами, людские потери уточняются. Кажется, по счастью, не так велики... Больше происшествий не было, за исключением того, что командир полка, держащего оборону в районе бывшего аэродрома, препроводил девицу в сопровождении своего адъютанта, того самого офицера, что третьего дня уже приезжал за вином. Это та, которую господин комендант изволил видеть в приемной. Вот рапорт обер-лейтенанта.

Дежурный вынимает из-за обшлага бумагу и точно отработанным движением вручает ее подполковнику. Тот достает из кармана очки и, не надевая их, а только приложив к глазам в виде лорнета, быстро просматривает бумагу.

— Еще командир полка просил на словах передать вам, что хотел бы получить ящик трофейного грузинского вина, какое мы им уже посылали...

— Вы с этой девицей разговаривали?

— Всего несколько слов... Она, как только ее привели, сейчас же уснула,— видимо, долго бродила по лесам, бедняжка... Во сне все время бормочет: «Мейн гот, мейн гот!»

— Мейн гот? Странно! Тут пишут, что она из поволжских немцев... Приведите ее ко мне.

Девушка все еще спит, даже легонько всхрапывает.

— Фрейлейн, фрейлейн! — будит ее дежурный.

Она вскакивает, начинает извиняться. Какими-то инстинктивными женскими движениями поспешно прибирает волосы и, сопровождаемая любопытными взглядами писарей, идет вслед за дежурным в кабинет коменданта, оставив свой узелок на диване. В непомерно большом ватнике, в безобразных, явно с чужой ноги, сапогах она выглядит довольно плачевно.

Комендант, сидя все так же прямо, сохраняя каменно-неподвижное выражение на сухом, чисто выбритом лице, выслушивает ее историю, то и дело поглядывая на рапорт, как бы сверяя рассказываемое с написанным.

— У вас имеются какие-нибудь документы, фрейлейн?

Отвернувшись от стола, девушка расстегивает пуговицы на кофточке, опускает руку за ворот, что-то там отстегивает и извлекает клеенчатый мешочек. В нем оказывается распухшее, изношенное на сгибах удостоверение. Обычное удостоверение, какие давались советским людям перед эвакуацией их учреждений. В нем говорится, что Марта Вейнер, 1919 года рождения, уроженка города Энгельса, по профессии техник-текстильщик, получила двухнедельную заработную плату в связи с эвакуацией фабрики из города Верхневолжска. Потом в руках коменданта оказываются паспорт со штампом Верхневолжской немецкой комендатуры и выданный там же аусвайс с фотографией и печатью. Он долго рассматривает их и оставляет у себя.

— Так почему же фрейлейн оставила свой дом? — спрашивает комендант, барабаня по столу крепкими ногтями сухих, узловатых пальцев.

— Меня, как немку, сотрудничавшую с немецким командованием, вероятно, арестовали бы и посадили в тюрьму.

— У вас прекрасная речь, вы говорите даже без акцента.

— Это мой родной язык. У нас дома всегда говорили по-немецки.

— Вот как? Это отрадно слышать.— Комендант торжественно поднимает вверх длинный, сухой палец.— Фрейлейн! Немцы — величайшая из наций... Мы остаемся немцами, даже если столетия и тысячи километров отделяют

нас от нашего горячо любимого отечества... Вам никогда не приходилось работать переводчицей, фрейлейн Марта?

— Нет...

— Что с вами делать, мы подумаем. Ваши документы останутся пока у меня. Можете идти, фрейлейн, и подождите в приемной.— И когда дверь за девушкой закрывается, комендант говорит появившемуся в кабинете дежурному: — Скажите квартирьерам, что я приказал поселить фрейлейн Марту где-нибудь недалеко от комендатуры... Кстати, вы еще не направили в полк вино, Эрих?

— Никак нет, господин комендант, не успел.

— Это хорошо, пошлете два ящика... Они нас здорово выручали. Мне кажется, эта девица может быть нам очень полезна: отлично говорит по-немецки. Но вы заметили, как она запущена, бедняжка?.. Проследите, чтобы ее получше устроили. Слышите? Вам еще, может быть, придется провожать ее с работы, Эрих, а, как вы думаете? — И, довольный своей шуткой, комендант награждает себя дробным смехом.— Возьмите документы и сейчас же отправьте на проверку. Лично у меня они не вызывают сомнений, но... Осторожность, и еще раз осторожность, Эрих. Мы не можем в этой стране доверять даже своим глазам...

Проходит несколько томительных, полных страха и ожидания дней, и фрейлейн Марта, принятая наконец в комендатуру в качестве переводчицы, отоспавшаяся, свежая, с прихотливо уложенными на голове светлыми косами, быстро идет по пустынной улице. Булыжная мостовая заросла буйной жесткой травой. Лишь асфальтовые тротуары двумя серыми полосками рассекают эту наглую зеленую, отовсюду прущую растительность.

Здесь, в нагорной части города, за которую долго шли бои, деревянные постройки почти все выгорели. Лишь изредка виднеется обитаемый домик, и тогда от асфальтовых полос ведет к нему тропинка. Но тропинки эти редки, а зелень будто торопится поскорее поглотить все следы человека.

Девушка ускоряет шаг. То и дело путь ей преграждают большие и малые воронки: старые, уже затекшие позеленевшей водой, из которой выглядывают лягушачьи глаза, и свежие, топорщащиеся по краям выброшенной землей. Обходя их, девушка опытным глазом примечает: свежих больше...

Жутко так вот идти одной по не существующей уже улице и, будто в пустыне, слышать далеко впереди отзвук своих шагов. А тут еще солнце сияет, земля испаряет влагу прошумевшего ночью дождя и ветерок несет мирные запахи подсыхающей травы.

Вот в отдалении стук подкованных сапог и голоса. Патруль. Трое солдат.

На мгновение девушка замедляет шаг, бросает быстрый взгляд направо, налево. Нет, не уйдешь, не спрячешься. Одинокий человек слишком заметен на пустой улице. И она с беззаботным видом шагает прямо навстречу патрулю, мурлыча модную в гарнизоне песенку:

На лугу растет цветочек,
И его зовут Эрика...

Девушка подходит к солдатам и, прежде чем они успевают ее окликнуть, спрашивает:

— Земляки, вы не знаете, остался ли в этом городе хоть один сапожник? — И доверчиво показывает им на туфлю, подметка у которой отстала и держится лишь с помощью канцелярских кнопок.— Мне сказали, где-то здесь чинят обувь. Только как найдешь? Тут же не сохранилось ни улиц, ни указателей.

— Вон за тем сгоревшим деревом, фрейлейн, в глубине,— маленький деревянный домишко. Там на стекле окна я видел вырезанный из картона сапог,— отвечает один солдат, совсем зеленый юнец, окидывая восхищенным взглядом тоненькую фигурку в белом, тесно облегающем спортивном свитере.

— Ах, если бы мне сейчас сделаться сапожником, чтобы снять мерку с такой хорошенькой ножки! — отзывается тот, что постарше.

Третий, неуклюжий увалень, с которого, кажется, еще не сошел деревенский загар, бормочет:

— Ишь чего захотел, лакомка! — И смеется отрывисто, будто консервная банка катится вниз по каменным ступеням лестницы.

— Как приятно встретить среди этой жуткой каменоломни немецкую девушку! Откуда вы, фрейлейн, взялись? Быть может, вы ангел с рождественской открытки?

— Я работаю в комендатуре.

— О, о, ангел из комендатуры — это начальство! Смирно!

Все трое, щелкнув каблуками, шутливо отдают приветствие. Девушка улыбается, делает легкий книксен и продолжает путь. А солдаты посылают ей вслед голодные взгляды. Она это чувствует и замедляет шаг. Ага, наконец-то прошли, свернули на смежную улицу... А вот домик, и сапог, вырезанный из картона, белеет на окне.

Она поворачивает кольцо калитки и входит во двор. За домом сад, залитый солнцем. Светлые точечки еще не налившихся плодов белеют в темной листве. У деревянного крыльца, изогнувшись, свешиваются к самым ступеням золотые шары. На двери тоже вырезанный из картона сапожок и надпись на двух языках, сверху — по-немецки, снизу — по-русски: «Сапожник».

Еще раз оглянувшись и убедившись, что улица пуста, девушка стучит: два стука и один, два стука и два, два стука и три.

Ей кажется, что откуда-то, может быть, из окна, сквозь зелень домашних цветов на нее смотрят. Ей становится жутко, но она, вскинув голову, сохраняет независимый вид. В глубине дома слышатся шаги. Вот они уже у двери.

— Кто там? — спрашивает густой мужской голос.

— Сапожный мастер здесь живет? Модельную обувь в починку берете?

— Подметок нет для модельной обуви.

— А со своими подметками?

Пауза. Потом гремит засов, и дверь открывается. В полутьме сеней невысокая мужская фигура. Сапожник одет странно: на нем синяя в горошек косоворотка, перепоясанная витым шнурком, штаны заправлены в сапоги.

Он лысоват, светлые усы слились с короткой, вьющейся густой бородкой.

Они долго смотрят друг на друга, и оба стараются и не могут скрыть удивления.

— Как, это вы... Дед? — спрашивает наконец фрейлейн Марта.— Вы меня помните?..

— Нет, это не я, и я вас не помню,— хмурится сапожник и резко говорит, почти командует: — Проходите в мастерскую!

Он вводит посетительницу в комнату, выходящую окном на улицу.

У самого подоконника низкий верстак, заваленный сапожным инструментом, гвоздями, кусочками вара, обрезками кожи. Перед ним традиционная липка сияет до блеска вытертым сиденьем. На полу у двери рядком выстрои-

лась починенная обувь, на стене висят, блистая голенищами, будто из стекла отлитые, офицерские сапоги прусского образца. Густо пахнет кожей, смолой, клеем. Тот, кого девушка назвала Дедом, останавливается посреди комнаты и выжидающе смотрит на посетительницу.

Оба уже узнали друг друга и все-таки доводят до конца обряд опознания.

— А я вас все-таки попрошу починить мне туфлю.

— Смотря какую.

— Правую, вот эту.

— Покажите.

Она снимает туфлю-лодочку и, стоя, как цапля, на одной ноге, протягивает ее мастеру, при этом несколько иронически посматривая на него.

— Вы, может быть, предложите мне стул?

— Да, да, конечно.

Он подставляет ей стул и уже отработанным профессиональным движением обмахивает сиденье кожаным фартуком. Сам он, подвинув к себе липку, усаживается напротив девушки так, что наискосок видно окно. Ловко, неторопливо он всучивает щетинку в концы дратвы. Потом, зажав туфлю меж колен, начинает накалывать шилом дырочки в ранте.— Ничему не удивляюсь. Разучился,— говорит он сквозь зубы, не выпуская изо рта конец дратвы.— Но, увидев вас здесь... Ну, здравствуйте по-настоящему.

Он протягивает руку, и девушка хватает и держит ее, будто боясь отпустить; сапожник, улыбаясь, мягко освобождает руку. Теперь снова он будто целиком поглощен работой.

— Сидите. Успокойтесь... Рад, что это именно вы. Прибыли вовремя. Отовсюду сообщают: у них идет спешная, просто судорожная перегруппировка. Возможно и даже вероятно — в связи с их наступлением на юге. Нам нужно видеть все изнутри... С комендатурой уладилось?

Девушка уже вполне овладела собой. Она сидит неподвижно, вытянув разутую ногу. У нее скучающий вид клиентки, дожидающейся, пока закончится ремонт.

— Да, и, представьте, довольно легко,— отвечает она, не поворачивая головы.— Им тут была очень нужна переводчица.

— Об этом ребята позаботились.

— Как? Вы хотите сказать, что...

— Для вас освободили место... Как комендант?

Девушка пожимает плечами.

— Смешная сушеная мумия. Он вчера мне заявил, что я похожа на Брунгильду. И даже попробовал что-то там напеть из «Нибелунгов». По вечерам он играет на пианино Вагнера, и, знаете, довольно хорошо.

— Эта «смешная мумия» весной, не моргнув глазом, пустила в расход около полутора тысяч евреев и цыган — всех: стариков, женщин, ребятишек... Их кое-как закопали в карьере у кирпичного завода. А когда в станционном районе застрелили офицера, ехавшего с донесением, этот музыкант сжег весь восточный поселок железнодорожников. Подчистую. А что у него делается на пересыльном пункте остарбейтер![1] Это страшный человек, к тому же умен и хитер... Документы на проверку взяли?

— Да.

— Крепкие документы?

— Настоящие.

— Прекрасно! Для них документ — всё. Человек — ничто. Но документ — о-го-го!.. Девушка, а помните того бородатого партизана, что с нами тогда ехал? Он еще вас в машину поднимал.

— Которого Батей называли?

— Да. Погиб. У немцев тут бронепоезд завелся. Батин отряд за ним долго охотился. Все не выходило. Батя рассердился и пошел сам. Поезд под откос сбросил, но и от самого командира кусков не собрали...

Наколов по ранту ровный ряд дырочек, сапожник быстро, почти не глядя, двумя дратвами сразу стал прошивать подметку.

— Тут у них все склады забиты нашим зерном, мануфактурой, консервами; все сюда перетаскали, некогда было дальше увозить. И мастерские тут у них богатые: машины, танки, даже самолеты ремонтируют... Похоже, сейчас они все это стараются уволочь.

Руки сапожника проворно работали, но сам он наблюдал за улицей. За окном послышались шаги, девушка насторожилась.

— Не смотрите, вам нечего опасаться. Вы у сапожника, вам чинят обувь. Скучайте.

Пожилая женщина в темном шушуне медленно прошла мимо, таща на веревке упирающуюся козу.

---

[1] «Восточные рабочие» — так оккупанты называли людей, угоняемых из Советского Союза на работы в Германию.

— Вы ведь не одна?

— Двое нас. У меня напарник немец. Он пришел раньше меня. Служит в полку.

— Неужели тот самый? — Держа во рту дратву, Дед с любопытством посмотрел на Женю.— Ну, о котором вы мне тогда в машине рассказывали... Нашелся-таки?

Чувствуя, как горячая краска заливает ей щеки, девушка только кивнула головой.

— Ну вот, видите.— Довольная улыбка просвечивала сквозь заросли русых, молодых усов Деда.— Я ж вам тогда говорил: всегда думайте о человеке хорошее, пока он не покажет, что плох.— И, снова наклонившись над работой, деловым тоном продолжал: — У этого вашего музыканта главная задача — все вывезти. У нас — помешать... Им самим ничего не сделать — мало сил. Но они мобилизуют население, и довольно ловко, через бургомистрат. Бургомистр — пьяница и дурак. Он из бывших. Немцы откопали его где-то в тюрьме: сидел за тайное винокурение. Самогонщик... Бургомистр — декорация, а всем вертит его заместитель по экономическим вопросам,— может быть, вы его даже когда-то знали. Он из Верхневолжска. Наверно, видели там воззвания, подписанные «Дипломированный инженер»...

— Владиславлев?.. Как? Этот гад здесь?! — воскликнула девушка.

Увидев, как она сразу взволновалась, сапожник покачал головой. Это самое опасное в их деле — так вот, забывшись, хоть на мгновение стать самим собой, выпустив из-под контроля свои чувства.

— Да, он здесь. И он единственный, кто может им тут по-настоящему помочь... В городе голод. Люди питаются щавелем, варят щи из крапивы, дети пухнут. Это ведь Владиславлев придумал сдельную натуроплату: отработаешь день — буханка хлеба, особо постараешься — к буханке банка консервов. И ведь на эту приманку идут, вагоны грузят, машины демонтируют... Мы тут под этого типа шарик было подкатили, да не вышло: осторожен. И охраняют они его... Вот если бы вам к нему попасть переводчицей, тогда...

— К Владиславлеву — мне? — В этом вопросе прозвучал плохо скрытый страх. Женя хорошо помнила этого плотного, румяного человека с угольно-черными пышными усами. А вдруг и он узнает ее? Правда, они незнакомы,

он, вероятно, и понятия о ней не имеет. Но все-таки вдруг?..

Дед, должно быть, заметил эти колебания:

— Я в этом городе тоже не чужой, однако вот видите... Да разве я один?

— А наших тут много?

Сапожник не то удивленно, не то настороженно взглянул на нее.

— Не знаю, есть... наверное.— Но, подумав, прибавил: — Если встретите немецкого офицера, похожего на одного из тех, кто с нами из Верхневолжска тогда в машине ехал, не признавайте. Понятно? — И вдруг заговорил другим тоном, слегка усмехаясь: — Ну вот, барышня, и туфелька ваша готова. Меряйте, работа чудная, у красных такой работы не увидите: там всех настоящих мастеров перевели, одни машины у них работают, да и товар не то что немецкий. А это соковой товар.

Сапожник и в самом деле оказался мастером своего дела. Ловко подшитая, обтертая стеклышком, зачищенная мастикой подошва прямо слилась с туфлей.

Девушка обулась.

— Поставьте-ка, барышня, ножку сюда,— продолжал мастер, чуть усмехаясь. Обтирая туфлю бархоткой, он тихо разъяснял девушке, куда ей относить и класть донесения, передал ближайший приказ.— Запомнили?

— Да. Можно вопрос?

— Ну?

— Вы почему и со мной сейчас играете? Боитесь, подслушают?

Дед улыбнулся.

— Привычка... Наедине с собой маску ношу. Учусь не только говорить, но и думать как какой-нибудь паршивый кустарь, «росток великой частной инициативы», как нас называют в экономическом отделе комендатуры... И вам советую. Комендант глазаст и беспощаден...

И уже в полутьме сеней, где домовито пахло укропом, сохнущим на полу луком, чуланной затхлостью, он признался шепотом:

— С волками жить научился, а вот по-волчьи выть — тяжко это советскому человеку.

Калитка звякнула кольцом. Пройдя по тротуару, девушка остановилась, подняла ногу, пощупала вновь пришитую подошву и незаметно оглянулась.

Улица, если можно назвать улицей несколько уцелев-

ших домиков, стоявших меж забурьяненных пожарищ, была пустынна, и девушке снова стало тоскливо и страшно, как будто была она героиней фантастического романа, пережившей гибель человеческой цивилизации.

6

Да ведь это, оказывается, страшно трудно — собираться на свидание!

Довольно просто наврать деду с бабкой насчет выступления по передаче опыта для молодых ткачей ночной смены. Потруднее не смутиться под вопрошающим взглядом грустных глаз матери, огорченной тем, что дочка не может провести с ней один из последних мирных ее вечеров. И особенно тяжело отбиваться на улице от знакомых девчат, которые, как на грех, встречаются на каждом шагу и тянут тебя одни «прошвырнуться по асфальту», другие в киношку, третьи на танцы, уговаривают и делают удивленные глаза: «Почему это ты такая расфуфыренная?»

Но наконец все это осталось позади вместе с фабричным двором. Галка очутилась на огородах, где на грядках неясно лоснилась свекольная ботва. Кругом тихо. Темно-синее небо, осыпанное перемигивающимися звездами, напоминает сатин на бабкиной кофте. Скорей бы уж пробежать эти огороды, а то спросонья какой-нибудь караульщик врежет заряд соли, вот и получится «чудное мгновенье».

Узенькая тропка привела к берегу. Девушка остановилась: никого, только где-то вдали, должно быть на воде, в лодке, гармонь вела грустную, расплывчатую мелодию. Еще раз воровато оглянувшись, Галка достала из сумочки непочатый тюбик губной помады, нашла в зеркальце свое неясно вырисовывающееся отражение и довольно храбро подрисовала губы сердечком. Теперь, когда это последнее приготовление завершено, у нее возникло самолюбивое сомнение: что, если Руслан Лаврентьевич просто над ней пошутил и не явится? А что ж, и очень свободно, взял да и насмеялся, а ты тут стой, как дура, в модельных туфлях, которые жмут ноги, в крепдешиновом платье, с накрашенными губами. Сердце Галки колотилось, как челнок на плохо отрегулированном станке. В нем закипала обида.

Вот и река. Поглядите-ка, какая смирная лежит теперь внизу, под берегом, шелковисто отражая блеск звезд, будто бы это и не она буянила здесь весною, как пьяный

в праздничный вечер в отделении милиции! И как все-таки была права верная подружка Зина Кокина, когда советовала обязательно опоздать на свидание! Впрочем, Галка и без нее это, разумеется, знала, но боялась, как бы, не застав ее, Руслан Лаврентьевич не обиделся и не ушел. А вот теперь торчи тут, жди! Нет уж, надо хоть спрятаться пока, что ли...

Девушка тихонько отступает с дорожки на луг, где серебрятся клубы тумана, и почти натыкается на вездеход. Мотор еще теплый, но в машине никого нет. Галка снова бросается на берег и теперь уже замечает Красницкого. Он стоит на мысу над обрывом. Без фуражки. Через руку переброшен плащ. Романтической Галке он напоминает красивую птицу, готовую взвиться и улететь. Девушка чуть было не вскрикнула, так она обрадовалась, а Руслан Лаврентьевич, обернувшись на звук ее шагов, будто продолжая разговор, обводит рукой открывающийся сверху пейзаж:

— ...Какой простор! Никогда, ни днем, ни ночью, не устаешь любоваться русской природой.

Галка приближается к Красницкому, останавливается, не зная, как себя вести дальше. Поздороваться? Виделись. Что-нибудь сказать? Но откуда она знает, что полагается говорить, явившись на свидание, таким людям, как режиссер-оператор?! Но Красницкий великодушно не замечает неловкой паузы. Он снимает газету с чего-то, что он держал под плащом. Это букет цветов, таких же розовых, пышных, как те, что изображены на занавеске, разделяющей комнату стариков. Вручив девушке букет, он подносит к губам ее маленькую ручку с шершавыми пальцами и жесткой ладошкой. Галка тотчас же вырывает ее.

— Вот еще глупости! — резким голосом произносит она, но тут же вспоминает, что герои прочитанных ею романов, даже грубоватый Базаров,— все целовали дамам ручки. Решив, что совершила ужасную бестактность, девушка еще больше конфузится. И эти цветы... Ей еще никто не дарил цветов. Куда их девать? Не держать же в руках, как бутылку с постным маслом в очереди в магазине!

Но Руслан Лаврентьевич не замечает и этого. Он как-то по-новому возбужденно-весел.

— Вы, Галя, опоздали на целых пятнадцать минут, но светилам науки и хорошеньким девушкам полагается опаздывать.

— Вот уж не опоздала, с чего вы взяли? Когда я проходила фабричные ворота, было без четверти. А ведь я не шла, я бегом бежала...

— Ну вот, посмотрите на часы. Учтите: за шесть лет они не ушли вперед ни на минуту.

Снова девушка видит желтый кружочек на массивном, затейливо перевитом золотом браслете.

— Врут,— настаивает она.— И вообще дед говорит, что часов с вечным заводом быть не может, потому что тогда вышло бы, что изобретен вечный двигатель, перепетуум, ну, и как-то там еще...

— Ваш дедушка чудак. Это — последнее слово европейской техники, лучшее, что человечество изобрело в области часов. Перепетуум-мобиле тут ни при чем, они заводятся, но непроизвольно, от движений руки.

— Да, дед отсталый, он даже, кажется, в бога верит,— соглашается Галка и вдруг спрашивает: — А что же мы будем делать, Руслан Лаврентьевич?

Серые лучистые глаза вопросительно смотрят на собеседника, и он видит в них только наивное любопытство. Этот человек, любящий повторять, что на свете не осталось уже ничего, что могло бы его удивить, смущается.

— Как что? Гулять. Такая чудная ночь!.. Ну, где-нибудь присядем, закусим... Удивились? Разве вы, Галя, еще не знаете, что я волшебник? Вот, посмотрите кругом. Ничего не видите? Смотрите, смотрите внимательнее!

Ага, начинается что-то интересное! Девушка добросовестнейшим образом осматривает дорожку, заросли бурьяна, обрыв, даже щупает рукой какую-то пустую консервную банку, мерцающую во тьме, даже смотрит на тот берег, где среди темнеющих деревьев белеет, как обколотая сахарная голова, разрушенная канонадой колокольня.

— Ну, ничего не обнаружили? — торжествует Красницкий. Он встряхивает плащ, показывает, что в нем ничего нет, быстро накрывает им траву, делает руками какие-то пассы. Потом поднимает, и вот уже у него в руках бутылка вина и маленькая коробка. Это шоколадные конфеты. Он преподносит их Галке.— А вино мы разопьем вместе. Вы смотрите, смотрите на надпись: «Коллекционное». Очень дорогое... Его и в мирное время можно было достать только по блату... Знаете что? Идемте вон туда, вниз, поближе к реке, там и присядем.

Галка с радостью соглашается. Туфли так жмут, что ноги горят, а тут еще этот букет, который она держит под

мышкой, как банный веник. Виновато оглянувшись, она сбрасывает туфли и, весело вскрикнув, прыгает через гребень кручи на откос, съезжает вместе с осыпью песка, вскакивает и бежит к прибрежной кромке, где по мелкой гальке тянется туман, похожий на хлопковые волокна. Руслан Лаврентьевич спускается извилистой тропинкой. И когда он появляется, Галка стоит у самой воды, настороженная, взволнованная.

— Тише!.. Слышите?

Где-то на речной стремнине плывет ялик. Его в тумане не видно, но слышно, как глухо стучат две пары уключин. Голоса, мужские и женские, негромко ведут в унисон:

Ты теперь далеко-далеко,
Между нами снега и снега,
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага...

Лицо у девушки растроганное. Она вспомнила сержанта Лебедева. Может быть, и он сидит сейчас где-нибудь в землянке, смотрит на огонек, думает о своей невесте. А невеста взяла да и пошла на свидание с другим. От этой мысли девушке становится грустно, но грусть эта смешивается с радостью оттого, что свидание все же состоялось и что необыкновенный человек — вот он здесь, рядом, стоит и любуется ею, простой фабричной девчонкой.

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови,—

это поет уже Галка, а Руслан Лаврентьевич, встав сзади и как бы закрывая ее от ветра, говорит, дыша ей в затылок:

— А вы говорили — не поете романсов... У вас же прелестный голосок... Как досадно, что я отослал пленку и аппаратуру!

Галка польщена. Действительно, как было бы здорово, если бы она спела в фильме эту хорошую песню, которая сейчас так полюбилась на фабриках! А он, Руслан Лаврентьевич, заботливый: ишь, увидел, что на ней светлое платье, и, не пожалев своего замечательного офицерского плаща, постелил его на землю... Ой, как все необыкновенно, как интересно, как хорошо! Галка садится, уютно подвертывая под себя босые ноги, и, задумавшись, начинает отправлять в рот конфету за конфетой. Теперь ее занимает мысль: как она сегодня явится домой? Что

соврет? Вопрос настолько сложный, что когда она приходит к заключению, что матери она все-таки, наверное, скажет правду, рука ее уже ничего не нащупывает в коробке.

— Я вы знаете, я все съела,— объявляет она смущенно.

— Вы, Галя, прелесть! — радуется Руслан Лаврентьевич.— Я так рад, что мне посчастливилось вырвать для вас эту коробочку у одного моего знакомого. И это вино тоже. Давайте выпьем, надо же согреться... Только посуды нет, придется из горлышка, по-солдатски. А?

Галка храбро опрокинула бутылку, но поперхнулась и закашлялась на первом же большом глотке. Сладковатое, густое вино размазалось по лицу вместе с губной помадой. Спутник снисходительно улыбнулся, достал носовой платок и, как ребенку, вытер ей щеку, а заодно снял с губ и помаду.

— Зачем вы накрасились? Красятся те, кому уже требуется ремонт, а у вас губки свеженькие, как вишенки.

Он небрежно отбрасывает испачканный в помаде платок и тоже начинает пить из бутылки, неторопливо, небольшими глотками, подолгу держа вино во рту. А Галка не может отвести глаз от этого валяющегося на траве платка. Ей его жалко. Нет, она не жадная: она легко отдает свои вещи подружкам и поносить и насовсем. Но старики внушили ей, что в каждую вещь человек вносит самую ценную частицу себя — труд. Небрежно относясь к вещам, оскорбляешь тех, кто их создал. Что такое труд, Галка знает. Она умеет его ценить, и теперь ей хочется потихоньку поднять этот бедный платок, сложить и незаметно сунуть его в карман владельцу. Тот тем временем снова передает ей бутылку.

— Ну, Галя, теперь ваша очередь... Ну, еще несколько глотков, это же слабенькое, дамское.

Девушка упрямо мотает головой:

— Я и так уже совсем пьяная.

Отставив бутылку, Руслан Лаврентьевич тянется к девушке и каким-то новым, незнакомым ей голосом говорит:

— Галя, детка... Если бы вы знали, как мне хочется вас поцеловать!

Галка хмурится. Ей тоже хочется, чтобы ее поцеловали. Это очень интересно. Ведь героини всех известных ей романов целовались на свиданиях. Но лучше бы уж без этого. Страшновато! И все-таки, вздохнув, она подставляет ему губы.

Красницкий обнял ее, привлек к себе, притиснул свои губы к ее губам, да так больно, что девушке невмоготу. Вся напружинившись, она ловко вывернулась из его рук и, вскочив, с удивлением уставилась на него.

— С ума вы сошли!..

— Да, да, я сошел с ума! С тех пор, как тебя увидел, я потерял голову. Ты же знаешь, у меня красавица жена, сын, я их люблю, но тут совсем другое... Ты, Галя, может быть, моя последняя весна. Это чувство ворвалось как вихрь, все затуманило, перемешало... Я кончил съемку, отправил пленку, но не могу, сил нет сказать тебе «прощай»... Ты все время, день и ночь, передо мной. Твои губы, твои глаза... Знаешь, скажи мне сейчас: «Руслан, бросься в реку» — я брошусь, даже не раздумывая...

Глаза девушки широко распахнуты. Ну вот, наконец-то и ей так красиво говорят о любви, с ней объясняются, как Онегин с Татьяной. Цепкая память тут же подсовывает для сравнения прекрасные строки: «Нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами, улыбку уст, движенье глаз ловить влюбленными глазами...» Как хорошо! У Красницкого получается, конечно, послабее, чем у Онегина, но тоже неплохо... А она, как себя ведет она? Бегает босиком. Слопала все конфеты. Толкается, точно в автобусе... Нет, так нельзя. И, не очень уже слушая, что ей говорят, она прижимается к нему, кладет ему голову на плечо, и вот снова его руки сжимают ее, пахнущие вином губы мнут ее рот. Радостное, незнакомое волнение, с которым она сюда пришла, почему-то исчезает. Девушке душно, неудобно. Но она говорит себе: ничего не поделаешь, явилась на свидание — терпи.

...Совсем рядом раздаются шаги. Чья-то нетвердая нога ступает на прибрежные камешки. Галка, высвободившись из объятий, видит, как какой-то человек, без кепки, с бритой головой, движется вдоль берега, что-то бормоча себе под нос. Режиссер-оператор, порывисто дыша, с ненавистью наблюдает, как пьяный, пройдя мимо них, спустился к воде, наклоняется, пробует ее рукой. Неловкая пауза тянется бесконечно. Не вытерпев, Красницкий вскакивает, сбегает к незнакомцу, нетерпеливо берет его за шиворот и тянет так, что хрустит материя.

— Ступай, ступай, дядя... утонешь,— говорит он доброжелательные слова. Но в голосе его ярость.

— Пусти воротник... Слышишь! Прими руку,— бормочет пьяный.— Я человек тихий, ты меня попроси — уйду.

Целуйтесь и все такое... Искупаться и в другом месте можно, а за воротник хватать... Я вот как развернусь, как дам по глазам!

— Тебе же по-хорошему — ступай, ступай.

Пьяный медленно удаляется к ледорезу и начинает там раздеваться. Красницкий брезгливо вытирает о траву руку, которая только что держала незнакомца за ворот, потом поднимает бутылку.

— Может быть, все-таки выпьем, Галя? Свежо становится.

И в самом деле свежо. Звездное небо по-прежнему похоже на сатин бабушкиной кофты, только на востоке сатин этот слегка уже полинял. С реки тянет сыростью.

Галка передергивает плечами. Красницкий, заметив это, расстегивает китель, покрывает девушку полой. Она поднимает бутылку, смело делает несколько глотков. Действительно, теперь лучше. Как было бы хорошо сидеть вот так, чувствуя тепло друг друга! Может быть, и опять явилось бы то радостное волнение. Но приходится вести активную оборону. В Галкино ухо вместе с прерывистым дыханием врываются бессвязные слова:

— Милая... славная!.. Ну почему ты меня отталкиваешь? Неужели я тебе совсем не нравлюсь?

— Нет, нравитесь,— вздыхает Галка.

— Ну, так докажи... Я завтра вылетаю к партизанам. Вы все тут, в глубоком тылу, представления не имеете, как там воюют... Сегодня, быть может, моя последняя ночь на земле... Галя, в конце концов, это же просто смешно! Война, рушатся целые города... Кто сейчас думает об этих глупых условностях? К чему это мещанское упрямство?.. И знаешь, Галя, если завтра меня убьют, ты никогда не простишь себе этой жестокости. Помни это!

Ведя стойкую круговую оборону, девушка думает: и в самом деле, может быть, завтра трах — и нет человека? И никогда не будет, хоть все глаза изреви. Наверное, в самом деле она унаследовала от деда эти собственнические чувства, за которые бабушка его постоянно пилит. Все последние дни она была полна новым радостным ожиданием чего-то незнакомого, от чего сладко щемило сердце. Она все время думала о Руслане Лаврентьевиче, мечтала о встрече с ним как о чем-то небывалом, непережитом... Но вот такой он ей совсем не нравится... Как же быть?..

Страшный, истошный крик, донесшийся с реки, выры-

вает девушку из объятий, заставляет ее вскочить. Реку густо заволакивает туман, и из этой рыхлой клубящейся гущи, оттуда, где под ледорезом омут и вода постоянно кружит, слышится нечленораздельный вопль:

— А-а-а-а!

Крик разносится над водой, отталкивается от крутого берега, рвется за реку, в луга, и возвращается назад в виде слабого отзвука. Девушка мечется по мокрой полосе песка. Ясно, рядом, недалеко от берега, тонет человек, может быть тот самый пьяный, которого они прогнали, а помочь ему она не может. Красницкий уже сбросил сапоги, срывает с себя китель, рубашку. В тумане глухо, торопливо стучат уключины. Вероятно, какая-то лодка тоже спешит на помощь.

Вот уже виден и сам тонущий. Он судорожно барахтается. Голая голова то появится, то скроется в темной, клубящейся воде и каждый раз исчезает все более надолго. Ах, если бы Галка умела плавать, ну хоть немножко, хоть бы «по-собачьи»! С надеждой бросается девушка к Красницкому. Тот в одних трусах, но почему-то застрял у кромки воды и, чертыхаясь, с чем-то там возится.

— Ну, скорее же! Ну! — нетерпеливо кричит Галка.— Плывите же! Он же уж тонет...

Красницкий не оглядывается. Новый крик с реки, на этот раз короткий, слабый, точно бы перебирает у Галки волосы на голове.

— Да что там у вас?

— Часы... Черт побери, часы!.. Замок у браслета... Ну, помоги, что глаза пялишь?

Пораженная всем этим, девушка старается открыть застежку, но дрожащие пальцы тоже не могут с ней справиться.

А тонущего течение проносит мимо. Он уже не кричит, не зовет, он только делает судорожные попытки удержаться на поверхности. Слышно, как клокочет и плещет вода. Это так страшно, что Галка изо всех сил рвет браслет...

— Идиотка! Что ты делаешь?! — в ужасе вскрикивает Руслан Лаврентьевич.

Лицо его искажается злостью, сожалением. Но золотая цепочка уже оборвана. Знаменитые часы у девушки в руках. Красницкий с ненавистью смотрит на Галку.

— Человек гибнет! — говорит она, и серые ее глаза смотрят на Красницкого с ужасом и недоумением.

И в самом деле — тонущий потерял силы. В последний раз высунулся он над водой. На миг мелькнула его рука. И уже нет ничего. Красницкий опомнился. Разбежавшись, он сильно отталкивается от берега, бросается в реку и плывет кролем, зарывая лицо в воду. Поверхность реки еще клубится, показывая, что человек жив и продолжает бороться. Возле этого места показывается темный силуэт лодки. Раздается тяжелый всплеск. Это какой-то военный, не раздеваясь, прыгнул с борта. Вслед за ним ныряет и подоспевший Красницкий.

Мгновение никого из пловцов не видно, только поверхность реки клубится. Потом появляется стриженая солдатская голова, и в тишине утра над рекой разносится торжествующий крик:

— Тут!.. Держу!.. Сюда!..

Тотчас же возникает рядом мокрая голова Красницкого.

— Лодку!.. Разворачивайте лодку!

В ялике еще военный и две девушки. Одна из них сидит на носу и прикрывает собой от брызг гармонь.

— А вы все пересядьте на один бок... За плечи его, за плечи! — командует Красницкий.— Ну, разом, взяли!

Пострадавший уже поднят в лодку. Военный и девушка наклонились над ним...

— Жив! Товарищи, жив! — слышится торжествующий девичий голос.

— На спину... Сейчас сделаем искусственное дыхание...

Только теперь, убедившись, что человек спасен, Галка точно бы очнулась. Увидела в руках часы, странные часы, без шишечки для завода, и оборванный золотой браслет. И вдруг на душе у нее стало так пусто, так противно, что, брезгливо бросив красивую вещицу на одежду Красницкого, она круто поворачивается и начинает карабкаться на берег. Руслан Лаврентьевич, мокрый, в одних трусах, догоняет ее на полпути.

— Галя, куда же вы? Может быть, вы думаете, что я на вас сержусь из-за этой несчастной браслетки?..

Девушка остановилась. Чуть прищурив серые глаза, она посмотрела ему прямо в лицо и отчетливо, спокойно бросила самое оскорбительное из всех слов, какие изредка употребляют верхневолжские текстильщицы, когда хотят выразить кому-нибудь крайнюю степень презрения.

В эту минуту на смуглом ее лице, еще не потерявшем детской припухлости, появляется что-то от бабушки — колючее, прямое, непримиримое. Отстранив рукой остолбеневшего Красницкого, девушка, смотря вперед невидящим взглядом, продолжает карабкаться на высокий берег, уже розовеющий в отсветах утренней зари.

7

Вовка копается на гряде, рыхля ее маленькой тяпкой, специально для него изготовленной дедом из какой-то трофейной железяки. Рыхлит и бормочет про себя:

— Посадил дед репку, выросла репка большая-пребольшая...— И, разгибая спину, кричит: — Дедушка!

— Чего, внучек? — откликается Степан Михайлович, неторопливо, но споро действуя таким же инструментом поодаль.

— А большие-пребольшие репы бывают?

— Это уж сколько потов над ней спустишь. Тут, брат Вовка, по пословице: «Что потопаешь, то и полопаешь».

— А такие, чтоб все тащили-тащили, да вытащить не могли, можно вырастить? — допытывается мальчик и, бросив тяпку, идет к деду с явным намерением обстоятельно обсудить этот интересный вопрос.

Невдалеке горит костер. Возле него возятся Лена и Ростик.

— Дедушка, этот лодырь нарочно разговоры разводит, чтобы от работы отлынить,— безжалостно разоблачает Лена.

Тут, на дедовом лоскутке, у каждого из ребят собственная гряда. Лена и Ростик свои уже пропололи, разрыхлили, сложили выполотое в общую кучку и теперь блаженствуют у огонька, а конец Вовкиной гряды еще топорщится сорняками, покрыт жесткой, потрескавшейся корочкой.

— Ничего, он маленький,— примирительно заявляет Ростик и идет помогать.

— Уйди, я сам! — хмуро говорит Вовка, но тут же снисходительно разрешает: — Ты, Ростик, с того конца, мне навстречу. Давай кто скорей...

Для ребят большая радость провести вечер на дедовом лоскутке. Впрочем, сегодня здесь их не трое, а четверо. Неожиданно для всех заявилась Галка. Но какая-то необыкновенная, тихая, даже не похожая на себя. Она ле-

жит сейчас навзничь на куче выполотой травы, смотрит в розовеющее от заката небо, покусывает травку и молчит. Молчаливая Галка — это что-то совсем новое, непривычное, неизученное, и ребята, с которыми она сама недавно была не против поозоровать, с удивлением посматривают на нее.

Вообще домашние замечают, что в последние дни с девушкой творится что-то странное. Письма, все еще продолжающие приходить из разных городов, по нескольку дней лежат нераспечатанные. К фильму, о котором она грезила все это время, утерян всякий интерес. С режиссером-оператором, явившимся перед отъездом проститься, она держалась так надменно и холодно, что даже бабушка, вообще-то не жаловавшая Руслана Лаврентьевича, рассердилась: нельзя так обращаться с людьми; какой он там ни на есть, он на работе, и относиться к нему с пренебрежением нельзя... В субботу в театре был вечер дружбы с воинами гарнизона. Играл военный духовой оркестр. Но Галка даже и туда не пошла. Так и просидела до ужина с затрепанным томиком Пушкина в руках, забившись в уголок кровати.

Ни бабушке, ни деду не удалось ее разговорить. Варвара Алексеевна решила, что все это из-за внезапного отъезда матери. В ночь, когда Галка явилась домой уже на заре, Татьяна Степановна укладывала чемодан. Ее срочно вызвали к военному коменданту, сообщили, что отпуск ее прерван и надо немедленно отбыть в войска, на подступы к городу Ржаве, куда уже передислоцировался ее медсанбат. Дед качал головой: нет, дело не в том, что мать так внезапно уехала, просто переходный возраст. Ишь девочка как-то сразу заневестилась. Молчаливая сосредоточенность внучки беспокоила его. Он старался по мере возможности держать ее около себя. И вот сегодня, отправляясь на огород «с ночевкой», уговорил и ее пойти вместе.

С того дня, когда вся земля, пустовавшая во дворе комбината и вокруг него, была поднята, взбита, засажена, прошло уже немало времени. Сколько пережито с тех пор огородных страстей: взойдет картошка на участках, засеянных очистками, или пропал труд? Взошла... Налетели голодные в эту весну птицы, стали выклевывать непроросшие семена. Подняли пионерские отряды. Понаделали на фабриках трещоток. Отбили атаки крылатых жуликов... Когда ранние сорта картофеля уже цвели сиреневыми

цветами, на грядках курчавилась морковь, багровел свекольный лист, покачивались на ветру ажурные венчики укропа и стрелы лука топорщились в небо,— задули вдруг сухие ветры. Земля покрывалась коркой и трескалась. Но это никого не испугало. Не потребовалось ни призывов, ни агитации. Хорошие всходы сами звали хозяев. Люди без приглашения сотнями тянулись по вечерам за город рыхлить, мотыжить, поливать.

Хозяйствовали по-прежнему: ткачи и прядильщики — коллективно, ситцевики — на своих лоскутках. Обе стороны ревнивым взором следили друг за другом. В окрестностях нельзя было увидеть на дороге коровьей лепешки или конского яблока. Все тотчас же собиралось в газетку, относилось на гряды. Не прекращались споры о двух методах огородничества и в семье Калининых. Степан Михайлович, правда, признал, что по уходу за овощами коллективисты не отстают от «лоскутников», но у «лоскутников» оставалось одно преимущество, которое никак не желала признать Варвара Алексеевна: из разбитых досок, из кусков фанеры, из бортов трофейных машин они понастроили маленькие, как они называли, «балаганы». В них можно было прятаться от дождя, а при случае и заночевать на вольном воздухе.

Разумеется, соорудил такой балаган и Степан Михайлович. Теперь для внуков, к которым причислен и Ростик, нет лучшей утехи, как поработать у деда на огороде, а иногда, в виде особого поощрения, быть оставленным и на ночлег. Но на этот раз в сумерки им пришлось прощаться. Ночевать была оставлена Галка, а для всех четверых балаган был мал...

Вечерело. Сгущались сумерки. Костер, даже затухая, светил все ярче и ярче. Галка задумчиво смотрела на перемигивающиеся угольки. Дед достал из балагана серое солдатское одеяло. Он принес его еще с первой мировой войны. Галку закутывали в него в младенческом возрасте. Накинул одеяло на плечи девушки и молча сел рядом. На огонек подошел Гонок, присел. Дед поморщился, но отказывать кому-нибудь в гостеприимстве было не в его обычае. Все трое молча наслаждались наступлением тихой летней ночи. Каждый думал о своем.

— А ты, дед, очень любил бабушку, когда вы были молоды? — спросила вдруг Галка, следя, как веселое красное пламя порой выбивается из-под седого пепла.

Гонок было встрепенулся и что-то хотел сказать, но

дед осадил его таким взглядом, что тот только кашлянул и закрыл глаза, будто задремал.

— Любил, внученька. Очень там не очень, немножко или чрезвычайно — эти слова тут ни к чему... Любил — и все.

— А уж как же ты ее полюбил? Как эта любовь у вас вышла? — Серые глаза внучки тревожно смотрели на старика.

Вместо ответа тот вдруг спросил приятеля:

— Помнишь, какая она в девках была, Варьяша?

Приподнявшись на локоть, старый фабричный сердцеед, которого Варвара Алексеевна терпеть не могла именно за эту его слабость к женщинам, за масленые глазки, за дурной язык, вдруг ответил, задумчиво глядя на пламя костра:

— Огонек она была, Варька... И между прочим, Михалыч, вот эта коза,— он указал на девушку,— на нее маленько похожа. Верно ведь?

— Верно,— подтвердил дед.

— А как ты ее встретил, бабушку? — продолжала допрашивать девушка, у которой мысли бежали своими, непонятными для старика путями.

— Чудно встретил! — Старик усмехнулся.— Шел в троицын день по лесу. Гулял. Тихо-благородно гулял вон там, в Большой роще, где теперь Новый поселок стоит. Ну, чуть выпивши, конечно, по самую малость. На мне рубаха синяя, пиджак диагоналевый, брюки в полоску навыпуск, а на голове не какой-нибудь там картуз или кепка-шляпа... Мы, раклисты, бывало, недопьем, недоедим, а уж оденемся чисто... Вот иду я, тихонько лады перебираю, и вдруг в чаще свистки. Крик, топот конский... Догадался я: это на тех фабричных, которые где-то здесь с кумачовым флагом собрались, облава... Но мне что за дело! Я в их сходках не замешанный, я сам по себе... Должен я тебе, внучка, сказать: раклисты, граверы да художники в сторонке от политиков держались. Это ведь справедливо бабка мне по сей день в нос тычет: рабочая аристократия... Стыдно вот тебе, внучке моей, комсомолке, признаваться: не понимал я тогда, о чем это наши политики хлопочут, зачем царя ругают...

— Верно, верно, Михалыч, святая правда. Мы, ресконтеры, тоже в сторонке были-с,— вздыхает Гонок.

— Ну, ты-то, мил друг, не больно в сторонке, ты-то и царский портрет пáшивал... Но что там поминать, слава

те господи, двадцать пять лет минуло! Да и не о том разговор.

— Ты говорил — шум, свист... а дальше? — допрашивает Галка.

— Шум, шум, свист, и кричат «держи». Ну, кого-то там ловят. А мне что? Я иду, наигрываю... И вдруг из кустов девица — простоволосая, в сатиновом, как сейчас помню, огурчиками набитом платьице, в полусапожках на резинках — и с ходу хлоп мне на шею. Обхватила руками и целует, целует, как меня в жизни никто и не целовал. Я на нее гляжу: чья такая?.. И в старое время, когда, рассказывают, святые угодники на земле чудеса творили, не слыхать было, чтоб вот так девки с неба на шею падали. Но тут кряду ломит на нас из кустов полицейский со свистком и штатский, вертлявый такой, в зеленой кепке с пуговкой. И сразу я все понял... Что ж мне, бросать им на растерзание девицу? Делаю вид, будто их не вижу, и тоже ее целую. Стоим мы, точно одни в лесу, а краем глаза я на тех гляжу... Штатский-то шпик — горохова кепка — мигает городовому: мол, не те, пошли. И оба они обратно ломят в соснячок. А я девицу под ручку, гармонь под мышку — и в другую сторону.

— Эта девица — бабушка?

— Бабушкой она тогда, конечное дело, не была,— улыбается старик,— а была ткачихой, а по фамилии Гороховой.

— Ух, озорная была! Ее Горошиной звали. Все Горошина да Горошина,— вставляет Гонок.

— Пошел бы ты, друг, на бассейку, водицы б ведерко принес. Там у меня в балагане свежая картошка, сварили бы. А? Давай-ко, не в службу, а в дружбу.

Степан Михайлович сам охвачен воспоминаниями. Ему не хочется, чтобы ему мешали. Когда Гонок, гремя ведром, исчезает во тьме, он продолжает:

— Идем мы с ней под ручку, а я все гляжу: кто ж это такой, так крепко целоваться умеет? По виду сразу признал: наша, фабричная. Гонок верно говорит, она была аккурат как ты, только глаза черные да ясные. Чистенькая такая, на ногах полусапожки старенькие, каблуки стоптаны, а начищены — так и горят, платьишко стираное-перестираное, а наглажено и подкрахмалено, как у барышни... Смотрит на меня — и ни испуга, ни смущения. «Спасибо, говорит, сударь, что вы меня не выдали».— «Помилуйте, говорю, за что тут благодарить? — И добав-

ляю: — Очень вы, сударыня, здорово целуетесь...» Она застыдилась, глаза опустила — и сквозь смуглоту румянец. И отвечает тихонько: «Вы не подумайте чего такого: это для конспирации».

— Конспирация-с! — хихикает Гонок, который уже успел принести картофель и воду.

— Брысь отсюда со своим смехом дурацким! — уже сердится Степан Михайлович.— Давай ведро, будем картошку мыть.

Старик отходит от костра, наливает воду в котелок, где лежит картошка, и вертит, вертит его до тех пор, пока клубеньки, сбросив шелуху, не зарозовели отполированными боками. Тогда, слив грязную воду с шелухой, старик заливает котелок свежей, бросает соли, вешает над костром. Потом, погрозив Гонку кулаком, усаживается возле внучки.

Галка еле переждала возню с картошкой.

— Ну уж, а дальше?

— А дальше я ей говорю: «Такая вы милая барышня, зачем вы в эти не женские дела лезете? За это, говорю, на каторгу гоняют...» Она ведь и тогда была как бритва. «Это, отвечает, сударь, не трожьте, это — мое и вас не касается, а если хотите до конца доброе дело довести, проводите меня домой, до девичьей спальни, будто мы со свидания идем». Сказала и опять шею мою руками обхватила, встала на цыпочки — и губами ко мне... Тут уж я не сплоховал. По дорожке стражники скачут, проскакали, а я уже во вкус вошел, все целую, не отпускаю. Она головой мотает, отбивается, наконец вырвалась. «Что вы, с ума сошли, они уж где!» А я говорю: «А это уж, может, и не конспирация, а серьез...» Вот так наша любовь, внученька, и началась.

Старик принес из балагана и подбросил в костер дровишки. Сверху легла какая-то серой масляной краской покрытая доска. На ней сохранились остатки немецких букв. Пламя сразу объяло сухое дерево, краска пошла пузырями, и вот уже не видно стало и букв — один огонь.

— Горишь! — злорадно произнес Степан Михайлович.— Может, по всей Европе тебя Гитлер протащил, а вот сгореть тебе суждено здесь... Эх, внученька, как наш российский-то гражданин сейчас поднялся! Был в древности такой человек по имени Муций, по фамилии Сцевола, он сам руку себе на жаровне сжег, и вот уж сколько

веков той стойкости люди дивятся! А что этот почтенный Сцевола, если его сейчас сравнить...

— А ты не сравнивай... Ну его, этого Муция! Ты про бабушку.

— Что ж, слушай про бабушку... Проводил я девицу эту до спальни. Тут она опять на цыпочки привстала, чмокнула меня — и бежать. Оглядываюсь — никого кругом нет — и думаю: это уж, Степан, не конспирация, это персонально тебе... Подумал я так и побрел к себе в Красную слободку, где в ту пору мы, два парня, молодые раклисты, у одного хорошего человека на пару комнатенку снимали... День проходит, два проходит, неделя проходит, а девица та черноглазая так и стоит передо мной. Ах, думаю, напасть какая! Не вытерпел однажды, взял гармонь, пришел вечерком к девичьей спальне, сел на скамеечку, пробежался раза два по ладам, ну, девушки-то из дверей и посыпались, как пчела на мед. Гляжу, средь них и моя... Так и пошло. Я им по вечерам играю — они танцуют. И она здесь, среди них,— губки бантиком: «Здрасте, Степан Михайлович. Как поживаете?..» Смирная такая... Никому и в голову не придет, что она среди тех, кто против хозяев Холодовых да против царя людей бунтовал, одна из заводил... Ну, познакомились поближе, гулять вместе стали, но тех ее дел я касаться и не пробовал... Так и говорила: «Вся твоя, Степа, а это — особое, этого не трогай...»

— Вы что же, тогда с ней и сошлись?

— Нехорошее это слово, внучка, «сошлись»! Да и вовсе не к месту тут оно. В той девичьей спальне строго было.

— Верно-с, верно-с... Меня раз, раба божьего, там помоями окатили и за дверь выкинули,— вспоминает Гонок.— В этой спальне так было-с: забредет туда молодой человек выпивши, как медведь в малинник, станет к ним приставать, а они его одеялом накроют и побьют. А то еще и хожалому скажут... Там Варвара у них всем и вертела...

— А хожалый — это кто? — спрашивает девушка, все больше заинтересовываясь.

Старики недоуменно переглядываются.

— Эх, внучка! — улыбаясь говорит Степан Михайлович.— Шумите там, на своих собраниях: проклятое прошлое, проклятое прошлое! А почему оно проклятое, вы толком и не знаете... Хожалый — человек такой от хо-

зяина, в спальни определенный. Царь и бог был. Мог в любую минуту в какую хочешь комнату войти, в какой хочешь сундук нос сунуть... И была у него обязанность: управляющему обо всем наушничать и в полицию стучать. Вот кто такой хожалый... Его больше, чем самого старика Холодова, боялись. В пасху да в рождество все к нему с поклоном, с подарками да с поздравлением: «С Христовым праздником вас!..» Это чтоб он не очень вредничал... Хожалый! Больно скоро мы об этом позабыли. Вот перед войной какая-нибудь девчонка еще только к станкам встанет, сама от горшка два вершка, а уж: «В общежитии жить не хочу, подай отдельную комнату». Общежитие с койкой, да с тумбочкой, да шкафчиком — это уж не по ней... А как при Холодове-то, Гонок, помнишь? Вот девичья спальня. Комната, а по стенам нары, как полки в поезде «максим», в три этажа. У нар лестница. Есть у тебя сундучок или узел, ставь под нижнюю нару. Это для девушек. А то были ребячьи спальни.

— Это и вовсе в четыре этажа-с,— перебивает Гонок.— Там под утро на верхней наре бывала такая атмосфера — ножом резать можно. Люди от одного духа угорали, вниз падали. Что смеху было! Помнишь, Михалыч, как это звали?

— Ну, уж это при девушке вовсе ни к чему... Ты, внучка, может, думаешь, что в «ребячьей» казарме только молодежь и жила? Или холостежь? Какое! Отцы семейств, бородачи-кувшинники...

— А кувшинники — это кто?

Девушка придвинулась к деду. Костер освещает большое его лицо, все будто обметанное серебристым пухом, какой летом летит с тополей, и кажется ей, что рассказывает он не то, что сам видел, пережил, а что-то далекое, сказочное, ну, вроде того, что когда-то она вычитывала в уральских сказах про малахитовую шкатулку.

— Кувшинники? — переспрашивает дед, довольный любознательностью внучки.— А это те, кто, на фабрике работая, с земли не уходил. В деревне у него с поясок полоска. На ней жена, дети его копошатся... Бывало, в субботу он на колокольный звон перекрестится, в лапти переобуется, мешок за плечи — и домой, чтоб получку, спаси бог, не пропить. А в воскресенье в ночь возвращается, и в мешке у него хлеб, картошка и обязательно кувшин квасу — это чтоб в харчевой хозяйской лавке деньги не тратить. Вот за то их и звали «кувшинники».

— Ах, вот что! — разочарованно говорит девушка.— Ну их, кувшинников, ты про бабушку, про вашу любовь...

— Так вот любовь у нас с Варьяшей и шла, гуляли вместе, не семечками, а конфетами ландрин я ее угощал. Я ведь, Галка, в парнях и из себя ничего был. Бывало, разведу мехи да как гряну: «Сашенька, ты Саша, Саша молодая, радость дорогая» — вся спальня в пляс пойдет... А с бабушкой твоей, когда мы еще и под венец не ходили, у нас так завелось: у тебя свои мысли, а у меня свои. У меня дружки степенные — граверы, раклисты, красковары; у нее свои — подпольные, мне неизвестные... Я уж о них и не спрашиваю. Один только раз ее и мои друзья после нашей свадьбы за столом встретились, и то чуть драка не вышла. Ее гости говорят: бога нет, бог — это фикция, попами для порабощения народа придуманная,— а мои: без бога — ни до порога... Чуть до кулаков не дошло.

— А когда бабушка в пятом году в восстании участвовала, ты уж с ней был?

— Да мыслями-то порознь, а в деле вроде бы и с ней... Тут ведь как у нас вышло? На Верхневолжской мануфактуре пятый год был серьезный. Хозяина Холодова с фабричного двора по шее, в доме его штаб восстания, все ворота баррикадами преградили. И в начальство себе от всех фабрик избрали Совет рабочих депутатов. А что ты думаешь? И Совет за дело взялся: дружины создал, в механическом кинжалы да пики для обороны ковали. Уж на что кувшинники — и те поднялись: на подводах из деревень нам на фабрику продукты для забастовщиков повезли. Железную дорогу разобрали, чтоб карателей не пропустить. Во как было!

Ну, а бабка твоя, разумеется, в самой середке там крутилась, иначе ж она не может. Я-то всего и не знал. Уж потом, после революции, в газетах прочел, что и тогда была Горошина в ярых большевичках. И идти бы ей на каторгу, кабы ее твоя тетка Марья не выручила. Да, да, а что ты думаешь? У нас уж тогда Ксения и Татьяна были. Я с ними нянчился, пока бабка твоя там по митингам бегала. Беременная была на последнем месяце, а ни одного, бывало, не пропустит... А когда их баррикаду у Хлопковых ворот артиллерия разнесла да казаки во двор на конях ударили, Варьяша моя раненых подбирала. И тут вот с перепугу, что ль, иль от переживаний и начала она раньше времени рожать. Ее на руки и прямо в

больницу, по-тогдашнему говоря, в приемный покой... Когда полиция людей из Совета рабочих депутатов хватала, Варьяша уж Марью на свет произвела. Врач, ну, Владим Владимыч наш, он им сочувствовал, в больнице ее подзадержал. Так она при маленькой и отлежалась от тюрьмы, а может, и от каторги. Хожалый-то уж после нюхал-нюхал: где, мол, есть такая Горошина? Но люди ее загородили: не слыхали мы ни о какой Горошине, а про Варвару, мол, Калинину не сомневайтесь, грешно на бабу напраслину возводить — мать троих детей, и самая маленькая вон при груди.

— И вы уж друг друга так всю жизнь и пролюбили? — спрашивает девушка, снова сворачивая на беспокоящую ее тему.

— Так, внученька, и пролюбили. Это ж ведь в кино влюбленные только целуются, а в жизни-то настоящая любовь незаметная. Потому и найти ее, настоящую, трудно... Ну, а уж если повезет тебе, найдешь — держи обеими руками, не выпускай, как я твою бабку не выпустил, бог с ней совсем!

— А картошечка-то и поспела,— объявляет Гонок, косясь в сторону костра и нюхая пресный парок, которым тянет от кипящего котелка.

Неторопливо слили воду, сели. Старики выхватывали горячие картофелины, студили их, перебрасывая с ладони на ладонь. Степан Михайлович неторопливо отправлял кусочки в рот. Гонок ел жадно, почти не прожевывал, глотал, как утка. Девушка зябко куталась в одеяло и совсем не прикасалась к соблазнительному блюду.

Когда, наевшись, поковыряв в зубах, Гонок уснул, свернувшись на куче выполотой травы, внучка придвинулась к деду.

— Какие вы с бабушкой счастливые, а я...— И она, торопясь и негодуя, рассказала все, что произошло на реке.

Сначала дед смотрел на нее с тревогой, потом — ласково улыбаясь и наконец начал тихо посмеиваться.

— Ты чему? — обидчиво спросила Галка и даже отодвинулась от него.

— Один древний мудрец сказал друзьям: «Кратковременная неудача лучше, чем кратковременная удача»... Чуешь?

Девушка не ответила. Наступила такая тишина, что слышен стал и напряженный, звенящий звук, доносящий-

ся с электростанции, и как где-то упруго выхлопывает из трубы пар, и как лягушки надсадно, наперебой орали на реке, и как тихо шелестели в догорающем костре уголья.

Вдруг дед встрепенулся и даже приложил к уху ладонь, сложенную раковиной.

— Фрицы?

Действительно, издалека, еле слышно, будто писк летящего комара, доносился вибрирующий звук. Он быстро нарастал.

Гонок проснулся. Старики мгновенно разбросали костер и еще до того, как самолеты приблизились, успели залить головни водой. Когда бомбардировщики пролетали над огородами, девушка сделала попытку бежать, но старик силой остановил ее.

— Куда?

— А уж туда, домой.

— Под бомбы?.. Ложись тут.

Степан Михайлович был внешне спокоен, и это действовало отрезвляюще. Все трое, они легли меж гряд и наблюдали, как в дробном грохоте зенитных батарей вставал перед городом трепещущий забор огней... Нет, даже и предполагать нельзя, что тут теперь такая зенитная защита. Огни становятся гуще. Рыдание сирен воздушной тревоги уже едва пробивалось сквозь отрывистый пушечный лай. Одна батарея била так близко, что уши глохли. Все это — фехтование сверкающих мечей, рассекающих тьму, разноцветные бусы трассирующих снарядов, судорожное метание разрывов и, наконец, багровые зарева, поднимающиеся тут и там, — со стороны напоминает зловещий, но красивый фейерверк. И когда прожекторам удалось поймать в небе смертоносную серебряную стрекозу и огни трассирующих снарядов устремились к ней, как светляки, дед злорадно зашептал:

— Это им не прошлый год!

Серия бомб рванула невдалеке, на фабричном дворе. Все трое прижались к земле, и Гонок бормотал сквозь икоту:

— Свят, свят, свят!..

Степан Михайлович насмешливо глазел на него:

— Бог не захочет — чирей не вскочит.

Девушка лежала меж гряд, заткнув уши, ее знобило. Все, что происходило, казалось ей неестественным и особенно страшным потому, что на огороде пахло укропом,

луком, помидорной ботвой, потому, что земля, ласково отдавая накопленное за день тепло, благоухала мирно, успокоительно.

8

В ночь бомбежки Анна проснулась от воя сирен. С трудом удалось ей разбудить ребят, которые, как всегда после походов на дедовский огород, спали особенно крепко. Отведя детей в бомбоубежище и сдав их под опеку Арсению Курову, она бросилась на фабрику. Прямой необходимости в этом не было. Цеховые парторги на своих местах. В парткоме на ночь оставался дежурный. И все-таки тревожно. В ночной смене много молодежи. Вдруг поднимется толкотня, давка? Мало ли...

Она бежала по опустевшим улицам под перекличку сирен и дробный бой зениток, бежала, волнуясь за детей и за тех, кто был на фабрике. Противный щемящий страх не оставлял ее. Каждый раз, когда где-нибудь недалеко осколок зенитного снаряда шлепался об асфальт, она вскрикивала и на мгновение застывала. А когда с пронзительным, сверлящим ревом неслась вниз бомба, ей стоило невероятных усилий не броситься куда-нибудь в канаву. Но то, что двигало ею, было сильнее страха. Добежав наконец до проходной, где рядом с фабричным вахтером стояли уже и военные, она долго не могла достать из кармана пропуск — так дрожали руки.

— Ну, ничего не случилось? — спросила она старичка вахтера, голова которого тонула в рогатой трофейной каске, надетой по тревоге согласно инструкции ПВО.

В коридорах было темно, пустынно. Бой зениток гулко разносился по притихшим, будто притаившимся помещениям.

— Да вроде пока, слава богу, мимо падает.

— Давки не было?

— Началась было: девчата тут в проходах зашебаршили... Но этот ваш, большой-то, от парткома-то, дежурный, которого еще фабзайцы дядя Пуд зовут...

— Лужников?

— Во-во... Он тут сразу всех угомонил. Ну, а потом шли как крестный ход.— Вахтер прислушался.— Вот дает жизни, сукин сын! Одна-то где-то совсем рядом бултых-

нулась. Часы вон со стены слетели, хорошие часы, веселые, с боем... Как уж без них будем?

Анна сбежала вниз, в подвал, служащий вместо бомбоубежища. В душном, сыроватом полумраке горели синие лампочки. Лица людей казались здесь неестественно бледными. Несмотря на слабое освещение, Анну сразу узнали, и одобрительный шумок прошел по помещению.

— Пришла... Эй, глядите-ка, Анна Степановна!

— Где?

— Да вон у колонны стоит, пот вытирает...

И кто-то уже спрашивал из полутьмы:

— Милая, неужели ты из дому бежала?

И кто-то посочувствовал:

— Детей-то с кем оставила?

И кто-то задним числом сокрушался:

— К чему ж? В такой час кокнуть могло! На улице человек со всех сторон открытый.

И кто-то шумно, даже слишком шумно, восторгался:

— Вот она, орлица-то наша, ничего не боится — под бомбами к своим шла! Мать родная...

Люди толпой обступили ее. Все были в тревоге, и не столько за себя, сколько за детей, за беспомощных стариков, остававшихся дома. Когда бомба рвалась где-то неподалеку и подвал, встряхнувшись, начинал гудеть, те, кто толпился вокруг Анны, невольно подавались поближе к ней.

Вот проталкивается сквозь толпу Слесарев. Пиджак надет прямо на ночную рубашку. Квадратное лицо не брито, и, вероятно, поэтому выдающийся вперед подбородок кажется особенно тяжелым, будто отлитым из чугуна.

— Прибежала-таки, не удержалась! — ворчит он, но узкие, широко расставленные глаза смотрят из-под нависшего лба с уважением.

— А ты?

— Я директор, мужчина.

— Ну, а я женщина, секретарь парткома.

— Могла бы и не рисковать. Сегодня ваш дежурный Лужников тут всем заправлял. Меня толпа на выходе смыла, поволокла, а его сбей-ка! Стоит, как утес: стоп, задний ход, без паники... Толковый, сильный человек!

— А ты у него партбилет отнимать собирался...

Анна сияет. Нет, стоило еще и не столько, и не так потрудиться, чтобы ощутить такое доверие, уважение, ла-

ску! К этой радости добавляется радость другая: оттого, что Лужников, которого еще недавно никто не принимал всерьез и которого Анна как бы заново открыла для людей, сегодня так себя показал. Ей приятно говорить об этом человеке.

— А ты его из партии хотел исключить,— повторяет она, заметив, что Слесарев сделал вид, что не расслышал ее фразы.

— Ох, и злопамятная ты! — усмехается директор.— Ну, было, разве мы мало ошибаемся? А теперь вот думаю: выдвигать его надо...

— Ну что ж, поддержим... Ага, отбой, наконец-то!

Сразу почувствовав облегчение, люди в бомбоубежище пришли в движение и, возбужденно переговариваясь, направлялись к выходу.

И по дружному, веселому гулу, который понес с собой вытекающий из бомбоубежища людской поток, по тому, как быстро наполнилась фабрика грохотом станков, Анна с удовольствием ощутила, как вырос, закалился спаявшийся за это время коллектив.

Запоздавшие уже бегом спешили на свои комплекты.

Собственно, теперь секретарю парткома можно спокойно идти домой. Но Анне хочется найти Лужникова, поблагодарить и, что там греха таить, хочется просто увидеться, перекинуться словечком с этим большим застенчивым человеком, который и в самом деле смотрит теперь на нее какими-то странными, может быть и впрямь влюбленными, глазами. Она колеблется: стоит ли? Зачем? К чему это может привести? Потом решает: а что же тут худого? Почему ей и не потолковать с коммунистом, который сегодня так отличился? Больше того — это ее обязанность. И никому никакого дела нет до того, какими глазами он на нее смотрит.

Она позвонила по телефону домой, услышала знакомое, очень сонное: «Владимир Калинин слушает»,— приняла от Вовки рапорт, что все они с дядей Арсением благополучно пересидели налет в убежище, что в доме не вылетело ни одного стекла и что сейчас все легли спать.

— Ма, ты поскорей!

— Ладно, ладно, спите... Мне еще надо в партком заглянуть.

Все еще переживая возбуждение от только что миновавшего налета, радость оттого, что все благополучно кончилось, Анна быстро пробежала коридор. Но у стеклян-

ной двери почему-то заколебалась, потом нерешительно постучала и даже спросила: «Можно?»

Без пиджака, в расстегнутой рубашке, вытянув ноги в носках, Лужников сидел в кресле и, насадив на нос очки, читал какую-то книгу. Увидев Анну, он зачем-то схватил со стола воротничок с галстуком, а книга полетела на пол. Лицо же у него стало смущенно-радостным.

— Анна Степановна... Уж извините, я уж тут, у вас... по-домашнему...

— Чепуха, сидите, сидите! — торопливо произнесла Анна, тоже почему-то чувствуя необыкновенное и вовсе не тягостное смущение.— Я на минутку, поблагодарить вас, Гордей Павлович. Здорово вы тут, говорят, командовали. Даже директор отметил.

— Что ж? В гражданскую я целым полком, Анна Степановна, командовал,— ответил Лужников и вдруг ни с того ни с сего, конфузливо опустив глаза, сказал: — А и умеете же вы человека за душу тронуть! Помните, весной мы с вами поговорили?.. Вот задумаюсь — и все будто слышу ваш голос.

— Я тоже тот вечер помню,— просто призналась Анна, но тут же спохватилась: — Не вечер, конечно, а наш разговор.

Но конец фразы не спрятал того, что было сказано вначале. Странная улыбка задрожала на губах Лужникова.

— Неужели вспоминали?

Анна покорно вздохнула.

— Вспоминала! — Но тут же опять поправилась: — Я секретарь парторганизации, мне обо всех коммунистах думать положено... А вы обуйтесь, Гордей Павлович, нехорошо: сидите, будто на базаре перед холодным сапожником, вдруг кто войдет?

Лужников отошел в угол, обулся, надел воротничок, подвязал галстук. Он сел по другую сторону стола, и понемногу у них завязался неторопливый разговор.

Сколько у Анны накопилось нерешенных вопросов, непроверенных мыслей, необсужденных затей! Не с каждым всем этим поделишься, не каждый поймет. А вот Лужникову легко, даже приятно рассказывать. Чувствуется, что этот человек, такой сильный и такой слабый, такой бывалый и такой беспомощный, все-таки понимает. И она говорила, а он слушал, кивал, улыбался и больше молчал. Так, вставит слово-другое: «Да», «Нет»,— неопределен-

ным восклицанием выразит сочувствие или удивление. Анне с ним почему-то необыкновенно легко, хорошо. Лишь изредка, когда взгляды их встречались, оба поспешно опускали глаза и обоим становилось как-то неловко, но это была особая неловкость — радостная и приятная. Хотелось испытывать ее снова и снова.

Так, сами того не заметив, проговорили они, пока гудок, возвещавший утро, не ворвался в их беседу. Он прозвучал так внезапно, что Анна даже вздрогнула.

— Ну и ну, вот заболтались! — И заторопилась: — До свидания, Гордей Павлович...

— Да куда вы одна в такую пору? Я вас провожу...

Хотя по радио было объявлено, что ни общежитие, ни поселок не пострадали, после бомбежки все торопились по домам. Смена валила так густо, что Анне и Лужникову пришлось, стоя в сторонке, переждать основной поток. И она заметила, что кое-кто из работниц посматривает на них, иные даже оглядываются. «Ну и пусть»,— улыбнулась она. На душе было легко и радостно, как у человека, видевшего хороший сон.

Когда они вышли из дверей, на улице было совсем светло. Только что прошел дождь. Земля была влажная. Кое-где в отсветах восхода розовели веселые лужицы. Анна остановилась, полной грудью вдохнув густо настоянный на тополевом листе воздух, улыбнулась Лужникову.

— Хороший денек будет, Гордей Павлович!

В это мгновение она услышала сзади резкий, дребезжащий голос:

— Нет, вы посмотрите, посмотрите, люди добрые, моду какую взял: по ночам к чужим бабам таскаться!.. Бревно гнилое! Статуй! Труба фабричная!

Анна сразу поняла, кто и кому это кричит. Она не оглядываясь прибавила шагу. Но сзади по асфальту ее догоняли. Слышалось прерывистое, злое дыхание. Худенькая женщина с вялым, иссеченным мелкими морщинками, будто потрескавшимся лицом, заходя сбоку, кричала:

— Удираешь? От меня не удерешь, бесстыжая! Я догоню! Саму муж бросил, так она за чужими охотится... А, каково это, граждане?

Смена, хотя уже и жиденько, продолжала еще течь. Люди останавливались, смотрели на двух женщин, на беспомощно топтавшегося возле них огромного человека, слушали. Лужникова все это видела и с мстительным

расчетом именно им, слушающим, и адресовала свои желчью облитые слова.

— Думаешь, что партийный секретарь, так тебе все и спишется? Нет, я найду на вас управу!..

— Лиза, не надо, замолчи! — умолял Лужников.

Маленькая женщина мгновенно сорвала с ноги туфлю и, размахнувшись, ударила его по лицу.

— Вот тебе, негодяй!

Любую попытку урезонить или успокоить ее Лужникова встречала залпом брани. Анна растерялась. Все, что в запале бешенства кричала эта женщина, было сущим вздором. Но что-то, что Анна еще лишь смутно ощущала в себе, не позволяло ей осадить скандалистку, как это сделал когда-то Владим Владимыч, мешало просто повернуться и уйти.

Анна так и стояла посреди сквера, изо всех сил стараясь сохранить хоть внешнее спокойствие. Чем бы все это кончилось, трудно сказать, если бы в дверях фабрики не показался Слесарев. Сразу смекнув, в чем дело, он решительно взял Анну под руку и, не обращая внимания на крики и угрозы, несшиеся им вслед, подвел к ожидавшей его машине. Открыв дверцу, он почти втолкнул Анну на заднее сиденье.

Сидя впереди, с шофером, Слесарев молчал. Только скулы ходили у него на лице. Да, не все нравилось ему в Анне Калининой. Эта ее неугомонность, вечные искания, излишняя поспешность в делах, требовавших спокойного, хладнокровного обсуждения, были директору не по душе. Он не любил этой ее «комсомольской», как он про себя определял, манеры не считаться с авторитетами и прямо при людях, даже иной раз на собрании, говорить человеку о его недостатках. Он не забывал и не прощал вольных или невольных обид. Но при всем том человек, обладавший способностью все учесть, проанализировать, сопоставить, он не мог не видеть, как из вчерашнего ремонтного мастера на глазах вырастает крепкий, деятельный, а главное — нужный для фабрики партийный работник. Он предвидел, к чему мог привести пусть случайно возникший, пусть ни на чем не основанный публичный скандал. Знал и волновался, хотя квадратное, малоподвижное лицо его выглядело спокойным.

Машина подпрыгивала и моталась на плохо засыпанных снарядных воронках. Забившись в угол, Анна кусала губы. Ей удавалось сдерживать рыдания, но слезы бе-

жали по пылающим щекам. Слесарев снял с головы велюровую шляпу и, раза два обмахнувшись, будто бы невзначай повесил ее на косое зеркальце, через которое водитель мог наблюдать, что происходит на заднем сиденье. Директор считал, что представителям масс не следует видеть плачущим секретаря парткома.

9

На заре на квартиру к Арсению Курову прибежал заводской курьер. От ночной бомбежки в литейном цехе пострадала сталеплавильная печь. Мастера требовали на завод.

Когда, застегиваясь на ходу, прыгая через две ступеньки, Арсений сбегал с лестницы, навстречу ему поднималась Анна. Она шагала тяжело, придерживаясь за поручни перил. На лице у нее было странное, какое-то отсутствующее выражение.

— Что-нибудь стряслось? — успел спросить Куров.

Анна молча кивнула головой, и они разминулись.

Впрочем, Арсению некогда было гадать о чужих неприятностях. Если печь пострадала серьезно, это угрожало всей заводской программе. Тут было над чем задуматься.

А земля после ночного дождя так чудесно пахла! В лучах встававшего солнца тут и там поблескивали вздрагивавшие на ветру лужицы. Курился темный, быстро просыхавший асфальт. На нем кое-где виднелись странные рыжие камешки. Куров поднял один из них. Это был кусочек металла с острыми, рваными краями. Оказывается, за ночь осколки зенитных снарядов покрылись ржавчиной.

Нарождавшийся день был тих и спокоен, но люди, спешившие на работу, шли прислушиваясь и тревожно всматриваясь в голубую лазурь. Только и разговоров было, что о ночном налете. Прорвалось двадцать пять... Какое там двадцать пять! Сорок!.. Да нет, не сорок — пятьдесят бомбардировщиков! Проехала вереница пожарных машин. Они двигались медленно, без гудков. Брезентовые робы у пожарных были мокры и кое-где прожжены, а сами они еле стояли на ногах, держась за медные сверкающие поручни. Их провожали молчаливыми взглядами. И хотя точно никто ничего не знал, на все лады

обсуждалось, куда упали бомбы, что разрушено, сколько людей погибло, сколько налетчиков удалось сбить, и тут же в разговорах цифры быстро нарастали: четыре «юнкерса»... да нет, не четыре, а шесть... и не шесть... девять, это точно... А еще тревожно гадали, что же он означает, этот внезапный массовый налет после такого длительного затишья? На юге вражеские армии рвутся к Дону, не перешли ли они в новое наступление и здесь, в верхневолжских краях?

По фабричному двору люди почти бежали: так хотелось всем поскорее очутиться в своих коллективах, чтобы вместе обсудить тревоги, рассеять опасения...

Еще издали Куров заметил, что во дворе его завода, где складывали железный лом, толпой стоял народ. Как раз сюда и угодила одна из бомб. Она упала в стороне от литейного корпуса, там, где лежал металлический лом, и сама особых бед не причинила. Но массивный осколок чугуна, подброшенный силою взрыва, влетел в окно и угодил в сталеплавильную печь. Все цехи, за исключением литейного, работали полным ходом. На обычных местах находились и военнопленные. Но сегодня их снова отделяла от всех та невидимая стена, которая было растаяла за эти последние месяцы. Никто к ним не подходил. Люди хмуро посматривали на них, будто и они были виновниками случившегося. Куров заметил это и не одобрил: несправедливо. Поэтому, поднявшись к себе, он сразу же подошел к Эбберту и, оглядываясь на своих «орлов», неприязненно посматривавших на немца, протянул ему руку:

— Гут морген, Гуга.

Немец все понял. Он крепко пожал руку мастера:

— Страствуйте, герр шеф...

Вообще с того дня, как разыгралась сцена у станка, который немец решил собирать по-своему, в отношениях этих двух рабочих людей произошли любопытные изменения. Признав тогда, что немец прав, Арсений так потом и не смог забыть об этом. Ему было досадно, неловко. На кого он досадовал и почему ему было неловко, он так и не разобрался. Но утром, спеша на работу, отворачиваясь от укладывавшего свои тетрадки и книжки Ростика, он оторвал от висевшей на гвозде косицы чеснока головочку побольше и сунул в карман. Мастер не забыл о немце: у него, должно быть, тоже авитаминоз, как и у многих. А лучшим лекарством от этой болезни считался чеснок.

Но целый день мастер шуршал в кармане чесночиной, все не решаясь ее отдать. Только по окончании работы, когда немец уже переодевался на выход, Куров быстро подошел к нему, сунул в руку чеснок и не оглядываясь прошел мимо.

Потом он уже перестал стесняться. Когда же Ерофей Кочетков, отлежав свое в больнице, осунувшийся, побледневший, остриженный наголо, вернулся в цех и Курова спросили, что он скажет, если Кочеткову дать самостоятельный участок, Куров, к общему удивлению, сопротивляться не стал. Так немец был узаконен его помощником.

Это был в общем-то неплохой помощник, точный, старательный, но, к досаде Курова, какой-то уж очень неторопливый. Он напоминал отлично отрегулированный механизм, имеющий всего одну скорость. Ничто не могло заставить его работать быстрее. И мастер, живший только заводскими интересами, принимавший близко к сердцу любую заводскую беду, злился, наблюдая такое для него странное «добросовестное равнодушие». Даже в дни какой-нибудь, как говаривали на заводе, «катавасии», когда, согласно тому же заводскому лексикону, все «катилось колбасой» и люди, забывая об отдыхе, не считали рабочих часов, немец сразу же после гудка откладывал инструмент, опускал рукава блузы и, произнеся свое обычное «та сфитанья, герр шеф», как ни в чем не бывало шел вниз дожидаться, пока подойдет вся партия пленных.

«Наверное, оттого, что неохота ему, черту, на нас работать»,— раздумывал Арсений. Иногда в минуту досады мелькало подозрение: «А может, саботирует, собака?» Порой он решал: «Нет, характер такой. Есть же люди с рыбьим характером: день отстучал — и ладно». Но, наблюдая за немцем, он постепенно отверг и первое, и второе, и третье. А новые объяснения не приходили в голову. И вот однажды, когда все в цехе из сил выбивались, стараясь в срок добить какой-то важный заказ, Арсений, выведенный из себя равнодушной неторопливостью своего помощника, позвал переводчицу и потребовал, чтобы она сообщила немцу, что он не человек, а какой-то могильный камень.

— Так и скажи, слышишь, курносая? Могильный камень!

Девушка, побаивавшаяся сердитого мастера, долго искала подходящие немецкие слова: «Крест? Монумент? Памятник?» Когда же с грехом пополам ей удалось нако-

нец перевести эту фразу, немец поднял свои бесцветные брови чуть ли не до самой своей блестящей лысины.

— Патшему?

В этот день некогда было разговаривать. Но однажды в редкую в те дни на заводе тихую минуту, когда Арсений и Гуго устроили в кабинете мастера короткий перекур, немец сам вернулся к неоконченному разговору. Вот герр шеф обозвал его могильным камнем. Он понимает мысль, но не понимает упрека. Разве те маленькие добавления к продуктовым карточкам, которые люди получают, компенсируют огромную дополнительную затрату энергии? Даже машина, если ее все время форсировать до предельной скорости, быстро износится. Металл и тот устает.

Девушка едва успевала переводить этот такой необычный и неожиданный для нее разговор.

— Мы, немцы, трудолюбивый народ, но у нас рабочие не любят тех, кто особенно старается. А у вас наоборот. Вот этот толстый мальчик, что вчера прищемил себе палец, этот герр Юрка, он вырабатывает вдвое и втрое больше других. На него не только не сердятся, он у мальчиков за вожака... По вечерам у себя в лагере мы много говорим об этом. Все удивлены, для нас это загадка.

Трубка Курова сипела все чаще и чаще. Стеклянная клетушка заполнялась дымом. Вдруг, к удивлению переводчицы, хмурый мастер начал улыбаться и улыбаться как-то по-особенному, той тихой улыбкой, какая появляется на лице пожилых людей, когда они вспоминают молодость. Ну да, Куров вдруг вспомнил времена, когда он сам мальчишкой-учеником, встав у тисков, не понимал первых заводских ударников, принимавших на себя повышенные обязательства, вспомнил, как не любили их старые слесари; вспомнил, как, выйдя на работу, ударники читали слова угроз, написанные мелом на полу, на крышках инструментальных ящиков; вспомнил, как во втулках их машин иногда обнаруживали песок; вспомнил, как он сам однажды в престольный праздник Арсения-чудотворца нес на руках раненого дружка Костьку Ежова, того самого, что сейчас директор у них на заводе: кто-то сзади всадил тогда Ежову в спину нож.

Теперь все это вспоминается как что-то странное, непонятное. А ведь как оно, пожалуй, похоже на то, о чем вот сейчас говорит немец! Так думал Арсений, а Гуго между тем, попыхивая папиросой, развивал свою мысль:

— Был на заводе «Рейнметалл» один очень способ-

ный токарь. Он придумал свой способ заточки резцов и стал зарабатывать вдвое, втрое больше, чем остальные. Все интересовались, как это получается, а он, отработав, уносил резцы с собой. Это дурно, но это понятно: его выдумка — его капитал, значит, его и проценты. Потом он запатентовал эту свою выдумку и открыл небольшую мастерскую по ремонту автомашин. Теперь у него самого есть рабочие... А вот вы, герр шеф, выдумываете, стараетесь — что же, вы стали очень богаты? — спросил Гуго, усмехаясь бледными губами.

— Да, я очень богат,— ответил мастер и, видя, что девушка запнулась, нахмурился: — Ну, что же ты? Переводи.

Белесые, прозрачные брови немца опять поползли вверх.

— Лично вы богаты?

— Лично я.

Немец не скрывал усмешки. Он уже слышал о трудных условиях, в которых мастер живет со своим приемным сыном после того, как квартира его погибла при бомбежке, и теперь счел сказанное коммунистической пропагандой.

— О, о, я не был об этом осведомлен! — сказал он, скупо усмехаясь.— И во что же, герр шеф, вы вложили капитал — в акции, в доходные дома? Или у вас есть фабрика, завод?

Арсений Куров невозмутимо пускал изо рта кольца дыма и следил за тем, как они, расплываясь, постепенно увеличиваются. Он уже обдумал ответ и не без удовольствия ждал подходящего момента, чтобы его выложить.

— Есть фабрики, есть заводы, есть дома, есть и акции,— сказал он неторопливо, и под седеющими его усами появилась хитроватая усмешка.— Ты, Гуга, между прочим, тоже у меня на заводе работаешь. Не знал? Переводи, переводи, девушка, только не перевирай. Так и скажи ему: работает, мол, он у меня... Советское — значит мое...

Выслушав перевод, немец только пожал своими широкими костлявыми плечами. Докурив, они молча поднялись и пошли в цех, явно оставшись каждый при своем мнении... Этот давний и немножко странный разговор сразу припомнился Курову, когда он вошел в литейку. Возле раненой печи стояли не только свои, заводские, но Северьянов и какие-то незнакомые люди,— должно быть, пред-

ставители фабрик, для которых завод строил оборудование. Неподвижные их фигуры мягко вырисовывались в сизоватом полумраке. Все были озабочены, и лица у них были такие, будто бы люди эти собрались у постели умирающего. Сходство усиливалось еще и тем, что переговаривались они шепотом. Мастер понял: о многом уже переговорено, но выход не найден и даже еще не нащупан.

— Вот и товарищ Куров, от него многое зависит,— будто продолжая разговор, сказал директор и легонько подтолкнул Курова к незнакомцам.— У него огромный опыт... Ну, может, ты что придумаешь, мастер?

— Так ведь уж придумали: металл спустили, пусть печь стынет,— ответил Куров и, морщась от жара, попытался заглянуть в развороченное отверстие.

До него доносился приглушенный разговор:

— Ведь это ж надо так угораздить, можно сказать, прямо в сердце влепили!

— Подумайте, подумайте, товарищи инженеры! — умолял встревоженный голос.— Без ваших отливок мы ж цех пустить не сможем. Мне ж каждые полчаса сюда звонят... Может, все-таки попытаемся сделать горячий? Попробуем? А?

— Чего же тут пробовать? Протяните руку и убедитесь, какая температура... Кто ж выдержит?

Заслоняя лицо рукавом от опаляющего жара, Куров все еще стоял у печи. Изредка он отходил, чтобы глотнуть свежего воздуха, и снова приближался к ней. Малоподвижное лицо его отражало напряженную работу мысли. Вот он вынул трубку изо рта, выбил золу о каблук, решительно подойдя к печи вплотную, протянул руку к пролому, но тотчас же отдернул ее. Теперь все глаза были устремлены на мастера. Северьянов даже надел очки, чтобы лучше видеть, что делает в сизом полумраке этот большой неторопливый человек. Куров достал из кармана складной метр, что-то прикинул, задумчиво покачал головой, еще прикинул, скрылся за печью и через малое время появился с другой ее стороны, сосредоточенный, решительный. Он подошел к начальнику литейного цеха.

— Пусть вот сюда пожарную кишку протянут.

— Что ты, Иваныч, как это можно — печь водой студить? Все перелопается, и тогда...

— Пусть протянут! — раздражаясь, повторил Куров.

— Ну, что-нибудь наколдовал, маг и волшебник? — несколько даже заискивая, спросил Северьянов.

— Этим не занимаюсь,— ответил мастер, отводя лутку.

— Возьмешься сделать горячий ремонт?

— Попробую.

Теперь все окружили мастера, и это его явно раздражало.

— Смотри, Арсений, рабочих не попеки,— предупредил директор, которому не нравилась эта таинственность.

— Если уж попеку, то себя,— ответил мастер и, впервые взглянув на окружающих, потребовал: — И пусть все уйдут... Никому тут быть не надо. Нужных сам позову.

Он ушел и через полчаса вернулся в литейную в сопровождении старого своего дружка Ерофея Кочеткова и любимца «орлов», толстого и веселого слесарька Юрки Пшеничкина. Пришел с ними и немец. На всех четырех были надеты неуклюжие асбестовые костюмы и шлемы, в каких в первые дни войны дежурные по противовоздушной обороне гасили бомбы-зажигалки. Принесли большой брезент, инструменты, лампочку на длинном бронированном проводе. Мастер, должно быть, уже успел растолковать каждому, что ему предстоит делать, и четверо, почти не переговариваясь, быстро разместили все принесенное возле печи. Просьба Курова была выполнена, вблизи никого уже не было. Лишь в сторонке группой стояли начальник литейной, директор да секретарь партийного комитета. У печи оставался лишь секретарь райкома. Куров подошел к нему:

— Ступай-ка и ты, Северьяныч! Политико-моральное состояние мое правильное, работу среди меня вести не надо, а опыт этот никогда никому не пригодится.

Северьянов молча тряхнул Арсению руку и тоже отошел. Вернувшись к печи, Куров набросил на себя брезент и скомандовал Юрке:

— Воду!

Струя со стремительным шипением вырвалась из брандспойта, забарабанила по асбестовому костюму, по брезенту, который сразу набряк и стал твердым. Арсений надвинул на лицо шлем, прикрылся мокрым полотенцем.

— Свети!

Кочетков, тоже опустив шлем, поднял лампочку-времянку, прикрепленную к железному пруту, и, отворачиваясь от жара, сунул в проем. Немцу Арсений ничего не сказал, но тот сам подошел к печи с ящиком огнеупорной глины и инструментами.

И вот массивная фигура мастера исчезла из поля зрения. Всем показалось, что часы остановились, только кровь, стуча в висках, отсчитывала секунды. Против воли возникали опасения: может быть, Курову дурно? Может быть, он уже упал? Лишь легкое пошевеливание тонкого стального троса, который был привязан к его поясу, говорило: нет, человек жив и работает. Если бы кто-нибудь в это мгновение посмотрел на немца, он поразился бы тому, как сразу побледнело и еще больше осунулось его худое лицо, как вздулись на висках синие жилы и какой ужас светился в выпуклых глазах. Немец как бы окаменел.

Вот веревка зашевелилась, вот показались грубые башмаки с подметками, на которых сверкали стоптанные гвозди, вот он и весь, Куров, в ворохе брезента, от которого клубами валит пар. Когда его приняли на руки, брезент был так горяч, что люди его чуть не уронили. Мастер стоял у печи, тяжело дыша и покачиваясь.

— Воду! — хрипло вымолвил он, и когда шипящая струя забарабанила по брезенту, раскрытый рот стал жадно ловить брызги.— А ну, и в лицо! — скомандовал он и, блаженно щурясь, подставил себя холодной струе.— Баня... Еще какая баня-то! Парилка, самый верхний поло́к!

Отдышавшись, оставляя за собой след стекающей воды, Куров двинулся к печи и вновь исчез. Теперь, когда его помощники поверили, что в невероятных этих условиях работать все-таки можно, каждый из них весь превратился во внимание. По одному движению руки Арсения они догадывались, что ему нужно подать, и подавали со скоростью, в обычное время просто невероятной. Куров снова и снова поднимался к пролому. С каждым разом он заметно терял силы, работал меньше времени, отдыхал продолжительнее. Вдали, в конце цеха, рядом с Северьяновым белел халат врача. Но запрет соблюдался, и никто не подходил к месту работы.

В последний раз Куров спускался особенно долго. Ему уже помогали. Осторожно поставленный на пол, он не устоял на ногах, покачнулся и сел. Он ничего не говорил, только рукой показывал: дескать, обливайте. Долго сидел под струей и вдруг прилег. Сейчас же возле него оказался врач. Сняли шлем, расстегнули ворот, стали щупать пульс. Северьянов принес кружку подсоленной газированной воды и, приподняв голову Курова, поднес к его обож-

женным, потрескавшимся губам. Куров приник к ней и не оторвался, пока не допил до последней капли. Потом он попытался встать и действительно приподнялся, опираясь о стену, но продержался недолго, снова сел и, поводя белками глаз, резко выделявшимися на закопченном лице, дал знак, чтобы к нему нагнулись.

— Один раз... еще один раз,— прохрипел он.— Все... готово... Разок слазить... один разок.— Для убедительности он поднял указательный палец, а потом жалкая улыбка покривила крупные его губы.— Не могу... насос... сдает насос.

Он показал рукой на грудь. Рядом послышалось шипение воды. Арсений повел глазами в ту сторону. Долговязый немец стоял у печи и, согнув резиновый шланг, обливал себя водой. Все разом поняли, к чему он готовится. Ерофей Кочетков обидчиво рванулся к немцу, но Куров остановил его:

— Пусть...— Красные, набрякшие глаза его с удивлением и в то же время с удовлетворением следили за Эббертом.— Помогите, ребята... Гуге...

И вот уже длинная, закутанная в брезент фигура скрылась из глаз. Теперь все старались помочь немцу, угадывая его желания. Эбберту пришлось слазить не один, а три раза, и когда он в последний раз спускался вниз, жестом показывая, что все внутренние работы закончены, люди жали ему руки, хлопали по плечу, поздравляли, и, разумеется, никому и в голову не пришло вспомнить, что печь выведена из строя налетом немецкой авиации.

Наружные работы были уже делом обычным и не очень сложным. Поручив завершить их Ерофею Кочеткову, Куров позволил отвезти себя домой. Его отправили на директорской машине, в сопровождении сестры из медпункта. Сам он считал это излишним: сердце успокоилось, только кружилась голова да странная слабость, размягчая мускулы, делала их будто тряпичными. Болели руки, ожоги так и пульсировали под бинтами. Зато мысль была ясна, и, раздумывая о только что пережитом, мастер Куров сам старался понять, почему его так радует, что не старый приятель Ерофей Кочетков и не любимец цеха, ловкий и смышленый Юрка, а именно этот немец завершил дело. Что его, долговязого черта, толкнуло на это?

Еще недавно Ксения Степановна жила от письма к письму. Почтальон был самым желанным гостем в ее квартире. Но вот теперь лежит перед нею на столе большой конверт, а она, придя с работы, стоит и не решается его вскрыть. Обычный конверт. Адрес надписан незнакомым почерком. Иногда именно в таких вот конвертах пересылают ей из Президиума Верховного Совета депутатскую почту. Но те синие, а этот белый. Неужели от военного комиссара? Неужели похоронная? Неужели Филиппа Шаповалова, Фили, нет в живых?

Ксения Степановна протягивает к конверту дрожащую руку и медленно отводит ее. Говорят, теперь похоронных не присылают, вызывают к военкому, и тот устно передает страшное известие. Говорят... А может быть, в конверте и лежит роковая повестка военного комиссара? Раненые, с которыми подружилась Ксения Степановна, в конце концов убедили ее: раз целые дивизии выходят из окружения, почему не выйти одному, но самому нужному, самому дорогому для нее солдату? Она даже как-то приспособилась к ощущению постоянного ожидания. И вот письмо. Что в нем? Измучившись от предположений, она берет конверт, рывком отрывает угол, вспарывает бумагу, и в руках у нее оказывается другой конверт, маленький, серый, истертый. Адрес на нем надписан почерком мужа.

В госпитале она твердо переносит вид кровоточащих ран. Но тут она бессильно опускается на стул. Радость оглушила ее. Руки дрожат и никак не могут надорвать этот второй конверт. Когда же наконец письмо извлечено и прочитана первая строчка, Ксения Степановна плачет навзрыд, зажимая рот черной косынкой, пахнущей машинным маслом, человеческим пóтом, трудом.

Выплакав эти внезапно нагрянувшие, сладкие, успокаивающие слезы, она вытирает лицо тем же платком и читает: «Дорогая моя жена Ксения Степановна! Пишет тебе твой муж, боец доблестной Красной Армии, а ныне советский партизан Филипп Шаповалов. Кланяюсь я тебе, моя жена, и дочери нашей, Юноне Филипповне, и сим докладываю вам всем, что я жив и здоров, чувствую себя подходяще и воюю на славу, потому как и тут, в тылу врага, советские люди тоже громят ненавистных оккупантов и создают им невыносимые условия».

Окончив страницу, Ксения Степановна снова перечитывает, стараясь угадать, не кроется ли за этими ясными строчками что-нибудь еще, о чем Филипп не написал, а только думал... Задумывается и сама. Партизан, вот новость! Она пытается представить мужа бородатым, в треухе, с красной ленточкой по козырьку, с гранатами за поясом, с автоматом в руке, но простоватое лицо Филиппа никак не вписывается в этот традиционный партизанский облик, глядящий обычно с плакатов. Вздохнув, Ксения Степановна читает дальше и узнает подробности, частично ей уже известные. Стремительная немецкая контратака, пулеметчики прикрывают отход. Расстреляв последнюю ленту и поняв, что отрезаны от своих, они, пользуясь артиллерийским налетом, уползают в лес. Дальше все просто. Долго бродят двое солдат по лесам и болотам, ища возможности перейти фронт. Случайно натыкаются на партизанский отряд. В отряде для Филиппа Шаповалова, мастера на все руки, находится важное дело. Он организует оружейную мастерскую, чинит трофейное оружие. «В общем, хлеб не даром жуем, Гитлеру спать не даем».

И где-то в конце письма, уже после многочисленных поклонов родне и знакомым, Ксения Степановна находит самую большую новость: оказывается, летчик, который поддерживает связь с отрядом и отвезет на Большую землю это письмо, рассказывал, что есть приказ партизанам из окруженцев организованно пробиваться через фронт для продолжения службы в своих частях и что, может быть, скоро и Филипп Шаповалов выйдет из тыла и тогда ему положен будет отпуск для свидания с семьей...

Несколько мгновений Ксения Степановна сидит неподвижно, потом бежит в комнату Анны и, ничего не сказав ребятам, начинает нетерпеливо колотить по рычажку телефона.

— Юночка, Юночка, от папы письмо, он жив!.. Слышишь?.. Жив, он у партизан! Скоро будет дома!

— Прости, мама, я плохо слышу: тут у меня товарищи... Папа — партизан? Да? Неужели? Как интересно...— Девушка и тут не утеряла своего обычного спокойствия.— Но потом, потом... Все расскажешь, когда я вернусь... Сейчас занята.— Слышно было матери, как приглушенно, должно быть прикрыв ладонью трубку, Юнона говорила кому-то: — Поразительная новость — только что получено письмо от отца, оказывается, он в партизанском отряде. Вы подумайте: два поколения — сын и отец, один герой, другой

партизан.— И опять громко: — Мама, слушаешь? Я скоро буду! Рада, очень рада!

Ксения Степановна медленно опустила трубку. Ребята Анны и Ростик, который даже в глаза не видел Филиппа Шаповалова, самым шумным образом выражают свой восторг. Бесконечно повторяя: «Дядя Филя, дядя Филя...» — они пускаются вокруг тетки в пляс. Вернувшаяся Анна остановилась в дверях.

— Филипп? — спрашивает она, догадавшись о причине веселья.

— Да,— отвечает Ксения и показывает письмо.

Радость слишком неожиданна, слишком велика. Не дождавшись дочери, женщина спешит туда, где в тяжелую минуту встретила сочувствие, где все ей старались помочь. В госпитале, перекладывая заветный конверт из жакета в халат, она улыбается гардеробщице:

— Мой-то нашелся. Письмо вот... Оказалось, у партизан...

Но вместо возгласов радостного удивления она слышит приглушенный плач.

— Ты что? — растерянно спрашивает она гардеробщицу.

— Владим Владимыч...— едва выговаривает та дрожащими губами.

Ксения Степановна замолкает, пораженная.

— Когда?

— Сегодня... В обед...

Старый врач умер у себя в кабинете. Вызвал кого-то из оплошавших помощников, стал распекать, погрозил ему даже клюшкой и вдруг смолк на полуслове, откинулся на подушку, закрыл глаза... Тот бросился к нему, но было поздно. Сердце не билось.

11

Одну из новых улиц города Верхневолжский горсовет вынес постановление назвать именем врача Вознесенского. Но хоронить Владим Владимыча решено было скромно — слишком много горя ходило тогда по земле. Голосуя за это в военных условиях весьма разумное мероприятие, товарищи из исполкома явно не представляли себе, что такое любовь и уважение верхневолжских текстильщиков.

В час, когда специально избранные депутации фабрик, заводов, городских и военных организаций, институтов

должны были небольшой группой двинуться вслед за гробом, все близлежащие к госпиталю улицы оказались заполненными людьми. Десятки рук подхватили гроб в дверях и понесли над толпой. Вытянувшаяся больше чем на километр процессия по мере продвижения продолжала расти. Рабочие вливались в нее сразу же после смены. Они так и шли в прозодежде, с налипшими клочьями хлопкового пуха.

Медленно лился бесконечный живой поток, заполняя улицы, останавливая движение. Водители военных машин, безнадежно застрявших в нем, оттертых с проездов в кюветы, оттесненных на тротуары, с удивлением смотрели на скромный красный гроб, что плыл впереди, поднятый рабочими руками, на пустую траурную машину, на бесконечное течение процессии и с удивлением спрашивали:

— Кого хоронят?

Им отвечали:

— Владим Владимыча.

В устах верхневолжских рабочих это звучало внушительней, чем длинный перечень научных степеней, званий и наград, какими обладал покойный.

Разумеется, и семья Калининых пришла проститься со своим старым другом. Собирались на кладбище порознь, но после похорон, по традиции, пошли попить чайку к старикам. Каждый из Калининых как-то был связан с покойным, каждый по-своему любил его. И вот теперь их мучило ощущение, будто похоронили они еще одного члена своей семьи. Но подчеркивать и даже просто показывать свое горе было не в их обычаях. Чтобы дать всем поуспокоиться, старики выбрали дальный путь — через лес, через речку Тьму, делавшую здесь крутые извивы, мимо фабричного стадиона, где обычно глухо бухал футбольный мяч, через Малую рощу, откуда в этот час, взявшись за руки, вслед за воспитательницами возвращалось с гулянья шумное население многочисленных яслей и детских садов.

Старики шли впереди. Анна двигалась в окружении ребят. Чуть поотстав, задумчиво шагал Арсений Куров с забинтованными руками и лицом. Позади — Ксения Степановна с Прасковьей. По просьбе матери старшей дочери предстояло провести с невесткой неприятный разговор: слишком уж много болтали на фабриках о щедро расточаемых ею симпатиях.

Прасковья слушала, улыбаясь, покусывая нижнюю пол-

ную губку, будто кошка, жмурясь на солнце. Ее неожиданная молчаливость начинала уже пугать собеседницу.

— Ой, Ксенечка! — сказала она вдруг.— Вот Владим Владимыч покойный, он говорил, что посудачить про хорошеньких дамочек — это физиологическая женская потребность... На всякий роток не накинешь платок.

Ксении Степановне, привыкшей уважать ловкие, осторожные пальцы Прасковьи, ее смелость во время сложных перевязок, ее неутомимость в работе, разговор этот был особенно тягостным.

— Уж что-то много ротков-то говорят, Паня! — вздохнула она.— Дойдет до Николая — ну что хорошего?

— Он, Ксеничка, не поверит.

На Прасковье была сегодня косынка с маленьким красным крестиком на лбу, какие нашивали сестры милосердия в первую мировую войну. В обрамлении жестко накрахмаленного полотна румяное, обрызганное родинками лицо ее выглядело как-то особенно вызывающе. Варвара Алексеевна, краем уха прислушиваясь к разговору, остановилась, поджидая их. Прасковья тотчас заметила это.

— И потом, Ксенечка, я разве виновата, что нравлюсь мужчинам? — уже громко сказала она, переходя на свой обычный игривый тон.— Созовите любой консилиум, и вам подтвердят: это уж от рождения, а не от характера... Так ведь, мамаша?

— Ты характер-то сократи,— сурово произнесла Варвара Алексеевна.— У тебя какая фамилия? Калинина! Эту фамилию на всех фабриках знают. С такой фамилией нельзя подолом-то трясти.

Прасковья преспокойно выслушала эту реплику, но в зеленоватых, «козьих» глазах ее зажглись опасные огоньки.

— Однако же вот трясут,— невинно произнесла она.

— Ты что стрекочешь, сорока? — спросила Варвара Алексеевна, переходя на шепот.— Кто?

— Да уж не я, разумеется... Мне пока что никто из-за чужого мужа сцены у фонтана на людях не закатывал.

Варвара Алексеевна опасливо оглянулась, ища глазами внуков, но они в эту минуту бежали с Анной через заливной луг к реке. Арсений остановился и, раскуривая трубку, поотстал от всех.

— Замолчи! — шепотом приказала старуха.

— А почему? Я чихну — у вас заборы падают, а про нашу милую Анночку все три фабрики информированы,

а вы даже и не слышали... Может быть, вам уши заложило? Так я могу зайти с перекисью водорода. Промоем.

Эти последние ее слова услыхали все, кроме Анны и детей, увлеченных в эту минуту метанием шишек в воду. Высказавшись, Прасковья мотнула концами накрахмаленной косынки и ускорила шаг, легко неся свою крепную, ладную фигуру. Обгоняя Степана Михайловича, она почти пропела:

— До свидания, батя, принуждена извиниться, мне сегодня ужас как некогда.— И, помахав издали рукой Анне, крикнула: — Желаю вам, Анночка, наивысшего тонуса жизни! Привет!

Варвара Алексеевна растерянно смотрела на старшую дочь.

— Какова, а? Нет, ведь придумает же... Постой, Ксения, а ты ничего об этом не слышала?

— Разве все переслушаешь? — пожав плечами, неохотно ответила та.

Старуха знала: старшая дочь не терпит сплетен. Уклончивость этого ответа показалась ей подозрительной. Неужели?.. Панька — бог с ней, пустельга и есть пустельга. Но Анна! Человека выбрали на такой пост, такое доверие оказали!.. Нет, не может быть!

Семья Калининых шла уже фабричным двором, когда Варвара Алексеевна, не вытерпев, решительно остановила Анну:

— Что это про тебя судачат, милая моя?

Зная характер дочери, мать ожидала, что та вскипит, рассердится, ждала резких слов. Но та только опустила голову.

— Что? Неужели правда?

— Нет.

— Но разговоры-то идут?

— Разговоры идут...— И вдруг, прижав к себе маленькую, сухонькую старушку, дочь с внезапно открывшейся болью заговорила: — Мамаша, слово даю: все выдумка. Но... так уж... вышло. Ну, посоветуйте: что мне теперь делать? Что?

12

Одна из комнат немецкой комендатуры города Ржавы была завалена тюками пропагандистской литературы. Както на досуге перебирая ее, Женя Мюллер нашла литогра-

фированный номер плаката-газеты. Сначала бросились в глаза снимки Ржавы. Старый собор ввинчивал в низкое зимнее небо массивные луковицы облезлых куполов... Круча над рекой, и на ней древнее здание краеведческого музея, развороченное бомбой... А вот перрон здешнего вокзала. На литых чугунных колоннах перекрещены немецк[illegible] нацистские и итало-фашистские флаги... Сам Адольф Гитлер, путаясь в полах длинного военного плаща, в фуражке домиком, выпучив рачьи глаза, картинно протягивает руку к окну вагона, из которого высовывается голова Бенито Муссолини в черной шапочке с кистью, с подбородком тяжелым и круглым, как пятка... Вот они вместе шагают мимо застывшего на перроне почетного караула. Солдаты стоят во фронтовой форме, в низко надвинутых рогатых касках, обрызганных известью. Вот эта парочка снялась в открытом автомобиле на железном мосту так, что позади видна стрелка дорожного указателя и на ней надпись «Волга». А это что же?.. Занесенная снегом окраинная улочка. Палисадник. Женщина, закутанная в пестрое одеяло, трое ребят. Театрально улыбаясь, Гитлер протягивает яблоко оборванному мальчику. У женщины испуганное лицо. В тапках на босу ногу она стоит прямо на снегу. Изо рта срывается комочек морозного пара...

Заинтересовавшись фотографиями, Женя прочла подписи и из них узнала, что в начале декабря прошлого года, когда немецкие артиллеристы будто бы уже бетонировали площадки для дальнобойных пушек, чтобы обстреливать Москву, Адольф Гитлер прибыл сюда, в древний город, дожидаться здесь часа, когда он сможет, подобно Наполеону, на белом коне въехать в Москву. Сюда же в предвкушении падения столицы Советского Союза приехал к нему Бенито Муссолини. Газета-плакат и была выпущена для пропаганды этой «исторической встречи на пороге златоглавой Москвы».

Женя со злорадством рассматривала плакат. Встреча «исторической» не стала. Нанеся зимой 1941 года гитлеровскому нашествию сокрушительное поражение у стен столицы, предприняв прекрасный наступательный маневр у Верхневолжска, Красная Армия, продолжая развивать наступление, в короткое время оказалась на подступах к Ржаве и, обойдя ее, устремилась дальше на запад. Ржава, где два фашистских диктатора плотоядно рассматривали план Москвы, сразу превратилась в прифронтовой город. Поезда Гитлера и Муссолини исчезли в неизвестном на-

правлении, уступив на путях место санитарным эшелонам, а тюки газет-плакатов, заблаговременно напечатанных где-то в Германии и заранее доставленных сюда, так и остались валяться в ржавской комендатуре.

Заинтересовавшись всем этим, Женя собралась было в ближайшее время продолжать свои исторические изыскания. Но едва она приняла такое решение, как случилось неожиданное происшествие: переводчик немец, осуществлявший связь комендатуры с бургомистром, при невыясненных обстоятельствах утонул, купаясь в реке. Фрейлейн Марте, назначенной на его место, приходилось теперь разрываться, поспевая туда и сюда. Тут уж не до старых плакатов.

К новой переводчице здесь пригляделись. Ее молчаливость, деловитая скромность, может быть, и разочаровали молодых офицеров, но зато комендантом были оценены по достоинству. Теперь всем было известно, что этот осторожный, беспощадный службист благоволит к фрейлейн Марте, которая, как говорили, успела уже обзавестись и женихом — офицером эсэсовского полка, державшего оборону на самом остром участке, в районе военного аэродрома. Благоволение коменданта и жених в черной форме с серебряными «молниями» в петлице — это было немало. Писаря даже стали побаиваться хорошенькой белокурой немочки, выросшей среди поволжских «фольксдойчей».

Женю поселили в лучшей комнате в домике железнодорожного машиниста, невдалеке и от комендатуры, и от бургомистрата. Хозяин домика был на востоке. Уже под бомбами увел он один из последних эшелонов с ранеными и назад из этого рейса не вернулся. В доме хозяйничала его жена, худенькая женщина неопределенных лет. Даже в жаркие дни она покрывалась черной шалью, ходила в каких-то опорках, не умывалась, не чесала головы, не стригла ногтей. Вообще она производила впечатление душевнобольной. Живя с детьми впроголодь, она ничего не принимала от своей жилички. Дети же ее, которым девушка не раз пыталась подсунуть что-нибудь вкусненькое, глядели на нее со страхом и отталкивали конфету или печенье с таким видом, будто им протягивали живую гадюку.

— Что вы, что вы, детки, зачем вы обижаете добрую фрейлину? — улыбаясь, говорила их мать, а сама смотрела на жиличку так, что ту мороз пробирал по коже.

Женя прямо-таки физически чувствовала глухую нена-

висть этой женщины. Девушка не боялась бомбежки. Понемногу она приучила себя к тому, что снаряды дальнобойных советских орудий с журавлиным курлыканьем проносятся иногда над городом, чтобы разорваться потом где-то в районе товарных станций. Но эту маленькую молчаливую женщину, бесшумно двигавшуюся по дому, она боялась так, что, ложась спать, всякий раз придвигала к двери тяжелый комод. Наивная ненависть, преследовавшая Женю изо дня в день и так хорошо понятная ей, вызывала в душе тоскливую безысходность, будто она и впрямь предала родину и работала на врага.

И вот однажды девушка была разбужена страшным грохотом. Что это? Ревут моторы. В комнате необыкновенно свежо. Сорванная маскировочная штора висит на одном гвозде. Ночной ветер с реки, задувая в разбитое окно, мягко подбрасывает и опускает занавеску. Женя вскочила. Инстинктивный страх странно мешался с радостью: ведь это бомбят свои! Зенитки истерично кудахтали, как куры, к которым в птичник забрался хорек. А самолеты все кружили и кружили...

Кое-как одевшись, Женя выбежала в сени. Испуганная хозяйка несла на руках маленького и толчками подгоняла девочку постарше. Они, видимо, спешили в огород, в углу которого, под рябиной, была вырыта еще хозяином зигзагообразная щель, заросшая теперь шершавыми лопухами. Женя подхватила девочку и, хотя та, взвыв, царапалась и отбивалась, перепрыгивая через грядки, донесла ее до бомбоубежища. Хозяйка, уже успевшая спрыгнуть вниз, вырвала у нее ребенка.

— Зачем вы себя утруждаете, фрейлина, ручки свои драгоценные пачкаете?

Договорить она не успела. Где-то над ними возник нарастающий свист, будто стоп-краном останавливали на полном ходу поезд. О стену щели шмякнулись комья земли. Вся дрожа, Женя не сразу поднялась со дна траншеи. Рядом стояла хозяйка и смотрела в зеленоватое шелковое небо, где среди белых мягких разрывов, напомнивших Жене раскрывшиеся коробочки хлопка, уже освещенные лучами еще не поднявшегося солнца, сверкая крыльями, шли самолеты. С земли, погруженной в предрассветный зыбкий полумрак, можно было даже различить красные звезды на крыльях. Эти звезды словно гипнотизировали женщину. Она не могла оторвать от них глаз. Вот, зайдя со стороны солнца и выстроившись в каре, самолеты стали

скользить вниз. Снова будто кто-то рванул стоп-кран. Но женщина только нагнулась, точно для того, чтобы закрыть собой детей, а глаз от звезд не оторвала. Когда стихли раскаты разрывов, Женя увидела, что хозяйка глядит на нее и побледневшие губы женщины кривит недобрая улыбка.

— Здорово угощают!

— А вы не боитесь?! — невольно воскликнула Женя, косясь на два живых комочка, испуганно ежившихся на дне траншеи.

Самолеты ушли. Постепенно смолкли зенитки. Хлопковые коробочки, совсем развернувшись, расплывались в облачка, легкие, пушистые, золотые. Но откуда-то, по-видимому издалека, продолжал доноситься глухой гул. Точно весенний гром, он перекатывался по горизонту и не смолкал. Женщина в упор смотрела в лицо Жени. В глазах ее горела такая ненависть, что девушка невольно отступила в дальний угол щели.

— Слышите? — шептала хозяйка, не спуская с Жени тяжелого взгляда.— Слышите? Это наши пушки.

Где-то невдалеке пророкотал и стих мотор, и взволнованный мужской голос позвал:

— Фрейлейн Марта, фрейлейн Марта!

— Я здесь,— ответила девушка по-немецки, узнав голос порученца коменданта.

Подпрыгнула, подтянулась на руках и с чувством невольного облегчения выбралась из щели наверх.

— Ради бога, что случилось? — спрашивала она знакомого унтер-офицера, когда машина уже неслась по заросшей улице.

— Вы не догадываетесь?.. Прислушайтесь, это же иваны! — растерянно ответил тот и хотел еще что-то добавить, но машина, объезжавшая свежую воронку, сделала такой поворот, что чуть не повалилась набок.

В комендатуре, несмотря на ранний час, чувствовалось необычное волнение. Хлопали двери, звонили телефоны, стучали торопливые шаги. Помощник коменданта, небритый, в незастегнутом кителе, остервенело крутил ручку телефона, с ненавистью глядя на молчащий пластмассовый ящик. На деревянном диване валялись куски окровавленного бинта. Все напоминало муравейник, в который сунули горящую головню.

— Фрейлейн Марта, ну где же вы пропадаете? — сказал помощник коменданта, с раздражением швырнув мол-

чащую трубку.— Господин подполковник перенес свой вымпел в бункер. У него там... срочное совещание. Вы ему не нужны, спешите в бургомистрат, к господину Владиславлеву. Он только что получил от нас кучу заданий, вам придется с ним потрудиться.

— Но ради бога — что случилось? — спросила Женя, стараясь поскорее снова войти в роль фрейлейн Марты и потому особенно подчеркивая свой вполне понятный страх.

— Ничего, ровным счетом ничего,— отвечал офицер, нервно застегивая китель.— Просто иваны сказали нам с воздуха «доброе утро»... Ну, а все эти господа,— он пренебрежительно кивнул в сторону бледных, нервно суетившихся в комнатах тыловиков,— все они, слышавшие выстрелы разве только на охоте, подняли здесь такой глупый шум. Только это и больше ничего... Кстати, скажите там господину Владиславлеву, чтобы он никуда не смел отлучаться... Впрочем, не надо. Почтенный бургомистрат, эта паршивая «кунсткамера», начал разбегаться. В случае чего звоните прямо мне.

Кривая улыбка помощника коменданта насторожила девушку. Происходило что-то очень серьезное.

В отличие от комендатуры, бургомистрат был почти пуст. Лишь в дальнем конце коридора, где находился аппарат советника по экономическим вопросам, вдоль стен сидели на корточках какие-то фигуры. У двери, где на дощечке с твердыми знаками значилось: «Дипломированный инженеръ И. О. Владиславлевъ, заместитель бургомистра по экономическим деламъ», стоял солдат. Это было новостью. Пропуском Женя не запаслась. Но фрейлейн Марта из комендатуры была здесь хорошо известна. Подняв в два приема автомат, часовой молча взял на караул.

В целом помещение бургомистрата Ржавы напоминало склад награбленных вещей. Но кабинет советника по экономическим делам был обставлен строго: тяжелая мебель, письменный стол, просторный, как футбольное поле, высокие часы в углу неторопливо покачивали маятником. Все это было перенесено сюда из управления железной дороги. Теперь в окружении этой солидной мебели невысокий, плотный человек с измученным и все-таки румяным лицом и пышными угольно-черными усами надсадно умолял кого-то в телефон:

— Господа, господа, не сердитесь! Я не говорю по-немецки... Их шпрехе дойч нихт... Ах, боже ты мой, нихт, понимаете, нихт! — Произнося это, он со страхом глядел

на другой телефон, что звонил еще назойливее, еще требовательней и злее.— Фрейлейн Марта! — радостно воскликнул он, увидев в дверях девушку.— Наконец-то! Эти телефоны... С ума можно сойти...

— Выпейте холодной воды, господин Владиславлев,— несколько надменно произнесла Женя, присаживаясь к столу.— Успокойтесь, и начнем работать.

Давно прошел и уже забылся тот жуткий день, когда Женя вошла сюда в первый раз со страхом в душе: а вдруг этот человек узнает ее? С трудом заставила она себя тогда взглянуть в это румяное, черноусое лицо. Но, увидя, что темные, масленистые глаза смотрят на нее с заискивающим любопытством, она сразу успокоилась. В бургомистрате фрейлейн Марта держала себя холодно, свысока. Она, как, впрочем, и все работники комендатуры, как бы подчеркивала, что не принимает этого учреждения всерьез, считает его декорацией, которую, увы, приходится выставлять из политических соображений.

— Вы, господин Владиславлев, выглядите так, будто за вами кто-то гнался. Испугались бомбежки?

— Э, бомбежка!.. Этот гул, слышите? Они начали наступление. И сразу у меня все рухнуло... Рабочая сила, всем нужна рабочая сила, всем подай рабочую силу! Всем срочно, всем скорее, всем больше, а где я ее возьму? У меня самые спешные дела остановились... Нет, еще немного — и я рехнусь!..

— Это ваше личное дело,— хладнокровно произносит переводчица и, достав из сумочки блокнот и карандаш, спрашивает: — Может быть, все-таки оставим переживания и начнем работать? Кстати, где ваши люди?

— Люди? Разве это люди? — Инженер Владиславлев безнадежно махнул рукой.

В самом деле, если отдаленный гром артиллерийской подготовки вызвал в комендатуре судорожную суету, то здесь, в бургомистрате, началась настоящая паника. Бургомистр исчез вместе с печатью. Поступили сведения, что его видели где-то в районе станции, но, спохватившись, найти уже не смогли. Советник по делам культуры, неправдоподобно длинный человек, с головой, будто насаженной на палку, по совместительству редактировавший в оккупированной Ржаве газету «Глас России», выходившую раньше в Верхневолжске, появился лишь затем, чтобы спросить, будут ли эвакуировать сотрудников бургомистрата, и, ничего толком не узнав, тоже исчез. Лишь Влади-

славлев был на месте. Теперь переводчица поняла усмешку офицера: часовой, стоявший возле кабинета, имел, по-видимому, приказание не только охранять, но и никуда не выпускать самого господина советника.

И вот теперь Женя с удивлением наблюдала, как Владиславлев упорно, со свойственной ему методичной энергией преодолевая панику и неразбериху, старался вновь наладить демонтаж оборудования и возобновить погрузочные работы у элеватора, на западных и восточных складах. Он кричал до хрипоты, сулил продуктовые подачки, грозил расстрелом и действительно попросил коменданта для острастки публично расстрелять кого-либо за саботаж.

В ходе работы Владиславлев проговорился, что комендант обещал ему, что в случае успешной эвакуации запасов зерна, продовольствия и оборудования он, если потребует обстановка, предоставит инженеру специальный грузовик. Теперь, переводя его телефонные разговоры, распоряжения, невольно поражаясь напористости, с которой действовал этот человек, девушка иногда с любопытством вскидывала на него глаза: «Что же заставляет тебя так стараться? Приверженность к идеям нацизма? Страх перед надвигающимся возмездием? Или это обещание коменданта дать грузовик для вывоза барахла?»

Вообще в бургомистрате, который офицеры комендатуры звали между собой кунсткамерой, Владиславлев был диковинкой. Бургомистр, бывший гусарский офицер, работавший перед войной банщиком и промышлявший тайным винокурением, а за эти месяцы отрастивший усы и ноздревские курчавые бакенбарды, был Жене понятен. Растленный человечек, он тайком сводничал, поставляя девочек офицерам из комендатуры, напившись, пел под гитару жестокие романсы и что-то там такое бормотал о великой трагедии русского царского офицерства. Таких врагов Женя не раз видела в кино. Советник по делам культуры тоже не представлял загадки. Последний отпрыск старинной дворянской фамилии, он когда-то слыл в Верхневолжске за безобидного чудака. Носил «чеховское» пенсне на темном шнурочке, демонстративно крестился на все церкви, как действующие, так и превращенные в музеи, дребезжащим тенорком подтягивал у клироса певчим. Лютый враг, двадцать пять лет скрывавшийся под личиной человека не от мира сего. Остальные деятели ржавского бургомистрата были и того проще: бывшие люди, пройдохи,

спекулянты, типы с уголовным прошлым, выпущенные немцами из тюрьмы и выдававшие себя за жертвы политических убеждений. Все это жалкое «содружество» обычно кишело в коридорах бургомистрата, болтало «о единой и неделимой», о вере и демократии и бойко поторговывало исподтишка патентами на магазины и ремесла, грабило оставленные квартиры, меняло рубли на оккупационные марки и, получая от всего этого немалый доход, потихоньку делилось с офицерами из комендатуры.

Ни в чем подобном инженер Владиславлев замечен не был. Он никогда не бранил вслух Советскую власть, не клеветал на Красную Армию, брезгливо отодвигал газету «Глас России», когда она попадала к нему на стол. Но сейчас, когда советские войска снова начали наступление на Ржаву и прорвались к ее окраинам, когда вся «кунсткамера» в страхе перед возмездием разбежалась, один он остался на месте и продолжал работать, как хорошо налаженная машина. И девушке стало ясно, что если на складах, на элеваторе, на железнодорожных путях немцам удается хоть как-то возобновить погрузку эшелонов и автоколонн, вывозящих «трофеи»,— это только благодаря ему, с помощью им придуманной шкалы продуктовых поощрений, которые сегодня комендант, по его совету, удвоил и даже утроил. Только эти подачки и могли заставить голодных, доведенных до крайности людей работать... Как Владиславлев, человек, пользовавшийся до войны на «Большевичке» неплохой репутацией, попал в «кунсткамеру»? Этот вопрос мучил Женю.

Впрочем, сегодня ей об этом некогда было думать. Сейчас, когда все взволнованы и напуганы, люди меньше остерегались, забывали обычные предосторожности. У девушки богатый улов. Нужно только запоминать номера эшелонов и колонн, названия грузов, точки формирований, маршруты и, запомнив, не перепутать. Это так важно! От цифр и названий пухла голова. Переводчица едва дождалась, пока короткая стрелка коснулась цифры «два» и по кабинету расплылся густой, благородный бас старинных часов. Оборвав перевод на полуфразе, девушка решительно поднялась.

— Вы даже сегодня точны, фрейлейн Марта,— устало усмехнулся Владиславлев, и от взгляда Жени не ускользнуло, что нервный тик заметно подергивает его веко.

— Немцы сильны своей организованностью,— важно произнесла она одну из любимых фраз коменданта и, уб-

рав карандаши и блокнот в сумочку, чуть кивнув, направилась к двери.

Она уже была на пороге, когда ее просительно окликнули.

— Простите, фрейлейн, у меня маленькая, приватная просьба. Видите ли, мне теперь приносят обед сюда... Не могли бы вы купить для меня... бутылку этой вашей водки?

— Шнапс? Вот как? Странно! Все считают, что вы единственный непьющий человек в этом учреждении.

— Фрейлейн, очень прошу... Ради бога! Вот, пожалуйста, деньги.

Достав горсть смятых оккупационных марок, Владиславлев торопливо отсчитывал нужную сумму. Девушка не без злорадства наблюдала, как у этого обычно такого хладнокровного человека дрожат белые, мягкие, похожие на женские руки.

— Боюсь, господин подполковник будет сильно разочарован,— сказала она, равнодушно убирая деньги в сумочку.

— Ах, все равно, какое это сейчас имеет значение?

Снисходительно усмехнувшись, фрейлейн Марта удаляется.

Пообедав, она вышла из комендантского ресторана, держа под мышкой завернутую в газету бутылку. Неторопливо посмотрела на часы и, увидев, что до начала работы еще есть время, решила пройтись. Гуляющей походкой сворачивает в городской парк, совсем еще недавно тенистый и кудрявый, но заметно облысевший за год оккупации. Несколько деревьев, срубленных осколками или поваленных взрывной волной, валяются поперек аллей, преграждая ей путь. Канонады почти не слышно, но в парке ни души. Девушка ускорила шаг. Вот она остановилась, опершись рукой об урну, доверху набитую мусором, который давно никто не вывозил, сняла туфельку и вытряхнула из нее песок. Кругом никого. Но если бы кто-нибудь и был и даже сидел на скамейке невдалеке, вряд ли бы он заметил, как она что-то вынула из урны и что-то сунула в мусор.

Снова обув туфлю, девушка той же гуляющей походкой продолжает путь и лишь у выхода из парка развертывает бумажку. На ней цифра I, обведенная кружком. На мгновение Женя закрывает глаза и стоит, как бы остолбенев. Потом решительно встряхивает головой и идет дальше.

«Сегодня в час ночи? Так скоро?» Губы начинают дрожать. Чувствуя это, она плотно смыкает их. Бледные, тонко очерченные, они сливаются в узкую прямую линию, и на лице появляется как раз то надменно-презрительное выражение, какое приличествует представительнице расы господ, находящейся на захваченной земле.

13

Для Ксении Степановны настали дни, когда ей начало казаться, что все часы в городе вдруг замедлили ход. От мужа пришло еще письмо, настоящее солдатское письмо с треугольным штампом полевой почты и даже с вымаркой, сделанной военным цензором. Филипп извещал, что с группой партизан благополучно пробился через фронт и что при этом даже пострелять как следует не пришлось. А сейчас имеет он направление в некий город, название которого оказалось тщательно замазанным... Но слова о том, что надеется он повидаться с семьей, цензор оставил, и Ксения Степановна догадалась, какой это город, и даже поняла, куда лежит мужнин путь.

Он будет дома, ее Филипп, он, может, и сейчас в дороге! Мысли эти не покидали ее ни на фабрике, ни в госпитале, ни в часы занятий депутатскими делами, ни дома, куда она в иные дни приходила лишь ночевать. Ксения Степановна повеселела. Она опять прикрепила на стене фотографию сына, но не ту, что, пройдя по газетам и журналам, стала для матери будто бы чужой, а другую, которую она, отклеив от старого фабричного пропуска, отдала увеличить. С нее глядел не русский богатырь и герой, а простой фабричный мальчишка со стриженой головой, с простецким и хитроватым лицом.

Одного ей теперь не хватало: не с кем было посидеть дома за чашкою чая и неторопливо, со вкусом, обстоятельно, снова и снова поделиться радостью ожидания. Юнона с головой ушла в комсомольскую работу. Анна ходила молчаливая, погруженная в свои думы. Арсения все-таки заставили лечь в больницу — лечить ожоги. И Ксения Степановна по-прежнему ходила к «своим» раненым, с которыми в перерыве между разными госпитальными делами делила радость, как раньше делила горе.

Но однажды в прядильный цех к Ксении Степановне забежала дочь.

— Мама, не ходи сегодня в госпиталь. Мне нужно с тобой обязательно кое о чем поговорить.

Мать обрадовалась. Вернувшись пораньше, переоделась в байковый халат, обула домашние туфли, о существовании которых как-то совсем забыла, и задумалась возле поющего электрического чайника... Поговорить! Даже с матерью словом перекинуться некогда бедной девочке! Собрания, заседания, мероприятия. Всем нужна, отовсюду зовут, нигде без Юноны не обойдутся. Ксения Степановна все больше гордилась дочкой. Когда-то в молодости она так же вот увлекалась общественными делами, ликвидацией неграмотности, уличным комитетом, курсами Красного Креста, народным хором. Даже покладистый Филипп ворчал: «Носится по собраниям, селедку и ту самому чистить приходится...» И все-таки хорошо было, интересно. А теперь вот дочкин черед, в мать пошла, общественница... Но о чем же ей надо поговорить?.. Наверное, выдвигать куда-нибудь собираются. Ну что ж, в добрый час, не ошибутся...

И вот пришла Юнона, устало бросила на стол маленький портфельчик, поправила у зеркала волнистые волосы. Мать с гордостью наблюдала за плавными движениями ее красивых рук. Как расцвела, вот отец-то полюбуется!

— Выросла-то ты как, доченька! — улыбаясь, сказала она.— Этак и не заметишь, как кто-нибудь пропищит: «Баба Ксения».

— Глупости,— сказала Юнона, садясь за стол и придвигая к себе налитый матерью чай. Положила в стакан сахар и забегала взглядом по столу.— А ложек, кажется, нет...

Ксения Степановна подошла к буфету, достала чайные ложки.

— Спасибо.— Девушка внимательно осмотрела ложку, поморщилась, вытерла ее о край скатерти, но потом вдруг отодвинула чашку так резко, что чай плеснулся на стол.— Ты ничего про наши комсомольские дела, мама, не слыхала?

— Нет, а что? — встревоженно спросила мать.— Какие у вас там особые дела?

— Ну, ясно, где ж тебе моими делами интересоваться! У тебя одна забота — раненые. А твоей дочери тем временем яму копают...— Юнона подняла на мать свои большие, опушенные длинными ресницами глаза, которые и сейчас, когда голос ее звучал раздраженно, по-прежнему

оставались неподвижно красивыми и не меняли своего холодного, спокойного выражения.— Эх, мама, ты депутат, член райкома — и совсем не интересуешься тем, что происходит на фабрике!

— Да что там у вас такое, Юночка? — забеспокоилась Ксения Степановна, не замечая даже колючего тона дочери.

— А то, что скоро перевыборы, мой отчет, и меня будут валить. Поняла теперь?

— Как это валить? Кто будет валить?

— Найдутся... всякие дезорганизаторы, которых я призывала к порядку. Вот кто!

Только сейчас до Ксении Степановны дошло то, о чем говорит дочка, дошло и очень ее удивило.

— Кто же им даст, дезорганизаторам? Ведь будет собрание, комсомольцы тебя знают, работа твоя на виду. Разве они допустят?

— Ой, мама, тебя смешно слушать! Ты застряла где-то в двадцатых годах, когда вы там красные косынки носили. Собрание... Что такое собрание? Этот псих Федька Кошелев и его люди, они все оплюют, охают, вывернут наизнанку... Я говорила в райкоме комсомола и с первым, и со вторым — оба за меня горой. Но им неудобно давить па собрание. Тут стараешься, до головной боли работаешь, ни времени, ни сил, ни себя не жалеешь. И вот... Помнишь, как меня в Иванове поднимали? А здесь? Кто придумал молодежные бригады имени Марата Шаповалова? Об этом в газетах было. А они, эти, вопят: казенщина!

Тут Ксения Степановна не на шутку возмутилась:

— Как так казенщина? Да они слово-то это понимают — казенщина?

Юнона поморщилась.

— Все они отлично понимают. А орут нарочно, чтобы меня свалить.— И вдруг, подняв па мать свои красивые глаза, она сказала: — Ты должна прийти к нам на собрание. Слышишь? Ты депутат Верховного Совета, ты член райкома и член бюро парткома...

— Мать я тебе,— нетерпеливо перебила она Юнону. И задумалась, подперев голову ладонями, беспокойно, вопросительно посматривая на дочь. Какая-то неясная тревога зарождалась в ней.— Я подумаю,— произнесла она наконец.— А ты успокойся: молодежь, она чуткая, она сердцем правду чует и хорошего человека в обиду не даст.

Ксения Степановна поднялась, притянула к себе голо-

ву дочери, стала осторожно гладить ее волосы жесткой ладонью и, отгоняя эту крепнущую, хотя еще и непонятную ей тревогу, заговорила о другом:

— Скоро отец наш приедет... Вот никак себе не представляю: Филипп — и вдруг партизан... Боец — куда ни шло, а партизан... Если б ты, дочка, знала, как я по нему соскучилась!

Дочь мягко отвела руку матери и поднялась.

— Побегу я. Мне еще надо в сберкассу поспеть, членские взносы сдать.

— А я думала, ты со мной вечерок побудешь,— грустно произнесла Ксения Степановна.

— Что ты, у меня еще столько дел! — И, уже направляясь к двери, Юнона остановилась возле портрета брата.— Мама, сними, а? Ну зачем ты этот повесила? Везде висят красивые портреты, а тут какой-то беспризорник стриженый... Он же Герой Советского Союза! Нехорошо... Ну, можно, я сниму?

— Не трог,— сдвинув брови, сказала Ксения Степановна и, не отводя взгляда от закрывшейся за дочерью двери, задумалась.

14

Подходило время перевыборов партийных комитетов. Когда в райкоме секретарей инструктировали, как составлять отчеты, Северьянов предложил было прислать в помощь Анне, работнику молодому, опытного инструктора. Но та даже вспылила. Что ж, она сама о своей работе коммунистам рассказать не сумеет? И вот теперь который уже день засиживается она в парткоме до ночи над отчетом, составление которого оказалось не таким уж легким делом.

Партсобрания, распределение нагрузок, политучеба, выдвижение новых кадров, руководство комсомолом — об этом написалось легко. А вот как напишешь о том, сколько людей после памятной беседы с Северьяновым удалось Анне вовлечь в активную партийную работу, как они втянулись в дело, окрепли, как учатся сами, без подсказок, разбираться в делах и как ей, секретарю парткома, от этого становится все легче работать? А о повседневной работе парткома с людьми, о том, что ткачихи идут теперь сюда со всякими личными делами, горестями, радостями, предложениями,— об этом как напишешь, под какую руб-

рику втиснешь в отчет? А то и другое Анна считает теперь самым большим достижением партбюро.

Спросить бы у кого-нибудь, как об этом пишут... Посоветоваться бы с кем... Но к Слесареву идти нельзя. Он иронически относится к этой стороне Анниной деятельности. Мать — та больше живет прошлым: подполье, большевистские ячейки первых лет...

Пойти к Северьянову после того, как она столь решительно отвергла его помощь, не позволяет самолюбие. Мог бы, конечно, великолепно помочь Гордей Лужников. Но после скандала у проходной Анна и разговаривать с ним боится. Частенько ловит она теперь на себе его виноватые, умоляющие взгляды, взгляды, от которых ей становится и радостно, и тягостно. Хочется подойти к нему, улыбнуться, заговорить, но вместо этого она подчеркнуто отворачивается. Нет, и с ним теперь не посоветуешься. Придется, видно, до всего доходить самой...

В один из вечеров, когда секретарь парткома засиделась допоздна над отчетом, кто-то настойчиво постучал в дверь. Вздохнув, Анна отложила перо.

— Входите!

Появилась мотальщица Лиза Борисенко, молодая коммунистка. Недели две назад пришла она в слезах, с бедой, трудно поддающейся партийному воздействию: с мужем серьезные нелады. Раньше был шелковый, золотой, сахарный, наглядеться не мог. Сын родился — с сыном нянчился, а теперь вот дома часа не посидит. Упрекать станешь — в ответ только грубые слова. В кино одна, в клуб одна, в гости одна. А на все попреки ответ: «Надоела ты мне хуже горькой редьки!» А тут еще в общежитии слушок, будто завелась у него какая-то на стороне.

Сейчас, когда Анна вновь увидела эту маленькую черноглазую женщину, весь этот разговор разом ожил в памяти. Сидела тогда, смотрела на заплаканное лицо и думала: чем же тебе помочь? Он беспартийный, да и работает не на ткацкой, а на механическом заводе, так что и для разговора вызвать трудно. И решила тогда Анна это дело по-женски: утешать не стала, а, наоборот, шумнула на Борисенко: сама, мол, во всем виновата. Баба молодая, хорошенькая, а ходишь будто старуха. Волосы вон густые, красивые, их расчесать да уложить — как артистка Любовь Орлова будешь. А у тебя голова на что похожа? В девушках небось от зеркала не отходила... Словом, не вешай носа, не хнычь, не брюзжи. Он из дома — и ты из дома.

Он поздно вернулся, а ты еще поздней. Где была? В кино или там в театре... С кем? С добрыми людьми.

— Ой, лишенько! Не тянет меня никуда без его...— вздохнула женщина.

— Ну, не тянет — и не ходи. Мать есть? У матери, у подружки какой вечер пересиди, а скажешь — была в театре, а перед этим оденься получше, губы подкрась...

Ушла тогда, помнится, Борисенко задумчивая, сбитая с толку, получив от секретаря парткома столь необычный совет. А сейчас вот заглянула совсем другая. Анна даже не сразу и признала ее. Бледное личико оттеняла копна красиво уложенных волос. Ситцевое платьице, аккуратно отутюженное, обрисовывало худенькую складную фигурку. Черные глаза смотрели не затравленно, а весело и даже не без лукавинки.

— А ну, повернись,— скомандовала ей Анна,— пройдись! Ну прямо краля бубновая... Помогло?

— Ой, что тольки робится! Ревнует, ужас! Намедни мамо меня задержала, запозднилась я — он чуть не прибил... Ей-богу!

Чрезвычайно этим довольная, Анна подумала: «Если бы в отчете это привести в «например», вот бы собрание утешила!» Ей и самой стало смешно от этой мысли.

— Ты чего, Степановна? На мово Отеллу, что ли?

— Отеллу!

Теперь обе смеялись, смеялись до слез. Потом присели на диванчике. Анна покосилась на недописанный отчет и, видя, что Борисенко медлит, спросила:

— У тебя еще что?

— Ой, есть-то есть, да уж сказать ли, нет ли, не знаю...— мямлила мотальщица.— Как скажешь-то?

— Так просто и говори.

— Видишь, Степановна,— медленно выговорила та, комкая носовой платок,— добра ты жинка, любим мы тебя, что на сердце тайное, и то к тебе несем.

— Ты чего, на выборном собрании, что ли, выступаешь с моей кандидатурой?

— Брось ты его, милая — вдруг выпалила Лиза.— Ну його к бису, хай йому грець!

— Кого?.. Как бросить? — упавшим голосом произнесла Анна, отлично уже понимая, о ком речь.

— Одинокая ты, обидели тебя — это народ понимает. Но он-то женатик, какая-никакая — жена.— Лиза смотрела на Анну умоляюще.— Не простят тебе этого люди.

Вспыхнувшая было радость погасла. Не было уже ни досады, ни желания доказывать свою невиновность, переубеждать. Была только большая усталость.

— Но ведь нет ничего такого,— печально произнесла Анна,— не было и нет...

— Конечно, конечно, мало ли о чем в коридорах языки чешут,— охотно согласилась та. Но все же, должно быть решив довести дело до конца, добавила: — А ты, Степановна, все-таки отступись от него. Краше будет...

Несколько минут они просидели молча. В черных глазах Лизы были тревога, просьба, печаль.

— Извини, мне еще тут с отчетом возиться надо,— тихо сказала Анна, поглядывая на белый листок, на котором пока что было написано только заглавие раздела «Работа с людьми».

— Степановна, ты не журись, я ж от души...— И Борисенко вышла, опечаленная и, может быть, даже немножко обиженная.

Анна вновь села за стол, запустила пальцы в русые свои волосы и задумалась. Что, собственно, было? Что произошло такого особенного? Ну, открыл ей этот человек какие-то стороны своей жизни, о которых мало кто знал. Ну, пожалела она его, заинтересовалась. Было приятно с ним потолковать, посоветоваться, рассказать то, о чем другому, пожалуй, и не расскажешь... Все ли? Ну, хорошо, если уж быть совершенно честной, можно признаться, что иной раз задумывалась о нем, о нелепой его судьбе. Ну, хотелось его встретить, побыть с ним минутку-другую. Но кого это касается? Кому какое дело до того, что у нее на сердце? Ведь даже и он об этом не знает. Не знает и не узнает. Так почему ж люди никак не могут забыть безобразной выходки глупой, истеричной женщины?

...На днях в умывальной, разделенной на отсеки фанерными стенками, случайно подслушала Анна такой разговор.

— ...Ну, и чего ж тут дивиться? Одинокая женщина, разводка, не в монастырь же ей идти? Да и нет теперь женских монастырей,— говорил незнакомый голос, принадлежавший, по-видимому, какой-то пожилой работнице.— На нее и обижаться нельзя, раз она сама судьбой обижена.

— Хорошенькое дело «не обижаться», «нечего дивиться»! — зачастил знакомый голос Перчихиной.— Им, пар-

тийным, выходит, можно, а беспартийным безнравственно... Нет уж, извините, у нас все граждане равны, со всех один спрос.

Тут в разговор вмешался третий голос, по которому Анна узнала знакомую ей ткачиху-коммунистку:

— Лишнего болтать не надо, партийность тут вовсе ни при чем, и не верю я во всю эту историю... Но в одном люди правы: раз человеку такое доверие оказано, должен он следить, чтоб не только пылинка, но и тень от пылинки на него не легла...

Давно уже ушли разговаривавшие. Руки у Анны окоченели, но она все держала их под краном, боясь выйти из-за перегородки или обратить на себя внимание.

Теперь вот она сидела перед чистым листом бумаги, раздумывая обо всем этом. «Тень от пылинки»... Может ли она оставаться секретарем? Можно ли ей продолжать работу на фабрике, где она волей-неволей будет встречать этого человека? Вздохнув, она снова взялась за карандаш. «За отчетный период партком старался уделять внимание...»

— Строчишь, дочка?

— Мамаша?

Анна с облегчением оторвала глаза от опостылевшей бумаги. Тихо подходя к столу, Варвара Алексеевна с укоризной смотрела на штепсель отключенного телефона.

— Понятно... А я звоню-звоню — все занято... Ты чего же это от людей отключаешься?

— Да вот не ладится. Звонки, разговоры, а отчет...— Анна с досадой показала на лист бумаги, на котором темнела единственная недописанная фраза.— Вот как с утра положила перед собой, так и лежит. Рвут на части.

— Такая уж твоя должность: всем нужна. Какой же ты секретарь парткома, если тебя люди в покое оставят?.. Ну, это ладно. А я вот зашла спросить: как ты поступишь, если на выборах твою кандидатуру в партком опять назовут?

Варвара Алексеевна села напротив Анны. Черные глаза требовательно смотрели на дочь.

— Я вас не... понимаю, мамаша,— с беспокойством в голосе ответила Анна, уже угадав, что и мать зашла неспроста.

— Врешь, понимаешь,— безжалостно произнесла Варвара Алексеевна.— И если бы ты у меня совета попросила, я б тебе ответила: подумай, дочка, хорошенько... Полю-

били тебя люди, верно. И секретарь парткома из тебя вроде получается. Вот поэтому вдвойне с тебя спрос.

Варвара Алексеевна говорила, как всегда, прямо, резко. Взгляд ее был взыскателен, строг. Но где-то в глубине ее черных глаз, все еще сохранявших юношескую живость, Анна усмотрела не осуждение, а тревогу, даже печаль. Она, старая большевичка, больше, чем кто-нибудь в семье, гордится дочерью, избранной на такой пост. Но Анна знала и то, что нет на фабрике человека, который умел бы так чувствовать сердце коллектива, как эта старая ткачиха.

— Я думаю об этом, мамаша,— тихо ответила дочь.

Варвара Алексеевна обошла стол, обняла Анну, прижала к себе ее голову. Молодые глаза, жившие как бы отдельно от старушечьего лица, уже и не старались прятать грусть.

— Было у вас что с ним? — тихо спросила Варвара Алексеевна.

Анна вся встрепенулась.

— Да нет же, нет! — страстно выкрикнула она, потом разом поникла, прижалась к матери, заговорила почти шепотом: — До той ночи я мало о нем и думала: жаль было его — и все. Хороший человек, а жизнь вся смятая, такой сильный, а беспомощен, как ребенок... И говорить с ним люблю: все с полуслова понимает, чуткий, добрый... А вот теперь, после того, из ума он не идет... Увижу его хоть издали или голос его услышу... А, да что там толковать, мамаша, родная, если бы все по-другому!..

Анна, как в детстве, прижималась к матери. Шепот ее был еле слышен. Вдруг она почувствовала, как что-то теплое капнуло ей на шею. Вздрогнула. Разом выпрямилась. Гордо посмотрела на старуху.

— Вы меня, мамаша, не жалейте. Мне и вашей жалости не нужно... И, если хотите, я уже решила: здесь мне не быть. Не могу. Нельзя. Понятно?

Варвара Алексеевна стояла теперь отвернувшись, сосредоточенно глядя в пустой угол кабинета, где не было ничего примечательного. Потом не таясь утерла глаза концом косынки и, вздохнув, сказала совсем по-старушечьи:

— Так я и знала...

— Что? Что вы знали? — встревоженно спросила дочь.

— А то, что неспроста моя Анна голову склонила. Не было б ничего на сердце, стукнула б ты кулаком по столу: «Хватит, кончайте болтовню!..» Ну что ж, вот и не

зря, выходит, поговорили.— И, видимо для того, чтобы показать, что к этой теме возвращаться больше не нужно, вдруг озабоченно сказала.— С Прасковьей нашей беда какая-то случилась. Не слыхала?.. Девчата в госпитале дежурили, говорят — лежит, плохо ей... Собралась было я к ней, да не любит она меня, грешницу. Может, ты навестишь, а? Или вместе сходим?

Вздохнув с облегчением, Анна быстро сложила листки незаконченного отчета и торопливо заперла их в сейф.

— Хорошо! Сейчас и двинемся... А что с ней такое?

15

Сводки Советского Информбюро в последние дни сообщали о том, что севернее и северо-восточнее города Ржавы части Красной Армии ведут наступательные бои большого масштаба. Верхневолжцы знали об этом не только по сводкам, а еще и по тому, что к ним, в тыл, потянулись санитарные поезда и самолеты. В короткое время госпитали оказались переполненными. Медицинский персонал сбивался с ног. Раненых поступало так много, что запасы консервированной крови быстро иссякли.

По фабрикам был брошен клич, разлетевшийся потом по всему городу: «Дадим кровь раненым воинам!» Донорские пункты работали день и ночь. Самолеты привозили консервированную кровь из других городов области. И все-таки порой ее недоставало. Не оказалось ее в нужный момент и в знакомом нам госпитале, когда с аэродрома доставили сразу шестерых раненых. Дежурный врач, обзванивая все другие госпитали и больницы города, охрип у телефона. Отовсюду отвечали — нет. Он уже совсем отчаялся, когда к нему подошла перевязочная сестра Прасковья Калинина.

— В чем дело? — сказала она.— Возьмите мою. Я универсальный донор. Моя кровь годится для всех.

Врач благодарно посмотрел усталыми глазами на сестру и, полагаясь на ее опыт, даже не спросил, когда у нее брали кровь в последний раз. Взяли максимально возможную норму. Сестра спокойно перенесла всю процедуру, но потом, вдруг побледнев, сослалась на усталость и попросила разрешения ненадолго прилечь на кушетку. Разбудили ее через несколько часов. За это время персонал сменился, но в госпитале царила та же суета. Принимали по-

вую партию. Ставить койки было уже некуда. Для них и освобождали сестринскую комнату, где на кушетке спала Прасковья Калинина. Она быстро поднялась, одернула смявшийся во сне халат, послюнив пальцы, протерла глаза и подошла к зеркалу поправить волосы. Но тут руки у нее опустились и она пошатнулась: лицо было белее косынки, родинки на нем темнели, как угольки. В ушах звенело. Перед глазами, как стая комаров в погожий вечер, толклись рои темных точек. Прасковья знала, что это такое: несколько дней назад в такую же горячку она отдала уже много крови. Теперь, не выждав положенного срока, отдала кровь снова — и вот результат.

Но унывать было не в правилах сестры Калининой. Пока вносили койки, она достала пудреницу, губную помаду и быстренько произвела, как она выражалась, «косметический ремонт». Потом, надев офицерский плащ и разбросав по плечам накрахмаленные крылья своей необыкновенной косынки, она двинулась домой. По коридору взволнованно металась хирургическая сестра другой смены. Она останавливала всех подряд — врачей, санитаров, уборщиц.

Сестра Калинина старалась идти бодро, чтобы кто-нибудь из мужчин, спаси бог, не заметил, что она «как тюфяк с соломой». Но когда сестра остановила и ее, вновь ощутила она прохладную пустоту во всем теле и рои черных точек опять затолклись перед глазами.

— Ради бога, какая у вас группа крови?

— Ну, первая, в чем дело? — ответила Калинина, стараясь говорить как можно тверже.

— Панечка, золотце, молоденький паренек умирает, совсем мальчик... У меня сын такой — Волька... Будь у меня подходящая группа, разве б я... Он летчик, выпрыгнул из горящего самолета, а эти изверги его на парашюте подстрелили... Солнышко, миленькая! Ну же... Пульса почти нет.

— Летчик?

— Ну да, конечно!

И Прасковья Калинина вдруг сказала:

— Ладно. Только поддержите меня, Верочка... Голову что-то спросонок кружит.

Просияв, сестра подхватила Прасковью за талию. Раненый лежал на столе в операционной. Хирург в белой маске, в шапочке, выставив вперед растопыренные пальцы, стоял возле.

— Слава богу, на счастье, у Калининой первая группа! — суетливо бормотала хирургическая сестра, отводя Прасковью в сторону, где были приготовлены приборы.— Нет, нет, милая, почему правую? Левую давайте, правой вам работать.

— Я левша,— чуть слышно соврала Прасковья, инстинктивно прижимая к себе левую руку, где еще сохранился свежий след иглы, смазанный йодом. Все перед ней плыло. Привычные запахи анестезирующих средств вызывали тошноту.

— А я и не знала, что вы, Паня, такая нервная,— болтала хирургическая сестра, следя за тем, как кровь медленно течет в колбу.

Чтобы не упасть, Прасковья неотрывно смотрела на белое мальчишеское лицо лежавшего на столе, смотрела и думала, что, может быть, так вот и ее Николай лежит где-нибудь, неподвижный, сомкнув синие вздрагивающие веки, и какая-то другая, незнакомая женщина отдает ему свою кровь.

— У вас, видимо, упадок сил: уж очень медленно течет,— удивлялась хирургическая сестра.

Слова ее еле-еле долетели до сознания Прасковьи. Чтобы не разоблачить себя, надо было ответить, и она прошептала ярко накрашенными губами:

— Да, да, поздно засиделась вчера тут со знакомыми офицерами. Совсем не выспалась...

— А я удивляюсь: такая цветущая женщина, вашему румянцу все завидуют... Ой, что с вами?

Сестра Калинина медленно, будто у нее таяли ноги, опускалась на пол.

— Чепуха, бабий обморок! Отлежится! — резко сказал хирург.— Сколько взяли? Двести?.. Маловато. Ну, вводите, вводите быстрей!.. Эй, кто-нибудь, дайте донору понюхать нашатыря!

Прасковья Калинина без сознания сидела на полу, приложив голову к холодной кафельной стене. Она пришла в себя лишь после того, как ее вынесли из операционной и положили на кушетку. Только тут все обнаружилось.

Теперь Прасковья Калинина находилась в одной из палат, в уголке у окна, отгороженная от остальных ширмой. Лицо ее было так бледно, что сливалось с миткалем подушки, а апельсинного цвета волосы, к которым у корешков уже вернулся естественный цвет, лежали как бы сами по себе и будто бы не имели никакого отношения к

тихой женщине, почти девочке, с усталыми зелеными глазами.

Когда тайна неожиданного обморока открылась, всех поразило, как просто, спасая жизнь неизвестному юноше, сестра Калинина поставила на карту свою. Теперь хирург сам носился на санитарной машине по городу, добывая кровь уже для нее. И когда поздно вечером Варвара Алексеевна с Анной вошли в знакомый подъезд «своего» госпиталя, они, толком еще не зная, что случилось, сразу ощутили необычность происшествия.

— Как тут Прасковья Власовна? — спросила Варвара Алексеевна гардеробщицу, подававшую ей халат.

У этой женщины было прозвище «Совинформбюро», и дано оно было за исключительную способность быстро распространять госпитальные новости. Сколько раз именно из этого источника Варвара Алексеевна почерпывала самую нерадостную информацию о невестке! На этот раз «Совинформбюро» только озабоченно вздохнула.

— Пульс плох... Из мединститута профессора привозили. Консилиум был. А она лежит вся белая-белая и тихая, будто голубка... Все на цыпочках ходят.

Дежурный врач колебался, допустить ли родственников.

— Назначен полный покой... Ах, Варвара Алексеевна, кто бы мог подумать! Обманула опытнейшую сестру... Слышали? Комиссар части, откуда этот летчик, телеграмму ей по военному проводу отстукал.

К койке больной подходили тихо.

— Здравствуй, Паня,— нерешительно произнесла Варвара Алексеевна.

Больная с трудом разомкнула посиневшие веки.

— Здравствуйте,— сказала она еле слышно, увидев склонившиеся к ней знакомые лица.— Вот опять... начудила... Снова вам, мамаша, беспокойство...

— Ну что ты, что ты, Панюшка, какое там беспокойство!..— смущенно заговорила было старуха.

— Как ты себя сейчас чувствуешь? — перебила ее Анна.

Больная слабо поерзала головой на подушке.

— Ничего... лучше... Коля весточку дал: перебазируются к Ржаве... «Может, пишет, буду... на денек...» Вот уж... некстати. Вы не пишите... ему...

— Да как же это ты так решилась? — вырвалось у Варвары Алексеевны.

Округлившиеся зеленоватые глаза посмотрели на нее из глубоко запавших, потемневших глазниц, и на миг, как показалось Анне, мелькнуло в них озорное, «козье» выражение.

— Так уж... Мальчишечку жалко стало... Красивенький такой мальчишечка...— Но тут же глаза устало закрылись.— Извините... Трудно мне...

Всем стало неловко. Врач из-за ширмы делал знаки: пора, кончайте разговор. Варвара Алексеевна наклонилась, поцеловала бледный, холодный лоб снохи, поправила на ней одеяло и на цыпочках вышла в коридор. Тут старуха остановила врача и вопросительно посмотрела на него.

— Была плоха. Сейчас лучше. Делаем все возможное,— ответил тот.

На обратном пути от госпиталя до трамвая мать и дочь не обменялись ни словом. Каждая думала о своем, тревожном, запутанном, невеселом.

16

Часы пробили... тринадцать.

— То есть как это тринадцать? Почему тринадцать? Что за чушь? — спросил себя вслух Олег Игоревич Владиславлев и, мучительно наморщив лоб, посмотрел на расплывающийся циферблат.

Маятник покачивался с солидной неторопливостью. В воздухе еще жил мелодичный вибрирующий звук последнего удара.

«Просто с непривычки, нельзя столько пить, друг мой, дипломированный инженер». Четко, как удары маятника, звучат в коридоре шаги внутреннего часового: пять шагов — поворот, еще пять — снова поворот... Может быть, от неестественной методичности этих повторяющихся звуков так противно кружит голову и все, что есть в кабинете,— стол, кресла, часы, большая, вся исчерченная карта путей железнодорожного узла на стене,— все это раскачивается. «Дрянь какую-то в этот шнапс, наверное, подмешивают, чтобы люди переставали соображать».

Шаги раздаются в коридоре, будто ночью в цехе, когда остановлены машины. Слышно, как совсем недалеко, вероятно в районе аэродрома, за который уже завязался бой, стреляют советские пушки. Владиславлев знает: бьет уже не дальнобойная, а обычная артиллерия.

Прислушавшись к грому разрывов, господин совет-

ник по экономическим делам поднимает взгляд к карте железнодорожных путей. Целят в депо и в третий товарный тупик, где сейчас грузят два эшелона... Откуда они все знают? Ведь вчера там не было ни одного вагона. Лишь к вечеру удалось согнать рабочую силу и кое-как наладить погрузку.

Владиславлев не верит ни в бога, ни в черта, ни в человеческий разум. Он ни во что не верит. Но после того, как ночью на улице, казавшейся совершенно пустынной, вдруг грянул выстрел и пуля сбила с него шляпу, нервы окончательно сдали. Его преследует навязчивая идея. Чудится, что у них всюду глаза, что все — и эти вот стены кабинета, и этот стол, и эти часы, и зарастающие травой руины там, за окном, любой телеграфный столб, каждая тротуарная тумба — подсматривает, подслушивает и сейчас неведомыми путями доносит им. Даже во сне Владиславлев не может отделаться от ощущения, что за ним наблюдают их глаза, что сам этот исковерканный город, сама эта забурьяненная земля продолжают верно служить им.

Карбидная лампа льет призрачный свет. Удобная, черт побери, немецкая лампа, но в свете ее лица становятся синевато-зелеными, как у мертвецов. А электричества нет. Электростанция, восстановление которой стоило Владиславлеву стольких трудов, взорвана. Ночью. Внезапно. На другой день после пуска. Ее монтировали втайне от всех в помещении паровой мельницы. Даже этот идиот бургомистр был уверен, что там мелют муку, и просил, нельзя ли потихоньку от немцев добыть «приватным порядком» мешочка три-четыре крупчатки. Но их провести не удалось. Они уничтожили электростанцию... Нет, от них ничего не спрячешь, будь она трижды проклята, та минута, когда он, Владиславлев, переступил в Верхневолжске порог немецкой военной комендатуры!.. Но зачем, зачем все это снова вспоминать? Не надо. Хватит. К чему терзать себя?

С брезгливым видом, будто касторку, Владиславлев допивает стакан и, передернув плечами, гадливо сплевывает. На большом, на резных львиных лапах письменном столе, кроме бутылки и стакана, ужин в трех судках и записка. Бутылка выпита наполовину, ужин не тронут. Записка прочитана. Жена сообщает, что господа из комендатуры настолько заботливы, что выставили охрану у их квартиры. Адъютант коменданта сам приезжал к ней и

заверил, что в случае чего (эти два последних слова многозначительно подчеркнуты) в распоряжение советника по экономическим вопросам будет выделена особая машина... Машина! Будто это что-то решит, от чего-то спасет...

Стол, бутылка, судок уже не покачиваются, они плывут по кругу. «Пьян, правильно, но где же оно, это знаменитое хмельное забвенье?» И как, в сущности, все до глупости просто произошло! Жаль было оставлять новую, только что с любовью обставленную квартиру, рушить хорошо налаженный быт, бежать в неизвестность, как это делали другие. Думалось: не звери же эти немцы, в самом деле... А потом в оккупированном городе это геббельсовское радио, которое день и ночь трещало о немецких победах. Эти сенсации: передовые части вермахта видят Москву в бинокли... пал Ленинград... Красная Армия отходит за Урал... Казалось, что полуразрушенный, погруженный во мрак, дрожащий от холода Верхневолжск очутился в глубоком тылу немецких армий. Люди умирали от голода, замерзали в собственных постелях. Олег Игоревич Владиславлев хотел помочь не гитлеровцам, а им, этим несчастным упрямцам. И он принес немецкому коменданту маленький безобидный проект. Оборудование фабрик не все увезено. Имеются запасы хлопка. Можно, восстановив электростанцию хотя бы частично, пустить предприятия, дать людям работу. Вот и все, чего он хотел...

— Так ведь было? — жалобно спрашивает себя вслух Владиславлев.

Он долго вглядывается в эту зыбко плывущую комнату, в ее шатающиеся стены и нетвердо грозит себе пальцем.

— Не-е-т, господин советник по экономическим делам, не совсем так. Мы тут одни, будем откровенны. Вас, голубчик мой, привела туда не забота о людях. Просто вы хотели выжить и решили приспосабливаться. Но разве это преступление — желать выжить?

...Проект похвалили. Довольный сидел Владиславлев перед комендантом, курил отличные болгарские сигареты, предложенные ему. Охотно принял пост экономического советника в только что созданном бургомистрате... Потом это проклятое письмо в газете «Глас России», письмо о «большевистских зверствах», которые никогда не совершались. И под этим письмом первой подпись: «Дипломированный инженер-орденоносец О. И. Владиславлев». О,

как он тогда возмутился, с какой яростью стучал кулаком по столу своего коллеги, советника по делам культуры! Тот только плечами пожимал: бог мой, можно ли интеллигентному человеку так выражаться? Сколько волнений по пустякам! Если события повернутся по-другому и немцы будут побеждены, не все ли равно, за что болтаться на веревке? Вскоре Владиславлев понял, что фабрики никто пускать и не собирается. Ему сказали: вот если бы удалось разыскать спрятанные где-то части электрических машин и, восстановив теплоэлектроцентраль, дать энергию и свет — это другое дело, тут экономический советник встретит всяческую поддержку и помощь командования.

— Энергию и свет.

Произнеся это вслух, Владиславлев инстинктивно отшатывается. На фоне стены он ясно видит изможденное, обросшее светлым волосом лицо инженера Лаврентьева. Оно искажено гневом. До войны они дружили семьями, ходили друг к другу на именины, до утра сиживали за преферансом, вместе встречали Новый год. А тут, даже не дослушав, старый друг плюнул ему в лицо.

Видит бог, Олег Игоревич никому не жаловался! Это кто-то из комендантских придумал поставить у двери Лаврентьева часового и не пускать к нему никого до тех пор, пока тот не откроет тайника. И все-таки кровь Лаврентьева пала на него, на Владиславлева...

Будь проклят день, когда он выкурил в комендатуре первую душистую сигарету!..

Когда немцы оставили Верхневолжск, Владиславлев бежал вместе с ними в Ржаву. Но за ним пришли и сюда... Вон снова ударила пушка. Это их пушка. А если обойдут город, возьмут в кольцо, разве спрячешься? Ведь они не сводят с него глаз. А это письмо от партизанского командира, подписанное «Дед»... Этот Дед благодарил советника Владиславлева за ценные сведения, которыми тот якобы снабжал партизан. Сатанинская выдумка! Это письмо подкинули к дверям, рассчитывая, что его подберут и прочтут. Какое счастье, что письмо поднял он сам! А если бы оно попало коменданту?.. Но кто им помогает? Он где-то здесь, рядом, их помощник, их глаза...

Олег Игоревич боязливо обводит взглядом комнату. Карбидный свет не только убивает краски, он делает все неестественно четким, как на слишком контрастных снимках. Эта тень за часами, кто это? Кто-то притаился?.. Нет, нет, чепуха, кто мог сюда пройти? За дверью часовой:

пять шагов — поворот, еще пять шагов — снова поворот... Охрана... А может быть, не охрана? Может быть, этот часовой поставлен, чтобы нужный немцам дипломированный инженер не убежал?

Пораженный этой догадкой, советник задумывается. Трудно, ох как трудно собраться с мыслями! Отвратительно кружится голова. Это у Данте в последнем круге ада мучаются предатели. Странная фантазия: в аду вместо огня — мороз... Нет, нет, уйти, уйти от всего этого, забыться хоть на минуту!

Дрожащей рукой расплескивая вино на стол, Владиславлев наливает полный стакан, приникает к нему и, стуча о стекло зубами, пьет не отрываясь, как в жару пьют газированную воду. Фу, как плохо! Комната качается, как палуба корабля. Вцепился в стул — качается стул, схватился за стол — качается стол. Олег Игоревич, давясь слюной, торопливо отворачивается в угол. Его начинает рвать...

...На улице трещит мотоцикл. Звук нарастает, приближается. Что это? Стих у крыльца. По лестнице шаги. Неужели принесло кого-нибудь из комендатуры? Этого только не хватало! Владиславлев поспешно закрывает облеванный пол развернутой газетой, нетвердой рукой прячет под стол бутылку... Ну конечно, из комендатуры. Голос этой белобрысой Марты. Она о чем-то говорит с часовым. Стук. «Войдите!» Дверь распахивается. Ну да, Марта и с ней незнакомый обер-лейтенант в черной эсэсовской форме. И часовой почему-то вошел за ними и встает, загораживая дверь. Какие противные, синевато-зеленые у них лица. Движущиеся мертвецы... Стой! А может быть, все это мерещится? Прочь, прочь! Нетвердой рукой инженер делает отталкивающий жест. Не исчезают. Стоят. У этой немочки такое странное лицо.

— Господа, чем я обязан в такой поздний час?

Эсэсовец, поправив очки, шагает к столу и вдруг, достав какую-то бумагу, бросает ее в лицо господину советнику по экономическим делам. Что это? Письмо? Как? То самое напечатанное на машинке письмо, где некий Дед благодарит Владиславлева за ценную информацию, предоставленную партизанам. Трезвея, Олег Игоревич впивается взглядом в лист бумаги и вдруг начинает понимать: все кончено. Но откуда, откуда у н и х это письмо? Ведь он же сжег его вот на этой самой лампе, сжег, пепел растер, сдул на пол. Неужели о н и подбросили вто-

рое?.. Офицер не поднимает голоса, но видно, как он взбешен.

— Владиславлев, вы разоблачены! Вы тайный агент партизан! Это вы наводите советские самолеты на наши объекты. Из-за вас, негодяй, погибло столько немецких солдат!..

Фрейлейн Марта торопливо переводит эти слова. Нет, это не кошмар. Господи, если ты существуешь, хоть ты помоги!..

— Фрейлейн, милая фрейлейн, вы же меня знаете, вы же видели: я трудился как вол, не спал ночей, рисковал... Я предан фюреру. Я ненавижу большевиков. Фрейлейн, ради бога, объясните ему...

И тут происходит совсем невероятное. Разговор как бы раздваивается.

— Молчать! Не разговаривать! Довольно вы нас морочили, теперь нам все известно! Ваши руки по локоть в крови немецких солдат! — слышит часовой немецкую речь лейтенанта.

А Владиславлев по-русски слышит совсем другое. Девичий голос, дрожа от гнева, говорит:

— Шкура, негодяй!.. Ты изменил родине, ты убил инженера Лаврентьева, ты помогал фашистам обкрадывать «Большевичку». И теперь ты крадешь для них наше, кровное, советское... Подлец!

«Что говорит эта немка? В ее глазах, ставших совсем темными, ярость... Почему она так говорит? Откуда она знает про Лаврентьева?.. Нет, я схожу с ума!» — мелькает в голове Владиславлева.

— Господа, господа, тут страшное недоразумение...— бормочет он, тяжело выбираясь из-за стола. Он весь дрожит. Вопреки всему, обычный его румянец не сошел с лица, губы по-прежнему краснеют из-под пышных усов. Но призрачный свет карбида превращает красное в черное. Кажется, что это пьяное, испуганное лицо уже тронуто тлением.

— За все это я вас по приказу коменданта пристрелю на месте! — слышит часовой по-немецки.

— Собака, бешеная собака, ты больше не будешь кусать своих! Сейчас ты сдохнешь! — слышит Владиславлев по-русски.

Совсем отрезвев, Олег Игоревич бросается на колени, ползет к офицеру, цепляется руками за его сапоги, прижимается к ним.

— Она, флейлейн Марта, она не фрейлейн!..— отчаянно вопит он, о чем-то уже догадавшись.

— Молчать, негодяй!..

Один за другим гремят три выстрела. Грузное тело, сразу обмякнув, с глухим стуком рушится на пол.

— Охраняйте его! — приказывает офицер и прячет оружие в жесткую кобуру.— За ним прибудет машина из комендатуры, а пока никого не допускать ни к телу, ни к бумагам. Особенно к бумагам.

Небрежно козырнув, офицер выходит, пропустив вперед переводчицу. Мотоцикл трещит под окнами...

Часы выбивают один удар. Густой звук долго дрожит в пустой комнате. В это мгновение массивное здание бургомистрата начинает трястись. Дальнобойные снаряды с журавлиным курлыканьем, гаубичные — с шелестом несутся над городом.

Ровно в час ночи советская артиллерия возобновляет интенсивный обстрел.

17

Филипп Шаповалов явился домой в полдень. Взрослые были на работе. Дверь открыли ребята. В двух из них он тотчас же узнал похудевших, вытянувшихся племянников. Третий — тоненький мальчуган с пестрым от веснушек лицом, с прямыми соломенными волосами — был ему незнаком.

— А ты что за птица? — спросил Фелипп, сбрасывая с плеч увесистый солдатский мешок из тех, что в войну именовали «сидорами».

— Ростислав,— серьезно рекомендовался незнакомый мальчик, протягивая худенькую, поперченную яркими веснушками руку.— Ростислав Куров.

— Куров? — Филипп прихмурил брови так, что на загорелом его лбу морщины расправились, обнаружив полоски светлой кожи.

— Он теперь сын дяди Арси,— счел своим долгом разъяснить Вовка.

— Они живут в маленькой комнатке у кухни,— прибавила Лена.

— Ну, так, брат Ростислав, выходит, мы с тобой вроде как бы и родня,— сказал солдат, серьезно пожимая руку мальчику.— А я Филипп Шаповалов, Филипп Иванович или дядя Филипп, это уж выбирай, как тебе взгля-

нется... Ну, народы, а где теперь наш угол? Показывайте, куда багаж класть.

Ребята гурьбой повели солдата в комнату Ксении, но тот остановился на пороге, снял шинель, сложил ее в уголке, перепоясался, положил поверх шинели пилотку, а потом неожиданно скинул сапоги, поставил их рядком у двери, в них сунул портянки и, оставшись в одних носках, вошел в комнату. Она была для него новой, эта комната, где перед войной у Шаповаловых была столовая. И вещи были в большинстве своем незнакомые. Только старый, неуклюжий, разделанный «под орех» славянский шкаф да самодельные книжные полки и остались от прежней обстановки. Шкаф этот существовал, когда Шаповаловы жили еще в общежитии. Еще тогда чадолюбивый Филипп выскреб на внутренней стороне дверцы даты рождения сына и дочери. И теперь, подойдя к старому другу, солдат, приоткрыв его, рассмотрел: «Двадцать первый год. Пятьдесят шесть сантиметров. Четыре килограмма. Назвали Марат». Марат! Нет, об этом лучше не думать! Филипп вздохнул и, потрепав шкаф рукой, отошел от него.

Сзади засмеялись. Оглянулся, увидел ребят, стоявших в дверях. Лена и Вовка старались подавить улыбки. Это у них не получалось — то один, то другая прыскали в ладошки.

— Что такое? — поинтересовался Филипп.

— Ростик, ну, Ростик, что тебе, покажи! Он хороший, не обидится,— шептала девочка.

— Он тебя представляет,— пояснил Вовка.

— Как представляет? Он что же у вас, артист? А ну, малый, покажи!

Мальчик с пестрым личиком мгновенно преобразился. Он стал стеснительным, угловатым. Как-то боком и на цыпочках, будто боясь смять половицы, прошел он по комнате и, точно лошадь по морде, потрепал рукою комод. Филипп расхохотался.

— Да ты, брат, верно, актер...

— А как он Юнону представляет, все пупочки оборвешь! — заявил Вовка.— Это у него главный номер.

Филипп еще больше заинтересовался. Ему казалось, что он давным-давно, много лет, не видел дочери. Какая она? Ребята перешептывались.

— Валяй, валяй, ну, Ростик, ну, Росточек, ну что тебе стоит? — ластился Вовка, предвкушая удовольствие.

Ростик вопросительно посмотрел на Лену. Та разводила руками: не знаю, мол, как.

— Ну что ж ты, забыл, что ли? — добродушно спросил Филипп.

— Нет, не забыл.

И мальчик с соломенными волосами вдруг как-то разом выпрямился и будто замер. Легким, четким шагом прошел он по комнате, небрежно протянул Филиппу руку «селедкой». Сохраняя на лице надменно-самоуверенное выражение, он повторил уже известную нам сценку, за которую ему однажды досталось на вечере у стариков. Ребята даже присели от хохота.

Филипп Шаповалов озадаченно смотрел на них. Он всегда с гордостью вспоминал свою красивую дочку. Разве могла она походить на то, что сейчас изображал маленький насмешник?

— А Юнке я отсюда позвонить смогу? — спросил он, когда смех затих.

— Юноне можно,— ответила Лена.— Пойдемте, дядя Филипп.

Все прошли в комнату Анны. Пока Ростик вызывал коммутатор фабрики, солдат взволнованно смотрел на одно из четырех квадратных пятен, резко выделявшихся на крашеном полу. Здесь у Шаповаловых в спальне стояло трюмо, и пол еще сохранял отпечатки его ножек. А трюмо это отец с сыном купили однажды Ксении Степановне в подарок на Восьмое марта, всадив в него обе получки и премию. На доставку денег уже не осталось, и они вдвоем на руках притащили его из города.

Между тем мальчишка у аппарата вытянулся по-военному.

— Докладывает рядовой Ростислав Куров! Товарищ начальник, доношу, что ваш папаша, дядя Филипп, прибыл домой и находится в расположении нашей квартиры!

— Дай-ка мне, баловник.— Филипп, волнуясь, взял трубку обеими руками, приложил к уху и по военной привычке сложил пальцы раковинкой у микрофона.— Юночка, это я, папа... Не узнаешь голоса?.. Я, я! Прибыл вот... ненадолго. Отпросись там у себя поскорей и беги домой... Не можешь? То есть как не можешь? — Солдат растерянно оглянулся.— Заседание?.. Ну и что? А ты скажи там своим заседателям: мол, отец с фронта прибыл. Они поймут... Да попроворней, у меня увольнительная только до

вечера, я ведь от эшелона отпросился. И матери сейчас же скажи, слышишь?.. Попробуешь? Да что там пробовать! Приходи... У меня все...

На выдубленном ветрами, будто ореховой моренкой покрытом солдатском лице, испаханном глубокими морщинами, застыло удивленное выражение.

— Положила трубку... Нешто еще позвонить?

— Не беспокойся, дядя Филипп, тетя Ксения в двенадцать и сама вернется,— сказала Лена.

Всем этим ребятам столько уже довелось повидать и пережить, что они если и не вполне понимали, то умели сочувствовать переживаниям взрослых.

— Вот что, товарищи начальники, ступайте побегайте, а я пойду к себе, прилягу. Уморился что-то с дороги,— сказал солдат, медленно возвращаясь в свою комнату.

Оставшись один, он постоял у комода, рассматривая фотографии детей, переводя взгляд с простецкой физиономии Марата на красивое лицо Юноны. Вздохнул, отошел. Глазом хозяина осмотрел комнату, заметил, что рама осела и не закрывается. Покачав головой, достал из мешка старый, наполовину уже сточенный саперный тесак, снял раму, подрезал разбухшую планку, закрепил петли. Убедившись, что рама стала закрываться, снова осмотрел все вокруг. Оторванный от стены выключатель болтался на одном шнуре. Солдат вынул из мешка другой нож, пузатый, со множеством лезвий. Крепким ногтем выколупнул из него отвертку и, повозившись с выключателем, прикрепил к стене. За этими несложными домашними делами он понемногу успокоился и рассудил, что, пожалуй, дочка права, и сквозь отцовскую грусть даже порадовался, что выросла она такая деловая, с крепким характером.

Но тут в прихожей послышались легкие, торопливые шаги. В двери появилась Юнона. Она показалась отцу такой красивой, что у старого солдата слезы выступили на глазах.

— Доченька!.. — Только это он и вымолвил.

Они обнялись. Но девушка тотчас же мягко отстранилась.

— Папа, я ведь только на минутку. Прямо с райкома комсомола. Сейчас там механический с какой-то чепухой выступает, а потом я. У меня очень важный вопрос — о шаповаловском движении. Это ведь наш почин, и у нас

почти сто процентов молодежи в шаповаловских бригадах.

— То есть как это в шаповаловских? — Отец с изумлением смотрел на дочь.

— Ну, бригады имени Героя Советского Союза Марата Шаповалова... Об этом же в газетах пишут... Разве ты, папа, не читал?

— Имени Марки?

— Ну, так-то теперь его никто не зовет!.. Папочка, ты не сердись, но я побежала! Ведь меня привезли на машине секретаря, она тут, у подъезда, ждет... Я не прощаюсь, я постараюсь поскорее вернуться. Пока!

Поцеловав отца в щеку, Юнона, помахав в дверях рукой, исчезла, как красивое видение, оставив отца в смущении. Машинально взял он просяной веник, стал заметать стружки у окна и штукатурку, накрошившуюся при ремонте выключателя. Выяснилось при этом, что под мебелью скопилось изрядно пыли. Смочил веник, отодвинул кровати, вымел мусор и уже гнал его к порогу, когда дверь тихо открылась. В ней неподвижно стояла Ксения Степановна.

— Филя! — вскрикнула она и, вздрогнув, подалась вперед.

— Ксюша! — Позабыв бросить веник, солдат так и обнял ее, держа его в руках.

Так, молча, и застыли они, будто слившись друг с другом. Ничего не было вокруг, никого им было не надо, и казалось, что так вот могли бы они стоять, счастливые, всю жизнь.

— Ты надолго?

— До поезда. В двадцать один ноль-ноль должен быть к эшелону.

— Так скоро?

— Дольше нельзя, дело солдатское... На Ржаву движем.— И, вновь принимаясь за веник, он спросил: — В который угол у вас тут мусор-то заметают?

Ксения тихо смеялась.

— Чудак, это же не окоп или, как его там у вас, не блиндаж... Забыл, что мусор добрые люди на помойку носят?

Теперь смеялись оба.

— В партизанах-то доставалось?

— На войне везде не сахар... Но ничего, привык. Я-то редко и стрелял. Все оружие трофейное ремонтировал,

этакую мастерскую-летучку на немецкую машину водрузил, да и крутился на ней вокруг тисков... Уважали меня партизаны. Мастеровой человек — он всегда в красном углу сидит.

— А немцев-то ты хоть бил?

— Да не дремали. Но что об этом говорить, мы их били, они нас били... Дома-то, Ксюша, забыть об этом хочется. Вон лучше посмотри, выключатель я вам починил.

— Давно уж оторвался. Все забывала Арсению сказать. Он у нас один мужик на весь терем-теремок.

— Ну как он, все тоскует по Марье-то?

— Мальчишку усыновил. Хорошего паренька... А что ж ты, Филя, о дочке не спросишь? Вон ведь, гляди на фотографию, краля какая стала!

Лицо Филиппа, успокоенное и такое домашнее, что все морщины на нем разошлись и оно казалось исчерченным незагоревшими бороздками, стало суше.

— Уж повидались. Залетела на минутку, некогда ей...

— А ты, Филя, не обижайся. Мы с тобой гордиться должны: вся в делах... Одна она у нас осталась, зато какая! Что с лица, что фигурой, что умом — кругом хороша. По двору идет — люди оглядываются.

Фотографии детей висели на стене рядом. Но Филипп в эту минуту смотрел не на дочь, а на сына, и в его светлых, будто выгоревших на солнце, глазах, стояла тоска.

— Хороша-то хороша...— задумчиво произнес он, вздохнув.— Между прочим, вскорости прийти обещала. Вот что, Ксения, ванна у вас действует?

— Какая там ванна!.. Но не горюй, я сейчас тебе воды на плите нагрею.

Вымывшись, переодев белье, сидел Филипп, будто под праздник, с женою за чаем. Но разговор как-то не клеился. Оба прислушивались, не звонит ли в соседней комнате телефон, не скрежещет ли ключ в двери. Но телефон не позвонил, а ключ не заскрежетал. Это наложило на встречу супругов какую-то тревожную тень. В положенный час, не сказав об этом ни слова, они поднялись из-за стола.

Уже надев шинель, Филипп подошел к комоду, над которым висели фотографии детей. Стоял и смотрел то на одну, то на другую. Потом взгляд его остановился на Марате.

— А похож.— Солдат вздохнул и вдруг попросил: — Дай-ка ты мне его с собой.

— Возьми, возьми обоих! — встрепенувшись, засуетилась Ксения.— Пусть оба с тобой будут, а я для себя отдам увеличить. Это ведь просто... А ты возьми.

Она отколола от стены фотографии и стала завертывать их в газету с той ласковой бережностью, с какой укутывала в кроватках детей, когда они были маленькими. Когда Филипп так же бережно укладывал сверток в мешок, слезы выступили у нее на глазах. Оглянувшись, солдат заметил их. Он обнял жену, и последнюю минуту они простояли молча, прижавшись друг к другу. Потом он ласково отстранил ее.

— Пора мне, Ксюша.

По обычаю, они молча присели «на дорожку» и так же молча спустились по лестнице. На станцию шли пешком, вдоль железнодорожного полотна, под ручку, как ходили когда-то, когда вся жизнь была впереди.

Ни о тоске по сыну, ни о горечи предстоящего расставания, ни о любви друг к другу, ни о пережитых в разлуке тревогах не было у них разговора. Толковали о фабричных и о ротных делах, перебирали имена родных и знакомых и еще говорили о том, что нужно будет сделать, что приобрести, когда окончится война и все наладится. То, что переполняло их сердца, тревожило ум, не облекаясь в слова, мерцало в глубине глаз, передавалось прикосновением жестких пальцев.

Добравшись до станции, они неторопливо отыскали воинский эшелон. Гвардии рядовой Филипп Шаповалов подвел жену к своему вагону и не без гордости представил товарищам и начальству. Потом стояли они в сторонке, держась за руки, смотря друг другу в глаза, и ничего уже не говорили.

Только когда состав, перезвякнув буферами, пришел в движение, а рядовой Шаповалов, подхваченный дружескими руками, уже на ходу прыгал в вагон, услышал он женский крик: «Филя!» В этом коротком вскрике было столько любви, тревоги, надежды, что солдату всего этого хватило на весь путь до Ржавы...

А когда, запыхавшись от бега вверх по лестнице, вернулась домой Юнона, комната была пуста... Остановившись в дверях, девушка вздохнула. Потом повертела в руках забытый на кровати ножик с пестрой ручкой, набранной из слоев разноцветного плексигласа. Переложила со стола на комод несколько плиток шоколада с пестрыми иностранными обертками. Принюхалась. Здесь еще жил

особый, солдатский запах, состоящий из смеси резкого аромата табака, дубленой кожи, намокшей шерсти и мужского пота. Юнона подошла к окну и, открывая его, приятно удивилась, когда рама распахнулась легко, без скрежета.

18

В зеленоватой предутренней мгле надрывно воет над Ржавой одинокая сирена воздушной тревоги. Казалось, неведомое существо, залетевшее с другой планеты, кричит, вздыхая, охваченное смертной тоской. Советская артиллерия бьет все гуще. Снаряды разных калибров рвутся в районе товарной станции. В городе падают лишь случайные, но он пуст, этот город, он как квартира, из которой выехали жильцы.

По заросшим улицам с надсадным треском несется военный мотоцикл. Он мчится, не зажигая фар. Это опасная езда. То там, то здесь под звездами темнеют свежие воронки, похожие на лунные кратеры с рисунков в школьном учебнике. Не сбавляя хода, мотоциклист объезжает их. Он делает отчаянные виражи, и тогда прицеп, в котором сидит девушка в белой вязаной кофточке, заносит так, что колесо его отрывается от земли.

Одинокий вибрирующий вой сирены, разрывы, как бы взвихряющие зеленоватую тьму ночи, бешеная езда — все это, как ни странно, немного успокоило Женю. Вцепившись в борта железной калоши, она старается не прикусить от тряски язык.

— Скорее, Курт! Ну, скорей же!

Дважды на их пути, отделившись от стен, возникали темные фигуры. Синий сигнальный фонарик делал во тьме запрещающие движения. Мотоцикл притормаживал.

— «Мессер»,— слышалось из полутьмы.

— «Мюнхен»,— отвечал с седла мотоциклист, одетый в темную форму войск СС.

— Пароль принят, можете следовать, господин обер-лейтенант.

Огонек гас, фигура исчезала. Сумасшедшая езда продолжалась.

После каждой такой остановки, проехав квартал или два, Курт, сворачивая в переулок, меняет маршрут. Его спутнице все это кажется излишним. Изнывая от нетерпения, она повторяет все то же слово:

— Скорее, скорее!..

Наконец, миновав окраинную улицу, мотоцикл свернул на пустырь, где под яркими августовскими звездами неясно вырисовываются руины какого-то здания. Мотор смолк. Молодые люди слезают с машины. Они сталкивают мотоцикл в какую-то яму, бывшую, вероятно, когда-то подвалом или погребом, и бегут, уже не разбирая дороги, карабкаясь через развалины, пересекая забурьяненные дворы, где во тьме порой настороженно мерцают глаза одичавших кошек.

Курт держит девушку за руку, помогает ей, когда они, карабкаясь, перелезают через руины. А когда тропка приводит их в балку и путь им преграждает журчащий ручей, он, мгновение поколебавшись, поднимает спутницу на руки и, разбрызгивая сапогами воду, несет ее на тот берег.

— Мне страшно, Курт,— шепчет Женя, обхватив рукой его шею, как ей кажется, только для того, чтобы облегчить ему тяжесть.

Он идет медленно, нащупывая ногой каменистое дно, боясь оступиться и уронить девушку.

— Успокойтесь, товарищ Женя. Эта дорога мне очень знакома. Я проходил по ней много раз.

— Я не о дороге.— И она крепче прижимается к нему.

Потом они опять бегут во тьме, все время слыша, как где-то впереди них, теперь уже не очень и далеко, будто бы кто-то со всего маху бьет тяжелым в дно большой бочки. Иногда шелестит снаряд, пролетая над их головами. Молодые люди не обращают на это внимания. Разрывы теперь гремят далеко позади, в районе железнодорожных мастерских, где все выше и выше взмывает вверх рыжее клочковатое зарево. Им известно, куда бьет советская артиллерия. Они ее не боятся.

Когда беглецы останавливаются среди развалин передохнуть, Курт Рупперт, проследив несколько вспышек, озабоченно оборачивается к своей спутнице:

— Товарищ Женя, вам не кажется, что они бьют правее погружающихся эшелонов?

— Мне кажется, что он, этот ужасный человек, рехнулся... Неужели мы стреляли в сумасшедшего? — отвечает Женя. Ее опять одолевает нетерпение.— Да идемте же, идемте! Скоро рассвет...

Откуда-то с запада, прикрывая звездное небо, тяжело наплывает громоздкая туча, зловеще подсвеченная снизу багровым заревом. Тьма уплотняется. Редкие капли тяже-

ло, будто дробь, бьют по лопухам, о дорожку. Потом дождь припускает и все кругом в потемневшей мгле обретает свои голоса — шуршит, шелестит, булькает. Молодые люди подставляют дождю разгоряченные лица. Намокшая кофточка облипает плечи, грудь, руки Жени, юбка льнет к ногам. Курт сбросил свой черный китель и хочет накинуть на плечи девушке.

— Не надо,— отстраняется она и торопит: — Пошли, пошли!..

И опять, скользя и спотыкаясь, они карабкаются через горько пахнущие пожарища, через опустошенные огороды, через покинутые усадьбы, овевающие их душными запахами некошеных, сохнущих на корню трав. Эта часть пригорода, выжженная еще в дни немецкого наступления, совершенно пустынна. Ни души. А когда беглецы, миновав развалины какого-то большого здания, оказываются среди развороченной, вздыбленной земли, их охватывает, душит тяжелый, сладковатый смрад.

— Тут глиняные карьеры. Они полны трупов. Их сваливали туда с машин, как мусор, в прошлом году осенью. Не потрудились даже как следует закопать... Тысячи — старики, женщины, дети... Между прочим, товарищ Женя, этой операцией руководил сам господин комендант. Говорят, он даже получил за это орден...

— Звери! — ознобным голосом произносит девушка и, стараясь не дышать, бегом бросается прочь от этого страшного места.

Дождь усиливается. Тьма уплотняется так, что Курту снова приходится вести свою спутницу за руку по еле заметной тропке, бегущей от страшных карьеров к темнеющей вдали лесной опушке. Среди деревьев тише, теплее. Терпко пахнет мокрая хвоя, но Женю все еще преследует липкий, сладковатый дух тления. Он тянется за ней, как в кошмаре, и ни раскисшая почва, на которой расползаются ноги, ни ветви, хлещущие ее по плечам, не могут перебить этот жуткий запах.

Они бегут до тех пор, пока дыхание у девушки не пресеклось.

— Подождите,— просит Женя и, обессиленная, цепляется рукой за березу.

Остановившись рядом, спутник прикрывает ее полой кителя. Она чувствует, как бьется его сердце.

Сколько раз мечтал он о том, что когда-нибудь эта белокурая головка приникнет к его груди! Сейчас, когда

мечта неожиданно сбылась, он смущен, неподвижен. Он замер, боясь пошевелиться.

— Я хочу вам сказать, товарищ Женя, что таких девушек, как вы, раньше не было,— произносит он вдруг.

— У вас? — лукаво спрашивает она, поднимая мокрое от дождя лицо.

— У человечества.— Это звучит очень торжественно.— Вы удивительная, вы сами не знаете, товарищ Женя, какая вы есть.

Девушка ждет, что он еще скажет. Но Курт молчит, и, вздохнув, она, стараясь решительностью тона замаскировать разочарование, произносит:

— Идемте.

— Да-да, пошли.— И, снизив голос до шепота, Курт предостерегает: — Теперь самое трудное. Недалеко опушка, и там передовая. Здесь много войск. Надо попробовать пробраться незаметно. А не выйдет — вы помните, как действовать... Главное — проскочить опушку, за ней вырубка, и там наши...

Курт снял очки, протирает. Он почему-то медлит.

— Что еще? — встревоженно спрашивает Женя, чувствуя, как против воли в душу ее заползает страх.

— Я думаю... Если со мной что-нибудь случится... Обещайте, когда кончится война, написать моей матери в Мюнхен, что этот последний день я был с вами. Это очень важно, товарищ Женя. Адрес даст Густав Гофман на МПГУ.

Просьба рассердила девушку.

— Не смейте думать об этом! Слышите? — И, встряхнув мокрыми, отяжелевшими косами, она с напускной лихостью добавляет: — Разве впервой? Пошли? Ну, пошли же!

Но Курт все еще возится с очками.

— У меня к вам еще очень большая просьба,— не без труда произносит он, весь как бы поглощенный протиранием стекол.— Поцелуйте меня, товарищ Женя.

Даже в предутренней мгле видно, как мучительно краснеет его лицо. Девушка встрепенулась, обернулась к нему, решительно заглянула в его светлые близорукие глаза и, приподнявшись на цыпочки, обхватив рукой его шею, крепко приникла к холодным, мокрым от дождя губам. Курт так растерялся, что не сразу ответил ей. Когда же губы его ожили, Женя решительно отстранилась:

— Потом...

— Потом...— шепотом повторила Женя, чувствуя, как в ней все ликует. Даже страх прошел, и как-то сама собой возникла вера, что все обойдется, они благополучно минуют фронт — и тогда...

— Товарищ Женя...— Ошеломленный той же радостью, Курт весь тянулся к ней.

— Потом, милый, потом...— И вдруг, улыбнувшись, она тихо произносит: — Ты молишься на меня, как на икону какую-то, чудак... А я, видишь, простая, обыкновенная девушка, а вовсе не товарищ Женя.

Она сама прижалась к нему. И хотя дождь припустил, с ветвей березы лило, а лес дышал промозглой сыростью, оба они готовы были стоять вот так, прижавшись друг к другу, позабыв и о страшной опасности, подстерегающей их за каждым деревом, и о неподвижном теле, валявшемся в бургомистрате, будто тряпичная кукла, и о страшном запахе тления, которым дышали глиняные карьеры, забыв обо всем, даже о войне... Мина, разорвавшаяся где-то поблизости, напоминала о том, где они и зачем сюда пришли.

— Милый, пошли...— тихо попросила Женя, сама поражаясь тону, каким были произнесены эти слова.

И тут Курт вдруг сказал:

— Ах, как это хорошо — жить!

— Да, милый, да,— ответила она и заторопила: — Пошли, пошли...

И они шли, стараясь ступать как можно осторожнее. Ливень схлынул, но дождь еще продолжался, спорый, обложной. Как Женя ни напрягала слух, в шуме ветра, в шелесте ветвей она ничего не могла различить, кроме выстрелов и разрывов. Лес как бы вымер и затаился. Шелестела под дождем листва. Шумели ветви. Все, что произошло,— и разговор, и поцелуи,— казалось прекрасным, странным, внезапно оборванным сном.

Теперь они двигались перебежками. Ступая на цыпочках, сделают несколько мягких прыжков, остановятся, застынут у дерева, прислушаются. Снова бросок — и опять застывают. Жене, не привыкшей к лесным скитаниям, трудно. Но она старается не отставать. Она видит, как Курт снимает с пояса и кладет в карман кителя штурмовой нож, и догадывается, что сейчас вот настанет самое опасное. И вновь овладевает ею леденящая, сковывающая движения жуть. Если бы он знал, как ей сейчас страшно! От каждой хрустнувшей ветки мороз подирает по коже,

каждый посторонний шорох пронзает, будто электрическим током. Хочется броситься на землю, зажать уши, застыть...

— Хальт! — раздался вдруг резкий окрик так близко, что Женя вскрикнула.

Темная тень отделилась от дерева. Мокрый ствол автомата нацеливается то на Женю, то на ее спутника.

— Свои, солдат, свои,— добродушно отвечает Курт, будто и не обращая внимания на наведенное на него оружие.— Пароль «Мюнхен»... Отзыв?

— «Мессер»...

— Фрейлейн Марта, прошу вас, не бойтесь.

— Чего же мне бояться, господин обер-лейтенант? — отвечает Женя. Она старается говорить беспечным тоном, хотя всю ее трясет.— Ну и забрели же мы в трущобу! Я совсем мокрая... Кто тут? Что ему надо?

— Действительно, мы, кажется, заблудились...— Голос у Курта спокойный. В нем слышатся даже досада и смущение.

Услышав пароль, часовой опустил автомат. Но видно — палец его лежит на спуске. Сам часовой взволнован, настороженн. Он испытующе смотрит на задержанных. Ну, нет, у Курта достойная партнерша.

— Я вам говорила, ведь говорила же: мы не туда идем! — продолжая игру, капризно сетует девушка.— Всю ночь таскал меня по дождю и вывел неизвестно куда... Ну, чего вы стоите? Спросите у него, где дорога.

Чистый немецкий язык, на котором ведется весь этот диалог, успокаивает часового. Обычная картина: ты тут мокнешь в секрете, боишься папиросу закурить, а эти эсэсовцы шляются под ручку с хорошенькими девчонками, дерьмо этакое!..

— Я обязан отвести вас к командиру, господин обер-лейтенант,— хмуро говорит он.

— И отлично, мы хоть немножко обсушимся и подождем там рассвета,— отвечает Курт.— Фрейлейн, вашу руку. Только вы, эй, как вас, показывайте дорогу! Тут можно шею свернуть.

Когда часовой проходит вперед, Курт, вырвав руку из кармана, вскидывает и стремительно опускает нож. Высокая фигура в черном клеенчатом плаще на миг застывает, как бы споткнувшись и ища равновесия, и тут же валится на траву. Падая, часовой издал неясный тоскливый вскрик. Курт хватает девушку за руку. Уже не забо-

тясь об осторожности, они выбегают из кустов на вырубку. Тут светлее. Без труда можно различить березовые пни, белеющие в полумраке квадраты заросших травой поленниц и даже темную листву брусничника, лаково блестящую от дождя. За вырубкой и, кажется, совсем недалеко темнеет лес. Там конец всего страшного. Спасение! Лавируя между пнями, они бегут, стараясь как можно быстрей миновать открытое пространство.

— Не стреляйте, свои! — кричит Женя, и эхо, особенно гулкое здесь, на вырубке, отвечает: «...и-и-и-и!»

Лес, темнеющий на той стороне просеки, настороженно молчит. Зато кусты, откуда они только что выбежали, изрыгают им вслед веера пуль. Противно попискивая, они летят над вырубкой, со сверлящим жужжанием подпрыгивают, отрикошетив от пней и поленниц. Несколько осветительных ракет взвивается вверх, пропоров предрассветную полумглу. Они повисают над лесом на своих парашютиках, и сразу становится так светло, что можно различить каждую травинку, каждую щепочку.

— Ложись! — командует Курт по-немецки и сам, бросившись на землю, кричит по-русски: — Не стреляйт, мы есть свои!..

Стараясь двигаться, сливаясь с землей, почти приникая лицом к набрякшему влагой мху, Женя почему-то вспоминает, как учили они эту фразу в Верхневолжске. Вспомнила — удивилась: какая чепуха лезет в голову! Она ползет, изредка оглядываясь на осветительные ракеты. Что это они напоминают? Ах, да, медуз! Таких вот медуз видела она в Черном море, когда пионеркой ездила в Артек... Неужели подстрелят?.. А как он это произнес: «Это хорошо — жить!..» И вдруг убьют именно теперь?

Девушка прилегла под защитой толстого пня. Одна, другая, третья пуля бьет в него. Последняя отрикошетила, злобно визжа. Пень не пробьешь. Можно передохнуть. Но где же Курт? И вдруг догадка: убили? Девушка на миг приподнимается оглядеть поляну и сразу же падает лицом в сырой мох.

Ей показалось, кто-то сильно ударил ее по спине раскаленной железной палкой. Боль, не очень острая, но тягостная, обессиливающая, сразу наполнила тело. Оно становится будто чужим, не чувствительным ни к чему, кроме этой боли.

«Ну вот, и подстрелили»,— думает Женя и тихо стонет, пытаясь повернуться, поудобнее лечь на траве. Сквозь визг

пуль она слышит, как где-то близко и совсем негромко начинают лопаться мины... Уже и страха нет. Только боль и усталость, всепоглощающая усталость, которая перебарывает и боль, и страх.

«Кто это дышит рядом, прямо в ухо?» С трудом поведя глазами, Женя видит лицо Курта. Оно все в мокрой земле, волосы слиплись, дыхание со свистом вырывается сквозь стиснутые зубы. «Жив! — радуется Женя.— Что он делает? Зачем?» Приблизившись вплотную, Курт взваливает девушку себе на спину и неуклюже ползет со своей ношей, не решаясь подняться даже на четвереньки. Каждое его движение отдается острой болью. Девушка стонет.

— Одну минутошку, одну минутошку,— повторяет Курт по-русски.

Женя стискивает зубы, но боль такая, что удержаться нет сил, и она начинает плакать, жалобно, как ребенок.

Мины лопаются чаще. Курт еле движется. Он часто застывает, ткнувшись лицом в траву... «Какое счастье — покой!» Но вот он снова бормочет: «Одну минутошку, одну минутошку...» — и не смолкает даже, когда, разорвавшись невдалеке, мина осыпает их обоих торфянистой землей.

— Да оставь же меня! — кричит Женя. Впрочем, ей это только кажется. Никто ее не слышит, все кругом и она сама заволоклось и тает в каком-то клейком, жарком тумане.

19

Николай Калинин, летчик дальнебомбардировочной авиации, умел нагрянуть внезапно, как весенний грозовой дождь, произвести массу веселого шума и так же внезапно исчезнуть, оставив у окружающих улыбки на лицах и самые сумбурные воспоминания. Так же вот вдруг, без всяких предупреждений, появился он в один прекрасный вечер в тереме-теремке. Едва поставив в угол свой чемодан и сняв в прихожей темную шинель с голубыми петлицами, он сразу же освоился и, по-медвежьи мягко ступая в огромных мохнатых унтах, в нижней рубахе с расстегнутым воротом, облепленный ребятней, ходил из комнаты в комнату, засыпал всех вопросами и, не слушая ответов, двигался дальше, разбрасывая шутки, прибаутки.

— Пришел домой — на двери замок. Ну, думаю, не иначе — Паня меня не дождалась, замуж вышла, а она —

нате, в госпитале... Зашел к старикам родителей поприветствовать — тоже заперто. Ну, я к вам... Ребята, тащите из чемодана стрижки-брижки... Перед тем, как к жинке явиться, мне треба помолодеть...

Через несколько минут в кухне, обнаженный по пояс, с грудью, поросшей густым золотым волосом, Николай с хрустом сбривал с лица светлую жесткую щетину, подпирая изнутри языком то одну, то другую щеку. Впрочем, это не мешало ему мурлыкать песенку и отвечать на вопросы Вовки, с ходу успевшего влюбиться в необыкновенного дядю и теперь не отстававшего от него ни на шаг.

— Дядя Коля, а какой он, Берлин, а?

— Ничего себе городок, мишень, брат Владимир, богатая, не промажешь.

— А ты туда еще полетишь?

— А как же! Я, старик, Гитлера-то еще не разбомбил... Так вот и буду летать, пока не влеплю ему бомбулю в самую маковку.

Лишь ненадолго после того, как Анна рассказала брату, как и при каких обстоятельствах его жена сама оказалась в госпитале на положении больной, его большое, с крупными чертами лицо стало озабоченным...

— Ну, а сейчас как?

— Сейчас лучше. Слаба еще, но поправляется...

Тревога, тоска, должно быть, вовсе не могли жить в этих выпуклых голубых глазах. Летчик звонко хлопнул себя ладонью по ляжке.

— Ай да женушка! За спасение летуна ей много грехов простится!

Он вскочил и торопливо потянулся к гимнастерке, к ремням.

— Ты куда?

— Как куда? К ней!

— Кто ж тебя в такой час пустит?

— Меня не пустят? — искренне удивился Николай Калинин.— Нюша, ты, должно быть, совсем забыла брата!

И действительно, в госпиталь его пустили. Уже потом узнали родные, что больше часа просидел он возле койки Прасковьи, тихий, взволнованный, держа ее руку в своей большой лапище. На обратном пути навестил стариков, а потом каким-то образом сумел «завернуть» на военный аэродром, находившийся в нескольких километрах от города, и к ночи компания летчиков с шумом ввалилась в терем-теремок.

Они оккупировали кухню. На столе будто сами собой возникли бутылки. Почти до утра рокотала гитара. Квартиру сотрясали волжские, ямщицкие и новые военные песни.

С этими громкоголосыми, загорелыми, пышущими здоровьем парнями как-то незаметно разошелся и Арсений. Он играл на гитаре, пел и пил, словно в прежние, довоенные времена. В цех на следующий день пришел невыспавшийся и все-таки свежий, с легким шумком в голове. Уже давно не появлявшаяся на его губах улыбка пряталась под крышей густых и совсем уже сивых усов. «Родится же этакая веселая человечина! — раздумывал он о шурине, и его тянуло поскорее домой, еще раз повидать Николая, который по давнему своему обыкновению мог вдруг исчезнуть, никому ничего не сказав. «Легкий человек, недаром мальчишкой еще ушел в аэроклуб... И прав он, чертушка, в жизни гляди вперед, а не назад. От лишних раздумий только волос седеет».

В разгар работы в цех позвонили из заводоуправления. Сказали, что к Курову пришел какой-то офицер, срочно попросили зайти к директору. «Вот неугомонная голова, и на завод закатился!» — усмехнулся мастер. Он не стал переодеваться, а только вымыл руки и в обычном своем рабочем виде вошел в кабинет. Вошел и удивился. В кресле перед столом директора сидел не Николай Калинин, а незнакомый, худощавый, лысоватый офицер с фронтовыми петлицами, на которых были еле различимы две майорские шпалы защитного цвета. Но на коленях у офицера лежала фуражка с ярко-зеленой тульей. Да и вообще по выправке, по манере держаться, по тому, как без складочки была заправлена за ремень гимнастерка, нетрудно было угадать в незнакомце военного кадровика и именно пограничника.

— Вот это и есть наш Арсений Иванович,— рекомендовал директор, почему-то с тревогой посматривая на вошедшего.

Офицер встал, протянул маленькую сильную руку.

— Майор Соколов.

— Куров.

— Извините, я вас оставлю, мне в цех,— торопливо сказал директор и чуть не на цыпочках направился к двери.

Прежде чем выйти, он бросил на мастера тревожный, сочувственный взгляд. Арсений искоса рассматривал незнакомца. При всей своей фронтовой выправке офицер был

как-то неестественно бледен. Он вертел в руке фуражку и молчал.

— Говорите, зачем позвали, а то работа у меня стоит.

— Видите ли,— начал пограничник с заметным усилием,— я вышел из госпиталя и разыскиваю свою семью. В бюро по розыскам мне сообщили, что у вас живет мой сын Ростислав. Ростислав Соколов, тридцатого года рождения.

Если бы рядом разорвалась бомба, это, вероятно, меньше удивило и испугало бы Курова. Он беспомощно оглянулся. Как так? Все знали: Ростик — круглый сирота... И вдруг теперь, когда они привязались друг к другу, является этот незнакомый майор и хочет его отнять...

— Не знаю я никакого Соколова. Ростислав Куров, верно, у меня живет.

— Вы что же, его усыновили? — встревоженно спросил офицер.

Куров кивнул в ответ. Они сидели молча. Из литейной доносился глухой гул воздуходувки, от работы большого молота в окнах звенели стекла, откуда-то со двора слышалась упругая дробь пневматического долота.

Офицер достал коробку папирос, раскрыл.

— Курите?

— Спасибо... Только трубку.

Закурили каждый свое. Арсений бросал на офицера быстрые взгляды: «Откуда это ты взялся на мою бедную голову?»

— Жара! — произнес он наконец и полез за носовым платком в карман комбинезона.

— Точно! — подтвердил майор Соколов и расстегнул верхнюю пуговку у ворота гимнастерки. Потом он вынул из кармана красную командирскую книжечку и протянул ее собеседнику.— Вы, может быть, в чем-нибудь сомневаетесь? Вот мое удостоверение. Видите, в нем и дата записана: «Сын Ростислав, тысяча девятьсот тридцатый год рождения...» Посмотрите.

— Нет, зачем же? Я верю...

Арсений понимал, что закон и совесть на стороне этого незнакомого человека. Но все в нем бунтовало против доводов разума. Мысль лишиться мальчика была для него так страшна, невыносима, что он боялся об этом даже думать.

— Вот что, товарищ майор,— сказал он наконец,— не из-за приблудного щенка спорим. Это ж человек! Пойдем

к нему и спросим. Как сам малец скажет, так тому и быть. Ну?

— Позвольте! Как это? Он же мой!..— гневно вскочив со стула, начал было майор, но тут же взял себя в руки: — Ну что ж, давайте спросим. Он уже не маленький — одиннадцать лет.

— Двенадцать,— ревниво уточнил Куров.— Девятого мая двенадцать стукнуло... А где ж это вы пропадали?

— Это длинная история.

Договорились встретиться в садике перед заводом по окончании смены и не прощаясь разошлись.

Дело в этот день у Арсения не ладилось. Он был рассеян, забывчив, раздражителен. То и дело смотрел на часы и по мере того, как время двигалось к гудку, волновался все больше. Одна мысль владела им: мальчика отнимут у него. Когда вместе со сменой Куров выходил из заводских ворот, у него появилась даже детская, странная надежда, что Соколов почему-либо не придет, что, может быть, он вообще раздумал, отказался от своего намерения взять сына и уехал.

Но майор был на месте. Он сидел в скверике, на скамейке, прямой, настороженный, процеживая взглядом человеческий поток, вытекавший с завода. Увидев большую сутулую фигуру мастера, он пружинисто поднялся и пошел к нему навстречу, поскрипывая хромовыми сапогами.

Они снова пожали друг другу руки. На этот раз рукопожатие оказалось более длительным.

— Ну что ж, пошагали? — спросил Куров.

— Пошагали,— ответил офицер и пошел рядом с Арсением, твердо печатая шаг.

Миновали мост через Тьму, миновали ворота, все еще нелепо стоявшие посреди улицы, так как упиравшийся в них когда-то забор не был восстановлен.

— Тут можно сесть на трамвай. Но лучше пешком. Недалеко. Как?

— Пойдемте пешком.

Теперь было ясно, что оба смущены предстоящей встречей с мальчиком и оба отдаляли ее, собираясь с мыслями. Механик, поначалу произведший на Соколова впечатление человека тяжелого, хмурого, все больше нравился ему. Директор завода, к которому майор обратился, уточнив в гороно местопребывание сына, рассказал ему историю куровских бед. Теперь, успокоившись, он понимал,

какой удар ему предстояло нанести обездоленному человеку. Понимал и жалел его. Но вдруг ему приходила диковатая мысль: а что, если и в самом деле сын пожелает остаться у приютившего его человека? И он начал смотреть на попутчика с инстинктивной неприязнью, которую не могли побороть никакие доводы логики.

— Как же это вы так внезапно? Будто взяли да из мертвых воскресли? — спросил наконец Куров.

Как? И сразу перед глазами майора Соколова встала эта ночь под воскресенье, когда на их заставу, окутанную предрассветной мглой, внезапно обрушился огонь гитлеровских пушек. И неравный бой. И тающий на глазах, но не прекращающий обороняться гарнизон. И смерть товарищей. И это страшное сознание, что война уходит все дальше на восток, а горстка людей, одна, без надежд на подкрепление, на помощь и поддержку, должна обороняться на все четыре стороны... Этот последний, отчаянный рывок на запад, придуманный полковником, и неожиданно увенчавшийся успехом. И партизанский отряд. И первое ранение. И снова яростная лесная война, налеты на вражеские гарнизоны. И, наконец, этот организованный прорыв через фронт, навстречу наступающим советским войскам, рана, полученная в последний момент, госпиталь. Долгий вынужденный коечный покой, отягченный полной неизвестностью о судьбе семьи, ушедшей на восток и исчезнувшей без следа где-то на дорогах в трагической путанице отступления. Все это разом вспомнилось майору. Но ответил он коротко:

— Неудачный выход из вражеского тыла... Почти четыре месяца на койке провалялся.

— А как на след сына напасть удалось?

Как? Розыски семьи майор Соколов начал, еще лежа неподвижно на госпитальной койке. Добрые люди помогали ему, писали запросы, наводили справки. Надежду сменяло отчаяние, приливы энергии — сознание тщетности усилий. И вдруг уже перед самой выпиской маленькая открытка из центрального справочного учреждения: «Ростислав Соколов, ныне Куров. Город Верхневолжск, усыновлен Куровым Алексеем Ивановичем в январе 1942 года».

Рассказывал майор спокойно, но Куров видел, а вернее — чувствовал, что какая-то затаенная мысль угнетает собеседника и что он все время как бы старается обойти ее.

— Ну, а о бабушке, о матери, о сестре и братике Сла-

ва вам что-нибудь говорил? — спросил наконец майор еле слышно.

Куров даже остановился. Он полагал, что Соколов осведомлен и о судьбе семьи. И вдруг ему, не забывшему собственную боль, предстояло стать страшным вестником.

— Ну, что вы молчите?

Оба они стояли на тротуаре друг против друга. Офицер жадно смотрел на Арсения.

— Сироты мы с тобой, майор,— хрипло сказал механик.— Круглые сироты, и на двоих у нас один мальчонка.

Соколов ничего не ответил. Так же твердо ступал он по земле, так же поскрипывали подошвы хромовых сапог, только худощавое лицо его стало еще суше, а глаза еще суровее. Молча дошли они до дома, молча поднялись по лестнице. Арсений решительно постучал. Ростик, открывший им дверь, не замечая, что Куров не один, с ходу выпалил:

— Папа, дядя Коля говорит, что из меня классный технарь выйдет! Технарь — это они так бортмехаников своих зовут.— На мальчике был полукомбинезончик из чертовой кожи, и материя искрилась от алюминиевых опилок. В руках он держал не без искусства выточенный маленький самолетный винт.— Дядя Коля пробует такой выточить, а у него не получается, а у меня сразу вышло, и без чертежа, прямо на тисках!

Мальчик был так захвачен всем этим, что даже не замечал офицера, который стоял в дверях, вцепившись рукою в притолоку.

— Постой, Росток,— глухо сказал Арсений, отступая,— смотри, кто к нам с тобой пришел.

Только тут мальчик вскинул глаза. Мгновение он остолбенело рассматривал худое, бледное лицо, потом перевел взгляд на Арсения, потом снова на офицера и вдруг, взвизгнув, бросился к нему на шею, уткнулся пестрым носом в шинель, замер. Арсений молча прошел мимо них к себе в комнату и появился уже вместе с Николаем Калининым. Отец и сын продолжали стоять все так же — майор в неудобной позе и мальчик, уткнувшись ему в грудь. Рука отца судорожным движением прижимала к себе будто соломой крытую голову.

— Ступайте в комнату, чего ж тут стоять? Там и наговоритесь вволю,— сказал Арсений.

Чубатый летчик с нескрываемым любопытством наблюдал эту сцену.

20

Женя пришла в себя от острой боли. Она увидела странный потолок, который, как казалось, слегка колебался и излучал густой золотисто-медовый свет. Потом чью-то голову, всю окутанную белой материей. Сквозь узкую щель виднелись лишь глаза, безотрывно смотревшие на Женю. В них было что-то очень знакомое. Удивившись странному их выражению, девушка попыталась вспомнить, где она видела эти глаза, но не успела сосредоточиться. Снова все вокруг затягивалось серым туманом, будто тонуло в душной вате. Сквозь эту вату Женя слышала, как знакомый, очень знакомый женский голос отдавал короткие распоряжения:

— Тампон... Пинцет... Иголку... Нет, не ту... Скорее... Йод, спирт... Лейте сюда...

Голос говорил по-русски. Значит, она все-таки дома, у своих. И почему-то подумалось: «Вот только бы вспомнить, чей это голос, доносящийся будто бы издалека, и все будет хорошо». Девушка уже поняла, что она на операционном столе, что над ней склоняется хирург, что это его глаза, его голос и голос этот почему-то тоже знаком. Потом мысль унесла ее в детство, на фабричный двор, где она и маленькая Галка, стоя на разных концах доски, положенной на полено, подпрыгивая по очереди, стремятся при этом, опускаясь, так наподдать ногами по этой доске, чтобы повыше подбросить одна другую. «Девочки, шею же сломите! — кричит им кто-то и потом тем же голосом продолжает: — Пинцет... Марлю... Здесь и здесь... Соберите кровь... Тампон...» Доска стучит, Галка визжит от страха и удовольствия. Все вокруг взлетает и падает...

Снова Женя приходит в себя уже на койке. Теперь ей все ясно. Медовый, излучающий свет потолок — это полость госпитальной палатки. Глаза, что так странно смотрели на нее из-за марлевой маски,— глаза матери. Вот она, стоит рядом. Белый халат плотно облегает полное тело. На голове миткалевая шапочка, сдвинутая на затылок. Высокий лоб еще хранит рубец от ее ободка, и из-под нее виднеются русые поседевшие волосы.

— Белочка, Белочка моя! — шепчут крупные губы.— Очень болит?

— Мне хорошо, мама.

Странно, но Женя совсем не удивлена ни тем, как она очутилась в этой палатке, ни тем, что рядом оказалась мать. И ей действительно хорошо. Все страшное — оккупированная Ржава, сухой и прямой, как палка, комендант со своей жуткой улыбкой, обнажающей ровные фарфоровые зубы, необходимость жить чужой жизнью, играть, не сходя со сцены, час за часом, день за днем мерзкую, отвратительную роль, глухая ненависть маленькой бледной квартирохозяйки, этот ползающий в смертельном страхе по полу человек с безумным лицом, страшные рвы, дышащие смрадом тления,— все позади, все кажется теперь дурным, тяжким, затянувшимся кошмаром.

А вот это — настоящее. Медицинская палатка, освещенная солнцем, узкая койка, простыня с черным ляписовым штампом. И мама. Как же это хорошо, что она оказалась здесь, вместе со своим медсанбатом! Только вот зачем усиливается, как бы растекаясь по всему телу, мучительная слабость, почему леденеют концы пальцев на руках и ногах, а все тело горит? И почему глаза матери так печальны, почему ее рука так судорожно комкает кусок марли?

— Мама,— произносит Женя и удивляется, почему ее не слышат ни мать, ни какой-то пожилой человек, стоящий у изголовья койки, ни медицинская сестра, которая, наклонившись, что-то там делает у столика в углу палатки.

— Мама! — повторяет Женя громче.

Теперь мать услышала или уловила движение ее губ. Она опустилась на колени, наклоняется:

— Лежи, Белочка, лежи, не двигайся, тебе нельзя двигаться!

— Он жив... Курт?

Но мать не слышит вопроса.

— Курт... Курт Рупперт... Немец...

Теперь Татьяна Степановна поняла.

— Жив, доченька, жив! Он скоро придет... Ведь это он тебя вынес.

Женя это знает. Она уже восстановила в памяти все до того момента, когда потеряла сознание на просеке. Глазами она делает знак наклониться. Та приникает ухом к ее губам, и щека ее почему-то кажется Жене горячей.

— Мы выполнили... задание... то, вчерашнее.

— Не думай ни о чем, девочка. Он обо всем уже доло-

жил. Он и сейчас у полковника, скоро будет здесь. А ты постарайся уснуть..

И Курт придет. Как хорошо! Только почему у этой сестры или санитарки там, в углу, так странно трясутся плечи? Что-нибудь еще случилось? Синие глаза девушки вопросительно смотрят туда, в угол. Мать перехватила этот взгляд.

— Выйдите, Люба! — нервно говорит она.

Сестра поспешно выходит, отворачивая лицо от Жени. Откуда-то сверху протягивается суховатая мужская рука и щупает пульс. Глаза матери устремлены на этого невидимого девушке человека. В них вопрос, надежда, отчаяние.

— Шприц! — произносит мужской голос.

Мать, поднявшись с колен, грузно бежит в угол, где на маленьком столике на спиртовке парит блестящий ящичек. Вернувшись, она приподнимает одеяло. Делает резкое движение. Женя не чувствует ни укола, ни холодного прикосновения. До нее доходит лишь запах эфира, и она опять погружается будто в вату, сквозь которую уже совсем издали доносятся знакомые голоса. Курт... неужели он тут? Это его голос. Только он может так смешно сказать по-русски: «Трастфуйте». Женя делает усилие и открывает глаза. Да, это Курт. Он снова в советской военной форме без знаков различия. Нет очков, и, должно быть, поэтому взгляд у него такой беспомощный. И еще одно лицо, тоже бледное, прядь темных волос свисает на лоб, глаза с приспущенными веками разные: левый пошире, правый поуже... Майор Николаев? Но почему все они какие-то странные, будто окаменели? Девушка пробует улыбнуться и чувствует: губы не слушаются. «Это плохо, когда не можешь улыбнуться»,— думает она. И вдруг в мозгу мелькает догадка:

— Я умираю, да?

Но никто не слышит вопроса, никто, кроме матери, горячее ухо которой снова приникло к ее холодеющим губам.

— Я умираю, мама? — повторяет Женя.

Мать не отвечает, только закусила губу и яростно мотает головой.

Чудачка мама... И снова, но уже не теплая вода, а что-то серое, туманное, похожее на те облака, в которые влетает порой высоко забравшийся связной самолет, что-то такое же невесомое, холодное окутывает ее всю, и девуш-

ка, стараясь вернуть меркнущее сознание, удивленно спрашивает, вернее, ей кажется, что она спрашивает:

— Я умерла? Да?

21

«Чудные теперь комсомольцы какие-то! Ну, пошумите, ну, поспорьте, ну ладно уж, поругайтесь, что ли, и обидное слово даже под горячую руку друг другу скажите — ничего, дело молодое... Но к чему разводить какие-то интриги: этого «свалить», того «протащить»? Нехорошо!» — так думала Ксения Степановна, собираясь к комсомольцам своей фабрики, у которых сегодня было отчетно-выборное собрание.

Говоря по совести, идти туда ей очень не хотелось. Она считала, что матери отчитывающегося секретаря неловко присутствовать на таком собрании. Но Юнона столько рассказывала ей о всяческих неладах в комсомольской организации, о подкопах, производимых под нее, о демагогах и дезорганизаторах, срывающих ей работу, что Ксения Степановна решила все же зайти, послушать, посмотреть. Да и Анна вчера как-то многозначительно посоветовала: «Сходи».

Но, очутившись в Красном уголке среди ребят и девушек, шумевших веселыми группами там и тут, она сразу забыла свои сомнения. А когда в углу голосистые девчата затянули песню, прядильщица, вспомнив молодость, сама присоединилась к ним.

— Ксения Степановна, а вы были комсомолкой?

— Ну, а как же? Конечно, была!

— Правда, тогда девчата красные косынки повязывали, а любовь считалась предрассудком?

— Косынки действительно носили, а про любовь — какой это чудак вам такое наплел?

И припомнились ей бурные комсомольские годы, эшелон, стоящий в тупике у хлопковых амбаров. Такие же вот, а может быть еще и помоложе ребята в косматых папахах, в картузах, в ватных тужурках, перепоясанных ремнями, а то и просто шнурками, подсаживая друг друга, лезут в «телячьи» вагоны. И где-то тут, среди них, в гомоне и шуме, в визге гармошек и звуках песен, расхаживает ее Филипп, уж не только комсомолец, но и молодой большевик. У него тоже воинственная мохнатая папаха собачьего

меха. Тужурка перепоясана широким, «велосипедным» поясом с кармашком для часов. И на мирном этом поясе огромный «смит-вессон», какие когда-то нашивали полицейские... Свисток. Гармошка надрывает мехи. Ксения испуганно жмется в табунке притихших девчат. Перезвякивают буфера. Состав трогается. У девчат на глазах слезы. А Филипп высунулся из теплушки, еще выше заломив на затылок папаху.

— Девушки, не дрейфь, на нас вся Ресефесерия смотрит! — А сам глядит на нее на одну.— Вернемся! Ждите!..

— Нет, любили мы не хуже вашего,— говорит Ксения Степановна и растроганно смотрит на кипящую вокруг молодежь, безуспешно стараясь угадать, кто же тут демагог, кто дезорганизатор, кто из них собирается «валить» комсомольский комитет.

А где же дочка?.. Юноны нет. Ну конечно же, как это всегда бывает, не хватило пяти минут! Над чем-нибудь там хлопочет. В первый раз ведь отчитывается, не шуточное дело. Но вот и она. Влюбленными глазами следит мать за тем, как дочь уверенно подходит к столу. Раскрыла папку. Потрогала звонок. Стучит по нему ногтем, а сама смотрит в зал. И глаза, какие глаза! В кого только она такая уродилась?

— Всего в нашей организации триста десять комсомольцев, семьдесят человек в данный момент работают, шестеро отсутствуют по болезни, один — по неизвестным причинам, налицо двести тридцать три... Я полагаю, мы можем открыть собрание.

«Ишь как поднаторела!.. В ее годы мы, девчонки, коли выберут на собрании в президиум, сидим, бывало, ни живы ни мертвы, а она вон — прямо плывет... И самая пригожая из всех девчат. А докладывает как!.. Анна вон на что опытный человек, а и то теперь свои выступления пишет, а эта начала даже и без записочки». Вся охваченная материнской гордостью, Ксения Степановна не вдумывается в слова доклада. Только когда Юнона начинает рассказывать, как молодежь фабрики дружно отозвалась на славную гибель бывшего члена своего коллектива, Героя Советского Союза гвардии лейтенанта бронетанковых войск Марата Шаповалова, как развернулось в цехах движение шаповаловских бригад и какие у них успехи, прядильщица хмурится и опускает глаза: не надо бы так о брате! Но смутное чувство быстро проходит, мать вновь любуется дочкой, вспоминая сказанные когда-то Степаном Михай-

ловичем слова: ребятишки быстро растут во время болезни, а люди — во время войны. Приходит почему-то мысль: «Давно не были у стариков, как-то они там? А что, если с собрания, коли оно не затянется, завернуть к ним вместе с дочкой?» Но от домашней этой мысли ее отвлекает шумок, появившийся в зале. Ксения Степановна настораживается.

— А я считаю, что такая критика нездоровая критика, она служит не нашим целям,— многозначительно произносит Юнона.— Для настоящей постановки соревнования учет — главное. А учет — это цифры.

— А мы думали, что главное — люди! — насмешливо выкрикнул кто-то в зале.

Ксения Степановна нахмурилась и опустила глаза: нет, не следовало ей идти сегодня на это собрание!

— А тебя, Юнонка, еще и не так песочить надо! — кричит с места маленькая шустрая девушка, сердито тряся мелкими белыми, будто хлопковыми, кудряшками.

Она сидит рядом с Ксенией Степановной и возбужденно дышит ей прямо в ухо. Это как раз та самая, что выспрашивала ее о прежних комсомольских делах. Тогда она показалась Ксении Степановне милой и немножко смешной. Теперь лицо у нее недоброе, голосок звучит резко, задиристо.

— Когда я в ответ Гале и Зине из ткацкой начала с бригадой ровницу экономить, это Шаповаловой неинтересно было: не наша инициатива. «Выдумывайте свое, незачем нам за ткачами в хвосте тащиться». Так или не так? Юнонка, ты отвечай!

Теперь Ксения Степановна слушала внимательно. В словах «хлопковых кудряшек» был явный резон. Недаром ведь и партком прядильной осудил в свое время медлительность с распространением почина молодых ткачих.

— Чего ж ты с места кричишь? Ты запишись, чудачка, в прения,— шепнула она соседке.

— А чего она? Цифры, цифры! Этой показухе лишь бы самой на виду торчать, а до комсомольцев ей дела мало! — задорно ответила та, но, вспомнив, кому она это говорит, совсем по-детски смутилась: — Извиняюсь, тетя Ксеня, очень я нервная...

Наискосок от Ксении Степановны сидел инструктор райкома комсомола — смуглый, солидный, несколько полноватый юноша. Прядильщица вопросительно посмотрела

на него. Он старательно записывал в блокнот, и по лицу его нельзя было понять, что он думает о происходящем.

— Продолжаю доклад. Но поскольку вы сами ограничили мне время, прошу больше не мешать репликами,— солидно говорит Юнона.

И снова текут ровные, округлые, уверенные слова. Ксения Степановна подвинулась поближе к девушке со светлыми кудряшками:

— Ты, верно, к ней с этим почином ходила?

— А то как же, тетя Ксеня... Как утром радиу прослушала, так своим девчатам в общежитии говорю: «Девочки, это у ткачишек сто́ящее дело». И тут же принялись мы считать: а что у нас получится?.. Потом всю дорогу спорили и аж загорелись все. А Юнонка на нас холодной водой и еще нам в нос твои, тетя Ксеня, сквозные бригады ткнула... Вот, дескать, учитесь, как свою фабрику поднимать надо!

Председатель собрания постукивал по пуговке звонка, устремив взгляд на «хлопковые кудряшки», но те никак не могли успокоиться.

— Мы так расстроились тогда, тетя Ксень, ну, я тебе сказать не могу! — продолжала кудрявая жарким шепотом.— Да разве только это? Я б тебе еще сказала, да вон председатель психует.

Мать не на шутку взволновалась. Столько бед и забот обрушилось на нее за эти месяцы, что она как-то невольно отодвинулась от фабричной жизни. «Неужели дочь в самом деле так вела дела? Нет, нет, не может быть... Впрочем, у кого ошибок не бывает!» Все тревожней становилось у Ксении Степановны на душе. Доклад тем временем кончился. Закруглив его здравицами, вызвавшими дружные аплодисменты, Юнона складывала свои бумаги и, возбужденно улыбаясь, смотрела на мать: как, мол? Ксения Степановна кивнула ей. Кивок получился больше задумчивый, чем одобрительный.

Но если доклад дочери вселил в мать беспокойство, прения просто поразили ее. Никто не оспаривал данных отчета, но все, точно и в самом деле сговорившись, по-разному повторяли: в работе комитета нет души. Все есть: и политучеба, и соревнования, и в вечерних школах, несмотря на военное время, молодежь учится, и на курсах мастеров занимается,— а вот души, огонька, живинки нет.

Белобрысая соседка Ксении Степановны, получив слово, запальчиво кричала:

— Комитету нашему наплевать, что там молодежь думает, ему лишь бы сводку в райком вовремя послать, лишь бы фактики повкусней свои в «например» подкинуть!

— Верно! — кричали с места.— Чтобы галочку в отчет — проведено мероприятие.

Когда слово предоставили Федору Кошелеву, шум сразу стих. Вспомнив рассказы дочери, прядильщица подумала: «Ага, это и есть главный бузотер, он-то и будет «валить»!» На трибуну что-то долго никто не выходил, а в зале странно поскрипывало. Это, прихрамывая, медленно двигался по проходу высокий худой парень в выгоревшей, застиранной, но тщательно выутюженной солдатской гимнастерке, в синих военных шароварах. Ксения Степановна не без труда узнала в нем дружка Марата по боксерскому кружку, бывшего помощника мастера, вернувшегося с фронта без ноги и теперь работавшего в вооруженной охране фабрики. Не дойдя до трибуны, парень остановился и повернулся лицом к залу.

— В чем главное дело комсомольского комитета? — спросил он и сам тут же ответил: — По-моему, в том, чтобы знать, как молодежь живет, о чем думает, со всем плохим бороться, а как что хорошее — замечать, раздувать, чтобы оно костром разгоралось, чтобы всех зажигало и грело... Так я говорю, товарищи?.. Может быть, и не так, и тогда вы меня поправите. А пока продолжаю. А как было у нас? Вот молодежные социалистические договора.— Он поднял и потряс пачечкой аккуратно отпечатанных в типографии бумажек.— Шаповалова их соберет, подсчитает. Все комсомольцы соревнуются? Все. Хорошо! А если не все, если не хватает таких вот бумажек,— тревога. Охватить! Ей важно, чтобы не девяносто пять процентов, а все сто были. А прочитала она хотя один такой договор? Думаю, нет. Да чего его и читать? Все они одинаково напечатаны в типографии, только место оставлено для фамилии, имени, цеха да цифр... Разве это социалистический договор? Нет... Может быть, я опять неправ, и тогда вы меня поправите...

Так, задавая себе вопросы и сам отвечая на них, говорил Федор Кошелев. И Ксения Степановна, сама того не замечая, все с бо́льшим интересом прислушивалась к его словам, и когда председатель, сильно позвонив, показал ему на часы, она вместе со всеми как-то невольно крикнула: «Продолжить, пусть говорит!» Красные пятна шли по щекам Юноны, она что-то сердито шептала председа-

телю, тот разводил руками, кивал на собрание. Мать уже понимала, что этот безногий фронтовик вовсе не бузотер, что комитету давно бы надо к нему прислушаться. Так что же выходит? Этот мальчишка Ростик, изображая Юнону, понимал ее больше, чем она, ее мать, старая коммунистка? Тревога в душе Ксении Степановны перерастала в тоскливую боль.

А безногий парень все еще тряс пачкой аккуратных одинаковых бумажек.

— Как на фронте солдаты заявления в партию пишут? «Иду на смертный бой, если погибну, считайте коммунистом». Это вот документ. Он человека на подвиг ведет, он его в трудную минуту поддержит, он в простом парне героя разбудит... Так же и договор настоящий. А это?.. Вот вы все, ребята, эти бумажки подписывали, ну, а кто-нибудь хоть раз о них вспомнил? Ну?

Из зала послышалось: «Нет!» — потом аплодисменты, веселые, задорные. Ксения Степановна огляделась — все аплодируют. Только один инструктор писал и писал, не выражая никаких чувств, не отрывая глаз от блокнота. Она видела: дочь подавлена всем происходящим. Ей было жаль ее, страшно за себя, но она вовсе не досадовала на этих шумных, не лезущих за словом в карман ребят. И еще вспомнилось ей, как в год бурного размаха новаторских починов все на фабрике ходили словно бы даже под хмельком, как она сама однажды целый вечер, до ночи, пробродила по фабричному парку, думая, что бы это вложить свое, полезное во всесоюзную копилку инициативы. Договор свой писала Ксения Степановна дома, по многу раз переделывая каждую фразу. Потом читала Филиппу и снова переделывала. И весь он уместился на четвертушке бумаги. Но вот и теперь, столько уже лет спустя, она помнит наизусть каждое слово и даже помнит листок, который Марат вырвал для матери из своей тетрадки по математике.

Ну ладно, все эти ребята не бузотеры, они правы. Но почему они так сердиты на ее девочку? Разве та хотела дурного? Разве она не отдавала всю себя комсомольским делам? Может, зависть?

Вот теперь говорит высокий взлохмаченный парень — Рабов. Это сын того мастера, с которым до ночи за чашкой чая обмозговывала Ксения Степановна когда-то свое знаменитое предложение о сквозных бригадах. Старого Рабова нет в живых. Он погиб где-то под Москвой. А вот сын

говорит как отец, так же смешно разбрасывая руки и так же, как тот, густо пересыпая свою речь словом «товарищи».

— Я, товарищи, был, товарищи, у ребят из ситцевой. Как раз там, товарищи, тоже к отчету готовились. Так секретарь их Ганька Гаврюшкин от машины к машине с листом ходил и все ребят спрашивал, чем они в комсомольской работе недовольны... А Юнона наша, товарищи, вроде как вратарь, товарищи, на футбольном поле, у нее вся забота — критику в свои ворота не пропустить. Все мячи отбить, чтобы потом в протокол записать: выступало, мол, столько-то, и критика была острая, и собрание прошло единодушно и на высоком уровне. А потом на машинке отстукать — и в райком. Вот и выходит, что все мы тут для райкомовского архива кипим.— Он говорил и еще что-то, а потом вдруг неожиданно повернулся к Ксении Степановне: — У нас тут, товарищи, старая коммунистка Ксения Степановна Шаповалова, товарищи, сидит. Попросим, товарищи, ее сказать, что она тут о нас думает.

Собрание пришло в движение, зашумело и многими голосами загромыхало: «Просим, просим!» Белокурая девушка, сидевшая рядом с прядильщицей, жарко зашептала ей в ухо: «Ну, миленькая, ну, золотая, ну, смотрите, как все вас любят! Скажите чего-нибудь!» А из президиума с надеждой смотрела на нее Юнона. И прядильщица не выдержала, поднялась, подошла к трибуне, для чего-то надела очки, потом сняла и, держа их в руке, обратилась к притихшему собранию:

— Вот вы тут, ребята, бюро свое трясли. Дочку мою, Юнону Шаповалову, бранили.— Ксения Степановна вздохнула, и в помещении стало так тихо, что вздох этот услышали даже в последних рядах.— Ну что ж, по-моему, правильно... Стойте, чему тут аплодировать?.. И не только мою Юнону, а меня, Ксению Шаповалову, больше всех критиковать надо.

Сердитым жестом отмахнувшись от вновь вспыхнувших было аплодисментов, женщина продолжала:

— Почему? Сейчас скажу. Вот вы, когда бегаете, палку какую-то там друг другу передаете... Как она у вас называется?

— Эстафета! — ответило несколько голосов.

— Ну вот, эстафета, правильно... Так вот, должна была я эту самую эстафету ей передать. А выходит — не передала. Вот первая моя вина...

Мать сурово посмотрела на дочь. Та сидела, втянув в плечи свою красивую голову, будто на нее и впрямь сыпались невидимые удары.

— А перед тобой, дочка, я виновата, что не остерегла тебя вовремя.— Теперь тишина в зале была такая, что слышно стало, как тонко жужжат веретена, отделенные многими стенами. Ксении Степановне было не по себе. Ей казалось, что не только дочь, возлагавшая на нее все надежды, но и все эти ребята и девушки ждут от нее каких-то особых, важных, нужных слов, а ей нечего им сказать, кроме этих скороспелых, тут, на собрании, созревших мыслей.— Ну ничего, такая у нас страна: мать прозевает — люди ребенку попасть под колеса не дадут. Не знаю, что уж она тут вам в заключительном слове скажет,— это дело ее ума и ее совести,— а от меня вам за урок материнское спасибо!

Будто сбросив тяжелый груз, Ксения Степановна пошла было к выходу, но, что-то вспомнив, подняла руку, показывая, что хочет добавить. И опять слышно стало, как шумят веретена. Она подошла к Федору Кошелеву, что сидел на краю скамьи, выставив в проход неживую, негнущуюся ногу, опустила руку ему на плечо.

— Вот он вам тут говорил, как на фронте в партию заявления пишут. Очень хорошие это слова! Прав он: каждый договор, каждое обязательство человек должен в себе, как мать ребенка, выносить, тогда это будет сила.— И неожиданно закончила: — Была бы я, как вы, молода, была б на мне красная косынка, а в кармане комсомольский билет, назвала бы я в секретари этого вот фронтовичка!

Будто спорый весенний дождь забарабанил по крыше, и под веселый этот шум прядильщица стала пробираться к выходу, прямая, твердая, спокойная.

Собрание продолжалось. И никому из его участников, даже Юноне Шаповаловой, не могло прийти в голову, что пока здесь закруглялись прения, принималась резолюция, обсуждались и голосовались кандидаты в комсомольский комитет, в пустой комнате терема-теремка, не зажигая света, в темноте, неподвижная и будто неживая, сидит пожилая, усталая женщина, сидит и с тоскою думает о том, что вот она, мать, долгое время своей беззаветной, слепой любовью, сама того не замечая, вредила своей дочери, портила ее, свою девочку, которую она любит больше всего на свете.

В полдень Анне позвонил секретарь парткома ситцевой фабрики. Это был фронтовик, донашивавший еще военное обмундирование и заправлявший пустой рукав за пояс гимнастерки.

— Так вот, товарищ начальник, докладываю,— весело сказал он в трубку,— в двенадцать ноль-ноль к вам прибудет наша депутация. Координаты у вас прежние? Ну, так ждите. У меня все.

— А у меня не все. Может быть, все-таки объяснишь, что за таинственная депутация?

— По роду оружия огородники. Лоскутники, как вы их изволите называть. У них вчера до самых звезд прения на огороде были. Вынесено решение, и его несут к вам. Люди, между прочим, лично вам известные...

Через полчаса в партком ткацкой входил Степан Михайлович со своим давним приятелем Гонком. Увидев на отце длиннополый, еще мирного времени шевиотовый пиджак, похожий на сюртук замоскворецкого купца из пьесы Островского, галстук из тех, какие не завязывают, а пристегивают с помощью хомутика, Анна поняла, что привело их дело торжественное и необычайное.

— Какой ты сегодня, батя, шикарный! — сказал она, пряча улыбку.— Да вы, товарищи, садитесь, садитесь! — И она придвинула им стулья.

Но старики не сели. Степан Михайлович не торопясь развертывал что-то, тщательно запеленутое в газету. Оказалось, что это огромная, стиснутая с полюсов репа с веселым мышиным хвостиком и густой зеленой ботвой.

— Ткачи, как известно, были застрельщиками огородов, вот вам, Анна Степановна, скромный подарок от ситцевиков,— произнес отец, обращаясь к дочери на «вы».

— Да, репка-с! — подхватил Гонок.— И просим обратить внимание, какая-с! Ваши ткацкие дамочки изволят нас обзывать лоскутниками. Хорошо-с, пусть. Но хотим посмотреть, что вы положите рядом с таким корнеплодом...

Анна рассмеялась. Прозвище «лоскутники» действительно оказалось живучим. Какой-то озорник додумался даже написать его мелом на вешках, выставленных на границе участков обеих фабрик. Но ведь не пришла бы эта столь торжественная депутация только для того, чтобы продолжить старый спор. Прикинув на руке увесистый подарок, Анна сказала:

— Это что же у вас, персональный уход за этой репой был установлен?

— Зачем же-с? У нас за каждой овощью такой уход-с...— начал было Гонок, впадая в обычный для себя скомороший тон, но Степан Михайлович остановил:

— Не трещи! Мы к вам, Анна Степановна, по делу. Вчера на собрании огородников ситцевой решено урожай с каждой третьей гряды пожертвовать раненым воинам того самого госпиталя, над которым вы шефствуете. И вот пожалуйте — письмо со всеми нашими подписями.

Старик протянул к спутнику руку, а тот торопливо разглаживал на колене жесткий, скручивавшийся лист.

— Вот-с.

— Правильно. И руку к нему приложило более полутысячи человек. Одно место, Анна Степановна, я позволю себе вам прочесть... м-м-м... вот оно: «...и решаем мы нашим урожаем с вами, товарищи воины, поделиться. Кушайте себе на здоровье этот подарок от рабочего класса глубокого тыла да поправляйтесь и набирайтесь сил для полного, окончательного разгрома проклятых гитлеровских оккупантов...» Просим вас, Анна Степановна, передать это вашим подшефным, и пусть в субботу к вечеру машину присылают с корзинами под раннюю овощь — лук порей, петрушечку, чесночок, укропец. Это мы к тому времени свеженькое соберем и в одно место сложим.

— От единоличников-с! — не без яда добавил Гонок.

— Стой, не треплись... И еще мы, Анна Степановна, вызываем ткачей на такое же дело: каждая третья гряда — раненым.

Анна молчала. Думала. Кто же не знал, с каким старанием хозяйничают соседи на своих лоскутках! Сама видела, как целыми семействами они возились около гряд. Посмеивались над ними ткачи: единоличники, каждая морковочка у них на счету! Да что там люди, собственная мать ее до сих пор не простила отцу это, как она выражалась, «клиньёвое одеяло»! И вот сейчас эти люди, действительно, должно быть, пересчитывавшие все морковки у себя на грядах, так щедро делятся урожаем с госпиталем! Это так взволновало Анну, что она даже слов подходящих не находила.

— Спасибо! Вот спасибо! Уж такое вам спасибо, что взяла бы вас да расцеловала.

Степан Михайлович был сам до слез растроган своей добротой и всем происходящим. Но Гонок не растерялся.

— Ловлю на слове-с,— заявил он, вытирая ладонью свой сморщенный ротик.— Эх, раньше-то, бывало, ваши ткацкие дамочки из-за меня в драку, а сейчас хоть на слове одну поймать!

Вытянув вперед губы трубочкой, он двинулся к Анне, и пришлось секретарю парткома выполнять столь опрометчиво данное обещание.

— Ах, Анна Степановна, только упокойничков так целуют!..— начал было Гонок, довольно облизываясь, но та уже не обращала на него внимания.

— Мне бы, батя, с тобой парой слов перекинуться.

— Ступай, Гонок, посиди в садике перед фабрикой. Миссия наша кончилась, а теперь тут семейное,— произнес старик, с беспокойством замечая, что дочь нервничает.

— Это можно... Адью-с!

Анна усадила отца, села против него и начала, ухватив за хвостик, вертеть перед собой репу. Старик отобрал у нее корнеплод и положил на стол.

— Это не тебе, это ткачам-огородникам подарок. Ну, так слушаю, дочка.

— Как вы, батя, до этого додумались?

— Да как? Просто... Я теперь в вечернюю работаю, так утром вчера навестил Прасковью. Тут им как раз обед разносить стали. Суп там из пши и поджарка из сушеной картошки с тушенкой «второй фронт». Так вроде много, калорий-то, наверное, хватает, а уж больно некрасивый вид у этих калорий. А тут у меня свежая чесночина в кармане. Ну, я Пане зубок в миску и покрошил. Дух-то чесночный как по палате ударит! Тут все закричали: «Нет ли, дядя, еще?» Ан есть, племяннички, кушайте на здоровье! А как уходил, все и ходатайствуют: «Вы б нам, дядя, чесночку, любые деньги заплатим...» Деньги! А где ты его теперь купишь? Ну, я из госпиталя прямо к огородникам: «Слушайте, люди, так и так...» Вот и вся премудрость.

— И все без возражений?

— Да шумели много, а возражений — какие тут могут быть возражения? Уж на что вон Гонок, сроду папирос не покупал, все стреляет, а ведь это он вчера и закричал: «Для раненых каждую третью гряду!»

— Ну-ну!.. А Прасковья как?

— Лучше. Колька-то три дня возле ее койки высидел. Повеселела. Храбрится. А как Николай прощался, при всей палате ревмя ревела.

— Как, разве Николай уже улетел?

— А ты не знаешь? Утром... Наказал нам всем Прасковью не забывать. Да чего и наказывать-то? Наша матка теперь к ней каждый вечер бегает, и дома все — Паня да Паня... Вот, дочка, у кого учись ошибки-то признавать!

В этих словах отца Анне почудился намек.

— Многому мне, батя, у мамаши учиться надо.

И как-то сразу, без колебаний, без стеснительности, столь тягостной для самолюбивых натур, Анна принялась рассказывать отцу о том, что последнее время ее гнетет, мучает, мешает работе. Степан Михайлович слушал задумчиво. Он не интересовался подробностями, он даже и глаз ни разу не поднял на дочь, пока она говорила, и все-таки та чувствовала: он ее понимает.

Кто-то заглядывал в партком, но она говорила: «Простите, занята». Кто-то звонил по телефону, но она поднимала трубку и клала на место... Когда, разговаривая с матерью, Анна сказала, что решила уйти с партийной работы, а может быть и с фабрики, это было полуправдой. Так думала она вгорячах, а поостыв, начала понимать, как трудно расстаться с делом, которое нравится ей все больше, с коллективом, в котором она провела всю сознательную жизнь... И в то же время она уже понимала, что безобразная выходка истеричной женщины была все-таки не случайной. За эти недели Лужников заметно осунулся. Частенько ловила Анна на себе его тоскливый, умоляющий взгляд и, к ужасу своему, чувствовала, что и сама, вопреки доводам разума, тянется к этому человеку. Теперь она к нему даже и близко не подходила. Когда дела сталкивали их, вела себя так сухо и насмешливо, что тот и слова лишнего сказать не смел. Но нелегко давались ей эти сухость и насмешливость. Вести же себя с ним иначе она не могла и, казалось, не имела права. И все-таки слухи по фабрике ползли и ползли, безжалостные, несправедливые. Это отвлекало от работы, вязало Анну по рукам и ногам...

— А жену-то он свою любит? — спросил вдруг Степан Михайлович, прервав сбивчивый рассказ дочери.

— Жену? — Анна ошеломленно посмотрела на отца.— А какое это имеет значение, батя?

— Большое, Анна, большое.

— Я не знаю... Мне некогда... Я...— Анна не понимала, почему она так взволновалась, почему простой и естественный этот вопрос так потряс ее, и в то же время она отдала

себе отчет, что все это время подсознательно думает над этим.— Он сказал как-то: «С ней мне тяжко», но и без нее, мол, ему не жизнь...— И вдруг с внезапно вырвавшейся тоской дочь спросила: — Батя, что же мне делать?..

Степан Михайлович, торжественный и немножко смешной в шевиотовом своем пиджаке и старомодном галстуке, встал, потрогал дверь и, убедившись, что она плотно закрыта, начал:

— Древний мудрец Диоген жил в бочке. Друзья однажды спросили его: «А что ты будешь делать, когда сломается бочка, в которой ты живешь?» И знаешь, что он им, дочка, ответил? Он сказал: «Я не печалюсь, ведь место, которое я занимаю, сломаться не может».

Анна грустно усмехнулась.

— Это как же понимать, батя?

— А просто, дочка: не вешай носа. Свое место в жизни правильный человек всегда займет. И на ткачих своих не сердись. Легко ли им нынче на фабрике за двоих — за себя и за мужа — гнуться? Кило хлеба на шесть частей резать, семью в одиночку тащить?.. Вот и строги нынче бабы, не при матке твоей будь это слово сказано.

— А я разве не баба? Разве не те же тяготы и у меня?

— Ты вожак, к тебе народ особо строг.— И, берясь за свою старую шляпу, Степан Михайлович произнес: — Мой совет тебе, Анна Степановна: заявляй самоотвод. Вдвойне тебя люди за то уважать станут.— И, может быть, для того, чтобы подчеркнуть, что он не навязывает этого своего мнения, а может быть, и просто торопясь закончить тягостный разговор, старик сказал: — Давно Арсения что-то не видел... Как там у него дела? Как два отца мальчишку поделили?

И вдруг, почувствовав облегчение, Анна улыбнулась широко, весело, как не улыбалась уже давно.

— Николай им тут все уладил, знаешь ведь какой он... Они стоят друг против дружки, мальчонка между ними мечется, а этот как вдруг захохочет: «Нашли, бобыли, о чем спорить! Кончится война — живите вместе». И малец как закричит: «Вместе, вместе!..» Вчера вечером Арсений с Ростиком майора на вокзал провожали. Вот, батя, кому завидую — Николаю нашему: легко он по жизни ходит...

— Да, это качество ценное,— вздохнул старик.

Прощаясь с отцом у дверей, Анна задержала его руку.

— Спасибо... Ах ты, Диоген Диогенович мой!..

До сих пор почта приносила Галке одни только радости: то письмо от матери, полное ласки и забот, то от Жени, коротенькое и всегда страшно интересное, то треугольничек от жениха. И множество хороших писем от разных незнакомых ей советских людей.

И вот эта самая добрая почта нанесла Галке Мюллер два страшных удара, один за другим. Последние недели Галка и Зина ездили по фабрикам страны, передавали свой опыт. Чудно было девушкам из полуразрушенного Верхневолжска, страшные раны которого еще только начинали затягиваться, попадать в города, которые стояли как ни в чем не бывало и даже позволяли себе роскошь по вечерам освещать улицы. Подружки вернулись домой полные впечатлений, повзрослевшие и соскучившиеся по своей фабрике. В тот же вечер Галка, напевая, принялась перебирать письма, скопившиеся за ее отсутствие и кучкой сложенные на ее узенькой кроватке. Найдя среди них письмо от матери, она вскрикнула от радости и тут же вскрыла его. Но в следующее мгновение девушка уже лежала, уткнувшись в подушку, содрогаясь от рыданий.

Несколько раз удавалось ей взять себя в руки, но стоило только представить, что Белочки нет в живых, как она снова зарывалась лицом в подушку и еще горше плакала, вцепившись зубами в наволочку. Стариков не было дома, некому было даже рассказать страшную весть. Галка маялась одна, и прошло немало времени, пока она сумела прочитать письмо матери с начала до конца. «Теперь, доченька, осталось нас двое. Мы всегда будем гордиться папой и Женей, будем стараться быть достойными их. Береги себя, пиши чаще маме, которая сейчас больше, чем когда-либо, грустит по своей далекой Галочке... У меня тут прекрасные товарищи. Все они в эти дни около меня, но маленькое письмо от тебя мне сейчас нужнее, чем сочувствие всех людей...»

Вот уже третий раз в этом году посещала смерть семью Калининых. От новой страшной вести Варвара Алексеевна, казалось, как-то сразу стала ниже ростом и высохла. Степан Михайлович скрылся у себя за занавеской. Оттуда слышались только его хрипловатые вздохи. А внучка с каким-то новым, совсем не свойственным ей раньше мужеством вдруг уселась к столу и единым духом написала ответ матери. Потом сбегала «на угол», бросила письмо в

ящик и, вернувшись, принялась разбирать остальные. Вдруг снова послышался ее вскрик.

Бабушка и дед тотчас же оказались возле. Со страхом глядели они на нее. Что же еще могло случиться? Лицо у девушки так побледнело, что стали отчетливо видны на переносице медные веснушки, обычно почти незаметные на ее смуглой коже. Расширенными от ужаса глазами она смотрела на лежавшую перед ней бумагу.

— Что?.. Что, милая? — спрашивал дед, с трудом выговаривая слова.

— Лебедев...

— Что Лебедев?..

— Убит... Вот товарищи его пишут...

Девушка протянула письмо. Теперь, казалось, совершенно спокойная сидела она у стола над ворохом конвертов, и старики даже переглянулись. Им обоим показалось, что за это короткое время веселая Галка вдруг чем-то неуловимым стала похожа на сестру. Лицо серьезно, глаза сухи, на осунувшихся щеках обозначились две тоненькие, скорбные, будто иголкой процарапанные морщинки. Это была какая-то новая, незнакомая Галка, которую и Галкой-то неудобно было назвать.

— Да поплачь ты, что ли! — жалобным голосом попросила Варвара Алексеевна, у которой запавшие глаза тоже были сухи.— Разве их воскресишь?

— Слезой горе исходит...— вздохнул дед. Его так трясло, что было страшно глядеть.

— Ну вот вы и плачьте! — неожиданно жестко ответила девушка и принялась перечитывать письмо, в котором сообщались обстоятельства гибели разведчика Лебедева.

Группа, отправившаяся в поиск за линию фронта, на ничейной земле натолкнулась на такую же группу противника. Лебедев с автоматом залег в канавке прикрывать отход товарищей. Когда ночью разведчикам удалось отыскать его тело, оно оказалось все исколотым каким-то холодным оружием.

Отбросив письмо, девушка закричала, бешено сверкая глазами:

— Звери, изверги! Их бить, бить, бить надо! — И, смотря куда-то мимо пораженных, прижавшихся друг к другу стариков, произнесла сквозь зубы: — Ладно, посмотрим! Я знаю, что мне делать.

Потом, ничего более не прибавив, она ушла.

— Наверное, к Анне побежала,— предположил дед, ко-

гда в коридоре стихли торопливые шаги.— Как это сразу, одно за другим! Ну, пусть проветрится, бедная...

— Нет, не к Анне она пошла,— проговорила Варвара Алексеевна и вдруг заплакала тоненько, жалобно, совсем по-старушечьи.

24

Решив про себя, что на перевыборах она заявит самоотвод, Анна сразу успокоилась. Очень тяжело расставаться с делом как раз тогда, когда ты его начал по-настоящему постигать, полюбил. Но именно потому, что теперь она знала и любила партийную работу, ей казалось, что не может она оставаться секретарем. С тем и пришла она к Северьянову вечером, когда в райкоме почти никого уже и не было. Самым трудным было рассказать тягостные для самолюбивого человека и особенно тягостные для женщины причины, породившие ее решение. Но едва, пряча глаза, безжалостно терзая носовой платок, Анна завела об этом речь, как Северьянов остановил ее:

— Не надо, Анка, все знаю.

— Да откуда? — воскликнула она, пораженная дружеской ласковостью тона, столь необыкновенной для этого насмешливого человека.

— И зачем ты пришла, знаю.— Северьянов вышел из-за стола, сел на диван, хлопнул рукой по сиденью.— Седай.— И когда Анна пересела с кресла на диван, он продолжал: — Только лучше разговор этот не начинай. Не надо. Все равно мы тебя с партийной работы не отпустим.

Анна вскочила.

— То есть как это «не отпустим»? Что же я, не свободный человек?

— Ты коммунист, а коммунисты подчиняются решениям партии... Нет, ты не бегай по комнате и не затирай бузу! — продолжал Северьянов, меняя тон и как бы снова становясь комсомольцем Серегой. Он знал слабую струнку секретаря парткома ткацкой и снова хотел атаковать ее из комсомольского прошлого, которое им обоим было одинаково дорого.— Ты ж дивчина на ять! Тебе ли отступать перед сумасшедшей бабой, перед скверной сплетней?

По улице сожженной слободы шел гармонист. Наигрывал он что-то незатейливое, но смягченная расстоянием мелодия долетала до ушей Анны будто из юности. Вспо-

мнился и молодежный Ленинский клуб, и глубокомысленные дискуссии на тему «Будет ли семья при коммунизме?», и танцульки, и жаркие споры о том, есть ли жизнь на Марсе. А этот сидящий с ней рядом полный, солидный человек вспоминался разухабистым пареньком-шутником, балагуром, выдумщиком всяческих затейливых комсомольских «мероприятий». И смотрел он на нее сейчас, близоруко щуря веселые, озорные глаза, глаза слесарька с механического, с которым у нее была старая, почти мальчишеская дружба.

— Дела у тебя, Анка, идут как из пушки. Тебе ль из-за этой чепуховины руки опускать?

Но сегодня воспоминания юности только усилили в Анне смятение, недовольство собой, тоску, только укрепили ее решение.

— Не надо, Сережа... Я все обдумала,— тихо произнесла она, поднимаясь, и пошла к двери.

— Так будем считать, что отставка не принята,— услышала она вслед.— Договорились?

Она остановилась в дверях, оглянулась и отрицательно качнула головой.

«Нет, не договорились мы с тобою на этот раз, брат Серега!» — думала Анна, вспоминая эту встречу, пока слесаревская машина везла ее на следующий день в горком. На прием к первому секретарю она ехала уже со спокойной душой и потому с интересом смотрела на город, пробегавший за стеклами машины. Давно ли по этим вот улицам ходили немецкие солдаты? Теперь здесь глубокий тыл. Черные пожарища разобраны. Зияющие окна в выгоревших коробках каменных домов заложены кирпичом, и кирпичи уже побелены под цвет стен. Зеленеют деревья. Только на газонах вместо цветов картошка.

В горкоме тоже все выглядело как в мирные времена. Обычно одетые люди — партийные работники, хозяйственники, интеллигенты,— сидевшие в приемной, беседовали об обычных делах: план, качество, слабина с кадрами, нехватка жилья, подготовка к учебному году. За окном, на пыльном дворе, залитом жарким солнцем, длинноногие девочки в коротких пестрых платьицах играли в «классики», и звонкие голоса доносились до приемной, как щебет птиц.

Анна сидела в уголке, дожидаясь своей очереди, и, рассеянно прислушиваясь к разговорам, думала о том, как-то начальство встретит ее просьбу. Прошел уже и начальник

гортопа, явившийся сюда жаловаться, что военные до сих пор не разминировали до конца поля на торфоразработках, и заведующий горкоммунхозом, приходивший объяснить, почему не восстановлена трамвайная линия до машиностроительного завода. В приемной осталась лишь Анна да два каких-то молодых человека, все время шептавшихся и бросавших взгляды на пригожего секретаря парткома.

Наконец пригласили ее. Покашливая и улыбаясь, секретарь горкома шел ей навстречу.

— А, ткацкая «Большевички»! Ну что ж, садитесь, Анна Степановна, только предупреждаю: времени у нас мало, постараемся его получше использовать.

Он опять, как когда-то при первом знакомстве, показал ей на кресло, сам сел напротив, снял пенсне, дохнул на стекла, принялся их протирать, и глаза его, лишившись привычной защиты, сделались, как и в тот раз, детски беспомощными. «С чего бы это половчее начать?» — мучилась Анна.

— Бежать собрались? — услышала она вдруг.

Надев пенсне, секретарь горкома испытующе смотрел на нее, похрустывая суставами пальцев. И снова напомнил он Анне покойного учителя математики.

— Вам приходилось, Анна Степановна, бывать в Крыму? Нет? Ну так вот, там есть такой цветок, как его ботаническое название, не знаю, но все зовут «не тронь меня». Не слыхали? Прикоснешься рукой — он опускает листья. Вы что же, ему подражаете? — И вдруг сказал решительно: — Нет, с партийной работы вас не отпустим, и разговора не начинайте!

Вот как! Оказывается, человек этот все уже знал, и не только о ее решении, о котором она беседовала с Северьяновым, но и о разговоре с отцом. А ведь она о нем никому не говорила!

— А хорошая у вас мать,— неожиданно сказал собеседник,— но слишком уж к себе и вообще к Калининым строга.

Сказав это, секретарь горкома озабоченно посмотрел на карманные часы, вправленные в большой кожаный браслет.

— Ого! Через полчаса мне надо быть у машиностроителей. Вы слышали, они в подарок Красной Армии построили санитарный поезд. Прекрасный. Чудесно оборудовали!.. Знаете что? Давайте вместе съездим, посмот-

рим, по дороге обо всем и поговорим, а потом отвезу вас домой.

Уже сидя в машине, он говорил, что со временем из Анны выйдет отличный партийный работник. Если стать поуравновешенней да получить политическое образование, перед ней откроется большой путь. Хорошо бы, конечно, поехать в Высшую партийную школу, но, увы, время военное и такого — Северьянов подчеркнул слово «такого» — работника отпускать сейчас на учебу нерасчетливо, просто нельзя.

— У вас двое детей? — спросил он неожиданно.

— Да,— негромко подтвердила Анна, вопросительно глядя на собеседника.

Она хотела спросить, почему это его интересует, но не успела. Машина, свернув с проспекта, миновала несколько улиц поселка машиностроителей и уже подъезжала к запасным заводским путям. Сквозь редкую зелень чахлых, закоптелых берез стал виден длинный, зеленый, новенький, с иголочки, поезд. На крышах и на стенах вагонов рдели красные кресты. Какие-то люди, стоявшие возле вагонов, уже двинулись навстречу машине. В суете приветствий, казалось, все позабыли об Анне. Однако, когда хозяева подвели гостя осматривать поезд, секретарь заводского парткома, сам местный инженер, оказался возле нее:

— Ну, а вы, коллега, что стоите сиротой? Хорош, а? То-то! Лезем внутрь — то ли еще увидите!..

Поезд и впрямь был хорош. Кто-то из конструкторов давал пояснения: вагоны для полостных раненых... для обожженных... вагон-штаб... операционная... перевязочная... аптека... электростанция. Анна не слушала. Для нее все это сверкавшее никелем, блещущее белизной великолепие как бы сливалось воедино. Но когда осматривали какой-то особый вагон с мудреным названием, лишенный перегородок, с койками в три этажа, подвешенными к потолку на пружинах, она не утерпела и прилегла на одну из них, вызвав общее оживление. Пружины бережно приняли ее в свои объятия, легко поддерживая со всех сторон.

— Ну как, коллега?

— Здорово! — только и ответила Анна.

Вышла она задумчивая и, пока секретарь горкома поздравлял конструкторов и строителей, стояла в сторонке, не принимая участия в разговоре.

— Нравится? — спросил ее секретарь горкома, когда они шли к машине.

— Ну, еще бы!

Анна посматривала на своего спутника с некоторой даже обидой: на ее просьбу он так и не ответил. Забыл, что ли? А тот озабоченно рассказывал ей, что теперь городской парторганизации предстоит укомплектовать этот поезд отличными кадрами. Нужны врачи, сестры, санитарки, сиделки, электрики, истопники, проводники, машинисты... Целая больница на колесах.

— Жалко, что я не врач! — как-то неожиданно вырвалось у Анны.

Секретарь горкома испытующе взглянул на нее. Он точно бы ждал этих ее слов.

— А вы бы поехали?

— Я? Да хоть сиделкой. В начале войны, когда ополчение формировалось, просилась. Не взяли — солдатка.

— А дети?

— Дети? Да, дети, конечно... но ведь война! Сколько людей от детей на фронт ушло!.. Я бы своих к старикам определила, старики у меня хорошие...

Неожиданная мысль идти на фронт постепенно захватывала Анну. Секретарь горкома искоса следил, как ее живое, цветущее лицо загорается энергией, как сразу засветились черные, в светлых ресницах глаза.

— В поезде еще и комиссар нужен,— сказал он, покашливая и искоса смотря на нее.— Крепкий, мужественный большевик... Что бы вы сказали, если б бюро рекомендовало вас в комиссары поезда?

— Меня комиссаром?!

Анна с удивлением смотрела на собеседника. Несмотря на теплый вечер, он сидел, подняв воротник плаща, сунув руки в рукава, худой, озябший.

— Мы тут многих перебрали. И о вас была речь... Знаете, вы очень подходящий кандидат.

— В комиссары? — Анна еще раз медленно произнесла это слово, будто прислушиваясь к его звучанию.

С детских лет понятие «комиссар» было окружено в семье ореолом романтики... Анна Калинина — комиссар... Но ведь это значило оторваться от детей, уехать из Верхневолжска! Это в разговоре легко обронить: «А детей к старикам». Ребята спать не ложатся, пока она не придет. Лена так и называет себя маминой подружкой. А Вовка — он ведь только рослый, а так совсем еще глупыш. Они остались без отца. Смеет ли она теперь лишать их матери? Конечно, старики не откажут, но разве кто-нибудь за-

менит мать?.. Комиссар Анна Калинина!.. Огромная это ответственность. Но за месяцы секретарства она кое-чему научилась. И большая радость от сознания, что горком пренебрег сплетнями и доверяет ей такую работу, и маленькая радость оттого, что отъезд на фронт разом перерубил бы все узлы, и тревога за детей, и волнение перед новой, почетной, незнакомой работой — все это смешалось. Взволнованная, женщина не знала, что ей ответить. Но ее и не торопили.

— Видите, как оживает город? — сказал секретарь горкома. Он опустил боковое стекло — ветер дул ему в лицо, трепал выбивавшиеся из-под высокой фуражки седеющие пряди, заставлял его все время придерживать пальцами пенсне. Вдруг он крикнул шоферу: — Стой!

Пискнув тормозами, «эмка» остановилась у развороченной трамвайной линии. У места работ никого не было. Женщины, отложив лопаты, кирки, ломы, сидели в сторонке на тротуаре, в тени лип. Некоторые дремали, опустив на глаза пестрые платки.

— За чем остановка? — спросил секретарь горкома.

— Из-за сварочных аппаратов, товарищ начальник,— пояснил подбежавший к машине низенький загорелый человечек с битком набитой полевой сумкой, болтавшейся у него сбоку на длинном ремне.

— Вот что, придется мне здесь остаться,— решил секретарь горкома.— Опять горкомхоз очки втирает... Ну, я до него доберусь! — И приказал шоферу: — Ты отвезешь Анну Степановну, куда ей нужно, а через час подберешь меня.

Анна всполошилась:

— А как же?..

— Думайте хорошенько. Такие вопросы на ходу не решают. Поговорите с родными, с Варварой Алексеевной обязательно посоветуйтесь... Кстати, передавайте ей от меня поклон и спасибо, большое спасибо! Она знает, за что...

И вот уже он шагал через горы разворошенной земли на своих журавлиных ногах, сопровождаемый испуганно семенившим за ним загорелым человечком, направляясь к женщинам, что лежали в тени деревьев на теплом асфальте и теперь поднимались, отряхиваясь, вскакивали на ноги.

— Ну, даст он теперь коммунхозу прикурить! — улыбнулся шофер и спросил: — Куда везти?..

— На «Большевичку». Двадцать вторую спальню знаете?..

В знакомую дверь Анна стучала почему-то нерешительно.

— Войдите,— отозвался женский голос, показавшийся ей одновременно и знакомым, и незнакомым.

На «батиной» половине никого не было. Но розовая занавеска с пышными пионами раздвинулась, и из-за нее показалась невысокая фигурка в военном.

— Галка? — вопросительно произнесла Анна, не узнав в первый момент младшую племянницу.

— Так точно, курсант школы снайперов, рядовой Галина Мюллер! — вытягиваясь по всем правилам, отрапортовала та.

— Как так? Когда?

Анна даже обошла вокруг племянницы, осматривая ее. Уж очень не походил этот маленький, подтянутый, смуглый курсант на шуструю девушку, которую фабрика звала Галкой, на Галку-выдумщицу, Галку-крикунью, Галку — любительницу попеть и поплясать. Кудри свои она подстригла «под мальчишку». Лицо вытянулось, похудело. Серые глаза смотрели уже совсем по-взрослому. Даже нос, который был, разумеется, по-прежнему вздернут, не казался таким легкомысленным и вызывающим.

— Как ты надумала?

— Война, тетя Анна, уж надо воевать...

— Ну, а старики? Согласились?

— Дед — ничего, только плачет, а уж с бабушкой беда,— как-то по-новому, скупо улыбаясь, ответила девушка,— бабушка все бранит: и анархистка-то я, и скандалистка-то я, и дезорганизатор-то я... Ой, уж что только было! «Пойду, говорит, к вашему комиссару, скажу: ты летун, с производства, от работы удрала, чтобы из-под пушек гонять лягушек».

— А ты?

Анна все еще никак не могла свыкнуться, что вместо смешной, милой, неунывающей, энергичной девушки перед ней стоит взрослый, серьезный человек.

— А я уж что ж, я уж стою насмерть: не маленькая, паспорт-то, вот он — в кармане. Решила — и уйду. Кто уж мне запретит?

Видно было, что с теткой, которая ее не бранила и не разубеждала, девушка отводила душу. А в Анне боролись два чувства. Поступок племянницы вызывал уважение,

даже обрадовал ее. И в то же время она думала о сестре Татьяне, о вдове, у которой на руках при столь трагических обстоятельствах только что погибла старшая дочь. Женя как живая виделась ей на фоне розового занавеса, стояла и, опираясь на палочку, смотрела на тетку синими, чистыми, твердыми глазами, как в то давнее утро, когда Анна вгорячах так тяжко обидела ее. И думалось: вмешайся она активно в судьбу племянницы, та, может быть, и не ушла бы на фронт, не было бы этого страшного письма, этой новой беды, потрясшей всю семью... Женю не воскресишь, и вот Галка... Может ли, смеет ли Анна, мать двух детей, находящихся тут, в безопасности, одобрить племянницу, не попытавшись даже отговорить? И в то же время имеет ли она право отговорить ее от того, к чему, как секретарь парткома, она поощрила бы любую другую девушку?

— Ты хоть с матерью-то посоветовалась? — растерянно спросила Анна.

— А я ей письмо послала. Я ей так уж и написала: покою мне не будет, если я тут, в глубоком тылу, останусь торчать. Тетю Машу они утопили, Марата сожгли, Белочку застрелили, Илюшу закололи и все еще по нашей земле бродят. Ну, нет, я им буду мстить!.. И не из-под пушек гонять лягушек,— я ворошиловский стрелок. Инструктор сказал, что у меня рука мужская, крепкая.

Невольно любуясь новым обликом племянницы, Анна думала о своем будущем объяснении со стариками, зная наперед, что и ей предстоит нелегкий разговор.

25

Все эти последние дни были так уплотнены, так полны новых, необычных, сложных дел, что Анна... впрочем, нет, уже не Анна, а старший политрук Анна Калинина... в конце дня с трудом поднималась к себе в терем-теремок с единственным желанием поскорее уснуть. Но, добравшись до кровати, не могла сомкнуть глаз. Зеленый, с красными крестами поезд так и стоял перед глазами, мелькали лица врачей, сестер, технического персонала. И хотя он, этот поезд, не сделал еще ни одного километра, Анна уже успела, по меткому выражению паровозного машиниста, «прикипеть к нему сердцем». И столько уже было забот у комиссара, столько нерешенных вопросов, столько еще не

узнанного, не изученного, что по ночам Анна ворочалась, вздыхала, тщетно призывая заблудившийся где-то сон.

Комиссар! Очень нелегко эту должность, оказывается, исполнять, даже если ты и имеешь уже кое-какой опыт партийной работы! Получив пахнущую интендантским складом форму, Анна целую ночь просидела над принесённой отцом старенькой швейной машинкой, ушивая, припуская, переставляя пуговицы,— словом, пригоняя все это «по костям». К утру темная юбка и гимнастерка, туго перехваченная широким офицерским ремнем, и заново переглаженная пилотка сидели «как влитые». К рукавам плаща и гимнастерки были пришиты красные комиссарские звезды.

Анна погляделась в зеркало и осталась довольна. Новоиспеченный комиссар считал, что должен являть собою образец военного вида, тем более что на большинстве подчиненных форма сидела «как на корове седло».

Но одно дело — пригнать военную форму, а другое — врасти в новую среду. И комиссар скоро понял, что дело не во внешних атрибутах военной жизни, а в том, какие установятся отношения с подчиненными и как он сумеет поладить с теми, с кем ему придется кочевать по фронтовым дорогам.

Опустошая для поезда запасные фонды городских библиотек, добывая кинопередвижку, с невероятными трудностями «выколачивая» по частям детали для радиоузла, Анна успела похлопотать в депо о внеочередном ремонте квартиры отправлявшегося с поездом машиниста, помогла перевязочной сестре выписать из Алма-Аты к старушке матери старшую дочь, которая могла заменить уходящую на фронт, добилась, чтобы детей женщины-врача еще до ее отъезда определили в лучший детский дом. «Товарищ комиссар... Товарищ комиссар... Товарищ комиссар...» — слышалось со всех сторон, и Анна Калинина, даже если она и была в эту минуту занята или озабочена чем-нибудь другим, оборачивалась на зов точно с такою же внимательной улыбкой, какая отличала Николая Ивановича Ветрова, этого «человека для людей».

Анна чувствовала, как в трудные для персонала минуты, когда врачам, сестрам, машинистам предстояло, будто листьям осенью, оторваться от дерева, от привычной жизни, и нестись в неведомые дали, все они, даже начальник поезда — старый городской врач из выучеников Влад им Владимыча,— тянутся к ней, что ее уже связывает с

ними множество нитей. Иногда в голове мелькало: вот если бы сейчас вернуться в партком «Большевички», как бы развернула она работу, скольких бы ошибок избежала! Но «Большевичка» была уже где-то в стороне от ее жизни, и о ней она думала только в прошедшем времени.

Еще до того, как объявили о ее новом назначении, слух о том, что Анна Калинина уезжает на фронт, как это частенько случалось, неведомыми путями, опережая события, просочился в цехи. Все сразу стали с ней как-то по-особому ласковы. Доклад партбюро на отчетно-выборном собрании слушался с необычайным вниманием. В прениях, что в общем-то было не принято, особенно подчеркивались заслуги секретаря. И когда перед выдвижением кандидатур в партком слово взял Северьянов и заявил, что райком, ценя хорошую работу Калининой, выдвинул ее кандидатуру на почетный и трудный пост комиссара построенного и укомплектованного верхневолжцами санитарного поезда, раздались было аплодисменты, но сразу как-то оборвались. Наступила грустная тишина, которая была очень красноречива.

С собрания Анна вышла в сопровождении толпы ткачих, взволнованная, растроганная. У двери в сторонке стоял Гордей Лужников. Издали смотрел он на Анну, явно стараясь остаться незамеченным. Но для этого он был слишком велик. Он возвышался над всеми. Не увидеть его было нельзя. Анна даже не увидела, а скорее почувствовала на себе его взгляд. Продолжая двигаться в провожавшей ее толпе женщин, она уже совсем прошла было мимо Лужникова, но вдруг решительно повернулась и направилась прямо к нему.

— Что ж, попрощаемся, Гордей Павлович! — решительно произнесла она, протягивая ему руку.

Те, кто шел с Анной и было остановился, когда она повернула, увидев, к кому она направляется, сразу же заспешили дальше. И вот теперь они стояли рядом, на глазах у коммунистов, расходившихся из Красного уголка.

— Анна Степановна! — только и вымолвил этот большой человек. Он умоляюще глядел на нее и тискал ее руку в своих огромных пухлых ладонях.— Анна Степановна! — повторил он, все еще не находя слов.— Разрешите, я вам... все напишу? Я вам писать буду, я...

— Не нужно, Гордей Павлович, не надо, родной, не выйдет у нас с вами... переписки,— тихо ответила Анна, и глаза ее стали печальными.

Она хотела что-то еще добавить, но рядом раздался резкий голос:

— Дочка, тебя люди ждут!

Незаметно подошедшая Варвара Алексеевна стояла рядом, строго смотря на Анну своими острыми черными глазами.

— Да, да... Прощайте, Гордей Павлович! — И, вырвав из теплых ладоней руку, Анна побежала догонять работниц, стайкой ожидавших ее у выхода.

Еще раз побывала Анна на фабрике, когда сдавала дела Настасье Нефедовой — новому секретарю. Гордея Лужникова тоже избрали в бюро. Он был здесь. Иногда она ловила на себе взгляды механика, но делала вид, что ничего не замечает. В военной форме она была подтянута, деловита и даже суховата, и никто даже и не подозревал, чего все это ей стоит... И вот теперь, проезжая утром на голенастом, похожем на кузнечика вездеходе мимо фабрики, Анна только вздыхала и, отводя взгляд, старалась думать о другом, о сегодняшнем...

Бои под Ржавой продолжались. Гитлеровская авиация частенько налетала теперь на Верхневолжск. Поэтому решено было поезд отправить без всякой помпезности. Ночью с заводских путей его перегнали на станцию, но не к пассажирскому вокзалу, а на грузовые пути. Из начальства на проводы прибыли лишь секретарь горкома да Северьянов и еще конструктор поезда, делегация рабочих, строивших его, да родственники уезжающих, которых оказалось совсем не много. В последнюю минуту комиссару было особенно хлопотно. Как это всегда бывает в таких случаях, выяснилось, что одно не доделано, другое не привезли, третье забыли. В вагонах звучало: «Товарищ комиссар», «Где товарищ комиссар?», «Не видели товарища комиссара?», «Боже мой, да куда же девался комиссар?».

Анна старалась поспеть туда и сюда, приказывала, отчитывала, усовещивала, советовала. Но при этом она все время косила глазами в окна на своих, стоявших отдельной группкой у ступенек штабного вагона. Отец в шевиотовом своем костюме, в галстуке-хомутке и старой, помятой шляпе. Мать в строгом шерстяном платье с головой, по фабричным обычаям повязанной пестрой косынкой. Лена и Вовка, притихшие, ошеломленные предстоящей разлукой, топтались подле стариков, а в сторонке стоял маленький плотный солдатик — Галина,— в пилотке, в кирзовых сапогах с такими широкими голенищами, что казалось, в любой

из них она могла бы сунуть обе ноги. Чинная неподвижность всех этих любимых людей как-то особенно больно отзывалась в сердце Анны.

Но комиссарский глаз не упустил из поля зрения и других провожающих. Он приметил, что маленькая старушка плачет на плече хирургической сестры, что машинист и электрик как-то уж слишком оживленно жестикулируют, что начальник поезда одиноко стоит от всех в стороне, что главного врача провожает красивая, разодетая дама с букетом цветов, но что при этом оба они стоят как чужие, скучая, смотрят в разные стороны. Все это и многое другое успел заметить комиссарский глаз. Это были люди. Это были характеры. Это были судьбы. И отныне судьбы этих и еще многих других людей будут близки ей, Анне Калининой.

— Ну что ж, комиссар, доброго пути! — сказал секретарь горкома, поднявшись в вагон и пожимая руку Анны.— Выше голову! У вас дело пойдет... А о своих не беспокойтесь, считайте, что они теперь наши.

Сергей Северьянов, тоже вошедший с ним, был совсем необычен. Его розовое, с блеклыми веснушками лицо имело не свойственное этому ироническому человеку выражение — тревожное, взволнованное, ласковое. Но в последнюю минуту он ухитрился все это спрятать и, посмеиваясь, посматривал на Анну.

— Вы поглядите только на этого военного товарища! Гитлер со страху поседеет, узнав, какие теперь в Красной Армии роскошные комиссары. Только одно ему теперь и остается — хенде хох и идти к нам дороги чинить... Чу! — Паровоз длинно, протяжно засвистел.— Анка, марш к своим! Скоро трогаетесь...

Анна соскочила с подножки, прижала к себе детей и замерла, позабыв все на свете. Так и застыла, обняв их, и казалось, ничто не в силах оторвать ее от Лены и Вовки.

— Дочка, дочка! — тряс ее за плечи Степан Михайлович.— Второй раз свистят...

В самом деле — состав уже перезвякивал буферами. В последний раз прижав к себе ребят, крепко поцеловала в щеку дочь, куда-то в маковку сына и, оттолкнув его, бросилась к штабному вагону. Чьи-то руки втянули ее в движущийся вагон.

Анна опустилась на ступеньки, не в силах оторвать взгляда от удалявшейся группы. Отец, прижимая к себе мать, махал шляпой. Галина стояла, приложив разверну-

тую ладонь к пилотке. Не вытирая слез, плакала Лена, и Вовка, смешной, торжественный Вовка, знавший все военные правила, вытянув руки по швам, отдавал салют уходящему эшелону. Наконец все исчезло за составом платформ, груженных внавал искореженным военным железом и алюминием, а Анна все еще смотрела в направлении, где скрылись дорогие ей люди...

— Товарищ комиссар! — взволнованно позвал вдруг девичий голос.— Посмотрите, что впереди делается...

В самом деле, поезд приближался к фабрикам «Большевички». Железнодорожное полотно поднималось здесь на насыпь, и откосы ее были усыпаны людьми. С площадки тамбура было видно, как по двору фабрики спешат запоздавшие.

— Может, это нас провожают? — неуверенно произнесла молоденькая сестра и вдруг закричала на весь вагон, ошеломленная своей догадкой: — Да нас же, конечно, нас! Смотрите, машут!

В самом деле, поезду махали платками, кепками, картузами, просто руками, махали и что-то кричали. Анна вскочила, одернула гимнастерку, поправила пилотку, обернулась назад.

— Сестра, обегите вагоны, скажите, чтобы все подошли к окнам и отвечали на приветствия.

Сама она подалась в тамбур, а вперед на ступеньки подтолкнула начальника поезда.

Теперь вагоны бежали мимо людей. Поезд набирал скорость. Лица тех, кто стоял поближе, сливались в сплошную полосу. Приветственные крики перебивали журчание и стук колес. Начальник поезда, поднявшись наверх, усмехаясь, освободил место Анне.

— Нет уж, товарищ комиссар, извольте вы вперед! Прислушайтесь, что они кричат.

В самом деле, в гомоне этой как бы проносившейся мимо поезда толпы отчетливо звучало: «Анна Степановна! Анна Степановна!» Только тут комиссар поняла, что родные фабрики провожают не только поезд, но и ее самое. Потрясенная этим открытием, Анна, сорвав пилотку, держась рукой за поручни, вся устремилась к ним.

— До свидания, дорогие! До свидания, спасибо!..

Поезд шел уже быстро. Трудно было что-нибудь вблизи разглядеть. Но взволнованному комиссару показалось, что промелькнуло квадратное, будто из гранита высеченное лицо Слесарева, сивый, развеваемый ветром чуб Арсе-

ния Курова и где-то рядом соломенная голова Ростика. Совсем отчетливо увидела она и высокую фигуру сестры Ксении, а возле нее Юнону. Ну да, вон они обе стоят, и на Юноне синий пиджак подмастера с засученными рукавами. Должно быть, обе прибежали прямо с работы.

А в отдалении возвышалась над толпой массивная фигура Гордея Лужникова. Он жадно шарил глазами по бегущему поезду и вдруг, увидев комиссара, заулыбался и закричал, сложив руки рупором. Грохот поезда заглушил слова. Они не долетели до Анны. И все же ей показалось, будто она расслышала, что ей кричат. Мгновение поколебавшись, она приложила ко рту ладони и крикнула механику:

— Пишите!.. Пишите, Гордей Павлович!

Услышал он это или нет, было не так уж важно...

«До свидания, милые вы мои!» — мысленно сказала Анна, присаживаясь на верхней ступеньке и рассеянно следя за тем, как плавно движется, будто поворачиваясь на месте, и постепенно удаляется назад млеющий от жары Верхневолжск, повитый густыми дымами своих фабрик и заводов.

Прогрохотал под колесами короткий мост через Тьму, прогрохотал длинный, волжский. Из-за деревьев помаячили вдали железные трубы завода, на котором был рожден поезд, помаячили, отплыли в сторону, скрылись, и старый бор, подступив к железнодорожному полотну, дохнул прохладой и ароматом смолы. Анна, рассеянно следя, как освещенные солнцем стволы сливаются в сплошную золотую массу, задумалась, прижавшись щекою к поручню, пронзительно пахнущему свежей краской...

— Товарищ комиссар,— позвал сзади озабоченный мужской голос,— товарищ комиссар!..

Анна, вздрогнув, оторвала взгляд от проносившегося леса, быстро поднялась в тамбур. И столько сразу навалилось на нее дел, что некогда стало даже взглянуть в окно.

А поезд между тем, вырвавшись из лесного коридора на залитый солнцем простор осенних полей, прибавил ход. Вот уже скрылся вдали, будто растворившись в конце сходившихся на горизонте рельсов, последний его вагон, и лишь дым от паровоза некоторое время еще тянулся по пестрому некошеному лугу. Потом и он развеялся. И совсем уже издалека донесся короткий, едва слышный, бодрый, энергичный свисток.

Но, может быть, это свистел другой паровоз...

Москва, 1954—1958 гг.

ВЕРНУЛСЯ

ПОВЕСТЬ

I

Над заводом бушевала метель.

Злые вихри колючего снега обрушивались на корпуса, заметали двор, с воем носились по улицам поселка — все земные и небесные ориентиры утонули в них. Только по тяжелому металлическому гулу, прорывавшемуся даже сквозь шум метели, да по малиновым сполохам, окрашивавшим порой эти снежные вихри, можно было догадаться, что здесь не степь, что рядом большой металлургический завод и что сейчас под свист и завывание ветра люди там варят и прокатывают сталь.

Старенький грузовик Клавдии Шлыковой медленно, будто с трудом, нащупывая шинами знакомую дорогу, продирался сквозь тучи снега, гулко погромыхивая расхлябанным кузовом. Свет фар раздвигал тьму только перед самым радиатором. Клавдия вела машину осторожно, на малом газу, не снимала руки с тормоза, то и дело жала на кнопку сигнала и все же не остереглась — наехала на человека.

Человек этот неожиданно возник в снежной мгле перед самой машиной. Клавдия успела заметить, что он не перебегал дорогу, а как-то странно стоял, точно задумавшись, посреди заметенной улицы. Мгновенно возненавидев разиню, лезущего прямо под колеса, Клавдия что было сил рванула ручку тормоза. Колодки пискнули, намертво прихватив колеса. Но машину поволокло юзом, послышался мягкий удар — и, нелепо взмахнув чемоданом, человек исчез за радиатором.

Словно пружина выбросила Клавдию из кабины. Нет, никто не стонал. Гудела метель, таща под колеса струящиеся полосы сухого снега. Пострадавший молча выбирался из-под буферного щитка. Возле него Клавдия разглядела в застывшем свете фар небольшой чемодан, раскрывшийся, должно быть, от удара. Метель трепала конец розового мохнатого полотенца, бросала в чемодан пригоршни снега. Поодаль валялась мыльница, поблескивал на снегу бритвенный тазик и особенно почему-то бросился в глаза старинный никелированный будильник со звонком-шапочкой.

— Живы? Ушиблись? Я же сигналила, честное слово, сигналила! — растерянно говорила Клавдия.

Незнакомец, даже не взглянув в ее сторону, буркнул неприветливо:

— А при чем тут вы?

В желтом свете фар, перечеркиваемом наискось густо летевшим снегом, перед Клавдией стоял невысокий широкоплечий человек в не новой уже, но складно сшитой офицерской шинели. Лица его из-за летящего снега рассмотреть не удалось, но с чисто женской наблюдательностью Клавдия сразу же заметила у него на плечах еще не отпоротые лямочки для погон, а на меховом козырьке форменной шапки темный след от звезды.

Пострадавший не грозил, не бранился, не требовал показать водительские права. Вспыхнувшая было в Клавдии ненависть к растяпе, поставившему под удар ее безупречную шоферскую репутацию, сменилась невольным чувством признательности.

Клавдия вытряхнула из чемодана снег, помогла незнакомцу собрать вещи.

— Вы ведь приезжий? Наверное, заблудились тут у нас? Заблудишься, вон что на улице-то... Хотите, довезу?

— Что ж, везите,— как-то очень равнодушно согласился пострадавший и, подняв чемодан, полез в кабину.

— А куда везти?

— Вот это и для меня вопрос,— задумчиво сказал незнакомец.— Я в этом городе родился и вырос, а вот оказалось, ничего тут и не знаю. Пришел к гостинице, а гостиницы и в помине нет. Пустырь какой-то, черт его побери. Потащился в заводской дом приезжих, думал — приютят по старой памяти, а там, оказывается, заводоуправление. Старое здание сожжено, что ли?

— Да, фашисты над городом поизмывались.

Незнакомец по-прежнему рассеянно смотрел перед собой. Он даже и глаз не поднял на Клавдию, и та вдруг, проникаясь жалостью к этому бездомному человеку, неожиданно для себя пригласила:

— Знаете что, переночуйте у меня. Только известно вам, как мы тут после оккупации живем? Барак, одна комнатенка... И убираться мне некогда, каждый день по полторы-две смены баранку верчу..

— Неважно, везите,— равнодушно сказал приезжий, и по тону его Клавдия поняла, что ему все равно, где ночевать. Какая-то неясная тревога закрадывалась к ней в

душу. Она уже жалела, что пригласила. Но делать было нечего.

Машина тронулась. Клавдия до боли в глазах вглядывалась в белую кипень метели, опасаясь, как бы опять на кого не наехать. Странный человек сидел нахохлившись, глубоко засунув руки в рукава, и, казалось, дремал. Так он и промолчал до самого дома.

Подталкиваемый хозяйкой, незнакомец миновал темный коридор, общую кухню, где несколько женщин, возившихся у большой плиты, удивленно проводили его глазами, вошел в комнату Клавдии и, даже не осмотревшись, решительно поставил свой чемодан в угол. Он повесил шинель и шапку на гвозди у двери, зябко потирая руки, подошел к теплой печке и прижался к ней спиной.

«Ишь, точно домой явился! — растерянно подумала Клавдия.— Хоть бы спросил, куда ставить да вешать, что ли! Хоть бы сказал чего. Молчун какой-то».

— Я пойду отгоню машину. Гараж тут рядом. Вернусь, вскипячу вам чай,— сказала она, тревожно покосившись на темную фигуру, неподвижно замершую на фоне блестящего кафеля, и, послушав ровное детское дыхание, доносившееся из полутьмы, где темнел силуэт кровати, предупредила: — Сын Славка проснется, не напугайте, скажите, я сейчас приду... И... сели бы вы, что ли...

Незнакомец ответил молчаливым кивком. Но когда минут через пятнадцать Клавдия вернулась, он все так же неподвижно стоял у печки, полузакрыв глаза, и было в его позе что-то усталое, скорбное. Женщине стало его жаль. Она придвинула к печке стул:

— Да сядьте же. Сидите себе и грейтесь, а я чайку вскипячу, чаю попьем... Только вот...

— Мне ничего не нужно. Спасибо. Напрасно беспокоитесь.

Уходя с чайником на кухню, Клавдия сняла газету, которой была затемнена электрическая лампочка без абажура, каплей свисавшая на проводе с потолка. Сразу стало заметно, что об уюте в этой комнате никто не заботится. На столе лежала матерчатая сумка с книжками, из которой торчал пенал, а возле, на обрывке газеты, остатки еды, чашки с недопитым чаем. На подоконнике громоздилась стопка невымытых тарелок.

В глубине комнаты на большой деревянной кровати спал, разметавшись, мальчик лет семи. Его штанишки, лифчик, чулки, курточка были аккуратно развешаны на

стуле, а под стулом рядком чинно стояла пара курносых, чиненых-перечиненых валенок. Тщательность, с которой была разложена и развешана вся эта одежда, как-то еще больше подчеркивала запущенность жилья.

Незнакомец долго смотрел на эти детские валенки, и улыбка, похожая на нервный тик, передернула его щеку.

II

В своем бараке Клавдия Шлыкова слыла женщиной положительной, строгой. И все же трудно ей было убедить соседок, что она так вот, ни с того ни с сего, пожалела и пригласила на ночлег незнакомого человека. Дожидаясь, пока закипит чайник, она чувствовала на себе любопытные, иронические и сочувственные взгляды.

Молча стояла у плиты, сердито хмурила брови, мысленно бранила себя и чувствовала, как в ней поднимается беспокойная, тягучая неприязнь к неизвестному в офицерской форме, которому она кипятит чай.

Вернувшись к себе, она сердито стукнула чайником о стол. Незнакомец даже не оглянулся. Он разглядывал большую фотографию, пришпиленную кнопками к стене. Четверо мужчин, празднично сияющих, с орденами Трудового Красного Знамени на лацканах новеньких, не обмятых еще пиджаков, были сфотографированы на фоне кремлевской стены. Чуть повыше висел увеличенный портрет одого из них — скуластого крепыша.

— Это кто? — спросил незнакомец, показывая на портрет. В голосе его слышалось странное волнение.

— Муж мой,— отозвалась женщина, чувствуя, как волнение гостя передается и ей.— Под Сталинградом погиб... Осенью в сорок втором...

— Георгий Шлыков?

— Да, Шлыков. Ай знавали?

— Мировой был прокатчик,— заявил незнакомец и показал на крайнего в группе маленького, квадратного человека.— А Лисицын где?

— Он, должно быть, на Урале. Как с заводом уехал, так и не вернулся. А вы откуда наших знаете?

— А Афонин? — Незнакомец показал на сутулого брюнета в щегольском пиджаке, из кармашка которого торчал платочек.

— Тоже на Урале. Наши все на Урале. Эвакуировались с заводом, там и прижились. Мало кто вернулся. Сейчас

здесь народ все новый... А четвертый на снимке — Пантелей Казымов. Может, тоже знали? Этот вместе с моим в армию добровольцем ушел. Сейчас, говорят, в Германии будто остался, комендантом где-то, что ли... Семья у него в эвакуации померла. Тяжело ему возвращаться. Лучший сталевар у нас был... веселый человек.

— Был,— глухо отозвался незнакомец, и такая боль прозвучала в его дрогнувшем голосе, что Клавдия невольно пристальней взглянула на это худое, испаханное глубокими солдатскими морщинами лицо, на багровый шрам, шедший наискось от виска через всю щеку; взглянула — и вдруг тихо вскрикнула, узнав в этом усталом, сутуловатом, лысеющем человеке того круглолицего, ясноглазого, с пышной шевелюрой сталевара, что на фотографии по-дружески обнимал ее мужа.

Не то улыбка, не то нервный тик подернул щеку гостя.

— Да, был, товарищ Шлыкова. Это верно: и сталеваром неплохим был, и семья была. Все было, и вот... нет ничего...— почти выкрикнул он резким, неприятным голосом.

Клавдия как всплеснула руками, так и стояла, сложив ладони и прижав их к груди. Сама много повидав за годы войны, она понимала, что чувствует сейчас этот осиротевший человек, вернувшись в родные края, где когда-то так счастливо и ладно складывалась его жизнь. Она уже пережила нечто подобное и догадывалась, что не в сочувствии, не в утешениях, а только в покое нуждается Пантелей Казымов. Неожиданное появление человека из счастливого прошлого разбередило ее собственную, начавшую уже было поджившать боль. И, напрягая всю волю, чтобы взять себя в руки, она чувствовала, как неудержимо дрожат и кривятся ее губы, как теплые непрошеные слезы, все кругом стушевывая, бегут и бегут по щекам.

— Ну, вот тебе и раз,— сказал гость, растерянно оглядываясь.

А потом, как это иногда случается с очень сдержанными людьми, умеющими годами носить в себе горе, он без всяких расспросов принялся рассказывать незнакомой женщине о том, о чем не говорил даже и своим близким боевым друзьям.

Работа, которую Пантелей Казымов выполнял на заводе, освобождала его от мобилизации. Но когда враг стал приближаться к родному городу, он вместе со многими

коммунистами ушел в армию добровольцем. Через месяц сталевар, став танкистом, уже воевал на юге. Из писем, дошедших к нему только в начале зимы, он узнал, что семья его — жена и двое ребят — эвакуировалась вместе с заводом в уральский городок, такой маленький, что он даже не смог найти его на карте. Жена писала, что работает на стройке, что устроилась она с ребятами неплохо, и просила о них не беспокоиться. Потом вдруг замолкла, и несколько месяцев он не имел от нее никаких известий. Наконец, уже в осажденный Сталинград, к нему прорвалось письмо от парторга ЦК на заводе. Тот извещал Казымова, что его жена и дети умерли от тифа.

Пантелей Казымов на несколько дней замолк, точно лишился дара речи. Фронт уже наступал, танковая часть, в которой он воевал, не выходила из боев, и ярость наступления, боевые заботы понемногу как бы притупили остроту горя. Только заметили однополчане, что у старшего сержанта Казымова переменился характер: из веселого, жизнерадостного человека он превратился в хмурого молчуна. Казымов резко оборвал переписку с друзьями по заводу. Он решил после войны не возвращаться в родные места.

Впрочем, горе не мешало ему воевать. Вместе со своей танковой частью он прошел четыре страны и кончил войну на Эльбе в звании старшего лейтенанта танковых войск, с шестью боевыми наградами и четырьмя нашивками за ранения.

Как аккуратному, исполнительному офицеру, известному своей строгостью к себе и подчиненным, да к тому же еще знакомому с производством, Пантелею Казымову предложили остаться на комендантской работе в том самом небольшом промышленном городке, который был взят его танковым батальоном в последний день войны. Он согласился, даже обрадовался — не нужно было думать и заботиться о собственном послевоенном устройстве. Так бывший сталевар стал заместителем коменданта по экономическим вопросам.

Работал старательно. На совещаниях в штабе группы войск его даже ставили в пример.

Но сталевар продолжал жить в офицере-танкисте. Отзвучали над чужой рекой салюты победы, жерла пушек были закрыты брезентовыми чехлами, и Казымов начал все настойчивее заявлять о своем желании вернуться на завод.

И раньше, в дни войны, когда его часть прорывалась к какому-нибудь индустриальному городу, где все — и почерневший снег, и воздух, пропитанный солоноватым запахом серы, и шлак, хрустящий под ногой,— напоминало родной завод, сердце танкиста начинало тревожно биться, мысли улетали в незнакомый уральский городок, где его былые друзья варили сталь. Но танки рвались на запад, заводы оставались позади, тоска по любимому делу рассеивалась на военных дорогах среди постоянных опасностей и всегда новых, всегда неожиданных трудностей, преодоление которых отнимало обычно в наступлении все силы ума и сердца.

Когда же фронт остановился и в чужом, почти не пострадавшем от войны городке над Эльбой наступила для Пантелея Казымова мирная жизнь, тоска по любимому делу заговорила в душе сталевара нетерпеливо и властно. Яркая подстриженная зелень скверов, лишенная своих естественных форм и природной прелести, одинаковые дома, колючая готика старой колоколенки, торчавшей перед окном,— все это, очень добропорядочное, чистенькое и такое чужое, быстро опостылело Казымову.

Днем, в сутолоке многообразных комендантских дел, он еще забывался и работал со свойственной ему добросовестностью и даже с увлечением. Но по вечерам, в особенности в длинные и такие тягучие на чужбине воскресенья, офицер места себе не находил. Когда тоска наваливалась с особенной силой, заместитель коменданта переодевался в штатское и пешком шел через город на далекую заводскую окраину. Шел 1945 год. Предприятия в городе были старые. Они принадлежали предпринимателям, и прежние порядки сохранялись на них. Ничто даже отдаленно не напоминало завод-гигант, широко и привольно раскинувшийся по степи стройными рядами огромных корпусов.

И все-таки бывший сталевар часами бродил по закоптелым пустырям меж заводских дворов. Он ходил по черной, засоренной шлаком чужой земле и вспоминал, как мальчишкой катал тачки с кирпичами по строительной площадке, где среди холмов, поросших горькой полынью, в то время еще едва намечались контуры будущего предприятия. Как потом фабзайцем чуть ли не на цыпочках вступал он в ревущий, задернутый сизоватой дымкой цех, где старый сталевар Поликарп Дмитриевич Сухов, подтолкнув ребят к пышущей жаром огромной печи, поучал их: «За печью, товарищи рабочий класс, нужно ходить, как

за девушкой в ту пору, как в нее влюбишься! Печи надо сполна давать все, что она требует. Ее капризу потрафлять надо...» Потом вставал перед ним тот чудный день, когда ему, сталевару Казымову, впервые показалось, что и он сам, и его подручный, и вся бригада, и огромный мартен, в котором клокотала сталь, наконец слились в единый живой организм, послушный его направляющей воле,— день, когда он поставил первый всесоюзный рекорд скоростной плавки...

Лучше было и не вспоминать! С болью отстраняя дорогие образы прошлого, Казымов возвращался домой, переодевался в военное, снова приступал к комендантским обязанностям. А тоска по любимому делу все крепче забирала его. По ночам ему мерещилось мерцание стали, чудился глухой, утробный рев форсунок, ослепительные потоки расплавленного металла, белого, как сметана. Он просыпался с бьющимся сердцем и смятенной душой. Ему было радостно и больно, и до утра не мог он утихомирить своих взбунтовавшихся воспоминаний.

Наконец Казымов не выдержал. После многих безуспешных устных просьб он подал официальный рапорт об отставке самому командующему группой. Ведь опытные сталевары нужны стране! Комендант города, однополчанин, видя, как извелся его заместитель за мирные месяцы, поддержал его рапорт. Когда пришло извещение об отставке, Казымов спешно уложил чемодан и, едва дождавшись причитавшихся ему денег, побежал на станцию. Он мечтал о возвращении на родной завод, в привычный коллектив, к друзьям-сталеварам. Он радовался и верил теперь, что воздух родины развеет его горе.

Казымову казалось, что поезд тащится слишком медленно. Чуть не на каждой станции он выбегал на перрон и спрашивал, сколько километров до границы. Наконец, не вытерпев, он махнул рукой на проездной литер и в первом же большом городе пересел на самолет.

В родные места он прибыл под вечер. И тут он получил новый удар: он узнал, что заводской коллектив, в котором он вырос, его сверстники, друзья, почти все, с кем он работал, с кем добывал трудовую славу,— выехав в свое время на Урал, так и остались там, на новом заводе, который сами и построили в военные годы в таежной глуши. В коробках восстановленных корпусов возникло новое предприятие — завод-двойник. Внешне он походил на прежний гигант, где столько лет проработал Казымов, но

в цехах трудились другие люди, и нигде — ни в парткоме, ни в заводоуправлении, ни даже в многотиражке, носившей прежнее название,— демобилизованный офицер не увидел ни одного знакомого лица.

На старом месте был новый, незнакомый завод. И никто не признал своего в пожилом демобилизованном офицере, никто не бросился к нему, не обнял, не расцеловал по-дружески со щеки на щеку. Фамилия, которую он называл, рекомендуясь, мало кому что говорила, и всюду он видел то внимательные, то вежливые, но не дружеские взгляды.

Нечто подобное Пантелей Казымов уже пережил однажды, в жаркую летнюю пору, на боевой дороге. В тот день нестерпимо жгло солнце. Панцыри машин раскалились. Горячая пыль лезла во все щели, забивая нос, рот, скрипела на зубах. А кругом тянулась степь — серая, однообразная, потрескавшаяся от жары. Но на карте, впереди, у перекрестка дорог, значились часовня и колодец. Казымов упрямо вел к нему боевые машины со скоростью, какую только позволяли моторы, так как вода в них поминутно закипала. Люди были на грани обморока. Но впереди была вода, и они стремились к ней.

Вот они наконец, зеленые деревья, груда кирпича и извести на месте церкви. Казымов еще на ходу выскочил из головной машины. Выскочил и остановился, цедя сквозь зубы сухой, горячий воздух. На месте колодца была воронка. Откосы ее еще были влажны, и зеленела ободранная взрывом ветла. Но воды не было ни капли... Казымов совсем было забыл этот давний случай. А вот сегодня, когда он наконец добрался до родного города, случай этот почему-то не выходил у него из головы...

— Вот и вышло, товарищ Шлыкова, вернулся скворец на родное гнездо, а скворечня-то уж не та, и другие птицы в ней живут.— Казымов вздохнул, достал папиросу, попробовал закурить, но, сломав несколько спичек, так и не закурил, скомкал папироску и сунул в карман.— Выходит, зря и ехал. Пантелея Казымова никто уж и не помнит. Кто он, этот Казымов? Чего ему надо?

Казымов достал новую папиросу, и женщина заметила, как дрожит у него рука.

— Кому ж помнить, Пантелей Петрович, народ тут все новый. Я как из эвакуации вернулась, тоже осматривалась — вроде дома и не дома, не то хозяйка, не то гость... Я вам на сундуке постелю, ничего?

Когда Клавдия стлала постель, взгляд ее, невольно скользнув по лицу веселого, ясноглазого сталевара на фотографии, надолго задержался на пожилом, лысоватом человеке, который, сгорбившись, опустив плечи, сидел за столом над кружкой остывшего чая.

Клавдия вздохнула и опустила на лампочку сделанный из сложенной газеты абажур. Надвинулась полутьма.

— Ну, ложитесь, отдохните с дороги. Заговорились мы, а нам завтра в шесть утра прокат на товарную станцию везти надо. Спешный груз, не проспать бы!

Казымов подошел к чемодану, достал оттуда старинный никелированный будильник, завел его и, поставив стрелку боя на пять тридцать, водрузил на столе. Комната сразу наполнилась хлопотливым тиканьем, и Клавдии почудилось, что от этого в ней стало как-то уютней и будто даже теплее.

— Спите! Дневальный аккуратный. Разбудит. А я с вашего разрешения еще посижу.

Он повернулся спиной к кровати и, пока женщина шуршала одеждой, говорил, задумчиво поглядывая на стрелки циферблата.

— В Сталинграде, в развалинах, будильник этот подобрал. Завел — ходит, подлец. Сунул в сумку противогаза, зачем, сам не знаю. Принес в траншею — идет. Так его с собой и прихватил — больно весело тикает, дом напоминает. Думал, довоюю, на комод поставлю — помни, жена. Сквозь всю Европу пронес, а ставить негде... Давеча с вокзала нарочно крюку дал, чтобы через свой поселок пройти — ничего, чистое поле.

— Какое же поле? Там две новые улицы строят. Мы туда часто кирпич да арматуру возим,— отозвалась Клавдия; она, должно быть, уже укладывалась, так как слова эти долетели до Казымова вместе со скрипом матрасных пружин.

— Может, и строят, не видел. Метель... Может, и строят; верно, новый-то дом построить можно. А вот мой... Э, да что там.

...Будильник поднял Клавдию точно в пять тридцать. Вскочив на постели, она не сразу сообразила, откуда льется этот настойчивый, мелодичный звон. Одеяло сползло с сына, спавшего рядом. Мать машинально поправила его, подоткнула, провела ладонью по розовой щеке мальчика. И вдруг вздрогнула: новые запахи — смесь никотинной горечи, влажной кожи невысохших сапог и еще чего-то, буд-

то знакомого,— разом напомнили ей вчерашнее происшествие. Она легонько вскрикнула и натянула одеяло до подбородка.

— Одевайтесь, одевайтесь,— сказал Казымов. Он сидел на прежнем месте, у стола, спиной к ней.

Клавдия удивленно смотрела на его чисто подбритый затылок, на шею в глубоких солдатских морщинах: когда же он успел встать, одеться? Потом взгляд скользнул по столу, забросанному изжеванными окурками. Сквозь сизый слоистый дым, наполнявший комнату, она увидела его несмятую подушку. Он не ложился!

Сердце женщины согрело сочувствие к этому одинокому, бездомному человеку. Но сочувствие было отравлено недовольством: вот свалился как снег на голову, и сразу осложнилась и без того нелегкая жизнь. Свой, заводской, товарищ покойного мужа — как его выгонишь? И такое горе у человека. Но комнатенка — вон она, повернуться негде. И эти вчерашние перемигивания и смешки соседок. Только этого не хватало. Но куда он пойдет?..

Впрочем, раздумывать об этом было некогда. Одевшись, сунув ноги в валенки и захватив полотенце, Клавдия выбежала в умывальню и вернулась оттуда раскрасневшаяся, сердитая. Не глядя на гостя, отрезала ломоть хлеба, достала из котелка нечищеных картошек, завернула все это в газету. Жуя на ходу, стремительно пошла к двери.

— Вы разрешите, Клавдия Васильевна, оставить у вас чемодан до вечера,— попросил Казымов.

— Оставляйте,— ответила Клавдия и, обернувшись уже в дверях, добавила: — До вечера.

Когда последним хозяйским взглядом она окинула свое жилье, ей показалось, что сутулые плечи Казымова ссутулились еще больше.

III

Война многому учит, и прежде всего учит самодисциплине. Что бы накануне ни случилось, как бы ты ни устал и как бы тяжело ни провел ночь, начался новый день, новые задачи стоят перед тобой, и ты изволь без раскачки, без скидок на самочувствие эти задачи решать, и решать как положено по уставу, обобщившему опыт многих боев, сражений и бесконечного числа лучших воинов.

За окном еще было темно. Под ударами порывистого ветра вздрагивала рама. Сухой снег скребся в стекло. Но

часы сказали: утро, и, привыкнув жить жизнью армии, Казымов встал, отряхнул с кителя пепел, достал из чемодана завернутые в суконку щетки, гуталин и принялся чистить сапоги. Отполировав до блеска, он поставил их в угол и принялся пришивать к кителю свежий подворотничок.

Что-то зашелестело в углу. Казымов обернулся. Мальчик опять сбросил одеяло и лежал теперь съежившись, зябко подтянув колени к самому подбородку. «Как же его звать-то?» — подумал Казымов. Укрывая мальчика, он рассмотрел его круглую, наголо остриженную голову, широкое, скуластое, раскрасневшееся во сне лицо. Его младший был таким же, когда Казымов на станции прощался с семьей перед погрузкой в эшелон, с которым коммунисты-добровольцы отправлялись на формирование. Только тот был худощавый, смуглый, черный, как жучок, а этот вон круглоликий, белокожий, совсем иной.

Вдали послышался гудок. Он звучал простуженно, хрипло. Он совсем не походил на тот, что поднимал когда-то Казымова на работу. И все же, как бы подчиняясь этому призыву, бывший сталевар вдруг заторопился, схватил полотенце, мыло и вышел в коридор, где в полутьме, скупо освещенной желтой лампочкой, уже звучали торопливые шаги тех, кто спешил на смену. Проходя мимо Казымова, они с удивлением оглядывали незнакомца. Но тот спокойно шел мимо. Сколько километров пронесли его танковые гусеницы за эти четыре года! Сколько на пути было ночлегов в незнакомых домах, в чужих квартирах!

Он привык чувствовать себя дома там, где висели на гвозде или вешалке его шапка и шинель, где лежал в углу его вещевой мешок. И даже то, что в кухне, через которую он проходил, неся в руке мыльницу и полотенце, женщины, толпившиеся у плиты, встретили его откровенно любопытными и ироническими взглядами, торопливым перешептыванием, не смутило его. Он попросту не обратил на них внимания. И все же запомнилось, что в перешептывании этом часто слышалось имя Клавдии, и это заставило его задуматься.

Серый рассвет уже сочился сквозь замерзшие стекла. Узоры, наведенные на них морозом, сверкали и искрились в свете ранней зари. Но лампочка, хотя уже и поблекла в тщетной борьбе с утренними лучами, все же освещала стол, весь засыпанный пеплом и изжеванными, раздавленными окурками. В углу матово посверкивали начищенные

сапоги. Казымов поморщился: уж очень нагло и самодовольно выглядели они на темном, давно, должно быть, не мытом и даже невыметенном полу.

И опять сказалась привычка бывалого солдата держать в порядке свое временное жилье, даже если и предстояло пробыть в нем всего несколько часов.

Казымов осмотрелся, нашел у печки старый, лысоватый веник и принялся было мести пол. Но тут же сообразил, что это будет бесполезная работа, если он предварительно не сотрет пыль. Выбрав в чемодане старую портянку, он принялся прибирать на подоконнике, на столе, на комоде. Должно быть, оттого, что уборка жилья, мытье посуды, а если случится, и готовка пищи всегда напоминают родной дом, дела эти, за которые в обычной жизни представители сильного пола всегда берутся с неохотой, фронтовиков, наоборот, увлекают.

И сейчас вот, сноровисто и споро прибираясь в чужом жилье, Казымов чувствовал, как все, что так волновало его в последние недели, что всю дорогу заставляло его торопиться, что так разочаровало и поразило его вчера, над чем он, не сомкнув глаз, продумал всю ночь, словно бы начало стихать и угомоняться.

Он уже составил тарелки в стопку и хотел нести их в кухню, под кран, как вдруг особым чутьем, какое вырабатывается у людей, побывавших в опасных переделках, он почувствовал на себе чей-то взгляд. Оглянулся и увидел, что мальчик сидит на постели. В круглых, широко раскрытых зеленоватых глазах его смесь испуга с неистовой радостью. От взгляда этого Казымову почему-то стало жутко.

— Ты кто? — чуть слышно, одними губами спросил мальчик.

Он весь напрягся. Казымову казалось, что он вот-вот вскочит и с криком бросится ему на шею. И он торопливо ответил:

— Я офицер, то есть был офицер.

— Ты?..— выкрикнул мальчик и не окончил вопроса. Казымов увидел, как взгляд его, в котором надежда боролась с разочарованием, быстро перебегает с его лица на отцовский портрет и обратно. Он понял, за кого принимает его этот незнакомый мальчик, понял, какой он должен сейчас нанести удар в маленькое сердце. И он, сохраняя на лице прежнее выражение, весь внутренне сжался, как сжимался на фронте, когда о бронь машины с оглушающим громом рикошетил снаряд.

— Я друг твоего покойного отца,— сказал он раздельно, точно откусывая каждое слово.— Мы вместе с ним ушли на фронт и вместе воевали. Меня зовут Пантелей Казымов.

Будто кто щелкнул выключателем — так быстро погасли глаза ребенка. Он весь поник. Но это, должно быть, был мужественный мальчик. Он не заплакал. Скинул с кровати ноги с большими ступнями. Спросил:

— Вы видели, как фашисты убили папу?

— Твой отец погиб героем,— сказал Казымов.

За войну он написал семьям погибших солдат немало траурных писем. Но слова, как видно, не интересовали его нового знакомого. Он вежливо слушал, но вдруг спросил:

— Это вы накурили? Вы приехали к нам?

— Да вот видишь, пока...— смущенно ответил Казымов, покосившись на свой раскрытый чемодан. Мальчик взял со стола будильник, приложил его к уху, послушал, осторожно поставил на место.

— Хорошие часы. Это ваши? — И вдруг, проявив большую житейскую умудренность, сказал Казымову: — А пол вы зря метете. Мы с мамой по субботам убираемся. Она день-деньской ездит — все в рейсах, все в рейсах. Машин же не хватает...

Он еще раз послушал будильник...

— Здорово топает. А он звонит?.. Это хорошо, теперь я не просплю школу. Я ведь все один: и в лавку бегаю, и обед готовлю, и уроки делаю... Хлопот — полон рот. Вертишься день-деньской... А скажите, пожалуйста, почему говорят: белка в колесе... Белка — это зверек. Верно? Зачем ему колесо?

Помолчал и, видя, что жилец продолжает мести, покачал своей круглой мальчишеской головой.

— Зря... Но я тоже сам все делаю. Мама говорит, я, как папа,— смышленый. Вас можно звать дядя Пантелей? А меня зовут Святослав. Можно Славик. Ладно?

Святослав действительно оказался хозяином хоть куда. Он проворно начистил и нарезал картошку, щедро полил ее маслом из бутылочки, что стояла на окне, одетая в серую шубку пыли. Сбегал на кухню за кипятком. Чай пили несладким, так как сахару в доме не было. Но Казымов с удовольствием прихлебывал из алюминиевой кружки кипяток, и ему порой начинало казаться, что он действительно дома, что рядом сидит его младший, что вот-вот раздастся знакомая, грузноватая походка, откроется дверь,

войдет и сразу же скажет что-то веселое или смешное его толстая, добродушная жена.

— Будете уходить — заприте хорошенько. Дверь обязательно подергайте, а ключ положите за огнетушитель, что в углу. У нас один ключ — такая с ним морока.

Святослав стоял, уже одетый, в пальтишке, которое выглядело на нем пиджачком и из которого чуть не по локоть высовывались его руки. Шапку он покрыл сверху платком. Платок, концы которого он как-то ухитрился сам, без посторонней помощи, завязать за спиной, видимо, все же его смущал, и он пояснил хмуро:

— Это для мамы. Она говорит, ей спокойней, если я повяжусь... Пусть ее,— он снисходительно махнул рукой.— Женщина!.. Так не забудьте, дверь подергайте, а то замок заржавел, плохо защелкивается.

Его подшитые валенки с задранными вверх носами мягко протопали в коридоре, проскрипели снегом под окном. Казымов мысленно проводил его взглядом. Скупая, похожая на тик улыбка опять подергала его щеку.

«На кого же похож этот почтенный Святослав, на мать или на отца?» Казымов поднял глаза на портрет плечистого, скуластого человека, которого он и сам хорошо помнил. Пожалуй, на отца. А может быть, и на мать? Попробовал вспомнить Клавдию Шлыкову, но в памяти возникла только плотная фигура, в ватнике, в стеганых шароварах и больших мужских валенках, и низкий, грудной, грубоватый голос. Лица не было. Он просто не разглядел его.

Но последнюю фразу, сказанную Клавдией, он хорошо помнил. Уходя, он собрал свой чемодан, уложил в него полотенце, мыло, сапожные щетки, даже свой будильник, как всегда делал на бивуаках в том случае, если отъезд мог произойти внезапно.

Уходя из этой чужой квартиры, он старательно запер дверь, подергал ее и ключ положил за огнетушитель. При этом он вспомнил свое утреннее знакомство с маленьким деловым человеком и вдруг почувствовал легкую грусть от того, что вечером, когда он найдет себе пристанище, ему предстоит расстаться с этим мальчуганом.

IV

Новый директор не знал Пантелея Казымова. Но былая слава сталевара все же еще жила в цехах восстановленного завода, и имя его было директору известно. Бросив

взгляд на пестрые рядки орденских лент, директор попросил Казымова присесть и стал расспрашивать о войне, о Германии, о комендантской работе.

На заводе не хватало опытных людей. Слушая Казымова, директор мысленно взвешивал его трудовые и боевые заслуги, опыт хозяйственной деятельности в комендатуре и прикидывал, как его получше устроить. Демобилизованный офицер ему понравился своей деловитостью, подтянутостью и даже некоторой сухостью. В заключение беседы директор, все взвесив, предложил на выбор несколько довольно ответственных административных должностей.

Нервное лицо посетителя стало сердитым.

— Вы что, смеетесь, что ли? — раздраженно прервал он директора, будто тот посулил ему нечто обидное.

— Я вас не понимаю.

— А я вас не понимаю. Что же вы думаете, я ехал сюда в кабинетах штаны протирать? По цеху, понимаете, по цеху, по мартену душа изныла!..— Эти слова он почти выкрикнул. Потом взял себя в руки.— Ни в какие канцелярии я не пойду, в цех — и все. Не нужен, так и скажите. На Урал, к своим махну, там меня помнят, там поймут.

— Ну в цех так в цех, пожалуйста. Хорошему сталевару всегда место найдется,— отозвался директор, стараясь подавить в себе раздражение, которое начал вызывать в нем этот нервный, резкий человек.— Только учтите, вы давно не работали, вам трудно будет, да и техника вперед ушла. Мы тут без вас далеко шагнули. Ох, далеко...

— Учел. Разрешите идти?

Директор хмуро посмотрел вслед уходящему, сердито побарабанил пальцами по стеклу стола и вдруг расхохотался. Он сам был не из покладистых и любил таких вот колючих, упрямых людей, умеющих настаивать на своем.

А через полчаса коренастый, лысеющий человек в офицерском кителе без погон нерешительно, точно кругом было заминировано, входил в жаркую, гудящую полумглу мартеновского цеха. Сердце его учащенно билось. Ему трудно было дышать. Он переживал то, что обычно переживает человек, входя в дом, где он родился и вырос и где теперь живут незнакомые ему люди.

Все здесь: и зыбкий жар, струящийся невидимыми токами от печей, и воздух, полный солоноватой гари, и эти мерцающие в темных просторах яркие отсветы пламени, и звонки крановщиков, и шипенье форсунок — весь этот

с юности знакомый мир напоминал ему о счастливых и теперь уже далеких днях.

Едва сдерживаясь, чтобы не пуститься бегом, он устремился в дальний угол, где, как издали показалось ему, стояла печь, на которой проработал он столько лет. Но это было обманчивое впечатление. Печь, как и все в цеху, была новой, бо́льших размеров, с какими-то сложными приспособлениями, о назначении которых Казымов мог только догадываться.

У печи, приподняв смотровое стекло на козырек кепки, неторопливо похаживал атлетического сложения молодой человек в свежей синей куртке, простроченной широким швом. Он то опускал щиток из синего стекла и наблюдал за плавкой, то поднимал его и смотрел на ручные часы с большой, бегающей по циферблату секундной стрелкой. Иногда он замерял температуру пирометром.

Он не походил ни на одного из сталеваров, с какими приходилось прежде работать Казымову. По всему: и по одежде, и по ухваткам, и по этой манере привычно орудовать с пирометром — он напоминал скорее инженера, зашедшего в цех понаблюдать плавку. Казымов усмехнулся про себя и подумал, что парень рисуется, увидев возле печи незнакомого человека.

Но вот он решительно сдвинул щиток на лоб, отер с лица носовым платком обильный пот, задумался, потом, что-то, по-видимому, про себя решив, резко повернулся в сторону Казымова и... вздрогнул. В пышущем здоровьем, румяном лице молодого сталевара мелькнуло что-то отдаленно знакомое. Но прежде чем Казымов успел отдать себе отчет, что именно и где он мог его прежде видеть, тот по-ребячьи свистнул сквозь зубы и мальчишеским голосом, который совсем не шел к его сильной, массивной фигуре, крикнул:

— Дядя Пантелей!

И тут узнал в нем Казымов одного из «фезеошников», любознательного, дотошного мальца, с румянцем во всю щеку, который, бывало, часами с благоговением следил за каждым движением своего учителя-сталевара. Когда сегодня Казымов услышал от директора о новой заводской знаменитости, лидере социалистического соревнования сталеваре Шумилове, он по старой памяти представил его себе пожилым, степенным человеком, умудренным долгим производственным опытом. Ему и в голову не пришло, что этот новый герой завода и румяный «фезеошник» Володь-

ка, когда-то дважды в неделю приходивший со своим классом в цех знакомиться с практикой сталеварения,— одно и то же лицо.

Так вот кто теперь занял на заводе место Казымова!

Расцеловавшись со своим бывшим учеником, Казымов сел в алюминиевое креслице, стоящее там, где в его время чернела щербатая, пропитанная мазутом скамейка, и молча просидел до самой выдачи металла, наблюдая уверенную работу молодого сталевара. И чем дольше он смотрел на Шумилова, тем явственнее ему бросалось в глаза сходство этого рабочего с инженером. Дело здесь было не в щегольской куртке, и не в пирометре, и даже не в привычке следить за секундной стрелкой, а в чем-то более глубоком и скрытом, что даже опытный человек может скорее почувствовать, чем увидеть: в точно рассчитанных движениях, в том, что после каждой пробы Шумилов что-то записывал в блокнот, вычислял, обдумывал, сосредоточенно нахмурив брови, словно не металл он варил, а ставил какой-то сложный опыт.

И он не рисовался, нет. Это был, по-видимому, обычный метод его работы, то новое, незнакомое Казымову, что, должно быть, обыденным стало за те годы, пока он служил в армии.

Все это новое очень заинтересовало, даже захватило Казымова. Но в мед этих ярких впечатлений упала медленная, тягучая капля дегтя. Вот воевал, жизни не жалел, отступал, наступал, валялся в госпиталях, возвращался в строй, мерз, изнывал в жаре, а они тут в тылу квалифицировались, учились, заводили приборы, блузы какие-то немыслимые себе нашили. А теперь он, Казымов, вернувшись черт-те откуда, слушает гул печи, знакомый ему, как биение собственного пульса, и чувствует, что он тут гость, а хозяин тот, кого он оставил здесь мальчишкой.

Стараясь подавить невольную зависть, Казымов наблюдал за своим бывшим учеником и горько размышлял о том, как сам он — некогда знатный сталевар — теперь отстал, какими устаревшими должны казаться сегодня его собственные, когда-то поражавшие и удивлявшие всех методы работы.

— Ну, как, дядя Пантелей, поработаем? — спросил Шумилов после смены.

Он вышел из раздевалки свежий, веселый, как будто возвращался со спортивного стадиона, а не выстоял смену у огнедышащей печи.

Казымов вздрогнул. Вопрос застал его врасплох.

— Не знаю, не знаю,— тревожно отозвался он и, скептически осматривая белый пуховый свитер и лихо замятую шляпу на голове своего бывшего ученика, добавил: — Ишь вы какие теперь стали, разве вас догонишь! Где ж нам, мы свое провоевали...

— Кто бы говорил! Вы ж мировой мастер, дядя Пантелей! А новое? Новое теперь везде, куда ни глянь. Новое покажем. Вы нас учили, мы у вас в неоплатном долгу.

И то, что молодой сталевар избежал слова «научим», а произнес только «покажем», и то, что по-прежнему называл Казымова «дядя Пантелей», сказало старому сталевару, что тут еще помнят его мастерство и, должно быть, еще ценят его былую славу. Но от этого еще страшнее показалось ему возвращаться к печи: а вдруг выяснится, что отстал безнадежно? А вдруг ему не угнаться за этой выросшей без него молодежью, сменившей у мартенов мастеров его поколения?

Не лучше ли, пока еще не поздно, пока в отделе кадров не закончено оформление, двинуть отсюда куда-нибудь подальше, на новые заводы, и там, где его никто не знает, сызнова начать овладевать мастерством?

V

Уже вечером, когда в загустевшей тьме над мартеновским цехом явно обозначилось оранжевое, вздрагивающее зарево и в промозглой осенней тьме проступили желтые, расплывающиеся пятна фонарей, по улицам заводского поселка неторопливо шел пожилой человек в ладно сшитой офицерской шинели. Его начищенные сапоги, твердо ступавшие по утоптанному снегу, поскрипывали при каждом шаге. Лицо у этого человека было спокойное, замкнутое, вид уверенный — так определил бы каждый, кто понаблюдал за ним со стороны.

Но не уверенность, не спокойствие, а тревога и тягостная неопределенность были в душе Пантелея Казымова. Сколько раз там, на чужбине, глядя, как за окном вечерняя мгла окутывает островерхие черепичные крыши и колючий шпиль кирки, мечтал он о дне, когда очутится на родине, придет на родной завод, встретит давних знакомых, дружба которых и привычное дело помогут ему забыть одиночество и тягость невозвратимых потерь.

И вот он дома — но дома у него нет. Он на своем заво-

де — но это другой, незнакомый завод. А друзья, соратники по первым новаторским починам? Они по-прежнему далеко. И Казымову даже неясно, где он проведет эту вот наступающую ночь. Гостиницы нет. Комната для приезжих забита, квартиру он и не пытался искать. А ведь Клавдия Шлыкова, уходя, сказала: «Пусть чемодан постоит», и подчеркнула: «До вечера».

Нет, он не может ни на кого пожаловаться. И директор, и люди в мартеновском цеху, и эта незнакомая женщина встретили его радушно, сочувственно. Но разве о таком возвращении мечтал он, устремляясь сюда из Германии? Разве с азов, с учебы задумывал он продолжить свой трудовой путь?

Приезжая по комендантским делам на большой немецкий металлургический завод, он, бывало, подолгу наблюдал за работой тамошних сталеваров. Слов нет — это была тщательная, аккуратная, точная работа. Но печи были старые, а приемы такие, какие Казымов знал еще в начале социалистического соревнования. И иной раз хотелось Казымову сбросить китель, взять у одного из сталеваров кепку с защитными очками и поразить немецких коллег настоящим, новаторским мастерством!

Сегодня на родном заводе на печи номер один, очень похожей на ту, на которой он сам когда-то работал, такая мысль даже и не пришла ему в голову. Стоя за спиной Шумилова, он все время боялся, как бы тот не предложил ему, по старой памяти, повести печь, так не походил вновь отстроенный мартеновский цех на тот, что был здесь до войны, так далеко ушло за эти годы мастерство сталеварения.

Казымов чувствовал себя, как пассажир, который, придя на вокзал, видит лишь быстро удаляющуюся подножку последнего вагона. Нужно броситься за ней, напрячь все силы, чтобы догнать ее, уцепиться, вскочить. Но сил уже мало. И что хуже всего — их подтачивает сомнение: стоит ли, хватит ли воли, памяти, умения, не осрамит ли он, встав к печи, остатки своей былой славы? Не прав ли директор, предложив ему сегодня всяческие организационные должности? Не лучше ли, никому ничего не сказав, забрать чемодан и махнуть на Урал, к своим?

Все эти сомнения, колебания и разочарования сливались в тягостное чувство обиды, обиды неизвестно на кого.

После бессонной ночи хотелось спать. Но даже угла

своего не было. Оставалось одно — просить ночлега у Клавдии Шлыковой. Но ему, фронтовику, несколько лет проскитавшемуся по чужим квартирам, было почему-то очень трудно обратиться с этой просьбой к жене погибшего боевого товарища.

Несмотря на все эти мысли, он с тем же уверенным видом, поскрипывая начищенными сапогами, вбежал на крыльцо барака, миновал открытую дверь кухни, откуда его опять проводили любопытными многозначительными взглядами, и твердо постучал костяшками пальцев в знакомую дверь.

— Одну минутку,— отозвался низкий, грудной женский голос.

Потом дверь открыли. Казымов остановился на пороге.

Босая, раскрасневшаяся, с бисеринками пота на переносице, в короткой, подоткнутой юбке, Клавдия смущенно стояла перед ним. В руках у нее была половая тряпка, с которой текла ей под ноги грязная вода. Не выпуская тряпки, она вытерла рукавом лицо и заправила под платок пышную белокурую прядь. Простодушно взглянув на Казымова, она вдруг спросила:

— Вы не рассердитесь? Погуляйте еще полчасика, пока я пол домою. Или вон забирайтесь к Славке.

Славка сидел с ногами на комоде и, держа в руках какую-то книжку, снисходительно поглядывал на мать и дружески на гостя: дескать, что, брат, поделаешь, приходится подчиняться.

«Нет, он все-таки в отца»,— почему-то подумал Казымов. Раскрасневшаяся от работы, как-то сразу посветлевшая Клавдия совсем не походила на вчерашнего усталого, грубоватого шофера в мужской одежде. Она оказалась совсем еще молодой, крупной и статной женщиной, с высокой грудью, с простым лицом, которому вздернутый нос и пухлые губы придавали сходство с куклой-Матрешкой, какими накрывают чайники. В довершение сходства голову свою, должно быть для того, чтобы пышные волосы не рассыпались и не мешали мытью, она покрыла пестрым платком, завязанным под подбородком. Но у задорной этой Матрешки было в лице что-то, что придавало ему серьезный, даже грустный вид.

Удивленный этим новым обликом Клавдии, Казымов невольно остановил взгляд на ее босых, небольших в ступне, крепких и прямых ногах, как-то особенно прочно стоявших на мокром полу.

Клавдия чуть прихмурила короткие рыжеватые брови и сердито одернула юбку.

— Ступайте гуляйте,— почти приказала она.

— И я, и я! — вскричал Славка и, соскочив с комода, угодил в самую лужу, черневшую на полу.

— Нарочно в воду лезет, поганец,— сказала Клавдия и замахнулась тряпкой. Но Славка ловко увернулся. Схватив ушанку и пальто, он уже бежал к двери, и валенки его оставляли на сухой части пола темные, мокрые следы.

При этом Казымов успел заметить, что у матери с сыном, должно быть, преотличные отношения, а также и то, что у Клавдии легкая походка и что стройные ее ноги без труда и как-то очень плавно носят большое и гибкое тело.

Казымов чувствовал облегчение. Его не гнали. Значит, тяжелый разговор о ночлеге, которого он так боялся, отложен по крайней мере еще на сутки. С ним обращались запросто, как со старым знакомым.

— Дядя Пантелей, а вы из Германии? Верно? Вы Гитлера живого застали? Нет? А у меня в сарае есть немецкая каска с рогами. Они все носят каски с рогами? Там не только фашисты, там и люди есть? И есть хо-ро-шие? Но-о! А зачем они наш дом сожгли, город разрушили, завод взорвали? А почему хорошие немцы позволяли это фашистам? Фашистов будут судить?

Любопытство мальчика было неиссякаемо. Очень приятно было отвечать на все эти его «что», «как», «зачем», «почему». Новые знакомые прогуляли больше часа, и, когда возвращались через кухню, Казымов услышал за спиной ядовитые голоса:

— А Клавка хитрая, знает, кого машиной давить. Демобилизованные народ денежный...

— Прямо по сердцу колесом переехала...

— На словах-то она строга...

Казымов увидел, как сразу сжались кулачки его маленького спутника, как зеленые мальчишеские глаза метнули свирепые искры. Славка, должно быть, готов был броситься назад, в кухню, защищать честь матери. Но офицер, прижав его к себе, серьезно сказал:

— Отставить!

И мальчик, все еще тяжело дыша и сопя носом, покорно подчинился гипнозу военной команды.

В комнату они оба вошли несколько смущенные. Вымытый пол сох, распространяя приятный запах. Было чисто. Аккуратно расставленные вещи, будто даже потеснив-

шись, освободили место, и стало просторней. Стол был накрыт бумагой, на нем расставлены тарелки. Посредине возвышалось нечто укутанное платком.

— Картошка, наверное, остыла — сами виноваты,— сказала Клавдия, распутывая платок. Но из горшка повалил кудрявый, аппетитно пахнущий пар.

— А масла нет, вы утром последнее извели,— женщина вздохнула.— Совсем отвыкла я хозяйничать.

В чемодане у Казымова нашлись оставшиеся с дороги банки тушеной говядины. Вскрывая их, он заметил, с какой жадностью смотрит мальчик на это нехитрое едово из сухого солдатского пайка. Впрочем, и сам Казымов с тем же аппетитом, что и Славка, ел картошку с мясом, и ему казалось, что уже давно, с довоенных лет, которые мнились ему теперь временами доисторическими, не ел он ничего вкуснее, чем эта сухая картошка с холодным мясом.

Под конец обеда он снял китель и повесил его на спинку стула.

— Ничего, я закурю?

— Ах, пожалуйста.— Клавдия подкалывала шпильками большой узел русых волос. Казалось, что тяжестью своей этот узел оттягивает назад голову женщины и именно поэтому она слегка ее вскидывает, что придает ей гордый, независимый вид.

Теперь Казымов понял, что противоречиво в ее лице. Это были темно-серые, почти зеленоватые глаза, смотревшие из глубоких глазниц серьезно, устало и даже грустно, что совсем не соответствовало общему складу круглого, курносого, задорного лица.

— Устыдили вы меня,— сказала она, улыбаясь скупо и как-то на одну щеку.— Пришла с работы — убрано. Кто убирал? Славка говорит — дяденька офицер. Так мне совестно стало... Вот и схватилась за тряпку.

Когда Клавдия задумывалась, у нее становились заметными тоненькие морщинки, пересекавшие лоб и пучками разбегавшиеся от уголков глаз.

— Раньше-то у меня разве так в квартире было? Не случалось у нас бывать?.. Муж меня так и величал — моя чистеха... А теперь где же? Каждый день по полторы смены баранку кручу. Придешь — только и дум в подушку ткнуться да уснуть... И есть иной раз не хочется. Людей-то в гараже еще мало...

Она вздохнула:

— Плохие мы со Славкой хозяева.

Клавдия не жаловалась, нет, просто думала вслух.

— Разрешите мне денек-другой у вас пожить,— несколько нервно выпалил вдруг Казымов.

— Не на улицу же вас гнать. Живите. Все равно.

В тоне Клавдии не было ни настоящего, ни деланного радушия. В нем было нечто большее. Вот так спокойно, бесхитростно в дни обороны Сталинграда, когда по Волге плыло «сало», а боеприпасы и продовольствие по ночам сбрасывали с маленьких связных самолетов, незнакомый боец, пережидавший вместе с Казымовым в большой воронке артиллерийский налет, разделил с ним последний и единственный сухарь, полученный на весь день.

Ветеран Сталинграда понял и оценил это.

VI

Несколько дней Казымов ходил в цех наблюдать работу Шумилова. Сначала, узнав, что из армии вернулся знаменитый Казымов, рабочие, в особенности молодежь, под разными предлогами, а то и без всяких предлогов забегали на первую печь посмотреть, какой он есть, этот сталевар, чье имя когда-то не сходило с газетных полос. Потом к нему привыкли.

Казымов часами сидел в алюминиевом креслице, наблюдая за работой, и думал, думал... На настойчивые предложения начальника цеха стать к печи он не отвечал ни да, ни нет. Шумилов тоже перестал заговаривать с ним об этом и только сочувственно косился в его сторону.

Как-то к Казымову подошел, сильно припадая на одну ногу, человек в военной гимнастерке, с большой, круглой, до глянца выбритой, точно отлакированной, головой. Как Казымов успел уже заметить, в цехе, по-видимому, любили этого человека: стоило ему подойти к какой-нибудь печи, как сразу возле него собирались люди, затевался оживленный разговор.

С минуту хромой молча стоял у креслица, на котором сидел Казымов, потом вытащил из кармана коробку папирос, протянул ее сталевару, прикурил об искрящийся брусочек пробы, выпустил дым к потолку.

— На партийный учет становиться будем или погодим? — спросил он.

— А почему вас это заботит? — в свою очередь спросил Казымов, прикуривая от его папироски.

— А потому меня это заботит, что я секретарь цехпарт-

бюро. Зорин — моя фамилия. Они вон,— он ткнул папиросой по направлению сталеваров,— кашу варят, а я расхлебываю вон тем котелком,— он указал на огромный металлический ковш, висевший на стальных тросах, куда сбегал по желобу сверкающий поток расплавленной стали.— Танкист?

— Точно.

— Сразу видать, что мотомех — гладкий... А я пехота. Царица полей. Только вот до Берлина не дотопал. На Висле шасси подломили. Вот уже третий год здесь по цеху ковыляю.— Он хлопнул себя по хромой ноге, потом смолк, казалось, весь погрузился в свои мысли, но Казымов все время чувствовал на себе косой изучающий взгляд его острых, живых, должно быть очень зорких, глаз.— А ты, я слышал, у немцев порядки наводил?

— Год с лишним...

— Так вот, товарищ гвардии комендант, народ наш про это узнал, интересуется, как оно там, в Германии. Завтра после дневной смены в Красном уголке людей соберу, расскажешь, как там немцы перековываются. Ладно?

— Плохой я рассказчик,— начал было Казымов, но хромой уже ковылял к своему ковшу и по пути что-то весело кричал бригаде соседней печи.

«Сразу видно, фронтовой парень! — подумал Казымов, невольно проникаясь симпатией к этому веселому человеку.— Вот с кем посоветоваться надо, этот поймет». И он хотел было уже сам идти к секретарю цехпартбюро, но тут третья печь начала выдавать плавку. Белая, как сметана, сталь, рассыпая злые, шипящие искры, устремилась по желобу в огромный стальной ковш, на тросах, и хромой, подвижной и ловкий человек, сверкая вспотевшей лысиной, засуетился около него. А потом поспела сталь на пятой печи, и Казымов ушел, так и не успев потолковать с секретарем.

Вернувшись домой, то есть к Клавдии, где он все еще обитал, оккупируя сундук, Казымов сел у печурки, достал портсигар и опять до позднего вечера курил, зажигая одну папиросу от другой.

Как и большинство фронтовиков, много покочевавших за войну, он мало обращал внимания на житейские удобства. Он не замечал, что с того утра, когда он почти машинально взялся за веник и тряпку, каждый день в комнате ждало его что-то новое. То прозрело и засверкало стеклами подслеповатое окно, то печь, обычно скромно теряв-

шаяся в полутемном углу, вдруг выставила напоказ свои побелевшие бока, то старенькая скатерть появилась на столе.

Отношения с хозяевами у него установились хорошие, товарищеские, и, погруженный в свои нерадостные заботы, Казымов как-то не обращал особого внимания ни на хозяйку, ни на коротконогого крепыша Славку, который издали благоговейно разглядывал пестрые ленточки на груди неразговорчивого жильца.

Но когда сегодня, ложась спать и аккуратнейшим образом располагая на стуле свою одежду, Славка вдруг закашлялся, Казымов поднял на него глаза и заметил, что вся комната тонет в сизой ядовитой табачной мгле. Он сконфузился:

— Начадил-то я как. Извините, я в коридор выходить стану.

— Я ж вам сказала, курите себе. Мне даже веселее как-то от табаку! Мой-то ведь дымил и день и ночь,— отозвалась Клавдия.

Она сидела с шитьем спиной к Казымову и, как показалось ему, в эту минуту посмотрела на портрет мужа.

Тронутый печальными интонациями ее голоса, Казымов впервые по-настоящему задумался о ее судьбе. Ему вдруг стало стыдно. Поглощенный своими переживаниями, он как-то совсем не обращал внимания на семью погибшего товарища. А Клавдия ведь явно с трудом сводила концы с концами. Шлыков хорошо зарабатывал. Привыкла жить в крепком достатке. Много ли она могла получать теперь? И ни одной жалобы, ни одного вздоха!

За годы военной службы у Казымова как-то сами собой завелись немалые сбережения: просто некуда было тратить деньги. И как это сразу не пришло в голову помочь так гостеприимно приютившей его семье!

Не долго думая он извлек из заднего кармана пухлый бумажник и положил на стол.

— Клавдия Васильевна, это вам. Купите, что нужно себе, Славику, ну и из вещей...

Женщина, укрывавшая в эту минуту сына, удивленно обернулась, потом взгляд ее упал на бумажник, поднялся на постояльца. Лицо вдруг жарко вспыхнуло.

— Уберите это, Пантелей Петрович, сейчас же уберите! — строгим взглядом указала она на бумажник и, не притрагиваясь к нему, даже руки отвела за спину.

Казымов искренне удивился. На фронте к этому отно-

сились проще: есть деньги — хорошо, нет — не беда. К чему такие переживания?

— Возьмите, возьмите. Нашли о чем разговаривать. У вас муж погиб, я был его другом.

— Мы не нищие,— раздельно и твердо сказала Клавдия.— За мужа я пенсию получаю, сама зарабатываю, на жизнь хватает. Уберите сейчас же деньги!

Брови Клавдии совсем сомкнулись на переносице, глаза гневно сузились. Курносое лицо ее совсем не напоминало теперь миловидную, забавную матрешку.

— Ну возьмите как квартирную плату, что ли... Я не знаю... Живу же я у вас, наконец.

— Я жилплощадью не спекулирую,— ответила женщина.— Если вы так думаете, можете забирать чемодан.

— Ну чего вы рассердились? Что я сказал особенного? — все больше смущаясь, бормотал Казымов.

— Я такой же член партии, как и вы,— сердито бросила Клавдия.

Она подошла к комоду, взяла оттуда печатный бланк извещения о квартирной плате. Сердито положила на стол.

— Можете заплатить половину.

Должно быть, заметив, что жилец по-настоящему растерялся, она чуть улыбнулась уголками губ и добавила примирительно:

— Ну что же, чай пить, что ли, сядем?..

Ночью Казымов долго ворочался на своем сундуке. Будильник, как недреманный часовой, деловито цокал на комоде, и под этот мерный звук, с которым Казымов свыкся за годы войны, он размышлял о том, что же так прогневило сегодня Клавдию. Маленькое происшествие пробудило в нем желание разобраться во всем, что происходило с ним за последние дни. Не слишком ли он поглощен своим горем, своими колебаниями? Не слишком ли занят собой? Не проще, не обыденней ли все, чем это ему кажется? И не лучше ли будет, если он перестанет ковыряться в себе, а позорче, повнимательней будет смотреть на окружающее.

В результате всех этих размышлений он перевел на будильнике стрелку боя на шесть. Он решил прийти на завод перед первой сменой и сразу заявить цеховому начальству о готовности принять печь.

Начальник цеха, совсем еще молодой инженер, не выпускавший изо рта маленькой кривой трубочки, выслушав Пантелея Казымова, весело ответил:

— И правильно. Вот в эту смену на первый мартен и

встанете. Мне звонили, Захаров серьезно захворал, я уж хотел просить Шумилова вторую смену работать. Ступайте к печи, там сейчас металл пускать будут, проследите заправку. Мы теперь заправляемся на ходу, только при заделке и сушке отверстия газ прикрываем.

— Знаю, видел. Печь почти не стынет,— тихо ответил Казымов.

Оттого, что идти к печи нужно было вот так, сразу, он почувствовал даже некоторое облегчение. Так бывало на фронте, когда неожиданно во время привала примчится в батальон офицер связи с боевым приказом — и сразу же по машинам, заводи моторы, выходи на рубеж атаки. Как и в те решительные минуты перед боем, сердце у сталевара взволнованно колотилось. Даже кончики пальцев похолодели, когда он, на ходу поздоровавшись с подручным и остальными рабочими бригады, вслед за инженером поднимался к мульдам, в которых уже лежала приготовленная к завалке шихта.

Все было готово, и заботиться ни о чем не пришлось. Казымов было успокоился. Но началась плавка, и он с тоской почувствовал, как он отвык от любимого ремесла. Начальник цеха, все время дымивший своей трубочкой, то и дело подходил к сталевару, показывал, как действуют новые, не очень сложные механизмы, подбадривал, наставлял. Казымов старался изо всех сил. Гимнастерка на нем взмокла так, что хоть выжимай. Он поминутно подходил к баку с водой, пил, охрип. К середине смены едва волочил ноги. И несмотря на все это, ощущение внутренней неслаженности в бригаде не покидало его, хотя он и видел, что каждый в отдельности работает неплохо.

«Отстал, безнадежно отстал»,— горько думал он, косясь на своего помощника и остальных. Замечают ли они, как неуверенно ведет он печь, как дрожат у него руки, как этот инженер с трубочкой, будто невзначай роняя замечания, подсказывает ему, что делать. И чего он здесь торчит? Будто нарочно пришел любоваться на позор Казымова.

А в голове неотвязно и мучительно, как звон комара, который кружит над ухом и вот-вот ужалит, звенело это, такое страшное теперь, слово: «Совсем отстал... Отстал!» Каждая мелочь раздражала Казымова. Он суетился. Из-за пустяка разругал подручного. Потом устыдился. Выпил залпом кружку подсоленной воды и, немного поостынув, вдруг спросил себя: «Неужели же, Пантелей, ты все растерял на фронтовых дорогах?»

Руки у него дрожали, колени подламывались. Плавка шла томительно медленно. Смена подходила к концу, соседние печи одна за другой выдавали металл, а пробы, взятые с печи Казымова, все еще показывали, что сталь не готова.

Точно в тяжелом сне, видел он, как кончилась смена, как уходила его бригада, как люди новой смены, явившиеся к печи, с удивлением и, как ему казалось, с насмешкой поглядывали на него. «Застрял?»

Зашел Шумилов, поздравил с началом работы, тряс руку, успокаивал. Но сталевар, подавленный своей неудачей, даже не слышал, что он говорил. Когда же наконец расплавленный металл хлынул по желобу и жаркие зарницы заполыхали в сизой полумгле цеха, Казымов без сил упал в свое алюминиевое кресло.

А тут еще появилась бойкая толстушка — учетчица соревнования. Заглядывая в рапортичку, она выписывала на висевших возле печей досках время плавок. Она начала с дальней печи и, постепенно приближаясь к Казымову, наконец подошла к доске, висевшей подле печи, на которой он работал, и с мучительной медлительностью вывела на ней: «Казымов П. П.». Потом с удивлением, проверяя себя, глянула в бумажку, подняла ниточки узеньких подбритых бровей, пожала плечами и под показателем Шумилова: «пять часов двадцать пять минут» рядом с фамилией Казымова написала: «девять часов десять минут». Это не было неожиданностью. Сталевар уже и сам знал, что страшно отстал от Володи. И все же это наглядное сопоставление укололо его так, что он даже зажмурил глаза.

Чувствуя себя совершенно разбитым, он с трудом поднялся с кресла и, загребая ногами шлак, поплелся в душевую. Его подручный, плескаясь под теплым дождем, что-то весело рассказывал толпе голых ребят. Красные, распаренные, они добродушно смеялись и вдруг как-то сразу смолкли, когда вошел Казымов.

Сталевар решил, что смеются над ним, круто повернулся и пошел прочь. Даже не умывшись, он наскоро оделся и бросился к выходу. Ему хотелось убраться отсюда прежде, чем подручный и его товарищи выйдут в раздевалку. Через цех сталевар почти бежал. Ему казалось, что все уже видели показатель его позора, выписанный на доске. Ему мерещилось, что люди укоризненно оглядываются на него: дескать, что же ты это, друг ситный, а ведь говорят, когда-то сам пример подавал.

VII

В дверях цеха он чуть не сшиб Зорина.

— Ты что же, и вторую ногу мне подбить решил, хочешь, чтобы партработа в цехе на обе ноги прихрамывала? — усмехнулся тот.— Ну, поздравляю с почином, как говорится, лиха беда — начало!

Улыбка, похожая на нервный тик, передернула лицо Казымова.

— Лиха.

Махнул рукой и хотел было пройти мимо, но секретарь крепко взял его за локоть.

— Куда, а доклад?

Только тут вспомнил Казымов о докладе, вспомнил и оторопел. Совсем из головы вон, не подготовился, плана не составил, даже не подумал, о чем говорить.

— Я не могу, нездоров...

Узкие глаза Зорина смотрели с пониманием и укоризной.

— Разве мне сейчас до доклада? Какой я докладчик?

И тут сталевар почувствовал на своей руке прикосновение мозолистой, шершавой от ожогов ладони секретаря.

— У меня, танкист, так же было. На фронте отделением командовал, а сюда пришел — какой-то мальчугашка, его в рукавицу сунуть можно, меня учить взялся. И главное, вижу — у него в руках ковш вальс танцует, а у меня ни тпру, ни ну. «Ах ты, думаю, мать честная, довоевался! Неужели, думаю, я, как стреляная гильза, только мальчишкам на свистульку и гожусь?» А ведь мне легче было,— продолжал он, помолчав мгновение,— меня тут никто не знал; товарищ фронтовик, и все.

Казымов, с благодарностью посмотрев на Зорина, приметил в его глазах теплые искры.

— Достижения мои на доске видел?

— Видел.

— Ну?

— А я по первости было и вовсе свой горшок о пол чуть не треснул...— И секретарь озабоченно заторопился.— Пошли, пошли, народ ждет. В Красном уголке полно набилось. Как же — событие, знаменитый Казымов говорить будет!

И действительно, в Красном уголке люди занимали все скамьи, сидели на столах, на подоконниках, шпалерами стояли вдоль стен. Ребята попредприимчивее расселись в

проходе, прямо на полу. Секретарь цехпартбюро незаметно мигнул кому-то в толпе. Послышались аплодисменты.

Казымов, обласканный, смущенный, с трудом пробирался меж скамеек к столу, торопливо соображая, с чего же ему начать.

На передней скамье сидел Володя Шумилов и рядом с ним — рослая девушка в нарядном синем халате, которую Казымов не раз видел в цеху. У нее было продолговатое, очень правильное лицо и большие, влажные, как определил про себя сталевар, «телячьи» глаза. Эти двое и окружающая их молодежь аплодировали пуще всех. Пришла, по-видимому, вся смена. В дальнем углу заметил Казымов даже самого начальника цеха, стоявшего у косяка с трубкой в зубах.

Первое, что бросилось ему в глаза,— молодость всех этих обращенных к нему лиц. Он, сорокалетний человек, был среди них едва ли не самым старшим.

На войне командир бригады особенно ценил Казымова за его умение в трудную, опасную минуту сохранять хладнокровие и ясность ума. Вот и теперь, очутившись на трибуне без подготовленного доклада, Казымов сразу овладел собой. Он улыбаясь смотрел в эти незнакомые ему молодые лица, и мысль его лихорадочно работала, в голове слагались тезисы. Теперь он знал, о чем будет говорить.

Когда секретарь, помянув его трудовые и боевые заслуги, предоставил ему слово, сталевар смело выступил вперед. Он начал вспоминать о том, как в первые дни оккупации, еще только развертывая свою комендантскую деятельность, пришел он на машиностроительный завод и потребовал, чтобы владелец познакомил его с передовиками предприятия. Он показал аудитории, как вытянулась физиономия промышленника. «Передовиками? Что это означает? Пусть господин офицер пояснит, что он этим хочет сказать?» Долго объяснялись через переводчика, и выяснилось, что даже самого слова «передовик» в том смысле, в котором оно у нас употребляется, не оказалось тогда в немецком языке.

Когда же наконец промышленник понял, чего от него хотят, он, желая угодить представителю комендатуры, весь просияв, заявил, что да, все-таки есть у него один такой передовик. Он изготовляет вдвое-втрое больше, чем остальные. Промышленник сам повел Казымова в механический цех. Там, в дальнем углу, в отгороженном фанерой закутке, работал худой, сутулый человек с длинным, лошади-

ным лицом. Рядом с ним работал мальчик, такой же худой, длиннолицый, являющийся как бы уменьшенной копией старшего. Увидев хозяина, длиннолицый моментально остановил станок, выдернул резец, бросил его в железный сундучок и, захлопнув крышку, вытянулся по стойке «смирно», приложив руки к швам старенького комбинезона. То же сделал и сын.

— Это зачем же? — раздалось из зала.

— А у них тогда заведено так было: как заводчик или фабрикант подходит, вытягиваются и едят хозяина глазами,— усмехнулся Казымов, чувствуя, что у него уже устанавливается контакт с аудиторией.

Слушатели засмеялись.

— А зачем он резец спрятал?

— Погодите, и до этого дойду.

Сталевар сам увлекся рассказом. Ему приятно было изображать перед этими юношами и девушками, для которых самые слова «заводчик», «фабрикант», «хозяин», «эксплуатация», «капитализм» были чисто книжными понятиями, как все это выглядит в натуре. И он чувствовал — его слушают, но слушают с недоверием, точно он рассказывал какую-то нелепую сказку.

Когда сталевар заявил, что тот, кого хозяин назвал «передовиком», отгородился фанерными ширмами от товарищей и прятал от всех резцы, чтобы сохранить тайну своего мастерства только для себя и своего сына, по рядам слушателей пробежал шепот. А когда Казымов рассказал, что другие токари подпаивали этого человека, безуспешно пытаясь выведать у него секрет, и даже раз жестоко избили его в пивной, что никто в цехе не подавал ему руки, шепот в зале начал нарастать, перерос в гул.

— Чего же ему от своих товарищей скрывать-то? — выкрикнул кто-то.

— Правильно, чего же. Они ж тоже, чай, рабочие, а не капиталисты какие-нибудь!

— Он сумасшедший был, да? — спросила вдруг с места девушка с «телячьими» глазами и неуверенно улыбнулась.

В рядах захохотали. Секретарь партбюро ухмылялся и, хитро посматривая на людей, бил карандашиком по стакану, но шум погасить не мог.

— Нет, он был в полном уме. Он просто хотел этим секретом застраховаться от безработицы.

Кто-то в зале сказал:

— Ничего себе, нашел метод...

Казымову уже весело стало.

— Слушайте, ребята, а кто из вас видел безработного? А ну, поднимите руку. Только не в кино, а настоящего, живого...

Руку поднял только сменный мастер с мартенов, крупный, усатый старик, банщик из душевой, да Зорин, который, улыбаясь, сидел за столом президиума.

В дальнем углу завязался оживленный спор. Слышался задорный голос:

— А ты чего шепчешь, скажи громко, скажи всем.

Чьи-то руки заставили подняться с места того самого веселого паренька, что работал подручным у Казымова.

— Ну, давай, о чем вы там? — спросил Зорин, привстав из-за стола, чтобы лучше видеть.

— Вот я им говорю, что и у нас так тоже было, а они ржут,— сказал наконец подручный.

— Это когда ж было?

— При царе, вот когда.

— Да ты-то сам где в те времена был? Помнишь?

— Ну как ему не помнить, он в сорок шестом году в фезеошном картузе бегал!

В задних рядах грохнул дружный смех. Казымов, улыбаясь, слушал всю эту веселую перепалку. Сам он пришел на завод еще в те, теперь уже казавшиеся бесконечно далекими, времена, когда старые мастера, таинственно шаманившие у печей, ревниво берегли свои производственные «секреты» и не открывали их новичкам. А вот для всех этих ребят, которые за последние семь лет заполнили цехи возрожденного завода и заняли места у самых сложных машин, все, о чем он рассказывал, было не только нелепо, но и просто невероятно.

— Скажите, товарищ Казымов, а этот вот заводчик, какой он? Ну из себя? — спросила та самая толстушка-учетчица, что безжалостно вывела сегодня на доске роковые цифры.

— А помещиков вы там видели?

Доклад Казымова неожиданно перерос в разговор о мерзостях капиталистического строя. В беседу включилось еще несколько фронтовиков, немало пошагавших по Европе. Ободряемый возгласами с мест, вступил в разговор старик банщик, помнивший прежних хозяев и хозяйские нравы...

Казымов ушел с завода поздно, его провожала до ворот толпа молодежи, все еще оживленно спорившая по дороге.

На людях было легко. Но как только сталевар остался один, среди метели, которая, как в день его приезда, кружась и приплясывая, носила по улицам тучи снега, он снова почувствовал всю тяжесть сегодняшнего производственного провала. Долго бродил он по завьюженным улицам, неся на шапке, на плечах целые подушки снега... Подходил к дому, к самому крыльцу и снова уходил, не решаясь войти. Он почему-то боялся, что Клавдия спросит, как поработалось ему сегодня. Что он на это ответит ей, помнящей его былую трудовую славу?

Он бродил до тех пор, пока в угловом окне не погас свет. Выждав еще с полчаса, он тихо пробрался в комнату, не зажигая лампочки, нашел свою постель, разделся, натянул одеяло и сразу заснул беспокойным сном.

VIII

На следующее утро Казымов шел на завод с тяжелым сердцем. Приближаясь к печи, он невольно краем глаза глянул на доску учета соревнования, глянул и облегченно вздохнул. Доска была чиста. Кто-то стер вчерашние его показатели.

Бригада уже возилась у стеллажей. Тут же был Шумилов, показывавший, как лучше размещать шихту. Мульды, как заметил Казымов, он располагал как-то по-своему, по-особому. Рядом, покуривая, стоял хромой Зорин.

— Здравия желаем, гвардия! — хохотнул он, крепко стиснув руку Казымова.— Ловко ты вчера молодежь взбаламутил. До сих пор говорят.— И вдруг сказал виновато: — Вот прощения просить у тебя пришел. Подручного твоего я сегодня с благословения начальника цеха на одно партийное дело мобилизнул. Так вот Володьку Шумилова упросил вторую смену подручным у тебя постоять. Не осерчаешь?

Усмехнувшись, секретарь подтолкнул вперед молодого сталевара.

— Говорит, за честь сочту поработать смену, другую со своим учителем.— Зорин покосил веселым цепким глазом на Казымова, на Шумилова.— Может, тебе такой подручный не люб, так ничего не попишешь, смирись, потерпи, авось сработаетесь... Ну, ни пуху вам ни пера!

Резко повернувшись, Зорин заковылял к своему ковшу, и Казымов приметил, как по пути завернул он обратно толстенькую учетчицу, нацелившуюся было со своим мел-

ком подойти к доске, должно быть для того, чтобы восстановить исчезнувшие показатели.

Шумилов жадно выпил кружку солоноватой газированной воды.

— Ох, смена была жаркая! А я, дядя Пантелей, даже немножко волнуюсь. Нет, право слово. Ведь ты когда-то для нас, фезеошников, разве только чуть пониже бога был. Честное комсомольское! Приходили, глядели на тебя, а потом по общежитию хвастались: видели Казымова. Я помню, ты огрызок карандаша уронил, а я подобрал и хранил: как же, сам Казымов писал:

— Это было, да быльем поросло. Теперь кто-нибудь твои карандаши собирает.

— Ну, где там! Я разве сейчас один? Я сегодня плавку за пять часов тридцать минут выдал, а Женька Курков — за пять тридцать пять, а Васильков Николай Павлович, тот и вовсе со мной рядом... Теперь, дядя Пантелей, шеренгой идем, а ты один дорогу нам прокладывал.

— Было, да прошло... Прошедшее время!.. Ну, так взялись, что ли, ребята?

Сегодня работалось заметно легче. То ли в общий темп начал входить сталевар, то ли необыкновенный подручный ухитрялся что-то неназойливо и незаметно за него делать, но только не чувствовалось уже вчерашнего надрыва. Движения Казымова становились увереннее и тверже,— он осваивался с новой механизацией.

Появилась возможность осмотреться, подумать. Да, здорово шагнула за эти семь лет техника сталеварения. Бывало, первым искусством сталевара считалось на глаз, по величине кристалликов на изломе пробы, по вмятине, которую оставляла на ней кувалда, определить, готов ли металл к выпуску. Люди годами учились этому мастерству, доводя его до степени творческой интуиции. А теперь, выходит, мастерство это вовсе и не было нужно. Приходила из экспресс-лаборатории миловидная девушка с «телячьими» глазами, именуемая Валей, брала осколок пробы в карман своего синего, выутюженного халатика и, украдкой улыбнувшись Шумилову, исчезала, стуча каблучками, а через малое время возвращалась с листком анализа.

Взяв у нее первый листок, Казымов небрежно бросил его на сиденье алюминиевого кресла, даже не взглянув на цифры. Валя обидчиво встряхнула кудрями и надула свои совсем еще детские губы.

— Пантелей Петрович на глаз определяет, с точностью

до десятых,— пояснил Володя и будто невзначай поднял листок анализа и искоса взглянул на него.

Глазами, улыбкой он просил девушку извинить такое странное чудачество старого сталевара.

— Ну и какой же, по-вашему, процент? — вызывающе спросила Валя, гордо посмотрев на Казымова.

Сталевар уже успел заметить, что Шумилова связывают с экспресс-лабораторией, помимо анализов, и еще какие-то особые дела и отношения. Он поднял брусок пробы, осмотрел сероватый, мутно искрящийся крупнозернистый излом, пощупал пальцем заусенец, оставленный кувалдой, и, подумав, назвал цифру.

Валя даже вскрикнула. Цифра точно совпала с результатом анализа. Впрочем, после этого случая Казымов перестал пренебрегать листками, приносимыми из лаборатории, Валя же в свою очередь после давешнего случая смотрела на него, как на колдуна. Наука и практика заключили союз полностью, искренне признав друг друга, к великой радости Володи Шумилова.

Результаты плавки в тот день у Казымова были не ахти какие, и все же по сравнению со вчерашним он значительно приблизился к заводской норме. Этот небольшой успех обрадовал его, как не радовали в свое время и рекорды скоростных плавок. Значит, дело пошло! Он постарался скрыть свою радость. Неторопливо сдал печь, поболтал со сменщиком и только после этого направился в душевую. Володя уже стоял у зеркала и тщательно проводил расческой аккуратнейший пробор на еще мокрых, лоснящихся волосах. Глядя на него, никто бы не поверил, что этот пригожий парень отработал в страшной жаре две смены подряд.

— Когда ты, дядя Пантелей, вчера про этого чудака немца, что резцы прятал, рассказывал, знаешь, что я вспомнил? — спросил Шумилов, старательно зачесывая волосы на висках.— Вспомнил, как к тебе перед войной этот знаменитый ленинградский сталевар приезжал. Вы еще с ним никак друг друга перегнать не могли: то он, то ты впереди. Ты тогда водил его к печи и показывал, в чем твои методы заключаются, а мы, фезеошники, глядим на вас и обмираем: что ж это он делает, как же это он его, на свою голову, учит!.. Кстати, когда у нас в техникуме инженер Фокин вступительную лекцию по сталеварению читал, он вас с тем ленинградцем вспоминал: основоположники новаторских методов. Во как!

— А ты и в техникуме учишься?

— А как же, кончаю! Тут у нас, при заводе. Вся наша комсомольская смена учится. Один Степка Корешков отлынивал. Мотивировал — молодожен, некогда. А теперь вот тоже на первый курс ходит. Жена, говорит, загрызла: все учатся, а у меня одной, несчастной, муж неуч.

В сумерки Казымов опять долго ходил по улицам. Ранний зимний вечер был морозен, ясен и чист. Звезды как-то разом высыпали на темно-фиолетовое от заводских отсветов небо, и было их так много, что казались они искрами, вылетавшими из труб. Снег скрипел под ногами прохожих. В свежем, колючем воздухе легко дышалось и хорошо думалось.

«Отстал, ну и что ж! Ведь не из-за лени, не с удочкой на берегу просидел эти годы. Радоваться надо, что за это время такие, как Володька, выросли и производство увели вперед!.. Нет, все-таки плохо, стыдно так работать, колени слабеют, руки трясутся, как у новичка!.. И все-таки радоваться, радоваться надо. Старый завод на Урале обосновался, а тут уж новый на полную мощь, во все свои трубы дымит.

Вот новая какая-то улица, совсем незнакомая, большие дома, в иных уж окна светятся, а иные только из земли поднимаются. Стой! Какое же это место? Да это ж старая слободка, где Шлыковы жили. Ну и ну! Клавдия, поди, и сама не отыщет теперь, где их домик стоял! А трудно ей, бедной, после такого довольства да в одной комнатенке, да с сынишкой, да целый день баранку вертеть! Нелегкая работа.

Трудно, а не скулит. Красный флажок ей к радиатору прикрепили. Молодец! А ведь была просто мужней женой, «хорошенькая бабенка» — и все... Славная женщина! Стойкая! Вот у кого вам, товарищ гвардии старший лейтенант, мужеству поучиться надо. Да, да, да! И не давать заднего хода после первых же захлебнувшихся атак, а жать на полный да догонять Володьку Шумилова, черт бы его, длинноногого, побрал с его показателями!»

Казымов зашел в магазин, накупил всяческой снеди и с целым ворохом кульков вернулся домой. Хозяйка, подчеркнуто аккуратная в тщательно выглаженном ситцевом платье, что-то шила, склонясь у стола. Она подняла взгляд на свертки, глаза ее усмехнулись, повеселели, и, должно быть для того, чтобы сохранить равнодушный вид, она долго и с особым старанием разглаживала ногтем шов.

— Тут без вас один заходил, сверток вам оставил, здоровый такой парень, краснолицый — ясно солнышко.

— Не ясно солнышко, а знаменитый сталевар Владимир Шумилов. Знать надо. Его портрет на демонстрации несли,— строго поправил Славка, отрываясь от тетради, и осведомился: — семь и девять будет шестнадцать?

В свертке, принесенном Шумиловым, оказался литографированный курс лекций по сталеварению, читанный в вечернем техникуме заводским металлургом, инженером Фокиным. Во вступительной лекции красным карандашом были тщательно отчеркнуты слова: «Рекорды скоростных плавок, достигнутые в свое время Пантелеем Казымовым и другими зачинателями скоростного сталеварения на нашем заводе, сейчас уже, конечно, не являются достижениями. Но в свое время они подняли на трудовые подвиги сотни сталеваров, они будили инициативу и прокладывали путь к массовому подъему производительности труда. Сейчас, приступая к изучению практики сталеварения, мы должны с уважением вспомнить имена этих новаторов-зачинателей, которые для всех вас прокладывали путь».

Снова и снова перечитывая заботливо отчеркнутые Володей строки, Казымов почувствовал, что глаза у него заволокло и все кругом: литографированные, свертывающиеся трубочкой листы, и обращенная к нему круглая рожица Славки, и лампочка, и комната — все потеряло четкость очертаний и задернулось серой пеленой.

— Пантелей Петрович, вы чего? — спросил из этого теплого тумана испуганный Славкин голос.

— Я? А что я? Ничего,— испугался Казымов.

Он порывисто вскочил, рассыпав по полу листы лекций, отошел к фотографии, где он сам, Славкин отец и двое других заводских новаторов были сняты в счастливый день их жизни. «Прокладывали пути». Точно. Прокладывали, проложили. А теперь вот самому приходится догонять тех, кто ушел по этим самым путям так далеко, как и не смели мечтать в свое время Казымов и его товарищи. Эх, время, время, сколько его упущено! Но догонять надо, догонять и догнать, а то вот так и будут «с уважением вспоминать», точно покойника.

— Пантелей Петрович, от пятнадцати отнять восемь будет семь? — осведомился Славка, снова погружаясь в премудрость арифметики.

— Ни о чем ты, Святослав, у меня не спрашивай. Ни черта я, брат, по теперешним временам сам не знаю. Ско-

ро, должно быть, к тебе на выучку идти придется,— ответил жилец, и мальчик не понял, в шутку или всерьез тот сказал.

И тут Клавдия впервые увидела настоящую улыбку на худом, рассеченном шрамом лице квартиранта. Правда, тревога в глазах его не погасла, а только как бы отступала в глубь зрачков. Но все же это была улыбка, и она почему-то напомнила женщине робкий и неуклюжий побег, что однажды выбросила весной обезглавленная снарядом старая ива, росшая во дворе их гаража. Это было старое дерево с шершавой потрескавшейся корой. Казалось, дерево это давно умерло, и не спилили его лишь только потому, что к нему была прибита доска диспетчерского графика. И вдруг этот побег — живой, зеленый, с быстро набухающими почками. И весь гараж, даже помпотех Гусев, разжалованный из механиков за работы «налево» и пристрастие к женскому полу, все с интересом следили, как растет, крепнет этот первый знак возрождения дерева.

Но улыбка сошла с лица Казымова. Губы снова плотно сжались, две полукруглые, глубокие, точно вычерченные гвоздем складки обозначились на щеках.

IX

Клавдия проснулась среди ночи.

Лампа в комнате еще горела. Она была так искусно затемнена газетой, что, оставляя все в густом мраке, бросала лишь узкий луч на стол. Склонившись над литографированными листками, Казымов тер ладонью свой крутой и упрямый лоб, довольно сопел порой, откинувшись на спинку стула, задумчиво барабанил по столу пальцами, что-то шептал, точно вытверживая наизусть. Потом резким движением отодвинул все, что было перед ним на столе, и стал писать в Славкиной тетрадке.

Наблюдая за жильцом из полуопущенных ресниц, Клавдия порадовалась, не увидев в зубах Казымова дымящейся папиросы.

С того дня сталевар стал возвращаться с завода пораньше. Наскоро обедая, очищая стол, ставил на нем чернильницу и, возбужденно потирая руки, говорил:

— Ну, Святослав, сели за уроки.

И они садились друг против друга: Славка — за букварь и задачник, жилец — за курс лекций по сталеварению.

К этим совместным занятиям Славка относился с величайшей серьезностью. Принеся из школы пятерку, он сейчас же докладывал об этом жильцу, докладывал и спрашивал, а какие же тот принес отметки. Казымов ласково гладил круглую, жестко щетинившуюся головку мальчика:

— А мне, брат Святослав, баллов еще не выставляли. Рано. Время не пришло. Ну, сели за тетради, что ли?

Занимался теперь Казымов каждый день. Прочитав вступительное слово главного металлурга, он сразу заинтересовался, увлекся и вдруг понял, что эти лекции — как раз то самое, чего ему не хватает. Он перешел к разделу «Заправка печи», но тут же споткнулся о несколько химических формул. Сталевар задумался. Ну и ну, этакую лекцию не грех послушать и техникам! И вдруг, наливаясь веселой энергией, решил про себя, что должен одолеть весь курс, одолеть, чего бы это ни стоило, одолеть самостоятельно, не прибегая ни к чьей помощи.

Не все и не сразу понял Казымов из того, что говорилось в лекциях. Кое о чем он все-таки расспрашивал потом Володю Шумилова, а за иными пояснениями пришлось обращаться и к техническим консультантам в клуб, рыться в специальных журналах.

Его подручный все еще не появлялся в цехе. Шумилов по-прежнему замещал его, оставаясь на вторую смену. Живое общение с носителем знаний и опыта, о которых говорилось в лекциях главного металлурга, помогало Казымову, как он мысленно говорил себе, «бросать полученные знания с ходу в бой».

Теперь он не стеснялся приходить в цех, когда Шумилов сам варил сталь. Ревниво наблюдал он за ловкими, точными движениями молодого сталевара, следил за тем, как тот готовит печь к заправке, как организует завалку, как ведет плавление, как регулирует время между предварительным раскислением и выпуском металла. Он наблюдал за работой, стараясь осмыслить все виденное, а потом, когда Володя становился к нему в подручные, Казымов стремился все это осуществить. Он уже смело нагонял жар во время завалки, но когда шло плавление, опасаясь поджечь свод и испортить все дело, он все же не решался приближаться к предельной температуре, на которой смело и уверенно вел процесс Володя.

Эта робость, появившаяся в результате первых неудач, больше всего тяготила сталевара, портила ему настроение и раздражала.

Иногда в свободную минуту к печи приходил Зорин. По обыкновению своему, молча протягивал коробку с папиросами, закуривал сам.

— Ну как, гвардии сталевар, кипит каша?

— Вот погодите, товарищ Зорин, дядя Пантелей всем нам еще задний буфер покажет,— отвечал Володя, жадно глотая из кружки газированную воду.

— Опять «дядя Пантелей»! Ну что ты его в старики пишешь, какой он тебе дядя. Я его сватать собираюсь, уж и невесту приглядел, а ты «дядя»! — балагурил Зорин, щурясь от жарких отсветов, отбрасываемых кипящей сталью.— Погоди, вот с перевыборами управлюсь, освобожусь маленько, вместе оженю и дядю и племянничка сразу. Надо же о новых поколениях сталеваров заботиться!

Хитрые глаза Зорина насмешливо посматривали на Шумилова. Володя смущенно отворачивался.

— И чего придумаете только!..

— А ты не красней. Секретарь партбюро должен и сквозь стену видеть... А твой секрет у меня вот где сидит.— Зорин улыбаясь бил себя по шее.— Меня твоя экспресс-лаборатория вовсе загрызла за то, что я казымовского подручного мобилизовал, тебя, видишь ли, загрузил, и ей на каток ходить не с кем!

— Неужели говорила? — Лицо Володи откровенно сияло.

— А то как же. Я говорю: «Валенька, мой грех, мой ответ. Пойдем на каток со мной. Гвардеец. Кавалер трех орденов». Какое там: отдавай ей Володьку. Никаких резонов не принимает.

Пошутив, пожелав «дяде с племянничком» успехов, Зорин ковылял к своему ковшу, кому-то улыбаясь, кому-то приветливо помахивая на ходу рукой.

Удивительный это был человек! В цехе он умел быть незаметным, ничем среди других не выделялся, и все же все чувствовали его присутствие, его дружескую, крепкую руку. И когда парторг уходил, Казымову казалось, что всякий раз он оставлял ему частицу своей неиссякаемой веселой бодрости.

Появлялась Валя. Отдав сталевару листок с анализом, она чинно усаживалась в алюминиевом креслице и, будто дожидаясь очередной пробы, многозначительно поглядывала на Володю. Шумилов с самым деловым видом начинал делать сложные маневры, в результате которых будто бы невзначай приближался к девушке. Убедившись, что Ка-

зымов занят, он наклонялся к Вале. Они торопливо обменивались беглыми фразами, смеялись чему-то своему. Казымов старался в таких случаях сделать вид, что весь поглощен работой, наблюдал за пламенным кипением металла или нарочно поднимался к стеллажам, следил за подготовкой шихты. Сталевар невольно любовался блеском глаз молодой пары, ярким румянцем щек; от обоих веяло такой пленительной молодостью, чем-то таким свежим, весенним, будто в цех вносили ветку распускающегося тополя. И хотя искусство на глаз, по одним внешним признакам, точно определить содержание углерода в пробе не изменило сталевару и каждый новый анализ только подтверждал это его уменье, Казымов теперь обязательно направлял пробы на анализ, и представитель экспресс-лаборатории имел повод часто появляться у печи.

X

Прежний подручный вернулся к печи, когда Пантелей Казымов уже освоился и в иные дни достигал своего довоенного съема стали.

Правда, когда Володя оставил бригаду, съем сразу упал. Но это уже не испугало сталевара. Он твердо стоял на ногах и в несколько дней, спевшись с возвратившимся подручным, наверстал упущенное.

Толстенькая девушка, учитывавшая соревнование сталеваров, каждый день отмечала на доске рост производительности первой печи. В иные дни Казымов уже приближался к выработке своих соседей. Но до Володи Шумилова ему еще было далеко, и он уходил с завода неудовлетворенный.

До былого, настоящего мастерства, каким он славился до войны, до того счастливого состояния, когда, думая о работе, испытываешь радостное волнение, когда в цех спешишь, как на любовное свидание,— до этого еще было далеко. Казымов это понимал и всячески старался свое прежнее, теперь уже явно недостаточное, умение обогатить всем тем новым, что за годы его отсутствия внесла в сталеварение советская наука и работа таких людей, как Володя Шумилов.

Но он не хотел вызубривать готовые рецепты, механически воспринимать это новое. Легкий путь казался ему недостойным, он, работая, старался по-новому переосмысливать весь технологический процесс, а дома из книг и

журналов уяснял физику и химию сталеварения, чтобы теперь не наощупь, не по чутью, как это было до войны, а сознательно управлять ими.

По-прежнему по вечерам вместе со Славкой он «учил уроки», склоняясь то над курсом лекций, то над книжкой технического журнала, то над «стахановскими листками», в которых обобщался опыт передовых сталеваров страны. Но когда мальчик интересовался, какие отметки получает жилец, Казымов хмурился:

— Плохие, брат Святослав, плохие. Из троек не вылезаю!

— Как в нашем классе Зенушкин,— понимающе кивал Славка.— Он тоже все тройки да тройки получает. Он говорит, больше ему и не надо. Во второй класс и с тройками переводят.

— Врет ваш Зенушкин, не верь ему, Святослав: не такое нынче время, чтобы на тройках тащиться,— с улыбкой возражал мальчику Казымов.— Нынче и четверки маловато, нынче на самый полный жать надо.

И, потирая свой лысоватый лоб, сталевар еще усерднее склонялся над бумагами.

Клавдия с улыбкой посматривала на них обоих, и на миловидном курносом лице ее появлялось задумчивое и тревожное выражение.

XI

А будильник на комоде звонко и неутомимо отстукивал время. Отшумели февральские метели. В прозрачные, зеленоватые утра уже попахивало талым снежком.

Вместо старых друзей, работавших где-то на Урале, появились у Казымова новые, и первый среди них — Зорин, у которого всегда, когда нужно, оказывались припасенными сочувственная улыбка и хороший совет. Сталевар привык к своему пристанищу. Ему обещали квартиру в новом доме, который уже заканчивался. Но он не торопил начальство. Может быть, еще даже и не отдавая себе в этом отчета, он даже побаивался того часа, когда ему придется переселяться в новое, благоустроенное жилье.

Он не очень разбирался в своих ощущениях, но тут, у Шлыковых, приютивших его в трудную минуту, он чувствовал себя очень хорошо. Его не тянуло ни к каким переменам.

Будто никогда и не было того хмурого серого утра, когда он, по солдатской привычке, взялся за тряпку и веник. Клавдия оказалась очень чистоплотной хозяйкой. Являясь с завода и из школы, Казымов и Славка должны были тщательно вытирать в сенях ноги, а дома переобуваться в тапки, которые ждали их у порога. Сама же Клавдия, вернувшись из гаража, торопливо брала из шкафа платье, исчезала и появлялась из умывальной переодетая, свежая, с тщательно уложенной узлом прической, с каплями воды на пушистых русых волосах.

Чистоты, может быть, было теперь даже и многовато, но Казымов покорно собирал пепел, если тот, не приведи бог, сыпался с папиросы на белый, чисто выскобленный пол, а заслышав в коридоре легкую, стремительную походку Клавдии, уже почти инстинктивно прятал окурки в карман.

В маленькой комнате у него был теперь собственный угол. Он купил кровать, тумбочку, ширму, чтобы не торчать постоянно на глазах, и даже провел себе к изголовью электричество. Теперь он мог, сидя на кровати, читать и работать, не беспокоя хозяев. Клавдия прибила ему над постелью пестрый коврик, отыскала в его вещах фотографию покойной жены и ребят, вставила ее в рамку из морских ракушек и повесила над кроватью. Так была утверждена автономия Казымова в этом тесном послевоенном жилье.

С хозяйкой у Казымова установились ровные, добрые отношения. Работая в разных сменах, в будни они виделись редко и разговаривали мало. Но каждый раз, отправляясь на завод, сталевар находил в кармане шинели завтрак, аккуратно завернутый в газету. Вернувшись с работы, он видел на столе записку, сообщавшую о том, что в углу его ждет закутанный в полушубок обед, что за окном следует взять к щам сметану, а что масло для каши не в пузатой склянке, а в круглой баночке. Когда же, поднявшись чем свет, Клавдия принималась за стряпню, ее ждала у печки охапка аккуратно перевязанных телефонным проводом дров. За провод был засунут пучок лучины. В стенном шкафчике всегда лежали капуста, картошка, лук, мясо. Чтобы купить все это, Казымов заворачивал по пути с завода на колхозный рынок.

По субботам жилец с хозяйкой подолгу засиживались за сверкающим самоваром, приобретенным Казымовым специально «для уюта», и под сонное его пение Казымов

читал вслух газету, иногда Клавдия своим ровным, глубоким и звучным голосом читала какой-нибудь рассказ из «Огонька».

И еще одно объединяло их: оба изучали историю партии. Жилец, ушедший на две главы вперед, терпеливо консультировал хозяйку. Эта учеба увлекала обоих. Главы истории будили воспоминания, подсказывали жизненные ассоциации. Неразговорчивый Казымов оживлялся, начинал припоминать различные случаи из своей жизни, приводил примеры. Он рассказывал о том, как мальчишкой присутствовал на похоронах Ленина, как разговаривал с Орджоникидзе, приезжавшим к ним на завод, как видел Сталина на совещании стахановцев в Кремле. Беседа над томиком истории партии затягивалась иногда за полночь, пока кто-нибудь из них, взглянув на часы, не спохватывался и не вспоминал, что завтра нужно рано вставать.

Но порой, и это бывало довольно часто, посреди разговора Казымов задумывался. На его худом, пересеченном шрамом лице углублялись морщины, а на высоком упрямом лбу выступали борозды, глубокие, как шрам. Он так уходил в себя, что не слышал уже ни слов Клавдии, ни настойчивых вопросов Славки, постигавшего теперь тайны умножения и деления. В комнате наступало тягостное молчание. В такие минуты Клавдия чувствовала странное волнение. Иногда ей хотелось плакать, а иногда — прижать к себе эту лысеющую голову, разгладить рукой борозды на крутом и упрямом лбу.

Сталевар не догадывался об этих ее мыслях. Он попрежнему относился к хозяйке квартиры с застенчивым уважением, даже с некоторой боязнью. Когда иной раз соседки по общежитию отпускали шуточки в их адрес, а соседи принимались добродушно попрекать Казымова тем, что он «зажиливает» свадьбу, сталевар в ответ только густо краснел, отмалчивался, опасливо косился на дверь, боясь, что до хозяйки могут дойти эти разговоры. Клавдия была для него вдовой погибшего боевого товарища, память которого он свято чтил.

Так или иначе, но с хозяйкой он чувствовал себя легко и просто. Ничто не нарушало покоя их субботних чаепитий и праздничных воскресных обедов. А вот отношения со Славкой начинали Казымова серьезно беспокоить.

Мальчик родился в год объявления войны и отца не знал. Выросший без мужской ласки, он с каждым днем все

больше привязывался к жильцу. Сначала они просто подружились, и дружба их носила деловой характер. Смышленый Славка охотно бегал в лавочку за папиросами, с тем чтобы на обратном пути съесть заработанную таким образом вафлю с кремом. Казымов же терпеливо учил мальчугана писать по косой линейке, с серьезностью, которая так нравится детям, слушал, как Славка декламирует первые выученные стишки. Он умел ловко выдумывать для своего маленького приятеля самые затейливые задачи по арифметике.

— Мама, уходя на работу, оставила нам в кастрюле восемь картошек. Пять из них слопал Славка. Сколько осталось мне?

— Славка принес сегодня одну четверку и две тройки. В задаче спрашивается, сколько четверок и троек получит он в неделю, если не подтянется и не станет лучше учиться?..

Мальчик очень любил эти задачи. Он готов был часами решать их.

Но эта чисто мужская дружба сразу же приобрела новую окраску с тех пор, как однажды Казымов рассказал Славке об его отце, знаменитом прокатчике Шлыкове. Мальчик слушал, затаив дыхание. На следующий день он робко попросил жильца рассказать, как отец воевал. Казымов, начавший войну вместе с Шлыковым и до самого Сталинграда служивший с ним в одной танковой роте, пустился рассказывать о командире танка все, что запомнил о нем. Мальчик слушал, не спуская глаз с жильца. С тех пор, едва только Казымов показывался на пороге, его уже встречал жадный взгляд круглых Славкиных глаз. После уроков школьник и сталевар долго беседовали о подвигах ефрейтора Шлыкова.

Эпизодов из жизни друга хватило Казымову на неделю. Потом истории иссякли. Но Славкины глаза по-прежнему выражали такую жгучую просьбу, и сами эти детские, наивные, зеленовато лучившиеся глаза так остро напоминали сталевару о собственном покойном сыне, что он не выдержал и, не умея выдумывать, стал говорить мальчику о том, что случалось на войне с ним самим, старшим лейтенантом Казымовым. А потом, когда и его собственные истории оказались исчерпанными, он махнул рукой и начал приписывать покойному Шлыкову подвиги всех своих однополчан, какие он только помнил и знал. Славка был ненасытным слушателем, и когда стрелки на будиль-

нике предательски незаметно подкрадывались к девяти, матери чуть не силой приходилось отрывать сына от постояльца и загонять его в постель.

Славка теперь без Казымова просто жить не мог. Когда сталевару случалось иной раз задержаться на заводе, его непременно встречала у проходной маленькая иззябшая фигурка в ушанке. Но что особенно смущало Казымова,— он сам с каждым днем все крепче привязывался к мальчику. Славка прочно врос в его душу, должно быть заполнив в ней все оставленные войной пустоты. Казымов просто не представлял себе теперь, как он расстанется со своим маленьким другом.

XII

По воскресеньям Казымов и Славка утром вместе ходили в баню, а оттуда прямо с узелками направлялись в кино или в цирк. В антрактах закусывали в буфете, тянули ситро, ели пирожное, а потом неторопливо, пешком шли домой через весь город, каждый раз выбирая новую дорогу. На обратном пути они с хозяйским удовлетворением следили за тем, как город залечивает нанесенные войной раны, останавливались у построек, смотрели, как кладут новые трамвайные линии.

Оба, взрослый и маленький, одинаково радовались, видя, как гигантские руки кранов легко поднимали ввысь тяжелые клетки с кирпичом, словно то были игрушечные кубики, и бережно опускали их к ногам каменщиков, стоявших на гребне стены, как стальные ковши своими несокрушимыми зубами вгрызались в мерзлый грунт и как вереницы низко приседавших от тяжести груза машин тянули на стройки кирпич, бутовый камень, арматуру. Они стояли на незнакомой улице и радовались, будто все эти люди строили их собственный дом.

Иногда Казымов нарочно сворачивал в «Поселок ударников», где когда-то его семья занимала половину хорошенького деревянного дома. Название это теперь было чисто условным. Никакого поселка не было. Оставляя город, фашисты начисто сожгли его. Первое время, когда за железнодорожным переездом вместо привычного вида ровных шеренг одинаковых, обнесенных аккуратными заборчиками домиков перед Казымовым открывались две ровных линии больших каменных строек, сердце сталевара тоскливо сжималось.

Под какой-то из этих недостроенных громад, под какой именно трудно было даже и угадать, так как исчезли все знакомые ориентиры, находились когда-то маленький деревянный дом, где жил Казымов, молодой садик, выращенный его заботами, цветничок в палисаднике, где так любила по вечерам возиться с лопаткой его жена. Родные образы вставали перед сталеваром. И хотя семья его была похоронена далеко, в незнакомом ему уральском городке, Казымову казалось, что один из этих домов стоит на дорогих могилах. От таких мыслей его брала тоска.

Чуткий Славка, ничего не понимая, заглядывал в побледневшее лицо жильца:

— Что с вами, Пантелей Петрович? Опять рана болит, да? А вы обопритесь на меня, я крепкий, вам легче будет,— настаивал мальчик, подставляя под руку Казымова плечико.— Ведь рана? Верно? Может, сядем, отдохнем?

— Она, она, Славик,— тихо говорил Казымов и ускорял шаг, чтобы быстрее миновать место, к которому когда-то спешил он и с радостью и с горем.

Но постепенно этот тоскливый страх перед исчезнувшим пепелищем стал проходить, и однажды, в яркий день первого апрельского воскресенья, когда тяжелая капель звонко долбила оттаивавшую землю, а воробьи истошно орали на перекрестках, оживленно обсуждая срочные весенние птичьи дела, Казымов со Славкой задержались около дома с колоннами. Дом уже сбросил с себя паутину лесов, и они залюбовались лепкой очищенного фасада.

— Чей дом, кому строите? — спросил Казымов у дюжего детины, несшего на плече пару длинных, волнисто прогибавшихся в такт его шагам тесин.

— А вон того завода,— отозвался плотник, ткнув прокуренным пальцем в сторону, где мартены окрашивали прозрачное весеннее небо в грязновато-блеклые тона.— Рабочий класс, что ли, расселят... Закурить нет?

Закурив из коробки Казымова, а вторую папироску положив про запас за ухо, плотник плутовато прищурился.

— Такие квартирки, я тебе скажу, ого-го! Калориферы, ванные, мусоропроводы! Сам бы жил, да деньги надо.

Казымов и Славка подождали, пока вздрагивающие, гулко хлопающие друг о дружку тесины, золотом отливавшие на солнце, скрылись за углом. Сталевар вздохнул, потом улыбнулся, потом заговорщически подмигнул и предложил Славке зайти в ресторанчик на углу. Мальчик

знал, что это у жильца признак отличного расположения духа.

Заказали любимые Славкой трубочки с кремом, и, пока он с наслаждением причмокивал, облизывая пальцы, Казымов думал о том, что скоро в этом или в каком-нибудь другом из новых домов дадут ему жилье и нужно будет расставаться вот с этим шустрым смышленым человечком, так беззастенчиво и прочно оккупировавшим его сердце.

Было бы, конечно, здорово взять его с собой, если бы Клавдия позволила ему усыновить мальчика. Как бы славно они зажили! Но с какой стати она разрешит это чужому человеку? Да нелепо и мечтать взять у матери, да еще у такой матери, единственного сына, похожего к тому же на своего покойного отца, как отливка на модель.

«Вот если бы на ней жениться — это сразу бы все и решило!»

Эта мысль, сама по себе никогда Казымову на ум не приходившая, так его поразила, что он даже сердито фыркнул, покраснел и растерянно взглянул на Славку.

— Что с вами, Пантелей Петрович? — осведомился мальчик, отрываясь от трубочки и преданными глазами глядя на своего друга.— Опять рана?

— Хуже,— отозвался Казымов, отводя глаза.

С маху он опрокинул в рот рюмку водки, поморщился, понюхал корочку.

— Человек, Славка,— существо мечтательное. Он тем и хорош, что ему всегда всего мало. Он иной раз в мечтах своих такую высь заберет, что осмотрится — и страшно ему станет...

Пристыженно отворачиваясь, Казымов всячески старался отогнать эту неожиданно возникшую мысль. Весь завод знал, как согласно жили когда-то супруги Шлыковы. Клавдия и сейчас словно бы даже хорошеет и вся будто светиться начинает, когда он рассказывает Славке свои истории о подвигах ефрейтора Шлыкова. И сколько раз, тихо войдя в комнату, заставал Казымов женщину перед фотографией покойного. Стоит, смотрит, и глаза печальные, печальные... А как она сердилась, рассказывая однажды о том, что их помощник по технике Гусев — признанный гаражный сердцеед и ухарь — неожиданно для всех вдруг сделал ей всерьез предложение. Клавдия говорила об этом на кухне, как о кровной обиде. Сердитым румянцем пылали ее щеки, глаза метали гневные искры, и все соседки, качая головами, осуждали «хитрого гуся».

Нет, мысль о сватовстве нужно выкинуть из головы. Еще с квартиры сгонит.

Однако когда они со Славкой вернулись домой и Клавдия, раскрасневшаяся у плиты, в праздничной вышитой кофте, которая очень шла к ее открытому лицу, встретила их румяными пирогами, вкусно дымящимися на столе, Казымов против воли как-то по-новому взглянул на нее. И вдруг ощутил необыкновенное стеснение, какого никогда еще при ней не испытывал.

«Вон она какая красавица, а у тебя с темени последний цыплячий пух слезает. Стыдись»,— с досадой одернул он себя, усаживаясь за стол.

В этот вечер Казымов чувствовал себя так неловко и связанно, что боялся глаза поднять на хозяйку. Клавдия же, как и всегда за праздничным столом, была молчалива и немного торжественна. Она неторопливо наполняла тарелки, передавала закуски, не забывала и о рюмке жильца. Но если бы Казымов не был так смущен своим неожиданным открытием, он бы, вероятно, заметил на лице хозяйки тревогу, которую она хотела и не могла скрыть.

Славка оказался наблюдательней.

— Мама, ты почему сегодня какая-то такая...— начал было он.

— В тарелку смотри,— неожиданно сердито одернула его мать.— Наестся с утра пирожных, а за обедом только в супе ложку купает. Ешь!

Когда доели компот, Клавдия, точно преодолевая в себе что-то, не очень натурально спохватилась:

— Ах да, совсем из головы вон. Ведь вам, Пантелей Петрович, телеграмму управленческий курьер принес.

Она протянула через стол сложенный телеграфный бланк, слегка дрожавший в ее полной, крупной руке.

Сразу почему-то взволновавшись, сталевар взял телеграмму и не заметил при этом, что наклейка надорвана.

Это была телеграмма с Урала, с завода-двойника. Начальник цеха, у которого работал когда-то Казымов, знакомый сталевару инженер, подписывавшийся теперь уже как парторг ЦК, и несколько друзей по мартенам звали старого товарища к себе, на родной завод, утвердившийся на новом месте.

Пока Казымов читал вслух эту дружескую весточку, от которой у него радостно заколотилось сердце, Славкины глаза расширились от страха. Клавдия сидела рядом с мальчиком, глядя вниз, холодная и спокойная. Но паль-

цы ее рук, лежавших на коленях, яростно терзали и мяли корочку хлеба.

— Помнят, а? Сколько лет прошло, а помнят Казымова. Узнали, что вернулся к печи, и вот, пожалуйста, зовут,— растроганно говорил сталевар, любовно разглаживая на столе телеграмму.

— Пантелей Петрович, не ездите, ну их! У нас хорошо, у нас лучше! — крикнул Славка, и голос его зазвенел.

— Молчи, какое нам дело,— строго сказала мать, и лицо ее стало еще спокойнее и неподвижнее.

Казымов тревожно поглядел на нее. Он еще ни разу не видел ее такой. В глазах Славки стояли слезы.

— Ведь вы не поедете, да? Ишь, хитры, поезжай к ним! Какие!

Казымов с задумчивой улыбкой смотрел на мальчика. Вот он действительно к нему привязался. Не то что его мать. Ей что, ей, вероятно, и лучше — в комнате попросторней станет. Казымов вздрогнул.

— Опоздали они... Я, брат Святослав, уже к новым дружкам, к новой печи сердцем прикипел. Нет мне отсюда ходу. Понятно?

Славка просиял. Заплаканные его глаза сверкнули сквозь слезы, как солнце сквозь пелену весеннего, крупного, медленно падающего дождя.

— И верно, а то нашлись умники, пусть сами сюда едут...

Удивленный и обрадованный таким очевидным доказательством любви своего маленького друга, Казымов не заметил, что и мать мальчика облегченно вздохнула. Ее пальцы, крошившие корку, разжались под скатертью; спокойным, неторопливым жестом собрала она в ладонь крошки и стряхнула их в тарелку.

Когда пришло время ложиться спать, Казымов, попрощавшись с хозяевами, не скрылся у себя за ширмой, как это он обычно делал, а вышел в кухню и долго курил там, слушая смех, пение, завывание патефонов и повизгивание гармошки, глухо доносившиеся из других комнат в этот праздничный вечер. Когда, по его расчетам, Клавдия с мальчиком уже улеглись, он снял сапоги и на цыпочках пробрался к себе в угол.

Он долго не мог заснуть. Слушал ровное, спокойное дыхание матери и сына, доносившееся до его угла. Думал о том, что строителям недавно «записали» на райкоме за то, что они медлят со сдачей новых жилых домов, думал

о доме, в котором и ему будет предоставлена квартира, и ему очень не хотелось, чтобы те, кто ее достраивал, ускоряли свою работу.

XIII

Как-то между Казымовым и Славкой произошел вечером такой разговор.

— Ну вот, брат, теперь и я четверки получаю,— не без удовольствия сказал сталевар, сняв шинель и довольно потирая руки.

— А у меня пятерки по арифметике и по чистописанию,— безжалостно похвастался мальчик.

— До пятерки мне еще далеко. Но будет, будет и пятерка! Разобьюсь, а на пятерку работать стану.

После этого разговора прошло немало дней. Давно уже по съему стали с квадратного метра пода печи Казымов сравнялся с самыми передовыми бригадирами, а в области скоростных плавок уступал разве только Шумилову. Но он упорно продолжал учиться, искать, ставить опыты. Сталевар не давал покоя ни себе, ни своему подручному, ни даже бригадиру шихтного двора, который про себя прозвал сталевара «психом» и стал его просто побаиваться.

Под угрозой отчисления из бригады он заставил учиться даже самого ленивого из своих людей, молодого еще совсем парнишку, увлекавшегося главным образом танцами. А когда тот вякнул было, что заставлять его насильно учиться никто не имеет права, Казымов сказал фразу, которая быстро обежала цеха:

— Вот закажем для тебя стеклянный ящик, поставим у проходной и дощечку прибьем: «Неуч». И будут люди на тебя дивиться, как на ископаемое какое.

К бедному парню эта кличка так и пристала. С легкой руки Казымова тех, кто отлынивал от учебы, стали в шутку звать «ископаемые». Словцо это вошло в заводской быт настолько, что Зорин, делая отчет о состоянии учебы, так и сказал, к общему веселью: «А ископаемых у нас еще хватает. Богатая коллекция».

В учебе люди Казымова подавали пример. Во главе со сталеваром вся бригада ходила на технические доклады, на демонстрации опытов, и когда однажды подручный не явился в клуб на лекцию Володи Шумилова, посвященную скоростным плавкам, Казымов предупредил его, что если это повторится еще раз, они простятся навсегда. Ребята из

бригады, которым не хватало теперь времени ни на кино, ни на танцы, ни на каток, потихоньку ворчали на своего неистового сталевара, ворчали, но слушались и проникались к нему все большим уважением. Они даже, пожалуй, уже и любили этого вечно недовольного собой и такого требовательного к себе и другим человека, доставлявшего им немало беспокойств.

Путем длительных и настойчивых исканий Казымов постепенно вырабатывал свои приемы заправки печи. Приемы эти должны были, по его мысли, экономить не только время, но и драгоценное тепло. Умело управляя факелом пламени, тревожа металл то завалочной машиной, то искусно рассчитанными дозами ферросплавов, он энергично вмешивался в процесс плавления и тем самым сокращал время плавки.

Теперь, уже всерьез подружившись с Валей, он в конце варки давал сталь на анализ через каждые пятнадцать, даже десять минут, и это помогало ему, что называется, во-время «схватить плавку». Словом, мастерство его заключалось теперь не просто в сумме приобретенных с годами производственных навыков, как это было в предвоенное время, а было целой строго научной, технологической системой, построенной на свой лад, изученной и продуманной до мелочей.

Не прошли даром ночи, проведенные над стенограммами технических лекций, над учебниками химии и металлургии. Зерна знаний падали на почву, обогащенную огромным производственным опытом. Однажды, когда речь зашла о выплавке нового сорта высококачественной легированной стали для специальной цели, Казымов заспорил с цеховым технологом, сведущим и опытным инженером, и главный металлург, привлеченный ими в качестве арбитра, признал правоту сталевара.

Снова имя Казымова замелькало на страницах газет и в радиопередачах, снова портрет его висел на доске у ворот рядом с портретом Шумилова. Вместе с Володей они начали писать для московского издательства книжку об опыте скоростных плавок.

И все же Казымов был недоволен собой: чутье подсказывало сталевару, что он еще далеко не все взял у своей чудесной печи, что есть такие уголки технологии, куда еще не проник пытливый новаторский ум и где, как он предполагал, таились непочатые резервы производительности. Вот это и не давало ему покоя.

Иногда он вскакивал среди ночи с кровати, совал ноги в валенки и, набросив шинель, выходил на крыльцо, слушал шелест капели, веселый свист влажного ветра в верхушках голых тополей, вздохи совсем пожухлого, тяжело оседавшего снега. Над заводом мерцали красные зарницы. Багровые отсветы пламенели на облаках. Казымов думал о цехе, о своей печи, снова и снова представлял себе весь процесс варки стали от начала и до конца, замышлял новые опыты.

Не раз, вконец продрогнув на крыльце, он на цыпочках пробирался в комнату, к себе за ширму, поспешно одевался и уходил на завод, чтобы на месте, у мартена, проверить мелькнувшую ночью мысль или посоветоваться с Володей. Включившись в предмайское соревнование, они заключили с Шумиловым социалистический договор. Каждый старался превзойти другого, но дружба их от этого только крепла, и оба они советовались, поверяли друг другу плоды своих размышлений.

В результате всех этих забот, беспокойств и исканий из глаз сталевара исчезли тоска и настороженность. Они, эти его глаза, частенько, как в былое время, загорались теперь веселым, озорным огоньком.

— Наступаем, гвардия? — смеялся Зорин, заставая иной раз Казымова в цехе, в неположенный час наблюдающего за печью, на которой работала чужая смена.

— Сосредоточиваемся на рубеже атаки,— отшучивался Казымов, хотя и сам еще не знал, когда и как начнет он свое новое производственное наступление.

Целые дни пропадал теперь Казымов на заводе. Обедал в цеховой столовой, ужинал в клубном ресторане и домой часто возвращался поздно, когда Клавдия со Славкой уже ложились спать. Он тихо проходил к себе за ширму, включал у изголовья лампочку, читал газеты, готовился к занятиям или просто лежал с закрытыми глазами.

Но не одни упрямые производственные искания заставляли его целые дни проводить в цехе или в клубной технической библиотеке. С тех пор как в одну из воскресных прогулок со Славкой ему пришла в голову мысль о женитьбе на Клавдии Шлыковой, из его отношений с хозяйкой как-то само собой стала исчезать прежняя простота.

Еще недавно Казымов искренне удивился бы, а может быть, даже и обиделся, если бы кто-нибудь сказал, что ему далеко не безразлично, дома Клавдия или нет, что он знает,

какое платье ей к лицу, и ему приятно, когда она надевает именно это, что он любит украдкой наблюдать ее задорное лицо, на котором вздернутый нос и пухлые губы так удивительно сочетаются с усталыми, печальными глазами, что, лежа за своей ширмой, он слушает, как она, легко ступая, ловко движется по маленькой комнатке, заставленной мебелью: никогда ничего не уронит, никогда ни за что не заденет.

Ему становилось очень неспокойно, когда Клавдия по вечерам вдруг дольше обычного задерживалась в своем гараже, и радостно, когда после тягостного ожидания он слышал в коридоре ее походку. Но он объяснял себе это естественной заботой о молодой женщине и тем, что ей небезопасно ночью ходить по глухим, еще скупо освещенным уличкам.

Теперь он понимал, что все это не так. Клавдия стала для него значительно больше, чем добрый товарищ, приютивший его в трудную минуту. Он чувствовал, что его тянет к ней все сильнее. Даже в минуты завершения плавки, когда сталевар, весь сосредоточившись на ослепительном бурлении белой мерцающей массы, забывает обо всем на свете и яростно гонит от себя все постороннее, лишнее, что мешает или отвлекает, перед ним на фоне кипящей стали вдруг возникало курносое лицо с печальными глазами, своеобразная улыбка, которая лишь чуть кривит пухлые яркие губы, звучал в ушах глуховатый грудной голос.

И странно, это не мешало ему сосредоточиваться, как мешает в эти мгновения все случайное, постороннее, приходящее из внешнего мира и не касающееся непосредственно завершающейся плавки. Милое женское лицо, вдруг возникающее в жарком мерцании расплавленной стали, не распугивало мыслей, а даже, наоборот, помогало возникновению того волнующего подъема, который делает ум острым, смелым, а руки искусными, неутомимыми. С давних уже теперь дней своих первых новаторских починов Пантелей Казымов очень ценил это особое радостное настроение. Теперь оно как-то сочеталось в нем с образом Клавдии, и ему приятно было сознавать, что где-то недалеко живет эта женщина, что сегодня он ее увидит, что сможет ей рассказать вечером о своей новой удаче.

Но когда кончалась смена, плавка была выдана и можно было идти домой, в настроении сразу происходил перелом. Сталевар старался найти себе в цехе какое-нибудь дело, охотно выполнял разные партийные поручения, ко-

торые давал Зорин, прямо с завода шел в технический кабинет, читал, рылся в журналах. Он не торопился вернуться в знакомую комнату.

Почему? Он и сам этого хорошенько не знал. Ему хотелось поскорее увидеть Клавдию, и в то же время он боялся, как бы эта умная и чуткая женщина не заметила или не догадалась о его чувствах и переживаниях, которые сталевар считал недостойными, даже смешными для старого солдата, пожилого человека с такой будничной, невнушительной внешностью. Чтобы случайно не выдать себя, скрыть радость, которую всегда испытывал, заслышав издали легкие, быстрые шаги Клавдии, он весь как-то внутренне сжимался, становился связанным, неестественным.

Особенно тягостно стало Казымову после разговора с одной из соседок в общей умывальной комнате. Они стояли рядом перед длинным цинковым корытцем, нажимая медные соски водоспусков. И вдруг соседка, жена прокатчика, женщина пожилая, серьезная и справедливая, без всяких предисловий сказала:

— А вы, Пантелей Петрович, зря раздумываете. Клава — она баба клад. Я ее девчонкой вот такой знала — умница, серьезница, золотой характер.

Казымов весь застыл, чувствуя, как сразу стало горячо щекам, ушам, шее. Потом, спохватившись, стал бросать на лицо пригоршни холодной воды. Соседи все еще подшучивали над ним и над Клавдией, и он уже перестал обращать на это внимание. Но ту, которая говорила с ним сейчас, уважали и побаивались даже самые озорные обитатели общежития.

— Вы человек хороший, правильный, я вас не хаю. А только к Клаве и почище вас сватались. Гусев их гаражный — этот барабошка, этот не в счет, и милицейский со своей гармошкой тоже дешевую любовь искал. Дескать, вдова, мужчин нехватка — куда ей деться. Она их правильно отшила, да так, что они и адрес наш сразу забыли. Я не о них. Около нее и серьезные люди ходили — вон ваш сменный мастер, этот усач, степенный человек, и еще прокатчик, с моим работает, молодой, ей погодок, серьезный парень, коммунист, и собой хорош. Отказала. «Своего помню, не пойду больше замуж». Видите как. И опять — это ее дело... К чему все это вам говорю? А вот. Мальчишка к вам очень уж привязался... Безотцовщина. Жаль мне его, сиротинку.

Соседка ушла, не дожидаясь ответа, и Казымов был

очень ей за это благодарен. Что скажешь чужому, малознакомому человеку на такие слова? И долго стоял он в полутемной комнате, и на его не вытертом после умывания лице застыло выражение болезненного недоумения.

Разговор с соседкой произвел прямо противоположное действие. Уж если такие претенденты были отвергнуты, где же ему, пожилому, усталому человеку, потрепанному жизнью и войной, питать какие-то надежды. Нет, хватит с него жизненных крушений и несбывшихся мечтаний! И Казымов дал себе слово выкинуть из головы даже самую мысль о возможности женитьбы на Клавдии. А в слове своем он был всегда тверд.

Клавдия, конечно, не знала об этих переживаниях своего квартиранта. Она даже не догадывалась о них. Но сразу заметила странную перемену в жильце. Гордая, самолюбивая, она истолковала ее по-своему и стала сдержанна, холодна, даже надменна. Как-то сами собой прекратились и совместная учеба и вечерние беседы за самоваром в предпраздничные дни.

— А вы, может быть, зря отказались на Урал-то ехать? — спросила как-то Клавдия Казымова.

Его удивила и неожиданность самого вопроса и странно холодное, даже злое выражение ее глаз.

— Там все знакомы. Друзья. А здесь — все чужое, словом не с кем перекинуться,— продолжала женщина, и хотя стояла она почти рядом и глаза ее смотрели на Казымова в упор, выражение их было такое, что ему показалось, будто разделяет их большое холодное пространство и будто голос ее еле доносится издалека.

Разговор возник внезапно, без всякого повода. Казымов почувствовал, что сейчас вот, по причине ему непонятной, могут быть произнесены такие слова, после которых он должен будет уложить чемодан, проститься и разом оборвать все свои надежды. Понял, испугался и, не имея уже сил скрыть этот свой испуг, сказал:

— Надоел, мешаю... Гоните?

В голосе его послышалась такая тоска, что глаза Клавдии потеплели и опять стали не злыми, а усталыми, печальными. Но ответила она равнодушно, дернув плечом:

— Отчего же, живите. У вас свой угол. Вы за него деньги платите.

Этот разговор ничего не прояснил, и по-прежнему оба чувствовали себя в присутствии друг друга натянуто и неловко. И оба начали к этому даже привыкать.

Но кто искренне страдал, кто просто задыхался в атмосфере холодной вежливости, наполнявшей теперь комнату, где еще недавно всем было хорошо, уютно и просто,— это Славка. То, что для взрослых было лишь горькой аварией, мальчик воспринял как катастрофу. Чутким своим сердцем он понимал, что случилось что-то нехорошее, даже страшное, отчего дядя Пантелей, чудесный, замечательный дядя Пантелей, герой-танкист, друг отца, сталевар, о котором знают все мальчишки в школе, теперь почему-то пропадает целые дни и уходит такой угрюмый, неразговорчивый! А мама, ласковая, милая, внимательная мама, самая лучшая из мам на земле, стала вдруг такой неприветливой, раздражительной, запрещает ему беседовать с жильцом, приставать к нему с нерешенными задачками и всяческими вопросами, от которых Славку буквально иной раз распирает.

И когда он, Славка, попытался по велению своего простодушного сердца внести наконец ясность в их отношения и помирить их, как мирил в школе двух поссорившихся мальчишек, жилец вдруг покраснел и вышел из комнаты, а мать, которая никогда не поднимала на сына руку, отхлестала его по щекам.

Славка понимал: происходит что-то непоправимое. Мир рушился на его глазах, и даже то, что соседские ребята, совершив коварный набег на их двор, сломали роскошную снежную бабу с глазами-углями, с носом-морковкой, бабу, в которую было вложено столько старания и трудов, даже несколько двоек, под шумок невеселых событий просочившихся в Славкин табель, не волновало его.

XIV

Но странное дело, если в присутствии Клавдии Казымов чувствовал себя связанным и малодушно стремился скрыться, стоило ему переступить порог и оказаться на улице, как он сразу успокаивался и образ гордой, недоступной женщины, как бы очистившись от всех житейских треволнений, вновь сиял перед ним, будя в нем стремление совершить что-то такое, что понравилось бы ей, что зажгло бы радостные искры в печальных глазах.

С таким вот чувством Пантелей Казымов шел на завод в день, когда весна обрушила первый редкий крупный дождь на почерневший снег окраины. Дождь перестал так

же быстро, как и нагрянул. Шагая уже по заводскому двору в темном неторопливом потоке смены, медленно разливавшемся по цехам, сталевар услышал вдруг в матовой голубизне неба такой необычный здесь, над миром стали, чугуна и угля, тонкий звон жаворонка. Он остановился, удивленно взглянув на небо, и влажный ветер, вырвавшись с резвостью мальчишки из-за здания прокатного цеха, бросил ему в лицо щедрую пригоршню капель.

В цех сталевар пришел полный неясных мечтаний и неосознанной радости, разбуженной в нем весной. Весело подмигнул подручному, напомнил бригаде, что сегодня ставят опыт скоростной завалки.

Радостное настроение Казымова передалось остальным.

— Товарищ гвардии сталевар, разрешите доложить: бригада готова к опыту. Больных и слабых нет, шихта лежит в мульдах на стеллаже, как приказано,— вытянув руки по швам, весело отрапортовал подручный.

— Вольно. Брюхо, между прочим, при рапорте подбирают,— пошутил Казымов и поднялся к стеллажам.

Мульды с шихтой были расположены, как он с вечера приказал, в строгом порядке: ближе к завалке — стружка с мелким железом и дальше — известняк, еще дальше — крупный лом и прибыли. Как Казымов и предполагал, когда началась завалка, все это удалось заложить последовательно и быстро. Затем, пока шихта прогревалась, подготовили чушки чугуна и сразу же, без задержки, приступили к заправке откосов. Все это сложное дело, заранее до мелочей обдуманное Казымовым и тщательно подготовленное бригадой, провели быстро и без единой задержки. Работали ловко, сыгранно, как футболисты хорошей команды на ответственном матче. Каждый делал свое и в то же время помогал товарищам. Каждый думал о своем и об общем успехе.

Радостное волнение, зародившееся еще там, на вешней улице, все время росло.

И когда, отдав команду быстрее закрывать завалочные окна, он отошел от печи, чтобы напиться, и взгляд его случайно упал на висевшие посреди цеха электрические часы, кружка с газированной водой застыла у него в руке. Часы сказали, что на завалке они сэкономили сегодня около семидесяти минут. Казымов так и замер со счастливой улыбкой на лице, держа в руке полную кружку. Вот они, непочатые резервы!

— Шихта легла, точно постель постелили, а? — крик-

нул ему в ухо подручный.— Ох, гад буду, если мы хваленому Володьке сегодня фитиль не вгоним!

Подручный все еще не мог простить Шумилову, что тот заменял его в дни, когда вернувшийся из армии сталевар становился на ноги.

Теперь в его озорноватых глазах светился горячий азарт. Взглянув мельком на его сияющую задорную физиономию, Казымов как бы очнулся. Он сунул подручному так и оставшуюся нетронутой кружку воды и бросился к печи. Сейчас, окрыленный первой удачей, он, нагоняя температуру, смело переступил ту грань, на которой обычно останавливался. При плавлении Казымов довел температуру до максимума и, следя за белым клочковатым пламенем, мерцавшим в печи, в то же время наблюдал за форсунками, чтобы не допустить снижения подачи мазута. Его разгоряченное жаром лицо с посиневшим, ставшим особенно заметным шрамом как бы застыло, губы сжались в ниточку, и весь он, следя за печью, собрался в пружинистый комок, точно готовился к прыжку.

— Не подожжем своды? А? — тихо спросил подручный.

Никогда они не шли еще на таком температурном максимуме. Обычно смелый, парень теперь не на шутку струсил.

— Уйди,— сквозь зубы пробормотал Казымов, не отрывая взгляда от пламени.— Не жужжи под руку.

В любом деле, в любой профессии бывает так: человек копит навыки, вносит в них что-то новое, критически обдумывает свой труд, ищет, разочаровывается, ставит новые опыты. Потом, за какой-то невидимой чертой, плоды долгих исканий сливаются воедино, превращаются в тот чудесный гармонический ритм, который любую работу делает творчеством, в котором скупо, глубоко рассчитано и осмыслено каждое движение. И тогда душа человека наполняется волнением, и подхваченная как на крыльях мысль взмывает, и человек открывает в себе непочатые силы, совершает чудеса, удивляющие подчас не только окружающих, но и его самого...

Только бы не сорваться в момент этого взлета.

Пот лил с лица Казымова, гимнастерка намокла и связывала движения. Сталевар стащил ее и остался в майке. Он окинул подручного веселым взглядом.

Казымов ликовал. Эти минуты напоминали ему горячий момент танковой атаки, когда нужно, устремляясь навстречу неизведанным опасностям, применяясь к мест-

ности, быстро и ловко маневрировать и в то же время не выпускать из поля зрения противника, вести по нему прицельный огонь и при всем этом помнить не только о своей боевой машине, но и о машинах своих подчиненных.

Тут, у жаркой печи, где, белая, точно манная каша, кипела и клокотала раскаленная сталь, Казымов снова переживал увлечение боя, ощущение близкой опасности и волнующую веру в свое уменье, в свое искусство побеждать. Лицо его, красное от жара, лоснилось потом, горело возбужденной, почти хмельной радостью. Если бы Клавдия видела его в эту минуту, она, вероятно, удивилась бы, до чего он опять стал похож на того молодого, ясноглазого человека, что фотографировался на фоне кремлевской стены вместе с ее мужем чуть не пятнадцать лет назад.

К Казымову подошел секретарь партийного бюро. Протянул другу папиросы, но тот их даже и не заметил...

— Уйди, не мешай,— сказал он сквозь зубы...

Зорин пощурился на бушующее пламя, справился о температуре, покачал головой и тоже предостерег насчет свода. Плавка шла на максимальной черте, за которой была авария, может быть, катастрофа. Всегда восторженно преклонявшийся перед технической смелостью, Зорин даже испугался за сталевара.

— Смотри, танкист, не увлекись, не только о каше, о горшке подумай.

Нет, сталевар не забыл о печи! Он все помнил, все учитывал.

— Свод, свод не подпали! — теребил его Зорин.

— Ничего, ничего, пехота, и кашу сварю и горшок цел будет! — весело ответил Казымов не оглядываясь.

Он продолжал вести плавку на предельной температуре, зная, что пока он крепко держит в руке вожжи, печь не ослушается, аварии не произойдет. Эта уверенность в себе, в своих силах рождала в нем особую радость — ни с чем не сравнимую радость созидания, и она делала его непобедимым.

— Ух и здорово, Пантелей Петрович! Здорово, говорю! Аж дух захватывает! Я так ни разу в жизни не плавил! — кричал в ухо подручный, и подвижная его мордочка светилась мальчишеским азартом.

— На место! — обозлился сталевар.

Теперь он позабыл обо всем на свете, кроме этой огромной печи, в которой кипела сталь. И все, что доходило до него извне, все, что отвлекало мысли в сторону или пре-

тендовало хоть на крупицу его внимания, злило его, возбуждало в нем ярость.

Даже о Клавдии он ни разу не вспомнил и не подумал в эти часы.

Сталевар ощущал теперь печь, как какое-то продолжение своего собственного существа. Ему казалось, что он не столько угадывает, сколько ощущает все ее потребности. И бригада, с которой он так много возился в последние месяцы, работала ему под стать. Воодушевленные его примером, переживая такой же подъем, люди старались угадывать и предупреждать приказания сталевара. Что-то в нем звенело, пело, и каждый мускул радовался и торжествовал.

Да, это был денек!

За всю плавку, до того самого момента, когда Зорин приблизился к печи со своим ковшом и остановил кран, Казымову некогда было даже взглянуть на часы. Только приказав подручному разделывать отверстие к выпуску металла, он отер с лица пот, поднял глаза на белый циферблат, и ему подумалось, что часы стояли. Он даже не мечтал окончить плавку в такой короткий срок. Тогда он глянул на часы на руке. Секундная стрелка бойко бегала по кругу. Они показывали то же время.

Только сейчас, когда белый ослепительный поток неторопливо густой струей хлынул по желобу и, разбрасывая вокруг себя звезды искр, тихо устремился в гигантский стальной ковш, Казымов понял, чего достиг он сегодня. Чуть пошатываясь, больше от волнения, чем от усталости, он подошел к сифону и прямо из крана стал пить холодную, приятно покалывающую небо газированную воду. Он пил долго. На миг оторвался, чтобы передохнуть, и снова пил, пил, испытывая блаженство оттого, что весь его разгоряченный организм как бы насыщался влагой. Потом он плеснул воду себе на голову и с удовольствием растер на груди.

Он приказал бригаде немедленно готовить новую заправку, а сам начал осматривать своды. Подошли Зорин, начальник цеха с неизменной трубочкой в зубах, усатый сменный мастер.

Это был, должно быть, тот самый мастер, пожилой, положительный человек, очень всеми в цехе уважаемый, которому когда-то отказала Клавдия. Казымов был сегодня очень добр. Он даже пожалел мастера за нанесенную ему обиду. Но вместе с мастером перед ним возник образ самой Клавдии. Молодая, полногрудая, статная, в своей вышитой

кофте, которая так к ней шла, возникла она на миг перед Казымовым. На щеках ее играл румянец, курносое лицо смотрело задорно, полные губы улыбались чуть в сторону, а глаза были не грустные и не усталые. И показалось сталевару, что он увидел в них какое-то новое, незнакомое выражение.

— Ты чего, танкист, улыбаешься? — спросил Зорин.

— Хорошо, пехота.

— Верно, хорошо,— сказал парторг.

Слух о скоростной плавке уже распространился по цеху, и люди с сомнением, придирчиво осматривали своды, желая убедиться, что невиданное форсирование не сказалось на них.

Нет, все было цело. Начальник цеха посмотрел на Казымова, вынул трубку, хотел было что-то сказать, но ничего не сказал и только обнял сталевара.

Когда окончилась смена, новая плавка, заправленная бригадой Казымова, была в разгаре. Сталевар не помнил, как он сдал печь. Тряхнув на прощанье руку сменщику, он нетвердой походкой направился в душевую, волоча в руке гимнастерку. Он шел, не чувствуя усталости, забыв про мокрую одежду, не замечая взоров товарищей, смотревших на него почтительно и удивленно.

Подъем сил, заставивший его мозг работать во время плавки быстро, с предельной точностью, веселое биение сердца и радостный зуд во всех мускулах еще жили в нем. Став под душ, Казымов пустил самую холодную струю и, похохатывая, пританцовывал и звонко хлопал себя по мокрому телу. Он долго стоял под холодной струей, стоял, пока в душевую с шумом не влетели ребята из его бригады.

— Пантелей Петрович, там директор, председатель завкома — весь генералитет. Вас ждут. Из газеты приехали, фотограф чуть аппарат не разбил,— наперебой загомонили они.

Ребята ввалились в душевую в одежде, в обуви, что было строжайше запрещено, и старик банщик, пришедший в ужас от такого святотатства, бесцеремонно выпроваживал их:

— Бесстыжие! Тут люди гигиену наводят, а они в спецовках, в сапогах прутся. Прочь отсюда!

— Дедушка, тут мировое достижение. Понимаешь? — отмахивались ребята, пытаясь прорваться к душу, под которым стоял сталевар.

— Вот я вам дам достижение! Совести у вас нет.

Вон! — наступал на них старик, размахивая мокрой шваброй.

— Ждут вас там! — успел крикнуть уже в дверях подручный, поспешно отступая под натиском превосходящих сил хорошо вооруженного противника.

Казымов неторопливо пошел в раздевалку. Сейчас, пока не устоялась еще взволнованная кровь, ему хотелось побыть одному. Но делать было нечего. Он быстро оделся. В углу у печи его ждали. Тут были и соседи-сталевары, еще не снявшие спецовок, и рабочие следующей смены, и какие-то незнакомые люди. Над всеми возвышалась массивная фигура директора. Как и всегда, он был в крахмальном воротничке безупречной белизны, в белых бурках и этим своим видом был особенно приметен среди людей в рабочей одежде.

Кто-то крикнул:

— Казымов!

Все головы повернулись к приближавшемуся сталевару. Директор двинулся ему навстречу, протягивая большую мягкую руку.

— Ну, поздравляю, Пантелей Петрович! От имени всего завода поздравляю! — И, быстро обведя округлым жестом председателя завкома и каких-то еще незнакомых людей, пророкотал своим звучным басом: — Я сейчас вот им рассказывал, как вы на меня набросились, когда я вас в аппарат посадить хотел.

— Каждому свое,— ответил Казымов, подумывая, как бы это ему половчее улизнуть. Но люди сдвигались вокруг него все теснее, и ему приходилось жать чьи-то тянувшиеся к нему руки.

Когда наконец толпа поредела, к сталевару приблизился подручный. Он схватил Казымова за рукав, потащил его к доске учета соревнования, самого вида которой несколько месяцев назад сталевар так боялся. Под цифрой: «Шумилов В. И.— пять часов тридцать две минуты» — толстая девица четко выводила: «Казымов П. П.— пять часов одна минута». Подумав, она аккуратно написала: «Рекорд» — и поставила три вызывающих восклицательных знака.

— Поздравляю вас, Пантелей Петрович,— пропела она неожиданно тоненьким при ее массивной фигуре голоском.

Казымов тряхнул ее руку так, что девица охнула. Цифра действительно заслуживала трех восклицательных знаков.

— Вот как мы сегодня Володьку Шумилова в пузырек загнали! Вот разъярится, как узнает! — шумел подручный, приплясывая от избытка чувств.

— Что ты мелешь! — неприязненно покосился на него сталевар и вдруг почувствовал, как его радость меркнет.

Но подручного не так-то легко было остановить. В пылу самого необузданного азарта он кричал сменщикам, подталкивая их к доске:

— Ребята, гляди, вот работка! Учитесь, пока мы живы, а то все Шумилов, Шумилов, подумаешь — звезда экрана! Володька Шумилов по сравнению с нашим Пантелем Петровичем — тьфу! щенок!

— Молчи, звонарь! — яростно крикнул сталевар, казалось, не в шутку замахиваясь на подручного шомполом; но опомнился, далеко отбросил тяжелый железный прут.

— Да, вот что,— сказал ему председатель завкома, молодой, вихрастый и голубоглазый человек.— Радость на радость. Сегодня утром квартиры в двух домах распределяли. Тебе даем. Слышишь?

— Слышу,— угрюмо ответил Казымов вместо ожидаемого «спасибо» и пошел к выходу.

Радостное настроение было начисто испорчено.

Казымов вспомнил, какие он сам пережил неприятные минуты двадцать лет назад, когда один болтун пошутил над тем, что знаменитый ленинградец, приезжавший сюда на завод призанять опыта, через некоторое время превзошел его, Казымова. Теперь он чувствовал себя почему-то очень виноватым перед молодым сталеваром.

Шумилов так тепло его встретил, так самоотверженно помогал ему на первых порах, и в подручные, наверное, сам напросился, чтобы спасти своего бывшего учителя от срама. И вместо благодарности, думал Пантелей Петрович, сейчас, накануне первомайского праздника, когда каждый, вон даже банщик в душевой, старается в полную меру сил, он, Казымов, отнял у Володи первенство, даже не предупредив его. Это было главное, что мучило сталевара.

«Даже не предупредил! Вот тебе и «дядя Пантелей»! Нехорошо, ох, нехорошо! А тут еще и эта квартира. Значит, завтра, послезавтра, через неделю надо съезжать от Клавдии, обрывать то последнее, что еще связывает его с этой хорошей женщиной и ее сынишкой, которого он полюбил, как, кажется, не любил и собственных детей... Нехорошо, ох, нехорошо».

XV

Растерянный, невеселый, бродил Казымов по поселку, не замечая ни новых строящихся домов, ни великолепных розовых красок свежего, морозного весеннего вечера, ни тонко звенящего под ногой иглистого ледка, закрывшего на ночь лужи. Он чувствовал только холод, зябко поеживался и все повторял вполголоса: «Не ладно, ох, не ладно. Все так хорошо шло, и вот — на...»

Он бродил бесцельно, что называется слонялся, и почему-то, как и после первого дня работы, все не решался войти в дом. Лишь окончательно продрогнув, хмурый, сердитый, подошел он наконец к общежитию. Но уже издали он услышал торжествующий визг. Славка, должно быть, дожидавшийся его на улице, как воробей стремительно слетел с крыльца, что есть духу бросился навстречу и с разгона повис у него на шее.

— Ух, здорово! Ох, и здорово же! — бормотал он на весу, и зеленые его глаза мерцали, точно фосфоресцировали.

— Что, что здорово? — спросил сталевар.

Чутким своим сердчишком угадав какую-то тревогу в этом вопросе, Славка отпустил шею жильца и обеспокоенно посмотрел на него.

— Плавка ваша. Разве не верно?

Казымов подумал, что, наверное, и Володя теперь тоже все знает, и вздохнул. Но Славка, убедившись, что с сообщением о невиданной плавке все правильно, снова загорелся, как будто это он сам сегодня удивил страну.

— А как же не знать? Уже по радио было — и по заводскому и по городскому. От министра телеграмму передавали: «Поздравляю выдающимся всесоюзным достижением. Жму руку...» У нас же гости. Полно гостей.

Из-за двери действительно слышались голоса.

— Кто? — спросил Казымов шепотом.

Славка не успел ответить. Дверь распахнулась. В освещенном прямоугольнике ее возникла рослая фигура молодого сталевара. Из-за его могучих плеч виднелись бритая, лоснящаяся, как биллиардный шар, голова Зорина, ангельское личико Вали с ее влажными глазами и позади всех — лицо Клавдии.

Оправившись от неожиданности, Казымов жадно взглянул в это открытое, задорное лицо. Клавдия была не в вышитой кофте, а в каком-то незнакомом ему светлом

платье, которое хорошо обрисовывало ее статную, сильную фигуру. Но на бледных обычно щеках ее он увидел легкий румянец, а на курносом лице если и не исчезло, то во всяком случае сгладилось его всегдашнее противоречие. Глаза, правда, были опущены, полускрыты темными ресницами. Но в них, или это только показалось сейчас сталевару, уже не было обычной грустной усталости.

— Пантелею Петровичу ура! — гаркнул Володя, хватая сталевара в свои мощные объятия и на руках внося в комнату.

— Правильно делаешь, Казымов, наступай им, соплякам, на пятки, чтобы не зазнавались перед старой гвардией, чтобы никому никогда покоя не было,— говорил Зорин.

— Нечестно, нечестно так вот вдруг, сразу, не предупредив,— кокетливо щебетала Валя.

— Все правильно, девушка, кто зевает, тот воду хлебает,— басил Зорин,— а за Володьку своего не беспокойтесь, он еще у нас человек нестарый, время есть, прославит ваше будущее семейство...

— Бог знает что говорите,— конфузилась Валя, мигая своими прекрасными и бессмысленными глазами.— А вам нехорошо, нехорошо, товарищ Казымов.

— Не слушай ее, танкист. Жми! Жить, ребята, надо без копоти, на полном газу.

Клавдия глядела на Казымова с упреком.

— Ну куда же вы пропали? Такая радость! Мы ждали, ждали, у нас с Валей тут все пережарилось, перепарилось.

— Видал, брат, что они тут с девушкой натворили? Вот тебе и экспресс-лаборатория. С такой женой Володя с голоду не помрет...

— Товарищ Зорин, ну с чего вы. Мы с Володей друзья,— конфузилась Валя, но щеки ее пылали, глаза сияли, и весь ее вид говорил о том, что она не хочет, чтобы верили ее опровержению.

Володя смотрел на нее, и все, что происходило на продолговатом ангельском личике Вали, тотчас же отражалось и на его большом, мясистом лице.

От этого веселого гомона у Казымова разом полегчало на душе. Только сейчас он в полную меру ощутил счастье своей сегодняшней победы. Славка как схватил его руку, так и стоял, прижавшись к ней щекой, глядя на всех сердитыми, ревнивыми глазами.

«Ну, и славные же все эти люди!.. У Володьки на лице такое сияние, будто его самого поздравляют, а я думал...»

— А мы уж тут за твой успех по единой под соленый рыжичек перевернули,— доложил Зорин.

— И по второй за то, чтобы мне вас перегнать,— добавил Володя, улыбаясь широко и простодушно.

— Ну, уж если каяться начистоту, то и по третьей хватили за то, чтобы никогда не стоять на месте, не ржаветь, пылью не покрываться,— признался Зорин.

— А теперь давайте самую главную. Все, все наливайте,— подхватил Казымов, расплескивая вино на скатерть и не замечая этого.

Лицо его стало строгим.

— За нашу партию,— сказал он и опрокинул в рот рюмку. В комнате было тихо. Все так же молча осушили свои. Казалось, каждый в эту минуту думал о чем-то своем, но эти думы безмолвно сливались в одну, общую.

Эту задумчивую тишину вспугнул Славка. Он тоже потянулся было к стакану, но мать шлепнула его по руке. Все засмеялись. Мальчик надулся. Даже под такой замечательный тост не дали выпить! Он вообще чувствовал себя незаслуженно обойденным, забытым, сидел нахохлившись, бросал исподлобья ревнивые взгляды на своего друга, который сегодня почему-то не обращал на него внимания.

— У меня сейчас в голове все этот твой немец торчит,— говорил Зорин, нагибаясь через стол к Казымову,— ну тот, про которого ты в Красном уголке рассказывал, что резцы-то прятал. Вот умом понимаю — было, есть такие. Капитализм. А представить себе не могу,— и без видимой связи с предыдущим сказал: — Эх, и времена ж начались, Петрович! Подумаешь — голова кружится, куда забрались!

— А я вот о нем все думаю,— кивнул Казымов на Шумилова, который сидел против Вали, смотрел на девушку блаженными, преданными глазами, должно быть, никого не видя, ничего не слыша.— Он вот пришел ко мне, поздравил, от души поздравил. А я вот не знаю, пришел бы я к нему? А? Как ты думаешь, пехота?

— Точно. Понятно,— басил Зорин.— Ты сколько там по Европам болтался? А жизнь-то здесь вперед шла, люди-то поднимались. У мартена ты Шумилова обогнал. Верно. Телеграмма от министра: поздравляю. Но, стало быть, не во всем ты его обогнал, нет, не во всем... Мы, брат, им путь разгребли, утоптали. Им по гладкому-то идти легче. Не споткнутся, нос не разобьют...

Вино уже начало забирать Зорина. Но хмель только веселил его. Наклонившись к Казымову через стол, он заговорщически шептал, косясь на молодую парочку:

— Им, Петрович, легче — вон они какие теперь, видал? Не пошатнешь... Меня, помню, в счет двадцати пяти тысяч в село послали. А я заводской, деревню только в кино видел. Начинаю действовать, собираю народ: «Товарищи бабы, по скольку у вас куры в день яиц кладут?» — «А по сколько им класть — когда яичко, а когда и ничего».— «Неверно, говорю, раз яйцепоставки завалили, должны, говорю, куры ваши по два яйца в день класть». Слышу — хохочут. Чую, что напорол — вывертываюсь. «Это, говорю, я, так сказать, не в прямом смысле, а фигурально. Надо нам, дескать, в птицеводство науку нашу впрягать». А между прочим, помаленьку научился я там всему. Полюбили они меня. Через три года всем колхозом на станцию провожали. До сих пор мне пишут... А эта молодежь — нет, им всюду дорога проторена. Беги хоть бегом.— И опять, по привычке своей, он без видимой связи перекинулся на новую тему: — А поздравить Володьку ты бы все-таки пришел. Знаю тебя, подумал бы, в затылке почесал, а пришел бы... Ну, по последней. За коммунизм!

Выпили за коммунизм.

Клавдия с Валей быстро убрали обеденную посуду, постелили свежую скатерть. На столе уже мурлыкал сияющий самовар, когда секретарь партбюро вдруг спохватился и растерянно начал хлопать себя по карманам:

— Стой, ребята! Всю водку выпили, а самого главного я и не показал.

Он нащупал наконец в кармане какую-то бумажку и торжественно протянул ее Казымову:

— Получай, мастер. От заводоуправления подарок, сам директор велел сегодня вручить. Ордер. Квартирка — мечта! Сам осматривал. В окнах — сплошной юг. Две комнаты, кафель в ванной ослепительный. Паркет. Завтра вещички в машину — и айда. Глядишь, мы и на новоселье еще гульнем!..

Сюрприз произвел странное впечатление. Сталевар машинально протянул руку за ордером и, даже не взглянув на него, сунул под тарелку, Клавдия вся как-то застыла, лицо ее стало строгим. Оно было совершенно спокойно, но чашка, которую женщина вытирала, была, должно быть, уже суха и поскрипывала у нее под полотенцем. Даже Володя с Валей, целиком поглощенные друг другом и ни-

чего не понимавшие в происходящем, почувствовали общую тревогу, притихли и недоуменно оглядывались вокруг.

— Та-а-ак! — не то удивленно, не то многозначительно произнес Зорин и почесал в затылке.

— Две комнаты...— упавшим голосом сказал наконец Казымов и добавил: — Не богато ли для бобыля?

Вновь наступило тягостное молчание.

И вдруг в напряженной тишине прозвучал голосок Славки:

— А вы нас с мамой с собой возьмите.

Чашка выскользнула из рук Клавдии, скатилась у нее с колен и с треском разбилась об пол.

— К счастью...— прогудел было Зорин, но сейчас же смолк и, вытащив свой неизменный «Казбек», стал старательно закуривать.

— Нет, верно, Пантелей Петрович, мы с мамой с вами поедем,— продолжал мальчик, загораясь этой заманчивой мыслью.

— Славка! — вскрикнула Клавдия.

Казымову странно, даже страшно было видеть растерянность и смятение на ее побледневшем лице, которое даже в минуту, когда он в метельную ночь вылезал из-под щитка сбившей его машины, не теряло уверенного выражения.

Но Славка не замечал ни ее мучительно прищуренных глаз, ни крепко закушенной губы, ни рук, сжатых в кулаки, которые она прижимала к груди, точно для того, чтобы подавить большую боль.

— Всегда будем вместе жить, уроки учить, гулять. А?

— Молчи, скверный мальчишка! — вскрикнула наконец Клавдия.

Она растерянно оглядела гостей, Казымова и вдруг, закрыв руками побагровевшее лицо, бросилась за ширму.

Но и это не удержало Славку. То, что его большой друг, без которого в его маленькой жизни столько недоставало, может вот так просто взять завтра свой чемодан, сесть в машину и уехать от них, уехать навсегда в какие-то дурацкие две комнаты с ванной, уехать, забыть о своем друге Славке или, что еще хуже, подружиться с другими мальчишками,— все это так испугало мальчика, что он, не обратив внимания на окрик матери, теребя сталевара за китель, заглядывая ему в глаза, шептал:

— Ведь вы возьмете, возьмете нас с мамой?

Кровь бросилась в лицо Казымову. Сердце колотилось

так, словно решило прошибить грудную клетку и вырваться на свободу. Он, должно быть, так же как и Славка, в это мгновенье не замечал ни странности самого разговора, ни того, что в комнате посторонние.

Все, что решалось сейчас, было для него так велико и важно, что ни о чем, кроме этого, он не мог и думать.

— А что мать скажет? Ты мать спроси. Поедет она с... нами? — произнес он наконец хрипловатым шепотом. И тяжело перевел дыхание, будто скинул с себя непомерную тяжесть.

Славка ринулся за ширму:

— Мама, мамочка, ты поедешь, а? А? Ведь поедешь? Ну, чего ты плачешь? Все же хорошо. Поедешь?

Приглушенные всхлипывания доносились из-за ширмы. Казымов огляделся, точно приходя в себя.

Оранжевый апрельский закат, смотревший в окно, золотил на стекле морозные папоротники и травы, наполнял комнату необыкновенным тревожным светом. Медленно завиваясь, ползли к потолку кольца дыма от папиросы Зорина. Секретарь партбюро следил за ними с таким вниманием, будто решение многих трудных и сложных жизненных задач зависело от этих зыбких, переливающихся, растворяющихся в воздухе завитков. Володя с Валей, казалось, с головой погрузились в созерцание какого-то старого журнала, не замечая, что держат его вверх ногами.

И в напряженной тишине, не нарушаемой, а лишь подчеркиваемой приглушенными подушкой рыданиями женщины, один в этой комнате, сохраняя самообладание, спокойно и энергично тикал будильник. Это тиканье звучало, точно удары молотка, и сталевару казалось, что так же громко стучит его сердце.

Позабыв о товарищах, обо всем на свете, весь напрягшись, как давеча у печи, смотрел он за ширму, где решалась его судьба.

— Мама, мама же! — требовательно торопил Славка.

— Молчи, дурачок, молчи, разве можно так говорить... Разве можно так... сразу...— отвечал взволнованный женский голос.— И люди же тут... Люди...

Розовые лучи весеннего заката гасли на искрящихся папоротниках и травах, нарисованных последним заморозком. В комнату неслышными шагами входили весенние сумерки.

1949—1954

КОММЕНТАРИИ

В четвертый том вошел роман «Глубокий тыл» и повесть «Вернулся».

Глубокий тыл. Роман. (стр. 7) Впервые — в журн. «Знамя», 1958, № 9—12. Отрывки под названием «Бабушка» — в журн. «Советская женщина», 1958, № 10; «Половодье» — в журн. «Огонек», 1958, № 12. Первое книжное издание: М., «Советский писатель», 1959.

В основу романа легли действительные события, происходившие в дни Великой Отечественной войны, в большей своей части в г. Калинине, и подлинные судьбы людей.

Замысел романа возник у Полевого еще в 1942 году. Тогда он, военный корреспондент «Правды» на Калининском фронте, принимал участие в освобождении города своего детства и юности.

По свежим впечатлениям увиденного Полевой записал в военный дневник, а впоследствии включил свои записки в книгу «Эти четыре года», М., «Молодая гвардия» 1978 (см. наст. Собр. соч. т. 7).

«Наконец мы в городе, и глаз никак не может привыкнуть к его новому облику. Огнем истреблены целые улицы... Каменные строения стоят без окон, исклеванные снарядами, местами полуразрушенные... город изуродован, искалечен... откуда-то издалека со стороны фабрик «Вагжановка» и «Пролетарка» доносятся звуки интенсивной стрельбы».

«В городе с первого же дня начала действовать подпольная организация. В районе «Вагжановки» сгорели большие интендантские склады... поджигались мастерские, где немцы ремонтировали подбитую технику... В офицерское казино... бросили бомбу... Двух полицаев... повесили ночью в городском саду». (Там же.)

К работе над романом Полевой приступил в 1954 году. Самим названием книги, полемичным, как отмечала критика, писатель утверждал главную ее мысль: «Глубокий тыл» — прямое продолжение переднего края фронта. Здесь, как и на фронте, ковалась победа» (Б. Галанов.— «Новый мир», 1959, № 2, с. 247). «Борис Полевой, рассказавший в «Повести о настоящем человеке» о силе и красоте русского советского характера, решает в «Глубоком тыле» ту же задачу, но на более широком жизненном материале, поднимая новые пласты народной жизни» (Ю. Андреев.— «Звезда», 1959, № 9, с. 195).

Задавшись целью показать в романе жизнь династии Калининых в виде «семейной хроники», в ее историческом движении,

Полевой сделал ведущей в произведении тему революционной преемственности поколений русского рабочего класса.

«Отдавая предпочтение «будничному», «рядовому» — перед «исключительным»,— Полевой пытается по-новому решить большую художественную задачу: «...показать глубинные, кровные, коренные черты трудовой жизни, определившие психологию, быт, мораль... потомственной семьи мастеров-ткачей... передающих от дедов к внукам свою эстафету мастерства и таланта» (А. Берзер.— «Дружба народов», 1959, № 6, с. 231).

Как бы изнутри семейной ячейки Калининых всматривается писатель в ситуации, какие пережило множество людей во время войны, в их характеры, движением которых определяется развитие действия романа. Неслучаен и выбор фамилии героев романа; по словам Полевого, в городе потомственных ткачей и текстильщиков так именовалась чуть ли не половина населения.

Роман получил широкий отклик в журнальной периодике, а позднее — в работах ряда исследователей: Ю. Андреев. Жизнь и литература.— «Русская литература», 1961, № 3, с. 3—17; Е. Книпович.— В кн.: «В защиту жизни». Лит.-крит. статьи. М., 1959, с. 475—492; Н. Железнова. Настоящие люди Бориса Полевого. М., «Советский писатель», 1978, с. 71—89.

Рецензенты были единодушны в общей оценке «Глубокого тыла», признавая его очевидной творческой удачей автора: «Полевому удалось образно воссоздать широкий поток народной жизни — хотя действие и развивается на территории одного волжского города, но за ним просматриваются горизонты огромной страны; возникает ощущение всеобщей связи людей, объединенных высокой целью» (А. Берзер.— «Дружба народов», 1959, № 6, с. 232).

Оценивая «Глубокий тыл» как произведение, важное для творческой эволюции Полевого-прозаика, критика отмечала: в этом романе Борис Полевой вновь и вновь размышляет над нравственными уроками войны и на примерах судеб своих героев утверждает мораль и этику социалистического общества.

Так, тема интернационального сознания и гуманизма раскрывается автором «Глубокого тыла», в частности, в движении сюжетной линии Женя Мюллер — Карл Рупперт, созданной на основе подлинных событий и реальных судеб.

В конце 1941 года в советской прессе появились сообщения о немецких перебежчиках на сторону Красной Армии. Упоминалось и имя молодого ефрейтора Готфрида Гешке, судьба которого послужила Полевому основой для создания образа Карла Рупперта.

Во фронтовом дневнике Бориса Полевого есть запись о смелых калининских девушках-разведчицах, которые по ночам пробирались из оккупированного фашистами города на восточную его

окраину (там еще держался последний рубеж нашей обороны), принося сведения о расположении фашистских частей и т. д.

Одну из них звали Верой, «отец ее из обрусевших немцев. Он был когда-то красковаром на «Пролетарке» и погиб еще на гражданской войне» — «Эти четыре года».

В одну из ночей «у места перехода, девушки попали под осветительную ракету. Их заметили, обстреляли. ...Вера исчезла. Что с ней? Убита? Ранена? Захвачена в плен?..» (Там же.)

Писатель дважды обращается к истории «маленькой и отважной разведчицы» на страницах книги «Эти четыре года», рассказывая, как спас ее некий молодой немец-санитар. Это и был ефрейтор Готфрид Гешке. (Там же.)

«Парнем этот санитар... оказался неплохим. Она (Вера.— *Н. Ж.*) уговорила его перейти к нашим, и он как будто даже и перешел... А... теперь все «спальни» гудят от ненависти: «Немецкая овчарка!» Никакие резоны не действуют. «...все равно, говорят, немецкая кровь». (Там же.) Девушку по ее просьбе мобилизовали в армию; ефрейтор Гешке уже находился в то время в расположении советских войск. И двое молодых людей, полюбившие друг друга, начали работать вместе, «по самой опасной воинской специальности». «...как можно было бы написать об этой любви двух юных сердец из двух сражающихся армий! ...Может быть, когда-нибудь потом...» (Там же.)

Свое намерение писатель осуществил на страницах романа «Глубокий тыл». Женя Мюллер, прототипом которой послужила Вера,— человек сложной, драматической судьбы,— несомненная удача Полевого-романиста. (См.: А. Берзер.— «Дружба народов», 1959, № 6, с. 232—233; Б. Галанов.— «Новый мир», 1959, № 2, с. 196.)

Сюжетная линия Женя Мюллер — Карл Руппeрт, констатировала критика, интересна не только своим документальным началом, но, главное, широтой авторской трактовки идеи социалистического интернационализма, его истоков и природы.

«Пожалуй, роман Полевого впервые в нашей литературе об Отечественной войне так смело рисует образ немца-интернационалиста, представителя тех сил, которые ...не только не верили в нацизм, но и ненавидели его» (А. Берзер.— «Дружба народов», 1959, № 6, с. 249).

Примечательно, как жизнь дописала эту сюжетную линию романа. Спустя много лет судьба свела Бориса Полевого с Готфридом Гешке: «...в Берлине, в маленьком кабачке «Иоганнес Эке» подошел ко мне респектабельный мужчина, вынул фотографию военных лет — там он в ...форме, без погон: «Узнаете?..» Сегодняшний заместитель бургомистра Дрездена; тогда ...один из первых

немецких перебежчиков...» (Б. Полевой, Н. Железнова. Горизонты «реальной фантазии».— «Литературное обозрение», 1974, № 5, с. 104.)

Как особую творческую удачу писателя критика отметила созданные им в романе женские образы. «...рисуя сильные, широкие характеры своих героинь, он... искренне хотел, чтобы мы почувствовали эту «стать», эту душевную щедрость женщин «Глубокого тыла» — писал Б. Галанов («Новый мир», 1959, № 2, с. 247).

Признавая заслугу писателя, который впервые в советской литературе о войне сделал главным действующим лицом романа женщину — партийного работника и раскрыл перед читателем ее сложную судьбу, обращалось внимание на «известную сухость, рационалистичность образа» героини (Ю. Андреев.— «Звезда», 1959, № 9, с. 196). «...Образ Анны то вырисовывается ясно, то вдруг начинает... стираться, и тогда выходит на сцену автор и начинает объяснять то, что должно быть и так понятно из развития образа» (А. Берзер.— «Дружба народов», 1959, № 6, с. 233).

Подробно разбирая другие женские характеры, и в частности Юноны Шаповаловой, критика высказала диаметрально противоположные мнения. Б. Галанов писал: «...с точки зрения художественной характер Юноны, тоже по-своему довольно «цельный», хорошо, вплоть до деталей и с большой долей сарказма, прослеживается писателем» («Новый мир», 1959, № 2, с. 248).

На взгляд Ю. Андреева, этот характер «решительно не удался писателю»: «Впечатление, будто на сцену, где страдают, любят, действуют живые люди, неожиданно выпустили куклу из лакированного папье-маше» («Звезда», 1959, № 9, с. 196).

В общей оценке книги рецензенты указывали на некоторую «односторонность художественных решений, на отклонения от собственной поэтики, подрывающие стилистическую цельность произведения». (Там же.)

Упрекали автора и за дидактизм и неэкономность в обращении с художественным словом и... жизненным материалом (Б. Галанов.— «Новый мир», 1959, № 2, с. 249).

«И все же «Глубокий тыл» — книга добрая, благородная, потому что лучшие ее герои и весь поэтический строй произведения несут в себе черты гуманизма и подлинной революционности» (А. Берзер.— «Дружба народов», 1959, № 6, с. 233).

Роман «Глубокий тыл» переиздавался в Советском Союзе и за рубежом. По мотивам романа Б. Полевым и С. Радзинским написана пьеса «До свиданья, Анна!», поставленная на сцене Калининского драматического театра. При работе над пьесой Б. Полевой учел мнения критики, обогатив новыми психологическими красками характер героини и других действующих лиц.

Для данного издания роман был просмотрен автором и в текст внесена стилистическая правка.

Вернулся. Повесть. (стр. 523). Впервые — журн. «Знамя», 1949, № 4. Отрывок под названием «Гвардии сталевар» — в «Литературной газете», 1949, 1 мая. Первые книжные издания — М., изд-во «Правда», 1949; М., Профиздат, 1949; М., Воениздат, 1949. Значительно доработанная (введены новые сцены, углублена личная тема), вошла в авторский сборник: «Горячий цех». Повести и рассказы. М., Гослитиздат, 1954. (В настоящем издании дана эта редакция.)

«Крестным отцом» повести «Вернулся» Б. Полевой называет А. Фадеева. В очерке Б. Полевого о судьбе танкиста-фронтовика, в прошлом знаменитого сталевара с московского завода «Серп и молот» («Правда», 1948, 12 сентября, № 256), А. Фадеев увидел реальную и острую проблему времени. «Я в «Правде» читал твой очерк о московском сталеваре. О том, как он вернулся к своей мартеновской печи... Вернулся и понял: устарел... Это же драма: четыре года воевал и вышел в тираж. Мальчишки опережают. Для сильного характера — трагедия. А у тебя очерк, и, извини меня, торопливый очерк»,— так много лет спустя пересказал Б. Полевой свой ночной «разговор по душам» с А. Фадеевым. (После победного салюта.— Журн. «Вопросы литературы», 1967, № 8, с. 22.)

Следуя совету А. Фадеева «переключиться с темы военной на тему труда», Б. Полевой дал слово: «Напишу. К концу недели». (Там же.) Художественный замысел был реализован. Но торопливость в работе (первоначальный вариант повести объемом в три печатных листа был написан за неделю) отрицательно сказалась на языке повествования, проявилась, по словам критика Б. Галанова, в «беглости, эскизности многих страниц». Он оценил ее как «переходную» в творчестве Б. Полевого: «Тут писатель как бы еще примеривается к тем проблемам, которые будут занимать его... Это первая разведка темы» («Борис Полевой». М., «Советский писатель», 1957, с. 90).

Позже, развивая эту мысль критика, Б. Полевой напишет: «...С маленькой повести «Вернулся» началась для меня цепная реакция трудовой темы, которая увлекла меня за собой на стройки Урала, Сибири, Заполярья, вернула меня на фабрики моих родных тверских краев, в пензенские и костромские колхозы и даже на Северный Полюс, где, по-моему, труд людей, души людей, их совесть и убеждения испытываются в обстановке, подобной напряженным сражениям Великой Отечественной войны (После победного салюта.— Журн. «Вопросы литературы», 1967, № 8, с. 22).

Первую послевоенную повесть о людях труда критика в целом приняла одобрительно, отмечалась связь между главным героем «Вернулся» — сталеваром Казымовым и главными действующими лицами предвоенной повести «Горячий цех» (1939) (см. наст. Собр. соч., т. 1).

Проведя сравнительный анализ развития темы и движения характеров в этих повестях, критик А. Кондратович писал:

«Образ новатора производства более удался Б. Полевому в повести «Вернулся». В сталеваре Пантелее Казымове мы узнаем многие черты Лузгина: твердость характера, напористость, рабочую сметку, жажду труда... В этой повести Б. Полевой рисует образ человека на крутом повороте его судьбы... Казымова гнетет не потерянная слава, а то, что он уже не может как прежде трудиться творчески: «выдумывать, пробовать, искать», и далее приходит к выводу: «Обретение творчества» — так можно было бы назвать то, что происходит с Казымовым» (А. Кондратович. Поэзия труда.— Журн. «Октябрь», 1955, № 9, с. 178).

Образ Казымова привлек к себе внимание широкой читательской аудитории. Письма бывших фронтовиков, хранящиеся в архиве Б. Полевого, говорят о том, что многие прочитали литературную судьбу Казымова как страницы собственной биографии.

Достоверность этого художественного образа высоко оценила Мариэтта Шагинян: «Вот старший лейтенант Казымов... Это уже немолодой, много переживший, замкнутый человек с тяжелым характером, потерявший за годы войны семью... Переживая вместе с ним все его трудные душевные состояния, читатель видит, как теплеет и молодеет этот одинокий человек, как постепенно находит он свое место на заводе и в жизни. Его подхватывает и несет та заводская атмосфера взаимоотношений, тот глубокий внутренний такт, присущий рабочему коллективу, который подхватил и отчаянного паренька в повести «Горячий цех». Душевное состояние Казымова, переходящего от неверия в свои силы к чувству внутренней удовлетворенности собой, и облик новых молодых рабочих...— все это передано Полевым с большой художественной правдой и теплотой» (Собр. соч., т. 7. М., «Художественная литература», 1974, с. 134).

По общему мнению (А. Кондратович, Б. Галанов, М. Шагинян), эта повесть свидетельствовала о том, что Полевой продолжает творческое исследование «настоящего человека», противостоящего трудностям и побеждающего их. И здесь писатель, обратившись к производственной теме, утверждает публицистичность и документализм в качестве полноценных художественных средств для воспроизведения действительности в произведении искусства.

Надежда Железнова

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛЕВОЙ
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
Собрание сочинений
Том четвертый

Редактор **З. Батурина**

Художественный редактор
Е. Ененко

Технические редакторы
Т. Фатюхина и Е. Полонская

Корректоры
М. Макарова, Г. Горбунова

ИБ № 2178

Сдано в набор 30.11.81. Подписано в печать 16.06.82. А10830. Изд. № III-401. Формат 84×108 $^{1}/_{32}$. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Тираж 100 000 экз. Усл. печ. л. 31,5. Усл. кр.-отт. 31,5. Уч.-изд. л. 33,93. Заказ № 1281. Цена 2 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.
Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28. Отпечатано в Ленинградской типографии № 2 головном предприятии ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.

4
БОРИС
ПОЛЕВОЙ